НЁМАН

8/2015
АВГУСТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

НЁМАН

8/2015
АВГУСТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 284-85-25, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Александр Николаевич КАРЛЮКЕВИЧ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Таргонская*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 13.08.2015. Формат 70 ×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 21,06. Тираж 2118. Заказ .

Цена номера в розницу 23 500 руб.

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*



ВАЛЕРИЙ КАЗАКОВ

Поворот к дому

Рассказы

К строительству Союзного государства можно относиться по-разному. Но тот факт, что Союзное государство состоялось, – ни у кого из экспертов и специалистов не вызывает сомнения.

На сегодняшний день сближение, особенно славянских или прославянских сегментов бывшего Советского Союза, очевидно, и мы никуда от этого не уйдем. Отдаление этих народов друг от друга ведет к деградации общества, как в России, так и в Беларуси, и в Украине.

Мы хотели бы жить в хороших, добрососедских отношениях и с прибалтами, и с молдаванами, и с грузинами, и с поляками, и с украинцами — да со всеми, включая американцев, немцев, евреев и пр. Сегодня огромное число наших граждан находится за рубежом на отдыхе, учебе, на работе — мы уже интегрированы в мировое сообщество. Это — естественная картина мира.

Бабушки

Как и у всякого законнорожденного внука, у меня были две бабушки. Два абсолютно разных человека, оставивших в моей жизни два светлых и незабываемых следа. Во многом благодаря им я стал тем человеком, рассказы которого вы сегодня читаете. Бабушки, бабушки мои любимые и милые, как вам там, в вашем таком далеком жилище? Вот сижу в своей тихой подмосковной баньке, пишу эти строки, а учащенно стучащее сердце уже далеко, далеко, в том сладком и недоступном для чужого взгляда мире, имя которому — память.

Так уж сложилось, что деревни мои, по-нашему вёски, распределились в моей жизни не совсем равномерно. Ресты с Горбовичами было и осталось больше, а Завожанья с 53-м разъездом меньше.

Реста, здесь прошло мое детство. Несмотря на то, что я родился в железнодорожной больнице Могилева, всегда пишу в анкетах, что родился именно здесь, нисколько не обижая соседнюю с нашим поселком деревню Горбовичи, которая считается официальным местом моего появления на свет.

Реста — это бабушка Ева, зычный голос, властный и упрямый подбородок, кулацкая хватка, чисто выметенный двор, подпол с канистрами самогона, стол как полная чаша, ломящийся для любого, самого захудалого гостя, хотя захудалых гостей для бабушки не было. На кухне и в комнатах перед войной построенного дома — простенькие бумажные иконки. Про Бога бабушка вспоминала перед праздниками или когда что-то не ладилось в делах, приснился дурной сон, скотина прихворнула, от тетки долго писем не было, мало ли еще что могло приключиться в большом деревенском хозяйстве. Обращения эти были ненавязчивые, вроде между прочим и следовали уже после того, как бабушка сгоняла на попутной подводе в соседнюю деревню пога-

дать к Аксинье, проконсультировалась с парой-тройкой авторитетов в знахарстве, все подробнейшим образом обсудила с закадычной подругой-соседкой бабой Аделей Бардиловской, сама что-то пошептала, поплевала, поскребла гусиным крылом. Зато уж в церкви Ева Ивановна молилась от всей души, с поклонами и слезой, правда, по малолетству я так и не запомнил, исповедовалась ли она когда-нибудь, была ли у причастия. Мне кажется, с причастием и покаянием у белорусов дела обстоят весьма проблематично, большинство из нас считают, что само посещение церкви, зажжение свечей перед образами, покаянная молитва и откровенный разговор со Спасителем или Богородицей достаточны для надежды на их милость и прощение, а все остальное придумали власти и попы, чтобы выкачивать из людей деньги. Бабушка, мне кажется, придерживалась этого принципа.

Особой статьей незлобного бабушкиного гнева были наши внучьи развлечения, прежде всего рыбалка и купание до дрыжиков на Амхинецком или на Лявоново, когда-то так назывались самые купальные места на неширокой и мирной Рудее. Мне кажется, что и сейчас в ушах звучит бабушкин голос: «Валерька, лиха матритвою, утопишься, домой не приходи!» Надо сказать, что жизнь внуков и внучек — а свозили к бабке всех шестерых — была строго регламентирована и наделена персональными обязанностями: прополка, поливка, догляд многочисленных цыплят, утят, гусят, сбор тли и колорадских жуков, уборка двора, участие в заготовке сена, пилка дров и прочее, прочее, прочее, не говоря об обязательных походах по грибы и ягоды. Гляжу на своих детей и внуков и диву даюсь: в отличие от них, у нас никогда не было проблем с аппетитом и сном, и никто из нас понятия не имел, что такое аллергия или насморк в разгаре лета. Самой большой проблемой было перед школой отдраить ноги — черные от загара и въевшейся в них грязи. Сегодня трудно и представить, как это можно было бегать по ржищу босиком! Недавно попробовал, скинул свои модельные туфли и резво так зашагал вслед за комбайном, однако резвость исчезла, когда прошел шагов пять. Искололся и, косолапя, вернулся на межу. А ведь тогда мы в полном смысле этого слова носились по полям и весям, и все нам было нипочем! Три месяца про сандалии и иную обувь мы вспоминали крайне редко.

Мы были дети, игравшие в свои игры в еще не заросших траншеях недавно отгремевшей войны. Нас окружали ее атрибуты: трофейные патефоны и велосипеды, ржавое и поломанное оружие, все исправное взрослые повыбрасывали или припрятали в укромных местах на всякий случай. Артиллерийский порох, из этих серых тонких макаронин запускали ракеты, жгли, как бенгальские огни. Патроны, гильзы, какая-то немецкая амуниция, коробки, мешки с большими фашистскими орлами — все это жило рядом с нами. Помню, мой матрас, который периодически набивали свежим сеном, был сшит из мешков, украшенных свастикой, и спал я на нем лет до шестнадцати. Были еще штык-ножи и много разной военной мелочи. Да, чуть не забыл, как обязательный атрибут у нас во дворе была большая стальная «фрицевская» каска, прилаженная к длинной березовой палке, ею чистили выгребные туалеты и вычерпывали жижу из хлевов. Надо отдать должное некой толерантности моих земляков, многие тоже черпали и красноармейскими шоломами. Немецких касок было больше, скорее всего, из-за того, что они своих погибших хоронили, на могилах ставили кресты и вешали на них таблички с именами и почти всегда стальные шлемы. Наши, если отступали, совсем

не хоронили своих убитых, присыпали прямо в окопах, а чаще всего оставляли на попечение местных жителей или неприятеля. Безусловно, похоронные команды все же иногда работали, но несчастных хоронили в общей ямке, как правило, без гробов, под одной палкой с пятиконечной звездой. Каски, оружие, а иногда и обмундирование собирали и после определенной чистки и подладки вновь пускали в жутковатый оборот.

Жизнь в бабушкином доме была тесно связана с железной дорогой. Дед Никодим до глубокой старости проработал стрелочником. Наверное, поэтому железнодорожная станция была для нас отдельным и доступным миром, со своими запахами, звуками, гордостью за городской хлеб в тяжелых деревянных, а потом и алюминиевых ящиках, которые привозили раза три в неделю на пригородном поезде из Могилева и продавали только поселковским.

Новогодние елки в красном уголке станции, Дед Мороз с мешком под портретами Ленина и Сталина и, конечно же, подарки, пахнущие мандаринами! Бьюсь об заклад, сегодня мандарины так не пахнут! Кто постарше, помнит этот запах, в бумажном пакетике были дешевые конфеты, печенье и два, только два, мандарина или один небольшой апельсин. Помню, как душила жаба, но этими вкусными нездешними яблоками приходилось делиться и с родственниками, и с друзьями по деревенской улице, в колхозах новогодних подарков в то время не было. Руки мерзнут, отламываешь излучающую свет и летний запах дольку и даешь по очереди откусить друзьям, и каждый кусает немножко, чтобы не подумали, что жадный, самая большая кроха доставалась последнему. Даже странно, что такое когда-то могло быть. Цитрусовые корки никогда не выбрасывали, а в обязательном порядке сдавали бабушке, которая их сушила, а потом заваривала вместе с чаем или настаивала на них самогон — для пущей изысканности, что ли.

Здесь, в этой бесхитростной жизни, входили в меня древние токи загадочных радимичей, от которых, петляя, в веках тянется незримая нить отцовского рода.

Нет уже 53-го разъезда с трехминутной остановкой пригородного поезда. Нету, стерт прогрессом, словно мел со школьной доски. А ведь разъезд этот периодически всплывал в моей жизни на протяжении целых восемнадцати лет. Два или три маленьких строения в глухом лесу, казарма станционного начальника, крохотный огородик и воняющая разогретыми на солнце шпалами железная дорога. С поезда прямо на насыпь спрыгивали редкие гости, а кто-то, толкая впереди себя мешки и кошелки, ухватившись за поручни, с сопением и матюками поднимался в вагон. Звонил станционный колокол, трубил рожок, гудел паровоз, и, зашипев паром, звякнув сцепками, поезд торопливо уползал в сторону несбыточно далекого Богушевска.

На разъезде нас, как правило, встречал дедушка Константин, или кто-то из заважанских, подъезжавших за своими, или никто не встречал. Заранее мама про встречающих не знала, но всегда надеялась на это. А потом была лесная дорога длиною в девять с гаком километров. До сих пор никто точно не определил длину белорусского гака. Если летом да на подводе, то это незаметно и даже где-то весело, кругом ягоды, грибы, а если зимой, пешком да фактически ночью... О, я знаю, как замерзают слезы обиды и страха на щеках! И какие страшные и живые тени в лунном морозном лесу. Наверное, после тех страхов я перестал бояться ночного леса и даже где-то полюбил его за надежность и безопасность.

Чем для меня была эта дорога? Я долго не мог ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Ответ пришел сам собой. Лесной путь был естественной машиной времени: преодолев положенные километры, я попадал из относительной цивилизации в мир древней Беларуси, из середины века двадцатого в середину девятнадцатого, из языкового суррогата «трасянки» в заповедную сказку роднай мовы.

«Бабушка Феня, бабушка Феня, платочек кофейный...» — старые мои стихи, а имя у бабушки было Федора, но деревенские звали ее на кривицкий манер Хадося, Тадора, а иногда Тэкля, хотя это уже русская Фекла. Худенькая, небольшого росточка, живая, все время согнутая работой, улыбчивая и очень набожная. С бабушки можно было в равной степени писать и икону, и портрет кривичанки. Безбрежное добро и смирение поразительным образом сочетались в ней с несгибаемой волей и настойчивостью.

Электричества в Завожанье не было года до шестьдесят пятого, были керосиновые лампы для зимних калядных застолий, а так по хозяйству управлялись при лучине, летом же и вовсе старались обходиться без света. Исключение делалось только для гостей, которые по городской привычке любили почитать перед сном. Здесь, в забытом всеми уголке, жил дух чего-то таинственного и уходящего. Здесь я узнавал, для чего служат различные деревянные приспособления, некоторые из которых встречались мне и в Ресте. Оказывается, вот это странное громоздкое сооружение ни много ни мало, а целый ткацкий станок, да к тому же работающий! И бабушка зимними вечерами ткала кросны, а до этого почти все лето совершались длительные приготовления: пахалась земля, высаживался лен, потом он необычно цвел, набирал силу, потом его надо было «брать» — вытаскивать из земли по стебельку, вязать в снопы и ставить в «бабки», потом мочить, мять, трепать, чесать, сучить нитку и уже только после всего этого ткать узкое полотно. В мое время из самотканой холстины уже не шили одежду, а использовали ее для домашних рушников, занавесок, подзоров и каких-то сакральных действий. Дежу с тестом для хлеба покрывали только самотканым, испеченный хлеб тоже выкладывался остывать на палицу, застланную чистым домашним холстом. Исключительно в домотканое заворачивались различные примочки, компрессы, им покрывались наговоренные вода, соль, масло. Все, что касалось давнины, не терпело металла и должно было быть изготовлено только руками человека при соответствующих молитвах и заговорах.

Бабушка и дед молились всегда. Дед, конечно, с меньшим усердием и менее многословно. Он вообще был молчуном, за свою долгую жизнь — а прожил он до ста двух лет — дед Костусь убедился, что молчание почти всегда дороже пустого и долгого разговора, может, поэтому он сторонился людей и предпочитал больше бывать в лесах и на работе.

Бабушка знала уйму сказок, старых, не вычитанных в книжках. Да и читать-то она толком не умела, а рассказывала нам те сказки, что передавались из поколения в поколение. «А вось гэтую казку мне казала ажно мая прабаба...» — так часто начиналось бабушкино повествование. Долгое время безуспешно силился я вспомнить эти сказки, чтобы записать, но, увы, ничего не выходило, не вспоминалось. Расстраивался, злился. Тот сказочный мир живет где-то глубоко во мне, его волшебные образы рядом, кажется, вот — протяни руку, а нет — не получается. Время летит поразительно быстро, уже и сам дед, уже внуки просят рассказать сказку. И все стало на свои места, просто, наверное, пришло время, и старинные небылицы как-то сами собой начали сказываться. И что удивительно, часто начинались они со слов: «А эту сказку мне рассказывала еще твоя прабабушка...» Дальше по-русски говорить не

получалось, волшебство из сказки уходило, она становилась пресной и похожей на плоский американский мультик. Я понял, что народные сказки, как и народные песни, на другой язык перевести нельзя, их можно пересказать чужим языком.

Странно, внукам эти старинные истории на малопонятном для них языке нравятся, и слушают они их с затаенным дыханием и открытыми ртами. А еще дважды повторить одну и ту же сказку одинаково у меня не получается. Но сам я этого не замечаю, благодарные слушатели поправляют, списывая изменения не забывчивость деда.

Вот такие сказки были у бабушки Фени. Может, действительно, живое слово, записанное на бумаге, теряет свое волшебство и таинственность и живет только в благодатном поле живого родного языка.

Бабушка не умела читать и писать, и от этого мучилась, ей хотелось самой прочесть Священное Писание. Библию в те годы купить было невозможно, да и хранить подобную литературу в доме было делом рискованным. Однако у бабушки это сокровище было, хранилось оно в только ей ведомом месте. Извлекалось по праздничным дням, и если я оказывался под рукой, меня заставляли читать непонятные мне тексты. Писание было на церковнославянском языке, хорошо хоть — в новой орфографии. Вот так, спотыкаясь на незнакомых словах, поправляемый бабушкой, я делал свои первые шаги к Богу.

И последняя картинка из Завожанья, которую бережно хранит моя память. Я приехал попрощаться с бабушкой и дедушкой: через неделю уходил в армию. Помню, что, как и в детстве, долго читал старикам Евангелие. А потом было хмурое утро, и я уходил в первую свою неизвестность вдоль покосившейся изгороди, и надо было спешить на поезд, но что-то екнуло внутри, оглянулся: бабушка молча плакала и крестила меня в спину. Больше я ее живой не видел, но ее крестное знамение хранит меня и поныне.

Пишу эти слова, а в голову приходит название книги известного сербского поэта Благое Баковича «Повраток на Итаку», и думаю: как это важно не прозевать, не забыть поворот на свою Итаку, поворот к своему Дому, своим Истокам.

Так мы встретились

Если ты родился в деревне, то город редко когда станет для тебя родным. Но мне повезло: внутри одинаково сильно зацепились и моя деревня, вернее, станционный поселок Реста, и областной центр, взгромоздившийся на крутом берегу мелеющего летом Днепра.

Мои первые воспоминания о Могилеве связаны с пивом, вернее, вкусом пива, которое мне дал попробовать из большой стеклянной кружки отец. Помню, что удержать этот непривычный сосуд самостоятельно я не мог, и батя, скорее всего, боясь, что я разолью вожделенный напиток, присев на корточки, поднес кружку к моему рту. Губы и нос обволокла противная лопающаяся пена, а рот заполнился, как мне показалось, тошнотворной мыльной водой. Я с силой увернулся, выплюнул пиво и заплакал. Отца моя реакция огорчила, зато обрадовала маму. Пиво с тех пор, невзирая на бурную офицерскую молодость, я не пил сорок лет.

Картинок улиц, площадей, каких-то достопримечательностей того, восстанавливаемого пленными немцами города, моя память не сохранила. Наверное, из-за того, что и родители, как всякие сельские люди, от близкого железнодорожного вокзала отходить далеко особенно не решались.

Хорошо помню привокзальный рынок, он еще кое-как жив и поныне, тенистые клены уже давно вырубленного привокзального сквера. Особое место в моей памяти, конечно же, занимают стаи безбилетников на крышах вагонов. Когда я их видел, меня охватывал панический страх. Мне казалось, что мама или отец обязательно потеряют билеты и нам придется, отмахиваясь от проводников и свистящих милиционеров, лезть на крышу. Слезы текли в два ручья. Я знал, что с крыши меня обязательно сдует, а страх этот мне внушил дед Никодим, авторитетно объяснивший, грозно потрясая узловатым с черной отметиной пальцем, что детей с крыш поездов сдувает, как пух с ладони. И тут же поймав гуся, выдернул из него серое перышко и наглядно продемонстрировал, как это произойдет.

Билеты тогда были — не чета нынешним — плотными, картонными, коричневатого цвета и всегда имевшими определенную цену в детском обиходе. В деревне на них можно было выменять много ценных и нужных вещей. Однако по малолетству своего персонального билета мне не было положено. Даже и сейчас помнится, как это было обидно. Но билет мне доставался, как правило, только один — мамин. Отец ездил по своему годовому — как железнодорожник.

А еще на вокзале безногие калеки продавали глиняные свистульки, и самой козырной из них был — соловейка. Все прочие просто дудели и сухо свистели, а соловейка, если в него налить воды, пел. Позже инвалиды куда-то разом пропали, а с ними и соловейки. Сколько я ни приставал к старшим с вопросами: «Куда подевались веселые дядьки со свистками?», меня как будто не слышали и спешили увести от злосчастного скверика, на месте которого ныне автомобильная стоянка. Только уже весьма взрослым я узнал, что по приказу Хрущева всех покалеченных войной людей в скором темпе пособирали по крупным городам и убрали с глаз долой. Места их скорбных поселений назывались громко: специальные интернаты для инвалидов, размещались они зачастую в бывших монастырях, откуда совсем недавно ушли по домам или на тот свет бывшие враги народа, а иногда и вовсе в бывших лагерных бараках. Так стыдливая Родина и родная Коммунистическая партия сполна отблагодарили своих защитников, которым ни великий Сталин, ни его железные маршалы счета никогда не вели.

Уже в девяностые годы я встретил остатки этого увечного, одичавшего племени на острове Валаам, когда по благословлению святейшего Патриарха Алексия началось возрождение одной из православных святынь — Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Господи, во что был превращен Северный Афон советской властью и согнанными сюда людьми, которых все та же власть обратила в жалкое подобие человеков! Сегодня обитель радениями игумена епископа Панкратия возрождена и голубизной куполов своего главного храма славит Бога и труды людские. Следует сказать, что с воскресением монастыря воскресли и души бывших интернатчиков и их детей — они прилежные прихожане.

Но вернемся к моему родному Могилеву. Конечно же, та старая свистулька у меня не сохранилась, но на какой-то из ярмарок, по-моему, в Новогрудке, я вдруг услышал заливистую, слегка захлебывающуюся трель глиняного птаха, и теперь он всегда со мной. Когда совсем становится муторно на душе от олигархической действительности, я, как шаман бубен, достаю своего соловку, заливаю водой или чем покрепче и свищу на удивление жене и на радость дочке. И вы знаете, здорово помогает.



ВЛАДИМИР ГНИЛОМЕДОВ

Беженцы. 1916 год

Из романа «Восток»

Началось Заволожье.

Всю ночь они провели в вагоне и изрядно-таки продрогли. Утром к вагону подъехали подводы. Подошел начальник станции:

— Которые брестские — выходи!

— Мы — брестские! — отозвался Гомон.

Прусковчане ожили и стали, кряхтя, выходить из вагона, разминаться. Вынесли сундуки, корзины, узлы.

— Давай вылезай! — торопил начальник станции, пряча голову в воротник шинели.

Подошел парень лет семнадцати, улыбчивый, с курносым лицом, и предложил:

— Кто хочет ехать в Заполонное?

— А далеко это?— поинтересовался Левон.

— Как далеко? Шесть верст отсюда!

Парень оказался свойский, разговорчивый:

— Село наше богатое, есть жилье, работа. Сейчас завезу.

В разговоре он заметно «окал».

— А ты кто будешь? — снова спросил Левон.

— Я Андрюшка Платонов. Батя меня послал.

— Ну, тогда спасибо! — вступила в разговор Марыля.

— Безбородые вы какие-то... — удивлялся Андрюшка, оглядывая прусковских мужчин.

— Бороды мы сбриваем, — ответил Гомон, хотя сам брился редко — борода у него почти не росла.

— Помолчал бы уж ты! — упрекнула его Матрена.

Андрюшка помог Кужелям погрузить на сани вещи. Сани — Левон обратил внимание — были запряжены парой здоровых, упитанных лошадей. Кужели сели всей семьей, сани тронулись с места. Впереди и сзади, также на санях, ехали остальные прусковчане.

Заволжье обдало холодом и порывистым ветром. Белыми космами завивалась вокруг саней поземка.

— Что, холодно? — улыбнулся возница.

— Холодно! — встрепенулась Тоня, укрывая одеялом и себя, и сестер, — все они пристроились на санях позади.

— Ветер! — как бы оправдываясь, ответил Левон. — У вас он какой-то более холодный, чем у нас.

— Это еще не холодно, — утешил Андрюшка, — бывает, что и до костей пробирает! А теперь градусов под тридцать, не больше.

Андрюшке хоть бы что — одет по-зимнему: овечья шапка, тулуп, валенки.

Левон — в легком тулупчике. Пробовал заслониться от ветра воротником, но это мало помогало, и он, чтобы забыть о холоде, стал всматриваться в окрестные пейзажи.

— Так вы, значит, издалека! — прищелкнув языком на лошадей, вел разговор возница.

— Из-под Берестя аж! — отозвалась Марыля.

— А там что — война?

— Война, детка, война...

— Скоро мы его разобьем! — сказал Андрюшка. — Ерманца-то!

Утомленные дорогой, обессиленные седоки ничего на это не ответили.

Подъехали к селу Борское. Большое, с версту протяженностью, рядом со станцией Неприк. Потянуло прогорклым дымом от кизяка и соломы. Андрюшка оживился:

— За Борским, сказывают, овраг есть, так там будто бы Стенька Разин золото свое спрятал, — сообщил он, повернувшись к Кужелям.

Через Борское обоз ехал долго.

— Здесь уездное начальство живет, — проинформировал Андрюшка, — наше Заполонное поменьше будет.

Переехали речку Самарку. Видны были берега: один крутой, обрывистый, другой более ровный, пологий.

«Совсем как наша Лосьна, — подумал Левон, — может, только пошире немного».

Затем началась степь, которая удивляла и настораживала своей снежной бескрайностью и безлюдьем. Казалось, этой равнине концакраю не будет. В Пруске горизонт со всех сторон замыкал лес, а тут — степной простор. Степь — насколько видит глаз.

«И за грибами нет куда сходить», — опять подумал Левон.

— А леса у вас, что, нет? — словно почувствовала мысли сына, спросила Марыля.

— Лес есть, но далеко, отсюда не увидишь, — парень снова прищелкнул языком на лошадей и дернул вожжи.

— Чем же они топят, если леса нет? — спросила Тоня.

— Соломой!

— Соломой? — удивилась Марыля.

— Либо еще кизяком или хворостом — его на берегах Самарки много!

Прусковчане не знали, что это такое, но допытываться не осмеливались. Андрюшка перевел разговор на другое.

— В нашем Заполонном — волость.

— Волость? — оживились Кужели. — Ого!

— А как вы думали!

— Так рядом с начальством плохо! — заойкала Марыля.

— Ничаво! — засмеялся Андрюшка, стараясь поднять своим пассажирам настроение. — Начальство у нас свое!

— Разве что.

— В хорошее место вы попали — край наш пшеничный... — рассказывал Андрюшка. — Хлеба хватает. Посмотрите!

— Ну, как-нибудь оно будет... — вздохнула Марыля.

— Не пропадем! — поддержал ее сын.

Дальше ехали молча.

— А вот и Заполонное! — кнутом показал возница.

В той стороне, куда он указал, Кужели еще издали увидели кучку каких-то построек. По мере приближения их становилось все больше.

Наконец они приобрели вид сельского поселения с церковью на возвышенности, и обоз незаметно въехал в село. Приезжие стали оглядываться вокруг

— Смотрите, улица у них какая широкая. Не то, что у нас, — ожили Марылины девчата.

Улица казалась широкой и пустоватой. Не было привычных для прусковчан палисадников с цветами и плодовыми деревьями перед окнами, выходящими на улицу. Такой мелочи здешние жители, видимо, и не придавали значения. Постройки, обступившие с двух сторон улицу, возведены из кругляков, без теса, переложенные мхом. Почти все они, крытые соломой, приобрели со временем замшело-серый вид. На довольно просторной площади, посреди селения, обоз остановился. Беженцы слезли с саней на землю и замерли, боязливо оглядываясь вокруг, будто к чему-то прислушиваясь. Оборванные, с бледными лицами, худые и изнуренные женщины, одетые в длинные поневы, выглядели особенно жалко.

Подошли местные жители, плотно окружили приезжих. Прусковчане очутились среди незнакомых людей. Мужчины были бородатые, с широкими скуластыми лицами. В облике некоторых просматривались татарские черты. Одеты кто как: в тулупы, длинные халаты, в похожие на прусковские свитки и во что-то еще непонятное.

— Откудова, родимые? — спросила, как будто пропела, розовощекая курносая молодайка в рыже-коричневом тулупе, дохнув теплым капустным духом, который на морозе сразу превратился в струю белого пара. Прусковчане молчали, широко раскрыв глаза и рты.

— Замерзли, что ли?

— Носы красные! — заметил кто-то из мужчин.

— Господи, Боже ты мой! — воскликнула какая-то из особенно сочувствующих женщин. — Царица небесная!

— Из-под Бреста мы, — сказал Левон, отряхивая с тулупчика потертые стебельки соломы.

— Из-под Бреста? — не поверил крепыш с черной курчавой бородой, пожал плечами и ухмыльнулся, скривив полные красные губы.

— Ну да. Гродненской губернии, из-под Бреста, — подтвердил Голенко, смешно хлопая осоловелыми после бессонной ночи глазами.

— Православные, чай? — послышался голос из толпы. Он принадлежал невысокому человеку с морщинистым, похожим на печеное яблоко лицом. Одет он был в короткий латаный-перелатаный зипунок, на ногах лапти с оборами. На голове полинявшая шапка-вислоушка. В глазах — покой и какое-то как бы бессмыслие.

— Православные, православные, — закивали прусковчане.

— Бог один, — рассудительно высказался человек с длинной бородой, напоминавшей подвешенный к лицу веник и которая болталась в разные стороны, когда хозяин крутил головой

— Когда же вы из дому-то выехали?— поинтересовалась та самая розовощекая говорливая молодайка.

— Да еще летом, — сказал Гомон, стараясь поддержать разговор.

— Летом?

— Ого-го! — удивлялись заполонновчане.

— Ой, несчастные мы! — не выдержала, схватилась за голову, запричитала Апраска, и сразу захлюпали носами другие бабы, а за ними — дети.

— У нас несчастных любят, — как бы заверил ее и всех остальных прусковчан житель Заполонного с похожей на веник бородой.

— Ой, знаете, до нутра промерзли! — передернула плечами Марыля.

— Ай-ай! — сочувствовали ей заполонновские женщины.

Сквозь толпу протиснулся седобородый человек в длинном, до самых пят, тулупе. Это был заполонновский староста Иван Милягин. Выглядел он, как библейский пророк. Борода одна чего стоила — широкая, седая, курчавая, во всю грудь. Он ее, видимо, сколько жил, никогда не брил.

— Ивану Ивановичу почтение нижайшее! — не то сказал, не то пропел маленький кругленький человечек в теплом зипуне, подвязанном ниже живота тонкимременчатым поясом. Из седой бороды у него просвечивались розовые щеки.

— Здорово, Елизар! — ответил староста и махнул рукавом на строение, которое примыкало к площади и имело казенный вид. — Вот здесь у нас караулка — пока в ней будете жить.

Это был, как прусковчане узнали впоследствии, свой местный острог, в котором удерживались провинившиеся, — в одной половине мужчины, в другой — женщины. Кроме того, здесь обычно проходили все деревенские сходки. Иногда, во время жатвы, перед тем как ехать в поле, ночевали татары, нанятые для уборки урожая.

Приезжие послушно потащились в караулку.

— Татион, открывай! — приказал староста и достал из глубокого кармана большой железный ключ.

Тот, кого староста назвал Татионом, был уже как бы знаком прусковчанам: это он спрашивал, православные ли они. Он схватил ключ и побежал впереди в своем латаном тулупчике и вислоухой шапке. Подбежав к караулке, ловко вскочил на крыльцо и как-то радостно загремел замком. Как с наружной стороны, так и изнутри помещение имело довольно неуютный, обшарпанный вид. Зашуршали по стенам, бросились врассыпную тараканы. Забористо пахло потом и раздавленными клопами. Сквозь маленькие окна скупо пробивался свет зимнего солнца.

— Ну вот, — кашлянул староста, который вошел в помещение после всех, — мужчины будут ночевать здесь, а женщины на своей половине.

— Так что, без жены? — поскреб затылок Гомон.

— Ой, замолчи ты! — оборвала его Матрена.

Староста продолжал:

— А на отопление вам солома, — и указал на огромную скирду, стоявшую невдалеке от караулки.

«Человек, видно, неплохой», — подумал про старосту Левон.

— Топить соломой? — удивился Петро Ломако, переглянувшись с остальными прусковчанами.

— Жгите, не жалейте, чтобы было тепло! — не понял его удивления розовощекий кругленький заполонновчанин, которого звали Елизаром.

— Это же дома не поверят, — сказал Гомон, стоя рядом со старостой.

— Кому не поверят? — повернулся к нему Иван Иванович.

Вздернутые брови Гомона свидетельствовали, что он удивлен происходящим.

— Это он так говорит, — успокоил старосту Голенко. — Его в детстве безменом ударили. С того времени он такой.

— Понятно! — засмеялся Иван Иванович, а с ним засмеялись и все присутствовавшие.

Левону показалось, что у старосты очень веселые глаза, хотя сам человек солидного возраста.

Новые хозяева караулки стали, наконец, раздеваться, сбросили с себя тулупы, армяки. Принесли солому, растопили печь. Этим занялся Гомон, который с непривычки топить соломой напустил в помещение много дыма. Пришлось открывать дверь, чтобы проветрить.

Вечером собрались люди — полная караулка, и каждый с собой что-то нес: караваи белого пшеничного хлеба, приличные куски мяса и сала, муку, крупу. Это было весьма кстати: припасы прусковчан почти закончились, и они уже изрядно проголодались.

— Добрый вечер, миряне! — приветствовали местные новых обитателей караулки.

— Небось, кишки марша играют? — смеялся, обнажая беззубый рот, Татион.

Прусковчане сначала не поняли, но потом и до них дошел смысл выражения «кишки марша играют». Голодные, значит. Зажгли керосиновую лампу, подвешенную к потолку, и, вымыв руки, сели за стол. Вошла полноватая женщина невысокого роста, в чуйке, которую обременяла большая грудь. Принесла ячменную крупу. Это была, как прусковчане узнали позже, Марфа — жена многодетного Епишки Тюрина. Держалась Марфа раскрепощенно, шутила:

— Бабы, а как же вы тут с мужьями будете жить? — удивилась она, блеснув немного раскосыми, с серебристыми искринками глазами. — Здесь же перепутать легко!

В караулке грянул хохот.

А людей прибавлялось. Несли — кто булку, кто кусок пирога, кто кувшин молока. Пришла и знакомая розовощекая молодайка.

— Вот пышки с юрагой, пожалста! — Она поставила на стол небольшую корзинку и достала из нее пышки и вареное мясо.

— Ну, молодчина, Пелагея! — похвалил розовощекую красавицу еще не старый, широкобородый здоровяк в длиннополом тулупе, который также был среди встречавших. — Много у тебя доброты! — добавил он, осмотрев дебелую фигуру женщины.

— Еды столько! — удивленно покачал головой Татион, поглядывая на стол. На лбу у него натянулась и запульсировала тоненькая жилка.

Действительно, казалось, гостеприимству заполонновчан не будет конца.

— Это же слишком много... — махнул рукой Голенко.

— Обчество порешило! — сказал Елизар. Его голос звучал торжественно. — Как сказано в Библии, пришельца не притесняй и не ущемляй его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской.

— Христос велит, чтобы мы любили ближнего, как самого себя, — в тон ему добавила какая-то женщина с припухшим носом.

— Богато живете! — похвалил хозяев Михаль Тупчик.

— Ничего! Наше Заполонное всю Россею прокормит! — самоуверенно заговорил чернобородый крепыш, встречавший беженцев на заполонновской площади.

— Мы больше картофеля садим, рожь сеем, — сказал Петро Ломако, дожевав кусок белого пирога.

— Черный хлеб мы не признаем! — как бы не согласился с ним пожилой мужчина с мощными, круто очерченными челюстями. Из-под шапки у него торчали большие, словно листья капусты, уши.

Разговаривали заполонновчане с гостями в мягкой, снисходительной манере.

— Мы блинами могли бы устлать дорогу до Берлина и дальше! — горделиво прихвастнул староста. Все, кто находился в караулке, в том числе и беженцы, дружно засмеялись.

Местные люди, по всему видно, любили похвастаться.

Потом тема разговора изменилась.

— И зачем ее Бог послал — войну-то? — сетовали женщины.

Перекусив, Голенко повеселел:

— Ничего, перебудем зиму, а там и домой! Немца к тому времени и след простынет!

— Мы ненадолго! — поддержал его Гомон.

— Белорусы — младшие братья, — сделав ударение на последнем слове, сказал Милягин, и все с ним согласились.

Татион, почувствовав какую-то близость к Гомону, подсел к нему и похлопал по плечу:

— Мы с тобой родня!

Прусковчанин посмотрел с недоверием. Татион с серьезным выражением лица пояснил:

— Кода у меня плетень горел — твой дед портянки грел.

Караулка взорвалась хохотом. Не смеялся только один староста.

— Рад человек, что глупее себя нашел! — прокомментировал он шутку Татиона и поучительно, подняв вверх палец, произнес: — Отечество у нас одно, единое и неделимое!

— Ну, как пироги? Понравились? — допытывались заполонновчане, когда беженцы перекусили.

— Ой, очень! Очень! — наперебой хвалили прусковчане.

— Я никогда таких не ела! — призналась Матрена.

— Еще бы! — сказал Гомон. — Ты никогда таких и не пекла...

— Вот уж! Не можешь ты, чтобы не упрекнуть, — толкнула его локтем Матрена.

Женщины стали убирать со стола.

— Чайку бы!.. — высказался кто-то из заполонновчан.

— А-а, какая от него польза! — махнул рукой Голенко. — Мы его, когда ехали, столько выпили.

— Это пользительно! — не согласился Татион.

— Пелагея!— обратился староста к розовощекой молодайке. — Поставь-ка самовар!

А про самовар подумали заранее. Он стоял в сенях и уже кипел. Его внесли, поставили на стол, налили в стаканы кипяток.

Выпив чаю, Гомон подошел к ведру с водой, что стояло в углу, глубоко зачерпнул медной кружкой и жадно пригубил.

— Мил человек, что же ты воду-то пьешь? — по-отцовски снисходительно, сладким голосом пожурил Елизар.

— Нет, дядя, — возразил Гомон, оторвавшись от кружки, — я одним чаем не напьюсь, мне вода нужна, — и опять зачерпнул из ведра.

Заполонновчане от удивления дружно захохотали.

— Хорошо, когда наелся! — сказал Ломако и, громко икнув, погладил свой живот.

Когда местные жители, пожелав спокойной ночи, покинули караулку, вошел незнакомый молодой человек, одетый по-праздничному. Прусковчане заметили, что он немного прихрамывает.

— Михаил! — улыбчиво представился он и сел на скамейку. Смотрите, дескать, какой я свой и вас своими считаю.

Беженцы заинтересовались.

— Ну, как делишки? — Он достал из кармана кисет, развязал, протянул мужчинам. — Война, не секрет, тяжелая штука.

У прусковчан, хотя они и устали, возникло желание поговорить с гостем.

— У нас люди добрые, — продолжал Михаил, — богачи, правда, не очень, а кто победнее, с тем дело можно иметь. А вы что за люди?

— Мы такие, что и муху не обидим... — ответил Михаль Тупчик, словно хотел понравиться незнакомцу. В углу засмеялись девчата. Гость не без интереса посмотрел на них.

— Девчата у вас, не секрет, красивые, — после продолжительной паузы сказал он и засмущался, лицо его заметно покраснело.

— О-о-о! Девчата у нас пригожие... — согласились женщины, переглянувшись между собой.

— Спите. Завтра, не секрет, будет новый день, — Михаил простился и, слегка прихрамывая, исчез за порогом караулки.

Таким образом, наши герои после длительного путешествия очутились в Заполонном Борского уезда Самарской губернии. Это была старая, патриархальная русская деревня, дворов на пятьсот, жизнь в которой протекала медленно и однообразно. Многие свои жилища обогревали еще по-черному, для освещения жгли лучину, большая часть жителей носила лапти с оборами.

Однако народ был мужественный, непокорный — далекие потомки беглых разинцев и пугачевцев. Помещиков в Заполонном никогда не было, крестьяне издавна считались государственными. Они сполна пользовались всей землей, платили налоги и подчинялись старостам. После отмены крепостного права в Заполонном появились так называемые кулаки. Они покупали землю у сельской бедноты. Но возникли и земства, которые отстаивали интересы народа, поднимали культуру и сельскохозяйственное производство. Кроме того, в Заполонном образовалось сельское «общество», которое, являясь самостоятельным, собирало средства на общие расходы, избирало сельские власти, старосту, занималось и судебными делами, налаживало взаимопомощь.

В Заполонном некоторые не без основания чувствовали себя зажиточными, но большинство считалось середняками или вовсе бедными людьми.

Какое-то время прусковчане жили в караулке. Местные жители опекали гостей. То кое-что из одежды дадут, то молока принесут, то пирогами угостят. Беженцы были благодарны им, хотя не забывали и старую истину — чужой хлеб горький.

Можно было и не сетовать на такую жизнь, если бы не клопы, которые чувствовали здесь себя хозяевами и без дружелюбия относились к пришельцам. Не зря сами заполонновские жители называли караулку клоповкой.

Однажды гостей посетил староста Милягин — в том же тулупе, валенках.

— Добрый день, ваше степенство! — приветствовали его обитатели клоповки.

— Ты ваша, я ваша, а кто же хлеба напаша? — шуткой ответил староста.

— Мы к тому, ваше степенство, — пояснил Алексей Голенко, — что нам в беженский комитет надо.

— Клопы надоели? — насторожился староста.

— Ну, и клопы, — осмелел Голенко.

— Зачем нам беженский комитет — мы сами порядок наведем. Отсюда мы вас расселим по избам.

Прусковчане уже слышали это слово и не удивились, что обыкновенную хату здесь называют избой.

— Караулка иногда и нам может понадобиться, — добавил староста.

Через несколько дней беженцев из караулки выселили, распределили по дворам.

Кужели попали к Платоновым («Раз Андрюшка привез — так пусть уже к нам идут!» — сказали хозяева). Изба у них очень хорошая — крытая жестью пятистенка, построенная из толстого бруса. Не изба, а дворец! Стоит на высоком, видном месте, откуда видна, говорили, Самарка, которая однажды весной, разлившись особенно широко, залила даже хлебные амбары, а сюда, к Платоновым, не поднялась. Поэтому зажиточные люди строились здесь, на горке. И волость размещалась тут. Над дымоходом, который здешние жители называли печной трубой, скрипел на ветру жестяной петух. А недавно Илья поставил еще новые тесовые ворота с козырьком, крытым дранкой.

Вел Кужелей все тот же Андрюшка. Недалеко от избы, на заднем дворе, у колодца, их встретил хозяин Илья Александрович — человек уже пожилого возраста, седобородый, в длиннополом тулупе.

— Афанасья! — позвал он.

Из избы вышла пожилая женщина, полноватая, в широком батистовом кафтане с длинными рукавами.

— Принимай гостей!

— Милости просим, милости просим, дорогие гости, — пригласила Афанасья, приветливо щуря и без того слегка раскосые глаза и прикладывая руки к груди.

В избе был настлан деревянный пол. На кроватях красовались подушки в разноцветных наволочках. В одном углу стоял иконостас, в другом лимонное дерево в большой кадушке. На стене висело несколько фотоснимков в деревянных рамках.

Илья Александрович снял тулуп, остался в синей ситцевой рубашке. В Заволжье он слыл зажиточным, даже богатым. По столыпинскому позволению вышел из общины: стало невыгодно в ней оставаться, большая самостоятельность позволила и больше развернуться. И дела у Ильи Платонова, надо сказать, пошли вверх. Продавал пшеницу, торговал лошадьми. Односельчане стали приходить к нему с поклоном — одолжить чего-нибудь или попросить.

Кужели также разделись. Афанасья тем временем накрыла стол. Помогала ей чернявая девушка в ситцевом сарафане. Домна. Видно было, что хозяева не собирались ограничиваться одним чаем. Домна принесла два каравая белого пшеничного хлеба и горшок горячего супа с бараниной. Это было блюдо, которое здесь очень любили.

Все присели за стол, перекрестились «во имя Отца и Сына...». Афанасья, словив руку мужа, поцеловала ее.

— Моей Афанасье только игуменьей быть — все понимает и в порядок приведет, — похвалил Илья Александрович жену.— С Богом, — сказал он, позволяя сесть.

Прусковчане вместе со всеми принялись хлебать большими деревянными ложками, закусывая пышным белым хлебом.

— Живите, хлеба не жалко, — сочувственно посмотрела на них Афанасья.

Большая грудь ее мерно поднималась в такт дыханию и медленному говору.

Хозяин и хозяйка ели из отдельных деревянных мисочек, все остальные — из общей.

— А что вы у себя на родине ели? — поинтересовался Илья Александрович.

Марыля грустно улыбнулась:

— Картошку с салом, капусту, колбасы...

— Драники, — добавил Левон.

Засмеялись Тоня с Федоркой и Барбарка.

— А что это такое? — не поняла Афанасья.

— Это такие оладьи из картошки, — пояснила Марыля.

— Как это так — из картошки? — опять удивилась хозяйка. — У нас блины из пшеничной муки...

— У каждого народа — по-своему! — рассуждал Илья Александрович. — Все хорошо было бы, если бы не этот проклятый ерманец! — добавил он.

— Ерманца разобьют! — как бы между прочим заверил всех Андрюшка.

— Это да, — причмокнул губами Илья Александрович, — однако пока что не получается.

На второе подали шанежки — пышки из сладкого теста.

— Отведайте наших шанежек! — сердечно пригласила хозяйка.

Кушали не торопясь, много. Обед у Платоновых основательный и вкусный.

Домна принесла вместительный самовар, и Кужели выпили чаю с шанежками. К этому напитку они еще не привыкли и много выпить (местные люди опорожняли ведерные самовары) не могли.

— Хватит. Чтобы не обобениться, — слабо улыбнулась Марыля, поставила стакан и поблагодарила. Девчата, глядя на мать, поступили так же. Левон поужинал раньше всех.

— У нас, — поучительно сказала хозяйка, — если кончают пить, то кладут стакан набок. Тогда уже никто не нальеть. Значит, напился, достаточно.

Гости удивились такому простому обычаю.

— Работать будете! — объявил Илья Александрович. — Адаму что было сказано? «В поте лица трудись».

— От работы мы не отказываемся, — отозвался Левон. Хозяин осмотрел его фигуру.

— А ты сам что умеешь?

— Все что прикажете.

— Силен! — похвалил его Илья Александрович. — В таком случае за лошадьми будешь приглядывать, а то Фролка что-то запивать стал, я его на другую работу определю.

— Отлеживается! — скривила губы Афанасья, имея в виду батрака Фролку. — Пироги трескать охочий, а работать не очень. — Повернулась к женщинам: — А вы, молодки, по хозяйству, чай, будете. А то и коров подоить некому — нанимать приходится...

Андрюшке, видимо, надоело слушать разговор, он поднялся из-за стола и вышел.

— Поглядим, которая лучше, может, невесту выберем... — засмеялся Илья Александрович, кивнув головой вслед сыну.

— Ему еще рано, — поджала губы Афанасья.

— Ну, отдыхайте! — сказал хозяин, вылезая из-за стола. — И я немного сосну...

Беженцам отвели более холодную половину избы. До недавнего времени здесь жил сын хозяев вместе с невесткой, но минувшей осенью отделился.

На половине, где поселились Кужели, стояла большая печь. В Пруске такие печи называли русскими. На пол бросили несколько овчин, пару одеял, подушек. Вечером гости улеглись отдыхать. Левон устроился на кровати.

Ночью слышно было, как мороз хватался за забор, трещали углы платоновской избы. Зима!

Назавтра Левон вышел на работу. Илья Александрович показал ему конюшню, а заодно и хозяйство. А хозяйство у него было большое — полтора десятка рабочих лошадей, два жеребца на выезд, восемь коров, овцы. В сараях хрюкали свиньи. А поля у него, говорил, более двухсот десятин. Да десятина сада и пасека на двенадцать ульев.

Илья Платонов — зажиточный степной хозяин. Держал несколько наемных работников. Держал на всем, как он выражался, довольствии, да еще и деньгами рублей тридцать платил и хлеба пудов пять давал. Рукавицы да лапти у его работников были также хозяйские. Дед Ильи Александровича когда-то бурлачил на Самарке, на Волге. Отец — были деньги — смог выкупить у казны двадцать пять десятин хорошего чернозема. Остальное — сам Илья заботился.

В стойлах стояли лошади — буланой масти и вороные. Все были сытые и гладкие на вид — хоть сейчас запрягай в плуг. Спины блестели, как воронье крыло.

Показывая конюшню, Илья Александрович похвалился:

— Таких лошадей, как у меня, нигде не найдешь!

— Во всем Заполонном?

— Что Заполонное... Бери шире, бери губернию, Самару саму бери! Разве что у губернатора...

«Ну ты же, человече, и хвастун!» — подумал прусковчанин, но улыбку сдержал.

Илья Александрович кивнул на лошадей:

— Будешь их кормить, поить, чистить. Машина любит уход и смазку, — добавил он, — а лошадь — овес и ласку. Хлопоты, известно, немалые, но и я, надо полагать, не обижу.

Левон увидел в углу вилы с четырьмя зубцами и взял их в руки.

— Вперед и с песнями! — подбодрил Илья Александрович нового работника. Это была излюбленная присказка хозяина.

Потом всех позвали на обед. Левон вошел в избу, разделся, вымыл руки и сел за стол. Начали с удивительного супа, приготовленного, как пояснила Афанасья, из кислого молока, овощей и грибов. Затем Домна с Тоней (она помогала) подали запеченные овечьи мозги, политые сметаной. После появилась каша с ливером. Казалось бы, уже и достаточно, но нет. Была еще запеканка из творога, моркови и свеклы. А после всего выпили самовар чаю. Так Левон не кушал и в Америке. Он поблагодарил, расслабился и решил выйти в сени покурить.

— Куришь? — удивился Илья Александрович, будто впервые увидел человека с самокруткой.

Левон пожал плечами:

— Редко.

— Это ни к чему.

— Бывает, что окурки с огнем швыряют куда попало! — поддержала опасения хозяина Афанасья, шевельнув отвисшими щеками.

Илья Александрович вспомнил о трагическом происшествии, которое случилось в Заполонном позапрошлым летом. Загорелась скирда соломы. Как раз возле караулки. Погода стояла сухая. Хватило одной искры, чтобы огонь, зацепившись за солому, пошел-покатился по всему селу.

Первая увидела пожар Афанасья. Даже не пожар, а отсвет в окне — во дворе словно посветлело. Давай тормошить Илью. Заметили и другие, сбежались тушить.

— Уж столько воды вылили, — рассказывала Афанасья, — бессчетно! Вот они льют, а он еще больше разгорается. Никак не могут усмирить — огонь-то. Тут спрашивают: «А кто поджег?» Никто не знает. А Елизар-то видал! Уследил — Елизар-то! «Да вот, — говорит, — Вантя, работник, спал возле скирды да папироску и сунул!» Так Вантю того в огонь и вбросили. Живого! Тогда-то и пожар остановился, и огонь уняли, — закончила хозяйка.

Левон, посочувствовав такому происшествию, погасил самокрутку и направился к конюшне. Илья Александрович остался в избе. После обеда он обычно ложился немного отдохнуть. Хозяйка также отдыхала.

Кужелю отдыхать было некогда, и он налег на работу. Взял скребок и щетку и стал чистить коня. Не услышал даже, как в конюшню кто-то вошел. Выпрямившись, увидел человека в порванном зипуне.

— Фрол, — назвал себя незнакомец, не вынимая рук из карманов.

«Это тот работник, — догадался Левон, — что «отлеживается», как сказала о нем хозяйка». Удивили его желтые, как у кота, глаза, скуластое, с пренебрежительным выражением лицо. На спине рос как будто горб.

Прусковчанин назвал свое имя.

Фролка закурил (предложил Левону, но тот, помня разговор с хозяевами, отказался), сделал несколько сильных затяжек и сказал:

— Хресьянину, значит, от утра до вечера трудись?! С зарей поднимайся, с зарей ложись?! — Он помолчал. — Пососал он моей кровушки.

— Кто?

— Хозяин.

— Как так?

— В кабале я у Платонова, задолжал ему крепко...

Прусковчанину трудно было понять, как это так может быть, и он молча слушал, а Фролка продолжал:

— Всё прибрали к рукам! Сами, слышь, богатые, а с бедняком поделиться не хотят. Хотя бы за работу заплатили по-человечески. Что же тогда делать человеку остается? Я тоже обедать хочу, как и он, каждый день! Им что! Калачи едят и чай с сахаром пьют, а меня он водой кормит! А я ведь за себя и постоять могу!

— Мы благодарны Илье Александровичу — приютил, как-никак, — сказал Левон.

— Приютить-то он, допустим, приютил, как ты сказываешь, однако же и хомут насунул, а за лошадьми ходить тяжело. — В голосе Фролки чувствовалась обида. — Мы для них, слышь, низшие, на нас и ехать можно. Еще повторится девятьсот пятый, ох и повторится! — пригрозил он кому-то.

«Голос у него какой-то нетерпеливый», — подумал Левон после того, как Фролка, покурив, ушел.

Вечером Илья Александрович пояснил Левону (видел, наверное, как Фролка заходил в конюшню):

— Опущенец он.

Прусковчанин не знал, кто такой опущенец. Оказывается, опущенец — человек, который вместе с землей попал в кабалу. Бедняк, короче говоря, который взял взаймы у богача и был не в состоянии вернуть долги. В таком случае опущенец должен был отработать. Заполонновские богачи поступали в соответствии с написанным в библейском Исходе: «Пусть он работает на тебя шесть лет, а на седьмой пусть выйдет на свободу задаром». На седьмой год отпускали. Долги отменялись, возвращалась земля.

Так вот и Фролка вместе со своим наделом попал в кабалу к Платонову, которому был много должен — и деньги, и зерно, и что-то еще.

— Фролка — малец потерянный, — возмущался хозяин. — Ты, Левонтий, с ним не дружи.

«Та-а-к, — размышлял прусковчанин, — оказывается, здесь свои порядки».

Судьба беженцев складывалась по-разному. Голенко выглядел бодро — взяли почтальоном. Почту привозили в волость, и оттуда он ее забирал и разносил по адресатам.

— Легкая у тебя работа! — позавидовал Ломако.

— Не такая уж и легкая...

— Мозгами надо шевелить, — согласился Ломако. — Как это ты уряднику письмо носил?

— Будто и грамотный, а перепутал, — насмешливо покосился на него Гришка Латушко, моргая своими маленькими глазками.

Действительно, письмо, адресованное местному уряднику, Голенко отдал попу, за что получил суровый выговор и едва удержался на своей должности. («Утечка секретности!» — рассердился урядник.)

Большинство батрачило на никобаловском хуторе. Это было имение богатого купца Никобалова, за версту от Заполонного, на берегу Самарки. Недалеко от хутора — плотина и водяная мельница купца. Все это возвышенно называлось — Иерусалим. Так, вероятно, хотел хвастливый хозяин, но жители Заполонного в разговоре сокращали это слово — оно у них звучало просто как Русалим. За помол Никобалов брал по пять пудов пшеницы с воза.

Рядом с мельницей была маслобойня — «алейка», как называли ее прусковчане. Далеко слышны были громкие голоса приказчиков.

Сюда, на маслобойню, пошли Петро Ломако, братья Латушки и другие. Работа на мельнице — настоящий ад. Двенадцать часов в день! Поэтому к новой обстановке привыкали тяжело.

— Непонятная мне здесь жизнь, — тихо посетовал Ломако.

Ему никто ничего не ответил, — видимо, все были с ним согласны.

Левон сказал, что его обязанности — присматривать за лошадьми. У хозяина их полтора десятка.

— Ого! Как у нашего пана Подгурского! — не сдержался Михаль Тупчик.

— Мой хозяин не бедный, — подтвердил Левон, — все имеет.

— Хорошо быть богатым, — вздохнул Гомон.

— Работы много, но жить можно, — сделал вывод Левон.

Беженцы свернули цигарки, закурили.

— Земля хорошая, без навоза, говорят, все плодоносит: пшеница, арбузы, овощи... — Алексей Голенко о многом был уже осведомлен.

— Лук здесь — как огонь! — вставил слово небезразличный к луку Гомон.

— Не может такого быть, чтобы без навоза родила! — насторожился Михаль Тупчик.

— Выходит, что может, — сказал Левон.

— Мужчины все бородатые! — напомнил Гомон.

— Не бреются! — пожал плечами Михаль Тупчик. — Может быть, надо и нам отпустить щетину.

— Да я не о том! — махнул рукой Голенко. — Сильные все! Крепкие! Возьмет мешок на плечи и хоть бы что!

— Люди не плохие, — согласился Левон.

Поговорив и покурив, стали расходиться. Последним выходил Гришка Латушко. Чувствовалось, что он о чем-то хотел сказать.

— И я, и ты помним, — начал он уже в сенях, — что родители наши не слишком ладили, но это не означает, что мы не должны ладить.

Левон глянул на Гришку, как бы не узнавая односельчанина.

— А тогда, знаешь, когда ты был с Ганной, Трофим меня подговорил...

— Я догадывался, — тихо ответил Левон, — как-то будем жить...

В Заполонном доброжелательно отнеслись к беженцам, которые постепенно осваивались на новом месте. Понемногу приживались здесь и Кужели. Следует сказать, что в отношениях с прибывшими хватало теплоты и внимания. Начали получать помощь от беженского комитета. Давали хлеб, крупу, сахар.

Но свое, прусковское, не выходило из головы. Что там дома? В воскресенье Левон с Голенкой и Гомоном решили подойти к волости, где обычно собирались заполонновские мужчины. Улица шла от Самарки, поднималась вверх и в самом конце упиралась в площадь. Впереди, на горке, белела церковь. Напротив церкви, на противоположной стороне площади, стоял кирпичный одноэтажный дом на пять окон. Над окнами — вывеска с надписью:

ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ.

Волость обслуживала местные нужды — там, прусковчане уже знали, сидел писарь Кренделев. Изба его здесь же, невдалеке. Возле волости стояла толпа местных людей — крестьяне — в лаптях, валенках, армяках, зипунах.

— Ну, как делишки? — приветливо встретили они беженцев.

— Так себе, — неуверенно ответили прусковчане. К ним присоединился еще Петро Ломако.

Некоторые из мужчин уже хорошо выпили, были навеселе. Рядом с волостью стоит «Разгуляй» — корчма, которую здесь называют кабаком.

— Ваша родина теперь под ерманцем, — посочувствовал человек в теплом армяке, от которого шел густой запах конопляного масла.

— Наступает, холеры на него нет! — выругался Голенко.

Здесь же стоял тот самый плотный крепыш с черной курчавой бородой, который когда-то хвастался, что Заполонное всю Россею прокормит. Звали его Спиридон Верзилин. Глаза у Спиридона большие, выпуклые — удивленно и с недоумением смотрят на мир. Верзилин заговорил, и оказалось, что голос у него тонкий и даже писклявый:

— Все-то ты знаешь, Татьян, а про то, что твоя Ульяна к Похмелкину побежала, того ты не знаешь...

В толпе засмеялись.

Татион пробовал опровергнуть Верзилина, но присутствующие стали смеяться еще громче.

К толпе подошел староста Иван Милягин. Поздоровался.

— Иван Иванович! А кто такая, скажите на милость, Антантая? — начал Сисяйкин.

— Антанта — это согласие, — объяснил Иван Иванович, подняв вверх палец, — союз, чтобы ерманца одолеть. Россея, Франция, Англия теперь заодно. Да Сербия еще!

— Теперь немца вспугнут! — солидно кашлянув, с уверенностью сказал Гомон.

— Он газом, говорят, целые полки убивает! — присоединился ко всем старый знакомый прусковчан Миша, который навестил их в первый день приезда. Он слегка прихрамывал. — И не секрет, — добавил Миша, — многие генералы — из немцев.

— Говорят, что сама царица за них, — сказал кто-то сзади.

— Чего тут ожидать? Царица — немка, — искривил губы Фролка.

— Не тебе, молодому, об этом знать! — оборвал его староста.

— А к царице, слух есть, Распутин подлез!.. — выкрикнул широкоплечий и высокий молодой мужчина, стоявший позади.

— Ты уж, Саша, помолчал бы! — недовольно буркнул Илья Александрович, которого Левон сначала не приметил.

Тот, кого назвали Сашей, бросил семечко в рот, раздавил его зубами и выплюнул шелуху.

— Из Сибири он — конокрад, — оказал Сисяйкин.

— Из хлыстов он! — опять показал свою осведомленность Тати-он. — Есть такая секта. Ох, проказник!

— Конокрад, а любовницы у него — княгини, — повел бородой Сисяйкин.

— Княгини ведь тоже бабы, только, может, еще более бесстыжие, — снова отозвался Саша.

Все опять захохотали. Дошли, значит, и сюда слухи о Распутине.

— Про царя разговоры... — заговорщицки подмигнул Миша, как бы на что-то намекая. Он стоял, прикрывая шею воротником своей городской курточки.

Прусковчане как-то инстинктивно уклонялись от разговоров о политике, тем более про царя.

— Какие могут быть разговоры про императора! — возмутился Илья Александрович и повернулся к Мише: — Ты, Михаил, глупостей не говори!

— Звестно, царю тяжело, — заметил Милягин, который очень почитал царя и царскую семью.

Левон слушал бы еще, о чем говорилось в толпе (а жители Заполонного любили поговорить), однако нужно было торопиться к лошадям — надолго их без присмотра не оставишь. Работа нелегкая. Левон чистил стойло и не увидел, как в конюшню вошел Илья Александрович. Прусковчанин почувствовал, что кто-то на него смотрит.

На виду у хозяина Левон подбросил лошадям сена, подсыпал овса.

— Сена в этом году хватит! — сказал Илья Александрович. — И всего хватит! Кормов не жалей.

— Лишнее тоже не на пользу.

— Оказывается, ты умеешь трудиться! Ну, заканчивай, пойдем обедать!

Левон давно заметил, что если к человеку относишься хорошо, тогда и тот платит добром.

Перед обедом он вошел в светлицу. Стол уже был накрыт. Возле него хлопотали те же Домна и Тоня с Федоркой. Позвали Марылю.

Каждый раз перед тем, как сесть за стол, старательно молились, читали «Отче наш».

А на столе — всего — и жареного, и пареного, и печеного. Горою — пироги. С рыбой, с грибами, с капустой. И много блинов. Масленица. Блины боярские, царские, красные... Однако начали не с них.

— Щи! — закомандовал Илья Александрович.

Это то, что в Пруске называли капустой. Горячие, наваристые, они с мороза казались особенно душистыми и вкусными.

— Щи да каша — пишша наша, — озорно засмеялась Афанасья, даже заходила ее полная грудь.

Под щи выпили водки. Она стояла в зеленой бутылке посреди стола. Даже Афанасья глотнула рюмочку. Марыля и девчата отказались. Андрюшка не пил тоже.

— Ну, а теперь — пельмени! — объявила хозяйка. Пельмени прусковчане пробовали впервые, и они им пришлись по вкусу. Потом занялись блинами.

— Сухой блин горло дерет, — сказал Илья Александрович и положил сверху на блин ложку кетовой икры.

— Выпите ишо! — напомнила мужчинам хозяйка, кивком головы показывая на зеленую бутылку.

Мужчины выпили.

— Вкусные блины! — объявил Илья Александрович, закусывая блином водку.

— Сама пекла, на дрожжах. На этот раз просяной муки добавила.

Марыля также похвалила блины:

— Вкусные!

— А ты, я вижу, холостяк? — обратился Илья Александрович к Левону.

— Выходит, что да.

— Ничего! В Заполонном девчат много. Женим!

Все заулыбались. Марыля посмотрела на чубчик сына — уже увлажнившийся, прилипший ко лбу. «От блинов это или от волнения?»

— Жениться — не упасть: не поднимешься и не отряхнешься, — сказала она.

С нею все согласились.

На завершение подали гурьевскую кашу с маслом, яйцами и орехами.

Обед закончился чаем. Илья Александрович, выпив не десяток ли чашек этого удивительного напитка, ловко хлопнул себя рукой по круглому животу, который выпячивался из-под жилетки:

— Бог напитал, никто не видал.

После обеда разошлись немного отдохнуть. Кужели ушли на свою половину.

— Ну, у нас так и Подгурский не живет, — сказала Марыля.

Они помолчали.

— Сейчас мы тут, — вздохнула Тоня, — а Пруска где-то далеко, там, где заходит солнце…

Перевод с белорусского Михаила ПОЗДНЯКОВА.



КАЗИМИР КАМЕЙША

На родном крыльце

Отдавали мне предки...

Отдавали мне предки
По наследству ремесла,
Полноводные реки,
Лодки, снасти и весла.

Говорили мне строго,
Чтоб не смел оступиться
И берег свою стронгу,
Словно ока зеницу.

Мне желали здоровья,
Чтоб с работой справлялся,
Чтоб с родных Новиков я
Удирать не пытался.

Что давали навеки —
Век имело короткий:
Пересохли те реки,
Продырявились лодки.

У былого истока,
У заброшенной хаты
Я стою одиноко
Без вины виноватый.

* * *

Любил когда-то суету вокзалов.
Был креслом мне дорожный чемодан,
А в чемодане вкусно пахло сало,
Сидел — и сам себе и кум, и пан.

Зовет гудок — и ты уж на подножке,
В вагон запрыгнешь, станешь у окна.
Поклонишься неведомой дорожке —
Пусть будет не последняя она.

Колеса резво тарахтят на стыках
И отдаются музыкой в ушах.
Какой он, мир, — загадочный, великий!
Какая ты широкая, душа!

И мчусь сквозь ночь мечте своей вдогонку,
Как в наказанье за свои грехи.
Вот обнимаю в тамбуре девчонку,
Волнуюсь и читаю ей стихи.

Себя я ощущаю кавалером
И за дорогу столько ей навру,
Что сгоряча и сам я вдруг поверю
В свою замысловатую игру.

Душе моей в вагоне места мало,
И сердце бьется пламенно в груди,
А в чемодане вкусно пахнет сало,
И вся дорога жизни впереди.

Разбудит кто-то: «Друг, ты не проехал?»
Кто это будит? — Как тут не понять?!
Ведь нам невзгоды жизни — не помеха —
Нас будит время — не дает проспать!

На родном крыльце

Не верится — я снова дома —
Крутой песчаный берег наш,
Такой зовущий и знакомый,
В ячейках-гнездах, как мираж.

Я был взволнован и уверен,
Что встреча здесь меня ждала,
Но пуст и тих тот желтый берег —
Ни клюва там и ни крыла.

Мы ноги в речке сполоснули,
Слегка махнули по одной
И песню хором затянули
Про берега земли родной.

В седых кудрях смеялся ветер
И гладил тех, кто полысел.
Набалагурившись, под вечер
Мы разошлись по хатам все.

На сердце праздная истома,
И нету неотложных дел.
Я на крыльце родного дома
Совсем потерянный сидел.

Челнок по небу сонно плавал,
Звенела тишина в ушах.
Как быть? Смеяться или плакать?
Не знала мудрая душа.

Не плачь, души моей изнанка,
Что оборвался твой полет,
Что даже птица-бережанка
Свой берег здесь не бережет.

Баллада о крещеном снегире

Возникла тень в окошке среди дня
И смотрит на меня суровым оком.
Ксендз Тарасевич, что крестил меня,
Почудился мне в образе далеком.

И вспомнил, как в мороз гудит камин,
Идет война, страна готова к бою.
Дорога, что сужается, как клин,
Судьбы две нити тянет за собою.

Когда порвется тонкая одна,
Дай Бог мне за вторую ухватиться...
Всего через три месяца весна —
Ну, надо ж было мне зимой родиться.

Несутся сани — их не удержать,
Полозья вмиг сугробы разрезают,
Как два стальных отточенных ножа
Слезу, а может, искру высекают.

Мороз крепчает, путь еще далек,
И бубенцы звенят на всю округу,
А я качусь, как будто снегирек,
Заботливо укутанный во вьюгу.

Такая вот суровая пора,
Такой мороз, что даже снег дымится.
В такую пору — время умирать,
А мне вот время выпало — родиться.

Топите печку, не жалейте дров,
Идите в гости с миром к нам и с Богом.
Пусть будет снегирек наш жив-здоров —
Война пусть остается за порогом.

Перевод с белорусского Михаила КУЛЕША.



ВЕРА ЗЕЛЕНКО

Благопристойная жизнь

Роман

Идея собрать всех своих детей под одной крышей зародилась в голове у Ильина лет пять назад, в момент скромного празднования очередного юбилея. В тот день он почувствовал себя особенно молодым, успешным и даже в какой-то мере счастливым, он хотел разделить радость бытия со своими детьми, чье рождение он всячески приветствовал, к матерям которых когда-то был по-своему сильно привязан. Соблазн более чем зрелого возраста — потакать собственным изощренным прихотям.

Но сегодня, отдавая последние распоряжения на своей греческой вилле за несколько часов до начала грандиозного события, в день шестидесятилетия, очень элегантной даты в жизни состоявшегося ученого и просто человека, он вдруг невероятно пожалел о задуманном. Погорячился явно с этим юбилеем. Однако менять что-либо было уже поздно.

Во-первых, для него явилось полной неожиданностью желание Кати, матери двух его близнецов Павлуши и Верочки, сопровождать их в этой поездке во что бы то ни стало.

— Пойми, Катя, я собираю только детей, а не жен и любовниц! — раздраженно бросил он в трубку.

— В мои планы не входит ломать тебе праздник, дорогой Георгий. Просто я их еще ни разу не оставляла надолго без присмотра, тем более не отсылала одних за границу. Ты не должен беспокоиться — я зарезервировала себе номер в ближайшем отеле, — и она повесила трубку.

Вот так бывало всегда. С этой женщиной ему было особенно трудно. Он оставил Катю на пике ее влюбленности, с гулкой пустотой в душе, он видел ее слезы, ее мольбы. Нельзя сказать, что Катины страдания не ранили его, но поделать с собой ничего не мог.

Во-вторых, причиной его обеспокоенности явилась вполне здравая мысль, почему-то не пришедшая в голову раньше, что дети его выросли, по всей видимости, поумнели — а иначе они не были бы его детьми — и теперь вправе его судить, хочет он того или нет.

А самое главное — почему-то стало мерещиться, что данная встреча каким-то необъяснимым образом может угрожать безопасности Андрюши, да и Марины тоже. Мысль об этом мелькнула накануне ночью, когда он опять страдал от бессонницы. Он не поленился встать, налил стакан виски, залпом опрокинул его. Но и это не помогло. Марина, заснувшая на последних титрах фильма, дышала так тихо, так покойно, что ему, как всегда, захотелось прикоснуться к ее груди, чтобы почувствовать биение ее сердца. Она лежала рядом, смертно любимая им, свежая, безмятежная, полная доверия к нему и миру. Стало не по себе.

И вот теперь он собирался выставить их, самых любимых и дорогих, перед своими взрослыми и не очень взрослыми детьми, и они будут стоять

беззащитные и ранимые, как никто другой в этом мире, потому что любить больше, чем любит их он, невозможно. Он ни с кем не хотел пожизненного родства, только с женой и маленьким сыном. Он давно понял простую истину: тех, кого любим мы больше жизни, наша любовь делает уязвимыми. А люди между тем громоздят вокруг себя ад. Чужое счастье сводит их с ума.

Смогут ли другие дети понять его непростые чувства, смогут ли удержаться от ревности и, не дай бог, ненависти к самому младшему, самому обласканному и любимому, не ранить его неосторожным словом или жестом? У Марины, он полагал, наличествует хоть какой-то иммунитет.

Георгий неспешно прогуливался вдоль низкой каменной кладки, ограждающей территорию виллы от скалистого обрыва, хозяйским взором прошелся по мощеному дворику, утопающему в кустах цветущей глицинии, — ниспадающий водопад ее нежных соцветий всегда волновал его чрезвычайно, — бросил взгляд вдаль. Эгейское море в томной утренней дымке беззвучно катило свои волны к подножию скалы, верхушку которой венчала двухэтажная каменная вилла Ильина Георгия Сергеевича, или... дорогого Жоржа, как называли его многочисленные друзья и приятели. Друзья, безусловно, дорожили добрыми отношениями с Георгием, приятели не скрывали, что были бы счастливы перейти в категорию друзей, что, конечно же, льстило его самолюбию, однако не ускоряло процесс сближения... Ильин бесконечно гордился своей греческой виллой, самым последним и самым грандиозным своим достижением, разумеется, достижением из сферы материального. Именно здесь его жизнь обрела покой, ощущение полноты бытия и желание жить и творить дальше. А это значило много больше, чем красивое решение банального квартирного вопроса.

Все будет хорошо. В конце концов, он любил когда-то матерей своих детей, он мечтал о рождении малышей, он видел их будущее успешным, счастливым, свершившимся. Для этого он работал как проклятый — в той забытой богом стране, где работать можно было только на страну, а не на себя и своих детей. Он кропал диссертацию за диссертацией — дарил призрачное академическое счастье всем жаждущим элегантной научной карьеры. Платили ему деньгами, услугами, дружбой, а потом и... ненавистью. Еще бы! Он оставался живым свидетелем человеческой посредственности, и это в лучшем случае, в худшем же лицезрел законченную бездарность и, как правило, сопутствующую ей подлость. Но он не задерживался мыслями на человеческой неблагодарности. Он продолжал писать статьи в различные популярные журналы, спорил на острые научные темы в теледебатах, писал сценарии, не испытывая при этом страха самозванства, участвовал во всевозможных конференциях и форумах, — словом, жил напряженно и глубоко. Отточенное математическими дисциплинами, а главное, математической логикой, его абстрактное мышление становилось все более изощренным, шаг за шагом он поднимался на самую высокую ступеньку пьедестала, чтобы обрести, наконец, неограниченную свободу и возможность жить и творить так, как велят душа и разум.

Первой прибыла Валерия — плод незаконной его любви. Он обрел это дитя относительно недавно и еще не вполне совладал с мыслью, что у него на одного ребенка больше, чем долгое время он полагал. Девочка выросла независимой. Но без того глянца, который не уставала наводить на своих близнецов Катя. Иными слова, Георгий не чувствовал в ней той утонченности, которая присутствовала в Ариадне, в ее матери и которая была свойственна в той или иной степени всем его женщинам. Впрочем, других он не любил.

Когда такси остановилось у дома, он еще гадал, кто первым прикатил поздравить отца, но вот он увидел Анну, и все вопросы отпали сами собой. Вот так сюрприз! Еще одна головная боль! Анна пыталась спрятаться за тон-

кой фигурой выпрыгнувшей из машины дочери, во всем ее облике сквозили застенчивость и нежелание оказаться вдруг в центре внимания. Когда-то она была иной: излучала свет, и мягкую женственность, и уверенность в себе. Разлитой во всем ее существе негой она затопила его без остатка, так что он потерял способность сопротивляться и даже работать. Сейчас она стояла рядом с Валерией, такая же тонкая, как и дочь, со следами былой красоты, но в глазах уже была усталость.

— Папа! — бросилась на шею Лера — Ильину показалось — не без внутреннего сопротивления.

Господи, он никак не привыкнет к этому «папа», произносимому его детьми на все лады! Зябкое это все-таки чувство — заново обретать своих детей и снова и снова знакомиться с подросшими отпрысками.

— Гоша, прости меня, ради бога! — тихим задыхающимся голосом проговорила Анна. Промельк жестов, вспыхнувшая улыбка. Ильину показалось, он услышал легкую вибрацию почти забытой интонации. — Я без звонка, без предупреждения. Просто я никогда не была в Греции. Я вообще никогда и нигде не была. И я очень хотела увидеть тебя снова. Я не стану вам мешать. Я просто поброжу по берегу Эгейского моря, искупаюсь в его теплых водах.

Острая жалость полоснула сердце Ильина. Он и не подозревал, что еще способен на подобные чувства. Переждав волнение Анны и несколько преувеличенные восторги дочери, он деликатно прожевал губами:

— Э-э-э... Аня, в эту пору греки не купаются. Море холодное, да и солнце еще не слишком жаркое.

— Я закаленная, — голос ее дрожал.

— Я распоряжусь приготовить тебе комнату.

— Что ж, спасибо! — Анна старалась унять волнение. — А можно, мы с Леркой сначала спустимся к морю?

И они, обнявшись, как лучшие подруги, забыв о чемоданах, которые бросили тут же, посреди двора, словно уверенные в том, что теперь есть кому о надоевших чемоданах позаботиться, устремились к белой тропинке, круто убегающей вниз.

— День сюрпризов только начинается! — озадаченно, с долей раздражения в голосе бросил садовнику Ильин. Грек с усердием поправлял разросшиеся, дивные кусты струящейся, подобно волосам Мальвины, глицинии, или вистерии, как называют глицинию греки. — Ладно, поручу развлекать ее Гаврилычу. Однако что-то не торопится ко мне старый греховодник!

Плохо понимавший русский язык садовник только пожал плечами в ответ.

— Папа, папочка! — Андрюша бросился к отцу на шею, стал мягко пощипывать лицо наклонившегося к нему Георгия, собирая своими нежными пальчиками складчатую, морщинистую кожу вокруг глаз в веер, а потом разглаживая ее.

У них была такая игра. «Вот ты старый, — говорил ему сын, складывая пальчиками кожу, — а вот теперь ты молодой!» И разглаживал складки такими же нежными прикосновениями своих по-детски чувствительных пальчиков. Георгий Сергеевич в этот момент испытывал ни с чем не сравнимое чувство восторга, словно насыщался-напитывался животворящим эликсиром молодости.

Марина счастливо смеялась за спиной у сына. Она была необыкновенно хороша в это утро, впрочем, как и всегда. Ее душа излучала столько любви, всепрощения, тепла, он растворялся в этой женщине всецело, он испытывал блаженство, выше которого ничего нет.

— Уже кто-то приехал? — тихо спросила она, поеживаясь от утренней прохлады.

— Да, Валерия! Со своей матерью!

— С матерью? — голос Марины чуть дрогнул.

— Я Анну не приглашал. Так вышло.

— И где они? — поинтересовалась Марина, окончательно придя в себя.

— Первым делом решили спуститься к морю.

Марина приблизилась к Георгию вплотную, прильнула горячими влажными губами к его губам. Его на секунду бросило в жар. Он приготовился что-то сказать, она остановила его, приложив палец к его губам.

— Тебе вредно волноваться. Все хорошо. В конце концов, у тебя юбилей, и приглашено много гостей. Одной гостьей будет больше, только и всего! — И она направилась в дом, напевая мелодию из фильма, который они посмотрели вместе на ночь. Музыкальный слух у нее был отменный. Легкое, свободное платье едва касалось ее ног.

Следующим приехал Жоржик-младший. Это была точная копия Георгия, его абсолютный клон с полным набором его хромосом, так что донжуанство Ильина стало и для сына в каком-то смысле визитной карточкой. По возрасту Жоржик занимал то замечательное место между отцом и Андрюшей, когда и отцу он друг, и младшему брату товарищ. Если все этого возжелают, конечно.

Сын влюблялся во всех смазливых девиц, не пропускал ни одной, так что Аманда проплакала все глаза, — что было не совсем в испанской традиции, — уговаривая любимое чадо остепениться и подарить ей внука, хотя бы одного для начала. В этом было что-то очень русское, словно, пережив однажды сильнейшую страсть к человеку славянской культуры, она навсегда лишилась испанского темперамента. Жоржик-младший мать не слушал, а с отца глаз не сводил, насколько позволяли, стало быть, огромные расстояния, копировал его даже в мелочах. Может быть, конечно, это гены работали, а вовсе не подражательный пыл. И даже упражняться в написании прозы Жоржик начал благодаря отцу.

С Амандой Ильин познакомился буквально в первую свою заграничную поездку, на молодежном форуме в Мадриде. Вырваться из страны Советов, не будучи человеком преклонного возраста, к тому же номенклатурным чиновником, было огромной удачей. А удачи, как известно, не приходят сами собой, над ними приходится долго и упорно трудиться. У Ильина уже было кое-какое международное имя, смелые статьи в научных журналах, где он выдвигал, на первый взгляд, совершенно абсурдные гипотезы сотворения мира. Им был написан фантастический роман и даже поставлен по нему спектакль в одном из скандальных столичных театров. К слову, идеологические акценты в спектакле были расставлены верно, что явилось скорее заслугой режиссера, однако приписано было ему как автору, следовательно, в глазах власть предержащих он выглядел вполне благонадежным. В общем, перед ним загорелся зеленый свет.

И хотя потом он бесконечно оправдывался перед всеми, что влюбился в Аманду с первого взгляда, — а она действительно была хороша: легкая, чувственная, раскрепощенная, — никто ему так до конца и не поверил, слишком уж сильны в стране были диссидентские настроения.

Аманда подарила ему мир, свободу передвижения, а потом еще и Жоржика-младшего, за ростом и развитием которого он наблюдал с любопытством постороннего. И хотя в Жоржике он различал свои, чаще всего не самые лучшие черты, неким внутренним посылом сын разительно отличался от отца.

...На горизонте показалась яхта со знакомыми очертаниями. Неужели Славка, каналья, все-таки соизволит причалить к его афонским берегам, разделит с ним радость или печаль, — все зависит от точки зрения, которая имеет, собственно говоря, право меняться в зависимости от обстоятельств жизни, — разделит радость или печаль круглой, будь она неладна, даты?

— Отец, — прервал его размышления Жоржик-младший, говорил он с очень сильным акцентом, да это и немудрено: отца, единственного русского в своем окружении, он видел крайне редко, — я тут начал писать сценарий. Хотел бы получить от тебя пару дельных советов или даже, возможно, секретов, как сколотить прочную основу будущему фильму.

Ильин с тоской посмотрел на сына. Парню тридцать лет, а он еще только нащупывает свой путь. Ему бы в кино сниматься с такой фигурой, лицом небанальным — чувствуется его, ильинская порода, а уж взгляд вообще с ума свести может. А он туда же... писака!

— Ты хочешь знать, как мимоходом наваять шедевр? Послушай, Жорж, я тебе уже как-то говорил: не ищи трудных дорог в жизни. С такими губами тебе женщин целовать, а ты... писать, для писательства совсем иной захват пространства должен быть, иной замес души. Хочешь, поговорю с Кевином? Получишь маленькую роль, тебя заметят, потом чуть больше слов произнести доверят и так далее. А писать сценарии — это не для тебя, сценарии пусть пишут неудачники, которым на экране и светиться-то нельзя, настолько уродливы их лица.

Он поддразнивал сына, разговаривал с ним, словно с мальчишкой, и все ждал, что тот взорвется в ответ, — словом, провоцировал его на проявление каких-то сильных мужских эмоций. Но Жоржик то ли не был способен на сильные эмоции в принципе, то ли не хотел обидеть своего знаменитого отца, которого видел не слишком часто и потому дорожил всякой минутой общения с ним.

— Ладно, слушай, — Георгий обнял своего взрослого сына, — конфликт, лежащий в основе любого творения, может быть нереальным и даже алогичным, но он должен быть с мощным внутренним посылом, очищающей компонентой и торжеством разума, я бы даже сказал... — он обернулся на шум подъезжающего автомобиля, увидел Ариадну на переднем сидении и понял, что больше ни слова не скажет на тему писательства, по крайне мере, сегодня.

Он уже обнимал Ариадну, свою первую и самую взрослую дочь, которая вполне годилась в старшие сестры его теперешней жене. В этот момент на ступеньках роскошного ильинского дома снова появилась Марина, охватила всех присутствующих быстрым, проницательным взглядом, на секунду задержалась глазами на Жоржике-младшем, как-то внутренне просветлела, улыбнулась приветливо Ариадне и ее девятилетней Дарье, не спеша спустилась вниз, легкой походкой преодолела пространство между домом и Георгием, окруженным детьми, всех по очереди обняла, всех перецеловала. Затем припала к груди Георгия Сергеевича, нежно поцеловала и его, тем самым словно дала всем понять: смотрите, мол, к какой замечательной семье вы имеете счастье принадлежать. Однако Ариадна истолковала, как всегда, все по-своему: это Марине выпала удача влиться в их большую и очень известную семью.

Виновник намечающегося торжества внезапно почувствовал такой внутренний подъем, такое воодушевление, словно вот только сейчас понял, какой же он все-таки баловень судьбы, какой счастливый человек. Жизнь состоялась: и творчески он взлетел на недосягаемую высоту, и женщинами был нежно обласкан, и дети выросли замечательные. Хотя и не всегда он был рядом с ними. Да разве в этом дело?! Он подарил им жизнь! Что еще можно к этому добавить?! Все талантливы, красивы, все слетелись по первому зову. А уж в Андрюше он вообще души не чает. Это дитя по жизни идет рядом с ангелом. Марина же самая сильная, самая последняя и потому несокрушимая его привязанность.

— Ариадна, идем, я провожу вас в дом! — Георгий ласково приобнял дочь. — Ваша комната на втором этаже, все готово к вашему приезду со вчерашнего дня. Примите душ, и я вас буду ждать к завтраку.

Дарья плелась сзади, норовя оглянуться, споткнулась, чуть не упала, но все-таки удержалась на ногах.

— Вот неуклюжее дитя! — в сердцах воскликнула Ариадна.

«А все-таки она очень нервная, — подумал о дочери Ильин. — И на лице вечная маска. Небось, снова сделала очередную пластику. Верхняя, особенно пухлая, губа неестественно задралась, глаза стали круглыми, выражение лица застылое». Георгий Сергеевич иногда смотрел ее передачи, если вдруг выдавался свободный вечер, что, конечно же, случалось нечасто. Разве что Марина вдруг убегала в филармонию, на заезжую знаменитость, предварительно пристроив Андрюшу к своей матери, и тогда Георгий начинал слоняться по огромной московской квартире — без Марины он и работать не мог.

Поначалу все интервью Ариадны, тонко задуманные и весьма профессионально сделанные, очень нравились Ильину, в них был изыск и обаяние. Но позже она стала работать штампами, приемы стали казаться заезженными, вопросы звучали двусмысленные. В конце концов она скатилась до манеры желтой прессы, задавала в лоб нелицеприятные вопросы, долго мусолила щекотливые темы, и этому уже не могло быть оправдания. Легкость ушла, а вместе с ней и шарм. Она стала много курить, возможно, научилась коротать вечер за бокалом вина, голос ее огрубел, талант обольщения был утрачен. Поток влюбленных мужчин, по слухам, стал иссякать. Вот, слава богу, Дарьей обзавелась.

Когда они пересекали огромную гостиную на первом этаже, обставленную в греческом стиле, справа и слева на них смотрели со своих мраморных постаментов античные фигурки греческих богинь. Даша от восхищения даже подпрыгнула на широких закругленных ступенях лестницы, ведущей на второй этаж, так что едва не задела великолепную напольную вазу, и Ариадна со злостью шлепнула ее сзади, прошипев: «Да угомонись ты наконец!»

И хотя в душе у Ильина появилось некоторое напряжении — неужели это угловатое дитя все перебьет в его роскошном доме, — он и виду не подал, что что-то беспокоит его.

В великолепно и со вкусом обставленной комнате, которую он еще вчера распорядился подготовить для Ариадны, он тотчас устремился к широкому, во всю стену, окну, распахнул его одним движением — комната мгновенно наполнилась запахом моря, цветов, свежести.

— Однако Гаврилыч уже рядом, — с довольным видом произнес он. — Узнаю его посудину.

— Неужели дядя Слава порадует нас своим присутствием?! — с ликованием в голосе воскликнула Ариадна. — Господи, сколько лет я не видела его? Как же я рада! Дарья, погляди, вон на той яхте плывет самый добрый в мире человек. Папа, помнишь, как ты сбывал ему меня на вечер, когда ехал к очередной своей подруге?

— Ну будет, будет вспоминать такое, чего никогда и не было, — и он скосил взгляд сначала на Дарью, потом на дверь. Не ровен час, Марина покажется.

— И мы с ним отправлялись в цирк, на каток или к его подруге. Вот почему-то дядя Слава не стеснялся водить меня к своим подругам. Папа, можно только одну просьбу?

«Начинается», — с тоской подумал Ильин.

— Сколько? — невозмутимо произнес он.

— Совсем немного. Тысяч десять. Я все верну. Ты же видел мои последние интервью? С примадонной Мариинки?

— Ариадна, я никогда тебе не говорил, но сейчас скажу. По-дружески. Позволю дать тебе совет. Как бы ты ни желала обнажить человека перед зри-

телями, сама примера не подавай — душевным эксгибиционизмом не занимайся. Ищи другие приемы. Иначе наступит момент, и ты ощутишь крах.

— И это говоришь мне ты, самый открытый и самый искренний?

— Я приоткрываю лишь то, что готов и хочу приоткрыть.

— Я подумаю об этом как-нибудь на досуге, — и она замолчала чуть обиженно.

— О деньгах не беспокойся. Жду вас с Дарьей внизу.

...Ильин отпил глоток свежевыжатого апельсинового сока, принесенного Мариной из кухни, поставил стакан на поднос. Впервые он не почувствовал его вкуса, более того, сок показался горьким, словно постоял в тепле какое-то время. Он мог бы поклясться, что Марина выжала его пять минут назад, но это ничего не меняло — сок был не таким, как всегда.

Наверно, нервничаю все же, — подумал он и тяжело поднялся. Пора было идти на пристань.

— Кто со мной? — бросил он клич.

Вся семья высыпала на берег встречать дорогого дядю Славу.

Марина, Ариадна облепили его с двух сторон, едва старый морской волк ступил на берег. Как летит время, однако! Этот облезлый старый черт, который и моря-то до сорока лет не знал, успел превратиться в настоящего морского волка. Дарья все норовила повиснуть у Гаврилыча на руке, а Андрюша колобком катался у всех под ногами.

Георгий с улыбкой наблюдал эту счастливую картинку. Он и сам в это мгновение любил весь мир безмерно, любил своего старого приятеля и всю свою огромную семью. Он приобнял Жоржика, сиротливо стоявшего рядом, прошептал на ухо:

— Не унывай, парень! С таким отцом, как у тебя, с такими друзьями-приятелями, как у отца, пропасть тебе в этом мире никто не позволит.

Все были в сборе, кроме Валерии и Анны. Георгий забеспокоился, куда пропали милые дамы, и это беспокойство перебило вдруг остро возникшее чувство неуютности при мысли о том, как же он будет лавировать между многочисленными своими женщинами и детьми. А ведь еще не прилетела Катя со своими близнецами.

Ладно, пора сделать последние распоряжения по поводу торжественного ужина. Работа на кухне кипит, официанты накрывают столы в гостиной. Георгий самолично составил меню, он выбрал самые изысканные блюда, которые пробовал когда-либо в Греции. Вот только нарастающее чувство тошноты не позволяло всецело отдаться радостному предвкушению праздника. С чего бы такое мутное, ни на что не похожее ощущение дискомфорта?! При его отменном здоровье, при его замечательном оптимизме и выверенном образе жизни?

В четыре прямо из аэропорта Салоников со своей неизменной киношной свитой прибыл Кевин Кларк. Еще через час прикатил Майкл Адамс с умопомрачительной мулаткой. Следом приехал Яннис Метаксас, архитектор из Салоников, впрочем, он, скорее всего, прикатил из «Алескандрос Палас» — отеля на противоположном берегу, который располагался у самого основания Афона, третьего пальчика полуострова Халкидики. Музыканты появились дружно — слава богу, ждать их не пришлось.

За час до начала торжества из подъехавшего такси вынырнули Павлуша, Верочка и заметно похудевшая Катя. Он перецеловал их всех по очереди, но заняться ими вплотную теперь не было никакой возможности, он перепоручил их Жоржику, сам же повел Кевина и Майкла обозревать свой великолепный дом, предмет особой гордости. Славка, слава богу, все понимал, внимания не требовал, собственно, он в нем и не нуждался.

...Марина решительно взяла Андрюшу за руку, отвела в детскую, усадила рядом на широкий диван, чмокнула в макушку, предложила книжку на выбор. Она любила эти часы и минуты наедине с ребенком, любила возиться с ним, отвечать на каверзные вопросы. Ее радовал живой мальчишеский ум, блеск в глазах, интерес ко всяким мелочам, которые, собственно, и должны занимать мальчишку. Но сейчас у нее не было и пяти минут, чтобы посидеть рядом с сыном, всецело отдаться счастливому общению с самым любимым человечком на свете.

Как только Андрюша потянулся за книгой сказок, Марина быстрым, ловким движением руки позвонила Тане, Андрюшиной юной няне и гувернантке в одном лице, продолжая обнимать сына. Мальчик на минуту замешкался, потянулся рукой к лицу матери, но Марина что-то шепнула ему на ухо, и он просиял навстречу появившейся в дверях Танечке. Он был по-своему привязан к своей белокурой воспитательнице, иногда, правда, обижался на нее, даже злился, если она настаивала на занятиях математикой, но как правило, бывал рядом с нею в веселом расположении духа — она не давала ему возможности чувствовать свое одиночество, свою отделенность от вечно занятых собою родителей.

Марина выскользнула из детской, направилась в спальню, по пути на минутку остановилась на террасе, чтобы бросить еще один взгляд на море, еще раз почувствовать легкий укол счастья, в котором они с Георгием просто-таки купались все последние дни и месяцы их совместной жизни. Сегодня она, несмотря ни на что, пребывала в особенно хорошем настроении. Может быть, все дело было в том, что и дорогой Георгий Сергеевич, ее замечательный, умнейший, самый тонкий и самый блистательный Георгий Сергеевич, испытывал сегодня невероятный душевный подъем. Марину даже не огорчило нашествие его многочисленных жен и детей, которым он вынужден будет уделять внимание — ровно столько, чтобы не прослыть зачерствевшим отцом. Пожалуй, ей было даже забавно наблюдать за всеми, за тем, как будут они выпутываться из столь затруднительного положения.

Присутствие Жоржика-младшего, как две капли воды похожего — судя по фотографиям — на Георгия в молодости, и вовсе вселяло надежду на прекрасный вечер. Ей было любопытно представить Георгия молодым, еще не избалованным славой, деньгами, женщинами, немного рассеянным от того небывалого количества проблем, научных, творческих, житейских, которые он всегда, она полагала, вынужден был решать одновременно и, возможно, именно по причине вечного цейтнота решал лучшим для мира способом. В общем, Марина уже успела каким-то неизъяснимым образом привязаться к Жоржику и начать мысленно опекать его. Она чувствовала его неуверенность, силу его притяжения к отцу, его потребность в сильном и родном человеке, его жажду хоть в какой-то мере повторить жизненный успех Георгия.

Марина открыла дверь своей спальни, но тут услышала возню в другом конце коридора, увидела Катиных близнецов, улыбнулась, сделала шаг в их сторону, но передумала и нырнула в прохладу своей замечательной комнаты.

Она распахнула дверцы совсем не маленького своего гардероба, прошлась рукой по его внушительному содержимому. Многочисленные вешалки-плечики, на которых ждали своего часа изысканные наряды, словно зубья расчески, упруго скользили под пальцами чуть вытянутой руки. Марина не хотела никого удивлять ни дорогим нарядом, ни великолепными украшениями, которые Георгий ей дарил с неизменной щедростью к знаковым датам их совместной жизни, но она точно знала, что платье должно подчеркнуть ее стройную фигуру, высокую грудь, по-девичьи тонкую талию и красивые ноги. Словом, все! Она искренне посмеялась над собой, над своей уверенностью в собственной неотразимости. А еще все должны увидеть, какая изумительная

у нее кожа. Пожалуй, она остановится на сером шелковом платье на бретелях, с высоким боковым разрезом. Скоро придет парикмахер, а пока можно принять душ и выпить чашку фраппе — холодного кофе по-гречески.

Марина села за белый сияющий рояль — одно из последних приобретений Георгия, — откинула тяжелую крышку. Господи, как давно она не играла! А ведь когда-то она не могла прожить без музыки и дня. Она пробежалась рукой по клавишам, едва касаясь их прохладной матовой поверхности, в надежде притянуть то сладостное ощущение, что охватывало ее прежде всякий раз при встрече с настоящей музыкой. Она попыталась вспомнить хоть что-то из обожаемого ею Баха, но увы... Ничего... Проклятое ремесло. Если ты не отдашь ему всю себя без остатка, оно будет мстить тебе жестоко.

Молодая женщина взяла в руки семейный портрет, что стоял тут же, над пюпитром. Андрюше здесь годика три, не больше. Очаровательный малыш. Сердце Марины наполнилось гордостью. Какого ангелочка она явила на свет божий! Голубые глаза, светлые волосы, обаятельная улыбка. От него исходит сияние. А вот здесь они вчетвером — их удостоил визитом Жоржик-младший. Славный малый, рожден для побед.

...Катя страшно нервничала. Еще в Москве ей стало ясно, что не следовало сопровождать детей на юбилей к Ильину, но билеты были куплены, визы оформлены, осталось плыть по течению. Георгий пригласил только Павлика и Верочку, но ведь она не могла бросить их одних. Они глупые, смешные десятилетние сорванцы. Они единственное, что примиряет ее с действительностью. Она их любит просто безумно.

На месте Марины должна была быть она, Катя. Ведь больше, чем Катя, любить этого ужасного человека просто невозможно. И вот теперь она здесь. И надо пережить этот день, этот вечер, не потерять свое лицо, не выглядеть униженной и жалкой. Сейчас она возьмет себя в руки, примет душ, выберет одно из трех платьев, сшитых специально для этого случая. В конце концов, вкус у нее отменный, это все отмечают, кому посчастливилось иметь с нею дело. В конце концов, она дизайнер, пусть по интерьерам, — в московских кругах с нею считаются, а значит, в науке, как себя преподать, ей нет равных.

Верочка с Павликом затеяли потасовку. Они все время демонстрировали друг другу свою независимость и в то же время долго обходиться друг без друга не могли.

— Вот я расскажу папе, что ты меня все время обижаешь, — тоненьким голосом выводила Верочка. — Ты ведешь себя как грубиян.

— А ты ябеда и вредина! — возражал Павлик. — Я тоже папе расскажу, как тяжело мне жить в вашем бабьем царстве.

Сердце у Кати болезненно сжалось. Дети считают, что дороги отцу. Раз он позвал их в гости. Он думает, верно, о них день и ночь.

Ей хватило одного мимолетного взгляда, чтобы понять, что сердце Ильина вовсе не такое безмерное, чтобы вместить в себя любовь сразу ко всем своим детям. Там царит один лишь Андрюша. И лишь одной женщине место в этом сердце. Это видно было невооруженным глазом.

Катя никогда не простит себе этой поездки. Если бы она приехала одна, она бы выскользнула из этого враждебного дома, так что ни одна живая душа не догадалась бы о ее исчезновении. Но с детьми она так поступить не могла. Дети были на верху блаженства, особенно Верочка. В широкое окно своей комнаты они видели отца, дававшего последние распоряжения перед началом праздника.

...Анна едва поспевала за скачущей по ступенькам Валерией. Длинноногая и угловатая, она ухитрялась пропустить ступеньку, а то и две, демонстрируя неожиданную при ее угловатости ловкость и даже некоторую грацию.

Сама Анна, почти ровесница Ариадны, старшей дочери Ильина, закончила когда-то минское хореографическое училище и все еще имела право гордиться своей фигурой, утонченностью манер, отточенностью плавных движений. Когда-то она танцевала в кордебалете самой известной московской дивы, где ее, собственно, и заприметил свободный в ту пору Ильин.

Впрочем, он никогда не считал себя обремененным какими-либо обязательствами перед своими женщинами. Это теперь он стал образцовым семьянином, преданным мужем и сумасшедшим отцом. А в пору знакомства с Анной он был всецело поглощен ее неброской, но вполне очевидной красотой. Таких дивных ног, такой матовой кожи не было ни у одной из его подруг. Он сходил с ума по этой женщине, он караулил ее после концертов, так что даже сама дива, хорошо знакомая с Ильиным, слегка подтрунивала над ним, что это, мол, он, бедолага, не ее, неповторимую звезду, выбрал для счастья, а всего лишь тонконогую и бедную красотку из подтанцовки. Дурной вкус у тебя, парниша, невоспитанный. Приходи, мол, ко мне в студию, позанимаемся, смотришь, и вкус твой выправится.

А Ильин засыпал счастливую Аннушку корзинами цветов, завлекал ее в номера-люкс самых шикарных московских гостиниц, сулил ей прекрасное будущее. Господи, какой глупой, какой наивной она была! Верила всем его посулам, мечтала стать актрисой и при этом родить ему кучу детей. В общем, мечтала о вещах несовместимых. Так все и вышло. То есть, ничего не получилось. Он исчез в одночасье, не обозначив ни причины, ни даты отъезда. О дочери узнал много лет спустя. Он и Аннушку, прежнюю, волновавшую его до истомы, едва разглядел в той простоволосой, скромной женщине, какой она перед ним вдруг предстала. Вот только глаза ее были те же.

Лерка соскочила с последней, самой высокой ступени на землю.

— Мама, смотри, море! Настоящее море! — голос ее ликовал.

Она сбросила на бегу сандалии, ноги сразу же стали увязать во влажном песке, а еще через минуту волны, разбивавшиеся на множество мелких барашков, обжигали прохладой ее ноги.

— Ой, холодно! Мама, я не буду сегодня купаться.

Анна с наслаждением прошлась босиком вдоль кромки моря, вода приятно бодрила, пробуждала счастливые воспоминания.

— А я, пожалуй, окунусь. Думаю, градусов пятнадцать все-таки будет.

— Мам, может, не стоит?! Еще заболеешь! Как я тебя из самолета в Минске домой потащу?

— Лерка, ты же знаешь, я закаленная. Вот только жаль, купальник не захватила!

И Анна быстрым и ловким движением стянула с себя джинсы, короткую, приталенную, отделанную мелким жемчугом блузку, осталась в узких кружевных трусиках и таком же изящном лифчике.

— Мама, какая же ты у меня красавица! — ахнула дочь.

— Не преувеличивай! Мама как мама.

— Неправда! Я только здесь, на берегу моря, увидела — у тебя тело богини. Жаль, ГээС не видит тебя сейчас.

— Не ГээС, а папа. Твой папа!

— Не обижайся, ради бога, только я не могу воспринимать ГээС как отца. Я все понимаю. Ты любила его когда-то, ты любишь его и теперь. У тебя родилась я. Но у него есть Андрюша и Марина. И он для них отец и муж.

— Слушай, Лерка, не слишком ли ты умная для своих тринадцати лет?! Вот отведу тебя в школу, где детей учат быть глупыми, — и Анна обняла рукой дочь, чмокнула в макушку, поднявшись для этого на цыпочки.

— Не смеши! Нет таких школ, — и Валерия подтолкнула свою так и не повзрослевшую за долгую жизнь мать в сторону набегающей волны.

Вода тысячью ледяных иголок вонзилось в бледное тело Анны, лишь только она решилась нырнуть. Пожалуй, было бы неплохо проплыть хотя бы метров сто. Женщина уверенными движениями рванула к буйку и... даже не сразу поняла, откуда появился этот далеко не юный человек в абсолютно безлюдном пространстве.

— Браво! — глухо воскликнул он между коротким вдохом и долгим выдохом. — Я восхищен. Разрешите представиться: Яннис! — сильный акцент выдавал потомка Древней Эллады.

— Анна, — прерывисто дыша, произнесла женщина, все еще соображая, откуда и зачем черт принес этого немолодого человека. На всякий случай она обернулась к берегу, сидит ли там, на одиноком лежаке, ее Лерка, все-таки свидетель, если что.

Валерия как ни в чем не бывало чертила что-то прутиком на мокром прибрежном песке.

— И откуда появилась в наших краях столь прекрасная, сколь и удивительная любительница экстремальных заплывов? — витиевато — учитывая место знакомства — поинтересовался грек. Надо отдать этому Яннису должное: по-русски он говорил весьма прилично.

— Мы с дочерью прилетели из Минска, — коротко ответила Анна, прикидывая в уме, как быстрее отделаться от незнакомца.

— Минск — замечательный город, мне приходилось в нем бывать.

— У отца моей дочери сегодня юбилей, — как на духу вдруг выпалила Анна. Может быть, упоминание об отце остановит любителя скорых знакомств.

— Что ж, замечательно. А я архитектор. У меня в Фесалониках небольшой архитектурный бизнес.

— В Фесалониках?

— Ну да! Это вы, русские, перекрестили наш славный город, упростили его название до Салоников. Кстати, я проектировал здесь, на Афоне, отель «Александрос Палас». Это в получасе ходьбы отсюда, от Неа Рода. Вы наверняка не знаете, здесь самое узкое место на Афоне, то есть третьем пальчике Халкидики. Вы будете двигаться вглубь полуострова, а через полчаса снова окажетесь у воды. Новичков это, как правило, обескураживает. Приглашаю вас как-нибудь взглянуть на мой отель. В определенном смысле я горд своим творением. Впрочем, этот отель, другой ли, все это мое ремесло, не более, результат зависит исключительно от суммы финансирования. Так что добро пожаловать!

Все это Яннис изложил уже на берегу, кутаясь в огромное махровое полотенце. В то время как Анне пришлось натягивать одежду на мокрое, мгновенно покрывшееся гусиной кожей тело. Она позавидовала его предусмотрительности.

— Спасибо! Мы с дочерью приехали всего на неделю, — Анна кивнула в сторону продолжавшей как ни в чем не бывало что-то чертить на песке Валерии. — Но если вы настаиваете, мы обязательно заглянем.

Вот хорошо все же, что она не одна. Трудно будет истолковать их визит иначе как проявление простого человеческого расположения. Анна обязательно навестит этого слишком общительного грека. Будет что рассказать подругам.

...После пропущенного перед выходом, первого за вечер, стаканчика виски — для расслабления, разумеется, ибо нервишки начали пошаливать, ситуация сложилась нестандартная, хотя, если честно, нестандартной была вся его жизнь, чем он порой невероятно гордился, — Георгий зашел за Мариной, поцеловал ее виновато в обнаженное плечо, с наслаждением вдохнул аромат любимой женщины, подхватил ее, уже готовую к выходу, под руку и повел вниз, к гостям.

Он почувствовал, как она напряжена, как не знает, куда деть свои изумительные руки, какой взгляд сотворить на лице. Так они и вышли: она, растерянная и красивая, со сверкающей гладкой кожей, и он, еще вовсе не старик, скорее даже шикарный мужчина в расцвете своего творческого, всеми признанного таланта, блестящий эрудит, оратор, глубокий ученый и, наконец, изысканный ценитель женской красоты.

Гости были в сборе и встретили юбиляра самыми искренними аплодисментами. Георгий охватил взглядом просторную гостиную, заполненную дорогими ему людьми, выхватил на мгновение Катю и Аннушку, остался весьма доволен: все-таки необыкновенных женщин выпало в жизни ему любить, даже в зрелом возрасте они сохранили несомненную привлекательность и неброскую, неяркую, но такую чувственную красоту, что дай бог всякому встретить в жизни подобных женщин. Рядом с Анной он узнал Янниса, местную архитектурную знаменитость. Неделю назад он пригласил его на юбилей.

Ариадна стояла чуть в стороне, она потянулась за бокалом шампанского, который одиноко высился на подносе у смазливого малого, и было понятно, что уже проскочило нечто между ней и смуглым, в коротких завитках смольных волос официантом. Этого еще не хватало! Ее накачанные гелем губы выглядели более рельефными, чем обычно, но как ни странно, после стакана виски они не казались Георгию столь безобразными, как в момент встречи.

Жоржик был занят детьми, веселой стайкой они облепили старшего брата, прыгали, теребили его беспрестанно, что-то спрашивали и, не дождавшись ответа, спешили сами что-то важное ему сообщить.

— Ну что ж, мои дорогие! — Георгий, наконец, отпустил Марину, которую до сих пор крепко держал под руку. Он протянул обе руки к гостям, словно хотел заключить всех в объятия. — Я бесконечно счастлив приветствовать вас в моем греческом доме. Я вас всех очень люблю и прошу, хотя бы на вечер, забыть о том грустном поводе, ради которого мы все здесь собрались. Вот доживете до моих лет и только тогда, может быть, поймете, какое мужество надо иметь, чтобы так долго жить и иметь смелость при этом и право что-то вещать миру! — кокетливо произнес Георгий, приглашая присутствующих отдать должное его ясному уму, подтянутому телу, завидной работоспособности, восхитительному чувству юмора, а главное — умению и желанию жить и радоваться жизни.

Гости верно истолковали скрытый призыв и с возгласами подлинного восторга потянулись своими наполненными бокалами к бокалу славного юбиляра. По гостиной разлился мелодичный звон тонкого хрусталя.

— Прежде чем пригласить всех к праздничному столу, хочу порадовать вас, дорогие мои, великолепной музыкой, которую исполнит для вас потрясающий квартет. Вот они, перед вами, мои замечательные друзья, дружбой с которыми я невероятно горжусь. И не удивляйтесь такому количеству превосходных эпитетов, мои друзья заслуживают только лестных похвал. Пока они будут рассаживаться перед пюпитрами, прошу и вас, дорогие мои гости, занять места в нашем импровизированном зрительном зале.

Пока гости решали, как и с кем им сесть, Дарья таки разбила древнюю или сработанную под таковую очень красивую вазу. Ариадна вспыхнула внутренне, но виду не подала. Представила на мгновение, как отец со сдержанным гневом упрекает ее в дурном воспитании дочери, и решила держаться стойко во что бы то ни стало. Не даст она никому повода унизить себя. Ильин, конечно, все заметил: и как затряслась от ужаса Дарья, и как напряглась Ариадна, и как по залу пролетел протяжный общий вдох, но как ни странно, он тут же смирился с потерей. В конце концов, он уже в том возрасте и на той

ступени осмысления бытия, когда все материальное меркнет перед взлетами и падениями напряженной жизни человеческой души.

Музыканты играли Грига. Гости, привыкшие и не к таким поворотам сюжета, казалось, все же оробели. Вот только приготовились облобызать юбиляра, вручить подарки, сорвать свою долю комплиментов, ну и, конечно, отдать должное всем женам и детям Георгия, чтобы чуть позже начать потихоньку накачиваться спиртным, были вынуждены мужественно воспринять паузу, отведенную высокому искусству. И все же с первыми прозвучавшими тактами большинство из присутствующих оценили уместность и даже необходимость музыкальной прелюдии. Народ как будто чуть-чуть обмяк, обуздал на минуту безудержный бег своих плотских желаний, спохватился: а может быть, и в самом деле все не так бездушно и не так откровенно в нашей непростой жизни. Взять, к примеру, фильмы того же Кевина, который своим присутствием почтил юбиляра. Все его фильмы по праву вошли в золотой фонд мирового кинематографа. Они были о торжестве человеческого разума. Кевин слушал музыку, закрыв глаза и не шевелясь. Его в высшей степени одухотворенное лицо излучало некий внутренний свет.

У Ариадны, однако, было несколько иное мнение о творчестве Кевина. Вот если бы его фильмы были бы так же интеллектуальны, как и его лицо, — с сарказмом думала она, глядя на Кевина, — пожалуй, можно было бы в него влюбиться. Вот только староват, пожалуй, немного. И она стала искать взглядом куда более простое — в смысле внутренней жизни, — но куда более юное и прекрасное лицо мальчика-грека, поправлявшего что-то на праздничном столе, уголок которого она видела в широкую арку, соединявшую гостиную с террасой.

Тихий храп со свистом, идущий откуда-то сзади, вынудил Ариадну оглянуться и поискать взглядом источник столь неуместного в данный момент звука. Она зацепила взглядом Гаврилыча и чуть не поперхнулась от смеха: дорогой дядя Слава выдавал такого храпака под чудные звуки Грига, что ей не осталось ничего другого, как показать знаком обескураженной Кате, сидевшей рядом с Гаврилычем, чтобы она срочно растолкала старика.

Катя улыбнулась виновато, осторожно потянула Гаврилыча за рукав, прошептала ему на ухо:

— Гаврилыч, проснись! Пропустишь самое главное. И танцевать мне будет не с кем, так как тебя выставят сейчас за дверь.

Гаврилыч не сразу сообразил, где он и зачем находится, но сообразивши, оценил Катину тактичность.

— Катя, девочка моя, я всегда тебя любил и продолжаю любить. Вот просто у нас с тобой жизни не совпали. Когда ты стала свободной, я уже по уши влип в семейный бизнес моей последней испанской стервы.

Катя улыбнулась уголками губ.

— Ладно, Гаврилыч, потом расскажешь. А сейчас я хочу послушать Грига.

Верочка с Павлушей сидели рядом притихшие и даже не тузили друг друга. Они растерялись от обилия чужих людей, они не знали, как реагировать на папину отдельность, на его холодный взгляд, обращенный к ним, и на то, как этот взгляд теплел, лишь только он начинал говорить с Андрюшей.

Андрюша с Мариной сидели рядом с Георгием Сергеевичем за высоким столиком, который располагался в центре гостиной, чуть ниже выступающего полукруга, обозначавшего сцену. На сцене играли музыканты, Георгий Сергеевич торжественно внимал им. Теплый свет откуда-то сверху лился на музыкантов, на столик, за которым сидел Георгий с семьей. Зрительный зал оставался в тени, гости были едва различимы. Свет был призван подчеркнуть основную мысль: в доме царит гармония.

Катя с болью смотрела то на Ильина, то на Марину. На то, как Георгий склонялся над женой и она шептала ему что-то на ухо. Его лицо дышало при этом сдержанной страстью. Он отвечал, и они улыбались друг другу, попеременно поглаживая Андрюшу по светлым льняным волосам.

Эта женщина увела когда-то Георгия из ее, Катиной, жизни, да так ловко увела, что Катя ничего и осмыслить не успела. Ей было сказано: смирись! И вот уже годы прошли, а она смириться так и не смогла. Сначала она рыдала от боли, потом пыталась уговорить себя, что никто в этой сиротской жизни ни на кого не имеет пожизненного права, но это помогало слабо. В конце концов, а где прописано, в каких скрижалях, право приручать, а потом бросать прирученного?! Так она и продолжала жить все последовавшие за предательством годы — между небом и землей, в состоянии невесомости.

И все-таки правды ради надо отметить, Марина была достойной соперницей. С точки зрения совершенства Кате не в чем было ее упрекнуть — Марина была красива сдержанной, как будто не до конца проявленной красотой, и в этом был залог долгой привязанности к ней Ильина. Катя хорошо знала, какого рода достоинства будоражат кровь и сознание все еще любимого ее человека.

Марина слушала Грига, все более изумляясь: как же она могла отказаться от музыки в своей жизни, предать забвению годы каторжного труда. Неужели только потому, что сама оказалась недостаточно музыкально одаренной. Надо что-то главное понять в себе, еще есть время что-то преодолеть, и тогда, возможно, она снова проснется наполненная музыкой. Ведь для этого у нее все есть.

Она потянулась к Георгию, одними губами прошептала:

— Я тебя очень и очень люблю! И еще Андрюшу! Вы — моя жизнь!

Ильин нежно прикоснулся рукой к ее ладони.

Музыка Грига царила в гостиной Ильина, заполняла большие и малые пространства дома, ее сладкие звуки изливались за пределы каменных стен и гасли под звездным небом над тягучими водами Эгейского моря.

Яннис все порывался погладить Аннушкину руку, но она почти незаметным движением убирала ее — будто для того, чтобы поправить прядь волос, случайно упавшую на лоб, или повернуться к дочери и прошептать ей что-то на ухо. Он подумал, что, должно быть, выглядит смешно в глазах этой далеко не юной женщины, немного дикарки, несмотря на достаточно взрослую дочь.

Два года назад Яннис проектировал дом, в котором сейчас проходила вечеринка, потом приглядывал за его строительством и, в общем, остался доволен результатом. Очевидно, остался доволен и Ильин, ибо рассчитался незамедлительно. Такой тип людей, с аристократической ноткой в характере, был особенно интересен Яннису. Собственно, он и сам слыл в Фесалониках истинным аристократом.

Как только стихли аплодисменты в честь сонатины Грига и музыкантов, великолепно исполнивших ее, гости перешли на открытую террасу. С террасы открывался потрясающий вид на море под затканным звездной пылью небом. На территории виллы, но ниже этажом, на фоне изумительной мраморной мозаики просматривался овал искусно подсвеченного бассейна с плавающими букетами коротко подрезанных цветов. Вдоль ближайшей к дому стороны овала сидели другие музыканты, призванные играть другую музыку.

Майкл Адамс со своей обольстительной мулаткой первым переместился на террасу. Он устал от классической музыки. Что ж говорить о спутнице?! Такие и вовсе музыкальных школ не заканчивают, в лучшем случае их ухо привычно к джазовым композициям, то и дело звучавшим где-нибудь в ночной забегаловке, где длинноногие девочки с наклеенными улыбками подают виски к кровавому ростбифу.

Ильин отказался от идеи доверить кому-либо ведение вечера. Он сам, остроумный и блестящий рассказчик, выстроил для себя сценарий праздника и до сих пор более-менее придерживался его. Кроме того, никакой тамада не смог бы так деликатно лавировать между его гостями, женами и детьми, как он сам. Тут требовался тонкий подход и знание некоторых секретов его женщин.

Несколько раз за вечер он коснулся своей любимой темы в физике, которой занимался много лет и которая в научном мире в последние годы была особенно модной и горячо обсуждаемой. Это была так называемая М-теория, или Струнная Теория, или Теория Всего. Она была призвана единым образом описать Вселенную. Люди, далекие от физики, часто просили Ильина популярно объяснить, в чем ее суть, и он так поднаторел в этом деле, что, объясняя, как-то за скобками оставлял тот факт, что это все-таки только гипотеза и для ее доказательства науке вряд ли когда-нибудь хватит возможностей.

Вот и сейчас он увлекся, стал вдохновенно обрисовывать 11-мерную модель Вселенной и закончил весьма глубокомысленным утверждением чешского математика Курта Геделя, доказавшего, что в пределах любой области математики некоторые суждения не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты, так что окончательной Теории Вселенной может и не быть.

— Так считают кроме меня и еще дюжины продвинутых физиков, способных понять в общих чертах, о чем идет речь, и сам Стивен Хокинг.

Георгий замолчал, ожидая, кто же следующий возьмет соло.

— Браво, Джордж! — Кевин Кларк поднялся с наполненным бокалом и медленно двинулся в сторону Ильина. — Когда-то мы с тобой написали великолепный, я бы даже сказал, великий сценарий к великому фильму. И он имел ошеломляющий успех. Думаю, пришло время новых свершений. А не сделать ли нам фильм, во главу угла которого ляжет твоя новая Теория Всего. Когда приступим к работе?!

— Да хоть завтра! Вот только в толк не возьму, как мы с тобой изобразим пресловутое 11-мерное пространство, — засмеялся довольный Георгий.

— Ты не волнуйся! В Голливуде могут все. Главное — это идея, сценарий. Вот ты за него и возьмешься. А в память о нашей договоренности прошу принять сей подарок, — и Кевин продемонстрировал всем гостям, с трудом внимавшим его английской речи, замечательные швейцарские часы, упакованные в черную коробку с бархатным нутром.

У Ариадны даже слезы проступили на глазах, едва она представила их цену. Пусть бы отец ничего ей не давал, а только эти часики.

— Папа, а почему М-теория? — громко спросила Ариадна, намеренно притягивая к себе внимание публики. Впрочем, ей и впрямь было любопытно. Мысленно она увидела отца в телестудии, на своей авторской передаче, рассказывающего в своей пленительной манере о таких потрясающе интересных научных теориях.

— Так ее назвал Эдвард Виттен в середине 90-х годов и не уточнил, почему. Со временем это стало забавной игрой у физиков — гадать, почему и в самом деле М-теория. Может быть, М означает Мистическая, или Магическая, или Материнская. А есть более веские предположения: Матричная, Мембранная. А может быть, это перевернутая W — первая буква имени Witten. Есть и еще интересные версии: Недостающая (Missing) и даже Мутная (Murky), — со смешком закончил Ильин.

Все засмеялись. Действительно мутная.

— Вот так всегда у физиков: все мутно и непонятно, и всегда в построенной цепочке недостает главного звена! — весело отозвалась Ариадна и залпом осушила очередной бокал шампанского. Очень хотелось пить.

— Когда-нибудь я расскажу вам еще о черных дырах, в которых пропадает информация, тем не менее, информация понемногу испаряется из дыр... — самозабвенно продолжал Георгий. Стало ясно, что он сел на любимого конька. — Но это как-нибудь в другой раз. Например, в мой следующий юбилей. Кстати, долгое время М-теория была для меня той лакмусовой бумажкой, по которой я безошибочно проверял интеллект собеседника. Если человек проявлял явный интерес к Теории Всего, его IQ в моих глазах резко возрастал, ну а если он мог еще понять и оценить теорию в моем изложении, он поднимался на высшую ступень. Потом я немного остыл. Понял, что не могу применять это правило, например, к женщине, ибо она слушает мою теорию, а сама тем временем думает о том, как будет завтра предаваться шопингу. — Все зааплодировали. — С мужчинами сложнее.

Гости разразились аплодисментами.

— А теперь ты, каналья, мой дорогой Гаврилыч, а для детей попросту дядя Слава, готовь тост. Следующим будешь говорить ты. — Реплика была подана вовремя, Славка явно заскучал и, возможно, собрался напиться.

Так и понеслась эта вечеринка быстрым фокстротом вокруг юбиляра, его жен и друзей, захватывая в свой водоворот одного гостя за другим, кружась вместе с легким ночным бризом по просторной террасе, спускаясь по широкой лестнице вниз, к бассейну, скользя по великолепной мозаике импровизированной танцевальной площадки.

Анна устала от длительного застолья, она была утомлена вниманием Янниса, который много рассказывал, но и интересоваться ее мнением по самым разным поводам не забывал, так что надо было реагировать на его частые реплики и при этом не выглядеть абсолютной дикаркой. Когда заиграла танцевальная музыка, Анна первая устремилась вниз.

Лет до двадцати пяти Анна танцевала в самых различных шоу звезд советской эстрады. Это был счастливый период ее жизни. Именно в ту пору она и познакомилась с Георгием. Многие тогда искали с нею встреч. Многим казалось, что она находится так близко, стоит лишь протянуть руку и можно погладить ее обнаженную спину, коснуться шелковистой кожи бедра. И только Гоша повел себя иначе. Он осыпал ее цветами, вниманием, подарками, он внушил ей мысль, что она иная, особенная, избранная. А потом родилась Лерка, а Гоша пропал. Ей пришлось вернуться в Минск, к матери. Наступили тяжелые времена.

Рухнула страна, и вместе с нею вся налаженная жизнь, и надо было начинать все сначала. Анна пала духом, чуть ли не полы ходила мыть в свое училище, пока Настя, с которой Анна училась в том самом хореографическом училище, не надоумила ее открыть школу танцев.

И вот теперь, когда зазвучали первые звуки медленного вальса, она с надеждой взглянула на Янниса. Он понял ее без слов, повел в центр площадки, элегантно поклонился, и они закружились по мозаике, делая попытку за попыткой вставить по ходу танца некие интересные элементы, будь то спин-поворот либо расхождение в виск, к которым, как ни странно, оказался готов немолодой греческий архитектор. Несколько мгновений спустя они обнаружили, что так и танцуют практически одни, в центре площадки, окруженные плотным кольцом гостей, откровенно любующихся их грацией, их легким скользящим шагом.

Валерия с волнением наблюдала за матерью, словно та сдавала свой самый главный экзамен, словно должна была доказать всем присутствующим, что была и осталась достойной любви самого лучшего в мире мужчины.

Ильин, беседуя с Кевином, боковым зрением следил за происходящим на танцплощадке. Он был удивлен и восхищен одновременно смелостью Анны, ее грацией, ее неувядаемой прелестью. Для нее этот поступок — он знал ее

застенчивость, ее неспособность солировать, даром что числилась артисткой кордебалета, — выйти вот так смело и открыто и сосредоточить на себе скрестившиеся взгляды. Яннис не отводил от нее восхищенного взора. Вот и архитектора настигла стрела Амура в самый неожиданный момент. Что-то болезненно отозвалось в душе у Георгия. Уж не ревность ли?! Да нет, не может быть. В его сердце царит одна лишь Марина. Просто ему было важно всегда — для внутреннего комфорта и жизненного тонуса — осознавать, что все его женщины влюблены в него до гроба. Любовь к нему — это их пожизненное наказание и пожизненная благодать. В известном смысле это держало его на плаву, побуждало двигаться вперед. Тяжело лишаться иллюзий в его возрасте. Господи, что за глупости разные лезут в пьяную голову?!

Резкий всплеск воды, как будто в бассейн свалилось что-то тяжелое, вынудил всех оглянуться. Ильин, извинившись перед Кевином, скорым шагом устремился к бассейну. Пьяная Ариадна ушла под воду и никак не могла вынырнуть. Она показывалась на поверхности и снова уходила ко дну.

— Эй, где там мой мальчишка, мой греческий бог?! — захлебывалась она. — Ну, тот, который наливает шампанское? — Она снова оказывалась под слоем воды. — Пусть подаст мне руку! — выкрикивала она, лишь только ее голова появлялась над водой.

— Ариадна, дорогая, дай я тебе помогу. Отведу в твою комнату! — проговорил Георгий, задыхаясь от бешенства. — Просто ты очень устала. Проделала сегодня долгий, нелегкий путь. Пойдем, моя девочка, — снова произнес он, а про себя зло выругался: «Назюзюкалась как свинья! Черт подери эту сумасшедшую девку!»

Он протянул руку дочери. Ариадна снова ушла под воду.

Пока возились с пьяной Ариадной, вылавливали ее туфли, ее драгоценности, выяснилось, что пропали дети: Андрюша и Верочка с Павликом. Этого еще не хватало! Первой их таинственное исчезновение обнаружила Таня, она же и обошла весь дом, комнату за комнатой, тщательно заглядывая в каждый угол. Тот факт, что и Дарья выпала из поля зрения, остался для всех незамеченным. Так уж повелось: некому было присматривать за этим ребенком.

Катя уже собиралась покинуть вечеринку — ей было явно не по себе среди бурно веселящейся толпы, — однако срочно пришлось откорректировать планы.

Пока все шло чинно и гладко, ей было любопытно наблюдать за Кевином Кларком, этим титаном современной киноиндустрии, за суперпопулярным Майклом Адамсом с его смуглой, чрезвычайно сексуальной подругой, за Гаврилычем, наконец. Но когда тот напился до чертиков и пошел, невзирая на лица, приставать ко всем подряд, повторяя одну и ту же, похоже, не раз обкатанную фразу: «Милости прошу ко мне на яхту! Мне есть чем вас удивить и порадовать!» — Кате стало тоскливо и немного стыдно перед многочисленными гостями, хотя, видит бог, она была тут ни при чем.

Время от времени Катя бросала тайные взгляды то на Марину, то на Георгия — после двух бокалов изумительного греческого вина, от которого, она очень надеялась, у нее не разболится голова, ярость ее понемногу утихла и она смогла взять себя в руки.

Вот те на! Иди теперь, ищи сорванцов. Это же чужая страна, чужой уголок земли, кто знает, какие здесь нравы.

— Вы только не волнуйтесь! — уговаривал Катю и Марину Ильин. — Танечка с нашим садовником давно изучили все любимые Андрюшины маршруты. Все будет хорошо.

Марина как будто прислушалась к аргументам Георгия, хотя заметила вслух, что сын так поздно никогда не покидал дом. Она согласилась все же с

тем, что поиски начнутся без нее. Дом был полон гостей, которых следовало развлекать.

Катя быстро поднялась в свою комнату, поменяла обувь, выпила таблетку анальгина, так как голова все-таки начала болеть, и тотчас присоединилась к Тане, успевшей вооружиться огромным фонарем. Катя решила ни на шаг не отставать от благоразумной Андрюшиной няни.

Садовник спустился к морю чуть раньше, было слышно, как он зовет детей, и долгое эхо вторило ему. С моря дул холодный ветер.

Катя настолько плохо ориентировалась в незнакомой местности, тем более ночью, тем более, когда под ногами с довольно крутой тропы, ведущей вниз, то и дело сыпались камни, — в общем, в какой-то момент она поняла: брось ее Танечка здесь, завтра найдут Катины косточки.

На пустынном берегу, у причала, черным размытым пятном одиноко покачивалась на воде яхта Гаврилыча. Луна тяжелым диском с чуть отсеченным боком едва удерживалась звездным неводом. Было свежо.

— Вы не волнуйтесь! — сказала Танечка таким спокойным голосом, что Катя и вправду немного успокоилась.

Столько прелести было в этой симпатичной девочке! Интересно, где они ее нашли. Где они вообще себе помощников преданных находят.

— Еще не было случая в нашей деревне, чтобы кто-то пропал. Андрюша — мальчик думающий, дурного не замыслит и на дурное не откликнется.

И они пошли в сторону ближайших огней.

Неизвестно, чем закончился бы вечер, если бы Кевин Кларк, этот старый ловелас, не упускающий случая продемонстрировать окружающим силу своего несколько отдельно отстоящего таланта обольщать, не вздумал похитить смуглую спутницу Майкла. Майкл догадался, что что-то замышляется, еще во время танцевальной части вечеринки — по тому, как запрокидывала Литиция голову во время танго с Кевином, как смеялась. Так смеяться — окрашивая голос грудными бархатными вибрациями — может только знающая себе цену искусительница. Потом Кевин с улыбкой опытного сердцееда что-то шептал ей на ухо, бросая красноречивые взгляды в сторону моря. Литиция качала своей дивной головой, пряди смоляных волос при этом падали на лоб, она смеялась все громче, демонстрируя исключительно ровный ряд белых зубов, и этот свободный, упоительный смех был ее ответом. Старый черт Кевин! Не уследишь. А уследишь, так ведь ничего не исправишь. Слишком он, Майкл, от Кларка зависим... Пока Майкл танцевал с Мариной, он мог наблюдать боковым зрением, как Кевин небрежно подошел к Гаврилычу, похлопал того по-свойски по плечу, увел в дальний угол. Но дальше, поднимая с Джорджем бокал за его многообразные успехи, Майкл потерял этих двоих из виду, и в общем-то, если честно, был к этому готов. Господи, что он там собирается с ней делать? Кто будет песок собирать, на который Кларк неминуемо рассыплется? Майкл как-то вдруг забыл, что и сам уже давно не блещет в постели. Таблетки изредка спасают положение. Интересно, как выпутывается в этом смысле Джордж. Марина, без сомнения, выглядит счастливой.

...Кевин осторожно ступил на палубу яхты, она тихо покачивалась на волнах. Он подал руку Литиции — мулатка, приподняв подол длинного, почти прозрачного платья изящными длинными пальцами одной руки, другой крепко уцепилась в Кевина, ибо едва держалась на высоких шпильках. В этот момент внимание обоих привлекли детские глухие голоса из каюты. Спустившись, они обнаружили дверь незапертой, толкнули ее и не сразу сообразили, что же там происходит. Резко мигающий свет компьютера обрисовал две склонившиеся над клавиатурой фигурки. Рядом, на диванчике, головой

к голове спали маленький сын Джорджа Андрюша и дочь от предыдущего брака Ильина с красивой русской женщиной по имени Катя. Собственно, все женщины Джорджа были красивы той неброской, неяркой красотой, которая только и является истинной, — подумал Кевин несколько отстраненно. Всякая другая красота от лукавого. Вот и Литиция... Кровь с молоком... и хорошей порцией порошка какао, все при ней... На голову выше Кевина. Да что тут говорить! Обыкновенная голливудская шлюха...

Павлик, брат спящей девочки, и дочка напившейся Ариадны убивали друг друга на экране компьютера. Кажется, девчонка — внучка Джорджа. Черт его знает, кто здесь кому и кем приходится!

— Вот вы где! — произнесла по-английски Литиция. — Вас ищут! Пойдемте! — и она стала осторожно будить спящих детей.

Дети спросонья не могли сообразить ни где они, ни с кем, но разглядев в темноте Павлика с Дашей, кажется, немного успокоились.

— Кевин, оставайся! — все так же по-английски произнесла Литиция. — Я проведу их до самых ворот и сразу же вернусь к тебе. — И она поцеловала его в губы. — Как ты думаешь, у Гаврилыча на яхте найдется для меня пара растоптанных шлепанцев? Без твоей поддержки я на этих чертовых шпильках и шагу не сделаю.

...Увидев детей, Георгий неожиданно понял, что чувствует себя неважно. Мало того, что закружилась голова и стал одолевать приступ тошноты, так еще резкая неожиданная боль под ложечкой в одно мгновение скрутила его пополам, замутила рассудок. Когда он все-таки пришел в себя, он понял, что с него на сегодня достаточно.

Таня повела детей наверх, гости — те, что не напились до смерти, — продолжали бурно веселиться. Гаврилыч немного оклемался, со стаканом минералки бродил по террасе в поисках того, с кем можно было бы потрепаться по душам, — в лучших русских традициях. Майкл Адамс вел светскую беседу с Катей, вернувшейся чуть раньше с безрезультатных поисков детей и еще не вполне пришедшей в себя от радости, что они нашлись. Она кивала головой, но было ясно, что с трудом понимает, о чем Майкл ведет речь. Анна любезно общалась с Яннисом, кажется, парочка обнаруживала все больше точек соприкосновения. Музыканты, исполнявшие Грига и уже успевшие, кажется, забыть о своей причастности к миру высоких чувств, веселились как дети. Виолончелист, немного смахивающий на Ростроповича, так же, как и маэстро в свое время, смешно оттопыривавший губу и, возможно, в этом видевший для себя залог и подтверждение общей для всех виолончелистов мира гениальности, — вел себя так, как будто вернулся после долгих гастролей к себе домой. Его, и правда, частенько видели в гостях у Джорджа — то в московской, то в чикагской квартирах. К концу любой вечеринки он, как правило, бывал глубоко нетрезв.

И только Жоржик-младший явно скучал. Ильин с бодрой улыбкой, которая давалась ему нелегко, подошел к сыну, обнял за плечи, повел к Марине, распоряжавшейся по поводу десерта, сказал:

— Я очень устал, неважно себя чувствую.

— Что, что случилось? — испуганно спросила Марина.

— Переволновался, видимо. Вы потанцуйте еще немного. Вот Жоржик заскучал. Пригласи его к нам в гости в Москву. Или в Штаты. Все-таки мы одна семья. А потом проследи, дорогая, чтобы гости не потерялись. А если кто-то и потеряется, то не беда, — улыбнулся он и шаткой походкой направился в дом.

— Что ж, Жоржик, давай танцевать. Ты мне расскажешь, как это — быть настоящим испанцем, — Марина говорила очень трезво.

Жоржик, передумавший за день много разных мыслей, вспомнивший о матери не один раз, о ее редких слезах, но чаще о ее небывалой стойкости, понял вдруг, насколько отец виноват перед нею, и перед ним, и перед всеми этими женщинами, которым обещал любовь и заботу, а принес лишь одни страдания. Но они продолжали его боготворить, он видел это, это невозможно было не замечать. Они растили его детей и, наверно, верили, что Господь видит все это сверху и воздаст, если не им, то их детям. Отец же родился баловнем судьбы, всеобщим любимцем, полагавшим, что все должны быть счастливы только потому, что он у них есть. Видит бог, все его женщины были достойны лучшей доли. Они заслуживали более совершенных мужчин.

Танцуя, Жоржик обнимал Марину так, как следовало обнимать жену отца. Они были почти ровесниками. Мир для них начинался в одной исходной точке на шкале времени, что бы там ни говорила М-теория отца. Им не требовалось совершать никаких усилий, чтобы стянуть тот временной интервал, ту пропасть, что лежала, к примеру, между Мариной и его отцом, в одну отправную точку. Мир открылся для них в единый космический миг, и они приняли это как данность, точно так, как принимает безоговорочно время и место своего рождения всякий явившийся на землю человек. И даже география мало чего меняет в восприятии действительности. Ритм времени, его четкие удары инициируют пульсацию крови в унисон с собой.

Жоржику показалось, что Марина прижалась к нему плотнее. Наверно, все-таки показалось...

Ильин наконец добрался до своей комнаты. Не включая света, сразу двинулся в туалет. Сильнейший спазм скрутил все его тело. Перемещаться теперь он мог только согнувшись. Он не успел дотянуться до унитаза, как почувствовал: теплая, жидкая масса рванула из него. Он глянул на пол — кровавая лужа растекалась все шире. Ильин потерял сознание.

Когда он пришел в себя, он все еще был один, лежал в туалетной комнате, распластавшись на холодном кафельном полу, в мутной жиже со зловонным запахом. Он поднял руку, чтобы опереться на унитаз, рука, вся в кровавых сгустках, соскользнула на пол. Он повторял и повторял это движение рукой, пока не получилось зацепиться и подтянуть обессиленное тело. Он затер, как мог, лужу, сунул тряпку в пакет, туда же отправил свою испорченную одежду от кутюр, туго завязал узел. Затем стал под душ, вернее, сел под струю чуть теплой воды и долго сидел так, не двигаясь и не открывая глаз.

А потом забылся тяжелым сном в своей чистой прохладной постели.

Часа через два пришла Марина, возбужденная, немного более счастливая, чем всегда. Он это понял по тому, как страстно она целовала его в темноте, гладила его суховатую руку и приговаривала: «Ты у меня самый умный, самый замечательный и самый обольстительный мужчина в мире!»

Так и не включив света и не заглянув в его бледное лицо, еще раз чмокнув в щетинистую щеку, вышла на балкон, общий для ее и Георгия спален, постояла недолго, любуясь ночным небом и морем, в котором отражались сотни звезд, и, не возвращаясь более к мужу, ушла к себе в комнату.

Георгий был благодарен жене за то, что не стала его теребить, спрашивать о чем-либо, тут же требуя ответа, — она дала ему шанс прийти в себя до утра, и он свято верил, что проснется абсолютно здоровым человеком.

Рано утром, когда весь дом еще спал после бурной вечеринки, Марина заглянула в комнату Георгия, проверить, как он. Он имел привычку рано вставать. И тогда, когда случалось им проснуться в одно и то же время, они вместе пили утренний кофе на балконе. С умиротворяющим, настраивающим

на философское восприятие жизни видом на море. Как никогда наслаждаясь обществом друг друга. Но сейчас, едва взглянув на Георгия, на его бледное лицо цвета плохо постиранной простыни, она сразу поняла: случилось нехорошее. Ильин тяжело дышал.

Заглянув в ванную, Марина обнаружила мешок, набитый доверху тряпьем. Она подняла его с пола, поднесла к лицу — пахнуло чем-то смрадным. Отшвырнула мешок в дальний угол и едва не упала, проехав шлепанцем по скользкому пятну. Она все поняла.

Вернувшись в комнату, Марина набрала номер больницы в Уранополи и на прекрасном английским языке, так что ее сразу отлично поняли, вызвала «скорую», или как там у них называется подобная служба. При этом не забыла упомянуть о проплаченной страховке.

Георгий проснулся, едва Марина заговорила в полный голос по телефону. Он понял, что Марина вычислила шаг за шагом весь его вчерашний маршрут, понял, что сейчас за ним приедет машина, что госпитализация неотвратима. Силился сопротивляться, так как чувствовал себя сегодня намного лучше, так ему, во всяком случае, казалось, и в этом он порывался уверить Марину, но она не сдалась.

— Хорошо! Пока я буду околачиваться в местной больничке, пожалуйста, организуй все так, чтобы гости ни в чем не нуждались. Попроси Гаврилыча взять на пару дней заботу о детях и моих бывших женах. Пусть покатает всех на яхте вокруг Афона. Это будет замечательная экскурсия, я знаю. Можешь отпустить с ними и Андрюшу. Ариадне дай десять тысяч из сейфа. Анне и Кате дай по пять. Остальных накорми и отправь в Салоники. С Майклом и Кевином распрощайся чувствительно. Ты понимаешь, о чем я говорю. Андрюшу береги!

Он говорил так, будто диктовал завещание. Марина начала плакать.

Ровно в десять Танечка обошла родных Георгия Сергеевича и пригласила всех к завтраку. Через полчаса собрались за столом: Ариадна, не поднимавшая глаз, сонная Дарья, Катя с детьми, Анна с Лерой. Анна уже успела совершить утренний заплыв, выглядела свежо. У Кати был усталый вид, будто всю ночь она не спала. Собственно, так и случилось, к этому часу она выпила три таблетки анальгина, продержала полночи под языком таблетку валидола, потом еще одну, ее немного мутило. Павлуша с Верочкой спорили, как обычно, о чем-то своем, Катя не вмешивалась. Жоржик пришел последним. Во главе стола восседал Гаврилыч, трезвый как стеклышко, он пребывал в чудесном настроении и вообще уже успел заждаться своей чашки горячего кофе.

Ни Марины, ни Андрюши не было. Георгия Сергеевича, разумеется, тоже.

Подавала к столу юная тоненькая гречанка с веселым личиком, с живым и любопытным взором. Стояла тягостная тишина, все были вежливы и предупредительны друг с другом.

— Итак, дети мои, — начал Гаврилыч, — с Георгием Сергеевичем вчера произошла маленькая неприятность, его немного подвело здоровье, вероятно, он переутомился, а потом еще вдобавок что-то не то съел за праздничным столом, а может, просто мало выпил. Сегодня он отправился в больницу, чтобы доктора поставили диагноз. Думаю, что ничего страшного не произошло и к вечеру он вернется живой и здоровый на радость нам всем. Так вот, он поручил мне позаботиться о вас, и посему я приглашаю всех ко мне на яхту. Кое-кто, правда, уже успел на ней побывать и без моего приглашения, — Гаврилыч зычно расхохотался. — Мы с вами обогнем третий пальчик Халкидики под названием Афон, увидим колокола русского монастыря на самой вершине горы, но паломничество совершать не станем, так как женщинам туда ни ногой — запрет для них категорический. Грешны, наверно, очень уж... — и он опять

захохотал. — Потом мы с вами высадимся на необитаемом острове, поудим рыбу, и я сварю вам такую уху, что пальчики оближете. Как вам мой план?

— Ура! Ура! Ура! — завопила дружно детвора.

После всеобщего тягостного молчания это троекратное «ура» прозвучало как гимн человеческой способности испытывать одновременно добрые и сильные эмоции.

Ариадна протестующе подняла руку. Гримаса боли исказила ее лицо.

— Возражений не принимаю! — резко произнес Гаврилыч.

Кевин Кларк со своей киношной свитой отбыл в Салоники так рано, что никто в доме не успел попрощаться с голливудской именитостью, разве что Гаврилыч, бродивший, как сомнамбула, по пустым и гулким коридорам ильинского дома в поисках какой-нибудь заначки, успел что-то буркнуть ему на прощание. Кстати, заначки Гаврилыч так и не нашел, чем был раздосадован невероятно и чему был несказанно удивлен. Куда они, сволочи, спрятали всю выпивку? Вымуштрованная прислуга! И где они научились школить всех этих горничных и шоферов, со злостью подумал Гаврилыч про Ильиных. А главное — когда? Ведь лет двадцать назад вообще считалось дурным тоном приглашать кого-то в дом в качестве прислуги. Люди осудят: это не побожески, не по-советски так унижать человека. И вот те на! Посулят теперь лишнюю сотню — и все эти мальчики и девочки, а иногда и люди солидного возраста, с ног собьются, угождая новому русскому. Гаврилыч с неприязнью думал сейчас об Ильине, о Марине, хотя прекрасно понимал, что все дело только в том, что ему надо срочно выпить.

И вдруг, говоря какие-то дежурные слова прощания Кевину, которого он безумно уважал, — да и какой современный интеллигентный человек мог относиться к Кларку иначе, — он увидел на камине среди рамок с фотографиями сиротливо стоящую бутылку виски. С прыткостью, несвойственной людям его возраста, он на мгновение оставил Кевина, рванул за бутылкой, сделал пару глотков прямо из горла. Тут же выпрямился, так что сразу же проявилась в нем неожиданная для его лет мужская грация и выперло слегка утраченное человеческое достоинство, вернулся к Кевину, сунул в руки ему злосчастную бутылку и сказал жалостливо на ломаном английском:

— Кевин, ты так много работаешь, печешь блины, то бишь фильмы, как заправский повар. Тебе, бедняге, поди и выпить-то некогда, не то что поговорить с хорошим человеком по душам, — и он точным, выверенным движением поднес руку Кевина вместе с бутылкой к губам оторопевшего американца. — Пей, дорогой! — только и добавил Гаврилыч.

Кевин испуганно взглянул на парней из своей свиты, маячивших за широкой стеклянной дверью в ожидании босса, потом на Гаврилыча, неожиданно ухмыльнулся и со словами, которые можно было перевести на русский приблизительно как: «А, где наша не пропадала!» — сделал один долгий глоток. Он вернул бутылку, похлопал Гаврилыча по плечу и решительно направился к выходу.

Гаврилыч пошел досыпать.

После завтрака с женщинами и детьми Георгия Гаврилыч окончательно пришел в замечательное расположение духа, стал деятельным и говорливым.

— Через полчаса я вас всех жду на причале! Не забудьте панамы и купальные костюмы. Об остальном я позабочусь сам. — С этими словами он пошел отдавать последние команды Антонио, своему штурману и юнге в одном лице.

Через час дети, за ними преобразившиеся мамы гуськом спускались к подножию горы по крутой лестнице, чередующейся с долгими участками довольно-таки узкой тропы. Ариадна замыкала процессию со злым лицом,

будто ее тянули на аркане. А что поделаешь?! Денег нет, и теперь непонятно, будут ли они вообще. Дашка путается под ногами, нет от нее спасения. Анна с Катькой действуют на нервы. Какого хрена они вообще приперлись в этакую даль? Отец ясно дал всем знать: «Хочу видеть только детей!» И теперь с лицами вечных страдалиц эти две несчастные отставные курицы квохчут вокруг своих цыплят как ненормальные. Да что это за ограниченность такая бабская, что за вечная, непонятно кому, а главное — зачем, данная клятва любить лишь одного мужика и до гроба, будто других мускулистых соискателей женской любви нет вокруг. Да оглянитесь вы, дуры! Полно молодых, свободных самцов. И Ариадна со сладостным чувством предалась теплым еще воспоминаниям о юном греке, разливавшем с непостижимой грацией весь вчерашний вечер шампанское и виски. Какое у него тугое и гибкое тело, какая редкая мужская красота! Точеные черты, прямой греческий нос, гладкая смуглая кожа, широкие плечи и тонкая талия!

Ариадна на секунду прикрыла глаза, и волна блаженства прокатилась по телу. Она не сразу поняла, что Дарья тянет ее за руку:

— Мам, а мам, а мне можно дружить с Верой и Павликом?

— А почему нет? Они же твои тетя и дядя! Груз ответственности за тебя, свою маленькую племянницу, не позволит им сделать ничего дурного, — и она зашлась едким смехом.

— Тетя и дядя — это как? И почему это тетя и дядя?

— Потому, глупая, что они мои брат и сестра.

— И что, я должна как-то по-особенному с ними дружить? Говорить им «вы»? Подчиняться?

— Вовсе нет. Ну что за въедливое дитя! Дружи просто. Как, например, с Лялей и Никитой из твоего класса.

— Как это, как с Лялей? Она ведь моя лучшая подруга. Так, как с ней, я ни с кем никогда дружить не буду. Я ведь не предательница.

— Нет, это просто невыносимо! Дружи как хочешь. Но я тебе говорю: дружить можно сразу со всеми. Вон Лера заскучала. Поди спроси у нее, понравился ли ей вчера дядя Яннис и где они будут жить, когда мама выйдет за него замуж.

— Я не буду про это спрашивать. Про такое не спрашивают.

— Много ты понимаешь! На своих передачах я всегда выпытываю у гостей их самые главные тайны.

— Поэтому, наверно, они на тебя часто обижаются.

— Что?! — Ариадна с удивлением взглянула на дочь. Вот тебе и малышка! Уже матери замечания делает, советы профессиональные пытается давать.

И она подтолкнула дочь вперед, иди, мол, к детям, с ними и спорь. Те спускались гуськом по тропе, на широких участках собирались в кучку, увлеченно обсуждали какую-то новую компьютерную игру. И только Андрюша безучастно шагал рядом, совсем другие мысли, похоже, одолевали его.

Анна с Катей перебрасывались редкими фразами. Было заметно, как нелегко давался им этот, в общем-то, простой разговор, как трудно было не дать ему иссякнуть.

Катя с удовольствием осталась бы в Неа Рода, побродила бы в одиночестве по скалистому берегу, полюбовалась бы видом на море, съездила бы в ближайший городок Уранополи. То, что она совершила ошибку, собравшись на юбилей Георгия, ей стало ясно с самого начала, но глядя на детей, она радовалась тому, что все-таки привезла их на встречу с отцом. Все долгие годы после разлуки с Георгием она неустанно им врала, что папа находится в длительной творческой командировке, что он серьезный ученый, физик,

преподает в престижном университете в Америке, что он помнит о них, и любит, и скоро обязательно вернется. Это было началом той страшной лжи, которой она опутывала детей, в которой вместе с ними все больше погрязала сама и от которой все труднее было избавиться. Повзрослев, дети сами стали догадываться, что в их семье что-то идет не так. Первым к Кате на серьезный разговор явился Павлуша. Это случилось два или три года назад.

— Мама, я знаю, папа нас бросил. Он больше не любит нас.

Катя сжалась в комок, перестала, кажется, дышать, слабым голосом пробормотала:

— Павлик, милый, почему ты так решил? Ведь совсем недавно вы с Верочкой получили от папы на день рождения чудесные велосипеды. А теперь он пишет, что, когда вы окончите школу, он заберет вас в Америку.

— Не говори мне больше о нем никогда! Я и сам его уже не люблю. Когда я вырасту, я... — он запнулся, — я... у меня не будет детей. Чтобы они не страдали так, как я.

Катя в тот момент едва не разрыдалась. Она гладила и гладила Павлика по шелковистым волосам, целовала его в макушку и все приговаривала:

— Глупый! Глупый! Папа подарил вам жизнь. Это самый бесценный подарок.

С Верочкой было иначе. Она взрослела медленнее, глубокие мысли не одолевали ее. Но и она однажды пришла со словами:

— Мама, а если все мужчины такие, как папа, я никогда не выйду замуж!

Верочка с пеленок ощущала себя настоящей маленькой женщиной, капризулей, кокеткой. Очень рано она почувствовала силу своих чар. Она говорила милые детские глупости, а взрослые вокруг умилялись тому, как складывала она при этом губки трубочкой, как изящно поводила тонкими красивыми руками, как выгибала свое худое тельце, даром что детское, но все уже было при ней: и тонкая талия, и длинные, очень привлекательной формы ножки, и замечательные пропорции уже вполне сложившейся фигурки. Верочка ясно уже осознавала, что она родилась для счастья. И пусть папа разлюбил маму, ее, Верочку, он не разлюбит никогда. У нее с папой до сих пор были нежные отношения, свои тайны, свои секреты, она всегда демонстрировала ему при встрече все те очаровательные «па», что успела выучить в хореографическом училище. И вроде бы ничего особенного не было в этих движениях, но было столько пленительной грации в этом чудном цветке, что папины глаза начинали сиять радостным светом.

Павлик, конечно же, был иной. Закрытый, трудно идущий на контакт подросток, часто с колючим взглядом, в котором читалось неприятие всего, что связано было с отцом. И все-таки Катино сердце наполнялось болезненным чувством любви, гордости, добрых предчувствий именно при взгляде на своего подрастающего сына. Кате казалось, он компенсирует ей все те многочисленные моральные потери, которые она вынесла и продолжала нести в своей обманутой жизни.

В общем, со временем в детях появилась напряженность, обозначились комплексы. Кате стоило немалого труда уговорить повзрослевших Павлика и Верочку собраться к папе в гости. Ей казалось, что когда они познакомятся с Андрюшей, с Валерией, что-то отзовется в их раненых душах, некая зажатая пружина расслабится и освободит их чувства, их любовь к отцу и к окружающему миру. Они поймут, почувствуют, что жизнь шире, чем несостоявшиеся отношения с отцом. Что можно любить его и таким, несовершенным, в чем-то слабым, но при этом глубоким и интересным человеком. Все это в большей степени относилось, конечно же, к Павлуше.

Катя вовсе не была уверена, что достигнет успеха в выбранной стратегии, но прилетев на Халкидики, неожиданно увидела, что дети: и Верочка с Павлушей, и Валерия, и Дарья, и даже маленький Андрюша — небезразличны друг другу.

Накануне поездки Дарье исполнилось девять лет. Она почувствовала себя очень взрослой и все ждала от Ариадны какого-то особенного подарка, соответствующего своему новому, очень серьезному возрасту. Она даже мечтать боялась о чем-то конкретном, настолько была уверена, что мама лучше знает, чем удивить свою подросшую дочь. Иногда Дарья представляла, что мама купит фигурные коньки, такие красивые, с высокими белыми ботиночками и частой шнуровкой. И тогда она встанет на эти чудесные коньки и покатится легко и ловко, как все эти прекрасные фигуристы из «Ледникового периода». И тогда Денис из параллельного класса обратит, наконец, на нее внимание. А может быть, пусть лучше мама подарит ей щенка, и тогда у Даши появится настоящий маленький друг. Она будет гулять во дворе со щенком, и все вокруг станут говорить: какой очаровательный у Даши пес, умный и преданный друг. Нет, пожалуй, пусть лучше мама купит ей розовую курточку с розовой опушкой и белые кожаные сапожки, все как у Кристины. И тогда Кристина, может быть, перестанет насмехаться над нею и скажет всем, что самая лучшая подруга для нее — это Даша. А как было бы здорово, если бы мама догадалась подарить дочери все сразу: и коньки фигурные, и щенка ласкового, и розовую курточку!

Каково же было потрясение девочки, когда рано утром в день ее рождения мама чмокнула родное чадушко в щечку и сказала ровным голосом:

— Дарюня, я уезжаю на три дня. Из школы тебя заберет бабуля. О подарке не беспокойся.

Через три дня мама вернулась веселая, в новом необыкновенном платье, в ушах сверкали небывалой красоты новые сережки, туфли на высоком тонком каблуке были тоже новые. О подарке для дочери мама больше не вспомнила.

Бабушка была добрая. Про деда говорить не любила. И только однажды, когда они сидели вдвоем за большим круглым столом в старой московской квартире, а за окном надоедливо барабанил дождь, бабушка вдруг очень серьезно произнесла:

— Знаешь, Дарюня, я иногда думаю, а что было бы, если бы дед Жора не ушел от нас.

— И что же ты, бабуля, придумала?

— Наверно, и Ариадна выросла бы совсем другой. Доброй и умной девочкой. И тебя бы растила иначе.

— А что, бабуля, мама не умная?

— Ну что ты такое говоришь? Видишь, какие передачи она создает, каких людей приглашает в студию!?

— А почему они иногда очень злые слова ей говорят? И она им точно так отвечает?

— Вот вырастешь, моя хорошая, и поймешь, насколько этот мир непростой. А теперь пошли обедать. Небось, мама тебя одними полуфабрикатами кормит? — и она встала, и выпрямилась, и потопталась немного на месте, прежде чем сделать первый шаг.

— Бабуля, а что такое полуфабрикат?

— Ну, это, — рассмеялась по-доброму старая женщина, и морщинки лучиками разбежались вокруг глаз, — как ты у мамы или мама у меня. Над чем еще поработать было бы неплохо.

Ариадна тем временем жила очень насыщенной и, как ей казалось, необыкновенно интересной жизнью. Еженедельные передачи, поиски героев, желательно мужского пола, интервью с ними, часто за полночь, иногда

заканчивающиеся в постели. Презентации, вернисажи, встречи с друзьями, тоже принимающими как дар ночи любви. При этом много алкоголя и сигарет, так что все чаще появляющийся во рту металлический привкус уже перестал казаться чем-то ужасным. Иногда в этом бесконечно длящемся угаре она брала тайм-аут, и в прояснившемся на мгновение сознании сам собой вставал вопрос: куда она летит, за каким призрачным счастьем и небывалыми чувствами? Ведь для счастья надо не так уж много. Во-первых, мужчина, к которому привязываешься, и тем больше, чем в более спокойное русло входит иссушающая прежде страсть. Во-вторых, ребенок. Твое отражение. И если отражение не теряет своего очарования, то и ты как исходный объект можешь гордиться собой. В мире столько прекрасных моментов, ради которых стоит жить. Солнце, море, созерцание закатов, мгновение на переломе бодрствования и сна, чашка утреннего кофе с хрустящим рогаликом. Твой особый внутренний мир, твое призвание. Окружающие тебя люди. Несмотря ни на что, люди блестящего ума и глубокой культуры. Все эти мысли посещали Ариадну в часы прозрения и уходили в никуда, лишь только очередной поклонник щелкал у уха любовным хлыстом и завлекал в известные дали.

Майкл Адамс проснулся лишь к полудню. И то лишь потому, что Литиция впорхнула к нему в комнату и стала активно его будить. Он с трудом разомкнул веки, долго разглядывал изысканные элементы незнакомого дома, мучительно вспоминал, где он и как здесь оказался. Голова раскалывалась. Он с неприязнью всматривался в смуглое, дышащее пороком лицо своей соблазнительной мулатки, но никак не мог припомнить, чем же неожиданная для столь раннего часа неприязнь к этой безупречной игрушке могла быть вызвана.

Литиция пристроилась у него на постели с подносом, на котором дымилась чашка кофе и аппетитно круглился круассан. Кофе издавал сильнейший аромат, в Америке такого не варят. Литиция норовила коснуться его плеча рукой или почти оголенной грудью, кожа ее была матовой на ощупь, чуть прохладной, прикосновения ее доставляли Майклу несмотря ни на что радость. Ему показалось, что голова стала болеть чуть меньше. Он пил кофе маленькими глотками и рассматривал Литицию так, как будто видел ее впервые. Роскошные пропорции тела, бархатная кожа, идеальные для мулатки черты лица. Правда, с эмоциями слабовато. Видно, поэтому дальше ролей второго плана дело у нее не идет. Зато какая шея, какая грудь! Майкл еще раз скользнул взглядом вдоль глубокого декольте и застонал — снова накатил приступ мигрени. Он отчетливо вспомнил, со всеми «милыми» подробностями, весь вчерашний вечер, и волна темной агрессии против этого безмозглого существа накрыла его с головой.

— Уйди, Литиция, уйди, ради бога, с моих глаз!

Он отшвырнул от себя поднос с недопитым кофе. Чашка перевернулась, остатки кофе выплеснулись аккуратной дорожкой на шелковую простыню.

— Милый, я бы не стала тебя будить, но, во-первых, в четыре у нас самолет, так что времени в обрез, во-вторых, дом пуст.

— То есть?

— Ну, не совсем пуст. Кое-какая прислуга слоняется по гулким коридорам. Вот и кофе помогли мне сварить. Но ни Джорджа, ни Марины, ни всех этих ужасных женщин с их детьми — никого!

— И куда они могли запропаститься? Надо же как-то прилично распрощаться. Хотя бы с Джорджем. Литиция, а что такого ужасного ты рассмотрела в Джорджиковых женщинах? По-моему, все они... они... — и он обрисовал круг, так и не подобрав подходящего слова. Голова раскалывалась.

— Я бы на месте Марины... Ноги бы здесь их не было! — резко произнесла Литиция.

Майкл даже привстал. Не ожидал он таких эмоций от эбонитовой куклы с густо накрашенными ресницами. А она, оказывается, что-то думает там иногда.

— Ладно, подай мне рубашку. На худой конец, оставим записку. Что любим и ждем новых сценариев. Может быть, роль для меня там серьезную пропишет. — Он скосил взгляд на подругу, добавил: — Ну и для тебя вставит пару слов.

Он резко оторвал голову от подушки, комната закачалась и поплыла в медленном вальсе. Главное сейчас — принять холодный душ.

После двух или трех часов напряженной рыбной ловли, в которой так или иначе участвовали все, и даже Ариадна, презрев свою неприязнь к коллективному времяпрепровождению, вошла в охотничий азарт, Гаврилыч высадил всю свою шумную команду на небольшом островке. Этот островок они с Георгием открыли для себя еще в прошлый его, Гаврилыча, приезд. С одной стороны острова отвесной стеной громоздились скалы, с другой его окаймляла довольно широкая и ровная полоса песчаного берега. Идеальный уголок для романтических встреч. Гаврилыч махнул рукой своему вышколенному и весьма понятливому юнге, чтобы тот вытаскивал на берег все необходимые для костра и ухи принадлежности.

Дети галдели у трапа, норовили оттеснить друг друга, чтобы соскочить на берег чуть раньше остальных. Юнга каждому вручал что-то важное: кому-то ведро с рыбой, кому-то казан, полный овощей, а кому и готовые поленья для костра. Все у них с Гаврилычем было предусмотрено — не тратить же даром драгоценное время. В веселом настроении ватага двинулась вглубь острова.

А старый капитан тем временем галантно помогал женщинам сойти на берег.

Анна с нескрываемым удовольствием покинула катер; почувствовав опору под ногами, потянулась, как после сна, всем своим стройным телом. Немного кружилась голова, чуть покачивалась земля под ногами. Как ни странно, вся эта сумбурная, наспех подготовленная прогулка приносила ей огромную радость. Она удивлялась всему, что видела вокруг, — все было новым, потрясающим, не похожим на родной Минск, да и в Москве тоже все было иначе. Господи, какая красота, какой простор! Солнце, небо, море! И эта непостижимая вершина со сверкающими куполами монастырей Афона! Все иное. Она снова потянулась, подхватила бутыль с водой, забытую у берега кем-то из детей, потащила ее к лагерю, уже обозначенному и обживаемому.

Катя, ступившая на землю следом за Анной, залюбовалась ее молодым телом, ее гибкостью, почти юной, ее потрясающими ногами. Анну Ильин когда-то действительно любил, и свидетельством его чувств явилась Валерия, угловатый подросток, обещающий превратиться со временем в прекрасный цветок. На месте Ильина Катя никогда бы не стала искать Анне замену. И все-таки он оставил ее ради Кати, которая долго не подозревала о существовании соперницы, и — слава богу. Может быть, именно поэтому три года брака с Ильиным Катя была безумно счастлива, до сумасшествия. Она бредила этим человеком, боготворила его. Что ж! Теперь, когда она видела Анну, наблюдала за ней, ее боль не была уже столь непомерной, столь непреодолимой. Ариадна с заспанным лицом, — ей удалось немного прикорнуть, несмотря на неутихающий детский гам, — спускалась на берег последней. Она осторожно переставляла ноги, обутые в сабо на слишком высоких для подобной прогулки каблуках, — со ступеньки на ступеньку, держась за Гаврилыча и на всякий случай балансируя другой рукой. Ей хотелось, чтобы вся эта ненужная вылазка

закончилась как можно скорее. Она была полна новых идей и планов, которые носили очень личный характер, ей не терпелось приступить к их реализации.

Уха вышла на славу.

— А вот мой папа не любит ловить рыбу, — произнес задумчиво Андрюша.

— Подумаешь, твой папа не любит ловить рыбу! — дерзко оборвал его Павлик. — Между прочим, твой папа при этом еще и мой папа!

— Павлик! — резко остановила сына Катя.

— Да ладно, дети! — миролюбиво вклинилась Ариадна. — Все мы тут дети нашего замечательного папочки. И это вовсе не повод ненавидеть друг друга. Держи! — обратилась она с ободряющей интонацией к Павлику и протянула ему очищенный апельсин. — А это тебе, — и она подала Андрюше бутылочку кока-колы со вставленной трубочкой.

— Мама мне не разрешает пить кока-колу.

— А ты ей скажи, что сестра старшая разрешила... Знаете что, мои милые? — она обвела всех дружеским взором. — А давайте-ка споем! — И тут же, не дожидаясь формального согласия, затянула: — Я счастливый как никто, я счастливый лет уж сто...

У нее оказался сильный, на редкость приятный голос, хоть и с хрипотцой, что к песне подходило исключительно. Дети, а потом и Катя с Анной дружно подхватили слова, последним присоединился Гаврилыч. Разудалая песня Григория Лепса неслась над островом посреди Эгейского моря.

Вернулись поздно. Дом встретил их темными окнами и настороженной тишиной. Полусонные разбрелись по своим комнатам. Выпорхнувшая из детской Танечка повела Андрюшу принимать душ.

На следующее утро Ариадна проснулась очень рано. Утреннее солнце едва коснулось верхушки скалы, идеально ровных стен греческой виллы Ильина, ее покатой черепицы.

Ариадна решительно поднялась, хотя всегда любила понежиться в постели, благо, ее полуночное существование на телевидении позволяло ей просыпаться к обеду, Дарья в это время обычно уже возвращалась из школы. Ариадна открыла балкон, свежий ветер ворвался в комнату. С наслаждением выкурив на балконе первую в этот день сигарету, она вернулась в комнату, прикрыла балконную дверь, но совсем закрывать ее не стала. Взглянула на Дарью, плод поздней своей любви. Хотя как на это посмотреть. Сегодня редкие дуры выскакивают замуж прямо из пеленок. Жизнь сложна, вписаться в нее не так уж просто. И затянув удавку в восемнадцать, трудно избавиться от нее до конца жизни. Так уж складывается: избавившись от одних мучительных обстоятельств, тут же обзаводишься другими. Так было и с нею. И не один раз. Развязавшись с одним сожителем, — мужьями трудно было их считать, — она тут же сажала себе на шею другую сволочь. Кто знает, может быть, она сама во всем и виновата. Нет чтобы осмотреться, все взвесить, понять, действительно ли очередной воздыхатель ее обожает, она сама закидывала на него петлю. Вся в отца. Тот тоже никогда не ждал. Разве что с Мариной. Никогда Ариадна не ревновала отца к его женщинам. Но вот с Мариной все было иначе, она не любила ее.

Ариадне захотелось горячего кофе, она решила не ждать момента, когда дом наполнится голосами и всех, наконец, позовут к столу. Взглянула на себя в зеркало, ахнула, рукой прошлась по пережженным волосам, так и вышла в полутемный коридор — непричесанная, в ночной пижаме.

На кухне хозяйничала Марина. Она пекла тонкие блины и заворачивала в них начинку из мяса. Неужели при таком количестве прислуги есть нужда что-то делать самой, изумилась Ариадна.

— Привет! — произнесла она сиплым голосом.

Марина обернулась.

— Это ты? — сказала равнодушно. В вопросе, в общем-то, не было смыла.

— Да, это я, — в тон ей ответила Ариадна. — Как отец?

— Неважно. — Она помолчала. — Говорит, что выкарабкается.

— Конечно, выкарабкается.

— Врачи пока не делают прогнозов.

— На то они и врачи.

Ариадна говорила таким же безжизненным голосом, как и Марина. Без восклицательных знаков и запятых. Теперь оставалось только ждать, кто первый не выдержит, у кого появятся человеческие интонации.

— Знаешь, я тебя никогда не любила, — сказала вдруг Ариадна.

— Знаю. Мне все равно. Право, я не вру.

— Трудно поверить, что с этим легко жить, — Ариадна продолжила атаку.

— Ты это о чем? — холодно переспросила Марина.

— Ты прекрасно знаешь, о чем.

— Легко, если не чувствуешь за собой вины, — Марина дала понять, что не собирается ни в чем уступать Ариадне.

— Ах, вот как! Значит, ты ни в чем не виновата? И даже перед Катиными детьми?

— Ну да, пожалуй. Только Катя точно так виновата перед Анной, — не сдавалась Марина.

— Она, в отличие от тебя, ничего не знала об Анне. Знаешь, у меня тоже есть такой сосед, только жена за порог — понеслась душа в рай. Мужская верность — это когда третья жена, а любовница все та же. Что нужно для счастья счастливой семье? Ага, вот списочек...

— Катя ничего не знала об Анне, — попыталась остановить Ариадну Марина, повторив за нею фразу, которая, по всей видимости, зацепила ее. — Анна ничего не знала о Жоржике-младшем, а Аманда, его мать, ничего не знала о тебе.

— Верно, — согласилась Ариадна, на этот раз не очень понимая, куда клонит Марина. — Все вроде бы правильно, да что-то тут не так.

— Ты права. Никто ни о чем не знал, кроме Георгия Сергеевича, разумеется. А я вот знала все и обо всех и взвалила непосильное бремя на свои хрупкие плечи. Вероятно, из врожденной подлости. Я самая большая грешница! — и она громко отставила сковороду, громыхнув ею, выключила плиту и быстро вышла из комнаты.

— Если отбила ты, где гарантия, что его не отобьют у тебя, если он такой «отбивчивый»? — это были как бы мысли вслух, задавать вопросы уже было просто некому. — Гарантийный талон проштамповать хотя бы не забыла? — зачем-то добавила Ариадна.

Впрочем, пора было сворачивать утреннюю разминку.

Она продолжила пить кофе, размышляя, зачем затеяла весь этот никчемный и даже вредный, в известном смысле, разговор. Вот уж воистину, молчание — золото. Ведь не раз давала себе слово — особенно во время авторских своих программ, вернее, ровно за пять минут до их начала — не задавать неудобных вопросов интервьюируемым. Но потом, все больше входя в охотничий азарт преследования дичи, все больше распаляясь от того, насколько верно почуяла след, начинала крушить все на своем пути, множа и без того немалую армию своих недоброжелателей.

Через минуту Марина вернулась, что-то резко выложила перед падчерицей, снова занялась блинами.

— Что это? — недоуменно спросила та.

— Деньги.

— Какие деньги?

— Здесь десять тысяч. Ты просила их у отца.

— А-а-а! — протянула Ариадна. — В самом деле!

Господи, какая же она дура! Так подгадить самой себе!

— Знаешь, что самое обидное во всей этой истории? — миролюбиво затянула она, но, так и не дождавшись ответа, добавила: — Отец никогда не вспоминает мою мать, будто ее и не было на свете, будто меня ему подбросили на порог или он забрал меня из приюта, отчаявшись заиметь своего собственного ребенка. А ведь моя мать еще не очень старая и по-своему привлекательная женщина. И все ждет, что когда-нибудь он позвонит и хотя бы попросит у нее прощения.... Ладно, спасибо. Я пойду...

— Подожди, Ариадна! Георгий Сергеевич хотел бы, чтобы вы все задержались у нас еще какое-то время. Он хотел, чтобы вы... чтобы вы увидели Афины. Он мечтал съездить с детьми в Афины.

— Нет-нет! Только не Афины! — взмолилась Ариадна. — Дети пусть едут, но только без меня. Вот если бы кто-нибудь отвез меня в Касторью! — в голосе у Ариадны появилась просительная интонация.

— Я, пожалуй, тебе помогу. Я дам тебе машину и водителя. При условии, что ты вернешься сегодня же. Все равно в Афины надо ехать в ночь.

— Спасибо, Марина! — Ариадна сделала попытку обнять молодую мачеху, которая годилась ей, пожалуй, в младшие сестры, но Марина едва заметным движением отстранилась от нее.

— Извини, Ариадна, мне еще предстоит испечь целую гору блинов. Хочу порадовать детей домашней едой. Греческая кухня для них непривычна, — и она поставила на вторую конфорку еще одну сковороду.

Ариадна обернулась у самой двери:

— Марина!

— Да, Ариадна?

— Присмотрите за Дашкой, пока я в Касторью за шубкой смотаюсь.

— Конечно присмотрим, — ровным голосом ответила Марина. Что было у нее на душе, понять было трудно.

Лишь только Ариадна миновала гостиную, поднялась на первую ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж, как ее окликнул Жоржик-младший. Вот тоже не спится кому, носят черти в такую рань...

— А, братишка, привет! — произнесла она с изрядной долей иронии. Ее забавляла эта ситуация: куда ни кинь взор — всюду братья и сестры, прямо как в церкви.

— Куда ты все время торопишься? В детстве, помнится, ты больше радовалась моим приездам.

— Так ведь нас тогда было только двое. И ты был такой пленительный малыш. Большеглазый, в кудряшках, прехорошенький.

— И ты вовсю мной забавлялась. Дурацкие бантики на кудряшки завязывала.

— Ты и это помнишь? — изумилась женщина. — Ведь тебе было года три. Ты прилетел с Амандой, словно с другой планеты спустился. Аманда мне казалась... — Ариадна на минуту умолкла, словно с головой ушла в воспоминания, — она мне казалась запредельно красивой, нездешней, неземной. Я, кажется, тогда впервые смогла понять отца и, может быть, даже простить. Хотя, — вдруг перешла на резкий тон Ариадна, — все это ложь, я никогда его не понимала. И даже сейчас, когда веду себя во многом подобно ему, то есть не очень порядочно, скажем прямо.

— У нас в Испании он был бы разорен — уже после первого развода.

— В самом деле?! — зло рассмеялась женщина. — А ему все нипочем. Он только крепче становится на изломе и еще больше любит красивых баб. А ты, похоже, не в него. Хотя, что я о тебе могу достоверно знать?! Во всяком случае, за отцом в твоем возрасте тянулся шлейф ослепительных побед. Ладно, братишка, поговорим, когда вернусь! — И она стала стремительно подниматься по лестнице.

Жоржик чувствовал себя неважно после ночной попойки с Гаврилычем. В поисках минералки он забрел на кухню, изумился не меньше Ариадны, завидев Марину, пекущую блины.

— Марина, ты уволила всю прислугу? — удивленно спросил он.

— Жоржик, хотя бы ты не задавай мне глупых вопросов. Я второй день не нахожу себе места. Мне просто необходимо чем-то занять себя, чтобы отвлечься.

— Неужели все так плохо?

— Не знаю. Врачи молчат. Я просто извелась. Может быть, Георгий съест хоть что-то из того, что я ему принесу. Хотя я и сама в это плохо верю. Его все время рвет.

— Марина, так нельзя!

— Я знаю... Андрюша умрет от горя, если с отцом что-нибудь случится. Он его любит безумно.

— А ты?

Марина замолчала. Кажется, она не давала повода...

— Хочу напомнить вам, уважаемый Георгий Георгиевич, что ваш отец...

— Марина, не злись, ради бога. Мне всегда было трудно поверить в искренность твоих чувств к отцу. Он вдвое тебя старше. Я просто не верю в слепую женскую наивность.

— Послушай, Жорж, — уже мягче произнесла Марина, — я не должна ни перед кем оправдываться по поводу своих чувств к твоему отцу, тем более перед тобой. Но я тебе все-таки скажу: Георгий Сергеевич замечательный человек, он личность в самом высоком смысле этого слова, таких всесторонне одаренных, потрясающе интересных людей я мало встречала в жизни. И мне странно, обидно и непонятно, почему я должна объяснять это именно тебе, его сыну. И любовник он потрясающий. Если именно об этом ты хотел меня спросить.

— Марина, прости меня, ради бога. Но не стоит во всех подробностях обсуждать все пятнадцать выдающихся талантов моего отца.

— Ты спросил, я ответила.

— Прости меня, ради бога! — повторил Жоржик. — Просто я тебе желаю огромного счастья. Даже с моим отцом. И всегда желал. И вообще, что тут обсуждать?! Ну, подраконили друг друга немного и в хорошем настроении разойдемся по своим делам.

Марина махнула рукой, тем самым дав понять, что разговор окончен. Да и дети один за другим потянулись на кухню. День начался.

Анна категорически отказалась ехать в Афины.

— Нет, сутки в дороге — это не для меня. Да и у нас с Валерией на сегодня совсем другие планы. Правда, Лерик?

— Никак к архитектору собралась? — едко поинтересовалась Ариадна. Сама она подготовилась к поездке в Касторью, была собранна и деловита. Вопрос сорвался с языка скорее по привычке язвить всегда и каждому. — Будешь теперь с греком водку пить... вот дела!

— День не задался прямо с утра? А иначе с чего бы такие выводы? — зло отреагировала Анна. — Послушай, Ариадна, я никогда не лезла в твои дела, не комментировала твои похождения.

— Еще бы! Кто вообще ты такая?! — Ариадна прямо-таки вышла из себя. — Молчала, молчала, и на тебе — утрись! Хотя понять тебя можно: осень близко, если ты понимаешь, о чем я.

— Ты от своих семи пядей отними шесть и девять десятых, — вспыхнула Анна, — останется в самый раз. Надо внимательнее слушать других, тогда и выглядеть будешь умнее.

— Ух, как вы разошлись! — вмешалась Катя. — Не ссорьтесь. Не стоит. Вас слушают дети. Я поеду в Афины. И возьму с собой всех детей. Валерия, хочешь поехать с нами?

— Ой, тетя Катя, спасибо! Я даже не знаю. Я мечтала увидеть в Греции все. Афины — это, конечно, здорово. Мы по истории Древней Греции изучали храм Зевса, а еще Парфенон, — и она вопросительно посмотрела на мать.

Анна пожала плечами.

— А Дашку мою возьмешь? — уже выходя из кухни, в последний момент поинтересовалась на всякий случай у Кати Ариадна.

— А почему нет? Конечно, возьму. Езжай со спокойной душой.

— Не злитесь, родственнички. Все мы здесь обречены. — Ариадна все-таки задержалась. — Погода, когда все время дожди, называется «займи и выпей». Однако бессмысленность бытия, ненужность людей друг другу еще не говорит о том, что человек не может быть счастлив. И не стоит думать, что у других все бывает иначе.

Это была последняя фраза Ариадны, непонятно к кому обращенная. Впрочем, что имела она в виду, уточнять никто не стал. Да и не у кого уже было.

Марина, присутствовавшая при разговоре, молча ухаживала за детьми, наливала кому сок, кому чай. Андрюша, единственный, потребовал молока.

— Испорченные с пеленок вкусы, — заметила Катя. — Готовишь им каши, супы, котлетки, а они просятся в «МакДональдс». Аня, чем ты Валерию кормишь по утрам?

— Все просто: хлеб с маслом, кусочек сыра. Лерик, чем я тебя кормлю? — Анна все еще приходила в себя после перепалки с Ариадной. Вот не хотела она ни с кем ссориться, видит бог. Но Ариадна переходит черту.

— Мам, это я тебя кормлю по утрам. Забыла, что ли? Гренки жарю и манную кашу варю, — Валерия не поленилась встать, чтобы снисходительно чмокнуть сидящую рядом Анну.

— А я манную кашу терпеть не могу! — заметил Павлик, доедая третий блинчик с мясом. — Тетя Марина, вы такие вкусные блинчики готовите! Научите маму, пожалуйста.

— Павлик, — засмеялась Катя, — ты не лучшим образом выставляешь свою мать. Аня с Мариной подумают, что я вас вообще не кормлю. Тем более что ты и Вера самые худые дети на свете.

— Мам, ты же знаешь, почему я много не ем, — встрепенулась Верочка, едва осилившая один блинчик, — когда-нибудь я стану знаменитой балериной.

Марина улыбнулась, подвинула к Верочке стакан с апельсиновым соком.

— Марина, как ты думаешь, — спросила вдруг Катя, — если в Афины мы отправляемся в ночь, могу ли я навестить Георгия? До вечера ведь еще далеко.

— Не знаю даже, что тебе сказать, — печально произнесла Марина. — Георгий очень ослаб, никого не хочет видеть, — добавила она, приступив к мытью посуды.

В полдень Анна с Лерой собрались на прогулку. Предварительно расспросив Танечку, как быстрее добраться до отеля «Александрос Палас», они отправились открывать для себя непарадную Грецию. С одной стороны их путь лежал вдоль побережья, с другой — открывался замечательный вид на деревню: красочные домики лесенкой повторяли все изгибы главной, очень уж живописной улочки Неа Рода.

Первым делом они остановились у небольшой часовенки на вершине скалы. Отсюда можно было бы взлететь. Если бы были крылья. И потом долго парить в восходящих потоках теплого воздуха над прозрачными водами Эгейского моря, над изрезанной береговой линией, над мелкими островами, протянувшимися вдоль побережья, над кажущейся сахарной виллой Ильина.

— Боже мой, Лерка, какая красота! Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное в жизни?

— Мам, ну где бы я могла такое видеть? Только в кино!

— Вот и я о том же. А давай заглянем в часовенку.

— Давай!

Они подошли ближе к каменному строению в полной уверенности, что оно закрыто, — вокруг не было ни души. Анна потянула дверь, та поддалась. Внутри было прохладно и... торжественно.

— А кто здесь служит, интересно? — шепотом спросила Валерия.

— Не знаю, — так же тихо ответила Анна. — Посмотри, свечи горят. А вот совсем нетронутые свечки. Как ты думаешь, можно их брать?

— Ну не бесплатно же они тут лежат! — разумно заметила Валерия.

— Не знаю. Наверно, нет. А вот, кстати, и ящичек со щелью для денежных подношений.

— Давай бросим монетку, — предложила Лера. — У меня есть один еврик. Мне Андрюша подарил.

— Хорошо, я согласна. У меня тоже еврик завалялся где-то. — Анна заглянула в кошелек. — Даже два. Вот мы с тобой какие богатые. А давай помолимся!

— А о чем?

— Тебе разве не о чем попросить Бога? Попроси ума больше, и везения, и здоровья своей матери. Ладно, подумай сама, — и Анна стала перед иконой и сложила свои ладони, губы сами зашептали о сокровенном.

В центре деревни под прямым углом от дороги отделилась широкая тропа. Дорога дальше снова пошла вверх, вдоль побережья, а тропа запетляла по низине. В этом месте Неа Рода естественным образом разделялась на две части, между ними лежало огромное безжизненное пространство, поросшее степной травой. Тропа, пролегающая по низине, с одной стороны окаймляла жилую половину деревни, другая, торговая, хоть и просматривалась свободно, все же выглядела несколько игрушечной, уменьшенной ввиду заметной отдаленности.

Какое-то время Анна с Валерией вышагивали вдоль добротных домов, выстроенных в греческом стиле. Этот стиль легко угадывался во внешней простоте жилища, в обязательном наличии изысканных архитектурных деталей, которые, собственно, и придавали этой простоте ощущение совершенства.

— Лерик, а ты бы хотела тут жить?

— Как это?

— Ну, остаться навсегда?

— Нет, мама! Если жить в такой красоте, то уже и мечтать будет не о чем.

— А-а-а! Ну да! Пожалуй! Ладно, пошли дальше. Как ты думаешь, что там за сад маячит впереди? Какие плоды созреют в нем к осени?

— Ну, может быть, апельсины или киви, — мечтательно перебирала Валерия любимые фрукты, — или орехи.

Катя робко вошла в просторную, очень затемненную комнату. Она не сразу узнала Георгия, настолько он изменился и похудел за два последних дня. Лицо, какого-то желтого оттенка, стало похожим на восковую маску. Георгий спал. Катя села на ближайший стул, долго всматривалась в дорогие некогда черты. Она боялась пошевелиться, вспугнуть мгновение, когда ей выпала удача снова оказаться рядом с любимым человеком, подарившим ей в жизни столько счастья и принесшим столько страданий... Как же она ненавидела его в тот момент, когда он объявил, что уходит к Марине! Она готова была сжечь, испепелить эту женщину жаром своей ярости. Так не поступают благородные мужчины. Убивая, не оставляют жертву жить.

Катя робко потянулась к Георгию, мягко прикоснулась к его холодной руке. Он открыл глаза. С выражением непередаваемой муки произнес:

— Катя? Зачем? Зачем ты здесь? Тебе надо быть с детьми.

Можно подумать, он озабочен их судьбой, их благополучием, их безопасностью, — с болью подумала женщина.

— Послушай, Георгий! Мне жаль...

— Ты о чем?

— Мне жаль, что ты заболел. Правда. Я не хочу, чтобы ты умирал... Хотя я желала тебе такого конца много раз. Но столько же раз я раскаивалась. Прости меня, если можешь.

— Катя, я виноват перед тобой. Но надо быть честным: если бы я начинал жизнь сначала, все снова бы пошло по тому же сценарию. Кроме того, признаюсь: у меня нет иллюзии победы жизни над смертью. Разве что в наших детях...

— Ты жестокий! — глаза ее наполнились слезами.

— Просто я свободу ценю превыше всего. И ты об этом знала всегда.

— Но ведь ты и сейчас несвободен. Марина...

— Я не хочу говорить с тобой о Марине. В этом тоже мой выбор. Мой свободный выбор.

— Ты просто старый, похотливый, выживший из ума сластолюбец. Всякое безумие должно иметь осмысленную меру, хотя о чем это я, безумие не бывает осмысленным, — резко и зло проговорила Катя и, кажется, тут же пожалела о сказанном. Ей никогда не вырваться из этого ада, никогда...

Не прощаясь, она понуро побрела прочь. Как жаль, что она не взяла с собой пяти тысяч, врученных утром Мариной. Она швырнула бы ему сейчас эти деньги, и пусть бы он знал: никогда она не возьмет у него ни копейки и никогда больше не произнесет перед детьми его имя.

Вечером она отправится в Афины, хотя, будь ее воля, она уже сегодня улетела бы в Москву. Но раз уж так вышло, отъезд состоится двумя днями позже. И ничто не сумеет ей помешать.

Через три с половиной часа Ариадна была уже в Касторье. С чувством упоения ворвалась она в огромный шубный магазин, который располагался на въезде в город. Она примерила первую приглянувшуюся ей шубку — сердце зашлось от счастья. Наконец-то! Настоящий, ничем не омраченный, даже отсутствием или недостатком средств, шопинг. А шубка ничего! Вот точно такая же, но с капюшоном. До чего же приятно пройтись рукой по шелковистому, прохладному, тонко выделанному меху норки. Ариадна понеслась по огромному магазину, в порыве вдохновения примеряя все подряд. Водитель терпеливо сопровождал ее, едва справляясь с трудностями перевода. Немного

погодя он приотстал, кто-то уже протягивал ему кофе по-гречески — холодный напиток с шариками мороженого, а еще через минуту он наслаждался беседой с хозяином меховой фабрички, забыв об Ариадне. Да и нужда в переводчике отпала. Выяснилась, что продавщица сносно говорит по-русски. В общем, все было замечательно. Шубку было из чего выбирать. Ну не возвращаться же в Неа Рода, проехав три с половиной часа и посетив лишь один-единственный магазин. Так не пойдет. Ариадна не пропустит ни одной лавки на своем пути. И самая лучшая шубка в Москве будет у Ариадны Ильиной, автора и ведущей одной из самых интеллектуальных передач российского телевидения.

В следующих двух магазинах шубы были шикарными, изысканными, но и дороже раза в два. Полушубки были еще лучше, цены на них, однако, еще больше взмывали ввысь. Очевидно, фантазия у дизайнеров обострялась по мере укорочения длины изделия. В одном из полушубков норка в воротнике была разрезана на полоски и чередовалась с кусочками кожи. Эффект был потрясающим. Ариадна уже представляла себе, как появляется в студии, небрежно сбрасывает с себя полушубок и все девицы в радиусе пятисот метров сбегаются посмотреть на ее очередное приобретение. Ариадна взглянула на ценник — охренительно дорогой полушубок! Ладно, она подумает еще немного.

По мере углубления в город дизайнерские экземпляры искусства скорняков поражали воображение Ариадны все больше и больше. Но и усталость начинала вползать в душу. Персиковая шубка из норки, с шиншилловым воротником, шла ей необычайно. Русская продавщица поинтересовалась, помогает ли ей кто-либо совершать покупки. Интересно, — стала размышлять Ариадна, — если она ответит ей «нет», скажется ли это на цене в сторону удешевления. Или, наоборот, лучше сказать «да», мол, водила помогает. Откуда вообще в этом городе столько въедливых русских теток? Тем временем Ариадна облачилась в тонкую шубу из каракуля с норковыми вставками, редкое, надо отметить, сочетание и редкая красота. Она уже расстроилась, ну почему не попросила у отца денег раза в два больше. Тогда она могла бы себе позволить, предположим, две шубки. А еще лучше три. На разные случаи жизни. В одной — к любовнику, в другой к директору канала, в третьей на благотворительный вечер. Главное, не перепутать: к директору — ни в коем случае не являться в самой шикарной, ибо это чревато урезанием гонораров. А уж благотворительность вообще надо подавать скромными руками, иначе всегда найдется кто-то, готовый осудить дающего за элементарное жлобство. С любовником и подавно ясно: пусть с самого начала знает, с кем имеет дело. Маху, в общем, она дала с этими деньгами. Да за один удачно пристроенный сценарий отец кучу бабок загребает, что ему стоит отжалеть каких-нибудь двадцать-тридцать тысяч для любимой дочери. Лишь бы ребенок счастлив был! Обут, одет и накормлен!

Ариадна вышла из очередного магазина и поняла, что устала.

— Веди меня в кафешку, — бросила водителю. — Я тебя покормлю.

Пока возились с форелью, осторожно поинтересовалась:

— Слушай, Теодорос, а ты случайно не знаешь, какая фирма обслуживала вечеринку отца?

— Да, знаю я этих ребят. Они из Фесалоников, — Теодорос оказался на редкость сметливым малым.

— Ну-ка, ну-ка, поподробнее! Как фирма, говоришь, называется?

— Да какая разница?! Я завезу вас прямо по адресу.

— Ну молодчина. Подзаработаешь тем самым. А еще накину немного за понятливость. А теперь подлей мне вина. Очень уж форель вкусная. И поедем

за полушубком. Дорогой, правда, уж очень. Ну да где наша не пропадала! — и она ловким движением продолжила отделять кусочки форели от костей и с наслаждением отправляла их в рот.

Янниса Метаксаса Анна с Лерой нашли в фойе отеля. Широкие стеклянные двери, соединяющие административное здание с внутренней территорией отеля, гостеприимно распахнулись перед ними. Яннис беседовал, по всей видимости, с управляющим отеля, презрительно прищурив глаза. По всему было заметно, что тот категорически не согласен с архитектором в каком-то принципиальном вопросе, но зависимое положение не позволяет ему высказать это в резкой форме. Хорошо, он все передаст хозяину, и тот решит, как поступить в данной ситуации.

За спиной у управляющего Яннис увидел Анну, рядом ее дочь, настроение его резко взыграло, и он неожиданно для себя пошел на мировую с управляющим. Тот ошалело оглянулся, увидел женщину и взрослую девочку рядом, умолк, поклонился и расторопно покинул фойе.

— Ну, наконец-то! — Яннис радостно развел руками, словно пытаясь выразить переполнявшую его радость. — Идемте, мои дорогие. Я покажу вам мое детище.

— А мы уже многое увидели сами. Мы ведь вошли на территорию «Александрос Палас» с тыльной стороны. Так что, сколько шли, столько и глазели по сторонам.

— Ну что ж, я рад! Я очень рад! Идемте, я покажу вам наш ресторан. С его террасы открывается просто-таки идиллическая картина. К тому же приближается время обеда, не грешно и перекусить.

Они вышли через парадную дверь главного здания отеля на прилегающую уличную территорию. Асфальтированная дорога, начинавшаяся у порога отеля, огибала все неровности ландшафта и спускалась, скорее всего, к шоссе, которое пролегало, по всей видимости, где-то неподалеку, вдоль афонского побережья. Кусты зацветающих бугенвиллий колоритно обрамляли парадную дверь отеля. Дивными соцветиями они касались огромных греческих амфор, восхищавших отдыхающих своими выверенными пропорциями.

Яннис повел гостий в ресторан через уличный проезд, в обход главного здания с его внешней стороны, наверно, для того, чтобы они в полной мере насладились прекрасным видом парадного входа, декорированными изящной решеткой широкими дверями, уютными балконами второго и третьего этажей. Они продвигались вдоль замечательной площадки для отдыха с аккуратно вмонтированной сценой в дальнем углу. Со стороны улицы площадка была огорожена внушительным по ширине каменным забором, но поскольку все это наполненное деталями пространство было как бы утоплено внизу, оно прекрасно просматривалось со стороны резко поднимающейся вверх дороги. Вокруг сцены с одной стороны теснились изящные столики со стульями, с другой — амфитеатром расположились скамейки для зрителей.

Коктейли, очевидно, готовили в баре, расположенном ярусом выше. Там тоже стояли столики — для тех, кто не жаждал окунаться в гущу концертной жизни, а довольствовался выпивкой да еще созерцанием праздной курортной жизни.

На территории «Александрос Палас» было малолюдно, сезон только начинался. Однако это не мешало всем службам отеля функционировать в полную силу, чтобы те туристы, что рискнули приехать на Айон-Орос (так по-гречески называется Афон) в конце мая, не чувствовали себя хоть в какой-то мере ущемленными. Двери скромных бунгало по левую сторону круто

поднимающейся вверх узкой асфальтированной дороги то и дело распахивались — отдыхающие направлялись в ресторан.

Яннис увлек своих девочек в глубину зала, который представлял собой огромное крытое пространство с высоким потолком и большими окнами и одновременно выполнял функцию раздаточной, а также предназначался для приема греческих яств. Как ни странно, эти две, казалось бы, абсолютно разные функции помещения не входили в противоречие друг с другом. Длинные столы на раздаче, расставленные в два ряда, являли собой радостную картину на тему изобилия и эстетики греческой кухни. Мясные блюда, рыбные, многочисленные салаты, брынза, оливки, яркие фрукты, белые и розовые йогурты, налитые в глубокую посуду, — все сочилось, изнемогало от желания быть съеденным здесь и сейчас.

— Мама, как все красиво! Как вкусно! — прошептала Лерка. — Хочу все попробовать.

— Девочки, запоминайте все, что вам понравилось. Выбранное вами мы сейчас закажем, и нам все принесут на террасу, — произнес Яннис с царственной интонацией и повел гостий на открытую часть ресторана.

Сраженные внезапным впечатлением, Анна с Валерией ахнули одновременно. Перед ними открылся такой изумительный вид, что впору было забыть, зачем они здесь, в ресторане. Терраса волнующим изгибом тянулась вправо и плавно повторяла все изгибы бассейна, который расположился внизу, прямо под рестораном. А впереди, и справа, и слева, до самого горизонта простирались прозрачные воды Эгейского моря. Все было так тонко продумано, каждая деталь так бережно пригнана, что у Анны само собой сорвался вопрос:

— И это все вы?

— Ну не совсем все, — удовлетворенно хмыкнул архитектор, — мне помогали. А давайте сядем вот здесь. Отсюда открывается чудесный вид на залив.

— А разве это не Эгейское море? — пришла в замешательство Валерия.

— Эгейское, Эгейское. Только здесь оно превращается в залив под названием Сингитикос.

— Яннис, скажите, пожалуйста, как можно создать такую красоту и не воспользоваться этим. Я имею в виду не жить в ней постоянно?

— Анна, милая, если бы архитекторы жили в границах своих творений, они либо перестали бы творить, либо никогда не имели бы собственного дома. Это моя работа, которую я люблю, но тем не менее занимаюсь которой исключительно ради денег.

— Ради денег? — повторила Анна с вопросительной интонацией, не понимая, как такое возможно.

Принесли поднос, полный еды. Молодой грек помог расставить блюда, посовещавшись с Яннисом, чуть позже принес бутылку красного вина. Его вкус показался Анне восхитительным. Оно не дурманило голову, но проясняло чувства. Господи, как давно за ней никто не ухаживал, не давал понять, что восхищен ею.

Час спустя Яннис повел своих девочек взглянуть на все примечательные уголки отельной территории, которые — он был уверен — они не успели еще толком рассмотреть. Позже они спустились к морю.

— Посмотрите налево! Вам повезло: только в очень ясную погоду видна оконечность Айон-Ороса, или Афона, как называют его русские.

— Мама, можно, я куплю себе в баре кока-колу?

— Ну конечно, Лерик. Возьми сумку, там кошелек.

Валерия отправилась мимо идеальных рядов пустующих в эту пору лежаков к скучающему за стойкой бармену.

— Анна, — Яннис взял руку женщины в свою и прижал ее, несколько театрально, к груди, — мы сейчас отвезем твою дочь к Георгиосу в Неа-Рода, а затем вернемся сюда и продолжим наш так великолепно начавшийся вечер.

— Нет, Яннис! — растерявшаяся Анна осторожно высвободила свою руку. Не подыскав подходящих случаю слов, замолчала надолго. Потом все-таки нашлась: — Вы сейчас вернете нас с Лерой в дом Ильина, и мы расстанемся с вами как добрые друзья. И потом долгими зимними вечерами в Минске, — а в Минске зимы очень долгие, неуютные, промозглые, — я буду с улыбкой вспоминать и наш с вами вальс, и чудесный обед в «Алескандрос Палас».

— В это можно смело не верить. Если вы так скоро спасаетесь бегством.

Ну и дура! Самая настоящая дура! — корила себя Анна. Так глупо влипнуть! Как будто нельзя было изначально предположить, что все закончится именно так. Господи! Вечно она попадает в подобные истории. Немолодая женщина с повадками дикой лани. Ничего не может быть смешней и нелепей. Ну что, собственно, такого страшного произошло? Мужчина, очень интересный во всех отношениях, предложил ей остаться на ночь. Ариадна ни на секунду не усомнилась бы в том, что все будет красиво, незабываемо, обворожительно. Впрочем, Ариадна вряд ли бы позарилась на стареющего ловеласа.

Ночь любви, и колыхающиеся занавески, и тихое потрескивание свечи, и запах моря в открытом окне, и касания нежной мужской руки... Нет, никогда! Так гадко, так унизительно падать в объятия ловкого обольстителя, лишь только он поманил наивную душу, посулил ей любовные радости. В конце концов, она бы хотела, чтобы ее добивались долго, очень долго, и звали замуж каждый день, и пусть бы свидетелем ее маленького торжества был бы Георгий, и пусть бы сердце его разрывалось от тоски и ревности.

— Анна, Анна, вы меня слышите? — Яннис теребил ее за руку, заглядывал в глаза, словно хотел внушить свои мысли, желания.

— Мы с Лерой возвращаемся домой! — твердым голосом произнесла Анна, так что ретивый обольститель сразу все понял.

Гаврилыч на цыпочках пробрался в палату, тихо пристроился на стуле у изголовья Ильина. Георгий медленно открыл глаза, казалось, почувствовал колебание воздуха.

— Гаврилыч, родимый, здравствуй! — придушенным голосом произнес он. — Как же я рад тебя видеть, дружище! Значит, я жив и, может быть, завтра еще не подохну.

— Хорош пугать! Мы с тобой еще повоюем!

Ильин в ответ сделал попытку улыбнуться, улыбка получилась вымученной.

— Гоша, дорогой, может, тряхнем стариной? — с ласковой интонацией вопросительно произнес Гаврилыч. — Я тут кое-что припас, — и он осторожно вытащил из-за пазухи бутылку водки, накрытую, как глубокой дамской шляпкой, двумя пластиковыми стаканами.

— Нет, Гаврилыч, ты сам. А я полюбуюсь тобой.

Гаврилыч не заставил себя долго упрашивать. Он наполнил стакан, разом опрокинул его, занюхал рукавом. Следом наполнил второй.

— Знаешь, я все кумекаю про себя, как так у нас с тобой вышло. Вроде бы вместе учились, физикой элементарных частиц оба мечтали заниматься. И ты действительно ею занимался, а потом пошел дальше, разными новомодными теориями физики космоса увлекся, стал развивать Теорию Суперструн, что-то там подправлять в ней, спорить с самим Стивеном Хокингом. Ты рассуждаешь о бранах, дуальностях, компактик... компатфик... фу, черт, не выговоришь, — не очень трезво Гаврилыч боролся с тяжеловесным, труднопродираемым

словом, — компактификации и черных дырах. А еще о Вейлевской теории кривизны. — Он вытер пот, настолько трудно далось ему предложение. — А я, старый козел, погряз в разборках со своими женами-иностранками, будь они неладны, ухаживаю по очереди за их немощными телами, лишь бы они в своих завещаниях — не дай бог! — не обошли меня стороной. Я, между прочим, глядя на тебя, переместился в другие декорации, то бишь женился на Амелии. Уж больно лихо ты рванул за кордон открывать свои Америки. И вот теперь я выношу горшки за своими бабами, сначала — за Амелькой, потом за Габриэлой, а ты тем часом порхаешь от одной молодухи к другой, и все они продолжают трепетать перед тобой, даже числясь твоими бывшими. Открой, наконец, тайну, как тебе удается владеть их душами.

— Гаврилыч, не стоит сейчас об этом. Ей-богу, я сотни раз сожалел о том, что сделал их всех несчастными.

— Дурак ты, Гоша! Ты принес в их жизнь свет. А иначе чего б они все слетелись по первому твоему зову?

— Да нет, все не так, — отмахнулся он.

— Ну конечно же, это так. Какие могут быть сомнения?

— Да и не звал я их вовсе. Я детей хотел видеть. Подружить их между собой мечтал.

— И в этом ты тоже должен быть счастлив. Сколько детей здоровых выпустил на свет белый! А я вот один-одинешенек, как перст божий, — Гаврилыч запрокинул голову, поднес бутылку ко рту и... едва не разрыдался. — Бездарно прожитое время. И я воспринимаю собственное поражение все с тем же накалом чувств... А Грецию ты мудро выбрал. Такую домину отгрохал. Греция того стоит. Ей-богу! Даже Амелька мне такого дома не оставила.

— Я и в самом деле Грецию очень люблю. Мы здесь и с Катей прежде бывали. И не один раз.

— Если бы ты только знал, старый черт! Я твою Катю боготворил. Какая женщина! А ты... Э-э-эх! Ладно. Так что про Грецию?

— Мне всегда хотелось стать истинным греком, научиться воспринимать жизнь, как только греки одни и умеют делать это. Без суеты, без заискивания перед нею. Созерцать море, закаты, сидя где-нибудь в баре на берегу — за бутылкой метаксы, к примеру. А рядом бегают мои дети... В мире вселенского хаоса и беспредела я улавливаю на этой земле элементы гармонии.

— Вот в этом ты преуспел. Я имею в виду твоих детей. Небось, одна Марина вряд ли справилась бы с таким их количеством? Тут нужна была целая бригада, настоящая команда, здоровый плодовитый гарем. Так что все было не зря, дорогой Гоша. Во всем просматривается божественный замысел, или умысел — ты как считаешь? Ты, кстати, веришь в Бога?

— Именно сегодня — да!

— Вот что я тебе скажу, старина. Не дело ты задумал. Вставай и доводи до ума детей своих малых. Да и М-теория в тебе нуждается. Дописывай свои уравнения, которые объединяют... объясняют Вселенную, — выдал Гаврилыч. Все-таки, по-видимому, не совсем был пьян. — Утрамбовывай и дальше свою стезю. И вообще запомни: мы не имеем права умирать, пока не опустошим твой бар. Едва унюхал я его. Раньше ты прятал спиртное в глобусе. Ну, бывай! На днях еще загляну.

И он вышел шаркающей походкой.

В Салониках Теодорос высадил Ариадну у ресторана, знаменитого на весь Халкидики тем, что если кто-то когда-то хоть раз воспользовался услугами его вышколенных мальчиков-официантов, он потом возвращался по их

души вновь и вновь. Теодорос пообещал забрать Ариадну через полчаса, в полной уверенности, что можно будет и не возвращаться вовсе. Впрочем, он все-таки заглянул на всякий случай минут через сорок. Ему передали записку, что он свободен. Вот и отлично. Надо было торопиться в Неа-Рода, чтобы сдать автобус своему напарнику — ему в ночь отправляться в Афины.

Теодорос был славный малый, почти русский. То есть на самом деле он был грузином с греческими корнями. Окончил высшее военное училище в Минске, лет десять назад переехал в Грецию. И перебивался здесь на самых разнообразных работах, лишь бы платили. С работой было туго. И все равно это было самое головокружительное приключение в его жизни — снова почувствовать себя греком. Он приехал сюда с женой и ребенком и каждый день доказывал себе и всем, кому это было хоть в какой-то мере интересно, что поступил он взвешенно и что жизнь его идет в гору. И никакие встряски, вроде бесконечных демонстраций с требованиями повышения зарплаты, социальных выплат или против монополии раскрученного бизнеса местных толстосумов, не могли поколебать его уверенности в правильности сделанного выбора.

Ариадна кометой ворвалась в тихое, уютное пространство греческого ресторана, сразу узрела юное лицо своего мальчика, подкатила к нему, скучающему у стойки бара, будто невзначай.

— Так это ты?! Вот не ожидала тебя тут встретить. Какая приятная случайность!

Грек не отозвался. Во всяком случае, лицо его ничего не выражало. Может быть, он ее не понимал. Все-таки грек.

— Будьте добры, мне виски со льдом, — сказала она на хорошем английском и приготовила самую крупную купюру из тех, что через Марину передал ей утром отец.

Юноша купюру заметил. Он кивнул головой и вернулся совсем скоро со стаканом на крошечном подносе. Тут же стопкой помятых бумажек лежала сдача.

— Как тебя зовут? — бесстрастно спросила Ариадна.

— Костас, — ответил парень. Выражение его лица смягчилось.

— Оставь эти деньги себе. Я бы хотела, чтобы ты показал мне город. Я здесь впервые, и мне все очень нравится. Я очарована Грецией и греками. Особенно такими юными, как ты.

— Нет проблем. Я только скажу хозяину, что сегодня больше не работаю. Можете подождать меня на улице. Красная машина — это моя.

— О’кей! — ответила Ариадна и пошла к выходу вихляющей походкой. Только теперь она сообразила, что мальчик прилично изъясняется на русском.

— А почему в первом классе детям женихов и невест не подыскивают? — спросила она сама у себя шутливо. — А потому что в начальной школе грудь не сформировалась, да и с попой не все понятно.

В восемь вечера к парадным дверям ильинской виллы плавно подкатил маленький автобус. Тот самый, на котором утром в Касторью умчалась Ариадна. Водитель был другой — немолодой грек с окаменелой улыбкой на лице, больше смахивающей на гримасу. Дети попрыгали в автобус в порядке нарастания старшинства. Сначала Андрюша — он сел с водителем впереди, потом передумал и переместился в салон. За ним поднялся Павлик и сел рядом, Верочка потянула за собой Дашу. Неожиданно появившаяся Валерия — никто не знал, когда она вернулась в деревню, — заняла последний широкий ряд и даже примерилась, можно ли там будет поспать, все-таки путь до Афин предстоял долгий, километров семьсот, не меньше. Однако завидев Таню в дверях автобуса, дружелюбно потеснилась.

Последней в салон автобуса поднялась Катя, сразу за Гаврилычем, строгим голосом приказала всем пристегнуться. У каждого в кармане лежала записка с адресом виллы на греческом языке и телефонными номерами. Марина, тоже заглянувшая в автобус, приглушенным голосом давала Кате последние наставления, впрочем, наставлениями это вряд ли можно было бы назвать, скорее просьбы или дружеские советы — как не потерять детей в большом городе, не дать им умереть от жары, от жажды, от тайфуна и извержения вулкана в придачу.

— В багажнике у вас еда на весь завтрашний день. Ждем вас назад к ужину. — И она чмокнула в щеку подскочившего к ней Андрюшу, прошептала что-то ему на ухо, подтолкнула назад. — Катя, ты только не волнуйся, ради бога. Через пятнадцать минут к вам присоединится русскоговорящий гид. Диана знает дорогу «от и до». Все будет хорошо! — и она помахала вслед плавно отъезжавшему автобусу.

Марина вошла в дом, мгновенно определив, где и в чем нарушен обычный порядок вещей, чтобы тут же броситься наводить его, — все-таки, когда руки были заняты, душа ее не рвалась на части. Она собрала на поднос стаканы, расставленные тут и там, стала перекатывать на свои обычные места тяжеленные кресла, непонятно для чего и кем смещенные с этих мест, стала поправлять на них чехлы, но потом махнула на все рукой и рухнула в одно из этих злосчастных кресел. Только сейчас она поняла, насколько устала за три последних дня. Захотелось просто разреветься — такое количество испытаний выпало на ее душу за столь короткий промежуток времени.

Вся ее жизнь до сегодняшнего дня, хоть и не была лишена сомнений и внутренней работы над собой, все-таки проходила под знаком большой удачи и добротного женского счастья. Ей даже стало казаться, что Бог присматривает за нею. У нее было все, о чем мечтает любая женщина: любимый муж, рядом с которым не приходилось ни минуты скучать, ребенок, одаренный малыш, о котором она бредила задолго до его рождения. У нее были великолепные квартиры — одна в Москве, другая в Чикаго, где Георгий преподавал в местном университете, наконец, вилла на Афоне. Были подруги, как ни странно, настоящие, хотя их наличие всегда трудно предположить при стабильном семейном положении любой из сторон. Сколько печально почивших дружб наблюдала Марина в жизни! Они рассыпались от одного неосторожно сказанного слова, от завистливого взгляда, неспособности преодолеть душой явного или скрытого, такого естественного для людей, неравенства. И тогда все летело к черту: долгая и счастливая история дружбы, совместные поездки к морю, девичьи посиделки и еще много чего другого. Но вот Марине повезло. Просто она умела дружить, была терпеливой, деликатной, помогала неунизительно и щедро. Ее любили. И только разрушенные браки Георгия, даже те, к которым она не имела никакого отношения, и, конечно, брошенные им дети являлись причиной бесконечного, никогда не покидающего ее чувства вины.

— Господи, прости меня, если можешь! — прошептала она тихо.

— Марина, что ты там мурлычешь? — Жоржик так неожиданно возник за спиной, что Марина вздрогнула. Она испугалась того, насколько громко застучало ее сердце. Не хватало только, чтобы Жоржик услышал его взволнованные удары и истолковал их на свой счет.

— Я думала, в доме никого нет... Дети с Катей и Гаврилычем укатили в Афины... У тебя тоже была возможность прошвырнуться вместе с ними.

— Я не мог оставить тебя одну в такой момент. Хотя, бьюсь об заклад, ты вообще обо мне забыла. Да мы и не одни в доме вовсе. Анна недавно приехала на такси.

— Анна? — удивленно переспросила Марина. Она с трудом возвращалась к действительности.

— Видно, не поладили с архитектором, — заметил язвительно Жоржик.

— Послушай, Жорж! Я бы не хотела, чтобы ты неуважительно отзывался о бывших женах своего отца, — как можно мягче произнесла Марина, однако укор в голосе явственно наличествовал.

— Не надо со мной так, Марина! Я сыт по горло назидательными речами отца. Я бы не хотел, чтобы и ты звучала с ним в унисон. Я готов разделить с ним любые его взгляды на жизнь, на творчество, на М-теорию, в конце концов, но только не на женщин.

— Он был всегда со всеми честен, — слабо возразила Марина. — Никого не обманывал. Просто уходил.

— А по-другому быть не могло? Или это оправдывает мое несчастное детство? Застывшие вопросы в глазах других его детей? Агрессию Павлика или не по годам самостоятельность Леры?

Марина удивленно взглянула на пасынка.

— Ты, наверно, хотел еще что-то добавить? — почти неслышно произнесла она. — О своих обидах, одиночестве, ненужности? Я согласна дать тебе слово. Но давай договоримся: я выслушаю тебя в первый и в последний раз.

И она сама вдруг заплакала беззвучно, обхватив голову руками, сотрясаясь всем своим тонким, красивым телом.

— Марина, я умоляю тебя, не надо! — он прикоснулся к ее руке нежно, будто хотел успокоить.

А она плакала все сильнее и сильнее. И чем больше он успокаивал ее, тем больше ей хотелось, чтобы он прикасался к ней снова и снова, и говорил слова утешения.

У нее началась настоящая истерика, Жоржик перепугался не на шутку. Он рванул к бару, закамуфлированному под картину в тяжелой старинной раме, — о нем, кстати, не догадывался даже Гаврилыч, рыскавший тут пару ночей назад в поисках спиртного, — резким движением открыл первую попавшуюся бутылку, плеснул немного виски в стакан, поднес к Марининым губам. Ее зубы застучали мелко по стеклу, она сделала над собой усилие, чтобы набрать в рот обжигающей жидкости, а потом и проглотить ее. Сделала еще глоток. Ее продолжало трясти, но уже заметно меньше. Жоржик и себе налил полстакана, не спеша выпил содержимое.

— Я помогу тебе добраться до твоей комнаты, — решительно произнес он.

— Нет, я сама! — она попыталась встать и снова упала в кресло.

Жоржик растерялся. Можно было оставить ее ночевать здесь. И самому пристроиться в соседнем кресле... В конце концов он так и поступил. Погасил везде свет, оставив лишь фонарь снаружи, у парадной двери. Комната погрузилась во мрак. Огромная венецианская люстра на потолке поблескивала отраженным светом; блики, словно забывшие уснуть ночные зайчики, сновали по стенам, ступенькам и потолку. Жоржик устроился в кресле, спать было неудобно, но все-таки можно. Он заснул.

Через полчаса резко открыл глаза. Марина смотрела на него из своего кресла напротив немигающим, гипнотизирующим взглядом.

— Жоржик, помоги мне подняться в спальню. У меня дико кружится голова. Кажется, меня сейчас вырвет, — и она протянула к нему руку.

Жоржик приблизился к Марине, подставил свое плечо, приобнял. Так они и потянулись к лестнице. По ступенькам идти было не совсем удобно, Жоржик поднял Марину на руки и понес в комнату. В спальне бережно опустил на кровать. В нерешительности замер над нею. В этот момент он не мог бы

поклясться даже себе, что смутное желание, которое он так явственно ощутил, зародилось в нем только сейчас. Тем не менее, он сделал шаг к двери.

— Жоржик! — слабо произнесла Марина. — Не уходи! — и она снова начала плакать.

Жоржик склонился над нею, прильнул губами к ее дрожащим ресницам в соленой влаге, стал целовать ее горячие губы, приговаривая:

— Не плачь! Все будет хорошо. Все будет просто замечательно.

Он стал раздевать ее быстрыми движениями, она чувствовала сладостные касания крепких мужских рук и через мгновение забылась в его сильных, упругих объятиях. Два опьяненных любовью тела. Они ничего не сказали друг другу, чтобы не подпускать к себе реальность словами и именами.

— Господи, что я творю со своей жизнью? — глядя в потолок, со страданием проговорила она, когда Жоржик задышал ровно и спокойно. Он уже не слышал ее. Непробудный молодой сон мгновенно сковал здоровый организм. — Что я вообще вытворяю с собой? — Она с тоской посмотрела на красивое, словно выточенное, лицо Жоржика-младшего. — А ведь ему не придется вмонтировать это в свою жизнь! Завоеватель без преднамеренья...

Анна слышала какой-то шум внизу, чей-то нервный плач, недолгую возню на лестнице, потом и вовсе короткий разговор где-то рядом, через комнату или две. Ей было безразлично, что происходит в доме, кто плачет, почему. Она не была ни любопытна, ни безучастна в равной мере, но в данный момент ее собственные терзания достигли той степени накала, когда она благоразумно решила, что с нее на сегодня хватит. В конце концов, в доме оставался Жоржик, пусть он и утешает страдающую. Даже если в утешении нуждается сама Марина. Ей и в самом деле не помешало бы пережить волнующие минуты в страстных объятиях молодого мужика, — с несвойственной ей язвительностью и даже с неким чувством мстительного удовлетворения подумала Анна.

Солнце поднялось довольно высоко, когда Анна по-утреннему лениво открыла глаза. Дом был погружен в настораживающую тишину. Ни едва слышных, скользящих касаний пола ножками вышколенной ильинской прислуги, ни грациозного, легкого постукивания Марининых каблуков, ни Жоржиковых пружинистых и сильных шагов. Как же не хватает сейчас дому детской возни Андрюши, шумного выяснения отношений между Павликом и Верочкой, Дашиных неуклюжих столкновений с самыми различными предметами на ее пути, Леркиных смешных и дельных советов! Как было бы здорово, если бы все эти замечательные дети были Аниными детьми и этот чудесный дом принадлежал бы ей и Гоше, и они бы жили большой и дружной семьей!

Анна глубоко вздохнула. И было столько всего в этом вздохе: и тоска по несостоявшемуся счастью, и радость от того, что дети эти рождены, пусть другими женщинами, и пожелание им доброй судьбы, и страх за них. Но больше всего за Лерку, дочь — самое дорогое, что было у нее.

Когда-то, когда Ильин бросил ее, не поинтересовавшись даже, как она будет жить дальше, она готова была умереть. И если он бросил ее одну, то никакие силы на свете не могли заставить ее признаться в том, что их уже скоро будет двое. Он не заслуживал ее тайны. Раз уж она не заслуживала его любви. Она бродила дни напролет по набережной Москва-реки, размышляла, как легче поставить точку в своей неудавшейся жизни. Но потом случился короткий декабрьский день, когда выпал первый снежок, он лежал таким ровным и чистым покрывалом, словно решил преобразить до неузнаваемости день ее ухода. И вдруг на минуту из-за снежных туч выскочило тусклое и чуть-чуть больное солнце, и его бледные лучи заскользили по крышам

вот только недавно серой, а теперь обновленной Москвы, и в этот момент Анна отчетливо поняла, какое же это счастье жить и носить под сердцем ребенка — любимого, долгожданного, единственного. У нее сразу же созрел план — уйти из кордебалета и тихо, ни с кем не прощаясь, уехать в родной Минск, к маме. В конце концов, дома и стены помогают.

А потом был долгий, мучительный период. Когда она была словно прилеплена к Лерке, повторяла мысленно и наяву каждое движение маленького существа. И не было возможности ни на день, ни на час взять от нее отпуск, вырваться к друзьям в Москву, на концерт своей труппы. Лерина бабушка работала тяжело, на двух работах, чтобы обеспечить своих девочек. Это был безрадостный, изнурительный труд: утром на литейном станке, где бесконечной, змееподобной лентой вытекал еще теплый резиновый уплотнитель, а вечером в этом же цеху она подрабатывала уборщицей, сметая в совок рассыпавшиеся по углам гранулы пластиката. К ночи она добиралась домой без сил, с одним желанием — спать. Аня кормила ее поздним ужином, и они, едва обменявшись одной-двумя фразами, засыпали нервным и не очень глубоким сном. Первые месяцы Лерка просыпалась несколько раз за ночь, подолгу плакала, не отпускала от себя ни на шаг. Так они и спали: Анна в халате и носках, малышка у нее на груди, попкой кверху.

Анна поднялась, вышла на балкон. Вид завораживал. Как же она любит море! Какая немыслимо прекрасная страна Греция! На горизонте показался парусник, потом другой, третий. Какой же это надо жить жизнью, чтобы вот так беззаботно парить над водами Эгейского моря?! С каким багажом надо родиться и каким содержанием его продолжать наполнять, чтобы этот багаж никогда не иссяк?

Она подумала вдруг о Яннисе. Нет, это точно герой не ее романа. Законченный бабник с замашками аристократа. Она симпатизирует более внятным мужчинам. Ну его к черту! Думать о нем вовсе не хотелось.

А вот Гошу надо бы навестить. И прямо сейчас. В Уранополи ходит автобус. Несколько раз в сутки, кажется. В первой половине дня, главным образом. Пожалуй, она не станет пить сейчас кофе. Встречаться с Жоржиком, а тем более с Мариной, ей не хотелось. Вот что действительно замечательно — у нее теперь есть деньги. Марина вчера торжественно вручила. Будет на что позавтракать в городе. А вообще надо все взвесить, продумать и самым оптимальным образом распорядиться деньгами. Не каждый день ей выпадает такая удача. Георгия надо обязательно увидеть. И сказать ему самое главное — она не держит на него зла.

На остановке автобуса выяснилось, что автобус ушел пять минут назад, следующий будет только через час. Можно прогуляться по набережной. Продавцы не спеша отворяли лавки, выкладывали и вывешивали товар. Анна бродила от прилавка к прилавку, высматривая себе летнюю сумку, а Валерии — что-нибудь стильненькое. Все это она купит, вернувшись из Уранополи, — не хочется весь день таскаться с этим барахлом. Греки без особого любопытства рассматривали ее, белокожую северную женщину с серыми глазами. Они лениво переговаривались между собой, потягивая через трубочки свой холодный кофе по-гречески. Не было ни суеты в их движениях, ни желания услужить кому бы то ни было. Молодая парочка, вроде бы немцы, что-то долго выбирала в сувенирной лавке, никто им не мешал.

Анна осторожно вошла в затемненное нутро прибрежной таверны, попросила чашку горячего кофе и два крошечных пирожных — из тех, что были выставлены на витрине. Пирожные оказались необыкновенно вкусными.

— Хау мач? — спросила Анна у подошедшего официанта.

Он показал ей чек, на котором значилось пятнадцать. Анна отсчитала ровно пятнадцать евро и тут же пожалела о потраченных деньгах. Она могла бы купить Лерке еще одну майку.

У входа в городскую больничку Анна столкнулась с Ариадной. Обе шли в одном направлении.

— Привет, — не слишком дружелюбно произнесла Анна.

— Привет! — ответила равнодушно своим хрипловатым, вязким голосом Ариадна.

Она выглядела устало, но эта усталость была, по-видимому, приятного свойства. Во всяком случае, она вылепила на лице какую-никакую улыбку.

— Послушай, если ты собираешься к отцу, я тогда, пожалуй, прогуляюсь немного, — сказала сдержанно Анна. — Не стоит нам всем кагалом вваливаться к нему в палату. Для Георгия Сергеевича это станет большим стрессом.

— Пожалуй, не стоит, — миролюбиво согласилась Ариадна. — Я ненадолго. Минут через двадцать возвращайся. — И она нырнула в проем двери на своих тонких покачивающихся ногах. Ее бедра были несколько широковаты для таких цаплевидных ног.

— Папуля, привет! — Ариадна впорхнула в палату, бросилась к отцу на шею.

Георгия всегда коробило это обращенное к нему «папуля». С трудом он пытался всякий раз разглядеть в этой грубо размалеванной девке с пухлыми губами, с силиконовой громадной грудью, которая непонятно как держалась на худющем и бессильном теле с тонкими ногами, свою дочь — некогда маленькое чудо с прекрасным овалом лица, с бархатной кожей, с широко открытыми и всему удивляющимися глазами, с локонами невероятного, пепельного оттенка, подчеркивающими тот самый прекрасный овал. Теперь она превратилась в вульгарное существо, в карикатуру на саму себя. Гордо несла знамя своего эмансипированного племени, доказывая окружающим право жить широко, по-мужски, провозглашая всяческие свободы. Вот только во имя заработка ей приходилось иногда банально эксплуатировать свою женскую сущность, а заработав, тратить деньги так, как полагается тратить свободным мужчинам, — на дешевые, а порой и не очень, альковные страсти, на загулы где-нибудь на испанском побережье, на ненужные шмотки и прочее.

— Как ты себя чувствуешь? — голос ее прозвучал так, что было трудно понять, действительно ее волнует здоровье отца или приличие заставляет задать дежурный вопрос.

— Я рад, что ты все-таки пришла. У меня к тебе просьба, — бескровными губами произнес Ильин. — Не оставь Андрюшу и Марину, ежели что... Ты сильная.

— Не поняла?! — грубовато отозвалась дочь. — А ты куда собрался? Впрочем, не отвечай. Могу тебя утешить: ты еще поживешь... Однако забавно получается: когда ты оставил меня с матерью, ты как-то забыл перепоручить нас кому бы то ни было. А времена были дикие. Или тебе напомнить?

— Послушай, Ариадна! Я никогда не оставлял вас без финансовой поддержки, и ты это знаешь отлично.

— Мы стали никому не нужны, не интересны, мы стали изгоями, на мать словно черная тень опустилась... И все-таки я тебя прощаю. Одолев половину пути, вернее, пронесшись сквозь события своей, не самой простой, жизни на крыльях генетической памяти, то есть, проще говоря, унаследовав от тебя твой генетический код, я не имею морального права хоть в чем-то тебя упрекать. В известном смысле ты стал для меня примером. Как никогда не надо

себе изменять, своим страстям, цинизму, видениям. И оставаться преданным единственно важному жизненному кредо — лелеять свое «эго».

Голос Ариадны звучал почти зло, и в то же время Ильин мог поручиться: Ариадна была совершенно искренна.

— Я не хотел бы, чтобы ты жила с такой ненавистью в сердце.

— Брось ты, папуля! Какая ненависть?! Ничего, кроме благодарности за здоровые гены и блестящий пример! — голос ее смягчился.

— Хотелось бы верить!

— Нет, правда! Если бы ты знал, как я гордилась тобой, когда Кевин Кларк начал ставить фильмы по твоим сценариям. Я ходила и рассказывала всем подряд: «Это мой папа все придумал!» Мне не верили. Я даже дралась с мальчишками, а Любаше вообще выбила зуб. Я не знала еще тогда, что существует такой иезуитский прием в творческом мире, который к победителю не применит только ленивый, — сомневаться во всем: в авторстве, в искренности, в чистоте намерений, в гениальности, наконец.

— А ты поумнела... Раньше с тобой можно было говорить только о мальчиках и нарядах.

— Так я и сейчас не прочь об этом поболтать, — рассмеялась Ариадна. — Ладно, папуля, я пошла. К тебе тут Анна рвется. Жалко бабенку. Остальные хоть в женах твоих походили. Ну все, больше не буду. — И она поцеловала Ильина в холодную шершавую щеку.

Спустившись на первый этаж, Ариадна вспомнила, что не поблагодарила отца за деньги, но возвращаться не стала.

Как только за дочерью закрылась дверь, Ильин предпринял попытку подняться. Хотелось в туалет. Негоже родителю обнаженным щеголять перед детьми. С трудом приведя себя в вертикальное положение, пальцами ног коснулся прохладного пола, ощущение было приятным. Кружилась голова, однако тошнота уже столь сильно не досаждала. Держась за спинку кровати, он медленно встал и... тут же рухнул обратно, ноги не держали. Он снова поднялся, уже увереннее. Только бы не пришла сейчас Анна!

Стоило об этом подумать, как дверь тотчас приоткрылась и почти незаметно, как-то бочком, в нее проскользнула Анна. Ильин сделал шаг в сторону, покачнулся, схватился за широкий подоконник и стал медленно оседать. Анна бросила сумку у входа, рванулась к Георгию, едва успела его подхватить.

— Анна, проводи меня в туалет, пожалуйста.

— Конечно, конечно...

И она обвила его руку вокруг своей шеи и то ли повела, то ли потащила к туалету.

— Как чисто в этой больничке! — только и сказала, задохнувшись, она.

Через пять минут они сидели друг против друга, он на кровати, она на стуле — как старые добрые друзья.

— Анна, у меня только что была Ариадна.

— Я знаю, Гоша. Не волнуйся. Я не стану тебя утомлять слишком долго. Тебе нужны покой и положительные эмоции.

— А ведь я тебя любил, Анна, — проникновенно произнес Георгий.

— Я знаю и об этом, Гоша. Просто такая нам выпала судьба.

— Но я все равно бы тебя оставил. Как ни жестоко об этом говорить.

— Значит, все было предопределено, — глаза женщины увлажнились.

— В момент встречи с тобою я был на пике своей научной формы. В Союзе я достиг максимума. На мои лекции ломились, мои идеи воровали, а я был беден как церковная мышь. И это все происходило со мной уже после Испании и Мадрида, где я успел прочувствовать, что значит быть свобод-

ным, быть востребованным. Но оторваться совсем от родной почвы я никак не решался. И вот Кристофер Фаррелл, случайно попав на мою лекцию, по достоинству оценил мои гипотезы и пригласил меня тут же в Чикагский универ, где всегда была сильна школа физики. Благо, времена уже были другие, препятствий никто чинить не стал. У меня открылось второе дыхание. А там я уже познакомился с Кевином Кларком. После череды неофициальных встреч появилась идея написать сценарий фантастического фильма. Он оказался удачным. Принес мне деньги и славу. Я купил квартиру в Чикаго, в Москве, потом еще одну в Москве, вот этот дом построил на Халкидики.

— Дом замечательный, Гоша. Только зачем ты все это мне рассказываешь? Я не хочу твоих оправданий. Они мне не нужны, да и неинтересны. Если быть честной до конца, я никогда не видела будущего у наших отношений.

— А ты стала жесткой...

— Это не совсем так. Просто надо смотреть правде в лицо.

— Почему ты скрыла от меня рождение Валерии?

— Вскоре ты снова стал отцом. И это уже было неактуально.

— Расскажи мне, какая она, наша дочь.

— Лерка славная, — голос Анны потеплел. — Немного угловатая, временами смешная. Но очень добрая. Говорит, что это я ее дочь на самом деле. Непутевая, несамостоятельная, неуверенная.

— Мне так не показалось. Вот Яннис Метаксас очаровался тобою...

— Не надо. Я не хочу об этом... И, конечно же, я не такая, какой видит меня дочь. Я вполне самодостаточная, иногда мудрая, иногда хитрая, в общем, обыкновенная баба. Люблю танцевать, держу свою школу танцев, она нас с Леркой кормит.

— Я любовался тобой, когда ты танцевала с Яннисом вальс. В тот момент я даже пожалел, что жизнь все-таки конечна. А иначе можно было бы все пройти по второму кругу, и кто знает, какой бы был финал.

— Не обольщайся, Гоша, финал был бы тот же. И ты в финале всегда с новой и более юной женой и еще одним маленьким, самым любимым сыном.

— Ты хочешь сказать, что все уже было?

— Все уже было, но только иначе. И все подлежит описанию твоей Теорией Суперструн. Не так ли, наш дорогой физик?

— Странно, почему Марины нет до сих пор, — неожиданно поменял тему разговора Георгий. — Ты видела ее сегодня утром? Она ничего не просила передать?

— Гоша, дети уехали в Афины. А я ушла из дому, когда остальные еще спали.

— Какие еще Афины?! И Андрюша уехал? — голос Ильина старчески задрожал. Он, кажется, забыл, что был инициатором поездки. Анна увидела, насколько он сдал.

— Да не волнуйся ты, ради бога! С ними Катя, Гаврилыч и Танечка. Все будет хорошо, — Анна погладила его руку.

— Я устал, Анна, — его едва было слышно.

— Гоша, я все понимаю. Тебе нельзя волноваться. Я ухожу.

Анна, приподнявшись, приникла к груди Георгия, поцеловала в губы. От нее пахнуло уютом, покоем, чистотой и еще чем-то очень знакомым, но позабытым, чему он названия так и не вспомнил.

Появилась медсестра, немолодая гречанка с некрасивым лицом. На плохом английском объяснила, что завтра ему не стоит есть, доктор будет проводить обследование. Другой доктор приедет из Фесалоников и еще один из Афин. Она сделала обезболивающий укол и тихо выскользнула из палаты. Ни

в одной стране мира люди в белых халатах не любят надолго задерживаться у постели больного.

Георгий на минуту представил, как завтра врачи вынесут ему приговор, изъясняясь преимущественно на греческом, так им проще будет обсудить все нюансы его болезни, а он будет лежать и улыбаться — дурак-дураком, — хотя, возможно, это будет его последний осмысленный день.

Надо срочно учить греческий! Вот только как осилить произношение шестью способами одного только звука «и»?! Не говоря уже о других трудностях. И во сколько, интересно, выльется завтрашний консилиум? Пожалуй, Ариадна права в одном — он действительно выздоравливает, раз снова думает о деньгах.

Мучительного цвета абажур напротив заставил его прикрыть глаза.

Лишь только автобус покатился по автостраде в направлении первого пальчика Халкидики, Гаврилыч сразу же заклевал носом, а потом и вовсе захрапел. Дорога действовала на него умиротворяюще. Он давно уже понял, что дороги мира заменили ему счастье жизни. Каких-нибудь тридцать-сорок лет назад он еще надеялся на что-то, надеялся, что вот-вот поймет, в чем оно, его человеческое предназначение, — в физике, лирике, в красивых женщинах, от которых поначалу крыша съезжала. А может быть, в настоящей мужской дружбе, подкрепляемой бурными возлияниями и бесконечными выяснениями истины: где же жизнь счастливее — на сытом Западе или в обескровленной, до боли родимой России. Потом стало казаться, что главное — это дети, но поскольку бог ему их не дал, то и это стало содержанием не его в отдельности взятой жизни. Он всегда немного завидовал Ильину, но зависть эта была доброго свойства. Он завидовал его многосторонней одаренности, артистичности натуры, завидовал легкости, с которой тот охмурял все новых и новых женщин, в конце концов, его плодовитость тоже не оставляла Гаврилыча равнодушным. Это ж надо только подумать! Сколько маленьких и больших Ильиных бродит по белу свету, и в каждом до времени дремлет в зародыше ильинская гениальность!

И все же, несмотря ни на что, Гаврилыч был необыкновенно горд дружбой с Ильиным, платил ему самой большой привязанностью, на которую был только способен.

С женщинами было иначе. Поначалу Гаврилыч увлекался ими, боготворил, потом долго пребывал в состоянии равнодушного созерцания: а что еще могут выкинуть в жизни эти алогичные, непредсказуемые создания. Наконец начинал тяготиться ими и пьяно рассуждать, где же были его глаза, почему он не видел раньше, что они склонны к истерии, демонстративности поведения, лжи, а то и просто беззастенчиво стареют, толстеют, становятся похожими на жаб.

Георгию попадаются бабы, очевидно, совсем другой породы. И чувства его к ним словно вырваны из иного человеческого контекста. И когда Георгий боготворил своих женщин, а потом, случалось, ненавидел их, Гаврилыч страстно завидовал ему. Ему также хотелось объять женскую душу, прикоснуться к оголенным нервам, чтобы пережить нечто равное по накалу чувств. Он всю жизнь искал женщину, чтобы так влюбиться, но когда находил, все равно не дотягивал до высокой планки Ильина. Что ж, Гаврилыч искренне за него рад. Ему же не остается ничего другого, как стареть вместе со своими нелюбимыми женами и ждать от них наследства. Ибо зарабатывать другим способом он, воспитанный в лучших традициях советского общества, так и не научился.

Катя несколько раз легко касалась плеча Гаврилыча, он на минуту прерывал свой храп с присвистом, а потом снова принимался выводить только

ему понятные рулады. Его не смог разбудить громкий звук микрофона присоединившейся к ним вскоре девушки-экскурсовода.

Пока хоть что-то было видно за окном, дети глазели на бегущие вдоль дороги уютные деревеньки, на темные очертания то ли гор, то ли холмов, тянущихся долгой грядой, а потом, когда все стало неразличимо, разве что свет фонаря вырывал из темноты одинокий дом у дороги, каждый сосредоточился на своем. Павлик осваивал новую игру на своем мобильном телефоне, он что-то громко приговаривал, вроде того, что база построена, силы подтянуты и он сейчас мигом их всех прикончит. Андрюша зачарованно смотрел в маленький экран своего старшего брата, но потом вспомнил вдруг, что у него самого в рюкзаке лежит новенький планшет. Он сунул в рюкзак руку, ни на минуту не отрывая взгляд от игры на экране Павлика, но когда Диана что-то там заговорила о планах на завтрашний день, он все-таки переключился на свой планшет.

— Посмотри, что у меня есть! — сказал он Павлику.

— Ну что еще? — раздраженно буркнул Павлик, но все-таки бросил быстрый, оценивающий взгляд на предмет в Андрюшиных руках. — Подумаешь! У моего друга в классе есть еще покруче, — и он снова уткнулся в телефон.

Но буквально через минуту, когда Андрюша перестал зачарованно пялиться в его экран, Павлику и самому стало не так уж интересно выстраивать свою стратегию дальше. Он искоса, одним глазом, стал поглядывать на большой экран Андрюшиного планшета, а потом и вовсе закруглился со своей стратегией и со словами, сказанными нарочито равнодушно: «Ну-ка, дай взглянуть!» — завладел Андрюшиной игрушкой.

Катя чуть отстраненно, боковым зрением, наблюдала за детьми, ее кольнуло пренебрежение, которое выказал уже не в первый раз по отношению к Андрюше ее сын, в то же время как-то болезненно сжалось сердце при мысли, как безоговорочно и дружелюбно Андрюша принимает любые поступки, совершенные Павликом.

Верочка с Дарьей довольно мирно беседовали на свои девчоночьи темы, обижать друг друга как будто намерения не имели.

— А ты что, собираешься балериной становиться? — с нескрываемой завистью решила уточнить Даша.

— Ну как тебе сказать? — немного манерничала Верочка. — Мама говорит, на балерину стоит выучиться, а вот быть балериной совсем не обязательно.

— Как это?

— Ну что тут непонятного?! Балерины все такие красивые, у них ноги, как у Барби. А всю жизнь прыгать по сцене — это очень тяжелая работа.

Окончание следует.



ЖАННА ЗАВАЦКАЯ

Из темного, глухого далека

Гамаюн — птица вещая

За воротами тишь
Роковая, зловещая...
Что печально глядишь,
Гамаюн — птица вещая?
Что грустишь? Все одно —
На чужбину далекую
Улетели давно
Сыновья твои — соколы,
Чтоб в заморской стране
В горделивом парении
Щегольнуть по весне
Золотым оперением.
А за ними вослед
От порога от отчего
Уплыли в белый свет
И лебедушки-дочери.
Заневестились тут,
Засиделись в девичестве.
Их за морем найдут
Женихи заграничные.
Не твоя в том вина,
Что птенцы желторотые,
Насладившись сполна
Материнской заботою,
Сговорившись тайком,
Удалые, проворные,
Променяли свой дом
На житье забугорное.
Разве мало ты их
Миловала, лелеяла,
Врачевала больных,
Мелодичными трелями
Услаждала, еду
Добывала обильную,
Отводила беду
Распростертыми крыльями?

И любимых детей,
Молодых, неиспорченных,
Берегла от когтей
Остроклювого коршуна?
Все мечтала, вот-вот
Детки стайкою звонкою
Унесутся в полет
Над родимой сторонкою.
Но осталась сидеть,
Что и было предсказано,
В опустевшем гнезде,
Как сова пучеглазая.
Им бы, глупым птенцам,
Убедиться воочию,
Что такое ты там
Наплела, напророчила.
Им бы взять да спросить:
Что тобою завещано?
Отчего на Руси
Нарекли тебя «вещая».
Но в заморском краю
Детки ночками жаркими
Лишь блудливо поют
Да на Родину каркают.
Дескать, эта страна,
Им чужая и странная,
Безнадежно больна
И до одури пьяная.
Словом, грош ей цена,
Если силы растрачены.
И не мамка она,
А постылая мачеха.
Подскажи, ты же мать,
Как случилось, что любо им
Так отчизну клевать
Неокрепшими клювами?
Не жури, не брани,
Вспомнят детки со временем,
Из какого они
Вышли роду и племени.
И вернутся назад,
Поумневшие, взрослые,
Закричат, закружат
Над родными покосами.
«Ты прости нас, земля,
Величавая, мудрая.
Мы — твои сыновья,
Непутевые, блудные».
И, забыв о былом,
Все поймет и доверчиво
Примет их под крыло
Гамаюн — птица вещая.

Старость

Из темного, глухого далека,
Морщиниста, горбата и убога,
Плетется старость в пыльных башмаках,
Неловко приволакивая ногу.
Ворча, грозит костлявою рукой
Не в меру пылким молодым невеждам
И гонит прочь увесистой клюкой
Заветные желанья и надежды.
Она приходит, так уж повелось,
Не в одиночку, а с недугом в паре,
Как нежеланный и незваный гость,
Как дикий и безжалостный татарин.
И за спиной коварно притаясь,
Ехидно прохихикает на ушко:
«Не бойся, ведь на самом деле я
Довольно справедливая старушка.
Какой бы я жестокой ни была,
Но от тебя мне лишнего не надо.
Я, подытожив все твои дела,
Заслуженную выплачу награду.
Когда, умея жертвовать собой,
Другим в беде протягиваешь руку,
На склоне лет ты обретешь покой,
Состарившись в кругу детей и внуков.
Но если жаждой славы ты томим,
Лишь власти и богатству зная цену,
Я стану одиночеством твоим,
Судьей и палачом одновременно».
Вздохнула старость, молча поднялась,
Взяла клюку, шагнула на дорогу.
И, спотыкаясь, дальше поплелась,
Неловко приволакивая ногу.





НАУМ ГАЛЬПЕРОВИЧ

Вздох нежности

Повесть

Автобус неумолимо удалялся. Кажется, только мгновение назад еще светились сзади красные огни, а уже темнота поглотила силуэт, оставив только слабый гул мотора, который постепенно стихал.

Андрей остановился, убедившись, что продолжать бег бессмысленно. Сердце колотилось в груди, пот выступил на лбу.

«Надо немедленно позвонить, там ведь все свои, пусть скажут водителю, чтобы остановился, подождал немного», — мелькнула мысль. Но мобильника почему-то не было.

«Как так, где же я мог его потерять? — в отчаянии думал Андрей. — Как назло!»

И вдруг мобильник отозвался мелодичным звоном.

Андрей проснулся, отбросил одеяло, нащупал мобильник на тумбочке, выключил будильник. Тело было покрыто потом, скомканная простыня, на которой он вертелся всю ночь, имела и вовсе мятый вид.

Не первый раз снились ему под утро такие сны: то он опаздывал на поезд или на самолет, то все товарищи, с которыми он был в командировке, оставляли его в отеле одного... Врач, милая отзывчивая женщина, говорила, что это все от его стенокардии, советовала пить перед сном что-нибудь успокаивающее.

Андрей встал, подошел к окну. Светало. Моросил мелкий дождик, и бронзовый Скорина на площади, казалось, съежился. «Бедный Франтишек, — усмехнулся Андрей, — не спрятаться, и с пьедестала не сойти, и зонта нет».

Здесь, в родном городе, было довольно непривычно смотреть на знакомую площадь из гостиничного окна. Андрей вспомнил, как торжественно открывали этот памятник, и он, подросток с полоцкой окраины, зачарованно смотрел, как падало с бронзы белое полотно, и глазам открывалась величественная фигура знаменитого полочанина.

«Вот бы написать об этом, но удастся ли передать тот детский восторг, то трепетное чувство радости и гордости, ощущение сопричастности к чему-то великому и таинственному», — думал, одеваясь, Андрей. Он знал, что близкие порой посмеиваются над его сентиментальностью, юношеским максимализмом в его-то годы, но ничего поделать не мог. В среде таких же краеведов, как сам, Андрей слыл авторитетом, ходячей энциклопедией. И тема его диссертации, и многочисленные статьи были в основном посвящены Полоцку или событиям, связанным с полоцкой землей. С раннего детства Андрей мысленно путешествовал по подземным лабиринтам, начинавшимся у Софии, вместе с Всеславом Чародеем мчался через ночной лес из Киева в Полоцк, сражался с наполеоновскими войсками на Красном мосту.

Его учитель истории Яков Александрович, которого Андрей уважал и считал самым образованным в мире человеком, заметил увлечение юноши

и посоветовал ему писать историю родной улицы. И они вместе с приятелем по историческому кружку Толиком Василенко ходили по домам, записывали в тетради рассказы об артели «Правда», о нефтебазе, о железнодорожном тупике... Андрей пытался узнать больше о Спасо-Евфросиниевском монастыре, но Толик отговорил: отец не советовал трогать богомолок.

Кто знал тогда, что улица будет называться улицей Евфросинии Полоцкой и что по ней будут подъезжать шикарные туристические автобусы прямо к монастырским воротам?..

Будучи студентом, потом аспирантом, Андрей с радостью торопился домой — в небольшой, но уютный дом родителей, где во дворе ждал старый вяз, деревянный столик со скамейкой: здесь Андрей любил заниматься, когда готовился к выпускным экзаменам в школе. В крохотной прихожей на вешалке висели знакомые вещи, в гостиной радовала глаз картина на стене, которую они с мамой когда-то купили в книжном магазине с маминой тринадцатой зарплаты.

Это была, ясное дело, репродукция. Поленов, «Московский дворик». Тогда она и понравилась своим сходством с их двором, и за годы, проведенные здесь, этот московский дворик стал почти родным.

Картина по-прежнему висит на стене, но ни папы, ни мамы уже давно нет, старый вяз спилили. В доме теперь живет старшая сестра жены, которая с тремя детьми бежала из пылающего Грозного во время первой чеченской войны. Ее муж, водитель «скорой помощи», местный русский, погиб от шальной пули своего же русского солдатика, который принял его за боевика, когда он на своей собственной машине мчался домой предупредить семью, что в город врываются танки.

Андрей уже тогда жил с семьей в Минске, родительский дом у них с сестрой был вместо дачи, и конечно, когда жена со слезами на глазах заговорила о том, что Зое с детьми негде жить, сомнений не было. Правда, муж сестры Петро заикнулся было, что надо заплатить им за их часть, но Андрей устроил скандал, сказал, что он за все заплатит, но знаться больше с сестрой не хочет, и в конце концов все успокоилось, поскольку Петро, хоть и был изрядным выпивохой и скандалистом, Андрея побаивался и уважал.

Как-то раз, в один из приездов, Зоя постелила ему на знакомом старом диване в гостиной.

Андрей спал плохо. Чуть свет он поднялся, подошел к окну, глядевшему в старый сад, потом бросил взгляд на знакомую картину. Стало жутко от изображения поленовского дворика, нахлынули воспоминания, и ноги сами понесли на улицу.

Он не торопясь пошел к воротам Спасского монастыря. Церквушка, как свеча, белела в предрассветном сумраке. Андрей перекрестился.

Он, в прошлом пионер, комсомолец, коммунист, сам не ожидал, что придет к вере, что имя преподобной Евфросинии, о которой он слышал с раннего детства, станет для него не просто образом просветительницы, а засияет святым огнем в душе, что он будет чтить это имя святой заступницы белорусского народа.

...Андрей отогнал воспоминания, прошел в душевую и, стоя под тугими струями прохладной воды, осваивался в непривычном для него состоянии приезжего гостя в родном городе. Потом, вытираясь махровым полотенцем, осматривал свое временное пристанище. Это был, конечно, не Шанхай, куда он недавно ездил в командировку. Там все сияло роскошью: и широченная кровать, и телевизор во всю стену, и шикарный буфет с посудой, и ваза на столе со свежими фруктами — подарок администрации...

В родном городе все было просто и по-спартански строго. Андрей в последнее время не раз ночевал в разных гостиницах и привык оценивать

их прежде всего с точки зрения удобства. Полоцкий отель в этом смысле был хоть и не на сто процентов хорошим, но вполне сносным.

Спустившись в холл и поздоровавшись с дежурной, — она его, вероятно, узнала, приветливо заулыбалась, — он вышел на площадь. Дождь прекратился, но в воздухе пахло сыростью и утренней свежестью.

Андрей подошел к бронзовому Скорине, немного постоял, глядя на знакомый с юных лет силуэт, затем спустился вниз, на набережную.

Над Двиной висел туман, и от воды поднимался пар, как бывает всегда, когда на смену вчерашнему зною приходят дождь и прохлада.

Андрей вспомнил, как они с одноклассниками после выпускного экзамена взяли напрокат лодку и поплыли против течения вверх, за железнодорожный мост. Грести было тяжеловато, но именно это и влекло — юношеские мышцы требовали нагрузки, хотелось почувствовать силу в руках, ту бодрость во всем теле, которая бывает только в молодости.

Была весна, щедро дарившая тепло, пьянящие ароматы сирени и черемухи, впереди ждала новая, взрослая жизнь...

Вдруг из надвинувшейся тучи хлынул проливной дождь.

— Разворачиваемся! — крикнул Сашка Дворецкий. — Промокнем здесь насквозь!

Дождь не утихал. Колючие капли били по голове, по лицу. Одежда, сложенная в уголке, давно промокла.

Андрей даже усмехнулся, вспомнив, как они бежали по улицам, а потом через центральную площадь в одних плавках, держа в руках измятые, мокрые штаны и рубахи, как на них смотрели прохожие — кто со смехом, а кто и с осуждением...

— Уважаемый, закурить не найдется? — прервал его воспоминания хрипловатый басок.

— Не курю! — хотел было ответить Андрей, но что-то в седом, неряшливого вида человеке показалось очень знакомым.

— Толик, ты?

Действительно, это был Толя Сидоревич, его одноклассник, неопрятный, седой, со стойким запахом перегара.

— Андрюша! — воскликнул, улыбаясь и демонстрируя ряд металлических зубов, Сидоревич. — А я думаю, вот мен какой-то заезжий, расколю его на сигареты. А может, и наличность вместе посчитаем?

Толик еще в седьмом классе загремел в колонию для несовершеннолетних, а потом несметное количество раз тянул срок, проводя короткие периоды между отсидками в родительской хате.

Андрей вытащил из кармана пачку «Мальборо» и протянул однокласснику.

— Бери всю. У меня в гостинице еще есть.

Андрей вообще курил редко и сигареты брал с собой на всякий случай.

— Спасибочки, — растянул рот в улыбке Сидоревич. — А ты забурел, забурел!.. Видел тебя однажды по телевизору на какой-то научной конференции. Чувакам говорю — корешок мой бывший!

Они действительно в детстве могли стать друзьями. Толик пришел в их пятый класс и почему-то сразу обратил внимание на Андрея. Может, потому, что Андрей среди одноклассников выделялся спортивной фигурой, стильной прической с длинными по тогдашней моде волосами. Не раз выслушивал замечания от учителей, но упорно не ходил в парикмахерскую, и эта позиция новичку импонировала. У Толика тоже был шикарный каштановый чуб, спадавший на лоб, отчего он казался взрослее.

За новичком уже тянулась недобрая слава, об этом даже классная предупредила. И хотя отец его был милиционером, сам Сидоревич, по словам учительницы, уже состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Тем не менее Андрею новичок понравился, и они часто стали ходить вместе.

Однажды, вернувшись домой, Андрей застал в квартире классную, которая разговаривала с его матерью.

— Вот и Андрей! Хорошо, пусть послушает. Я и говорю, не нравится мне, Софья Григорьевна, что он с Сидоревичем водится. Собьет тот вашего парня с толку.

— Татьяна Петровна, вы же сами говорили, что пионер должен всегда помогать другу избавиться от недостатков. Я вот и хочу помочь Толику перевоспитаться, — возразил мальчик.

— Смотри, чтобы он тебя не перевоспитал! — парировала учительница. — Я вам, Софья Григорьевна, настоятельно рекомендую ограничить контакты вашего сына с будущим малолетним преступником.

Тем не менее Андрей еще пытался поддерживать дружбу, но понемногу она стала угасать — Толик тоже начал отдаляться, больше времени проводил в своей прежней компании, где заводилой был второгодник по прозвищу Бурма, который уже не учился в школе.

А через год Сидоревич действительно попал в колонию. Говорили, что его приятели залезли на территорию мясокомбината, вынесли оттуда два ящика тушенки, и хоть Толика в тот день не было с ними, он взял вину на себя. С тех пор у него и пошло-поехало: то подрался с таким же, как сам, малолетним зэком, то нагрубил воспитателю... Одним словом, как говорится, тюрьма стала для него родным домом.

— Слушай, раз уж встретились, — оторвал его от воспоминаний Сидоревич, — может, найдешь для меня пару рублей? Вчера перебрали с подругой, котлы горят.

— Ладно, проставлю в честь встречи. Только по пятьдесят граммов, не больше.

Андрей знал, что буфет в гостинице открывается в семь утра, и потому уверенно повел бывшего одноклассника в свой временный приют. Подойдя к буфетной стойке, заказал двести граммов коньяка и бутерброды с красной икрой. Буфетчица, узнав Андрея, пыталась ему что-то сказать, но он опередил ее:

— Вот одноклассника встретил. Много лет не виделись.

Буфетчица с недоверием осуждающе посмотрела на Андрея, но молча подала графинчик и бутерброды.

Толик быстро захмелел, к бутербродам не прикоснулся. На лице выступили красные пятна.

— Ты вот ученый, а сколько тебе платят? Ишачишь в своем институте за копейки. А ты вот роман про меня напиши, такая книжка будет! Я тебе такого порасскажу, за уши читателя не оттянешь!..

Андрей уже жалел, что привел его сюда. В очередной раз жизнь дала ему понять, что былого не вернуть, что люди меняются и что высокий интеллигентский порыв часто оканчивается досадой и разочарованием.

Тем более что с Толиком это случилось уже второй раз. В первый, лет двадцать назад, он, встретив Толика на улице, поделился радостью рождения дочери.

Толик тогда неожиданно расчувствовался, вызвался проводить его домой. По дороге они встречали каких-то подозрительных типов, которые здоровались с Толиком, а он всем рассказывал, что с ним его давний кореш, у которого родилась дочь... Потом их затянули во двор какие-то размале-

ванные женщины, достававшие из сумок дешевое вино и закуски, и Андрей банально сбежал — что последует дальше, догадаться было нетрудно.

Так случилось и сегодня.

«Это тебе наука!» — мысленно упрекнул себя Андрей, а вслух произнес:

— Ладно, пора прощаться, у меня сегодня много дел.

— Хорошо, хорошо, — засуетился Толик, — а может, пару рублей...

Андрей не дослушал, полез в кошелек, вынул пятерку, положил на стол и, не прощаясь, выскочил из буфета.

— Серому бросать? Серому и так на блюдечке принесут, — слышал он за спиной пьяное бормотание.

«Вот тебе и первая встреча в родном городе! — с горечью подумал Андрей. — Всегда, когда ожидаешь чего-то возвышенного и красивого, получается такая вот ерунда!»

Андрей поднялся в номер, разделся, зашел в ванную комнату и подставил тело живительным струям.

«А чего я хотел? — думал он, чувствуя, как вода смывает с него усталость и раздражение. — Радости встречи с бывшим одноклассником?» Как-то раз, когда они вместе с Валерием Федоренко в гостях у своей бывшей учительницы Татьяны Петровны заговорили о Сидоревиче с сожалением, Валера прямо-таки вскипел:

— Нечего его жалеть! Каждый сам выбирает свой путь. Я рос без отца в такой же хулиганской среде. Однако же ни в колонию, ни в тюрьму не угодил.

Валера действительно был из одной с Сидоревичем компании, пошел в спортивную секцию, стал известным боксером, поступил в ветеринарный институт, работал главным ветврачом в соседнем районе.

Андрей и сам не раз убеждался, что не всегда благородный порыв приносит хороший результат. Он помог своему ученику защитить кандидатскую диссертацию, а когда тот попал в автокатастрофу и был прикован к постели, ходил к нему, помогал деньгами. А в результате Михасёк распустил грязные слухи о нем, даже пасквиль в интернете тиснул.

Ему стало неприятно от того чувства превосходства, которое невольно испытал при встрече с Толиком. Он не раз ловил себя на этом противном желании взять реванш за детские и юношеские обиды: перед библиотекаршей Катей, которая обманула его, выбрав другого, перед Фатимой — своей первой и, пожалуй, самой большой любовью.

Дом, в котором она жила, и сегодня стоит прямо за мостом через Двину. Сколько раз они проходили по этому мосту, сколько часов провел он в ее холодном подъезде!..

Впервые он увидел ее в поезде, когда ехал с другом в Минск. Худенькая, стройная, со слегка раскосыми серыми глазами, взгляд которых сразу, словно молнией, пронзил сердце. «Это она!» — сказал он тогда приятелю. Она ехала с сестрой. Парни подсели к девушкам и всю ночь шутили, смеялись, и, кажется, Андрей никогда еще не был таким красноречивым.

В Минске он не пошел на занятия, два чудесных дня они встречались в городе, ходили в кино, на КВН в политехнический институт, где училась ее сестра. Потом Фатима уехала, и Андрей считал дни до встречи, а его тоска по родному городу усилилась настолько, что тянуло как магнитом к родным улицам, к дому, где жила его желанная Фатима.

Долгих шесть лет, зная, что она полюбила не его, а того друга, с которым он тогда ехал в поезде, Андрей старался переломить ситуацию — как жить без нее, не представлял. Но даже то, что друг женился на другой и они с Фатимой были вместе на его свадьбе, не растопило ее сердце...

Он привычно отогнал тяжелое воспоминание. Простившись с любовью, искал девушек и женщин, заводил бесчисленные романы, чтобы забыть ее, а вот сейчас почему-то вспомнил...

Андрей вытерся махровым полотенцем и стал собираться на центральную площадь. Новая рубаха и галстук, любимый, в синюю полоску костюм добавляли ему солидности, как сказала бы жена, импозантности. Андрей относился к тому типу мужчин, которые становятся лучше с годами, и не похож теперь на долговязого, с пушком над верхней губой подростка, каким был тридцать лет назад.

На площади уже собирался народ.

— Андрей Семенович, приветствую! — заулыбался издали заведующий гороно Волков. Когда-то он был просто Леником Волковым, с которым они проводили свободное время, когда Андрей работал после института в школе. Леник преподавал математику в той же школе, но его вскоре забрали на должность инструктора в райком комсомола.

Почти каждый день они бродили по полоцкому «Бродвею», носившему имя основателя научного коммунизма Карла Маркса, иногда заходили в кафешку Дома офицеров или на танцплощадку в парке над Двиной.

Как-то раз выбрались вместе в сельскую школу-интернат, где работали по распределению молодые учительницы. Одна, светловолосая, с длинной косой, «крепко сшитая» Светлана через год стала женой Леника, а Андрей был у приятеля свидетелем.

— Приветствую, Леонид Геннадьевич, рад тебя видеть, — сухо ответил Андрей.

Он так и не смог забыть о том, что когда через два года, отработав в школе, поехал в Минск устраиваться в институт истории и его не взяли из-за того, что не было прописки, вернувшись в родной город, не мог устроиться на работу. Леник же, который был тогда уже первым секретарем райкома комсомола, избегал встреч с ним — кто-то в городе пустил слух, что у Андрея какие-то нелады с правоохранительными органами.

Потом Андрей поступил в аспирантуру, стал доктором наук, заведующим кафедрой крупнейшего вуза страны, автором и ведущим одной из программ телевидения, и хоть по определенным меркам — не очень уж большой начальник, но все же известный в стране человек.

И Волков старался загладить былое недоразумение, возродить дружбу, даже несколько раз приезжал к Андрею в Минск, но прежняя обида все же не проходила.

Андрею было приятно видеть старых знакомых, тех, кого знал еще с детства, с кем работал на заводе и в школе.

Приветливо улыбнулся Павлу Афанасьевичу Сташкевичу, Герою Социалистического Труда — на лацкане пиджака сияла Золотая Звезда. В первый год, когда Андрей не поступил после школы в институт, довелось пойти работать учеником слесаря на завод стекловолокна. Его тогда прикрепили учеником к Павлу Афанасьевичу, имя которого гремело, портрет красовался на Доске почета, от корреспондентов, желающих написать о герое, отбоя не было.

Собственно говоря, профессия слесаря не слишком привлекала Андрея, руки у него, по словам Павла Афанасьевича, не из того места росли, но они с наставником все-таки сошлись. Он очень любил слушать рассказы Сташкевича о том, как тот двенадцатилетним пареньком с Ушатчины стал связным и разведчиком партизанского отряда, как потом стал сыном полка и вместе с бойцами дошел до Берлина, как закончил службу на Дальнем Востоке

и приехал в полуразрушенный Полоцк, как строили завод, на который пришел работать. Завод стекловолокна в Полоцке в то время был настоящим гигантом, дав возможность сотням юношей и девушек получить рабочую профессию, общежитие, неплохие заработки.

— Не получится из тебя слесаря, — вздыхая, говорил Павел Афанасьевич, глядя на тонкие пальцы ученика, — но парень ты неплохой, башковитый, так что учиться тебе надо.

И через несколько лет, когда Андрей уже стал кандидатом наук, при встрече сказал:

— Рад за тебя. Хорошо, что на заводе не остался. Как говорят, кто на кого учился. Так что двигай науку!

Сегодня ветеран, совсем седой, давно на пенсии, но приходит на все городские мероприятия, когда его приглашают как почетного гражданина города.

Еще с одним человеком было приятно увидеться. Это его былой тренер Василий Сивограк — такой же могучий в плечах, такой же подтянутый, в дорогом костюме. Он и тогда, в Андреевом детстве, выделялся среди остальных своим внешним видом. Родной брат олимпийского чемпиона по штанге Ивана Сивограка, он каким-то чудом попал после института в Полоцк, да так и остался в городе навсегда.

Сам по спортивной квалификации метатель молота, он стал тренировать легкоатлетов. Андрей пришел в секцию легкой атлетики детской спортивной школы после неудачной попытки стать гимнастом. Ничего не поделаешь, не получалось у него никак прыгать через коня, да и брусья не давались. В футбольную секцию поступить было трудно, а в секцию легкой атлетики брали всех желающих.

Новый молодой тренер после нескольких тренировок оставил Андрея и еще одного парня.

— Ты, Паша, займешься бегом с барьерами, а тебя, Андрей, сделаю чемпионом в беге на средние дистанции.

Паша высокий, мускулистый, длинноногий — Андрей значительно уступал ему в физическом развитии. Впрочем, бегал, кажется, неплохо.

Но, как пояснил тренер, у него идеальные данные для бегунов на четыреста и восемьсот метров: высокая стартовая скорость, небольшой рост, только надо развить выносливость.

— И подкачаться, — добавил тренер. — Сил поднабраться, железо потаскать.

Начались изматывающие тренировки: приседания и прыжки через препятствия с тяжелыми металлическими «блинами» в руках, отжим штанги лежа, десятки кругов по беговой дорожке единственного в городе стадиона «Локомотив»...

— Давай, давай, Андрей! Я из тебя чемпиона Европы сделаю!

Но Андрей не слишком верил в то, что станет чемпионом Европы. Хотелось чего-то иного: играть в футбол, ходить в драматический кружок, просиживать часами в читальном зале библиотеки, искать клады в раскопках на берегу Двины... И он решил бросить секцию.

Андрей начал прятаться от Сивограка. Не раз он со страхом представлял зычный голос тренера, который опять заставит таскать те ненавистные железные «блины».

Но все обошлось. Правда, из футбольной секции, куда он поступил вскоре, его отчислили, поскольку не выполнил нормативы по прыжкам в высоту... На этом его спортивная карьера закончилась.

Сивограк, между тем, казалось, совсем забыл своего бывшего воспитанника. Возобновилось знакомство во время одной из научных конференций

в Музее белорусского книгоиздания — Сивограк увлекся историей Полоцка и даже выступил с докладом, посвященным древним рукописям.

«Вот тебе и обещание воспитать чемпиона Европы!» — подумал тогда Андрей.

Народ на площади начал строиться в колонну. Заблестели трубы духового оркестра, впереди формировалась колонна передовиков с красными лентами.

«Все как раньше, — подумал Андрей, — словно ничего не изменилось за эти двадцать лет».

Он хорошо помнил прежние торжества, сам не раз шагал в колонне родной школы. Явка на любую такую демонстрацию была обязательной. Если кто-то в этот день уезжал из города, должен был принести справку об освобождении. Тем не менее было весело — после шествия собирались группками, шли на берег Двины или в какую-нибудь кафешку, порой тусовались до позднего вечера.

Он не знал, как формировали колонну теперь, но людей было много. Под звуки оркестра людские шеренги двинулись по центральному проспекту. По пути следования на тротуарах стояли люди, слышались приветствия, многие фотографировали шествие фотоаппаратами и мобильными телефонами. Впереди шагали руководители во главе с мэром, за ними передовики и почетные гости.

«Вот бы мама порадовалась», — мелькнуло в голове. Мама Андрея, из-за ленинградской блокады недоучившаяся в институте, всегда хотела, чтобы ее сын получил высшее образование, вышел в люди. Она, скромный бухгалтер в конторе маленького заводика, где выпускали пуговицы, всегда приносила ему из библиотеки интересные книги, ходила с ним в кино и на концерты приезжих артистов. Несколько раз они ездили в город юности Ленинград, где жил ее брат, во время войны фронтовой корреспондент, что и помогло ему переправить ее, едва живую от голода, через Ладогу на Большую землю.

Отец же, фронтовой разведчик, вернулся с войны без руки, работал на том же заводике сторожем, частенько заглядывал в рюмку, но сына любил фанатично и очень переживал, что парень не интересуется его довоенной профессией печника.

Он не очень радовался, когда сын переехал в Минск, и, оставшись без супруги, мамы Андрея, которая тихо ушла в лучший мир, ждал в гости сына с внуками, это было его единственной радостью.

Отец прожил почти девяносто лет, так и не побывав в гостях у сына, хоть Андрей не раз приглашал его...

Колонна, продефилировав по проспекту, вернулась на площадь, где уже были расставлены стулья для почетных гостей перед большой сценой.

Ведущие появились перед публикой, и началось торжество.

Дождь давно кончился, солнце припекало, хотелось спать. Андрей не слишком вслушивался в произносимые речи, не следил, как на сцену выходили один за другим руководители предприятий, рабочие — победители предпраздничной вахты.

Потом начался концерт. Местные исполнители старательно копировали популярных звезд, и это вызывало у Андрея ироническую улыбку.

Он и вовсе развеселился, когда на сцену вышел почетный гость, известный композитор, автор нескольких популярных шлягеров. Невысокого росточка, лысый, он долго говорил о совместных проектах с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, о дружбе с Иосифом Кобзоном...

«А сейчас я исполню для вас свою новую композицию «Ниндзя», — с гордостью объявил композитор.

«Вот только в Полоцке «Ниндзи» и не хватало, — чуть не вслух засмеялся Андрей. — Не понимает маэстро, где он и для чего».

Завершился концерт массовой детской танцевальной композицией. Дети самых разных возрастов, от самых маленьких до подростков, по замыслу режиссера, должны были изображать счастливое детство и светлое будущее.

«Только будущее почему-то под Майкла Джексона танцует, — опять с грустной иронией отметил про себя Андрей, вслушиваясь в английские слова, несшиеся из динамиков. — Не представляю, чтобы где-то в Калифорнии детвора танцевала под песняровское “Касiў Ясь канюшыну”».

Концерт окончился, народ начал потихоньку расходиться. Через несколько часов по программе должен был быть фуршет, и Андрей решил пока пройтись до Софийки. По дороге подошел к одному из лотков, которых на площади было множество. Пахло дымом и шашлыками, как на грузинском пляже. Андрей купил бутерброд с красной рыбой и стакан чаю. Встречаться ни с кем не хотелось. Слегка перекусив, он отправился по маршруту своего детства — вверх, через больничный городок, минуя Вал Ивана Грозного и Стрелецкий переулок, которые оставались справа. Место это называлось Верхним замком.

Улочку эту Андрей очень любил. Прежде чем подняться к Больничному городку, нужно было пройти мимо зданий бывшего Кадетского корпуса, ранее — Иезуитской академии. Здесь до недавнего времени был госпиталь, но после длительной борьбы с военным ведомством корпуса передали университету и картинной галерее.

Андрей не спешил, шел медленно, рассматривая новшества на знакомой улице, и не сразу услышал женский голос.

Он оглянулся. Окликала его средних лет женщина со следами былой красоты на лице, одетая несколько старомодно, но со вкусом.

Улыбка ее показалась знакомой, но Андрей не мог припомнить, кто перед ним.

— Не пазнаеш? — по-белорусски спросила женщина.

— Валя? Валентина? — неуверенно спросил Андрей. — Еще как узнаю!

— Да, именно на этом месте, — засмеялась Валентина, — почти в Стрелецком переулке. Помнишь?

Как же было не помнить этот переулок? Там, за Валом Ивана Грозного, был деревянный дом Валиной тетки. А напротив, в небольшой пристройке, жила она сама. Андрей не раз бывал в девичьей комнатке, оставался там до поздней ночи, мог бы остаться навсегда...

Он не знал, о чем говорить, как продолжать разговор — после предыдущего, который Андрей не любил вспоминать, прошло больше двадцати пяти лет.

Валентина начала первая.

— Я вот только что приехала из Иркутска, в родные места потянуло. Тетя Броня умерла, Ванда в Новополоцке живет, а тут жили квартиранты в моей пристройке, да съехали, и пустует теткина хата...

Как продолжать разговор, Андрей не знал и машинально переспросил:

— Из Иркутска?

— Да, из Иркутска, — откликнулась женщина. — Там муж служил, оттуда в Афган попал и не вернулся. Там квартира, там и живу.

Валентина всегда любила офицеров. Отец ее тоже был офицером и в то время, когда они познакомились, служил в ГДР. А судьба свела их после того, как Валентина рассталась с женихом-офицером.

Их первое, мимолетное знакомство, казалось, не должно было иметь никакого продолжения. Однажды на танцплощадке, куда случайно завернули Андрей и его закадычный приятель по прозвищу Джексон, они от нечего

делать начали легкий флирт с девушками, одной из которых была Валентина, и даже проводили их домой.

Через некоторое время Валентина нашла его сама.

— Можем ли мы встретиться? — спросила, вдруг позвонив однажды вечером.

Андрей тогда после разговора с Фатимой, которая в очередной раз нашла причину, чтобы не прийти на свидание, был зол и грубовато ответил:

— А зачем?

— Я тебе все объясню. У меня неприятности, мне очень одиноко и очень нужна твоя помощь.

По голосу чувствовалось, что она действительно расстроена, казалось — вот-вот заплачет, что Андрею уж вовсе не нравилось.

— А чем я могу помочь?

— Приходи ко мне.

Она назвала адрес, именно тот, в Стрелецком переулке.

— Мне изменил жених, поступил со мной подло. Оказался самым настоящим негодяем. Мне сейчас так тяжело, что жить не хочется. Ты не думай, я от тебя ничего требовать не буду. Только побудь рядом. Будем просто друзьями.

Это звучало очень уж странно, даже слегка театрально. «Однако кто знает, — подумал тогда Андрей. — Мне тоже несладко».

Потом они пили чай в ее боковушке, посмотрели телевизор, и Андрей отправился домой.

Рано утром Валентина опять позвонила.

— Ты знаешь, вчера я не решилась попросить... Сегодня я приглашена в ресторан. У подруги помолвка. Торжество было намечено еще месяц назад. Мне неудобно идти одной. Будь добр, составь компанию, за все уже заплачено, требуется только твое присутствие.

Она выпалила все это на одном дыхании, словно опасаясь, что Андрей прервет разговор. И только под конец выдохнула:

— Придешь?

Они сидели за столиком вчетвером. Подруга оказалась той самой девушкой, с которой Валентина была на танцплощадке. Она с неприкрытым интересом посматривала на Андрея. Парень же явно был не в курсе дела, воспринимал Андрея как Валентининого жениха и весь светился счастьем.

Потом долго гуляли по проспекту. Сыпал мелкий снежок, легкий морозец приятно пощипывал щеки. Валентина казалась веселой и жизнерадостной. Они бросали друг в друга снежки, шутили. Андрей поскользнулся, образовалась куча-мала, и вдруг он почувствовал под распахнутой шубой жар Валентининого тела. Его впервые обдало могучей волной страсти — с Фатимой было все не так: романтично и возвышенно.

С Валентиной они теперь встречались почти ежедневно. Ходили в кино, гуляли по городу, возвращались в ее боковушку...

Она была действительно красивая, привлекательная, и Андрей прямо-таки дрожал от нетерпения.

Валентина словно забыла о том, что они намеревались просто дружить, да и дружбой их отношения уже назвать было трудно. Тем не менее сердце Андрея по-прежнему занимала Фатима, и хоть с Валентиной ему было хорошо, он все время думал только о Фатиме.

Андрею было неловко от того, что он вроде бы подает Валентине какую-то надежду, все время хотел поговорить с девушкой, расставить все точки над «i». Такой случай наконец представился.

Однажды — они возвращались от ее друзей — она, нежно прильнув к нему, сказала:

— Слушай, а давай уедем в Брест! Там родительская квартира пустует, три комнаты.

Андрей был на подпитии, что придало ему смелости.

— А больше ты ничего не хочешь? Мы же только друзья.

— Ах, друзья? — взвилась вдруг Валентина. — И в моей постели тоже были друзьями? Все вы такие! Что? Поматросил и бросил?

Этот бабский базарный тон, этот крик вызвал у Андрея раздражение и возмущение. Он наговорил чего-то злого, некрасивого, о чем было стыдно вспоминать потом, и пошел прочь.

Больше на телефонные звонки он не отвечал и сам не звонил.

Полгода спустя Валентинина соседка, встретив его на улице, сказала, что Валя вышла замуж за офицера и уехала с ним куда-то в Россию.

И вот теперь она стояла перед ним, постаревшая, но все же красивая зрелой женской красотой.

— Давай зайдем ко мне, — вдруг предложила Валентина. — Не бойся, приставать не буду. Просто поговорим. Есть о чем рассказать.

Неожиданно для себя Андрей согласился. Этот ее новый облик, эта белорусская речь заинтересовали его. К тому же делить теперь было нечего.

Комнатушка была все та же, и мебель почти не поменялась.

— Теперь тут никто не живет. Сначала тетка держала квартирантов, а потом племянники от них отказались. — Она продолжала: — Начинали мы жизнь в самом отдаленном гарнизоне, почти на Новой Земле. Потом мужа направили в академию, дослужился до полковника, командовал десантной бригадой. А в это же время — Афган. Я дома с двумя детьми, успокаивала сама себя, ведь война заканчивалась. А погиб он, когда войска уже выводили.

А сын вот вбил в голову, что будет, как отец, офицером. Поступил в военное училище. Я плакала, просила его оставить эту учебу, даже фиктивные справки собирала, чтобы «откосить» его от армии. А он ни в какую! И беда не заставила себя ждать. Началась первая чеченская. Девятнадцать лет ему было...

Она поднесла к глазам платок.

— А вот дочь нашла себе парня-белоруса из переселенцев у нас, в Иркутске. Его прадеды по столыпинской реформе туда приехали. А она ходила в белорусское общество у нас. Там его возглавляет, кстати, отставной офицер, родом из Полоцка, Олег. Она и меня туда затащила. Поем песни, выступаем с концертами, собираем фольклор. Я немного душой отошла, вот Родина и вспомнилась. В Полоцке по-белорусски не говорила, а в Иркутске потянуло на родной язык.

Андрей слушал и удивлялся. Валентина, которую он считал недалекой, занятой собой и поисками легкой жизни, оказалась совсем иной: мудрой, отважной.

И уж совсем неожиданным было ее отношение к языку, к родной культуре. Впрочем, он не раз убеждался в том, что когда человек отрывается от Родины, он возвращается к извечным истокам патриотизма. Это как в известной песне: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць...»

Ему было стыдно за прежнее отношение к Валентине, за грубые слова, сказанные когда-то, — у него нет таких забот, не пережил такой страшной трагедии.

Видимо, уловив его растерянное молчание, Валентина произнесла:

— А знаешь, я ни о чем не жалею. И то, что у нас не сложилось, — значит, так должно было быть, хоть мне очень хотелось быть с тобой. Замуж вышла от отчаяния, от злости, но привыкла, притерпелась, человек он был хороший. А потом дети пошли... Но видно, Богу было угодно, чтобы прошла через такие испытания, чтобы многое поняла.

И переводя разговор на другую тему, добавила:

— Очень хотелось вернуться домой, к родной Двине, к Софийке, к этому Стрелецкому переулку. Но там ведь дочка, квартира, там подрастает внучка, там уже мой дом... Вот побуду еще неделю и поеду.

Чай уже давно остыл, званый фуршет, на который Андрей собирался, уже, конечно, начался, и Андрей не знал, что делать. Хотелось и сказать что-нибудь теплое, ласковое, и даже обнять Валентину, но что-то не позволяло.

Наконец он встал из-за стола, поднес Валины тонкие пальцы к губам и на миг задержал, целуя.

Она грустно усмехнулась, хотела было приблизиться, но остановилась и, отняв руку, сказала:

— Прощай, дорогой. Я даже и не спросила, как у тебя, все ли хорошо, есть ли семья?

— Да, все в порядке. Жена, дочка, сын...

— Ну, пусть все будет хорошо. Пусть Бог бережет...

Остался позади знакомый двор, Андрей завернул за угол и подался к Софийке. Хотелось побыть одному. На душе было довольно погано. Кто мог подумать тогда, в юности, что будут войны, что на них будут гибнуть люди, что исчезнет страна, которой присягали и те же чеченцы, и узбеки, и грузины... Что та же Валентина, мечтавшая о счастливой семейной жизни, перенесет столько горя, потеряв сразу двух самых близких и дорогих людей.

А сколько белорусских парней полегло в далеких афганских горах, в других «горячих точках»!.. А ведь кто-то в это самое время жировал, пил, гулял, а цинковые гробы доставляли матерям молоденькие солдаты из всех уголков Советского Союза.

Около Софийки было людно. «Видно, очередная экскурсия», — подумал Андрей. Ему вспомнилось, как в детстве лежал в больнице, красный корпус которой находился в нескольких десятках метров от Софийки. Был конец мая, время торжества молодой жизни, буйного цветения сирени.

Больные в серых халатах сидели прямо на траве над двинской кручей, гуляли возле храма, в котором тогда был какой-то склад. Андрей долго стоял, глядя на воду, на то место, где узкая змейка Полоты вливалась в широкое русло Двины. Перед мысленным взором представали крепкие струги, на которых купцы везли в Ригу товары, заполненная людьми площадь около Софийского собора, построенного знаменитым Всеславом Чародеем, — князь и представить себе не мог, что на этой площади будут толпиться экскурсанты, что в Софийке будет концертный зал с органом...

Незнакомые люди фотографировались возле Борисова камня. Раньше его здесь не было. Этот темный валун с надписью «Боже, помоги рабу своему Борису» лежал на двинском дне и был не единственным — слабый здоровьем полоцкий князь Борис повелел когда-то разместить несколько таких валунов по течению реки, чтобы Господь внял его просьбе и даровал здоровье. Этот, пожалуй, один из самых больших, вытянули из реки аквалангисты, потому что он мог навсегда исчезнуть под водой: предполагалось строительство мощной ГЭС в Латвии, и тогда этот регион превратился бы в широкое и глубокое водохранилище.

До строительства ГЭС дело не дошло, однако же камень занял свое место рядом с Софийкой, как будто так и надо было.

Пошел слух, что если прикоснуться к его шершавой поверхности, может исполниться любое желание, а потому многочисленные экскурсанты прямо-таки отполировали его своими ладонями.

Андрей, хоть и относился к этому иронически, все-таки подошел к валуну, дотронулся рукой до его теплой шероховатой поверхности. Неожиданно ладонь ощутила легкое тепло — будто ветерок подул — такое нежное, что у Андрея перехватило дыхание.

Словно и далекая юность, и недавняя встреча с Валентиной, и дыхание родного города сплелись разом в какой-то удивительный клубок. Андрей почти физически почувствовал этот порыв нежности, такой щемящий и пронзительный, что на глаза навернулись слезы. Он даже удивился — кажется, никогда не был слишком сентиментален. Потом оторвал руку от камня и двинулся к знакомому острову. Как всегда внизу, у самого устья, были рыбаки. Они стояли по колено в воде, ожидая, когда затрепещет на конце пластмассового удилища проворная плотва или хитрая щука, а может, даже лещ, устремившийся в чистую воду Двины. Андрей вспомнил, как его минский научный руководитель, к тому же полоцкий земляк, рассказывал, что в годы его еще довоенной молодости они с отцом ловили на Полоте сомов и лещей, как на узком челне заплывали в широкое русло двинской воды.

Высокий подвесной мостик через Полоту вел в Заполотье, бывшую деревню, а прежде — стародавнее полоцкое городище, откуда, собственно, и начинался древний Полоцк.

Андрей спустился по крутым ступеням и, не заходя в Заполотье, пошел вдоль берега, поросшего густым ивняком и кустарником, по узкой стежке, за которой открывался огромный луг, где летом всегда цвели красивые цветы, паслись козы с заполотских подворий. Потом тропинка вела в небольшой переулок, приютившийся на высоком берегу.

Когда-то Андрей бывал здесь чуть не каждый день. В низкой хатке над обрывом жил с матерью и сестрой его одноклассник и друг. Высокий богатырь, загорелый до черноты, он откликался на прозвище «Дядя Том» — иначе, как хижиной, эту деревянную низенькую хатку из двух комнаток назвать было нельзя.

Отличный спортсмен, талантливый художник, он еще писал стихи и вообще был мастер на все руки. Казалось, у парня сложится жизнь, однако...

Дядя Том комплексовал из-за большого шрама на щеке, обожженного лица, хотя Андрей убеждал его, что это никак не бросается в глаза, а даже украшает настоящего мужчину. Мать его работала уборщицей, была малограмотной, и Дядя Том из-за этого тоже страдал — родители его приятелей, в том числе и Андрея, имели иной социальный статус. И хотя все вокруг твердили, что советские люди равны, на самом деле это было не так.

Что до Андрея, то права лидерства он готов был отдать приятелю и часто убеждал его в том, что тот добьется успеха в жизни.

Но с годами Том делался все большим чудаком. Встретил красивую и добрую девушку, но не поверил в ее любовь, страдал сам и заставлял страдать ее. Он даже начал ревновать ее к одному из своих друзей, подозревая, что тот за его спиной поддерживает отношения с его возлюбленной.

Поступая в институт, он пошел сдавать экзамен за соседа по общежитию — его разоблачили и, несмотря на высокие оценки, к дальнейшей сдаче не допустили.

Больше поступать не захотел, устроился художником в райпотребсоюз, увлекся халтурами...

А там, где легкие деньги, там и стопка... Андрей до последнего надеялся, что все это пройдет, несколько раз пытался помочь приятелю, сводил его

со знакомыми художниками, которые хвалили талант полоцкого самоучки, но дальше совместных пьянок дело не двигалось...

Потом умерла мать, случайно сгорела хата, и жизнь Дяди Тома покатилась под откос.

О его смерти Андрей узнал почти через полгода и долго переживал, что даже не проводил в последний путь.

И сейчас, стоя на том месте, где была хата старого друга, Андрей вспомнил их последнюю встречу в Минске. Была Пасха, Дядя Том успел побывать в церкви и принес Андрею свечи для всей семьи. Они вдвоем сидели до самого утра за столом, было хорошо, как в юности.

Дядя Том, постаревший, но еще крепкий и моложавый, говорил, что хотел бы купить себе дом под Минском, заняться настоящим творчеством... Но об этом Андрей слышал уже добрый десяток лет и слабо верил, что такое возможно, — судя по всему, у приятеля уже не было ни сил, ни средств на воплощение в жизнь таких планов.

...Андрей двинулся дальше к Красному мосту через Полоту и пошел в направлении центра вдоль Вала Ивана Грозного, совершив таким образом круг, словно окольцовывая древнюю часть города. Теперь к валу вели ступени — из внутренней части насыпи, используя рельеф, сделали амфитеатр городского стадиона с футбольным полем. Вообще, городские власти раньше очень любили приспосабливать исторические места к новым нуждам: еще один стадион был на месте старого еврейского кладбища, под склады были приспособлены Софийка и Богоявленский собор, а в кельях Спасо-Евфросиниевского монастыря устроили коммуналку. И все жители помнили, как в середине шестидесятых годов прошлого столетия на центральной площади сносили Николаевский собор, венчавший здания Кадетского корпуса.

Андрей был совсем маленьким, они с мамой смотрели какой-то детский фильм в кинотеатре «Родина», когда в зале неожиданно погас свет, а потом опять включился, вышел к экрану пожилой седой мужчина и сказал:

— Дети, не волнуйтесь, это взорвали Кадетский корпус.

Нынешний мэр был совсем иным. Он посещал службы в монастыре, дружил с Владыкой, при нем в городе поставили несколько памятников, восстановили корпуса Иезуитского коллегиума, он поощрял историков, творческих людей, сам писал стихи.

...На площади было людно. На сцене выступали какие-то парни с гитарами, имитировали тяжелый рок, из динамика неслись их хриплые голоса.

Андрей усмехнулся — парни воображали, что поют по-английски. Андрей немного знал язык, часто бывал на семинарах за границей, где английский язык был рабочим, и его забавляло, как музыканты безбожно искажают английские слова.

«Нет чтобы на своем родном, так нет — туда же, как Дунька в Европу, — привычно подумал Андрей. — И «Песняры» для них не пример. Хорошо, хоть Тимоти не подражают». Его всегда удивляло это преклонение местных артистов перед всем чужеземным, пришлым, лишь бы только не по-белорусски.

Со школьных лет он помнил, как старались некоторые его одноклассники освободиться от изучения белорусского языка: выкручивались, раздобывали фиктивные справки, прикидывались чрезвычайно больными. И находили поддержку у родителей — бывших сельчан, говоривших на трасянке и окончивших в свое время сельские школы.

«Дзярэвня», — называли они друг друга, и так хотелось им стать городскими, что вытравливали в собственных детях родной язык.

Родители Андрея своего сына от родного языка не освобождали, хоть у отца были знакомства.

— Живем в Беларуси, значит, и язык свой должны знать, — говорил он.

Разве мог он тогда представить, что сын станет известным историком, который все свои статьи и научные труды будет писать по-белорусски?

— Андрей! — вдруг окликнул его мужской голос.

Он оглянулся. Это был Сашка Зуёнок, раздобревший, солидный, в дорогом костюме, но с прежней знакомой улыбкой.

— Приветствую! Давно тебя не видел!

— Здравствуй. Что ты, кто ты ныне?

— Ну ты же слышал? Был заместителем мэра. Теперь вот ПМК возглавляю. В мелиораторы подался, по первой специальности.

С Сашкой Андрей учился в одной школе, в параллельном классе. Тот на учебу не очень налегал, но хорошо играл в футбол, выступал на сцене, был комсомольским активистом. Так и пошел сначала по комсомольской, а потом по партийной линии.

— Какой же из тебя мелиоратор? Ты же заочно учился и ни дня на производстве не работал, — не выдержал Андрей.

— А, — засмеялся Зуёнок, — главное, общее руководство осуществлять. А это я умею. Ты знаешь, — продолжал Сашка, — поменяли руководителя и нас, из его старой команды, попросили. Мне еще повезло, а кое на кого и уголовные дела повесили.

— И было за что? — поинтересовался Андрей.

— А, — Сашка махнул рукой, — на нашего брата, если захотеть, всегда что-то повесить можно. Там не ту бумагу подмахнул, там тендер не так провели... А что творилось, когда давили разные начальнички, особенно те, которые бизнес крышевали!.. Теперь более-менее порядок навели, а то, что было в девяностых, страшно вспомнить.

Андрей хорошо помнил, что было в девяностых. Бывшие функционеры становились бизнесменами, на побегушках у них оказались воры в законе. Даже его, историка, далекого от всяких гешефтов, пытались втянуть в какую-то аферу, связанную не то с полиэтиленом, не то с бензином.

А Сашка тем временем продолжал:

— Говорят, что и этот ненадолго. Хорошо, я свою ПМК нашел, отсижусь до пенсии.

Андрею не хотелось продолжать разговор. Не любил он эти сплетни, эти страсти борьбы за кресла и должности. Даже когда его избрали заведующим кафедрой, не было внутреннего ликования, радости, что будет руководить своими бывшими преподавателями, ровесниками, которые не меньше сделали в науке.

— А чего ты не был на фуршете? — поинтересовался Зуёнок. — Неужели не пригласили?

— Пригласили, пригласили. Просто старую знакомую встретил.

— Знакомую? — хитро усмехнулся Сашка. — Уж не Людмилу ли?

Людмила была в их школе первой красавицей, отличницей. Все парни, начиная с девятиклассников, были тайно влюблены в худенькую стройную девушку с большими голубыми глазами, льняными косами, которые были ей так к лицу.

Людмила ни на кого не обращала внимания, и все просто ахнули, когда она появилась после каникул с огромным животом.

Тем не менее экзамены она успела сдать и даже получила медаль, хотя некоторые моралистки-учительницы были категорически против.

Полоцк город небольшой, и вскоре похорошевшую Людмилу стали видеть в веселых компаниях. Она, окончив заочно институт, работала библиотекарем. Злые языки утверждали, что с Людмилой, если постараться, можно завести романчик, но Андрею в это не очень верилось. Но слава такая за молодой женщиной катилась, и казалось, Людмила сама смирилась с этим и не слишком старалась опровергнуть досужие вымыслы.

— Нет, не Людмилу, — сухо ответил Андрей, давая понять, что не расположен продолжать разговор.

— Ну, Людмила — уже залежалый товар, — не унимался бывший школьный приятель. — Можно что-то помоложе найти. У меня на Суе заветное местечко имеется, сауна, шашлычки. Девчонок прихватим, моя благоверная с дочерью в Египте по путевке, так что могу составить компанию.

Озеро Суя было традиционным местом отдыха полочан, и Андрей бывал там не раз. Однако компания Сашки с девчонками его абсолютно не вдохновляла, и он вежливо, но решительно отказался.

К тому же он явно устал. От встреч. От воспоминаний.

«Зачем мне все это? — мысленно укорял он себя. — Вернуться в прошлое невозможно. Я уже совсем другой, и люди тоже изменились, хоть и были мы когда-то вместе».

Он понимал, что и город свой воспринимает иначе: красивый, ничего не скажешь, чистый и уютный, но налет провинциальности неистребим.

Андрей стыдился таких мыслей, втайне радуясь, однако, что не остался здесь навсегда. Было жутковато: память о родном городе согревала его постоянно, вблизи и вдали, во всех странствиях, на всех дорогах. Родное гнездо снилось ему и в минской квартире, и в многочисленных отелях, которых и не упомнить.

Казалось, это придавало ему сил — знал, что где-то есть родимый уголок, откуда ушел в большой мир, улочки и деревья, которые помнят его маленьким, знают его родителей.

Но сегодня Андрей понял, что его город все больше отдаляется от него, делается виртуальным — его дом, его гнездо уже в шумном столичном дворе, где выросли его дети, где есть любимая работа, где рядом друзья, единомышленники, коллеги.

От осознания этой истины сердце сжимала тоска — навсегда утрачено что-то дорогое и возвышенное, трепетное, как первая любовь, которую уже не вернешь.

Однако надо было еще пережить вечерний банкет в ресторане, в той самой «Двине», куда Андрей с друзьями иногда забегал, когда отмечали чей-нибудь день рождения. В то время это был единственный ресторан в городе, не считая железнодорожного на вокзале, и для них, молоденьких мальчишек, служил символом роскоши.

...На банкете было душно и жарко. Нудные речи-тосты местных начальников и гостей перемежались концертными номерами — ресторанной попсой про белого лебедя «на пруду» и левый берег Дона в исполнении солистов местного Дома культуры.

— Вы не могли бы у вас, в Минске, посодействовать, чтобы на радио записаться? — игриво вопрошала солистка на высоченных каблуках, сверху вниз поглядывая на Андрея. — Там же наш земляк работает. И не лишь бы кем, а даже каким-то начальником.

— А что записать? «Левый берег Дона»? — Андрей немного выпил и понимал, что его заносит.

— Почему? У нас есть другой репертуар. Наш руководитель Славик написал песню на собственные слова «Твои губы пахнут вишнями»...

Вдруг Андрей услышал свою фамилию. Ему давали слово.

— Дорогие друзья, — начал он, когда ему передали микрофон, — скоро наступит красивый народный праздник Купалье. По Двине поплывут венки, на берегах запылают костры. Юноши и девушки будут вместе искать цветок папоротника. Здесь звучало столько песен, но не было своей, нашей. Давайте же споем. — И неожиданно для самого себя затянул: — *Купалінка, Купалінка, цёмная ночка...*

В зале воцарилась тишина. Не звякали вилки, утихли пьяные разговоры.

Андрей слышал свой хрипловатый голос и думал: «Только бы не расплакаться!»

И вдруг услышал, как подключился к нему один женский голос, потом присоединился мужской баритон. Потом еще...

И над залом поплыло:

Твая дочка ў садочку
Ружу-кветку поліць.
Ружу-кветку поліць,
Белы ручкі коліць...

Именно так — *«поліць і коліць»* — как говорят у них на Полотчине, а не так, как требуют литературные нормы.

— Слушай, забываем мы свои песни, свой язык, — говорил потом ему плотный лысый дедок, — а я ведь в белорусской школе учился.

Андрей не поддержал беседу, не любил вслух говорить о сокровенном.

Наступило утро. Второе утро в родном городе, в дорогом гостиничном номере.

Голова побаливала, во рту пересохло.

«Что-то я вчера увлекся!» — упрекнул себя Андрей. Было как-то не по себе, как, впрочем, после каждого бурного застолья.

За окном вставало солнце. Площадь, чисто вымытая вчерашним дождем, весело блестела под утренними лучами, и казалось, даже бронзовый Скорина повеселел.

Андрея снова потянуло на берег Двины. Рыбаки с удочками уже были здесь.

Андрей увидел с высокого берега, как к воде спустилась женщина. Она неторопливо раздевалась и наконец осталась в ярко-красном купальнике. «Купаться еще вроде бы рановато, — подумал Андрей, — ишь, какая смелая!»

Женщина вошла в воду. От всей ее фигуры, такой по-женски обольстительной, веяло утренней свежестью и прохладой, какой-то извечной красотой и целомудрием.

Она немного постояла и поплыла. Рыбаки тоже оторвались от своих удочек и провожали ее взглядами.

Андрей снова ощутил в сердце могучий прилив нежности, теплый и сладкий, будто мама прижала его к груди.

Широкая Двина, знакомый с детства силуэт Софийки, были, как он, наконец, понял, тем единственным, чистым и светлым, без чего, кажется, невозможно жить. Андрей искал те слова, которые могли бы передать это чувство, но слова не приходили, а была только благодарность за этот миг, за этот вздох, за то, что у него есть этот уголок земли, его начало, его исток.

Этот вздох нежности еще долго был с ним, пока маршрутка мчалась по дороге в Минск.

Перевод с белорусского Ирины КОЧЕТКОВОЙ.



ОЛЬГА НОРИНА

И строчки приходят в томлении странном

* * *

Дни шли, как с пашни черные волы,
Тяжелым вздохом отзывалось эхо.
Я в нашем доме вымыла полы,
Да только мой любимый не приехал.
Одна ложусь в холодную кровать,
Молитвы исступленно повторяя.
А мой любимый не желает знать,
Что без него я тихо умираю.
Я залатаю парус кораблю,
Отправлюсь догонять весну и лето.
Я выживу! Я просто разлюблю.
О знал бы кто, чем я плачу за это.

Солдатка

Растяжно она произносит слова — такая манера.
— Как звать-величать, ты скажи мне сперва.
— А хоть бы солдаткой, — в ответ мне вдова.
Вдова офицера...
На лоб беспощадно морщины легли —
На счастье ни шанса.
— А твой-то с какой не вернулся войны?
С чеченской? С афганской?
Та только вздохнула, чтоб жизни канву
Вести без огрехов:
— При чем тут война-то? С другою в Москву
Кататься поехал.
Далеко над ними шумят ковыли.
Не спросит мой милый,
Какие дожди надо мною прошли,
Как сына растила.
— Просила бы мужа себе в Покрова.
Одной-то несладко.
— Да я и при муже жила как вдова, —
Ответит солдатка. —
Частенько моя пустовала кровать,
И кончились слезы.
Зеленого змия ходил воевать
К Калинову мосту.

— Помочь тебе чем? — осторожно спросил.
А вдруг не под силу?
— Да вот ты о доле меня расспросил,
На том и спасибо.

Последняя женщина дона Хуана

Он юн и силен, и беспечен, как птица,
И список побед его начат пространный,
Когда с пуповиной на шее родится
Последняя женщина дона Хуана.
О щепках не думая, яростно рубит.
За новой бросается — все ему мало.
Она одевает застенчивых кукол
И с книжкою прячется под одеялом.
Он тянется к власти и станет известным,
В руках его нити событий и судеб.
Она почитает и верность, и честность,
Не ведая, что с нею вскорости будет.
Не знает, что будет водою живою,
Не знает, какие достанутся раны,
Кому будет первой, кому роковою,
Что встретит когда-нибудь дона Хуана.
Распахнуто сердце навстречу желанью,
И строчки приходят в томлении странном.
Не ищет причин и не ждет оправданий
И просит, как просят небесную манну, —
Уж если случится любить, то героя, —
И жить не получится обыкновенно.
А он попытается сильной рукою
Бессмертье в веках ухватить непременно.

Улыбка. Касание. Руны морщинок
На дереве. В облаке дремлющий ветер.
И нет и не будет малейшей причины
Спастись — и однажды друг друга не встретить.

Коллегам

Соратники! Служители пера,
Старатели клавиатуры сложной!
Идеям Вашим — твердую обложку
И веский многотысячный тираж.
Писательство — неблагодарный труд
В подлунном мире, где ничто не ново.
Пусть все же глубину и остроту
Имеет мысль и сохраняет слово.
Пусть не угаснет пламенный порыв,
Динамика сюжета и не только.
И Вами сотворенные миры
Пропишутся на полках у потомков.



ЛЁЛЯ БОГДАНОВИЧ

Подари немного счастья, лето

* * *

На пороге ситцевое лето.
Пью взахлеб мелодию любви.
Все, что было раньше не допето,
Поцелуи допоют мои.

Допоет горячее дыханье.
Лебединых рук озябших плен.
Вспыхнет ярче алой ленты пламени
Музыка волшебных перемен.

Лето одурманит пьяным зноем.
В зелень трав душистых упаду.
Ветру настежь дверь свою открою.
И калитку отворю в саду.

Пусть грохочет гром как сумасшедший!
Мне сегодня не страшна гроза.
Убегу мечте своей навстречу,
У которой синие глаза.

Утону в объятьях до рассвета.
Позабуду гордость я и честь.
Подари немного счастья, лето!
А потом оставим все как есть...

* * *

Васильки да ромашки,
Колокольчики синие.
Как пущусь во все тяжкие,
Ты, Всевышний, прости меня.

И спаси, и помилуй —
Я перечить не смею.
Что поделать, любила —
Ни о чем не жалею!

Жизнь бежит без оглядки...
Васильки-василечки...
И, играючи в прятки,
Улетают денечки.

Надышалась свободой.
Мне б надежды глоточек!
Перламутр небосвода
Вышью радужной строчкой.

Васильки да ромашки...
Колокольчик звенящий...
То ли горе, то ль счастье,
То ль любовь настоящая...

* * *

Боюсь упасть и не подняться,
И быть непонятой боюсь.
Боюсь, когда зашкалит счастье, —
За ним всегда приходит грусть.

Боюсь терять родных и близких
И веру в друга потерять.
Боюсь грозы и катаклизмов,
И долг кому-то не отдать.

Боюсь унынья, равнодушья,
А также наглости взахлеб
И черной зависти удушья —
От них трясет меня озноб.

Но не боюсь быть настоящей —
Смеяться, плакать и любить.
Я открываю сердце настежь —
Мне так намного проще жить!



К 100-летию со дня рождения
Дмитрия Ковалева

АЛЕСЬ МАРТИНОВИЧ

Неподвластно забвению

Один из районных центров Гомельщины, город Ветка, как известно, особенный. Больше таких на белорусской земле нет. Основан он русскими старообрядцами, которые появились в этих сказочно красивых местах, спасаясь от преследования царских властей. Произошло это во второй половине семнадцатого столетия. С того времени в этих местах и живут в дружбе и добрососедстве представители трех народов: русского, белорусского и украинского. Как и было издревле, еще со времен Киевской Руси. Это братство проявилось и в судьбе известного поэта, публициста, переводчика Дмитрия Ковалева. Об этом Дмитрий Михайлович не преминул сказать в одном из своих стихотворений:

Мать русская, отец мой — белорус,
Я вновь,
Как в Киевской Руси, един,
Как та вода, что пьем,
Хлеб, что едим,
Как тот, что держит кровлю,
Цельный брус.

Родному городу он посвятил стихотворение «Ветка», сделав после названия сноску: «Городок на реке Сож», что, впрочем, тогда было нелишне, поскольку это произведение писалось в первые послевоенные годы, а тогда о Ветке за пределами Беларуси знали немногие, все-таки небольшая:

Ветка...
Зеленая Ветка!
Выпадало нам видеться редко.
Первый раз увидал,
Как родился,
А второй привелось —
Как женился.
Всё по свету,
По белому свету.
И тебя там, где был я, нету...

Из мастеровой семьи

Зато ныне о Ветке хорошо известно. Конечно, не в последнюю очередь благодаря оригинальному музею старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова, подобных которому нигде больше нет. Но еще и потому, что Ветка — малая родина Дмитрия Ковалева. Родился он 17 июня 1915 года. Отец

его, Михаил Тимофеевич, был родом из крестьянской семьи, жившей в деревне Прудок, что под Гомелем, а мать, Екатерина Ивановна, происходила из ветковских старообрядцев.

Если чем и были богаты Ковалевы, так детьми (пятеро братьев и три сестры). Митя среди них был старшим. Поэтому, чтобы прокормить столько ртов, приходилось часто переезжать с места на место. В 1926 году Ковалевы обосновались, наконец, в Прудке. В этой деревне Митя Ковалев окончил три класса. Учился бы и дальше, но на семейном совете рассудили так: будет лучше, если он станет помогать по хозяйству. Ослушаться родителей он не мог, да и никогда от труда не отлынивал: какую работу ни предлагали, охотно брался за нее. Когда же ему исполнилось четырнадцать лет, пошел подручным к отцу в кузницу.

Михаил Тимофеевич был человеком мастеровым, хорошо знал свое дело. Будучи трудягой, он и от других требовал такого же отношения к работе, а лентяев и бездельников не терпел. Дмитрий Ковалев посвятил ему стихотворение «Отец». В этом произведении словно воочию видишь Михаила Тимофеевича, безусловно, незаурядную личность — одного из тех сельчан, которые трудились в поте лица на земле или занимались каким-нибудь нужным ремеслом:

Вставал
До петушиной переклички,
Когда еще луна глядит в кровать.
Будил и нас,
Пеняя по привычке
За то,
Что рано не хотим вставать.

И сразу же брался за дело: «Обмазав горн, // Сменив в лоханке воду, // Наваривал он сталью сошники». Авторитет отца Дмитрия Михайловича был настолько высок, что «За честь считали кумом или сватом // Назвать его — Чтоб в жизни повезло. // И на престольный ездил к небогатым, // К таким, как сам, // И не в одно село». Когда же создавались колхозы, даже «шел в исполкоме крупный разговор», к которому из них сначала мастер придет на помощь. И он тогда сказал по-деловому:

— Видать, один на всех не настачу.
Но каждому по мастеру такому,
Как сам я,
Непременно обучу.

Результат не заставил себя ждать: «Теперь звенят кувалды повсеместно, // Напоминая всюду об отце. // И выучка отцова всем известна, // Кругом идет молва о кузнеце».

И у деда своего Ковалев также многому научился. И тому же трудолюбию, и честности, и порядочности, чем, кстати, отличалась вся семья Ковалевых. А каким был дед Ковалева, можно узнать из стихотворения Дмитрия Михайловича «Топор»:

Бывало, мой дед топор откует —
И плотник,
И дровосек
Ликуют.
Зато из-за речки,
Лишь станет лед,
Являлся к нам лесник в мастерскую.



Дмитрий Ковалев. 19 лет.

— Знаешь, Трофимыч,
Знаешь.
Не спорь...
Три дуба в ночь свезли от болота.
Какому ты вору ковал топор? —
И дед отрезал:
— Не моя работа!

О том, что Трофимыч руководствовался именно своими понятиями добра, справедливости, порядочности, свидетельствует и такой случай, также связанный с топором, сделанным им. На этот раз, правда, произошла не самовольная рубка леса, а страшное: «...убили в лесу панского сына. // Приносит урядник // Топор в крови — // У трупа был найден, // Под старой осиной». Отпираться Трофимычу нет смысла, топор-то, конечно, его работы, больше никто в деревне топоров не делал. Понимает дед, что ситуация может принять серьезный оборот, если урядник донесет властям о случившемся. Поэтому Трофимыч нашел такой выход, который, по его представлению, от виновника в убийстве на какое-то время отведет беду, а в остальном — Бог судья:

Ответил дед
С достоинством, смело:
— Топор, — говорит, —
Работы моей...
Только не помню,
Кому он делан.

Есенин взбудоражил душу

Постигая кузнечное ремесло, Ковалев не имел возможности продолжать учебу. Работы хватало. Через некоторое время вместе с отцом трудился в колхозе, потом в судоремонтных мастерских Гомеля. Но несмотря на постоянную занятость, по вечерам, а также в воскресные дни, занимался самообразованием, много читал. И даже начал писать стихи. Толчком для написания их послужило знакомство с творчеством Сергея Есенина. Произошло это в некоторой степени случайно. Хотя как сказать. Видимо, все было предначертано свыше — что именно так и должно было быть.

В уже зрелом возрасте в статье «Трудная слава», посвященной великому русскому поэту, Дмитрий Михайлович признавался: «Слава Сергея Есенина опережала его стихи. Это, пожалуй, не совсем так. Я все же прежде услышал его песню «Ты жива еще, моя старушка». Как, видно, и многие. Но, как и многие, я не знал, что слышу да и сам пою Есенина». Узнал же Ковалев «впервые о нем от брата соседки, летчика, приехавшего на побывку. Услышал, показав ему первые свои малограмотные, многодикие стихотворные опыты».

Правда, не все было так просто. Ведь Есенин в то время находился в опале: «Он (брат соседки. — *А. М.*) меня сразу же стал предостерегать от Есенина, уловив, видимо, какую-то склонность во мне, которая и мне грозила есенинщиной, так тогда понимали и нарицали всякое упадничество и богемщину». Но «обычно такие настораживания только, как говорится, подливают масла в огонь». Ковалев, по его словам, «сразу же начал просить [...], а где бы достать стихи Есенина, но узнал от него же, что книги его не продают». Как ни старался, но стихи Есенина нигде отыскать не мог. Однако, как известно, кто ищет, тот всегда находит: «И уже когда мне было девятнадцать, кажется, лет и я со своими тремя классами решил подготовиться дома до семи и поступить все же на рабфак, брат моего школьного одноклассника, теперь уже кончившего пединститут, Гаврилы Синчука, Андрей неожиданно признался мне, что у него есть Есенин. Почти весь, переписанный им самим от руки. И тогда я не удивился, а поразился тому, что слова песни «Ты жива еще, моя старушка» и песен, которые у нас пели вечерами и под гармошку, и под гитару, и так просто, не век существовали, как я думал о песнях, а что они написаны, и не кем-нибудь, а С. Есениным. И меня ошеломили они уже по-новому. То я вроде и не замечал, как образны, как живописны они. А тут это «И тебе в вечернем синем мраке», это «Когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад» так задышало, так повеяло в душу, так хватило за нее еще не сознаваемой невозвратностью чего-то, что еще в расцвете, но неудержимо улетает и потому так до физической боли драгоценно».

Понять состояние юного Ковалева можно. Есенин, по сути, перевернул всю его душу, коснулся самых нежных струн ее, заставив задуматься над тем, какая великая сила у поэтического слова, если оно истинно талантливое: ««Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» Казалось, действительно это моя жизнь, мои лучшие порывы и чувства, я это, сам я, только сам я выразить этого до сих пор не мог, — и вот оно нашло исход, вырвалось, выпросталось, рванулось, закружило, понесло... Ходил, как во хмелю, в легком, не тяжелом хмелю, после которого не тянет опохмелиться, а только хочется никогда не трезветь, не становиться муторно затурканным, не забывающим копеечного долга. Ничего подобного я до сих пор не испытывал». Ни тогда, когда писал свои первые, с позволения сказать, стихи. Ни тогда, когда еще до этого увлекся рисованием, «покупал на последние гривенники масляные и акварельные краски, копировал пейзажи, увешивая в хате все стены ими».

Безусловно, никакого разговора о том, чтобы связать свою жизнь с литературой, тогда еще не шло. Это было только увлечение, в чем-то похожее на то, когда занимался рисованием. Поэтому для продолжения учебы в 1936 году поступил в Гомельский политехнический вечерний рабфак. Однако литература тянула его к себе, поэтому после окончания рабфака в 1939 году подал заявление на филологический факультет Ленинградского государственного университета. Также выбрал заочную форму обучения.

Свое первое стихотворение «Так сказала Рая» Ковалев напечатал в газете «Палеская праўда» (нынешняя «Гомельская праўда») 1 ноября 1937 года. Ничем особо не примечательное, но начинающему поэту, конечно, это было в радость. Он вскоре стал в этом издании своим автором, предлагал редакции произведения в духе времени: «Встреча Ворошилова», «Счастливая мать», «Доблестных в совет», «Говорит китайский партизан», «Славная осень», «Ответ самураям», «Песня комсомола», «Берите власть!». Это то, что было опубликовано в «Палескай праўдзе» в 1938 году. Кроме того, Ковалев печатался в газете «Сталинская молодежь» (теперешнее «Знамя юности»).

Нетрудно догадаться, что эти стихи были малохудожественны. Но в этом не столько вина самого молодого поэта, сколько неправильная творческая ориентация его, правильнее, дезориентация сотрудниками редакции. Поэтому и выходи-

ло «на гора» то, что было далеко от настоящей поэзии. Хотя вскоре Ковалев все же понял, что пишет не то, и перешел к стихам лирическим, задушевным. Позже на народную основу их обратил внимание Дмитрий Кедрин, а в ней было заметно «присутствие» Есенина. Именно в есенинском духе написано и стихотворение «***В синем звездном сарафане...».

Появилось оно, скорее всего, в 1936 году, поскольку им открывается книга избранной лирики Ковалева «Мое время» (1977), а если конкретнее — ее первый раздел «1936—1940». Именно в этом стихотворении «живопись» до того выразительна, насыщенна, что создается впечатление, словно все то, о чем рассказывает поэт, сам видишь воочию — находясь у костра, освещающего своим пламенем темноту летней ночи и вслушиваясь в разговор старика с ребятами:

В синем звездном сарафане
Ночь плетется по лугам.
Темны травы на поляне.
Лег туман по берегам.

За высоким шлемом спрятав
Краснобокую луну,
У костра старик ребятам
Говорит про старину.

У костра внезапно дрема
Оборвала разговор.
Дым померк.
Старик все курит.
Кони бродят вдалеке.
И рассвет зеленокудрый
Умывается в реке.

И в других ранних стихах Ковалева немало свежих метафор. Также вроде бы внешне и неброских, но точных, непридуманных и, не взятых «напрокат» у других поэтов (в молодом возрасте, к сожалению, такое бывает нередко), а подмеченных в самой природе наблюдательным взором поэта, способным увидеть то, что другие заметить не могут: «Утром в инее белом зардеют, // Как в пуховых накидках, стожки», «В раздумье облако вдали // Облокотилось на лесок», «Как в испуге, вздрогнула река», «Туча, двигаясь издалека, // В воспаленном небе заворчала».

На глазах рождался поэт со своим видением окружающего мира, с талантом, Богом данным. Но для творческого становления требовались условия и время. А вскоре началась война.

С ходу на фронт

В армию он был призван в январе 1941 года. Попал не в сухопутные войска, куда направляли многих призывников, а на Северный флот — мечту любого довоенного парнишки. Хотя здесь вкусы расходились: кто морем грезил, а кому, как Валерию Чкалову, хотелось покорять заоблачные высоты. Дмитрию Ковалеву в то время уже исполнилось почти двадцать лет. Профессию он избрал «земную» — в ребячьих душах сеял «разумное, доброе, вечное». Но в армии, как известно, не выбирают, где служить. В армии приказывают, а те, кто ниже по званию, тем более призывники, эти приказы должны неукоснительно выполнять.

О мирной службе Ковалев, правда, вспоминал мало. Служил, как все служили. Условия были суровыми, как и для всех, кто связал свою жизнь с северными широтами. Да и какая военная служба может казаться медом?! Зато стихотворения, которые он посвятил военным испытаниям краснофлотцев, несомненно, входят в золотой фонд русской поэзии. Уже хотя бы этих четырех строк достаточно, чтобы понять, что представляли те, с кем он вместе громил врага:

Враги называли нас черною тучей,
Друзья называли гвардией Флота.
А мы назывались короче и лучше,
Яснее и проще — морская пехота...

Кстати, Уинстон Черчилль, который, нужно отдать ему должное, признавал истинных героев независимо от того — свои это или чужие, назвал советскую морскую пехоту «лучшими воинами в мире». Однако он подобное утверждал исходя из сведений, которые ему преподносили. Элитные же немецкие части, состоявшие из дивизии «героев Крита» и горных егерей фон Дитля, на собственной шкуре почувствовали, что значит — столкнуться с морпехами, готовыми противостоять любому, кто посягает на свободу их Родины, перегрызть горло.

Особенно ожесточенные бои шли на подступах к Мурманску. Неслучайно это место называли Долиной смерти. Да и по сей день называют, ибо, как поется в известной песне, написанной, правда, по другому случаю и после войны уже: «кто хоть однажды видел это, не позабудет никогда». Хотя свидетелей происходившего тогда почти не осталось. Но память людская не лжет, до крупиц помнит все.

Страшны были морпехи в своем праведном гневе, черной тучей идя на врага. Только лучиками в этой черноте просвечивались сине-белые тельняшки — воротники гимнастерок специально были расстегнуты, ленточки бескозырок закушены. Знайте, мол, гады, кто наступает. Дрожите! Смерть ваша идет. Конечно же, гитлеровцы это знали, понимали, что пощады не будет. Когда же звучало многоголосое «Полундра!», многие фашисты не выдерживали, считая за лучшее отступить, поскольку понимали, что добром для них наступление «черной тучи» не кончится.

Хотя так было не всегда: враг ожесточенно сопротивлялся. Ошибаются те, кто считает, что заградительные отряды существовали только в Красной армии. Гитлеровцы также строго обходились с теми, кто отказывался выполнять приказ или проявлял в бою трусость. Возникали и такие ситуации, одну из которых Ковалев мастерски отобразил в стихотворении «Егерь»:

Там, где лишь олень бродил когда-то
У туманных баренцевых вод,
Черным парабеллумом солдата
Офицер под пули гнал вперед.
Гнал подвластных смертному приказу
На захват чужой земли...

Не выдержал этот солдат: «Офицеру в розовый затылок // Очередь свинцовую всадил. // Бросил автомат и с поля боя // Убежал». Хотя куда от войны убежишь? Его подобрали замерзающего свои же разведчики, которые возвращались с задания:

Офицер другой в снарядном гуле
Еще злей погнал его вперед...
Гнал, пока, прожженный пулей,
Не упал солдат на мутный лед...

Там и мертвому несладко спится,
Где обрел он волю и приют.
Крыльями шурша, большие птицы
Мерзлые глаза его клюют...

Скорее всего, это произошло в Долине смерти, а что она представляла собой, можно узнать из одноименного стихотворения. Оно оттуда, с переднего края. Это все то, что Ковалев видел собственными глазами. Осмысливал и переосмысливал еще тогда, когда происходящее не успело стать памятью, а было только суровой действительностью:

Все повидавшие, на склоне сопки
Вдруг отшатнулись —
Будто ахнул взрыв:
Дрожали прутья нервно,
Неторопкий
Дым расползался,
Гребень приоткрыв.

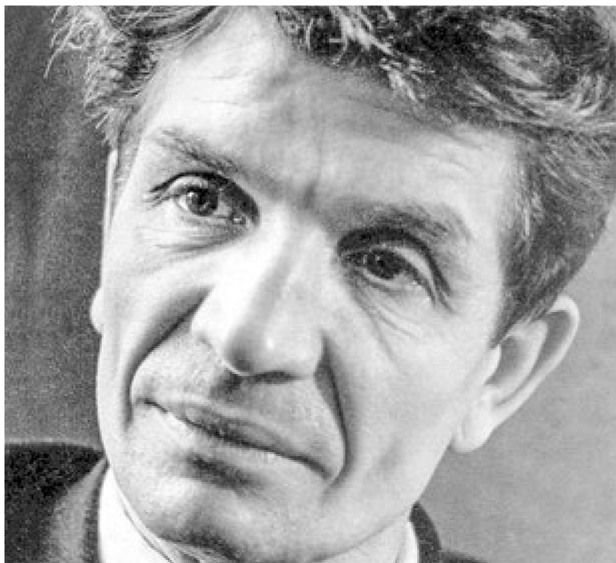
Действительность эта до того была жестокой, что когда читаешь о происходившем, по спине пробегает дрожь. Даже не по себе становится, настолько все чудовищно по своей сути. Оно как бы из иного, параллельного мира, о котором до этого не знал, но вместе с тем — это все то, что было в реальности. Происходило тогда, когда нелюди, объявив себя сверхнацией, стали помышлять о завоевании всего человечества, а в планах их значилось и уничтожение всего Советского Союза. Рассчитывали на блицкриг, не ожидая, что на священную войну поднимется вся огромная страна, а защитники Родины предпочтут смерть, чем покориться врагу. Как было и в Долине смерти, где обнажилась та страшная правда войны, которую Ковалев знал не понаслышке. Видел и то, о чем рассказал в стихотворении «Долина смерти»:

...И первый,
Неожиданный до жути,
Дзот,
Сложенный из человечьих тел...
Заиндевелый,
Словно в каплях ртути,
Весь мерзлыми глазами он глядел.
Костями пальцы из него торчали,
Железно скрюченные кулаки.
Рты — словно бы еще «ура!» кричали...

Фашистским нелюдям противостояли те, кто в огненной и безжалостной круговерти, несмотря ни на что, «остаться все-таки людьми сумели», хотя и понимали, что большинству из них не выжить. Понимали, но стояли до последнего:

Что смерть?!
Что орудийные клыки?!
Что лед, колючкой ржавою поросший?!
Скорбящий залп долину огласил.
Какой-то не своею волей брошен
Был батальон сверхчеловечьих сил.
И разряжал себя он в рукопашной,
Коловший и давивший без суда...
Стал снег целинный кумачовой пашней,
Долиной смерти названной тогда...

Штыки, как совесть, обнаженные



Дмитрий Ковалев. 1960-е годы.

Одного стихотворения «Долина смерти» достаточно для того, чтобы говорить о Ковалеве как об одном из лучших поэтов-участников Великой Отечественной войны, сумевших сказать о ней свое весомое слово. Ковалевское слово. Но у него есть и другие, замечательные произведения о пережитом в те суровые годы.

Взять хотя бы «Потери». Это стихотворение также написано по горячим следам событий, хотя многие стихи Дмитрия Михайловича о войне появились позже. Даже не в послевоенное время, а тогда, когда он уже набрался жизненного и творческого опыта. Следовательно, и мастерство стало более высокое, но это нисколько не умаляет значимость тех, которые писались в перерыве между боями. Хорошо сказал о таких стихах Евгений Осетров в предисловии «Свет братства» к книге Ковалева «Мое время»: «Молодой воин и начинающий поэт, Дмитрий Ковалев заносил пришедшие в голову строчки на клочки бумаги, оказавшиеся под рукой. Дистанции времени не существовало. Поэтому многие стихи, рожденные в ту пору, напоминают дневниковые записи, сделанные запекшейся кровью. [...] В стихах — много метко и точно увиденных подробностей, которые невозможно придумать».

Стихотворение «Потери» — также тому подтверждение:

Они сошлись в Полярном.
В полдень.
С бота.
Как уцелел он?
Как дошел сюда?..
Что там теперь?..
Туда ушла пехота.
Слыхать:
Бомбили по пути суда.

Шинели
Ржавые на всех от крови
Пожухли,
Коробом стоят.
И только взгляды
Скорбь потерь откроют,
Но, как позор свой,
Ужас затаят.

Завершающая строфа еще больше конкретизирует драматичность происходившего... Нет, даже не драматичность, а трагизм того, что связано с войной.

Прав Е. Осетров: определенная дневниковость присутствует и здесь, но сказано так много и так убедительно, что это сродни углубленному проникновению в сущность того, название чему — война:

От всей заставы
Пятеро осталось.
И не сознанье подвига —
Вина.
В глазах —
Тысячелетняя усталость.
А
Только-только
Началась война.

Конечно, и его, Дмитрия Ковалева. Солдат стройбата, стрелок батальона морской пехоты, подводник, сотрудник редакции флотской газеты «Краснофлотец» — таков его военный послужной список. Интересно, что стихов о службе в стройбате, пусть себе и недолгой, о работе в редакции у него не найдешь. Видимо, это не случайно. Понимал Дмитрий Михайлович, что не такое время, чтобы на это обращать внимание, а позже, после войны, ничего такого примечательного в этом не находил. Зато будни морских пехотинцев, подводников — это то, что было и частью его собственной биографии, вызывало накал чувств и эмоций. Какое стихотворение ни возьмешь — это как бы избранное из пережитого, выстраданного, вынесенного оттуда, откуда многие и многие не вернулись. Честно признавался:

Непросто приезжать туда,
Где был ты молод,
Где, потеряв друзей,
Остался жив,
Где жарко было
Даже в лютый холод,
Где шли,
Штыки, как совесть, обнажив.

И уточнял в конце этого стихотворения, то, что до поры до времени таил в себе, но пришло время все произнести, как на исповеди:

Непросто приезжать туда,
Откуда
Уже ты никогда
Не уезжал.

Да и как «уехать», если в твоей памяти столько всего, что не может стать прошлым. Конечно, если иметь в виду временное понятие, это пережитое уже стало историей. Но только не для тех, кто все видел своими глазами, был непосредственным участником тех или иных событий.

Вчера на высоте хребта седого
Наш красноармеец на кресте пылал.
Мы видели — как было все готово,
Как полыхнул огонь, кроваво-ал.

Боевые товарищи, ставшие невольными свидетелями этой казни, ничем не могли помочь: «Но обнаружить гнев свой не могли мы: // Над сердцем скорбно ум преобладал».

Дистанции времени не чувствуется и в стихотворении «Молчание». Все, о чем рассказывается, также не может кануть в Лету, поскольку оно из ряда того, что забвению не подлежит. Да и как иначе, если это — часть народной памяти о Великой Отечественной войне и свидетельство народного мужества, а одновременно — еще одно напоминание о том, какой великой ценой было заплачено за Великую Победу.

Образная пластика этого стихотворения настолько особенная, что, на первый взгляд кажется, будто совмещается несовместимое: «У маяков лужены глотки. // И тучи, будто валуны. // Железом врублены подлодки // В породу грубую волны». Но чем внимательнее вчитываешься в эти строки, чем глубже проникаешь в них, тем больше убеждаешься в том, что поэт нашел единственно правильные слова. Напиши он иначе, не было бы такого эффекта от сказанного. Нельзя было бы во всей полноте почувствовать это подводное молчание там, где моряки находятся наедине с водной стихией.

Однополчане спят глубоко
В стеклянном холоде глухом.
Над ними, видящий, как око,
Стоит воды зеленый холм.
Вода тяжелая, без света.
В ней залегло молчанье гроз.
И ни привета,
Ни ответа.
И это наглухо, всерьез.
Весь в атомных незримых звездах —
Поход подводников далек.
Над головой у них не воздух,
А лед. На сотни миль залег.

Я знаю, что такое воздух,
Со дна, один его глоток!..
Я чую, что таится в звездах
И как их тайный свет жесток!..

«Молчанию» близко стихотворение «***И вот мы всплыли...». Оно как бы продолжение его. Непонятно только, почему Дмитрий Михайлович, сам составляя том своей избранной лирики «Мое время», поставил его раньше стихотворения «Молчание».

Видимо, придерживался хронологического принципа, хотя даты написания под произведениями не поставлены. «...И вот мы всплыли. // Воздух нас пьянит. // Шуршанье пены, // Ветер, // Чаек голоса. // И хмуры небо с морем, // Хмур гранит. // И хмурость режет // Яркостью глаза... // На палубе стоять // Я твердо мог, // А вот сошел — // И поплыла скала. // Качается, // Уходит из-под ног. // И глохнешь. // А в ушах — колокола».

Есть у Ковалева еще одно замечательное стихотворение, связанное с войной, — «А думал... я», которое он посвятил своей маме Екатерине Ивановне: «А думал я, // Что как увижу мать, // Так упаду к ногам ее». В действительно все оказалось совсем не так, как представлялось:

Но вот,
Где жжет роса,
В ботве стою опять.
Вязанку хвороста межой она несет.
Такая старая,
Невзрачная на вид.

Меня еще не замечая,
Вслух
Сама с собой о чем-то говорит.
Окликнуть?
Нет,
Так испугаю вдруг.

Мать сама заметила его, своего сына: «Уже, // Забыв и ношу бросить на меже, // Не видя ничего перед собой, // Летит ко мне: // — Ах, боже, гость какой! // А я, // Как сердце чуяло, // В лесу // Еще с утра спешила все домой...» Разговаривают о том о сем, он расспрашивает о пустяках: «— Есть ли орехи? // Много ли грибов?»:

А думал —
Там,
В пристрелянных снегах,
Что если жив останусь и приду, —
Слез не стыдясь,
При людях,
На виду,
На улице пред нею упаду.

Но жизнь брала свое. Горько прозвучало в одном из стихотворений признание Ковалева: «Все отняла война: // Двух братьев, // Вести от матери, // Всю молодость сполна». Но надо было жить. Как бы оправдывая тот аванс, который дала ему судьба. Другие-то погибли, а он остался жив. Он нисколько не кривил душой, когда говорил:

Уже донашиваю свой бушлат.
И в памяти фамилий многих нету:
И тех,
Которые в глубинах спят,
И тех,
Которые разъехались по свету.

Но и понимал, что война останется с ним навсегда, постоянно будет напоминать о себе. И скорбью о погибших друзьях-товарищах, и бессонными ночами, и желанием по-новому осмыслить многое из пережитого.

Время любить

Демобилизовавшись в 1946 году, приехал в Минск, где систематизировал стихотворения, написанные на Севере, которые вошли в его первую книгу «Дальние берега» (1947). В Минске увидели свет также его книги «Мы не расстаемся» (1953) и «Рябиновые ночи» (1958). Но последняя из них была издана после того, как распрощался с Беларусью и, отдав Минску девять лет, переехал в Москву, где в 1957 году окончил Высшие литературные курсы. Если в Минске работал в различных периодических изданиях, то после окончания курсов стал заведовать редакцией русской прозы и поэзии в издательстве «Молодая гвардия». А в 1960—1970 годах вел творческий семинар в Литературном институте имени М. Горького. И конечно же, писал стихи. Уже в Москве вышли его книги «Тишина» (1958), «Студеное солнце» (1961), «Солнечная ночь» (1963), «Зеленый дым» (1968), «Зябь» (1971). Всего у него более 20 книг поэзии. Последняя прижизненная «Море, море!...» была издана в 1976 году в Мурманске.

Стихи, помещенные в этих книгах, разноплановые по своей тематике. Впрочем, как и у любого из поэтов, участников Великой Отечественной войны: это и борьба с немецко-фашистскими захватчиками, и воспевание любви, поэтизация родной природы. Звучали в творчестве Ковалева и гражданские мотивы, но пафосная публицистичность — это не его стиль. У него не найдешь произведений призывного характера. Такая манера письма несвойственна Дмитрию Михайловичу.

Он и в повседневной жизни был неприметен — невысокого роста, худой, из-за чего выглядел значительно моложе своих лет. Правда, когда отстаивал какую-нибудь мысль, голос становился резким. Если это касалось поэзии, то свою позицию отстаивал горячо, не принимал фальши, неискренности. Когда же писал о том, что волновало, не давало покоя, оставался сдержанным, тем не менее публицистичность присутствовала, но она была, если можно так сказать, внутренняя. А еще Ковалев был большим оптимистом и жизнелюбом, что видно и из стихотворения «***До чего же хорошо живется...»:

До чего же хорошо живется —
Если к жизни ты не равнодушен.

До чего же ярко светит солнце —
Если другу раскрываешь душу.

До чего же все свежо и ново —
Если смотришь ты вперед с волненьем.

Как же чувствуешь родное слово —
Если тронет песня откровеньем.

До чего ж земля кругом просторна
И работа радостна простая —

Если знаешь, рассевая зерна,
Что не ты один богаче станешь.

До чего же возвращаться любо
После очень длительной разлуки —

Если так давно тоскуют губы
И объятий сильных просят руки.

Пусть для нас сияет солнце в небе!
Пусть звучат слова родимой речи!

Пусть, кто сеет, думает о хлебе!
Пусть, кто любит, думает о встрече!

Лирический герой Ковалева интересен еще и тем, что всю свою жизнь, начиная с юношеских лет, находился в поиске своей настоящей любви.

Если собрать вместе все стихотворения Ковалева на тему любви, получилась бы очень интересная и содержательная книга. Как постепенно взрослел сам поэт, так постепенно «взрослело» его чувство.

Стихотворение «***Ты, наверно, спишь...» — безусловно, можно было бы поставить первым в этой возможной книге. Состояние впервые влюбленного, которое передает поэт, в общем-то характерное: «Я не сплю, // Мой сон умчался прочь. // Что мне грустно? // Чем я опечален? // На меня из окон смотрит ночь //



В кругу семьи: жена Антонина Андреевна, старший сын Евгений, младший сын Михаил. Минск, 1954 г.

Черными безумными очами. // Знаю я: // Не будешь ты скучать. // Промелькнешь лучом зари в тумане // И уйдешь...» Соответственная на все и реакция: «Ну что ж, тогда — прощай...» Однако чувства не позволяют успокоиться. Поэтому по-прежнему та, которая давно уже не дает покоя, «не отпускает» от себя, — с ней хочется разговаривать и разговаривать, словно она находится рядом и хочет тебя слушать. Только вся беда в том, что то ли от волнения, то ли от неумения просто, но вместе с тем и внятно высказать наболевшее, не получается:

Я один...
К чему же тут прощанье?..
Дни пройдут.
Мои стихи читая,
В них тоску по девушке найдешь.
Тихо спросишь:
— Кто ж она такая?.. —
Вновь прочтешь...
Да так и не поймешь.

На все нужно время. Время жить и время... Нет, не умирать, а любить. По-настоящему. Все, что было раньше, перед настоящей любовью отходит на второй план. Начинает забываться как нечто несущественное, а значит, и неважное. Особенно это чувствуется тогда, когда происходят какие-либо суровые испытания, а следовательно, понимаешь: может случиться так, что и уйдешь, не сказав о любви. Или в таком возрасте, когда уже нужно спешить любить, ибо потом будет поздно. Стихотворение «Снилось мне» — по-моему, наилучшее из всей его любовной лирики. На Северном флоте написалось, когда так хотелось жить.

Снилось мне,
Что в тундру ты пришла.
Все уснули.
И костер погас.
Чуть курилась легкая зола
И никто-никто не видел нас.
Часовой — поодаль,
Строг и тих...
Я сиял,
Себе не веря сам:
Пламя недоступных губ твоих
Прикоснулось вдруг к моим глазам.

Радость сна недолго длилась: «Я открыл глаза — // Тебя уж нет. // Солнечная ночь была длинна. // И молчал суровый край в ответ». А потом была очередная атака, в разгар которой беда настигла солдата: «Между льдин // Я упал, // Где тощие кусты. // Все ушли вперед. // А я один». Конечно же, звал возлюбленную, но она не слышала этого зова, не могла слышать, поскольку находилась за тысячи верст отсюда.

Так продолжалось только до того времени, пока лирический герой не уснул. После этого у него появилось иное ощущение, и оно, конечно же, опять было связано с той, которая приходила в сон, принеся радость любви, а вместе с этим и желание жить. Между прочим, среди дневниковых записей поэта есть и такая: «Как сильно человек любит жить, я чувствовал только тогда, когда собирался в бой. Тогда не хотелось есть. Тогда только хотелось стать незаметным. И никогда не хотелось верить, что меня убьют. А это, говорят, хорошее чувство». Это, говоря словами поэта, хорошее чувство было подкреплено и новым сновидением: «Я заснул — // И снова ты пришла, // И не видел нас, // Никто-никто». Это таинство любви сокровенно:

Я проснулся в тишине палат.
Я скажу соседу и врачу,
Что задачу
Выполнил отряд...
А о том, что снилось, —
Промолчу.

Валентин Сорокин сказал об этом стихотворении так: «Кажется, невозможно представить нам, мужавшим после войны, подобное целомудрие... Ныне упрощаются многие понятия, привычки и ритуалы. А кое-кто хотел бы «упростить» и священное отношение к любимой, к матери, к Родине, ибо все это связано единой болью, единым дыханием человеческой верности и красоты. Но верность и красота не так уж и беззащитны перед пошлостью и жестокостью. Только эта убежденная верность помогла нашему солдату выстоять и победить. И если бы нашлись на планете силы, способные разрушить эти качества человеческой натуры, они бы разрушили само человечество».

Березы как символ чистоты

Одно из стихотворений Ковалева, которое так и называется — «Красота», написано словно на одном дыхании. Исповедь поэта сродни соловьиной песне. Лирический герой Ковалева обращается к своей любимой, но есть все основания полагать, что, видя мысленно перед собой возлюбленную, он писал и о девичьей, женской красоте вообще как о той тайне, с которой и рождается любовь:

Как лебеди,
Дики твои колени,
Тоскуют весны ранние по ним...

В унисон этому стихотворению звучит еще одно — «***Все видится...», хотя между ними есть разница. «Красота» — это богатство эпитетов, сравнений. Притом неожиданных. Одно сравнение женских колен с лебедями чего стоит! А зябкость, «как будто ветви сада // Росой осыпали»? Не каждому удается найти такие оригинальные, незатасканные образы. «***Все видится...», наоборот, — здесь лаконичность, казалось бы, предельная. Даже как бы обычная информация. Хотя такое восприятие обманчивое. Стоит внимательнее вникнуть в смысл сказанного, как сразу почувствуешь, что это вовсе и не лаконичность в ее традиционном понимании, а философская наполненность содержания, более того — афористичность высказывания:

Все видится
Закрытыми глазами,
Все любит:
Руки, губы и колени;
Дыханьем,
Шорохами
И слезами,
Улыбкой...

Любви все возрасты покорны — эту аксиому и подтверждают стихи Ковалева о любви. Сопоставляя некоторые из них, написанные в разное время, особенно если между ними во времени чувствуется большой разбег, нельзя не заметить, как его лирический герой, по мере своего взросления, требовательнее относится к своей любви. Нет, он не собирается отрицать то, что было раньше. Наоборот, по-прежнему трепетно вспоминает свои юношеские чувства, видя в них чистоту, которая с годами не утрачивает своей прелести, первозданности, что, к примеру, видно, из этого стихотворения:

Все взбудоражила, все, что где-то
Глубоко в сердце моем залегло.
Страшно забыть мне теперь все это,
А не забыть — тяжело.
Знаю: не быть, не случиться чуду.
Скорее вдруг запоет немой.
Как без тебя дышать буду,
Солнечный зайчик мой?..

Ответа, случилось ли чудо, нет. Да и стихотворение, конечно же, писалось не ради такого ответа. Появление его вызвали иные обстоятельства: неуверенность в том, можно ли ожидать взаимности в любви, отсюда и соответствующее содержание, не вызывающее особого оптимизма. Но несмотря ни на что, «солнечный зайчик» навсегда остался в душе, как и памяти. Однако, стихотворение «***В позднем возрасте любится чутче, родней...», написанное уже тогда, когда тяжесть прожитых лет все ощутимее, не о той, которая когда-то так волновала сердце. Содержание этого произведения в какой-то степени, видимо, вообще без какой-либо конкретной привязки. Это просто раздумье зрелого человека.

Только о своей ли любви он размышляет, остается загадкой. Можно сказать, что это так. А можно засвидетельствовать, что подобное утверждение ошибочное. Как и нельзя конкретно сказать, о какой любви поэт рассуждает. О той, которая выдержала испытание временем и с годами наполнилась новым содержа-

нием? Или о нагрянувшей нежданно-негаданно, когда, как говорят в народе, бес в ребро. Хотя это и хорошо, что однозначного ответа нет. Иначе стихотворение утратило бы свою прелесть, связанную с тем, что, читая его, как бы соизмеряешь свои чувства с чувствами лирического героя:

В позднем возрасте любится чутче, больней.
Потерять, кого любишь, намного страшней.
Одиночества холод — куда холодней.
Нежность близости— бережней и нежней.
И потребность заботиться, близость тепла —
Только в ней бы душевность ответной была.
От себя одного не уйдешь никуда...
Человеку души прибавляют года.

Символом чистоты для него всегда были березы, которые запали в память еще со времен детства и которые постоянно радовали его в Подмосковье, где любил побродить по лесам и перелескам. Не мог спокойно смотреть на карликовые северные березки, бывшие своего рода спутницами его фронтовой жизни. В них также была своя красота. Пускай себе неброская, но и не отталкивающая, а по-своему притягивающая, позволяющая приобщиться к тому, что также воспринимал близким и родным.

Мои березы,
Я без вас болею.
Я жить без вас,
Наверно, не смогу!
Чем больше вас чернят —
Тем вы белее,
И утро все в березах,
Как в снегу.
Перед нестыдной
Вашей наготою
Остолбенело солнце,
Льнет к росе.
И словно бы
К защите наготове,
Стоят дубы
В воинственной красе.

Стихи Ковалева о природе, как и его стихотворения о любви, для лучшего восприятия, требуют соответствующего настроения читателя. Особенно хорошо они ложатся на душу, когда то, что переживает лирический герой, близко тебе самому. Тогда создается впечатление, что все это — не плод таланта, фантазии поэта, а естественный ход и твоих мыслей, и то, что его волновало, волнует и тебя: «Озер зеленая лесная мгла. // В безмолвии их, пахнущем озоном, // Прислушайся... Звонят колокола // Малиновым, давно забытым звоном. // Черкнет изогнутый полет жука: // Как реактивный, звуки ножевые. // И неподвижность просит свежака. // И — как живые, листья неживые».

Как удачно соединены в единое то давнее, что связано с малиновым звоном колоколов, и нынешнее: «изогнутый полет жука» сопоставим с полетом реактивного самолета. Сравнение неожиданное, но оно не искусственное, не притянутое, а подмеченное, рожденное творческой фантазией, на которую способен только истинно талантливый поэт. Такая же образная насыщенность и в стихотворении «***Шустрее лез подсолнух из-за прясла...», хотя она и не сразу бросается в глаза. Это чувствуешь только тогда, когда начинаешь жить самим духом стихотворения

и на все смотришь такими же восторженными глазами, как видел все это лирический герой:

Шустрее лез подсолнух из-за прясла.
Шумнее за речушкой поезда.
И на заре над садом не погасла
В малиновой туманности звезда.
След пены в колеях от ливня, грома,
Уже сквозь сон ломившихся в окно.
В любовной близости родного дома —
Мечта и память, слитые в одно.
Грозы ночные тучки сбились стайно
На край небес и по краям горят.
И в яркости земля темна, как тайна.
И, как лицо твое, светла, как взгляд.
Подобна зелень привороту-зелью,
Сквозит, как глубь лесов, во сне не спя.
В ней тайны,
Что с собой уносят в землю,
Что знают и что помнят про себя.
Как знак их счастья — месяца подкова.
И говорит рассвет, хотя и нем...
И то,
Что так знакомо,
Так неново, —
Еще вовек не сказано никем.

Как стихи Ковалева о любви легко выстраиваются (во всяком случае, лучшие из них) в нечто завершенное, в особый цикл, с единым замыслом и воплощением, так и лирика о природе — это, по сути, одна поэтическая повесть, состоящая из отдельных произведений, близких, взаимно дополняющих друг друга. В эту «повесть» хорошо вписывается и стихотворение «***Туманной подсинённые росою...»:

Туманной подсиненные росою,
Сквозь красные ресницы смотрят яблоки.
И раненные раннею красою, —
Как трепет,
Скромные певцы их — зяблики.

На кровлях мокрые синеют сурики,
И радужна лягушачья икра еще.
И чем темнее в речке сада сумраки,
Тем ярче светляки плотвы играющей.

Носатая поскрипывает утица,
И селезень
Не сводит глаз с забочины:
Семьей своей писклявой озабочены.
И, омуток сверля, воронка крутится.

Ты после стольких травм
Как невредимая,
Земля моя —
Прозрения пророчица...
Чем больше я люблю тебя, родимая, —
Тем больше уходить в тебя не хочется.

И критик, и переводчик

Дмитрий Михайлович писал не только стихотворения. Подтверждение тому — повесть в стихах для детей «О мальчике Женьке из села Нижние Деревеньки». Но, как и многие писатели, работал и в жанре публицистики, понимая, что это хорошая возможность высказать свою позицию по наболевшим вопросам. Не отказывался написать рецензию, особенно если это касалось произведений тех, кто являлся своего рода его литературным крестником. Как же, в таком случае, не молвить доброе слово напутствия тому, в чьи силы веришь. Выступал и с литературно-критическими статьями, лучшие из которых вошли в его посмертную книгу «Наедине с жизнью», выпущенную издательством «Современник» в серии «О времени и о себе».

В этой книге есть статьи о таких замечательных поэтах, как Михаил Исаковский («Жизнь — песня»), Александр Прокофьев («Радужный хоровод жизни»), Павел Васильев («Неистовое естество»), Сергей Васильев («Не голубиного нрава»), Василий Федоров («По главной сути») и другие. Рядом помещены размышления о творчестве молодых на это время авторов. Не обошел Дмитрий Михайлович своим вниманием и белорусских поэтов, сказав свое весомое, авторитетное слово о Якубе Коласе («Колос белорусской нивы»), Максиме Танке («Длиною в один день»), Иване Мележе («Поэзия Полесья»), Янке Брыле («Работа вечная огня»), Миколе Сурначеве («Одна любовь»).

К творчеству братьев-белорусов он иногда обращался и говоря о русских мастерах поэтического слова. В той же статье «Трудная слава», давая свою оценку Есенину, подчеркнул: «Белорусской поэзии он близок своей народностью, своим гражданственным интимнейшим лиризмом. И в стихах Кляшторного, и Чарота, и многих других можно было уловить многое, что принес в советскую поэзию Сергей Есенин. Павлюка Труса так и называли, помнится, белорусский Есенин. [...] Не совсем это лестно, хоть читателя и это подкупало, и не от плохого чувства он такие названия давал, но что было, то было. Важно как раз, что



С писателями. Начало 1970-х.

у Есенина учились талантливые по-настоящему поэты. И что брали у него, за исключением голых подражателей, отстоявшееся, самое чистое, светлое».

А в статье «Не раб и не соперник», имеющей подзаголовок «Заметки о мастерстве перевода», Ковалев рассуждал о том, «как важно найти автору переводчика или переводчику — автора, найти ту единственную взаимопроникаемость душ, когда и схватиться приятно. Когда именно взаимная неуступчивость приводит к желаемым результатам». При этом уточнял: «Конечно, это может быть только между живыми. Ушедшие — особая статья. Там особенно важна совесть; ответственность переводчика умножается на степень таланта ушедшего». Говоря о живых переводчике и авторе, свидетельствовал: «Наиболее близкий пример, который приходит первым в голову, — это Исаковский и Кулешов. Это было всем очевидно — как взаимны творчески эти два крупных таланта, как звучит Кулешов, самый родниковый Кулешов, в переводах Михаила Исаковского. Не хуже ведь ничуть, чем на своем родном языке. Так, словно бы и написано по-русски».

К проблемам перевода Ковалев обратился не случайно: и сам успешно работал на переводческой ниве. Прежде всего, знакомил русскоязычного читателя с творчеством белорусских писателей. Благодаря его мастерству вышли поэтические книги Нила Гилевича «Песню берите с собой» (1959), Олега Лойко «Моя планета» (1971), Миколы Сурначева «Одна любовь» (1971), Анатоля Гречаникова «Звезды и курганы» (1976) и другие. Потрудился Ковалев и на прозаическом поприще, переводя роман Ивана Мележа «Дыхание грозы» (1967), книги Янки Брыля «Горсть солнечных лучей» (1968) и «Краюха хлеба» (1977)... В том же 1977 году, благодаря Дмитрию Михайловичу, на русском языке вышла и книга Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника «Я из огненной деревни...». Всего Ковалев перевел 10 книг стихов и прозы белорусских писателей.

Однако не только они интересовали Дмитрия Ковалева. Например, на русский язык перевел избранные произведения талантливого узбекского поэта Султана Джуры, который в совсем молодом возрасте в Великую Отечественную войну погиб на Гомельщине, вблизи родных мест Ковалева. О нем у Дмитрия Михайловича также есть стихотворение:

Далеко оно,
Фронтовое житье,
Года тревог и разлук.
Говорят, что узбекское имя твое
Означает по-нашему «друг».
И ты настоящим был другом мне,
Хотя я тебя не знал.
Походную жизнь ты узнал на войне,
В землянке стихи писал.
Я был в Заполярье, матрос рядовой,
Когда у села моего
Твой путь оборвался
И холм небольшой
Вырос в конце его.

Честность во всем

Вообще, Ковалев принадлежал к тем поэтам, которые выступают в различных жанрах. Да и не только рецензиями и литературно-критическими статьями, но и размышляют над современным им литературным процессом, выражают свою жизненную и творческую позицию. Подтверждение тому и его ответ на вопрос: «Что вы думаете о народности поэзии, о возросшем интересе к нацио-

нальным и классическим традициям в сегодняшней поэзии и каковы, на ваш взгляд, противоречия этого процесса?», заданный альманахом «День поэзии».

Вопрос этот был предложен не только Дмитрию Михайловичу. На него отвечали также Лев Аннинский, Вадим Кожинов, Александр Михайлов, Игорь Матяшов, Евгений Осетров, Александр Яшин и другие поэты и исследователи литературного процесса. Ковалев, являясь сторонником классической манеры письма, в самом начале своих рассуждений заметил, что «очень чутка поэзия к течению жизни, к движениям ее атмосферных масс, никогда не зависящих от легких дуновений», и продолжал: «И вот где-то здесь, по-моему, в сердцевине всего этого, кроется двигательная сила народных традиций поэзии, ее национального своеобразия, которое так едино с народностью, что их разделить немыслимо, не разрушив, не повредив живой ткани. И поскольку у каждого народа свое, неповторимое во времени, а человеческое присуще всем человекам, составляющим всякий народ, то именно в неповторимом и чувствуют люди больше всего общее. И впрямь — интересно ли мне читать французского поэта, в котором я не почувствую француза, с его тонкой остроумностью, и не только: именно у него мне особенно приятно, в нем самом находить себя и свое — и это есть общечеловеческое».

Высказался и о своем понимании традиции и новаторства: «Так вот о традициях: дико, но факт, — уже даже привыкли и механически произносим: «Ах, это традиционно», — в смысле не ново, просто бездарно, если называть вещи своими именами. Даже бранным словом стало это «традиционно». Куда уж!.. И якобы это антиподы — традиционность и новаторство; простите, если некоторые несть числа «новаторы» приняли за своего противника такого сорта «традиционность», то и сами они, видать, недалеко ушли: по воину и противник. Между тем традиционными испокон веку становились только те поэты, которые были изнутри, из корня новаторами. Так и во всем. Неспроста же: суворовские традиции, наконец, ленинские, революционные, пушкинские, некрасовские, блоковские, есенинские, маяковские... Кто их продолжал — не стали традиционными. Как не стали те, кто во что бы то ни стало расшатывал все, что они укрепляли, и во что бы то ни стало делал все непохоже, даже нарочито наоборот. У тех обычно получалось наоборот с известностью и, наконец, со славой. Они шумели в юности, которая, жаль, скоро проходит, а вместе с нею и шум. Сколько их уже объявлялось гениями, даже на мировой арене! Сколько уже на моей памяти объявленных новейшими знаменитостями на глазах перестали быть таковыми. Остаются вечно молодыми старые мастера. Старое, но грозное оружие!..»

Давно сказано, а в основном не устарело, ибо и сегодня, как в поэзии, так и в литературе в целом, основную службу, если можно так сказать, несут те писатели, которые и в самом деле остаются «вечно молодыми» и у которых есть чему поучиться. Это, конечно, не означает, что нужно полностью отрицать новаторство, литературный эксперимент, но все должно быть в меру. Ковалев в одинаковой степени был требователен как к самому себе, так и к товарищам по перу, независимо от того, являлись они его ровесниками или тогдашней молодой порослью, уверенно завоевывающей свое место под литературным небом. Не стеснялся прямо высказать то, что думал.

Так поступил однажды и с Евгением Евтушенко. Тот, как известно, всегда писал много, но, что также нельзя отрицать, иногда уж слишком быстро реагировал на злобу дня. Естественно, подобные стихи имели «вес», значимость только тогда, когда быстро приходили к читателю. По истечении определенного времени интерес к ним ослабевал. Этого не мог не понимать и сам Евтушенко. Однажды он начал сетовать, что, мол, из-за задержки выхода очередного сборника его стихи успевают устареть. Присутствовавший при этом разговоре Ковалев не удержался и посоветовал: «А ты, Женя, пиши, чтобы лет на пять хотя бы хватало!..»

Неоднозначно он относился и к творчеству Роберта Рождественского. В частности, ему не нравился ныне широко известный «Реквием». Прежде всего из-за строк: «Помните! Пожалуйста, помните!», он считал, что все это рассчитано на массового потребителя. Даже сказал, что Рождественский «совсем глухой. На ухо слон наступил», при этом добавил, характеризуя Рождественского: «Железный Робот». В какой-то степени, безусловно, это можно расценить как просто непринятие Дмитрием Михайловичем Рождественского как поэта. В чем-то, конечно, это так. Однако только не относительно вышеприведенных строк. Их неестественность, надуманность налицо. Это так волновало Ковалева, что он даже написал стихотворение «***Зачем вы красите солдата золотом...»:

Зачем вы красите солдата золотом,
Что над могилами склоняется, скорбя?..
Его война огнем пытала, холодом,
Он для победы не щадил себя.

Как жесткость у зубчатых стен еловая,
Печаль седых бровей его строга.
Ему к лицу его шинель суровая,
В которой грозно он встречал врага.

Зачем вы эти «... помните, пожалуйста!»
На камне высекаете слова.
Достойные не мужества, а жалости,
Где гордая и в горе голова?..

У скромного по-братски изголовия
Слова должны быть подвигу под стать.
Здесь неуместно блуду многословия
Просительной галантностью блистать!

К голосу Ковалева со временем прислушались. Строчки «Помните, пожалуйста, помните!», где их успели выбить на памятниках в честь погибших в Великую Отечественную войну, поменяли на те, которые сегодня стали крылатыми: «Никто не забыт и ничто не забыто!» Автором их является Ольга Берггольц.

Знакомясь и с дневниковыми записями Дмитрия Михайловича, также можно убедиться, что у него есть немало высказываний, свидетельствующих о том, что он, будучи человеком и поэтом активной жизненной позиции, по сути, делал наброски, которые в будущем можно было использовать как при написании произведений, так и в публичных выступлениях. Как эти: «Личная свобода мысли, не навязанной, а своей, мысли, достигнутой убеждением, на опыте, необходима человеку как воздух, человек на это имеет право, пока он дышит», «Вчера заметил, что люди (а это я уже давно чувствовал), которые не любили учиться, при всяком удобном случае стараются унизить учителя. Это им приносит удовольствие». Как же без любви: «Есть люди, в присутствии которых время начинает мчаться, будто они его подгоняют. Это признак людей, которые нами любимы». «Самое искреннее — это то, что сказано озлобленным, обиженным или влюбленным сердцем». А это связано с военной действительностью: «Когда подводники возвращаются на базу, выбравшись из лап смерти, они необычайно задушевны», «На днях бродил по скалам, откуда видна даль мрачного Баренцева моря. Подумалось: многие уже оттуда не придут, и гибель их останется тайной».

Есть у Ковалева и такая запись в дневнике, относящаяся еще к годам войны: «Тема для стихов:

Койка Васи Облицова. На тумбочке — пришедшее ему письмо.

— А где Вася?

— Вася? В Баренцевом море остался».

Эта запись стала позже темой для стихотворения «***И все шумит, шумит залив...», имеющего посвящение «Памяти подводника Василия Облицова».

Счастлив вопреки невзгодам

На долю Дмитрия Ковалева выпали не только суровые военные испытания. Хватало их и в мирной жизни. И чаще всего это было связано с творчеством. Он, в сравнении с другими поэтами, в том числе и с представителями военного поколения, писал не так и много. Сказано это, конечно, не в укор ему, ибо много-мало — в поэзии, как и в целом в творчестве, литературе, и вовсе не показатель значимости того, что создал тот или иной автор. Но вся беда в том, что в редакциях журналов, куда Ковалев приносил свои произведения, им не всегда охотно давали зеленую улицу. Причина известная: о чем бы он ни писал — о войне, о любви, о дне сегодняшнем, слишком уж был индивидуален, его стихотворения как бы «выпадали» из общего потока. Даже при всей правильности они иногда воспринимались «неправильными».

Правда, если с таким предвзятым подходом к его произведениям да и с бытовыми неурядицами он более-менее успешно справлялся, то куда сложнее ему стало, когда начало подводить здоровье. Однако и здесь не собирался сдаваться. Стоял, что говорится, до последнего. Перенес несколько операций и все же, немного выздоровев, как говорится, опять возвращался в строй. Так было и после седьмой, которую ему сделали в 1971 году. Зная, что студенты, с которыми занимался, с нетерпением ожидали его возвращения, снова начал вести творческий семинар в Литературном институте. Да и сам успел соскучиться по ним.

Преподавательской деятельностью, однако, не ограничивался. Не пропускал ни одного заседания редколлегии журнала «Наш современник», членом которой



В редакции газеты «Маяк». 1960-е.

являлся. Охотно работал и в приемной комиссии Союза писателей РСФСР, где всегда поддерживал тех из молодых литераторов, в ком видел талант и в чье творческое будущее верил. Но никогда «добреньким» не был. Посредственности, серости спуску не давал. Да и в Москве не засиживался. Всегда был легок на подъем, а тогда словно вторая молодость вернулась. С удовольствием отзывался на предложение принять участие в днях, декадах литературы. Или просто выехать с очередной писательской бригадой на встречи с читателями. И не куда-нибудь в Подмосковье или, скажем, несколько дальше. Поездки и по Сибири, и по Дальнему Востоку.

Не жаловался ни на трудности в пути, ни на усталость. Но другие-то здоровы были, а его силы медленно, но неустанно продолжала подтачивать тяжелая болезнь. Та, которая и поныне не излечивается, а тогда и тем паче. Но Дмитрий Михайлович еще шесть лет противостоял сахарному диабету. И был по-своему счастлив. Да и как не быть счастливым, если, несмотря на все превратности судьбы, по-прежнему можно было радоваться солнцу, видеть лица любимых людей и самому любить. На это обратил внимание Юрий Прокушев, когда в предисловии к книге Ковалева «Дороги жизни и любви», вышедшей в 1987 году, писал: «Счастлив, вопреки невзгодам и превратностям жизни, всем колючкам и шипам на тернистом его пути тот поэт, судьба которого всегда была кровно сопричастна народной судьбе и неотделима от нее как в радости, так и в печали; поэт, для которого наипервейший гражданский долг, высшее призвание жизни — любовь и верность Родине.

Как поэт и гражданин Дмитрий Ковалев обращался к тем вечным нравственным проблемам, которые сегодня особенно тревожат каждого честного человека, каждого думающего литератора. Это совестливость, доброта, человечность наших повседневных поступков, всей духовной жизни».

Однако борьба Дмитрия Михайловича с болезнью была неравной. 5 марта 1977 года Ковалева не стало. Похоронили его на Ваганьковском кладбище. Там, где вечным сном спит Есенин. Могила великого русского поэта находится неподалеку от того места, где обрел покой и он. У него постоянно было желание приобщать к творчеству Есенина и своих воспитанников, поэтому на творческих семинарах, которые вел в Литературном институте имени А. М. Горького, рассматривая произведения молодых авторов, обязательно обращался к поэзии того, кто стал, по сути, его первой литературной любовью.

Первая же литературная любовь отличается от той, которую человек переживает в жизни. В жизни, за редким исключением, о первом увлечении со временем остаются лишь воспоминания. В литературе же все происходит наоборот. Поэтому у Ковалева с годами эта самозабвенная любовь к Есенину стала еще более осмысленной и сильной. Его тянуло к Есенину, как тянет писателя к писателю, который в его жизни и творчестве занимает важное, а то и определяющее место.

Дмитрий Михайлович часто навещал могилу Есенина. Иногда не один, а вместе со своими студентами. Был уверен: «Надо чаще бывать на кладбищах. Не наскоком приходить поглазеть на свежую могилу той или иной знаменитости, а чтобы подумать, поразмышлять — о жизни, о смерти, о добрых делах своих и о грехах. Наедине с ними, некогда жившими, человек становится чище помыслами. Он как бы глубже осознает: все мы бренны, а сделать предстоит еще многое. Так не лучше ли, пока не поздно, отбросить лень и праздность, поспешить закончить работу за себя, а если успеется — и за них, вот под этими памятниками лежащих...»

Посещения Ваганьковского кладбища для него были не только возможностью отдать дань памяти человеку и поэту, который так много значил и в его жизни, да и во всей русской поэзии. Появлялась возможность и иного плана: мыслен-

но повторить то, что высказал в одном из своих замечательных стихотворений о бренности всего живого на земле, но вместе с тем и о том, насколько мы, ныне живущие, чувствуем присутствие тех, кто уже ушел в вечность. Во всяком случае, должны постоянно помнить об этой незримой взаимосвязи:

За путями в молчанье своем
Чаша памяти вечной встает.
Мне о том,
Что не вечно живем,
И сегодня забыть не дает.
Свет включаю под утро всегда,
Но такой, что углы не зальет.
Мыслью занятый, гляну туда:
Спит Есенин,
Но синью зовет.
Спят Тропинин и Даль там давно,
И Саврасов, и Суриков там...
Разве им, как живу, все равно
И каким поклоняюсь местам?..

Дмитрий Михайлович, любя творчество Есенина, увлекаясь им, никогда не писал под него. В поэзии Ковалева можно заметить есенинские мотивы, но вместе с тем, это все свое.

* * *

Хорошо сказал, провожая Дмитрия Михайловича в последний путь, Егор Исаев: «Дмитрий Михайлович Ковалев... Фронтовик-подводник. Большой русский поэт, пришедший к нам из Белоруссии... Как он любил родную землю — Центральную Россию и Белоруссию! Любил ее во все времена года. Любил дивную, бушующую в цветах и соловьях, любил туманную, серую — в низких облаках и секучих дождичках; любил белую — сугробную, вьюжную... всякую любил. Любил жителей ее и тружеников. Любил самозабвенно, мудро — от раннего тепла до позднего, от первого до последнего. Любил. И эта любовь, как сама жизнь, от всего сердца сказалась в его стихах, в его книгах — удивительных и неповторимых...»

А вот как сказал сам Дмитрий Ковалев: «И даже потом, когда не будет меня, я не перестану любить — стихи мои будут любить».

ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ

Все пути озарены тобою

* * *

Янке Брылю

Перед рубиновым огромным солнцем ранним
песчано-дымные кряжи в бору...
С тобой — ни забытья, ни умиранья.
Все предвещания твои к добру.
Русь,
нареченная когда-то Белой,
с Великой Русью ты слилась во мне,
как две любви во ржи заголубелой
с одною правдой в мире и в войне.
Хочу погожим эхом оставаться
в твоих грибных и ягодных лесах,
за правду рисковать и не сдаваться,
у совести твоей быть на часах.
Закон:
неси земле хотя бы лучик.
Завет:
живи — душою не криви.
Быть искоркой твоей —
чего же лучше?
Быть искоркой сознания в крови.

Учимся

Белы от инея —
Как выбелены мелом мы.
Всю ночь
Телами греем валуны.
Какими оказались неумелыми
В начале
Неигрушечной войны!
Не наступать,
А каждый шаг отстаивать,
И не на их,
А на своих снегах.
Своим теплом
На сопках лед оттаивать.

Носить свой сон
По суткам на ногах.
Пока вооружимся
И научимся —
И все припомним ***им***
На их полях —
О, сколько мы натерпимся,
Намучимся!
И скольким лечь
На подступах в боях!

* * *

Я вижу издали родительскую кровлю.
Гречихи пенятся.
И лен — как море, синий.
Моя по убеждению, по крови,
Одна в тысячелетиях — Россия,
Отчизна скромная,
Душа моя!
Гроза и половодье,
Бор и нива —
Все то, чем жизнь светла,
В тебе увидел я —
И полюбил тебя
Безмолвно и ревниво.
Пусть не цветист,
И не душист, и гол
Простор под мурманскими небесами—
Но где бы ни был я,
Куда бы я ни шел —
Холмы твои стоят перед глазами.
Мы часто сдержанны в любви к тебе.
Не говорим о ней, готовясь к бою.
Мы только глубже чувствуем в борьбе,
Что все пути озарены тобою.

Ветка

Ветка...
Зеленая Ветка!
Выпадало нам видеться редко.
Первый раз увидал,
Как родился,
А второй привелось —
Как женился.
Все по свету,
По белому свету.
И тебя там, где был я, нету.
Но бушлат мой — лишь знак былого.
Узнаешь ли меня пожилого?

Я медлительней стал и строже.
Ты же стала еще моложе.
Все, что в годы войны пережито,
Под листвой молодою скрыто.
Лишь чернеют в песке рыжевато
Лапа якоря, хвост каната:
Наводненье когда-то было —
Староверскую пристань смыло,
И теперь ветковчане наши
Староверами не зовутся.
Только в память об их вчерашнем —
Крепкий чай в фарфоровом блюдце.
Только имя, данное метко,
У тебя неизменно, Ветка...
Будешь ты, мой безвестный город,
И в неблизком будущем молод.
В изобилии расплодится
В плесах рыба,
В чащобах — птица.
Пионер, свесив ноги, будет
Красноперок в затоне удить.
Я ж при встрече этой короткой
Буду лысый, уже с бородкой.
Стану, может, еще степенней.
Но душою черствым не буду.
Солнцем в окна,
Ласточкой в сени
Ты являешься мне повсюду.
Все не вечно
Под поясом млечным.
Время
Метит морщинами
Метко.
Но шумит по-весеннему
Вечно —
Вечно зеленая
Ветка.

* * *

Памяти отца Михаила
Тимофеевича Ковалева

С Первой мировой семье отправлен:
Ранен и контужен,
Газами отравлен.
Полверсты обмоток — долго ты носил их.
А рука — кусок держать не в силах.
Где уж было горну тут куриться!
Вереск спас: все парили в корытце.
Нежелезный после, вспыльчив, резок,
Сколько перенянчил ты железок!
Скольких обучил своей науке!

Говорили все:
— Какие руки! —
В кузницу твою валили лавой.
Как гордился я твоею славой!
Сколько мы с тобой серпов зубили!
Будь бы с нами — и нужду б забыли...
Бросил малых нас и мать под старость,
И мою, недетскую, усталость.
Не своих кормил... А нас — полроты.
При живом отце росли сироты.
И себя мы сами порастили...
И вернись бы только — все простили...
Может, чуяла, душа слепа ли,
Что сыны твои на фронте пали.
Что помощник первый твой,
Твой старший,
Хоть немногим —
Но известным ставший...
Только бы вернулся... Есть ли чудо?
Разве возвращался кто оттуда?..
Как ты умирал... Один... Больница...
Будешь к непогоде сыну сниться.
И во сне наплачусь теми же слезами...
И проснусь с кругами под глазами.

* * *

Опять не получается работа.
Ночами беспокоят голоса.
Все требуют типичного...
Но что-то
Все лезет нетипичное в глаза.

* * *

Все обо всем:
О мировой судьбе,
О будущем —
Да с пышным караваем!
А что мы знаем
Сами о себе?..
Себя мы
От самих себя
Скрываем.
Как смею жить,
Не разорвав кольца,
С неусыпленной совестью
И с жаждой?..
Сказать хотя б себя,
Но до конца.
Чтоб, вздрогнув,
О себе подумал каждый.

Красота

Как лебеди,
Дики твои колени,
Тоскуют весны ранние по ним...
Приснилось,
Что ханжи пооколели.
И стало меньше
Хоть грехом одним.
И стала юность чище и моложе,
И зрелость добротою ближе ей,
Наедине,
Опаслива до дрожи,
Ты хмуришься от наготы своей,
Такая зябкая,
Как будто ветви сада
Росой осыпали,
Хоть голову втяни.
Двух земляничин робкая прохлада
Краснеет и хоронится в тени...
Но если бы рассвет
Твои опаски
И глаз твоих пугливых высоту
Увидеть мог —
Он погасил бы краски,
Чтоб не спугнуть такую красоту.

Летящий вечер

Брату Мише

Совсем один
И тот на небе
Серп.
А по стерне —
Сыпь шинных перепонок.
А на лугу —
Круги лишь от копенок.
И как наторкано
Вдоль шляха верб.
И как насыпано
У пней опенков.

Не оторвусь...
Уже серчает брат,
Заводит мотоцикл
С пол-оборота.
Тускнеет красный
Сосняков парад.
В стемневших чащах
Светятся болота.

Студеные,
Слетают звезды с век.
Оранжевые полосы
Неярки.
Нам души леденит
Тумана снег,
К лощинам никнущего...
Туч огарки...

Навстречу — фары,
Все растут, растут...
Вдруг ослепив,
Трассирующе меркнут.
И вот он, город!
Потеплее тут...
Над нами медлит
Самолет, как беркут...
Подробно помни.
Никуда не день.
Как миг,
Когда неясно
И опасно,
Но юно.
Помни:
Позади твой день.
Все меньше у тебя
Таких в запасе.

Позывные

Прослушивает полночь сны земные.
И на волнах коротких,
И на «ультра»
По мирозданью рыщут позывные,
Предсказывают день,
Торопят утро...
Никто не виноват.
Все только правы.
Так доверительны.
Насквозь правдивы.
Но кто-то косит же
Людей — не травы,
В чужом дому хозяйничать радивый.
Себя ж не предает огню,
Кто им объятый,
Себя с земли своей не гонят взашей.
Где смеют заживо детей сжигать
солдаты —
Там даже солнце праведное в саже.
По хрупкостям броня ступает грузно.
Запугивают мир уж не парады.

Любовь к отечеству используется гнусно.
Ложь оголтелая правдивей правды.
Бессонница, здоровье пожирая,
У изголовья совести маньячит.
Как голова в сединах пожилая,
В окне подоблачном луна маячит.
Любовное, наивное светило!..
Теперь на нем сыны земной державы.
Чистейшей обувью она там наследила.
А на земле следы ее кровавы...
Каким еще поветрием повеет —
Какие по ветру развею сны я?..
Будь проклят,
Хоть родной,
Кто вам поверит,
Зловещих оправданий позывные!..
Уйдешь ты не последним
И не первым,
Собою будь, мой век!
Себя твори!..
Пронзительно
Проносятся
По нервам
Космические
Скорости твои.

Смелость

И мы бывали смелы — не с оглядками.
И задним все числом,
Как вы, я это помню.
С вчерашними сражались непорядками.
С сегодняшними — был порядок полный.
А на войне —
Не с прошлыми ошибками
Войну вели,
А с танками,
А с танками.
Мы уважительно вели себя с останками.
Живых врагов щадить могли не шибко мы.
Теперь вы нас в несмелости корите.
И нашу вы беду в вину нам ставите...
Вы по-солдатски с нами покурите —
Быть может, снизойдете и оттаете...
По сути — смелость остается та же.
По смыслу — смена тоже не другая...
Вы так усердны,
Прошлое ругая,
Что боязно за будущее даже.



ДЖО АЛЕКС

Скажу вам, как погиб он[1]

Роман

V. «И вот стою я перед вами...»

Когда часы пробили без четверти восемь, Алекс оторвался от пишущей машинки и начал переодеваться к ужину. Он был очень доволен. В течение каких-то двух часов книга в общих чертах обозначилась. Все сюжетные линии стояли перед глазами. Осталось еще несколько уточнений плана — и можно начать писать. Завязывая перед зеркалом галстук, он улыбнулся своему отражению и, как мальчишка, скорчил ему рожу. Очень забавно, что он превратит эту группу людей в круг подозреваемых, среди которых выявятся убийца и убитый. Это даже хорошо, что Паркер позвонил ему и обрисовал всю ажурную атмосферу опасности, которая витает над Саншайн Мэнор. Это подталкивало воображение. И даже могло бы стать отдельной сюжетной линией, разумеется, в измененных обстоятельствах. Он вымыл руки и, тихонько посвистывая, спустился в салон, где застал лишь одного человека.

Увидев Алекса, Филипп Дэвис поднялся с кресла, где сидел, просматривая какую-то газету. На столике перед ним стояла шахматная доска, а фигуры на ней были расставлены так, словно партнер минуту назад вышел, оставив партию в ходе игры.

— Вам удалось хоть немного поработать? — спросил Филипп. В темном костюме и белой рубашке он выглядел еще привлекательнее, чем днем.

— Да, — ответил Алекс и, вынув пачку сигарет, хотел угостить его.

— О, нет, не перед ужином! — молодой человек сделал легкое движение рукой, будто хотел отгородиться от сильного искушения. — Говорят, это губительно действует на аппетит. Разумеется, — поспешил он объяснить, — я говорю это вовсе не для того, чтобы лишить вас удовольствия покурить сейчас. У каждого взрослого человека свой взгляд на то, что он называет маленькими удовольствиями.

— Это верно! — Алекс закурил и спрятал пачку в карман. — Вижу, у вас довольно оригинальные маленькие радости. Вы играете сам с собой?

— Нет, что вы! Я ведь никогда бы не выиграл, играя сам с собой, — всегда получалась бы ничья. Это не игра, а просто шахматная задача. Точнее, я сочиняю шахматную задачу и предлагаю другим решить ее. Вот это как раз издание нашего клуба, — он указал на газету. — Здесь публикуются наиболее интересные задачи и способы их решения. Я — один из членов правления клуба.

— Должно быть, это очень увлекательно... — произнес Алекс без большой уверенности в голосе и сделал вид, что рассматривает фигуры на доске. — Но, вероятно, шахматист со средними способностями, в конце концов, всегда находит правильные ходы?

---

[1] Продолжение. Начало в № 7 за 2015 г.

— Нет, — отрицательно покачал головой Дэвис. — Это примерно то же самое, что ваши романы, если можно привести такое сравнение. Вы ведь точно так же расчетливо сообщаете все необходимые данные об убийце и убийстве, но так, чтобы затруднить их обнаружение, не делая его, однако, невозможным. Несмотря на это, случается, что даже очень проницательный и умный читатель увидит какой-нибудь факт «с неправильной стороны», если можно так выразиться, и сделает из него неверный вывод. А один неверный вывод повлечет за собой другой и в результате приведет к ложному окончательному решению. Здесь такие же ловушки и преграды. Признаюсь — я большой поклонник вашего творчества. Особенно мне понравилась «Тайна зеленого такси»...

Джо мысленно застонал. К счастью, в ту же минуту дверь, ведущая в холл, отворилась и вошел профессор Роберт Гастингс.

— Добрый вечер! — сказал он. — Я вижу, что каждую свободную минуту вы проводите за самой важной из всех работ! — рассмеялся он, указывая пальцем на шахматную доску. — Он действительно великолепный шахматист, — обратился профессор к Алексу. — Позавчера мы сыграли пять партий подряд, и ни в одной из них мне даже не удалось перехватить инициативу. Фигуры этого молодого человека ведут себя, как живые враги, причем с количественным перевесом. Мне все время казалось, будто у него вдвое больше фигур, чем у меня.

— О, это всего лишь вопрос практики, профессор. — Дэвис покраснел от удовольствия. Такие слова ученого с мировым именем явно были для него чем-то, что он запомнит на всю жизнь.

— А вы надолго приехали в этот очаровательный дом? — спросил профессор у Алекса.

— Еще не знаю. Скорее всего, на две-три недели... Я хочу тут кое-что сочинить. Согласитесь — здесь идеальное место для работы.

— Не знаю. К счастью, я здесь не работал. Зато оба моих знакомых и присутствующий здесь их стойкий и дельный сотрудник работают почти непрерывно. Хорошо, что Иэн не любит работать после обеда, а Гарольд Спарроу — вечером. Иначе я бы их вообще не видел, кроме как во время еды. Видно, что они приближаются к финишу. Мне знакомо такое состояние, и я очень люблю ощущать его на себе. Вам известны такие минуты, когда человек знает, что еще день или неделя усилий, и он сможет, наконец, выпрямить плечи и позволить уснуть уставшему мозгу, выключив работу его важнейших клеток, и заменить их теми, которые позволяют нам поймать рыбу или подстрелить зайца? Разум чувствует приближение такой минуты определенным специфическим образом. Он торопит нас и вызывает горячечное возбуждение. Мне кажется, что именно такое настроение я наблюдаю здесь в настоящую минуту. Не правда ли, мистер Дэвис?

— Более-менее, профессор, хотя мне трудно точно ответить на этот вопрос. Вы ведь знаете, что не всегда такой финиш действительно является финишем. Иногда кажется, что результат — вот он, совсем рядом, за углом улицы, если можно так выразиться, а тем временем оказывается, что он по-прежнему укрыт за семью горами. Профессор Драммонд утверждает, что до тех пор, пока какая-либо работа не окончена, никогда не известно, начата ли она вообще, ибо путь может привести в тупик, и тогда выяснится, что все надо начинать с самого начала.

«Ничего он ему не объяснил. Умный парень...» — подумал Алекс и с уважением посмотрел на невинное юношеское лицо Филиппа Дэвиса, который слегка наклонился вперед, как бы подчеркивая, что он готов с уважением выслушать ответ оппонента.

Профессор открыл рот, но прежде чем успел заговорить, дверь отворилась снова, и на пороге появились обе дамы, а следом их мужья.

— Прошу к столу, — сказала Сара. — К счастью, Кейт уже вернулась, и мне не придется самой вас обслуживать, — лицо Сары разрумянилось, а волосы были слегка примяты. — Кажется, один из тех двух охотников за бабочками, которые расположились у наших ворот, пытается поймать нашу Кейт... Однако не будем сплетничать о слугах. Довольно того, что они о нас сплетничают.

Все направились в столовую. Неразговорчивый Гарольд Спарроу сел рядом с Люси, одетой в платье холодного фиолетового цвета, которое прекрасно оттеняло ее красоту и светлые волосы. По локоть забинтованную правую руку поддерживала переброшенная через шею белая шаль, из-под которой поблескивал рубин на узенькой, короткой цепочке. «Мало заботят ее женские мелочи, — подумал Алекс, — раз она к двум разным платьям надевает одно и то же украшение. Несомненно, она достаточно обеспечена, чтобы иметь определенное количество драгоценностей, и наверняка она их имеет. Просто вопрос красоты не является предметом ее постоянной заботы». Джо взглянул на Сару. Ничего в эту минуту не напоминало в ней того подростка, в обществе которого он сегодня утром покинул Лондон. День за окнами уже догорал, и стол освещала огромная хрустальная люстра. В ее свете белое платье Сары с глубоким вырезом, ее бриллиантовые серьги и великолепный алмаз на среднем пальце левой руки представляли собой изумительный фон для смуглых гладких плеч и шеи. Большие черные глаза сияли. Высоко зачесанные волосы блестели, словно политые водой. Пожалуй, впервые в жизни Алекс понял, что означает выражение «женщина, излучающая сияние». Сара Драммонд была похожа на инопланетянку, окруженную прозрачным электрическим ореолом, который двигался вместе с ней и вместе с ней застывал неподвижно. Но она, казалось, об этом не подозревала, хотя опытный глаз Алекса уверенно определил, что ей понадобился по крайней мере час для того, чтобы подобрать и сопоставить все элементы, создающие этот эффектный внешний облик.

— За здоровье нашего гостя, — произнес Иэн Драммонд, поднимая бокал.— К сожалению, это наш последний общий ужин здесь, и мы с профессором Гастингсом в последний раз садимся за этот стол вместе. Я, конечно, убежден, что вскоре мы встретимся вновь, ибо мир становится все теснее, и мы все чаще перебираемся с континента на континент, чтобы повстречаться со старыми друзьями и познакомиться с их новыми достижениями. Я пью за здоровье нашего гостя и за то, чтоб мы могли как можно чаще посещать его великолепную лабораторию, читать его мудрые статьи и восхищаться его достижениями, равно как и достижениями его коллег и всей его страны, столь прославившейся стремительным развитием технического прогресса!

Все подняли бокалы. Джо Алекс не мог избавиться от ощущения, что хотя тост Иэна был полон искренней сердечности, где-то в его глубине таилась нотка иронии. Но если даже профессор Гастингс и заметил ее, он не подал никакого вида. Подняв бокал, он поблагодарил за гостеприимство и пожелал обоим ученым успешного окончания работы, которую ожидает весь мир, хотя и не отдает себе в этом отчета. Все это прозвучало очень мило, и настроение за столом быстро улучшалось. Даже молчаливый Спарроу попытался сказать несколько теплых слов уезжающему американцу, а сидящая рядом Люси, которая с беспомощной очаровательной улыбкой позволяла то ему, то сидящему с другой стороны Филиппу Дэвису резать ей ветчину и намазывать маслом хлеб, несколько раз высказалась так тонко и остроумно, что Алекс невольно взглянул на нее с недоверием. Он считал себя прекрасным психологом и полагал, что с первого взгляда может определить, на что способен человек, с которым он только что познакомился. Тем временем Люси Спарроу проявлялась каждый раз в новом свете.

Он посмотрел на ее мужа. Это была еще одна загадка. Крепкий, сильный, по-видимому, несколько ограниченный за пределами своей профессии человек — и она! Что их объединяло? Любит ли она мужа? Наверно. Ведь не вышла же Люси замуж из-за его состояния — она сама прекрасно зарабатывает. Не прельстилась же она его славой, потому что она сама, быть может, более известна, чем он. Ее эффектные операции и женская красота были постоянными сюжетами газетных репортажей и статей. На медицинских конгрессах ее всегда окружал целый рой коллег и журналистов. Он сам видел массу ее снимков в прессе, и если она не была столь же популярной, как сидящая напротив нее Сара Драммонд, то лишь потому, что невозможно ведь сравнивать славу, которую приносят подмостки сцены, со славой, родившейся в тиши операционного зала. Откуда же взялся в ее жизни этот Спарроу? А может, она полюбила его просто потому, что именно такого мужчину ей суждено было полюбить? В конце концов, Джо Алекс не раз наблюдал любовь двух людей, на первый взгляд совершенно разных. Но чтобы, имея такую жену, Спарроу мог завести роман с другой женщиной, да еще, к тому же, с женой друга, с которым вместе работает? Джо еще раз взглянул на Спарроу, который в эту минуту тихонько говорил что-то Люси, осторожно поправляя при этом опустившуюся с ее плеча шаль. Да, это и были, вероятно, те странные особенности рода людского, необъяснимые порывы, бессмысленные падения, трагические бездорожья, на которых оказываются порой даже самые мудрые... Потому-то жизнь всегда и несет в себе элемент неожиданности... Неожиданности, которая подстерегает нас за углом, как говорил юный Дэвис. Джо перевел взгляд на Сару. Легко склонившись влево, она беседовала с американцем. «Нет, я не удивляюсь Спарроу... — подумал Алекс. — Я бы никому не удивился. Но Иэн? Ну не верится мне, что Спарроу — это единственная греховная услада ее жизни. Эта женщина живет так, как ей хочется, и берет все, чего пожелает. Но похоже, что любит она лишь моего старого доброго друга Иэна. Если он никогда не узнает, он будет счастлив до конца жизни. А если случайно узнает?..» Он хорошо знал Иэна. И знал, что это могло бы сломать ему жизнь. Просто разбить ее. Нет ничего ужаснее обманутого доверия действительно доверчивого человека. Но ведь Сара, наверно, тоже об этом знает... «Пусть она будет поосторожней! — подумал он. — Ради бога, пусть она будет осторожна!» Он улыбнулся в душе, как всегда улыбался, когда ловил себя на своем цинизме, вытекающем из жизненного опыта. Но он желал им обоим всего наилучшего и был убежден, что единственное, что в этом случае было возможным и обязательным, — это ее осторожность.

В этот момент Сара говорила профессору:

— В Нью-Йорке мы будем гастролировать в марте, так что если вы будете в это время в городе, непременно меня навестите.

— А в каких спектаклях вы будете участвовать? — спросил Гастингс. — Предупреждаю, что театр не является сильной стороной моего образования.

— В «Гамлете» я буду играть Офелию, в «Макбете» — леди Макбет, а в «Орестее» — Клитемнестру.

— Серьезно?! — вскинула голову Люси. — Это великолепно! Я никогда не видела Эсхила на сцене и всегда мечтала об этом. Да еще с твоим участием! Вы играете все три трагедии «Орестеи» вместе?

— С небольшими сокращениями. Во всяком случае, я играю все, что написал Эсхил для роли царицы.

— Ты уже знаешь всю роль? — с неподдельным интересом спросила Люси.

— Да... — Сара слегка поколебалась. — Не настолько, чтобы завтра ее сыграть, но я знаю ее уже много лет.

— Прочтите какой-нибудь фрагмент! — попросил Гастингс.

— Да, прочти, Сара! — Драммонд явно гордился своей женой. Алекс отметил его любящий спокойный взгляд.

— О нет, только не сейчас, — Сара смущенно улыбнулась и покрылась густым румянцем школьницы, которой учительница велела декламировать стихи перед всем классом.

— Именно сейчас, дорогая! — Драммонд взял ее руку. — Таким образом, и я, наконец, тебя услышу. Живя здесь, я совершенно не отдаю себе отчета в том, что моя жена — актриса. Я вообще видел тебя на сцене всего несколько раз в жизни. Прочти, Сара!

— Ну, если ты просишь, — улыбнулась ему Сара так, будто хотела сказать, что стоит лишь ему пожелать, и она будет декламировать хоть в пылающем доме, хоть на дне морском.

На секунду она сомкнула веки. Все затихли. Алекс краем глаза глянул на Спарроу. Ученый сидел совершенно неподвижно. Он разглядывал скатерть. Люси неосознанным, красивым жестом положила здоровую ладонь на его руку. Он вздрогнул. Алекс готов был поклясться, что в эту секунду он испытывал угрызения совести, но в то же время он много бы дал за то, чтобы жена публично не демонстрировала таким образом свое к нему отношение. «Господи, как он, должно быть, нелепо себя чувствует», — подумал Джо и быстро перевел взгляд на Сару, которая начала читать:

— И вот стою я перед вами.
Исполнено деяние мое!
Свершилось, наконец, веление судьбы: удар нанесен.
Теперь открыто и бесстрашно скажу вам, как погиб он.
Сперва я плотной тканью укутала его, как сетью,
чтобы не смог он избежать удара иль уклониться от него...

Джо смотрел на Сару и не верил своим глазам. Эти слова произносила вовсе не Сара Драммонд, а кто-то совершенно другой: зрелая женщина, с неровным дыханием, вызванным усилием и возбуждением после только что совершенного убийства. Гордая, слегка презрительная, слегка неуверенная в том, что готовит грядущая минута. И в то же время — царица, владелица душ своих подданных, желающая говорить спокойно, но принудить их к послушанию и не допустить у них мысли о бунте и каре. А ведь в ее лице ничего не изменилось, не было никакого грима, и голос был тот же, и глаза те же. Но весь облик стал иным. Это была Клитемнестра!

— Затем ударила подряд два раза, а он, два раза вскрикнув,
упал и сразу умер. И вот тогда, когда лежал он,
а жизнь уже покинула его, я третий нанесла удар —
священный, жертвенный, в благодаренье Зевсу,
властителю в подземном царстве мертвых...
Так пал он и погиб, а через рот открытый
душа его из тела устремилась с потоком крови
настолько сильным и могучим,
что окропил меня он
с ног до головы, подобно черному дождю.
И тут внезапно испытала я неслыханное наслажденье,
сродни тому, что чувствует иссохшая земля во время ливня,
когда во чреве ее разбухают
готовые ко всходам семена...

Наступила мертвая тишина.

— О Боже! — тихо прошептал Гастингс.

— Нет, ну правда же: какая отвратительная тетка!? — сказала Сара и расхохоталась. — Налей мне немного вина, Иэн, что-то в горле запершило. Нельзя читать вслух после острых приправ.

Напряжение рассеялось, и Алекс был благодарен Саре, что она не позволила ни на секунду больше, чем надо, продлиться восхищенному молчанию. Так могла позволить себе поступить только поистине великая актриса. Не ожидая, пока кто-нибудь выскажется о том, что происходило здесь минуту назад, она спросила:

— Как твоя рука, Люси? Я вспомнила, что наш последний счет пять— пять, ты ведь выиграла последний мяч.

— Подожди... — Люси поднесла здоровую руку ко лбу. — Я вдруг ощутила себя глупым ребенком, — сказала она беспомощно. — Я всегда знала, что ты великая актриса, но чтобы вот так, прямо за столом, по первому требованию, в течение доли секунд? Нет, все мы со всеми нашими способностями просто дети по сравнению с тобой. Ты гениальна... Я впервые кому-то это говорю... Я только в эту минуту осознала, что такое настоящий гений. Когда я теперь смотрю на тебя, я уже сама не знаю, правда ли то, что видят мои глаза, или ты можешь произвольно меняться по своему желанию и становиться кем хочешь и когда захочешь!.. — Она остановилась и добавила тихо: — Извините. Я редко так волнуюсь, но...

В эту минуту в дверях появилась Кейт.

— Из Лондона звонят мистеру Дэвису, — сказала она негромко, подходя к молодому человеку.

В первую минуту Филипп Дэвис не расслышал ее слов. Он сидел неподвижно, не сводя глаз... с Люси Спарроу. Потом слова горничной, очевидно, достигли его сознания, он вскочил, пробормотал извинения и быстро вышел.

— Я рада, что наши штучки пришлись по душе благородным господам! Благодарим сердечно и кланяемся низко! — прошепелявила Сара Драммонд голосом старой нищенки со столь узнаваемым лондонским акцентом, что все рассмеялись. — Так о чем это мы говорили? Ах да, о твоей руке, Люси.

— Мне уже немного лучше, хотя боль еще есть. Но, надеюсь, завтра я уже смогу ею владеть. Помассируешь мне ее на ночь, дорогой? — обратилась она к мужу.

— Да, конечно, — Спарроу склонил голову и снова углубился в разглядывание скатерти.

«Нет, но какие сцены! — подумал Джо Алекс. — Какие изумительные сцены для моей новой книги: она, декламирующая по просьбе своего мужа монолог женщины, которая убила супруга, чтобы получить возможность жить с любовником! А та, другая, бедняжка, хвалит ее и восхищается ею в своей невероятной наивности! Какая же, однако, дьявольская забава — жизнь!»

Начался разговор о театре, а спустя несколько минут вернулся Филипп Дэвис. Занятые разговором не заметили, как он бесшумно появился в гостиной, но Алекс, сидящий напротив него, сразу заметил, что молодой человек ужасно бледен. Садясь и поймав взгляд Алекса, он попытался улыбнуться, но эта улыбка получилась столь нарочитой, что он как бы сам отказался от нее, и чтобы как-то скрыть ее, положил себе в тарелку большой кусок пирога, к которому потом даже не притронулся.

Сара посмотрела в окно.

— Полнолуние! — воскликнула она. — В Лондоне человек с трудом ориентируется — зима или лето на дворе. Когда же это я последний раз видела полную луну? Не иначе как полгода назад. Это, между прочим, лучшее время для работы над новой ролью. Ходишь себе по безлюдным аллеям и выстраиваешь каждую интонацию. — Она улыбнулась. — Поверь мне, Люси, что над каждым вздохом, над каждой краской в каждом слове я работаю уже добрых пару лет. Это лишь на первый взгляд все кажется таким красивым. На самом же деле я — тяжело вкалывающий рабочий,

и во мне во сто раз больше упорства, чем того, что ты называешь талантом. Думаю, что после ужина я как раз и отправлюсь «...на бездорожье узких тропок, дабы сама с собою в нежной страсти беседой насладиться...» — процитировала она и поднялась с кресла. — Я пошла в парк.

Алексу показалось, что, произнося эти слова, она посмотрела на Спарроу, который поднял голову и коротко глянул ей прямо в глаза. И еще Алексу показалось, что мелькнуло в их взглядах некое тайное взаимопонимание. Но это могло быть лишь игрой воображения. Все встали.

— Ты, наверно, уже ляжешь? — спросил Спарроу, беря жену под руку.

— Да, я только хотела, чтобы ты помассировал мне мышцы руки. Но это попозже.

— Не забывайте, господа, — сказал Драммонд, — что после десяти Мэлахи спускает с цепи своих овчарок и к этому времени лучше быть уже в доме. Разумеется, можно его предупредить, если хотите погулять подольше, и тогда он придержит собак подле себя.

Алекс задержался у двери, пропуская выходящих дам. Он заметил, что Дэвис подошел к Спарроу и спросил, сможет ли тот уделить ему несколько минут для разговора.

— Разумеется, мой дорогой. Я провожу жену в ее комнату, а потом пройдусь по парку. Прошу меня подождать, ладно?

Филипп склонил голову в знак благодарности.

За дверью Алекс почувствовал на своем плече руку Драммонда.

— Я иду в свой кабинет, — сказал Иэн, — загляни ко мне попозже, я покажу тебе удочки и условимся, когда выезжаем. А пока я хочу сориентироваться, сколько времени у меня есть завтра и можно ли поручить утреннюю работу Филиппу. То есть мне придется приготовить ему задания, чтобы до обеда Спарроу имел все, что ему потребуется. Мы работаем как один человек, а эта взаимозаменяемость позволяет нам превратить восьмичасовой рабочий день в шестнадцатичасовой. Так я тебя жду!

Иэн взмахнул рукой и направился к двери, ведущей из холла в его кабинет. Джо взглянул на часы. Без десяти девять. В сгущающемся сумраке он увидел спину Гастингса, который начал свою прогулку вокруг клумбы, время от времени склоняясь над цветами. Сквозь ветви деревьев уже проглядывала луна, еще низкая, но круглая и белая. Было очень красиво и тихо. Джо решил прогуляться по парку и подумать над книгой. Этот лунный пейзаж казался прекрасной декорацией к размышлениям о преступлении. Через час он сядет за машинку и будет работать до полуночи. И хватит. Надо выспаться, чтобы утром не дремать в лодке. В конце концов, жизнь действительно состоит не только из одной работы. Джо направился к приоткрытой остекленной двери и легонько толкнул ее. Перед ним лежал парк, полный душистых ароматов и таинственных вечерних шорохов лунной ночи.

VI. В свете луны

Ночь была теплой, настолько теплой, что Джо ощутил значительную разницу между нагретым воздухом сада и холодной, пахнущей камнем атмосферой холла. Было совсем светло. Острые лезвия лунного света пронзали кроны древних деревьев и ложились на цветы клумб, выхватывая их из мрака и придавая им таинственные и фантастические формы. Слегка изогнутый стебель еще не распустившейся белой розы напоминал тело приподнявшейся змеи с узкой белоснежной головой, устремленной вверх. Эта роза росла на краю обрамления огромной клумбы, которая занимала почти все свободное пространство перед домом и была перерезана посредине тропинкой, ведущей к старым платанам и липовой аллее. Вокруг

клумбы царила темнота. Густая стена парка казалась еще более густой и непроницаемой, потому что луна светила из-за этой стены и находилась выше, запутавшись в кронах лип.

Возле белой розы стоял человек. Алекс прищурился и присмотрелся к нему, спускаясь по широким ступеням, ведущим из дома в парк. Человек двинулся к нему и остановился. Алекс узнал Филиппа Дэвиса.

— Вы случайно не видели профессора Спарроу? — спросил Дэвис. — Я жду его тут... — добавил он, как бы оправдываясь.

— Наверно, он сейчас выйдет. — Алекс остановился и закурил. — Он пошел проводить жену наверх.

— Да, да, конечно. Я знаю об этом. Но я думал, что, может... — Алекс заметил, что молодой человек нервничает.

— Красивая ночь, — сказал Джо, чтобы что-нибудь сказать. Он хотел двинуться дальше: ему теперь надо было спокойно, в одиночестве обдумать книгу и еще раз критически рассмотреть запланированный ход сюжета. А потом уже можно садиться и записывать.

— Да, действительно, очень красивая... — Филипп приподнялся на цыпочки и глянул через плечо Алекса на освещенную прихожую, из глубины которой зазвучали шаги. Но это была всего лишь горничная Кейт.

— Вам снова звонят из Лондона, сэр, — сказала она и в полумраке слегка улыбнулась Алексу.

— Мне? — спросил Алекс.

— Нет, вам.

— О Господи, — прошептал Филипп, но так, что Джо его услышал.

Дэвис быстро двинулся к дому и, миновав горничную, исчез в холле. Молодая и симпатичная Кейт подняла голову, взглянула на луну и вздохнула.

— Очень красивая ночь, не правда ли, сэр?

— Да, действительно... — Алекс невольно окинул ее взглядом с ног до головы и быстро отвернулся. — Надо прогуляться после ужина, — пробормотал он, чтобы как-то закончить разговор. Сейчас совершенно не подходящее время, чтобы флиртовать в парке с молодыми горничными. Хотя, со стыдом глядя в прошлое, он должен быть признать, что в его жизни случалось и это тоже.

«Ну что ж, у меня, как у всякого человека, есть свои маленькие слабости...» — сказал он себе и тут же, будто его второе «я» хотело подтвердить это, подумал о Саре Драммонд, которая сейчас, совсем одинокая, находилась где-то в этом сумрачном парке на одной из его многочисленных извилистых аллей. Он оглянулся. Кейт исчезла, а на ее месте возникла широкая, могучая фигура мужчины. Спарроу. Он стоял, оглядываясь по сторонам. Увидев Алекса, он вздрогнул и как будто хотел повернуться и уйти, но Джо окликнул его.

— Только что здесь был мистер Дэвис и искал вас. А сейчас его позвали к телефону.

— Да. Большое вам спасибо... — Спарроу сошел со ступенек, попрежнему незаметно оглядываясь, будто рассчитывая на то, что слабый свет луны не позволит заметить движения его головы. — Конечно. У него, кажется, было ко мне какое-то дело... Наверно, он сейчас вернется... А я пока прогуляюсь...

И не добавив ни слова, он направился в противоположную сторону, удаляясь от того места, где стоял Алекс. Он исчез в тени деревьев, еще раз показался в луче лунного света и снова исчез, на этот раз окончательно. Джо еще несколько секунд слышал звук его шагов на усыпанной мелким гравием дорожке. Шаги эти были куда быстрее, чем шаги человека, идущего «пока прогуляться». Казалось, будто Спарроу шел в каком-то опреде-

ленном направлении и хотел как можно скорее достичь цели. Джо снова подумал о Саре Драммонд.

Он сердито тряхнул головой. «Это их сугубо личное дело! — подумал он. — Я не должен вмешиваться не в свои дела».

Он медленно двинулся вдоль клумбы и, сделав большой полукруг, оказался под одним из платанов у входа в липовую аллею. Там стояла длинная зеленая скамейка, которую он заметил еще днем. Он сел на нее и углубился в размышления о своей книге. Точнее, он лишь собрался углубиться в них, но ему снова помешали. Садясь, он видел перед собой дом. Окна левой стороны первого этажа, где находились лаборатория и кабинет Драммонда, были освещены, хотя закрытые жалюзи не позволяли увидеть, что происходит внутри. Из окон падал легкий желтоватый свет, сливающийся с холодным лунным блеском, так что сидящий мог видеть все, что находилось между домом и скамейкой. Вот тут-то он и увидел какую-то фигуру у клумбы, медленно направляющуюся в его сторону. В первую секунду он подумал, что это Филипп Дэвис, закончив телефонный разговор, возвращается на свой пост, где он собирался ожидать Спарроу, еще не зная, что тот отправился на прогулку в парк. Но через минуту свет упал на лысину идущего и обозначил ее легким ореолом. Это был Гастингс. Американец шел, слегка склонив голову, заложив руки за спину, и казалось, был погружен в свои размышления до такой степени, что его, вероятно, совершенно не волновала красота ночного парка, и уж наверняка он не был бы рад, если б ему сейчас пришлось начать разговор с человеком, с которым он познакомился лишь сегодня утром и с кем у него не было никаких естественных тем для беседы.

Подумав обо всем этом, Алекс тихонько встал и, пользуясь глубокой тенью кроны платана, вошел в сумрак липовой аллеи.

Его мысли снова вернулись к сюжету книги. Да. Это было прекрасное решение. Убийца имел все мотивы при условии... Ну конечно! Надо будет только подробно описать фон, на котором развиваются события. Точно такой же дом, такие же люди, то же сплетение интересов и страстей...

Размышляя, он все дальше углублялся в парк и машинально свернул на ту же тропинку, по которой днем они гуляли с Драммондом. Потом остановился. Теперь он находился на самом краю парка, где тропинка кончалась возле столика, за которым они с Иэном сидели в полдень. Было совершенно темно. Где-то высоко крикнула большая ночная птица. Она крикнула пронзительно и захлопала крыльями, прячась в ветвях невидимого огромного дерева. Потом наступила полная тишина.

Алекс стоял не шевелясь. Он готов был поклясться, что минуту назад до него долетел едва слышный звук слов, произнесенных тихим, сдавленным шепотом. Джо вглядывался вперед, пытаясь хоть что-нибудь увидеть в темноте. Двигаясь почти на цыпочках, он сделал еще несколько шагов до того места, где поворот тропинки был перекрыт густой стеной кустарника. Джо встал за ней и присмотрелся. Свет луны падал прямо на поверхность столика, в то время как скамейка находилась в тени. Но даже этого маленького отблеска было достаточно, чтобы в белом пятне среди мрака Джо узнал платье Сары Драммонд. Рядом с ней сидел человек, лица которого нельзя было различить.

Джо хотел немедленно отступить. Он никогда в жизни не подслушивал и считал неприличным вмешиваться без спроса в чужие дела. Но слова, которые он услышал, приковали его к месту:

— Я предпочла бы, чтобы мы все умерли: он, ты и я! — сказала Сара.

— Может, и я бы предпочел. — Это был Спарроу. Джо сразу узнал твердый, внешне спокойный тон его голоса. — Это ужасно — ведь мне казалось, что ты меня любишь. Я был идиотом.

— О, Гарольд... — В этих словах таилось столько усталости, что человек, к которому они были обращены, встал.

— Знаю. Теперь я знаю все. Если бы я знал тогда... Но я не думал, что меня использовали лишь для того, чтобы ты еще раз могла убедиться, что ни один порядочный человек перед тобой не устоит. У тебя свои красивые забавы. Может, так мне и надо?... Но я этого не понимаю. Я... я просто не понимаю. Ради тебя я изменил жене, я изменил Иэну... Я — подлец... Я уже не могу смотреть людям в глаза, я не знаю, что я говорю... Но, к сожалению, я люблю тебя... А ты, ты любишь его. И спокойно говоришь мне об этом. Сейчас!

— Но пойми же, наконец... — сказала Сара. — Пойми, что в жизни так бывает. Возможно, я вначале и думала, что... — она умолкла. Потом решительно, будто намереваясь раз и навсегда покончить с такой ситуацией и понести все последствия, какими тяжелыми они бы для нее ни оказались, она произнесла: — Послушай! Я не могу сказать тебе ничего больше. Я хотела с тобой встретиться, потому что дальше так продолжаться не может. Я приехала из Лондона для того, чтобы сказать тебе это. Да. Я люблю Иэна. Я никогда от него не откажусь. Мы оба сделали ошибку. Ты... ты должен вернуться к... Люси, а я... я все забуду. Ты никогда больше не услышишь от меня об этом... о наших делах. И я от тебя тоже. Ты должен жить так, будто ничего не случилось. Будто это был сон. Это единственный выход. Поверь мне.

— Но я тебя люблю! — Спарроу снова встал, будто не мог усидеть на месте. — Я люблю тебя и не могу так жить! Я не смогу ежедневно смотреть на тебя, все помнить и повторять себе: «Это мне приснилось!» Я не смогу!.. — Он умолк. — Что-то должно случиться... — сказал он тихо, больше себе, чем Саре. — Что-то должно случиться со мной, с нами, с ним. Я пойду к нему, все расскажу, а потом уйду и никогда больше с ним не встречусь!

— А обо мне ты подумал? — спокойно спросила Сара. — Или ты полагаешь, будто самое благородное, что мужчина может сделать, это пойти к мужу своей любовницы и донести ему об этом?

— Что? — Спарроу тихо рассмеялся жестким невеселым смехом. — Самое благородное? В этой ситуации ничто не может быть благородным. И никогда уже не будет. Я должен пойти к Иэну и должен ему сказать... что я не могу с ним дальше работать. А что другое я могу ему сказать?

— Не знаю. Что угодно, кроме этого. Ты так не поступишь. Ты не можешь этого сделать. Разве что ты хочешь мне отомстить?

— А Люси? — спросил он вдруг. — Ведь она, наверно, знает?

— Что знает? — в голосе Сары прозвучал испуг.

— Знает или, может, догадывается. Ведь я... я уже давно изменился по отношению к ней... Я не актер. Я не умею играть. Я стараюсь хорошо к ней относиться, как можно лучше, потому что я подлец, и она, вероятно, чувствует, что... что... — Он умолк. Потом сказал почти с удивлением: — Ведь ты довела меня до того, что я ее уже не люблю. Как такое могло случиться?

Некоторое время они молчали.

— Гарольд... — сказала Сара мягко, и Алекс даже прикусил губу, понимая, что сейчас эта великая актриса перейдет в наступление. — Гарольд, вот ты говоришь, что меня любишь... Но я не могу оставить Иэна. Я все поняла. Я не могла бы быть счастлива ни с кем, даже с тобой... То, что было... это было чудесно, но это должно закончиться. Все на свете кончается и все оставляет после себя печаль. Но это не значит, что мы обязаны стать врагами, что мы должны устремиться в погоню за недостижимым и не сможем понять, что мы и так получили от жизни больше, чем нам было предназначено. Человек склонен грешить. Я, наверно, знаю об этом

больше, чем ты. Я слабее тебя. Я испытала в своей жизни больше унижений и радостей, чем ты. Мне тридцать пять лет. И я хотела быть счастлива. Я думаю, что и тебе я дала немного радости. Но я не хотела ранить, затаптывать и убивать невинных. Ни Иэн, ни Люси никогда не должны ничего узнать. Это не их вина, и они не должны быть несчастны. А ведь будут... К одному преступлению против них мы добавим второе, быть может, худшее. Это лишь мы должны нести всю эту тяжесть...

— Но я не могу... — Он повысил голос. — Я не могу так больше жить! Я сегодня же пойду к Иэну и скажу, что завтра я должен уехать. Пусть он думает что хочет. Возможно, ты права, и я должен хранить тайну, раз уж мы не можем говорить о том, что нас связывало. Я не скажу ему. То есть, я постараюсь ему не сказать. Не знаю, смогу ли. Может, он убил бы меня за это. Но и тогда я был бы счастливее, чем сейчас.

— Успокойся... — Сара встала. — Я должна идти. Останься здесь еще немного. Не надо, чтобы кто-нибудь мог подумать... Особенно сейчас...

— Я уеду! — Спарроу сел на скамейку, и Алекс подумал, что сейчас он, наверно, обхватил голову руками. — Я уеду в Америку и не вернусь сюда. А Люси я напишу с корабля. Я не скажу ей, о ком идет речь, будь спокойна. Но она должна меня понять. Я ее уже недостоин. Я запятнал... Впрочем, я все равно думаю только о тебе... К сожалению, только о тебе.

— Ради бога! — воскликнула Сара. — Будь мужчиной! Что бы ни случилось, будь мужчиной!

— Хорошо! — глухо сказал Спарроу. — Я тебя прекрасно понимаю.

И не говоря больше ни слова, он шагнул в темноту и исчез, прежде чем Сара успела что-либо ответить. Алекс замер. Потом очень осторожно, шаг за шагом, отступил к тропинке, опасаясь, как бы не попалась ему под ноги какая-нибудь сухая ветка. Но сидящая на скамейке женщина была целиком погружена в свои мысли и не замечала ничего вокруг.

Выбравшись на липовую аллею, Алекс ускорил шаг и перестал идти крадучись. Издалека доносился шум моря. Луна уже поднялась над деревьями, и сад превратился в темно-серебряный лабиринт причудливой формы. «Бедный Иэн. Он сказал, что счастлив... Мудрые древние греки говорили, что никого не следует называть счастливым, пока он не закончит своих дней, оставаясь счастливым...» В кабинете на первом этаже все еще горел свет. Иэн боролся со своими проблемами, ничего не подозревая и ни о чем не догадываясь. Джо взглянул на часы. В полумраке он разглядел лишь одну стрелку, указывающую вниз. Половина десятого.

Он дошел до скамейки под платанами и сел, сожалея о том, что вообще с нее вставал. Вокруг клумбы прогуливались двое: Филипп и Гастингс. Они были совсем близко.

— Конечно, — сказал Гастингс, — я не оказываю на вас давления. Но такой способный молодой человек был бы нам крайне нужен. Вы ведь знаете, что в нашей университетской лаборатории работают люди со всего мира. Со всей лояльностью к моему другу Драммонду и профессору Спарроу я должен признать, что, работая рядом с ними, вы можете многому научиться. Но открытая жизнь и большие перспективы — это все-таки у нас. Просто у нас больший размах, и способный человек может подняться по карьерной лестнице, преодолевая одним шагом несколько ступеней. И никто ему не помешает, если он сам будет чего-то стоить. Мой адрес вы знаете, так что, если надумаете — дайте телеграмму. Я буду...

Они удалились, и Алекс не мог больше ничего услышать. Собеседники подошли к дверям дома и расстались. Американец вошел внутрь, а Филипп Дэвис, после некоторого колебания, вернулся и медленным шагом стал прогуливаться вокруг клумбы. Оказавшись поблизости, он остановился, заметив, очевидно, в темноте белое пятно воротничка Алекса, и подошел.

— Простите, — сказал он. — Я все еще жду профессора Спарроу. Вы его не видели?

— Нет, я его не видел.

— Не знаю, куда он мог деться...

— Может, гуляет по парку? — сказал Джо. — Меня тут не было некоторое время, поэтому я не могу сказать вам ничего определенного...

В эту минуту он увидел Сару. Быстрым шагом она прошла мимо них и оказалась в ярком прямоугольнике света, падавшего сквозь остекленную дверь холла. Она вошла в дом, и эхо донесло легкий звук ее шагов по каменному полу. Филипп Дэвис зажег спичку и взглянул на часы.

— Уже десять, — с удивлением сказал он. — Должно быть, профессор Гастингс беседовал со мной гораздо дольше, чем сперва показалось... — Молодой человек понизил голос. — Он всех уговаривает ехать в Америку. Меня, конечно, в последнюю очередь. Представляете, сейчас он подошел ко мне и предлагал огромное будущее, если можно так выразиться. Наверно, я мог бы стать очень богатым, если бы все, что он говорил, исполнилось... — Он умолк. — Страшная это штука — деньги! — внезапно воскликнул он с живой искренностью. — Иногда они бывают так нужны, причем срочно! — Он резко поднялся со скамейки. — Должно быть, я каким-то чудом с ним разминулся... С профессором Спарроу. Пойду постучусь к нему в комнату. Может, он там. А то Мэлахи сейчас спустит собак... Извините.

Он быстро направился к дому. Алекс задумчиво посмотрел ему вслед. Почему этот симпатичный молодой человек так нервничает? Может, из-за предложения американца и миражей богатства? А может, из-за этих телефонных звонков из Лондона?.. У всех свои проблемы, — пришел, наконец, к выводу Джо, отдавая себе отчет в том, что этот вывод столь же банален, сколь и правдив. Он встал и направился к дому. Навстречу ему из холла вышел профессор Гастингс.

— Уже поздно, — предупредительно поднял руку Алекс. — Не забывайте о собаках!

— Ах, да! Я хотел поговорить с профессором Спарроу. Но его нет ни у себя, ни у Иэна... А, вот он!

И, миновав Алекса, он направился к медленно приближающейся в темноте фигуре. Когда Гастингс подошел, Спарроу резко поднял голову, будто внезапно пробудился ото сна.

— Я хотел бы еще сегодня побеседовать с вами, если можно, — сказал Гастингс. — В будущем году у нас в Штатах состоится всемирный научный конгресс, и в связи с этим я хотел бы сказать вам обоим пару слов. Конечно, можно это сделать и позже письменно, но раз уж я здесь...

— Да-да, конечно, — сказал Спарроу. — Разумеется...

— Кроме того, я хотел бы поговорить лично с вами об одном деле, которое могло бы нас обоих заинтересовать. Мы было начали говорить об этом несколько дней назад, но я тогда не хотел отнимать у вас много времени...

— Да, — сказал Спарроу и потер ладонью лоб. — Да-да, я тоже хотел с вами поговорить... Вы не могли бы зайти ко мне, ну, скажем, через полчаса? Я обещал жене помассировать руку... с ней сегодня произошел этот несчастный случай и...

— Да, прекрасно понимаю. Сейчас десять минут одиннадцатого. Значит, без двадцати одиннадцать, верно?

— Да, я буду вас ждать.

Алекс уселся на каменной ступеньке и закурил. Они прошли мимо него, входя в дом, и американец при этом упомянул что-то о прохладном вечернем воздухе и ревматизме. Алекс улыбнулся.

Они вошли в дом, и теперь он остался один. Луна выглянула из-за крыши дома, и в саду стало светлее. Повеял прохладный ветерок. Джо увидел чуть согнувшуюся фигуру, которая приближалась с левой стороны дома. Рядом с ней бесшумно скользили две невысокие тени. Собаки.

— Дядюшка Мэлахи? — спросил Алекс вполголоса. Обе тени мгновенно рванулись вперед, но их остановил короткий свист. Собаки вернулись. Старик подошел, держа в зубах свою неразлучную трубку.

— Да, это я, — сказал он. На плечи Мэлахи была наброшена овчина. — Красивая сегодня ночь. И светлая...

— Да. Завтра утром мы собрались на рыбалку, мистер Драммонд и я. — Алекс встал, и собаки заворчали, но тут же умолкли, повинуясь взмаху руки хозяина.

— Почему нет? И я бы с вами съездил.

— А когда же вы спите, дядюшка Мэлахи, если ночью ходите с этими псами, а днем полно работы в огромном саду, да еще полдня отнимает рыбалка?

— Я сплю ночью. Я сажусь себе вот тут, а они гуляют. Потом я еще часик дремлю после обеда, и мне хватает. Старые люди не должны много спать. Они еще успеют выспаться, — он рассмеялся тихим старческим смехом. — В последнее время я предпочитаю быть здесь, поблизости, — добавил он шепотом. — Я меньше беспокоюсь за мистера Иэна, если сижу недалеко от него с этими собаками. Тогда уж никто сюда не пройдет. А в доме нет никого, кто мог бы его обидеть... — Он на секунду умолк. — По крайней мере, так обидеть, чтобы он не мог потом успокоиться.

Алекс молчал. Он догадывался, что хочет сказать старый садовник. Стало быть, и он знает... Откуда? Конечно, он мог когда-нибудь заметить их вдвоем в парке. Наверно, они не первый раз встречались там, как сегодня. Впрочем, это его дело... Джо встал.

— Так до завтрашнего утра! — сказал он.

— Конечно! Спокойной ночи! — старик уселся на пороге. — Я потом закрою, — добавил он. — У меня с собой ключ, а второй висит на гвозде у двери.

— Спокойной ночи! — Алекс вошел в холл и направился к двери кабинета Драммонда.

VII. «...Не смог он избежать удара иль уклониться от него...»

Алекс постучал в дверь, которая находилась рядом с пролетом лестницы, ведущей на второй этаж. Не услышав приглашения, он постучал вторично. Потом, обеспокоенный, нажал на ручку. Дверь бесшумно отворилась, и тогда он понял, что его стук не имел никакого смысла. Дверь с внутренней стороны была обита звуконепроницаемыми предохранительными подушками.

— Прости, — сказал он, — но я тут стучу, стучу и...

— О, входи! Я думал, это Сара. Она только что была здесь и сидела около четверти часа. Похоже, ее очень утомил нынешний лондонский сезон. Она была так рассеянна, что тоже постучала. Потом заглянул Гастингс и сделал то же самое. — Драммонд поднялся из-за большого, заброссанного бумагами стола. — Я забыл сказать тебе, что в эту комнату не стучат. Да и зачем? Никто сюда без надобности не приходит. Во время работы мы избегаем шума и лишних разговоров. Стены я тоже велел обложить пробкой. Старею, наверно.

Он встал и тяжелым мраморным пресс-папье промокнул страничку, на которой виднелись ряды непонятных Алексу значков.

— Господи! — воскликнул Джо. — А что это за иероглифы?

— Я мог бы тебе все объяснить простыми словами, не употребляя этих знаков, но это все равно тебе никогда не пригодится. — Он вынул из кармана ключ и открыл им дверь в противоположной стене. — Вот тут наша лаборатория! — рассмеялся он. — А вот ее важнейшее оборудование! — Он зажег свет, и Алекс увидел большую белую комнату с зарешеченными окнами. Здесь стояло несколько столов и застекленных шкафов, а в них разнообразные сосуды, полные жидкостей и порошков. На столах были закреплены причудливые приспособления, о назначении которых Алекс не мог даже догадаться. На стене висела черная приборная доска, покрытая разноцветными лампочками. К ней от каждого стола тянулись провода.

— Значит, вот так выглядит современная алхимия, — вздохнул Джо. — Думаю, в старые времена легче было постигать истины.

— Вряд ли. Ничего не изменилось. Все ведь по-прежнему заключается в поисках философского камня, только для каждого столетия он другой. Но ты взгляни на это! — Иэн с гордостью указал на единственный незастекленный шкаф. На нем был нарисован огромный, зловеще ухмыляющийся череп, снабженный, согласно обычаю, двумя скрещенными костями под ним. А под этими костями находилась красивая, стилизованная надпись красными, как кровь, готическими буквами: «ВНИМАНИЕ! НЕ ОТКРЫВАТЬ — ГРОЗИТ СМЕРТЬЮ!» Иэн открыл дверцу шкафа, и внутри показался ряд удочек, аккуратно расставленных, подобно карабинам в оружейном шкафу. К внутренней стенке дверцы шкафа крепились прозрачные коробки, полные разноцветных искусственных мух и всевозможных крючков, от маленьких одиночных до огромных тройников, похожих на якоря.

— Да-а! — кивнул головой Алекс. — Для нас двоих хватит. Ты уже решил, в котором часу мы выедем?

— Я думаю, в семь, если ты не проспишь.

— Ни за что в жизни, хотя, может, лучше разбуди меня утром, когда сам встанешь.

— Ладно, — Иэн закрыл шкаф. — Я еще потом пересмотрю крючки и привяжу их к леске, чтобы не возиться с ними в лодке. А теперь — за работу!

— Я тоже немного поработаю, — пробормотал Алекс. — Кажется, мой новейший гениальный шедевр родится здесь, под твоей крышей.

— Память об этом сохранится в веках! — улыбнулся Драммонд. Они вернулись в кабинет.

Джо подошел к двери и обернулся:

— Только не забудь, разбуди меня сразу же, как только протрешь глаза!

Стоя у двери с рукой, опущенной на дверную ручку, Джо заметил в углу кабинета большой, несколько старомодный сейф, толстая дверца которого была полуоткрыта.

— Не бойся, не забуду!

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Джо закрыл за собой дверь кабинета и двинулся наверх.

Войдя в свою комнату, он зажег свет. Пишущая машинка стояла на столе и, казалось, скалила клавиши, приглашая поработать. Алекс снял пиджак, галстук и туфли, достал из-под кровати тапочки и набросил на рубашку фланелевый халат. Когда он уселся за стол, часы пробили два раза. Половина одиннадцатого.

Джо подвинул лист бумаги, торчащий в машинке, и под словами «Глава первая» написал: «Перед поднятием занавеса». Потом снова подвинул лист и начал: «В этот день Джо Алексу исполнилось тридцать пять лет...»

Спустя минут двадцать с тех пор как он начал писать, в дверь постучали. Джо запахнул полы халата и встал, глянув на часы. Без десяти одиннадцать.

— Войдите!

Дверь медленно приоткрылась.

— Ради бога, простите... — вполголоса сказала Люси Спарроу, — но я услышала, что вы печатаете на машинке...

— Пожалуйста, входите.

— Нет, нет, я в халате. Не могли бы вы одолжить мне несколько листов машинописной бумаги. Мне надо написать письмо, но рука обездвижена, поэтому я попробую как-нибудь одним пальцем напечатать его на машинке.

— Конечно, пожалуйста! — Джо взял из пачки на столе десяток листов и подал ей через порог. Люси была одета в длинный голубой халат, прекрасно контрастирующий с ее светлыми волосами.

— Спасибо и извините. Спокойной ночи, — она тихо закрыла дверь.

— Спокойной ночи, — несколько поздновато сказал Алекс. Какая, однако, красивая женщина! Холодная греческая богиня. Он подошел к зеркалу и пожал плечами. Что они все видят в этом Спарроу? Это же полный бред!

Джо вздохнул и снова уселся за стол. Почти полчаса он писал без перерыва, испытывая огромное удовольствие. Книга шла легко, складно и сама подсказывала все новые, необходимые подробности, что было признаком хорошо продуманного сюжета. Наконец заболела спина, он встал и, распрямляя плечи, подошел к окну. Огромная клумба была залита лунным светом. Издали деревья походили на могучую темную стену, отделяющую Саншайн Мэнор от таинственного ночного мира. Вдруг тропинку пересекли две низкие длинные тени. Они остановились, потом вернулись обратно. Минуту спустя он увидел согнутую фигуру, которая медленно передвигалась вокруг клумбы, останавливаясь, наклоняясь и разглядывая цветы в лунном свете. Старый Мэлахи и два его грифона. Джо высунулся в окно. В нижнем окне под ним по-прежнему горел желтый свет за закрытыми шторами. Иэн. Высокий, светлый, склоненный над причудливыми значками непонятных формул, из которых рождалась новая эра синтетических масс. Глубоко скрытые тайны серы, еще недавно служившей всего лишь топливом, которым дьявол разжигал свои печи в аду...

Мысль о преисподней напомнила Джо о его книге. Он вернулся к столу и, взяв несколько напечатанных страниц, начал их перечитывать, делая карандашом то там, то здесь пометки о необходимости поправок. Закончив работу, он подумал, что пока все идет хорошо. Однако надо тщательно продумать еще несколько фрагментов этой драмы. Он подошел к кровати, взял с ночного столика пачку сигарет и закурил. Это оказалась последняя сигарета. Ничего, позже он спустится к Иэну. А пока надо немного подумать... Не снимая халата, он прилег на кровать и закрыл глаза. В воздухе ощущался легкий аромат дыма сигареты, которая медленно сгорала между пальцами. Алекс крепко затянулся раз, потом еще раз... Никакого удовольствия... Он затушил сигарету и снова закрыл глаза. Поездка с Сарой. Ребенок на шоссе. Отвратительная рыба, пойманная Гастингсом. Постепенно рыба превратилась в царицу, которая тяжело дышала после убийства мужа. «И вот стою я перед вами... — сказала рыба. — Свершилось, наконец, веление судьбы: удар нанесен...» Джо уснул.

Проснувшись, он не мог понять, где находится. Свет по-прежнему горел. Он сел, протер глаза и взглянул на часы. Без пяти час... О Господи... Он беспомощно огляделся в поисках сигарет. Нет, нигде ни одной... А может, раздеться и лечь спать? Нет, последняя сигарета в сочетании с теплой ванной — без этого никак! Он подошел к окну. Иэн, наверно, уже

спит. Нет. Свет внизу по-прежнему горит. Как же он собирается рано вставать, если до сих пор работает?..

Джо подобрал полы халата и тихонько открыл дверь. Дом спал. Нигде не было слышно ни малейшего шороха. Под сводом тускло светилась маленькая ночная лампочка. Не закрывая своей двери, Алекс миновал коридор и, взявшись за поручень, начал тихонько спускаться по лестнице. На повороте он остановился. Какой-то звук? Нет, показалось... Он был уже внизу, когда одна из последних ступеней резко скрипнула под ногами. Дверь, ведущая в кабинет Иэна, была распахнута. Но свет уже не горел. Должно быть, Иэн потушил его минуту назад. Может, он в лаборатории? Джо вошел и остановился в нерешительности. Сквозь шторы едва просвечивалось легкое лунное сияние, настолько слабое, что он с трудом различил сидящую за столом фигуру в белой рубашке.

— Иэн! — позвал Джо.

Фигура за столом не шелохнулась. В ту же секунду Джо услышал за своей спиной что-то вроде легкого вздоха, и все сразу исчезло. Остался лишь глухой, равномерный гул где-то в глубине черепа, и яркие радужные круги все разбегались и разбегались... пока он не соскользнул в глубокую, непроницаемую тьму...

VIII. В доме все спят

Радужные круги исчезли, и в голове разрослась боль. Джо Алекс открыл глаза. Он не знал, где находится, и ничего не мог вспомнить. Он увидел, что лежит на каком-то ковре, и прикоснулся ладонью к затылку.

— Меня кто-то ударил... — прошептал он. — Почему он меня ударил?

И вдруг все вернулось. Джо поднялся на ноги. Шум в ушах утихал. Он оглянулся. Освещенная лунным светом фигура за столом по-прежнему сидела неподвижно.

— Иэн! — прошептал он, и внезапный спазм сжал ему горло.

Где выключатель? Не прикасаться к лампе на столе... Не прикасаться к лампе на столе. Наверно, у двери...

Он начал шарить рукой по стене. Есть. Нажал. Комнату залил молочный свет большой лампы, висящей под потолком.

Иэн Драммонд сидел за столом — собственно, он не сидел, а наполовину лежал, уткнувшись головой в стол. Чувствуя, что волосы на голове встают дыбом, Алекс подошел ближе и увидел...

На белой рубашке виднелось огромное кровавое пятно, а в центре его торчал глубоко воткнутый нож с серебристой ручкой. Кровь протекла по спинке кресла и образовала на ковре большое темное пятно. Не в состоянии оторвать взгляда от этого пятна, Алекс подошел ближе.

«Я должен проверить, жив ли он...— в отчаянии подумал Джо. — Должен!»

Полуоткрытые глаза Иэна были совершенно неподвижны, и в глубине их таилось выражение какого-то безбрежного, тихого изумления. Одной рукой он судорожно сжимал край стола, будто хотел резко подняться, прежде чем, потеряв сознание, уткнулся головой в этот стол. В другой руке он держал ручку. На столе перед ним лежал лист бумаги, на котором виднелись какие-то слова, будто это было начало письма. Сбоку разложены коробки с крючками и блеснами. Алекс заметил это, еще как бы не понимая и не видя ничего, кроме этих неподвижных изумленных глаз. Он превозмог себя и, протянув руку, прикоснулся ко лбу Иэна Драммонда. Лоб был холодным, настолько холодным, что на первый взгляд казалось невозможным, чтобы в этой теплой комнате человек мог быть таким холодным даже после смерти.

— Он умер...умер...— прошептал Джо и опустил руку. Он видел в своей жизни слишком много мертвых, чтобы сразу понять — никакая помощь уже не нужна. «Какая помощь? Где карточка? Карточка, которую мне дал Паркер? Телефон...»

Он выпрямился и обошел вокруг стола, стараясь ни к чему не прикасаться. Он поступил так автоматически — слишком много преступников в его книгах оставляли следы... В его книгах? А ведь именно Драммонд должен был погибнуть в его книге... Он взялся рукой за голову. «Господи, что со мной происходит? — Джо подошел к двери. — Надо что-то делать!»

И вдруг он вспомнил: «Кто-то меня ударил! Это был убийца! Он был здесь, когда я вошел! — Он резко остановился. — Да нет, он уже ушел. Если б он хотел меня убить, то уже давно убил бы... Мэлахи? Мэлахи и его собаки...»

Он вышел в темный холл. Луч, падающий из дверей кабинета, осветил висящий на стене родовой герб Драммондов с двумя скрещенными копьями, которые были его главным мотивом. «Последний из Драммондов... проткнут... ножом... скальпелем. Я его знаю. Где же я его видел?»

Он взял трубку и набрал номер. Ему ответил далекий голос.

— Это участок полиции?

— Да, участок в Мэлсборо. Это дежурный полицейский.

— Я звоню из Саншайн Мэнор. Моя фамилия Алекс. Мне надо немедленно поговорить с инспектором Паркером из Скотленд-Ярда.

— Да, сэр. Минуточку.

Щелчок в трубке, второй, третий.

— Алло? — отозвался спокойный, трезвый голос, и Алекс почувствовал огромное облегчение, хотя только сейчас он начал все понимать, и его охватило отчаяние.

— Это я, Джо, — сказал он тихо. — Иэн мертв!

— Что? — спросил Паркер. — Мертв? Убит?

— Да. Несомненно.

— Подожди минуту. Я сейчас вернусь.

Джо услышал далекий приглушенный голос:

— Джонс!

Ответ был не слышен. И снова Паркер сказал кому-то:

— Врач, фотограф, дактилоскопист! Выезжаем! — А потом в трубку: — Через час я буду на месте. Ты знаешь, кто это сделал?

— Нет, — сказал Алекс. — Я только что обнаружил Иэна в его кабинете. В доме все спят. Никто еще не знает.

— Кроме убийцы, — пробормотал Паркер. Потом помолчал и продолжил: — Если можешь, позаботься, чтобы никто туда не входил. Никого не буди до нашего приезда. А Мэлахи пусть не запирает своих собак.

— Хорошо.

— Я уже выезжаю.

— Да.

Трубку положили. Джо отвернулся от телефонного аппарата. Впереди темнел мрачный холл, а с левой стороны сквозь приоткрытую дверь кабинета падал свет.

Стараясь не смотреть в ту сторону, Джо прошел мимо к остекленной двери, ведущей в парк. Луна по-прежнему светила, хотя теперь уже с другой стороны. Джо нашел висящий на толстом крюке большой старомодный ключ. Он вложил его в замок. Скрежет был настолько громким, что казалось, будто во всем доме заскрежетали ключи. Жуткое железное эхо. Джо нажал на дверную ручку. Сидящий на пороге человек в бараньем тулупе поднял голову. Собак не видно было.

— Мэлахи...— прошептал Алекс.

Старик вздрогнул и вскочил на ноги.

— Что случилось? — спросил он, приходя в себя ото сна. Мэлахи говорил так же тихо, как Алекс, будто принимая это как необходимость ночной поры.

— Мистер Иэн... Мистер Драммонд мертв.

— Что? — переспросил Мэлахи. — Что такое?

И в эту минуту подбежали собаки. Они остановились возле хозяина, и вдруг одна из них ступила на порог и, сунув голову в холл рядом со стоящим Алексом, коротко и тихо завыла.

— Мертв... — сказал Мэлахи Ленеган и перекрестился. — Мистер Иэн умер...

Он опустил голову, потом поднял ее.

— Сейчас приедет инспектор Паркер, — Алекс положил руку на плечо Мэлахи. — Иэна убили.

— Его убили? — старик поднял голову, и Алекс в свете луны увидел, что его глаза блестят серебряными слезами, которые стекают по глубоким морщинам.

IX. «Уважаемый господин профе...»

Все еще стояла ночь, но вот-вот уже наступит ранний летний рассвет, взойдет солнце и ярко зазеленеют деревья за окном.

Инспектор Бен Паркер стоял в углу комнаты у окна и наблюдал.

— Боже мой...— произнес он тихо.

Все по-прежнему оставалось неизменным. Блеснула вспышка полицейского фотографа. Джо закрыл глаза. Последний фотоснимок профессора Иэна Драммонда, известного британского исследователя. А потом два санитара осторожно подняли тело и положили на носилки.

— Пока я могу сказать очень мало, — произнес низенький лысый доктор Беркли, который приостановился в дверях, прежде чем двинуться вслед за телом, — смерть наступила мгновенно. Было нанесено несколько ударов скальпелем.

— Несколько? — спросил Алекс и внезапно глубоко вздохнул. — Три?

— Да... — врач посмотрел на него с изумлением. — Неужели вам удалось сосчитать разрезы на рубашке? Ведь она была так пропитана кровью, что...

— Нет... Нет, — покачал головой Джо.

— Как можно скорее сообщите мне по телефону результаты, доктор, — попросил Паркер.

— Да, конечно.

Доктор вышел. Паркер двинулся вслед за ним к двери.

— Джонс! — вполголоса позвал он стоящего в холле молодого толстощекого человека в гражданском.

— Да, шеф.

— Дактилоскопист уже у всех взял отпечатки пальцев?

— Пять минут назад, шеф.

— Хорошо.

Фотограф собрал свои приспособления и на цыпочках вышел из комнаты.

— Снимки будут готовы через три часа! — сказал он, выходя.

— Минутку, — Паркер шагнул вперед, — мне нужны крупные планы стола, этого пятна на полу, ну и все остальное.

— Конечно.

Они остались одни. Джо смотрел на пустое место за столом. Пятно крови на полу уже успело потемнеть.

— Джонс! — позвал Паркер.

— Да, шеф?

— Все находятся в своих комнатах?

— Да.

— Предупреди, что скоро я буду приглашать каждого из них сюда на несколько слов. Надеюсь, все уже одеты?

— Кажется, да, — сказал Джонс и вышел.

— Миссис Драммонд уже была одета, когда я вошел к ней, — сказал Паркер. — А что ты имел в виду, говоря об этих трех ударах?

— Да ничего, то есть, я думаю, что это чепуха. Сара Драммонд вчера декламировала фрагмент пьесы, где это было...

— Это может подождать. — Паркер подошел к нему. — Джо, я знаю, как ты себя чувствуешь. Поверь мне, я чувствую то же, что и ты. Но Иэна уже ничто не воскресит. Единственное, что нам осталось, — найти убийцу. Ты мне очень нужен сейчас. Ты был здесь вчера весь день. Ты видел его. Ты, как никто, можешь помочь. Ты ведь умеешь думать. Думай вместе со мной.

Он сел в кресло у небольшого столика под окном и указал Алексу на другое кресло. Затем вынул блокнот.

— Давай соберем первые факты, — сказал он. — Начнем с комнаты: Иэн сидел, держа в руке перо. Перед ним лежало начатое письмо...— Бен встал и подошел к столу. Ни к чему не прикасаясь, он склонился над листом бумаги: — «Уважаемый господин профе...» — прочел он, — затем резкая прямая линия вниз и клякса. Это значит, что его ударили в тот момент, когда он писал. Это несомненно. Перо он сжимал в руке. Убийца должен был действовать очень быстро. Он не мог себе позволить специально укладывать руку. В любую минуту кто-то мог сюда войти. Впрочем, видно, что перо скользнуло вниз в процессе написания. Второе: Иэн был убит медицинским инструментом, если, конечно, вскрытие не покажет ничего другого. Но думаю, что нет. Ты говоришь, что видел вчера этот или очень похожий инструмент и что он принадлежал Люси Спарроу. Сейчас проверим. — Он подошел к двери: — Джонс!

— Да, шеф!

— Где был этот скальпель? — спросил Бен у Алекса.

— Он должен быть в маленьком кожаном чемоданчике, в гардеробе, соединяющем комнаты миссис Драммонд и миссис Спарроу. Впрочем, лучше пусть она сама скажет.

— Принеси его, — сказал Паркер Джонсу, — и спроси у миссис Спарроу, все ли в порядке в этом чемоданчике? Или нет, подожди. Не ходи.

Бен закрыл дверь и вернулся.

— Джо, — сказал он, — мы потеряли полчаса на осмотр тела врачом, на процедуры дактилоскописта и на то, чтобы успокоить домочадцев. Давай еще раз все осмотрим. Подойди сюда. Будем смотреть вместе. Ты был здесь вчера вечером. А позже снова пришел. Смотри и вспоминай! Может, ты что-нибудь увидишь? Этот скальпель еще ни о чем не говорит. Повсюду есть отпечатки пальцев. Даже на нем. Позже мы что-нибудь о них узнаем. А пока давай будем думать.

Джо встал. Они вместе подошли к столу. Паркер склонился над ковром.

— Эта лужа крови... — сказал он. — Видишь?

— Вижу, — Джо наклонился. Психическое напряжение проходило. Он начал думать все яснее. — Смотри, тут будто кто-то ступил носком туфли... Вот здесь... И дальше еще один отпечаток на ковре. Вероятно, отступил. — Джо выпрямился. — Кто-то ступил в лужу крови и сразу отошел...

— Покажи свои туфли, — сказал Паркер. — Может, это ты, когда подошел к столу.

Алекс поднял левую ногу, потом правую.

— Нет, — Паркер покачал головой. — На твоих туфлях нет крови. Это был носок туфли. Хоть бы убийца этого не заметил...

Но Джо не слушал его. Он вглядывался в пятно крови и протянул вперед ладонь.

— Там что-то есть, — сказал он. — Посмотри.

Паркер присел на корточки. Под запекшейся скользкой темно-красной поверхностью пятна едва виднелись нечеткие очертания какого-то мелкого предмета, полностью залитого кровью.

— Джонс!

— Да, шеф!

— Таз с водой!

— Есть, сэр!

Паркер по-прежнему сидел на корточках. Джо вглядывался как зачарованный. Ему казалось, что он видит очертания тоненькой цепочки. Небольшой, полный воды таз появился через минуту. Алекс посмотрел на Паркера. Паркер закрыл глаза и двумя пальцами осторожно вынул из лужи крови маленький предмет, затем широко открыл глаза и опустил этот предмет в таз. Вода сразу же окрасилась в красный цвет. Паркер легонько прополоскал предмет в воде, а затем протер платком. Джо затаил дыхание.

На ладони Паркера блестел красный, как кровь, рубиновый кулон на короткой золотой цепочке.

— Ты видел это раньше?

— Да, — Алекс кивнул головой. — Этот кулон весь вчерашний день носила на шее Люси Спарроу.

На столике у окна Паркер осторожно расстелил платок и положил на него кулон.

— Люси Спарроу... — пробормотал он. — Хорошо. Посмотрим еще. — Он подошел к открытому сейфу. В нем находились аккуратно сложенные бумаги в разноцветных папках. В верхней перегородке стояла маленькая шкатулка. Паркер вынул из кармана другой платок и осторожно приподнял крышку. — Бижутерия, — сказал он. — Вероятно, принадлежит Саре Драммонд. А может, это какие-нибудь семейные реликвии? — Он взглянул на стол. — Ты уверен, что этих денег не было тут, когда ты заходил к Иэну в десять вечера?

— Я уверен, — кивнул Джо. — Это сразу бросилось бы в глаза. Я смотрел почти точно в это место, потому что перед Иэном лежала тогда открытая тетрадь, в которой он что-то писал. Я даже пошутил насчет значков... символов, которыми он пользовался.

Паркер подошел к столу. На нем лежала небрежно брошенная поверх коробок с рыболовными крючками пачка банкнот, обтянутая лентой с надписью: «1000».

— Тысяча фунтов... Зачем же ему было вынимать их из сейфа и класть на столе, поверх всего, что тут разложено? Ведь они не нужны для рыбной ловли! — Он повернулся и заглянул вглубь сейфа. — Вот здесь место, как бы идеально подходящее для этих денег, — сказал он, указывая на самую высокую перегородку сейфа. — Если они здесь не лежали, то можно понять, зачем Иэн оставил свободное место, а шкатулку поставил именно так. Но это лишь гипотеза. Быть может, кто-нибудь сможет нам что-нибудь об этом сказать. Ключ вложен в замок сейфа...

— Иэн говорил мне, что он держит там все важнейшие документы, — сказал Алекс. — Я это точно помню.

— Надо выяснить, может, там чего-то не хватает. Спарроу должен знать. — Паркер вернулся и сел. — Пока нам надо подождать результатов вскрытия и проверки отпечатков пальцев. Давай попробуем подвести итог тому, что у нас есть сейчас.

— Скальпель, — сказал Алекс, — кулон с рубином, след в крови на ковре, тысяча фунтов...

— Кроме того, — сказал Паркер, — есть человек, который ударил тебя и выключил свет. У нас есть еще эти крючки на столе и письмо.

— Письмо, да, — Алекс наморщил брови. — Но крючки?

— Быть может, благодаря этим следам мы найдем убийцу еще сегодня, — сказал Паркер. — Но если мы его сегодня не найдем, нам придется задать себе очень важный вопрос: *зачем Иэн Драммонд, который, как по всему видно, закончил работу и занялся подготовкой крючков для завтрашней рыбалки, вдруг бросил это занятие и начал писать письмо?*

— Но, ведь он мог вспомнить, что не написал кому-то что-то важное? А может, он хотел написать прощальное письмо Гастингсу, который сегодня уезжает?

Паркер покачал головой.

— Я думаю, что он написал бы такое письмо до или после работы над крючками. Но не в процессе ее. Иэн был методичным. Он всегда был поклонником систематичности и порядка.

Они подошли к столу.

— Посмотри, — сказал Паркер, — на столе нет ничего, что указывало бы на еще какую-нибудь работу. Вероятно, он уже спрятал все свои бумаги и разложил на столе крючки. Тогда откуда это письмо?

— Не знаю, — сказал Алекс и потер рукой лоб. — Мне кажется, здесь чего-то не хватает. Чего-то, что я видел вечером...

Паркер поднял голову.

— Не можешь вспомнить?

— Нет, — Джо беспомощно развел руками. — Не помню. Но здесь было что-то, чего я сейчас не вижу... Минутку...— Он задумался. — Нет. Не помню.

— Итак, — сказал Паркер, — у нас есть:

1. Скальпель (вероятно, принадлежит Люси Спарроу).
2. Тысяча фунтов, ничем не объяснимые на столе.
3. Кулон в крови (Люси Спарроу).
4. Письмо: «Уважаемый господин профе...».
5. След на ковре (не установлен).
6. Факт, что убийца был здесь в час ночи, если ты помнишь, что без пяти час ты пошел вниз.
7. Факт, что *убийца до сих пор находится в доме, а стало быть, это один из тех, кто здесь живет.* Осмотр всего дома в поисках кого-либо чужого не дал никаких результатов. А собаки Мэлахи никому не позволили бы выйти за пределы сада. В эту минуту вся усадьба окружена полицией. Убийца находится здесь.
8. Из этого следует, что убийцей должен быть один из людей, находящихся в этом доме, а именно:
   1. Роберт Гастингс,
   2. Филипп Дэвис,
   3. Гарольд Спарроу,
   4. Мэлахи Ленеган, потому что у него был ключ и он мог войти в дом,
   5. Сара Драммонд,
   6. Люси Спарроу,
   7. Кейт Сандерс, горничная.

— А кухарка? — спросил Джо.

— Ее не было. После ужина она пошла в Мэлсборо к больной сестре и вернется лишь утром. Так сказала горничная.

— В таком случае, остаюсь еще я, — сказал Джо.

— Да. Верно. 8. Джо Алекс. Среди этих лиц мы должны выявить убийцу и отправить его туда, откуда он уже никогда не вернется. И мы отправим его туда, Джо.

— Мы должны, Бен.

Они посмотрели друг другу в глаза.

За окном светало.

— А теперь, — сказал Паркер, — расскажи мне коротко, что происходило здесь вчера вечером. Но постарайся ничего не упустить.

Алекс открыл было рот, но в эту минуту в дверь заглянул толстощекий сержант Джонс.

— Стивенс что-то нашел, шеф.

— Что? — повернул голову Паркер.

В комнату протиснулся молодой человек с коротко стриженной головой и очень широкими плечами. Он был одет в гражданское, но Алекс сразу понял, что это детектив. Стивенс держал на разложенной газете какой-то предмет.

— Можно, шеф?

Инспектор жестом руки пригласил его. Детектив подошел ближе. Алекс увидел большое мраморное пресс-папье.

— Это оно! — громко воскликнул Джо.

— Что? — Паркер повернулся к Стивенсу. — Где это лежало?

— За занавеской, на подоконнике в коридоре второго этажа.

— А что ты хотел сказать, Джо?

— Это пресс-папье, — Алекс внимательно присмотрелся. — Да, точно. Оно лежало на этом столе. Иэн как раз промокнул им исписанный лист, когда я пришел к нему. Именно этого я и не мог вспомнить.

— Ясно, — инспектор кивнул Алексу. — Я думаю, этим пресс-папье тебя и ударили. Промокательная бумага разорвана. Отдайте это на исследование отпечатков пальцев, — сказал Паркер Джонсу, — а потом пусть его сразу вернут. Где работает дактилоскопист?

— В спальне. Он разложил там все свои причиндалы. В автомобиле у него лаборатория, и он делает там увеличенные снимки.

— Дай ему это пресс-папье, и как закончит, пусть сразу вернет. Оно будет мне нужно для допроса. Ищите дальше... Минутку! Джонс, пусть люди осмотрят, но незаметно... я повторяю, Джонс, незаметно — все туфли и тапочки, которые им попадут под руку. Надо искать пятнышко крови на носке или следы свежего замывания водой. Ты понял?

— Понял, шеф. Кто-то ступил в кровь, что ли?

— Да.

— Хорошо, шеф.

Дверь за детективами закрылась.

— Рассказывай, — сказал Паркер, опираясь рукой на столик, где лежал рубиновый кулон на белом платке.

Джо, стараясь не упустить ни одной мелочи, описал ему все события дня, начиная с той минуты, когда Сара Драммонд подъехала на своем черном «ягуаре» к его лондонскому дому.

X. «...Я третий нанесла удар — священный, жертвенный...»

— Так, — сказал Паркер, когда Джо закончил свой рассказ. — Тут много поводов для размышления. Когда же они закончат этот медицинский осмотр и работу с отпечатками? Пора уже что-то делать.

В ту же минуту Джонс снова просунул голову в дверь.

— Звонит доктор!

— Наконец! — Паркер вскочил с места и вышел.

Алекс остался один. Он отвел взгляд от того места, на котором попрежнему стояло кресло Иэна. Пятно на полу становилось все темнее.

Дверь открылась.

— Уже есть результаты! — воскликнул Паркер. — Убит тремя ударами, именно этим скальпелем...

— Тремя? — Алекс потер лоб. — Значит, все-таки... О Господи!...

— Да. Тремя. Смерть наступила мгновенно. Сердце пробито навылет дважды. Третий, последний удар, был совершенно излишним. Сильное кровотечение. Поэтому такое большое пятно. А убийство произошло не ранее десяти часов тридцати минут и не позднее одиннадцати часов пятнадцати минут.

Бен сел.

— То есть, как это? — Алекс вскочил с места. — Ведь в час ночи, когда я спустился вниз, убийца был здесь и...

Паркер развел руками.

— Он не ошибается, наш дорогой эскулап. Его можно во многом упрекнуть. В Ярде говорят, что он слишком много пьет. Но он никогда не ошибается. Мы должны принять это как должное.

— Но ведь Я САМ разговаривал с Иэном в десять тридцать!

— Нет. Ты сказал мне, что часы пробили, когда ты был уже наверху. Ты разговаривал с ним минутой раньше. Впрочем, это нижняя граница времени. Он мог погибнуть в течение следующих сорока пяти минут. В любую из этих минут.

— А этот человек? Ну, тот, который меня... — Алекс показал на свою голову.

— Все это нам еще предстоит выяснить. Подождем результатов дактилоскопических исследований. Это займет чуть больше времени, потому что они требуют точности и надо еще увеличить снимки. Но результаты будут. Слишком уж много оставлено улик, чтобы мы не могли найти подлинный след. — Джо сел. Паркер заглянул в свой блокнот: — Может, пока допросим тех, кто вызывает наименьшие подозрения, а точнее говоря, находятся вообще вне всяких подозрений. Ну, ты же не думаешь, что старый Мэлахи не теоретически, а реально мог подойти к Иэну сзади и ударить его скальпелем в спину? Да еще три раза? А потом спокойно вернуться на порог дома и ждать, пока все выяснится и обвинят кого-нибудь вместо него.

— Это абсурд! — покачал головой Алекс. — Мэлахи не мог этого сделать, и ты можешь спокойно вычеркнуть его из своего списка. Зачем ему убивать Иэна, ведь он его любил и был связан с его семьей почти с самого своего рождения? Это же не лакей и не повар, это настоящий друг трех поколений семьи Драммондов. Да и вообще это невозможно. Не то преступление и не тот способ. И откуда бы Мэлахи взял скальпель и кулон? Разве что Люси Спарроу их потеряла... Если б ты видел его слезы...

— Да. Ты прав. Даже без этих выводов мы оба знаем, что Мэлахи Ленеган этого не сделал. Именно поэтому я и хотел его допросить. Джонс!

— Да, шеф, — толстощекая физиономия вынырнула из-за приоткрытой двери так бойко, будто была на пружине.

— Приведи сюда Мэлахи Ленегана, старого садовника.

— Есть, шеф!

Они ожидали в молчании. Вскоре Джонс показался снова.

— Он уже здесь, шеф.

— Пригласи его сюда.

Мэлахи Ленеган вошел в комнату ссутулившись, но тут же выпрямился и ровным спокойным шагом подошел к столику.

— Садитесь, дядюшка, — сказал Паркер и указал на третье кресло.

Садовник сел и огляделся. Но не сказал ни слова, хотя увидел разложенные на столе коробки с крючками. Затем перевел взгляд на Паркера.

— Мистер Иэн умер, — сказал Паркер таким мягким и теплым голосом, какого сам Иэн от него никогда не ожидал бы. — Мы все, сидящие здесь, были его друзьями. Я имею в виду настоящих друзей, которых у человека бывает немного в жизни. А теперь он погиб. Его убили, хотя мы думаем, что в его жизни не случилось ничего такого, за что ему можно было бы так жестоко отомстить. Это не был кто-то обиженный, кто таким образом хотел восстановить справедливость, потому что не мог добиться ее иным путем. И хотя это тоже было бы преступлением, потому что человек не имеет права карать смертью другого человека, но в этом случае мы могли бы подумать, что убитый сам повинен в своей судьбе. Однако мы знаем, что это не так. Убит лучший и честнейший из людей. И мы должны узнать, кто это сделал. Мы обязаны найти убийцу не только потому, что Иэн Драммонд был нашим близким другом и мы любили и уважали его как брата. Но для того, чтобы зло было наказано, а добро восторжествовало. А здесь мы имеем дело с очень большим злом. Я убежден, что Иэн Драммонд был убит лишь потому, что сама его смерть была кому-то нужна. Мы еще не знаем кому. Именно это мы должны узнать, собрать все доказательства и схватить преступника.

— Да, — это надо сделать...— Мэлахи кивнул седой головой.

— А теперь, дядюшка, сосредоточьтесь, пожалуйста, и расскажите нам все, что случилось вчера. По порядку и не пропуская никаких событий, пусть даже они кажутся мелкими и неважными.

— Я встал утром... и мы с мистером Гастингсом отправились на рыбалку. Мы ловили долго, до самого полудня. Мистер Гастингс поймал красивую рыбку. Потом мы вернулись. Я вместе с ним обрабатывал ее, то есть, не саму рыбу, а только голову, потому что мистер Гастингс хочет ее увезти с собой...

— А как ловили? — спросил Паркер. — На крючки?

— Нет. Он ловит не так, как я и мистер Драммонд... Они там, в Америке, любят ловить таким небольшим гарпуном на сжатом воздухе, вроде пистолета... Он выстрелил и попал в рыбу, когда она была близко к поверхности. А потом эта рыба таскала нас, потому что к этому гарпуну привязана леска, которая разматывается, когда подстреленная рыба уплывает. Она таскала нас по морю туда и сюда, пока, наконец, не ослабела. И тогда мистер Гастингс высунулся за борт и ударил обычным гарпуном. Он пробил ее насквозь... Попал в самое сердце... Это был прекрасный удар...

— Так... Паркер поставил какой-то значок в своем блокноте. — Вы вернулись, обработали голову, и что было дальше?

— Я немного подремал. Потом пошел в сад. Два раза в неделю из Мэлсборо мне на помощь приходит молодой парень. Он обрезает сухие ветки на деревьях и помогает мне постричь живую изгородь. Летом много работы, потому что все быстро отрастает. Потом я занимался розами, а затем пошел посмотреть на одну прививку возле ворот. Там были эти двое из палатки: они обходили парк полем, держась подальше. Я их видел. Они постоянно здесь шатались. Но вы сказали, что это ваши люди, и я, стало быть, не обращал внимания. Ну, а потом я отправился на кухню поужинать, а после ужина был у собак. Они сидят весь день в маленькой загородке за моим домиком. Я накормил их и вернулся к себе продолжать работу над рыбьей головой. Я повозился с ней немного, потому что она должна была быть готова наутро. Ну, а потом я выпустил собак и пошел с ними в парк. Там я встретил мистера Алекса. Мы немного поговорили, и мистер Алекс ушел. Позже, около одиннадцати, ко мне вышел мистер Драммонд.

— Что? — спросил Паркер. — Около одиннадцати?

— Ну да, было без четверти одиннадцать... Потому что, когда я с ним разговаривал, часы на башне Мэлсборо ударили три раза. Я всегда слушаю бой часов ночью. В такую лунную погоду он слышен так, будто это не целых две, а лишь полмили.

— Мистер Драммонд спросил о чем-нибудь?

— Да. Он спросил о погоде на завтра. Ему казалось, что после такой теплой ночи может разразиться гроза. И еще о том, какие лучше взять крючки — одинарные или тройные... Я сказал, что, быть может, у этих современных тройных и есть свои достоинства, но я этих достоинств не вижу. Тогда он рассмеялся и сказал, что возьмет одинарные. И пошел в дом.

— А дальше что?

— Ничего... Ну разве, может, только... Но это неважно, потому что если этот преступник ударил мистера Алекса в час ночи, то его же не могло быть тогда в саду...

— Что? — спросил Паркер. — Рассказывайте, дядюшка Мэлахи. Все может пригодиться. Пока мы даже еще не знаем, что именно.

— Так вот, в одиннадцать, ну, может, за пару минут до одиннадцати, я шел с псами вокруг клумбы. Вдруг они насторожились и стали тихо ворчать. Затем побежали к двери и начали там нюхать. Я заглянул через стекло, но в холле было темно, и я ничего не увидел. Сразу после этого часы в Мэлсборо отбили одиннадцать.

— Значит, это произошло за две или три минуты перед одиннадцатью?

— Да.

— Но не за пять?

— Нет. Пожалуй, нет. Часы стали бить сразу после. Потом я прошелся с псами вокруг дома, заглядывая туда, сюда... посмотрел на лестницу, ведущую к пристани, и вернулся обратно. Было светло и ночь тихая. Я и вздремнул немного...

— А как вы думаете, дядюшка, — Паркер понизил голос, — кто убил мистера Иэна Драммонда?

Мэлахи поднял на него свои спокойные синие глаза, слегка сейчас покрасневшие.

— Как я думаю? Я думаю... Но я не могу вам этого сказать, потому что вы из полиции. А когда говоришь с полицией — надо знать. Или знать, или хотя бы слышать. Иначе можно обидеть невиновного.

— Не бойтесь, Мэлахи. Мы никого не обидим. Мы лишь хотим узнать правду. И вы можете нам в этом помочь.

Старик некоторое время молчал, глядя на Паркера.

— Эта жена ему не подходила, — сказал он наконец. — Я не знаю, кто его убил. Но, наверно, если бы он женился на какой-нибудь порядочной девушке, а не на этой комедиантке, он был бы жив до сих пор, и сегодня мы бы поехали на рыбалку.

Мэлахи опустил голову и вытер глаза рукавом.

— Вы уже можете идти, дядюшка, — сказал Паркер и взял его под руку. — Думаю, вы нам очень помогли. Спасибо.

Мэлахи махнул рукой и, вытирая слезы, двинулся к дверям в сопровождении Паркера. Алекс открыл шторы. Уже светало. Лодка напрасно будет ждать на пристани, Иэн Драммонд не поедет на рыбалку. Какая-нибудь рыба, глядящая сейчас в светлеющую поверхность воды, никогда не узнает, что своей жизнью она обязана кому-то, кто убил Иэна Драммонда, рыболова, который ее уже не поймает. Алекс встряхнулся. Паркер вернулся и сел напротив.

— Так как было дело с этими тремя ударами? — спросил он.

Алекс повторил ему содержание фрагмента из «Орестеи», который прозвучал во время вчерашнего ужина.

— Так... — инспектор задумался. — Ну что ж, давай пока поговорим с миссис Люси Спарроу. Ее кулон, а также, кажется, и скальпель находятся в этой комнате. Но стоит ли допрашивать ее здесь?

— Она врач, — сказал Алекс. — Она привыкла к виду крови.

— Может, ты и прав, — кивнул Паркер. Он прикрыл уголком платка кулон, а под платок сунул скальпель. — Его рукоятка сфотографирована и с нее сняты отпечатки пальцев. Мы можем провести маленький эксперимент. Джонс!

— Да, шеф?

— Ступай наверх и пригласи сюда миссис Спарроу, если она может спуститься.

— Есть, шеф!

— И... Впрочем, ничего. Как идут поиски в доме?

— Стивенс и Симмс осматривают все по очереди, от чердака до погреба. Мы не знаем, можно ли обыскивать комнаты гостей и хозяев.

— Пока воздержитесь с этим. А сейчас иди за миссис Спарроу.

Джонс исчез, закрыв за собой дверь.

— А ты заметил, — спросил Паркер, — что когда дверь закрыта, из дома сюда не проникает ни единый звук?

— Да, Иэн мне говорил, что в эту комнату даже не стучат. Он был очень чувствителен к шуму и сказал, что только здесь ему ничего не мешает и ничего не отвлекает.

— Вот как. Наверно, поэтому все двери в доме так хорошо смазаны. Жуткая комната. Здесь можно даже орать — никто не услышит. Пробковые стены. Плотные белые шторы. — Он осмотрелся. — Быть может, Иэн крикнул тогда? У собак слух лучше, чем у людей. Сейчас мы уже знаем, что Иэн был убит между 10.45 и 11.15. Значит, время 10.57, на которое указал Мэлахи, находится приблизительно в середине этого периода и представляется наиболее вероятным.

— Здесь миссис Спарроу, шеф, — сказал Джонс.

— Пригласи и закрой за ней дверь.

— Да, сэр.

При виде вошедшей женщины они оба поднялись с мест. Люси Спарроу была одета в темно-серое платье, на ногах — серые туфли с белой подошвой, на тонких высоких каблуках.

— Моя фамилия Паркер, я — инспектор Скотленд-Ярда, — сказал Бен. — Вы, конечно, знаете о трагическом несчастном случае, который произошел несколько часов назад в этом доме?

— Да. — Голос Люси был ровным и спокойным. — Ваш подчиненный сказал нам... моему мужу и мне, что Иэн... мистер Драммонд был убит. Он просил нас оставаться в комнатах. И это все, что я знаю.

— Так. — Паркер смотрел ей прямо в глаза. — Следовательно, вы не знаете, как погиб Иэн Драммонд?

— Нет.

— Понимаю... — Бен умолк.

Алекс сидел, глядя на Люси, и вдруг глубоко вздохнул. Ну конечно! Почему он раньше об этом не подумал? Тогда, стоя во мраке и глядя на неподвижную, едва видимую фигуру за столом, он услышал за собой дыхание. Это не было дыхание ни Люси, ни Сары Драммонд, ни ее горничной Кейт Сандерс. Это было дыхание мужчины! Он не знал, по каким признакам это определил, но был уверен, что это так. Дыхание мужчины.

— Вчера после обеда, — сказал Паркер, — играя в теннис, вы получили травму, не так ли? — он смотрел на ее левую руку. Люси невольно

подняла ее, несколько раз согнула и пошевелила пальцами. — Сейчас она вас уже не беспокоит?

— Нет. — В ее голосе прозвучало легкое удивление. — Но я по-прежнему над ней работаю. Перед ужином я носила ее на временной перевязи, но после нескольких сеансов массажа пришла к выводу, что мышца не надорвана, и решила как можно больше двигать рукой. У меня завтра операция. Я хирург.

— Это мне известно, — Паркер склонил голову. — Не нужно быть инспектором полиции, чтобы знать вашу фамилию.

Люси оставила этот комплимент без ответа.

— А когда вы пришли к выводу, что рука нуждается в движении?

— Что, простите? — Она взяла себя в руки. — То есть, разумеется, я буду отвечать на все ваши вопросы, раз вы представитель закона.

— Благодарю вас.

— Так о чем вы спрашивали? О том, когда я пришла к выводу, что мне надо двигать рукой? Сегодня, когда меня разбудил ваш подчиненный.

Паркер поднял брови.

— Простите, — сказал он, — но, казалось бы, что в минуту, когда вас будят на рассвете таким сообщением, вы должны были бы подумать о чем угодно, кроме этого. Как я должен себе это объяснить?

— Меня что, подозревают в убийстве Иэна Драммонда? — спокойно спросила Люси. — Если так, прошу разрешить мне связаться с моим адвокатом. Кажется, закон дает мне право на это.

— Разумеется. И если бы вас подозревали в убийстве, вы могли бы отказаться от любых показаний до встречи с адвокатом. Но мне кажется, что это вы выдвинули такое предположение. Я этого не говорил.

— Хорошо, — Люси пожала плечами, — в таком случае, я должна вам сказать, что меня не удивляет ваш последний вопрос. К сожалению, мои руки не являются лишь моей собственностью. Так случилось, что завтра от их состояния в буквальном смысле зависит жизнь человека и счастье его семьи. Если бы я приступила к операции, не будучи уверенной в функционировании моих рук, я могла бы убить человека, с той лишь жуткой разницей, что Скотленд-Ярд никогда даже не приступил бы к следствию, а я была бы безнаказанной в глазах людей. Даже семья этой бедняжки благодарила бы меня за мою бескорыстную, хотя и неудачную работу. Мне стоило лишь сказать: «Мы сделали все, что было в человеческих силах», или что-нибудь в этом роде. Поэтому, когда сегодня утром меня разбудили ужасным известием о судьбе Иэна Драммонда, которого я считала своим сердечным другом и смерть которого явилась для меня огромным ударом, — я не впала в истерику и не заплакала. Я работаю лицом к лицу со смертью и постоянно вижу честных и добрых людей, которые погибают и которых мы не можем спасти. Я постоянно борюсь со смертью. Мне нельзя ей поддаваться, а завтра утром я буду оперировать. И это будет одна из труднейших операций в моей жизни. А я ведь, как вы знаете, не занимаюсь удалением аппендиксов. Поэтому, несмотря ни на что, я первым делом подумала о своей руке. И сейчас о ней думаю. Кажется, мой ответ был длиннее, чем вы ожидали. Но я не хотела... — тут ее голос слегка дрогнул, — я не хотела, чтобы кто-нибудь, даже посторонний, мог бы подумать, что смерть Иэна не потрясла меня. — И вдруг в ее глазах показались слезы. Она вытерла их маленьким платочком и выпрямилась. — Простите.

— Это вы меня простите, — Паркер снова смотрел ей в глаза. — К сожалению, я должен задать вам еще несколько вопросов. — Он умолк, затем продолжал: — Вернемся ко вчерашней игре в теннис. Когда вы ощутили боль в руке, вы попросили мистера Филиппа Дэвиса принести чемоданчик с медицинскими инструментами, не так ли?

— Да.

— Он его принес?

— Да.

— А что потом с ним случилось?

— Потом? Не знаю. Я не обратила на это внимания. Возможно, кто-то из мужчин взял, потому что Сара шла со мной впереди.

— Да, — Алекс кивнул головой. — Чемоданчик нес Иэн, а потом отдал его миссис Драммонд у двери вашей комнаты.

— Наверно, так и было, — кивнула головой Люси, — но я по-прежнему не понимаю, какое...

— А позже вы видели этот чемоданчик?

— Да. Сегодня я сразу, как только встала, положила в него свернутый эластичный бинт, которым на ночь обмотала руку. У меня здесь нет другого, и я не знаю, не понадобится ли он мне еще.

— А где этот чемоданчик стоит?

— В нашем гардеробе, на столике под окном.

— В «нашем» — это значит в гардеробе вашем и мужа?

— Нет. У нас общий гардероб с Сарой... с миссис Драммонд. Когда-то это был гардероб матери Иэна. Это большая комната, состоящая из одних шкафов и двух больших зеркал. Двери в коридор нет, а войти в него можно через две прилегающие к нему с двух сторон ванные комнаты. Одна из них Сары, другая — моя. Миссис Драммонд была так любезна, что после моего приезда сюда предложила мне половину этой гардеробной. В других комнатах слишком мало места для размещения дамской одежды. У меня много платьев и белья...

— Ясно... Вчера, когда мистер Дэвис принес этот чемоданчик, вы употребили скальпель для того, чтобы разрезать бинт, верно?

— Да.

— А разве это не может повредить такому точному инструменту?

— И даже очень. Но я перед этим вынула ножницы из чемоданчика и оставила их на туалетном столике. Я была очень расстроена и поэтому попросила быстро отрезать. В конце концов, скальпель мне здесь не нужен. У меня есть еще несколько таких же.

— А где сейчас этот скальпель?

— Разумеется, в чемоданчике. Где же ему быть?

Паркер потянулся к платку и вынул из-под него блестящий инструмент.

— Он был похож на этот?

— На этот? — Люси взяла скальпель и осмотрела его. — Да. Но тот на один размер больше.

— Вы в этом уверены?

— Абсолютно.

Она улыбнулась той легкой улыбкой, с какой улыбается эксперт, услышав вопрос дилетанта, но тут же снова стала серьезной.

— Этот скальпель вымыт... — сказала она, — но... — и резко положила его на стол. — Но он грязный. На нем след крови!

— Где? — спросил Паркер.

— Вот здесь! Возле рукоятки!

— Значит, этот скальпель отличается от того, который находится в вашем чемоданчике наверху?

— От того... Да. Но у меня там есть другой, точно такой же, как этот... — Она еще раз взяла в руки скальпель и рассмотрела его со стороны рукоятки. — Это же мой скальпель! — сказала она. — Да! Мой! Откуда он здесь взялся?

— А как вы его узнали?

— У него две узенькие щербинки на конце рукоятки, почти невидимые. Так я помечаю свои скальпели, чтобы их потом не заменили. У меня

личные инструменты, к которым я привыкла... А в операционной, когда несколько хирургов по очереди оперируют, инструменты могут перепутаться во время стерилизации. Вот, посмотрите, видите? — Она наклонила свою красивую светлую голову к лицу Паркера. — Вот тут, потрогайте. Это точно мой скальпель.

— Вот именно... — сказал Паркер. — И вчера он находился в вашем чемоданчике?

— Да. Не помню, видела ли я его там. Но если какого-то инструмента не хватает, это сразу бросается в глаза, я не могла бы этого не заметить.

— А тогда можете ли вы мне объяснить, кто и почему сегодня ночью убил этим скальпелем Иэна Драммонда?

Вопреки ожиданиям Алекса, Люси не выразила удивления.

— Я стала подозревать это уже несколько минут назад. Нет. Я не могу ответить вам на этот вопрос. Иэна? Это кажется мне совершенно невозможным.

— Кто вчера входил в гардероб?

— Сара и я, конечно, а кроме того... кроме того... туда мог кто-нибудь войти, когда мы ужинали.

— А до того или после?

— Пожалуй, никто... Не знаю.

— А ваш муж входил туда?

— Мой муж?... Возможно... Кажется, да — я просила его принести мне теплый халат сразу после ужина. А позже уже никто туда не входил.

— Вы выходили из комнаты?

— На минутку. Я одолжила бумагу для письма у мистера... — она указала на Алекса, — а потом заглянула к Филиппу Дэвису. Он просил меня уладить одно личное дело. Я была там две-три минуты...

— И тогда любой мог войти в вашу комнату? Вы оставили дверь открытой?

— Да. Но я могла в любую минуту вернуться и застичь постороннего в гардеробе. А кроме того, Сара была у себя, значит...

— А откуда вы знаете, что миссис Драммонд была у себя?

— Потому что я заходила к ней, чтобы одолжить пишущую машинку. У нее маленький «Ремингтон», на котором она записывает свои роли, чтобы лучше их запомнить. Она говорила мне об этом когда-то. Так что, когда я пришла к выводу, что лучше не напрягать травмированную руку, а письмо написать надо было, то подумала, что его можно напечатать одним пальцем левой руки. Письмо короткое.

— В котором часу вы одолжили машинку?

— Примерно без четверти одиннадцать. Потом я отнесла ее в комнату и пошла к мистеру Алексу, потому что у Сары как раз закончилась бумага.

Паркер взглянул на Алекса, который подтвердил:

— Я вошел в свою комнату в половине одиннадцатого. Это я точно помню. Потом я писал минут двадцать. В 10.50 в дверь постучала миссис Спарроу. Я посмотрел на часы.

— А не могли бы вы мне сказать, — спросил Паркер, — по какому делу вам пришлось так срочно ночью писать письмо?

Несколько секунд Люси Спарроу была в нерешительности.

— Мне очень жаль, но я не могу ответить на этот вопрос. Меня просили оказать одну услугу.

— Кто-то из присутствующих в этом доме?

— Пожалуйста, не спрашивайте меня больше об этом. Я не смогу вам ответить. Могу только заверить, что это не имеет ничего общего с делом, которое вы расследуете.

— Этого никогда нельзя предвидеть, — пробормотал Паркер. — Противоположности притягиваются... И в расследовании тоже.

Но Люси Спарроу не слушала его. Она смотрела на лежащий перед ней скальпель.

— А можете ли вы мне сказать, почему, собственно, вы убили Иэна Драммонда? — спокойно спросил Паркер.

Люси вздрогнула, но тут же взяла себя в руки.

— По какому праву...

Паркер снова поднял руку, а потом сунул ее под платок.

— Это ваше?

Люси не ответила. Она смотрела на рубиновый кулон, и лицо ее окаменело.

«Словно греческая статуя... — подумал Алекс, — белая и неподвижная, но таящая огромную глубину. Будто она думает о чем-то, чего никто из живущих не может постичь. Молчание мрамора».

— Это ваше? — повторил Паркер.

Она кивнула.

— Этот кулон найден у ног покойного. Мы сразу не заметили его. Он был покрыт кровью.

Люси закрыла глаза. Потом открыла их и крепко сжала руки.

— Да. Это я убила Иэна Драммонда, — сказала она спокойно. — Арестуйте меня. Я признаюсь в этом преступлении.

Алекс вскочил с места, но Паркер одним движением руки остановил его.

— А почему вы убили Иэна Драммонда, замечательного человека, который, я уверен, никогда не сделал вам ничего плохого?

— Почему? — Люси некоторое время молчала, глядя в окно, за которым уже начинался день, полный деревьев, птиц и распустившихся цветов. — Я отказываюсь отвечать.

— У вас есть такое право. Как друг Иэна, я благодарю вас за этот самый большой комплимент, какого человек может удостоиться после смерти.

Алекс посмотрел на него с изумлением. Инспектор встретился с ним взглядом, и тогда Джо увидел в его глазах блеск упрямства, так хорошо знакомый ему с прежних военных лет.

— А как здесь оказался этот рубиновый кулон? Вы потеряли его во время борьбы, да?

— Что? — Видно было, что Люси не понимает вопроса.

— Этот кулон был найден у ног покойного. Как он там оказался? Вы не припоминаете?

— Я... вероятно, зацепилась за что-то, и он остался здесь...

— Ага. Это объясняло бы этот факт. А что делал Иэн Драммонд, когда вы его убили?

— Он сидел... за столом.

— Так. Он сидел, а вы подошли и вонзили в него этот скальпель, зацепившись при этом за что-то кулоном?

— Я... Да! Перестаньте, пожалуйста!

Она не заслонила руками лицо, не заплакала и даже не склонила головы, но Алекс понял, что эта женщина сейчас потеряет сознание. Она побледнела.

— Почему вы лжете, Люси Спарроу? — резко спросил Паркер. — Кого вы выгораживаете?

— Я? Никого. Я убила Иэна Драммонда и признаюсь в этом. Чего еще может желать закон от преступника?

— От преступника — ничего больше. Но закон желает знать правду. А я вовсе не желаю, чтобы вы понесли наказание вместо кого-то другого, кого вы выгораживаете или вам кажется, что вы его выгораживаете,

потому что полагаете, что это он убил. К тому же вы хотите выгородить кого-то, кто с заранее обдуманным намерением хочет свалить на вас доказательства вины.

— Но почему? — спросила Люси. — Не понимаю... — ее голос потерял тот спокойный деловой тон, которым она до сих пор говорила.

— Потому, что вы не могли потерять здесь этот кулон. Убийца совершил ошибку. Взгляните на эту цепочку! Что вы видите? Ты, Джо, автор детективных романов, которые читает вся Англия, что ты видишь?

— Вижу... Не знаю! — Джо склонился над кулоном. — Нет. Не вижу ничего необычного.

— А вы?

— Я уже сказала, что потеряла его здесь... — голос у Люси был тихий и неуверенный. Она тоже всматривалась в лежащую на столе цепочку, как бы желая проникнуть в ее столь явную, но непонятную тайну.

— Она закрыта, — сказал Паркер. — Убийца забыл ее разорвать. Понимаете? А ведь сразу видно, что она слишком короткая, чтобы ее можно было надеть через голову. А даже если бы она и не была короткой, то при ваших густых волосах вряд ли бы она могла пройти через голову, даже если бы вы стояли на руках. Думаю, нет. Мне кажется, что если попытаться ее снять, то она даже через подбородок не пройдет. Как же тогда эта цепочка могла оказаться здесь иначе, чем принесенная кем-то, кто бросил ее рядом с телом убитого Иэна Драммонда?

Только теперь Люси склонила голову.

Паркер безжалостно продолжал:

— Прекратите эти глупости! Когда вы отказались ответить на вопрос, почему вы убили Иэна, я сказал, что это огромный посмертный комплимент ему. Вы не смогли выдумать хоть какой-нибудь повод, потому что Иэн не был человеком, которого можно было бы хоть за что-нибудь ненавидеть. Лишь один убийца знает, какую пользу он извлечет. Поэтому вы пытаетесь выгораживать людей, которые хотели свалить на вас это ужасное преступление, как будто знали, что вы понесете этот крест почти без колебаний. И что вы скажете?

Но Люси Спарроу не отвечала. Она спрятала лицо в ладонях, а потом покачнулась в кресле. Алекс вскочил и поддержал ее.

— Сейчас пройдет, — сказала она тихо. — А теперь, пожалуйста, отпустите меня. Я и так ничего больше не скажу.

Паркер смотрел на нее почти с гневом, но потом опустил голову и мягко сказал:

— Благодарю вас. Быть может, вы очень нам помогли, хотя наверняка не желали этого.

Джонс сунул голову в дверь и дал знак, что хочет поговорить с Паркером, который тут же подошел к нему. Они шепотом обменялись несколькими словами. Паркер поколебался, затем снова подошел к Люси Спарроу.

— Простите меня, — сказал он почти заботливо, — но я должен попросить вас еще об одной небольшой любезности. Сюда принесли маленький чемоданчик, о котором мы говорили. Не могли бы вы осмотреть его содержимое и сказать нам, чего там еще не хватает?

— Хорошо, — Люси прикрыла глаза и открыла их, как человек, который пытается побороть охватывающий его сон. — Если это обязательно нужно...

Джонс внес маленький черный чемоданчик, который Алекс видел вчера на теннисном корте.

Паркер открыл чемоданчик. Люси наклонилась и, вытянув руку, проверила содержимое бутылочек, вынимая их одну за другой и возвращая на место. Пустой зажим явно указывал то место, из которого был взят скальпель.

— Нет. Тут все в порядке, — сказала Люси и заглянула в плоский карман на внутренней крышке чемоданчика. Карман застегивался кнопкой. Люси открыла его и сунула внутрь руку. — Нет моих резиновых перчаток! — изумленно сказала она.

— А вы уверены, что они вчера там были?

— Нет... Я ими здесь не пользовалась... Они находились там, потому что являются частью снаряжения. В деревне никогда не известно, что может случиться... Иэн и Гарольд проводят химические опыты... Я всегда опасалась — мало ли что... — Люси подумала. — Я видела их четыре или пять дней назад, — сказала она решительно. — Я вынула их и пересыпала тальком. Была жара, и мне пришло в голову, что резина может пересохнуть. Да-да! Теперь я вспомнила — я положила их на место.

— Я в этом уверен, — пробормотал Паркер. — А спросил только для того, чтобы сказать вам: убийца вынул перчатки из вашего чемоданчика, затем одну бросил на дно шкафа в гардеробе, а другую глубоко затолкал под другой шкаф. И эта, вторая, была в крови. Джонс!

Вошел Джонс. На чистом листе бумаги он нес резиновую перчатку. Она была покрыта следами засохшей крови.

И в этот момент Люси Спарроу потеряла сознание.

— Шеф, — спокойно сказал толстощекий сержант Джонс с лицом румяного ребенка, — сейчас принесут результаты дактилоскопии.

— Хорошо, принеси воды!

Джонс исчез. Но прежде чем он вернулся, Люси пришла в себя.

— Я понимаю, что вам это необходимо, — тихо сказала она, поднимая голову, — но я больше не могу этого переносить. — Она выпрямилась в кресле.

— А не проще ли было сказать правду?

— Какую правду? — Люси подняла на него глаза с выражением, какое охотники видят иногда у загнанного, умирающего зверя. — Но я в самом деле не знаю, кто убил...

— Но вы догадываетесь. Иначе вы не выгораживали бы убийцу. Или вы не понимаете, что уже сказали нам, кого пытаетесь прикрыть?

— Я?... я... Прекратите... — Она с огромным усилием взяла себя в руки. — Больше вы не услышите от меня ни слова, господин инспектор. Невзирая на то, что вы об этом подумаете. Либо арестуйте меня, либо позвольте уйти. Мне нечего больше сказать.

— Хорошо, пожалуйста. — Паркер встал. — Я лишь удивляюсь, что вас раздражают мои усилия. А ведь я ищу преступника, и казалось бы, имею право просить помощи у каждого порядочного человека?

Но Люси Спарроу, плотно сжав губы, даже не удостоила его взглядом. Выходя, она лишь чуть кивнула головой Алексу.

Когда дверь за ней закрылась, Паркер тяжело сел в кресло.

— Ты только подумай, — тихо сказал он, — погиб наш Иэн. Кто-то убил его. Казалось бы, что такая женщина, как Люси Спарроу, умная, хладнокровная, умеющая держать себя в руках, поможет нам, тем более что убийца хотел свалить вину на нее: он совершил убийство ее скальпелем, держа этот скальпель в руке, на которую надета ее перчатка, да еще подбросил здесь ее кулон, который все не раз видели. А между тем она вышла отсюда, будто мы ее враги. — Он секунду помолчал. — Я знаю, кого она выгораживает.

— Своего мужа, конечно, — сказал Алекс. — Но почему она думает, что это он? Когда она сюда вошла, она этого еще не знала.

— Вот-вот! — Паркер встал. — Когда мы это узнаем, мы будем знать все. Точнее, почти все.

Он подошел к двери.

— Джонс!
— Да, шеф.
— Так что с этими результатами?
— Сейчас будут.
— А что насчет обуви с кровью?
— Ни у миссис Спарроу, ни у мистера Спарроу ничего такого не обнаружено. Вообще пока ничего, кроме того, что я передал.
— Хорошо. Он ждет в салоне?
— Да. Стивенс дежурит у двери, но так, как вы хотели, шеф, то есть, он не задержит его, а лишь попросит вернуться, потому что вы скоро подойдете. Пока что он терпеливо ждет...
— Хорошо. Давай сюда дактилоскописта, как только он будет готов.
— Да, шеф.
Паркер вернулся в комнату.
— Я велел проводить Спарроу в другую комнату, где он меня ждет. Я не хотел, чтобы они здесь встретились. Кроме того, за это время мы успели спокойно осмотреть их комнаты и гардероб. Миссис Драммонд, разумеется, не возражала.
— А как она держится? — спросил Алекс.
— Сара Драммонд? Она была очень бледна, когда я вошел к ней сразу после приезда, но хорошо держала себя в руках. Ты знаешь, такая женщина могла бы его убить.
— Знаю. Но не верю в это.
— А кого ты подозреваешь?
— Мне трудно сказать... Если бы не один факт...
— Вот именно. Мы должны считать виновным любого из них, пока не убедимся в его невиновности. Я не знаю, но мне кажется, что нас тут еще многое ждет... Бедный, бедный Иэн... Если бы он знал...
— К счастью, он не знал, — сказал Алекс, невольно понижая голос. — Он погиб, считая ее лучшей из жен.
— Не обязательно. Если она стояла за ним и ударила скальпелем в спину, он не потерял сознание мгновенно... Это изумление, застывшее в чертах его лица... Его глаза...
— Послушай! — сказал Алекс. — Когда ты допрашивал Люси Спарроу, я кое-что вспомнил. Иэна убила не женщина. Головой ручаюсь. Тот человек, который вздохнул за моей спиной в темноте, — это был мужчина.
— Тот, кто тебя ударил?
— Да. Это было дыхание мужчины, понимаешь?
— Да... — Паркер развел руками. — Ну что ж, подождем — узнаем. Я велел сделать подробное увеличение всех отпечатков на внешних и внутренних ручках всех дверей и на выключателе в кабинете. Ведь этот человек потушил свет, услышав, что ты подходишь, и притаился с пресс-папье, которое схватил со стола. Это ясно. А потом, убегая, он оставил пресс-папье на подоконнике в коридоре второго этажа.
— Это исключает горничную и Мэлахи, — сказал Алекс. — Никто из них не побежал бы наверх.
— Да. Значит, у нас есть шесть человек, из которых ты и Люси Спарроу не имеете никакого разумного мотива для убийства. Итак, остаются четыре человека.
— Дэвис, Сара, Гастингс и Спарроу, — перечислил Алекс.
— Шеф! — Джонс вошел в комнату. — Отпечатки пальцев готовы!
— Превосходно!
В комнату осторожно вошел высокий худой человек с седыми коротко стриженными волосами. Под мышкой он держал папку. Кивнув Алексу и не ожидая приглашения, он уселся за стол.

— Здесь у меня отпечатки пальцев восьми указанных лиц и убитого, — начал он несколько монотонно, — а здесь отпечатки, собранные на дверных ручках, выключателе в кабинете, на пресс-папье и на скальпеле... Отпечатки на выключателе...

— Господи! — воскликнул Паркер. — А чьи отпечатки на скальпеле?!

— Минуточку. Отпечатки на скальпеле принадлежат только одному человеку, чьи папиллярные линии идентичны с линиями лица, находящегося в списке пробных отпечатков, взятых у присутствующих в доме лиц. Они принадлежат... миссис... нет... минуточку... Ага, вот! Мистеру Спарроу.

XI. «А ты не прикасался к дверной ручке?»

— Да... говорила вам... — Было видно, что он размышляет. — Потом ко мне зашел профессор Гастингс, и мы с ним разговаривали, может, полчаса, может, дольше...

— В котором часу к вам пришел профессор Гастингс?

— В котором? — Спарроу оживился. — В 10.40. Я сейчас вспомнил. Мы встретились у дома, и тогда было 10.10. Я сказал ему, чтобы он зашел ко мне через полчаса.

— Я это слышал, — сказал Алекс. — Я стоял тогда рядом с вами.

— Вот именно! — Спарроу с благодарностью посмотрел на него. — Пожалуйста, не удивляйтесь, но этот ужасный удар... я не могу собраться с мыслями...

— Да. Я хорошо это понимаю... — Паркер наморщил брови, вглядываясь в свой блокнот. — Значит, вы разговаривали с профессором Гастингсом с 10.40 до 11.10 или 11.20?

— Да. До 11.20, потому что когда после его ухода я вошел в комнату жены, она сказала: «Послушай, уже двадцать минут двенадцатого. Тебе пора ложиться...» Она всегда беспокоится о том, чтобы я вел правильный образ жизни, ну, то есть... — он умолк.

— И что вы ответили жене?

— Я? Что ответил?... Кажется, мы начали разговаривать и беседовали некоторое время... где-то минут двадцать. Потом я пошел к себе и разделся.

— А что делала ваша жена, когда вы вошли?

— Печатала письмо на машинке.

— А откуда вы знаете, что это было письмо?

— Потому что она как раз закончила и печатала адрес на конверте.

— И кому было адресовано это письмо?

— Ее адвокату... Я взглянул на конверт и... Но почему вы меня об этом спрашиваете?

— Перед лицом значительных и трагических событий все остальные блекнут или смешиваются в памяти. Я хотел лишь проверить, не спутались ли в вашей памяти разные мелочи ввиду происшедшего...

Он замолчал. Минуту все сидели не шевелясь.

— Почему вы лжете? — вдруг спросил Паркер.

— Что? Как вы смеете? Как вы...

Паркер встал, оперся руками на край столика и наклонился к сидящему профессору так близко, что почти касался лицом его лица.

— Убит ваш друг и коллега. Совершено отвратительное убийство. Погиб добрый, чистый человек. Я нахожусь здесь для того, чтобы найти убийцу, а не для того, чтобы выслушивать ложь от людей, которые должны чтить память убитого и содействовать правосудию! То, как вы поступаете, господин профессор, это низость и по отношению к покойному, и по отношению к живущим! Что вы делали в этой комнате в минуту убийства Иэна

Драммонда? Это вы вонзили скальпель в его спину? А если не вы, то почему вы немедленно не сообщили полиции? Почему вы, как жалкая крыса, вернулись к себе в комнату, делая вид, что ничего не случилось? Кто же вы: преступник или сообщник преступника? Отвечайте!

Бен выпрямился. Гарольд Спарроу сидел, как окаменевший. Наконец он закрыл лицо ладонями, и Алекс с изумлением увидел, что этот сильный, твердый мужчина плачет. Джо взглянул на Паркера, но инспектор стоял невозмутимо, а на лице его не было ни жалости, ни сочувствия. Он ждал.

Вдруг Спарроу опустил руки и поднял голову. Дрожащей рукой он снял очки и, вынув платок, протер глаза, а затем стекла. Его пальцы сильно дрожали.

— Я... я ничего не знаю... — повторил он слабым голосом. — Почему вы?... По какому праву?

— По какому праву? По такому, которое говорит мне, что вы находились здесь и держали в руках скальпель, которым был убит Иэн Драммонд.

Спарроу молчал. Потом поднял голову и посмотрел на Паркера.

— Вы правы... — Его руки дрожали так сильно, что он должен был их прижать к коленям. — Я... Я — ничтожество... Это я его убил...

Паркер вздохнул и сел.

— Вы его убили. Да. Конечно. Определенным образом, может быть, и вы. Еще не знаю. Пока не могу сказать. Пока я хочу знать, что вы делали в этой комнате и когда вы вошли в нее?

— После... после разговора с женой я спустился сюда...

— Который был тогда час?

— После половины двенадцатого... если точно: без двадцати двенадцать. Я взглянул на часы, спускаясь вниз.

— И что?

— Я вошел и...

— Дверь была закрыта?

— Что? Да.

— Точно?

— Точно. В холле было темно. Только немного лунного света падало на пол и маленький лучик с лестницы... Я хорошо знаю расположение комнат в доме, но помню, что я вытянул руку, чтобы нащупать дверную ручку. У меня очки, вы видите...

— Да. А когда вы нашли дверную ручку, что вы сделали?

— Я открыл дверь.

— И закрыли ее за собой?

— Да. Конечно. Иэн сидел за столом... Я подошел к нему и... — Он спрятал лицо в ладонях.

Паркер смотрел на него, сморщив брови.

— И вы его убили, да?

— Да... — прошептал Спарроу и медленно поднял голову.

— Как жаль, — сказал Паркер, — что я не могу вам поверить. Когда вы вошли в эту комнату, ваш коллега был мертв уже полчаса.

— Как это? — Спарроу машинально поправил очки и наклонился вперед. — То есть, как это — мертв?

— Мертв. Он погиб до 11.15. Если вы теперь хотите вернуть свои слова назад и сообщить, что вы не разговаривали с профессором Гастингсом и со своей женой с 10.40, то есть с той минуты, когда, как нам известно, Иэн еще был жив, и вплоть до 11.40, то есть до той минуты, когда, как мы знаем, он уже полчаса был мертв, тогда я охотно выслушаю ваше описание того, как вы совершили преступление. Но мне кажется, что это бессмысленно, поскольку оба собеседника подтвердят ваши слова. Я думаю, что вы не солгали, потому что вы не очень хороший лжец, и вам не пришло бы в голову

впутывать в это других лиц. У вас нет ни малейших шансов стать убийцей Иэна Драммонда, хотя вы уже второй, кто сегодня в этом признается.

На лице Спарроу отразилось огромное и искреннее облегчение. Он выглядел как человек, который приготовился посвятить все, что ему дорого, ради какой-то цели, и вдруг оказалось, что это невозможно.

— Кто? — спросил он едва слышно. — Кто признался в убийстве Иэна?

— Ваша жена, Люси Спарроу! — сказал Паркер. — А призналась она потому, что была уверена, что это вы его убили, господин профессор! Но вовсе не о ней вы заботитесь! Вы выгораживаете вовсе не ее, а кого-то другого, кто, по вашему мнению, убил Иэна Драммонда ее скальпелем, подбросил на место преступления вот это... — он открыл платок и показал рубиновый кулон, — а потом затолкал под ее шкаф окровавленную резиновую перчатку из ее чемоданчика! Вы очерняете память человека, с которым вас много лет объединяла общая работа, вы потворствуете тому, чтобы вещественные доказательства указывали на вашу жену, и лжете в глаза людям, ведущим расследование! Неужели до этого может довести человека любовь, господин профессор, мистер Гарольд Спарроу?

И тут профессор Гарольд Спарроу сломался. Отрывистыми предложениями он начал рассказывать о себе, о своей жизни, о том, как он познакомился с Сарой Драммонд и как постепенно он, человек, который в течение всей своей жизни не совершил ни одного, даже самого мелкого поступка, которого мог бы стыдиться, начал жить двойной, фальшивой жизнью.

— Вообще-то... Я виделся с ней всего лишь несколько раз... потом она стала сторониться меня... а я... я не мог не думать о ней. Наконец... я написал ей письмо в Лондон. Я писал, что сойду с ума... что я не знаю, что со мной происходит... что я уже не могу больше смотреть в глаза Иэну и... и Люси... Я не рожден для такой жизни...

Алекс, который в своей жизни видел множество мужей и жен, для которых все это не составляло бы ни малейшей проблемы и нисколько не мешало бы их гармоничной супружеской жизни, глядя на профессора, в глубине души хорошо понимал его. Гарольд Спарроу не был ни соблазнителем, ни лжецом. Его трагедия стала следствием его порядочности, следствием невозможности совмещать ложь с правдой.

— Она приехала вчера, — продолжал Спарроу, — и после ужина мы встретились в парке. Я хотел уехать с ней, убежать отсюда, от этой ужасной жизни. Но она сказала, что очень многое поняла в последнее время, что она любит Иэна и хочет с ним остаться. Она просила меня, чтобы я ушел, чтобы я был мужчиной. Она умоляла меня все сохранить в тайне. Я обещал ей это, но решил уйти. Здесь как раз был Гастингс, который предлагал мне выезд в Соединенные Штаты. Я согласился, когда он пришел ко мне вечером. Потом я вошел к Люси и сказал ей... — он умолк и потер ладонью лоб. — Как я мог? Ведь она... она хотела пойти на виселицу ради меня, а я... я...

Паркер не прерывал. Он стоял, выпрямившись, напротив сидящего профессора и смотрел на него в упор, ни на секунду не спуская глаз.

— ...я сказал ей, что между нами все кончено. Что я не люблю ее больше, хотя уважаю и не имею никаких претензий. Я сказал, что намерен уехать и что я возвращаю ей свободу...

— А она?

— Она? Она тихо заплакала. Потом спросила меня, есть ли в моей жизни кто-то другой? Я ответил, что да. Я не мог ей солгать, хотя и не дал понять, о ком идет речь. Я сказал, что не смогу жить с ней под одной крышей, думая о другой женщине. Что это нечестно. А она... она сказала, что никогда не перестанет меня любить и верит, что я к ней вернусь... Потом я вышел. Мне было очень тяжело. Я сел в своей комнате и думал о том, правильно ли я поступил. Я начал колебаться. Но было уже поздно.

Я сошел вниз. Меня ждал разговор с Иэном. Я решил, что ничего не буду ему объяснять, а лишь скажу, что мои личные дела вынуждают к отъезду и что я еду в Америку. Разумеется, я никогда не передал бы американцам того, что было предметом наших исследований. Я знал, что Иэн сам все доведет до конца. Правда, Гастингс хотел, чтобы я принял на себя руководство исследовательской лабораторией в Филадельфии и продолжал там то, что мы здесь начали, однако есть и другая область исследований, над которой мы с Иэном не работали и которая очень меня привлекает. Думаю, я смог бы добиться в ней успехов... Когда я вошел, Иэн сидел за столом. В его спине я увидел скальпель... Я не мог пошевелиться. Я стоял, словно окаменев... Потом я решил, что надо что-то делать. Ведь скальпель... Скальпель принадлежал Люси. Я прикоснулся к нему, потому что мне вдруг пришло в голову, что я должен его спрятать... Кто-то, наверно, хотел, чтобы... Разные мысли мелькали в моей голове... Но скальпель застрял так прочно... Это было ужасно... Я оставил свои попытки и бегом бросился наверх. Я вошел в свою комнату, но сразу вышел и постучался к Гастингсу. Теперь я уже не имел права уехать... Кто бы тогда закончил нашу работу? Несмотря ни на что: ни на то, что случилось, и ни на то... что еще случится, эта работа важнее жизни одного или двух людей. Кроме того, — он опустил глаза, — Иэн верил, что это очень нужно людям... Я должен закончить за него эту работу... Только этим я мог бы искупить... хотя знаю, что ничто никогда не исправит того, что я сделал...

— Хотелось бы вам верить, профессор, — сказал Паркер. — Вы больше ничего не хотите мне сказать?

— Я ничего больше не знаю... Ах да, после ужина ко мне подошел молодой Дэвис и попросил поговорить с ним, но потом в парке он меня не нашел и теперь, когда я вернулся, он постучал ко мне. Это было примерно в половине одиннадцатого, за несколько минут до прихода Гастингса. Дэвис очень волновался и просил меня о чем-то... Кажется, ему нужна была тысяча фунтов. Но я был в таком состоянии, что сразу же отказал ему и постарался выпроводить. Теперь я очень жалею об этом, потому что располагал такой суммой и мог бы его выручить. Это порядочный парень...

— А потом вы уже не видели его?

— Нет.

— Возвращайтесь к себе, господин профессор, и очень прошу вас не выходить из дома. Вы можете еще понадобиться нам.

Спарроу встал и двинулся к двери. Потом остановился.

— Но... — он колебался, подбирая слова, — то, что я сказал, должно остаться... это ведь останется между нами, правда?

— Мы не занимаемся разглашением частных секретов, господин профессор, — сухо сказал Паркер. — А кроме того, я хочу, чтобы вы помнили: как мистер Алекс, так и я, — мы были друзьями Иэна Драммонда. И, как вы знаете, настоящих друзей у него было мало.

Гарольд Спарроу вышел с опущенной головой.

Продолжение следует.

Перевод с польского Роберта СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО при участии Владимира КУКУНИ.

КИРИЛЛ МЕЛЬНИК

Творческий подвиг художника

В каждой стране есть люди, которые оставляют глубокий след в ее истории. О них помнят, ими восхищаются. Они являются гордостью государства, примером для подражания. Их труд и подвиг вдохновляют современников на достижение новых высот, задают ориентиры для будущих поколений. Таких людей называют героями.

Герой Беларуси — высшая степень отличия в Республике Беларусь. Это звание присваивается указом Президента за исключительные заслуги перед государством и обществом только один раз. Лицам, удостоенным звания «Герой Беларуси», вручается знак особого отличия — медаль Героя Беларуси. Впервые звание Героя Беларуси было присвоено 21 ноября 1996 года указом Президента Республики Беларусь подполковнику авиации Карвату Владимиру Николаевичу (посмертно): «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». В настоящее время этого высокого звания удостоены 11 граждан Республики Беларусь.

Наша новая рубрика — о них.

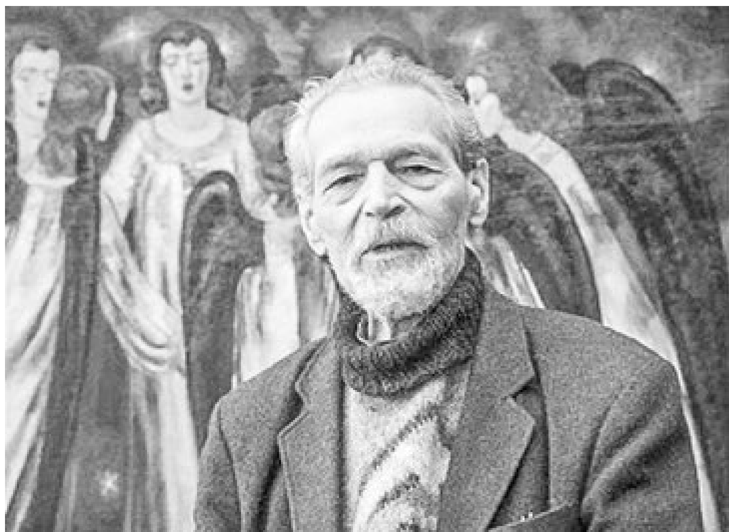
От редакции

Жизнь и творчество Героя Беларуси, народного художника СССР и БССР, действительного члена Российской академии художеств и Национальной академии наук Беларуси, лауреата государственных премии СССР и Беларуси Михаила Андреевича Савицкого обычно анализировались в публицистических работах. В качестве предмета научных исследований они выступали довольно редко. А материала для подобной работы более чем достаточно. Автор этой статьи непосредственно общался с Михаилом Савицким, изучал материалы личного архива художника, хранящиеся в Музее истории города Минска. И как итог — публикация, в которой рассматриваются проявления особенностей белорусской советской живописи в творчестве этого выдающегося художника.

Источники вдохновения

Родился Михаил Савицкий в православной старообрядческой белорусской семье 18 февраля 1922 года в деревне Звенячи ныне Толочинского района Витебской области. Она находится около маленькой железнодорожной станции Коханово. Это определяло особый жизненный уклад ее жителей. Отец художника, Андрей Петрович Савицкий, работал на железной дороге ремонтным рабочим. Еще до революции купил с долгосрочной выплатой избу и три десятины земли. В 1929 году вступил в колхоз. Мать, Анна Константиновна Савицкая, была колхозным пчеловодом и признанной повитухой, а еще мастерицей на все руки — пряла, ткала и шила на загляденье. В школу будущий художник пошел в 1930 го-

ду. В комсомол вступил, когда учился в седьмом классе. В том же году его избрали секретарем комсомольской организации колхоза, который в то время носил имя В. Куйбышева. Как сообщает Михаил Савицкий в автобиографии, вскоре он был избран и членом Толочинского райкома комсомола, что свидетельствует о его активной общественной позиции уже в раннем юношеском возрасте[1].



Михаил Савицкий.

Детские впечатления о деревенской жизни и труде легли в основу таких произведений художника, как «Льноводы» (1962), «Беление полотна» (1965), «Хлебы» (1968), «Возращение. Толочинские льноводы» (1986) и др. Более того, понимание жизни, интересов, радостей и бед крестьянина, которые мы видим во многих зрелых произведениях автора, безусловно, было определено тем, что художник вырос в крестьянской семье.

Кохановскую среднюю школу Савицкий окончил в 1940 году. В сентябре этого же года его призвали в Красную Армию. Служил в Ростове-на-Дону, Новороссийске. Великая Отечественная война застала Михаила Андреевича на полигоне Грозненской авиашколы. В числе красноармейцев второго года службы он был направлен в город Махачкала на формирование стрелковой дивизии. В ноябре в составе указанной дивизии был высажен десантом в Севастополе, где участвовал в 250-дневной обороне города. В феврале 1942 года был назначен заместителем командира отдельного батальона связи по комсомолу. После сдачи Севастополя немцам 30 июня 1942 года попал в плен. В 1942—1945 годы был узником фашистских лагерей — 326-го шталага, лагеря военнопленных в Дюссельдорфе, концентрационных лагерей Бухенвальд, Дора-Миттельбау, Дахау. Освобожден американскими войсками лишь 29 апреля 1945 года.

Безусловно, те испытания, которые перенес Савицкий за три года немецкого плена, сыграли значительную роль и в становлении его характера, и мировоззрения. Уже будучи зрелым мастером, он заметил: «Меня быть художником научили концлагеря. Там я увидел, какой бывает жизнь. Увидел зло, которому человек должен противостоять, потому что он — человек. Именно эту мысль всю жизнь стараюсь зримо воплотить на полотнах».

После репатриации служил в Советской Армии. Демобилизовался в 1946 году. Дома Михаил узнал, что на фронтах войны погибли старшие братья Алексей, Иван и Владимир. Вскоре умер и отец. Мать надолго пережила его, умерла в 1971 году.

После демобилизации Михаил Андреевич переезжает в Минск, где в 1947 году поступает в Минское художественное училище, которое досрочно заканчивает в 1951 году. В 1950 году женится на Маргарите Захаровне Денисовой. Спустя год после окончания художественного училища поступает в одно из лучших высших учебных заведений СССР, дававших профессиональное художественное обра-

[1] Здесь и далее сведения биографического характера о М. А. Савицком приводятся по документам, хранящимся в Музее истории города Минска.

зование, — Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, где обучается на протяжении шести лет. Мастерством овладевал под руководством известного московского живописца Николая Константиновича Мочальского (1908—1988). Следует отметить, что Савицкий получил не только художественное образование, в то время в институте преподавали видные советские художники, но и оказался в необходимой ему столичной творческой атмосфере, которая способствовала быстрому развитию его таланта.

После защиты в качестве дипломной работы художественного полотна «Песня», не поддавшись на уговоры остаться в Москве, вернулся в Минск, где жил и работал до конца своих дней. 1957—1963 годы — достаточно сложный период в его жизни и, соответственно, творческой биографии. Художник искал свой путь в искусстве, стремился найти и круг своих тем, и форму их выражения. В эти годы семья Савицких испытывала определенные финансовые трудности, поэтому художник помимо работы над картинами создавал иллюстрации для различных изданий. О необычайно широком творческом диапазоне художника можно судить, к примеру, по его иллюстрациям к детскому изданию произведений Михаила Машары «Зеленушка и Крякотушка».

После создания знаковых произведений «Партизаны» (1963) и «Партизанская мадонна» (1967), которые стали итогом его поисков после обучения в институте, творчество художника постепенно начинает получать широкое признание. С этого же времени Савицкий активно участвует в республиканских и международных художественных выставках. В 1964 году у Михаила Андреевича и Маргариты Захаровны рождается сын Андрей; свое семейство он запечатлел в известной картине «Семья» (1980), также в работах «Рита и Андрей» (1965), «Рита и Андрей» (1969), «Рита и Андрей» (1981).

В последующие годы и практически до последних дней жизни его биография — это ряд художественных достижений, признание его заслуг, отмеченных высокими наградами. 1970—1980 годы — пик творческой активности мастера. В это десятилетие он создает много художественных произведений, которые можно причислить к выдающимся достижениям советской живописи. В числе картин данного периода серия «Цифры на сердце», купаловский цикл.

Творчество Савицкого приобретало все большую популярность, и фактически к 1970-м годам он становится одним из самых значительных белорусских художников. В 1972 году ему было присвоено звание «Народный художник БССР», а в 1978-м — «Народный художник СССР». После создания цикла «Цифры на сердце» интерес к его творчеству стали проявлять в самых разных уголках Советского Союза и других странах.

После распада Советского Союза в 1991 году и фактически угасания соцреалистического направления в искусстве, в котором преимущественно работал Савицкий, художник вынужден был решать новые творческие и жизненные задачи. Во времена перестройки увлекся распространенным в тот период реформаторским настроением. Но в его публицистическом наследии нет слов о необходимости развала СССР, «парада» суверенитетов и т. д. Более того, он был противником распада великого государства. Также надо учитывать, что происходили изменения и в мировоззрении мастера. В 1990-е годы он открыто высказывался о своей православно-христианской ориентации. Одновременно одобрительно относился к социально-политическому курсу нынешней Республики Беларусь. В 1990-е годы основным направлением его творчества стало отражение новых общественных реалий, использование метода аналогий с известными библейскими сюжетами.

В постсоветское время, когда происходили существенные изменения в культурной жизни Беларуси, одной из центральных тем для размышлений и дискуссий Савицкого стала оценка современного искусства. Фактически он не принял эстетики постмодернизма, с большой осторожностью относился к модернистским художественным течениям начала XX века. За этой позицией стояли и его

жизненный опыт, и его мировоззрение. Надо понимать, что Савицкий — выходец из старообрядческой семьи. Поэтому ориентировка на исконно русскую культурную традицию, а не на привнесенную извне или заимствованную западную, была для него естественной во все периоды творчества. Художник отмечал высокий уровень белорусских мастеров, ориентированных преимущественно на национальную и русскую культуру, и одновременно, по мнению С. Харевского, «паслугоўваючыся поўным даверам савецкіх уладаў», негативно отзывался о произведениях художников некоторых иных творческих направлений, в том числе о работах своего выдающегося земляка Марка Шагала. С нашей точки зрения, такую позицию художника можно расценивать и как последовательность в выборе творческих примеров.

Последнее десятилетие жизни Савицкого проходило в активной общественной и творческой работе, хотя возраст и проблемы со здоровьем давали о себе знать. Художник работает над философскими, аллегорическими, историческими и бытовыми полотнами. Последнее монументальное произведение на тему детского лагеря на территории оккупированной Беларуси во времена Великой Отечественной войны осталось незавершенным.

В 2006 году за исключительные заслуги в культурном и социальном развитии Республики Беларусь ему было присвоено звание Героя Беларуси.

Михаил Андреевич Савицкий умер в 2010 году на восемьдесят девятом году жизни. А в 2012 году в Минске была открыта Художественная галерея Михаила Савицкого.

Путь к профессиональному мастерству

Многие ранние произведения художника не дошли до нас, а значительная часть сохранившихся до недавнего времени была практически неизвестна исследователям. В 2015 году стал доступен для изучения большой архив ученических произведений мастера. В Минском художественном училище Савицкий получил хорошую профессиональную подготовку, которая позволила ему поступить в художественный институт имени Сурикова. Следует отметить, что училищные портреты Савицкого, которые писались с натурщиков под руководством опытных преподавателей, выходят за рамки ученических произведений. Это подлинные портреты, свидетельствующие о том, что уже в ученические годы он, не ограничиваясь только техническими задачами, стремился передать личность портретируемого.

Важным этапом профессионального становления М. А. Савицкого стала учеба в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова. По воспоминаниям Савицкого, среди педагогов института наибольшим авторитетом пользовались такие крупные советские художники, как Александр Дейнека, Сергей Герасимов, Дмитрий Мочальский. Последнего Савицкий на протяжении всей жизни считал своим учителем. Мочальский, которого называли романтиком периода «оттепели», — мастер жанровой картины, основной темой его работ является повседневная жизнь современников. Он запечатлевал человека без ложного пафоса, а также помпезных трактовок, в моменты труда и отдыха. Савицкий говорил: «Мои взгляды на мир формировались под большим влиянием Мочальского Дмитрия Константиновича». Учитель не только передал профессиональные навыки, но и умение видеть жизнь, выбирать для изображения главное и характерное, более того, как говорил Савицкий, именно Мочальский научил его творчески мыслить.

О высоком уровне профессионализма московских работ Савицкого можно судить, опять-таки, по архиву художника. Умение изобразить обнаженную натуру, владение академическим рисунком и композиционным мастерством — все это успешно осваивалось им на протяжении пяти лет. Примечательно, что известный

советский художник и ректор института в те годы Федор Александрович Модоров, вспоминая выпускников института, говорил о Савицком: «Этого прекрасного белоруса ждет большое будущее как живописца».

Дипломная работа Савицкого «Песня», написанная в 1957 году, является его самой ранней полномасштабной картиной. В ней тридцатипятилетний художник показал свое профессиональное мастерство и художественное мышление. В сюжете возвращения колхозной бригады с сенокоса молодой мастер воплотил образы своей родной деревни Звенячи довоенного времени. Характерное явление повседневной жизни белорусской деревни — песня. Савицкий говорил о ней так: «Я вырос с этими звуками, и в жниво, и в сенокос, то есть на протяжении всего этого периода звучит эта белорусская песня. Такая заунывная мелодия, она все время всюду в воздухе звенит и звенит, не прекращаясь». С одной стороны, картина выполнена в рамках московской академической художественной школы и вместе с тем в стиле соцреализма 1950-х годов. С другой стороны, работая над ней, Савицкий-выпускник проявил подлинное колористическое мастерство и большую техническую виртуозность. Все произведение создано корпусными уверенными мазками. Картина была высоко оценена Государственной экзаменационной комиссией, и Савицкий получил диплом с отличием.

Первые картины Савицкого, уже профессионального художника, написанные в Минске, весьма разнородны. Поначалу он пробует свои силы в разработке военной и партизанской тем: «Лавский бой» (1957), «Честь долгу» (1958), «Переход чехословаков в партизаны» (1961). Данные работы выполнены в лучших традициях белорусской живописи 1950-х годов. Однако в них еще просматривается робкая повествовательность, пересказ сюжета языком живописи. Нет в них еще и той характерной для зрелого Савицкого интенсивности художественной формы, экспрессивной образности в решении драматических тем. Даже аллегорического плана картина «1941 год» (1961) слишком прямолинейна, художник не подобрал нужных образов и композиционного решения для раскрытия поставленной большой задачи.

Также Савицкий стал осваивать темы повседневной жизни и труда своих соотечественников: «Разговор» (1958), «У переезда» (1958), «Лявониха» (1959), «Соцобязательство» (1960), «Хлеб» (1962), «На картофельном поле» (1962), «Стелют лен» (1962) и др. В центре внимания этих во многом еще незрелых работ — обычный советский человек, его повседневная жизнь, о которой Савицкий стремится рассказывать уважительно и искренне. В этих работах можно обнаружить влияние живописи Д. К. Мочальского с ее светлым, насыщенным колоритом и виртуозным рисунком. Это отчетливо видно в картине «Лявониха» (1959), которая после реставрации в 2011 году стала доступной для зрителей. В этой работе молодой художник решил достаточно сложную задачу, организовав композицию на тему танца в длинном горизонтальном формате. На картине изображено эстрадное выступление: на сцене парами исполняется белорусский народный танец «Лявониха». Нижний «обрез» картины усиливает ощущение движения первой пары на зрителя. Удивительно насыщенная цветовая гамма картины гармонична и не создает ощущения пестроты.

В 1960 году художник пишет монуметальное полотно «Соцобязательство» размером 150 на 300 сантиметров. Хотя в картине присутствует определенная постановочность и театральность, в ней передана атмосфера 1960-х годов — времени, когда страна активно развивалась и устремлялась в будущее. Несмотря на то, что и тема картины, и ее решение были официального плана, Савицкий проявил себя как художник, который может решать сложные художественные задачи. В этой монументальной работе есть и выверенная композиция, и уверенный рисунок, и колористическое богатство.

В первые годы после окончания института Савицкий не только работал, основываясь на полученных навыках и знаниях, но и искал свой художественный язык, стремился к новым открытиям. Как-то художник отметил: «Однако

же первые написанные после института картины развеяли мои надежды сразу «сделать», так сказать, тему. Пришлось вновь и вновь учиться». О творческих поисках художника свидетельствует написанная в 1962 году картина «Мать партизана». Работа относится к необычным для белорусской живописи начала 1960-х годов художественным полотнам. Язык ее во многом условный, художник использовал экспрессионистическую заостренность форм и композиции, чтобы передать трагизм момента. Все, что мы видим на полотне, — это виселица справа, неподвижно сидящая мать, линия земли и луна. Один из двух главных героев картины не изображен, его уже нет в живых.

В 1962 году художник пишет картину «Хлеб», которая, как нам представляется, близка к зрелому творчеству Савицкого. На полотне, где изображена обычная советская семья, есть и определенная повествовательность, и образность, и обобщение. Есть все основания считать, что эта работа основана на личных воспоминаниях о его родном доме в деревне Звенячи. Михаил Андреевич отмечал, что в его родительском доме царил культ хлеба, зерна. Мать любила печь хлебы и караваи, которые получались душистые, зажаристые. Такими они и изображены на многих холстах художника, в том числе на этом. «Перед нами, — пишет С. Климентенко, — мирная сцена из сельской жизни: молодая хозяйка бережно кладет на стол только что выпеченные хлебы. Спокойное достоинство и гордость за свой труд, счастье чувствовать себя хозяевами на земле разлиты на лицах, в фигурах женщины и ее мужа, положившего рядом с хлебами усталые рабочие руки... Простая бытовая картинка вырастает в большое художественное обобщение».

«Цифры на сердце»

Исследователь творчества Михаила Савицкого Борис Крепак, рассматривая картину «Песня» (1957), писал: «Большая метафора и глубокая аллегория придет в живопись Савицкого позже, примерно через десятилетие». Действительно, в 1963—1967 годах происходит активный творческий рост художника, он находит и круг своих тем, и вырабатывает свой художественный язык, где важнейшее место занимают метафора и глубокая аллегория.

Творчество мастера этого периода вполне характерно для белорусской советской живописи 1964—1985 годов. По нашему определению, это время усложнения творческих подходов и тематического обогащения живописи. Закономерно, что Савицкий заимствовал некоторые приемы у разных мастеров искусства XX века, а также использовал монументальные, декоративные, графические изобразительные средства. Эта направленность перенимать разные стилистические приемы стала типичной для белорусской советской живописи с 1964 года.

В 1960—1970 годы художник сосредоточился на теме партизанской войны. Несмотря на то, что создание картин, ее раскрывающих, заняло большой промежуток времени (1961—1980 годы), они составляют определенную серию. В ней художник раскрыл тему народного сопротивления не только в героико-оптимистическом ключе, но и показал трагическую судьбу человека, драму народа. Сам Савицкий отмечал: «Наиболее серьезные работы белорусских художников 60—70-х годов очевидно выходят за рамки официального, политического понимания войны и ее значения в судьбе Белоруссии. Это характерно и для полотен Г. Ващенко, эти задачи ставил перед собой и я».

Партизанский цикл составляют следующиие работы художника: «Раненый партизан» (1961), «Мать партизана» (1962), «Партизаны» (1963), «Оршанские партизаны» (1966—1967), «Партизаны. Блокада» (1967), «Витебские ворота» (1967), «Партизанская мадонна» (1967), «Казнь» (1968), «Легенда о Минае Шмыреве» (1968), «Клятва» (1969), «Убийство семьи партизана» (1972), «Мать партизана» (1972), «Плач о павших героях» (1974). К этому циклу можно также добавить написанное позднее, в 1980 году, полотно «Уходящая в ночь».

Перечисленные полотна разнородны как в плане техники и стилистики, так и в плане решения темы. В одних доминирует повествовательное начало — «Раненый партизан», «Плач о павших героях», «Витебские ворота», в других преобладает образная, метафорическая основа — «Партизанская мадонна», «Казнь», «Мать партизана». Также в этих картинах можно заметить влияние «сурового стиля» в аспекте художественных средств выражения: обобщение и упрощение формы, монументализация и ритмизация композиции и др.

Поворотным произведением в творчестве Михаила Савицкого стала картина «Партизаны» (1963), входящая в партизанскую серию. Сам художник говорил: «Я стал художником в сорок лет — после картины «Партизаны». После нее я решил, что могу делать работы». С 1963 года мы и будем отсчитывать период его зрелого творчества. Картина «Партизаны» и простая, и сложная одновременно. Сцена прощания изображена таким образом, что зритель понимает, что всего несколько мгновений отделяют старика-партизана на первом плане от того мгновения, когда он расстанется с близкой, родной ему женщиной и отправится с другими солдатами, изображенными на втором плане, в путь, возможно, последний. Картина «Партизаны» — своего рода итог пройденного жизненного пути. Савицкий написал ее уже в возрасте сорока лет. Произведение поражает своим внутренним напряжением, заложенным и в драматургии, и в пластическом решении полотна. «Вневременная ритуальность действия, — отмечала О. Костина, — усилена динамикой конкретно-временного мотива — группа партизан справа запечатлена в то самое мгновение, когда она словно вот-вот уйдет из поля зрения». Хотя картина невелика по размеру, благодаря четко очерченным массам фигур в сероватом пространстве и уверенно положенным мазкам, она кажется по-настоящему монументальной. «Драма самой жизни, — писала Э. Н. Пугачева, — очищенная от бытовых, случайных моментов, предстала в картине духовной сущностью».



«Партизанская мадонна».

В полной мере талант Савицкого раскрылся и в трагическом полотне «Партизаны. Блокада», тема которого — похороны партизанских детей. Язык живописи во многом условен, напоминает характерную геометризацию форм кубистами, колорит практически монохромный. Жесткие линии, тяжелые черные тени усиливают трагизм картины. На полотне у людей на месте глаз пустые глазницы, в кото-

рых застыло великое горе. Если бы картина была полностью прописана в реалистическом ключе, то у зрителя появилось бы желание вглядываться в детали, что в данном случае не соответствовало замыслу художника.

Одним из важнейших достижений мастера стала созданная в 1967 году картина «Партизанская мадонна». Не будет преувеличением сказать, что эта картина знаковая для всей партизанской серии, она вошла в сокровищницу подлинного народного достояния. Эта работа принесла художнику всенародную известность. Картина была отмечена серебряной медалью Академии художеств СССР и с того времени неизменно завоевывает признание все новых поколений зрителей. Репродукции с «Партизанской мадонны», хранящейся в Третьяковской галерее в Москве, печатались тысячами экземпляров в энциклопедиях, журналах, альбомах. В 1983 году были выпущены почтовые марки с репродукцией этой картины.

Глядя на «Партизанскую мадонну», часто вспоминают произведение Кузьмы Петрова-Водкина «1918 год в Петрограде». Если Петров-Водкин впервые в советском искусстве создал возвышенный образ матери-пролетарки, то Савицкий первым — образ матери-партизанки. Ассоциации с произведением Петрова-Водкина вызывают и композиционные, и цветовые приемы. «Поэтика произведения, — пишет О. Костина, — раскрывается в процессе активного воздействия его пластической структуры — стройного ритма круглящихся холмов, драматической напряженности цветовой гаммы с доминантой в ней красного и охры, сферичности пространства, организующей замкнутую целостность картины и выводящей образное содержание полотна на широкий, «планетарный» уровень». Трагизм и одновременно героизм изображенного на картине момента исторической судьбы белорусского народа, безусловно, усилены противопоставлением, с одной стороны, сурового окружения мадонны, а с другой — «возносящегося» надо всем этим образа матери, кормящей своей грудью ребенка.

Как нам представляется, картина «Партизанская мадонна» — это не только образ республики-партизанки, вставшей всем миром — от мала до велика — на свою защиту от внешнего порабощения. Одновременно она представляет собой художественное воплощение применительно к белорусам православно-христианской традиции «обожествления» человека. Согласно этой традиции, изначально составляющие человеческую природу черты «образа и подобия» Божия могут проявиться в процессе осуществления человеком предустановленного Богом способа жизнедеятельности. Названием картины, ее сюжетом, каждой деталью художник показывает «богоугодность», т. е. праведность, всех тех дел, которыми заняты изображенные на ней люди. Очевидно, что высшая степень «обожествления» человека представлена в ней образом молодой женщины с младенцем на руках, которая, исходя из названия картины, уподобляется художником самой Богоматери. В целом картина является образом белорусского народа в момент переживания им одного из самых судьбоносных моментов своей истории.

Мы полагаем, что картину «Партизанская мадонна» можно рассматривать и как ключ к пониманию сущности мироощущения, а значит, и истоков художественных особенностей творческого метода М. А. Савицкого. В связи с характером мировоззрения художника следует вспомнить, что первые его жизненные смыслы формировались в старообрядческой православной среде. Отец его был сознательным старообрядцем, поскольку являлся церковным старостой, а после закрытия церкви пошел на риск, храня на чердаке своего дома иконостас. Красноречивым является и тот факт, что отец приобрел репродукцию картины В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» (по другому свидетельству Савицкого — «Боярыня Морозова»), которая оставила глубокий след в сознании мальчика — будущего художника. Не сомневаемся, что, став профессиональным художником, Савицкий разобрался в отличиях между византийско-православной и римско-католической христианскими традициями, а значит, и в различиях православной и западной цивилизаций. Все это и предопределило такую особенность его творческого

метода, как синтез социалистического реализма и приемов русской религиозной живописи для выражения социальных явлений несакрального характера. Причем, как считают теоретики, использование художником приемов религиозного искусства или библейских сюжетов в качестве средств отображения явлений светского характера отнюдь не превращает его произведение в объект сакральных действий. Мировоззренческой направленностью Савицкого объясняется и его стойкое неприятие авангардистских и постмодернистских художественных направлений и стилей как порожденных западной цивилизацией.

В 1968 году художник пишет работу «Комсомольцы». Картина имеет драматическое содержание и соответствующее ему композиционное решение, которое является находкой Савицкого. На картине изображен эпизод Великой Отечественной войны. Мы видим стену здания на оккупированной территории, двух парней и девушку, расклеивающих антифашистские листовки. На стене отчетливо видны и следы только что выпущенной по ним автоматной очереди. Расстрелы в изобразительном искусстве отображали с давних времен. К примеру, можно назвать картины Ф. Гойи «Расстрел повстанцев в ночь на третье мая 1808 года», Э. Мане «Казнь императора Максимилиана», В. Маковского «9 января 1905 года на Васильевском острове» и др. Оригинальность картины Савицкого, в частности, заключается в соединении реалистических и экспрессионистических средств выражения. На полотне фигуры кажутся неустойчивыми, окружающее пространство также выглядит «пошатнувшимся», эмоциональную роль играет и достаточно резкая цветовая гамма.

Период творческого расцвета Савицкого относится к 1970-м годам. В течение этого десятилетия им было создано более сорока выдающихся полотен, в числе которых и цикл картин «Цифры на сердце». Его стиль становится максимально выразительным, обретает уверенный профессионализм. Можно сказать, в портрете, бытовом, историческом жанрах художник достиг определенного совершенства.

В 1970 году Михаил Савицкий пишет полотно «Единодушие», с которого начинается отсчет его живописной ленинианы. В плане художественного языка данная работа практически авангардная. Художник соединяет действительность конкретного момента, а именно изображенного на ней выступления В. И. Ленина перед народом после подписания первых декретов Советской власти в 1917 году, и элементы, выпадающие из целостной реалистической ткани изображения. Картина полна символики, которая требует своего прочтения. К примеру, Э. Н. Пугачева дает следующее ее толкование: «Изображения в фоне символизируют три основные исторические силы революции: как бы заточенного в тюрьму капитализма пролетариата (старый завод в центре), восставшего крестьянства (фигура слева), а также солдат царской армии, бросающих оружие и переходящих на сторону трудового народа». Также и цвет в работе скорее служит не для изображения предметного мира, а для выражения идей.

Картина «Единодушие» настолько необычна, что зрителями была встречена неоднозначно. Сын художника Андрей Савицкий увидел в ней своего рода вызов официальной трактовке темы Ленина и Октябрьской революции. В своей статье «О портрете» он писал: «...В этой работе Савицкий решал революцию как катастрофу, трагедию и хаос, а Ленина как тирана, деспота, диктатора... Эту «нестандартную» трактовку — превращение «кремлевского мыслителя» и «доброго дедушки» в сурового властителя — отметили. Снять работу с выставки не посмели, но и без «профилактических бесед» не обошлось». На наш взгляд, нет оснований трактовать эту работу как антиреволюционную, скорее художник стремился без приукрашивания передать сложность переломного исторического времени. Синтетическим и аллегорическим также является написанное годом позже полотно «Большевик» (1971).

«Ленинская» тема заняла в творчестве Савицкого 1970-х годов значительное место, на что была одна важная причина. В 1970 году по всей стране широко отме-

чался 100-летний юбилей Ленина. Практически все советские художники стремились запечатлеть его в своих произведениях. Обширная лениниана Савицкого включает в себя, на наш взгляд, картины разного уровня. К лучшим из них следует отнести «30 августа 1918 года» (1972), «Первые декреты» (1977). Более сдержанны и официально-традиционно выполнены полотна «В. И. Ленин. 1920 год» (1976), «В. И. Ленин в рабочем кабинете» (1976), «В. И. Ленин. 1922 год» (1976), «В. И. Ленин. 1918 год» (1976), «Ленин в Горках» (1976), «В. И. Ленин» (1977), «Военно-революционный центр» (1980). Несмотря на многие художественные находки и положительные качества работ второй группы ленинианы, они не занимают важного места в творчестве Савицкого. К такому же выводу пришел и Борис Крепак, который писал, что большое количество портретов Ленина, написанных за 1976—1977 годы, сказалось на их качестве.

Картина «Семья» (1970) представляет собой единственный семейный портрет в творчестве художника. Если вспоминать семейные автопортреты мастеров прошлого, а также художников XX века, то затруднительно будет найти в них горизонтальную композицию, похожую на эту. Используя традиционный сюжет семейного портрета, Савицкий выступает новатором. Зритель как бы является случайным наблюдателем обыденного семейного времяпрепровождения, но в то же время он свободно проникает в психологию изображенных лиц. Единственным персонажем, по-детски доверчиво смотрящим на зрителя, является маленький сын художника, с которым связаны надежды родителей.

Художник во все периоды своего творчества обращался к теме земли-матери, земли-кормилицы, вознаграждающей людей за их труд. Эта же тема звучит в монументальном произведении «В поле» (1972). На свежеубранном хлебном поле стоят пять советских крестьян, каждый из которых сосредоточенно думает о чем-то своем. На вопрос Первого секретаря ЦК КП Белоруссии П. М. Машерова «О чем же думают ваши крестьяне на картине?» Савицкий ответил: «О том, как жить дальше». Таким образом, художник изобразил людей, размышляющих о труде хлебороба, показал их преданность созидательной работе на земле. В полотне сдержанный и гармоничный колорит, практически вся поверхность картины решена в охристых, золотистых и коричневых оттенках. Золотой цвет хлебного поля приобретает под кистью Савицкого особую красоту и выразительность. Картина характеризуется простой и монументальной композицией, красотой лаконичных линий, пластической завершенностью форм.

Написанное в 1974 году полотно «Куст роз» продолжает серию мадонн с заложенным в них размышлением о сущности материнства, о радостях и тревогах жизни, о бессмертии добрых, или божественных, начал в человеке. Идея материнства объединяет действующих лиц произведения: две девушки слева — это будущие матери, а пожилая женщина справа — это уже состоявшаяся мать. Более того, картина содержит размышление о продолжении человеческой жизни в лице нового поколения. Художник несколько условно изображает куст, который приобрел сферическую форму, тем самым усиливая ощущение целостности и завершенности. Сам Савицкий в разговоре с художником Н. А. Опиоком относительно данной детали заметил, что «этот куст чем-то похож на всю землю, которая покрывается розами — маленькими детьми, а в целом пусть каждый понимает эту работу по-своему»[1]. Савицкий достигает удивительной колористической гармонии, используя многослойную живопись. Нежные переливы золотистых и коричневых тонов усиливают возвышенное содержание картины. К теме данной картины художник возвращался еще раз, более двадцати лет спустя: существует еще два варианта «Куста роз», написанные в 1996 году.

В 1974 году Савицкий пишет картину «Поле», которая, по его собственному признанию, стала одной из самых дорогих ему работ[2]. «Поле» — это эпос

[1] Из личной беседы автора статьи с Н. А. Опиоком.
[2] Из личной беседы автора статьи с М. А. Савицким.

о священной борьбе за свою землю, на которую позарились фашистские захватчики. Можно сказать, ее сюжет явно носит обобщенно-образный характер. Вряд ли немецкие солдаты двигались бы так хаотично на линии фронта — здесь все образно и метафорично. Приведем характеристику, которую дал этому полотну российский искусствовед С. М. Иваницкий: «...Художник обращается к помощи метафоры, выразительной пластики: так, убитый захватчик на первом плане, благодаря только пластической характеристике (выражение лица художник не показал — немец уткнулся лицом в землю), воспринимается как осквернитель чужой земли (в тупой ненависти он вонзил в нее нож), а рядом лежащий молодой советский боец — плоть и кровь этой земли, и он словно прильнул к ней, как к родной матери, и над печальным шатром сомкнулись упругие колосья пшеницы. Именно благодаря точному построению композиции, а также использованию метафоры полотно и обрело свой смысл.

1978 год в творческой биографии Савицкого отмечен созданием широко известного полотна «Партизанская мадонна Минская». Уместно будет упомянуть, что картина создана по просьбе Елены Васильевны Ладовой, которая являлась директором Государственного художественного музея Беларуси в 1944—1977 годах. Она обратилась к Савицкому с предложением сделать копию с «Партизанской мадонны» 1967 года для белорусских зрителей, однако он отказался. Только после того как Асадова предоставила ему старинную резную раму для будущей работы, Савицкий согласился написать второй вариант картины. Обе картины во всех отношениях равноценны. Структура композиции «Партизанской мадонны Минской» практически повторяет «Сикстинскую мадонну» Рафаэля, и эта связь, на наш взгляд, придает картине Савицкого еще большую выразительность. В ней нет ничего случайного, каждая фигура в практически симметричной композиции находится на своем месте. Мать с ребенком, старуха, старик предстают на полотне собирательными образами. Как и предыдущий вариант, картина является своего рода олицетворением Беларуси времен Великой Отечественной войны.

Произведение «Хлеб нового урожая» (1979) посвящено сельскому празднику, связанному с завершением осенью основных уборочных работ. Праздник в советское время имел различные названия — «День урожая», «Праздник урожая», «Хлеб нового урожая» и другие. Образная и колористическая ткань картины пропитана духом классического искусства. Симметричная композиция, использованная художником, позволила подчеркнуть торжественность события. Уверенной кистью Савицкий выявляет красоту и одухотворенность людей, занятых сельскохозяйственным трудом. Смысловым центром картины является новоиспеченный хлеб, который возведен на уровень символа жизни. С неподдельным почтением относится художник, изведавший в юные годы в немецком плену голод, к бесценному богатству — хлебу. На протяжении всего творчества из картины в картину переходит размышление Савицкого о хлебе и людях, его создающих. Выполненная на высоком техническом уровне картина «Хлеб нового урожая» наполнена особым возвышенным смыслом, ее можно смело отнести к классике советского искусства.

В 1974—1979 годах художником был создан цикл из шестнадцати работ «Цифры на сердце», представляющий собой уникальное явление в истории не только белорусской, но и мировой живописи. На протяжении долгого времени Михаил Андреевич вынашивал замысел о создании серии картин о пережитом им в немецких концлагерях. И только спустя почти тридцать лет после окончания войны он взялся за его реализацию.

В личном письме Савицкому известный советский искусствовед В. М. Зименко писал: «Вне сомнения, Вы, естественно, не единственный художник, который мог в трагической эпопее о войне использовать фонд живых, личных воспоминаний. Но Вы — один из немногих, кто дерзнул конкретные и жесточайшие факты недавней истории поднять до высокого поэтического обобщения, в кото-

ром слышны и драматические гармонии реквиема, и тревожно-гневные призывы набата, и страстные всплески разящего сарказма».

Нам представляется справедливым назвать факт создания этой серии творческим подвигом художника. Савицкий сумел посредством живописи рассказать о самых трудных испытаниях советского народа, обратившись к личной памяти о пережитых тяжелых событиях своей молодости. Здесь уместно будет привести еще одну выдержку из письма Зименко, в которой дается оценка рассматриваемым картинам: «Как человек и художник-гражданин Вы достигли выдающегося успеха в главном — создав картины-трагедии, несущие в себе боль истории, но утверждающие непобедимость доброго, человечного, прекрасного. Ваш яркий, мужественный талант раскрылся в новых гранях, несущих ценные творческие импульсы современному искусству. Ваша серия — достойный памятник мученикам и героям войны, страстное предостережение, направленное против вновь собирающихся сил фашизма и милитаризма, обращенное к народной памяти и совести живущих». Действительно, в цикле противопоставлены две силы истории: с одной стороны, невинные жертвы войны, с другой — злобно-жестокий фашизм. Это сопоставление, с предельной выразительностью обнаженное художником, придает картинам общечеловеческое значение, конкретное в цикле становится всеобщим.

Тринадцать картин цикла — «Побег», «Летний театр», «Поющие лошади», «Узник 32815», «Поющие коммунисты», «Отбор», «Танец с факелами», «Мадонна Биркенау», «Канада», «Эттерсберг — Гологофа XX века», «SOS!», «Надсмотрщик», «Проклятие» — были написаны в 1974—1979 годы, еще три — «Свобода», «Опознание», «Эти выжили» — закончены в 1987-м. Последние три работы по манере исполнения несколько отличаются от предыдущих, тем не менее все они вместе составляют целостную художественную серию. Савицкий избегает в ней как тематического, так и композиционного повтора (исключение в какой-то мере составляют полотна «Свобода» и «Эти выжили»), каждая картина и является необходимой частью всей экспозиции.

Исследователи изобразительного искусства расценивают этот цикл картин как одну из вершин в творчестве мастера не только по степени общественной значимости его тематики, но и по уровню его художественного исполнения. Рассмотрим тематические и художественные аспекты некоторых произведений цикла в отдельности.

В автопортрете «Узник 32815» (1976) Михаил Андреевич изобразил себя на фоне кованых ворот концентрационного лагеря Бухенвальд. Истощенный человек в полосатой робе заключенного выглядит гораздо старше своих двадцати двух лет, тем не менее он есть воплощение воли к жизни. Буквы К, Л на штанах означают — концентрационный лагерь, маленький красный треугольник с буквой R — русский политический, подвешенный жетон с цифрами — номер. Эти цифры были не только на жетоне и нашивке на одежде, они остались в сердце художника на всю жизнь. Именно поэтому Савицкий назвал весь цикл, который открывается данной работой, «Цифры на сердце».

Интересно, что за решеткой художник показал обобщенный темный фон: ни двор лагеря, ни линия горизонта не намечены. Таким способом усиливается впечатление, что он стоит перед входом в некое неопределенное зловещее пространство. В верхнюю часть ворот вмонтирована надпись «Jedem das seine» — «Каждому свое». Старинная латинская фраза получила у нацистов цинично-издевательский смысл, и в наше время она ассоциируется с Третьим рейхом.

Одно из самых сильных произведений цикла — «Летний театр» (1975) — Савицкий написал, опираясь на материал исторических кинохроник. Летний театр — так цинично называли нацисты ямы для сожжения тел убитых. В этой картине, имеющей симметричную композицию, с предельной точностью отображена сущность фашистских концлагерей. Погибшие люди в изображении художника напоминают поверженные статуи, тем самым на полотне увековечивается

их человеческая красота. Фашист, показанный на полотне, выглядит омертвевшим и духовно безобразным. Стоящий человек справа — узник из специальной зондеркоманды. Заключенные, которые в нее входили, за определенные преимущества помогали эсэсовцам в их «делах».

На картине «Поющие лошади» (1975) изображена сцена вывоза мертвых тел впряженными в телегу узниками. Это изобретение эсэсовцы называли «Поющие лошади». В действительности лямки раздирали кожу, больно врезались в измученных и истощенных людей. Картина, описывающая бесчеловечную реальность концлагеря, говорит зрителю о стойкости духа и воле, которые спасали жизни узникам.

«Поющие коммунисты» (1978) — картина, повествующая о демонстративной казни непокоренных узников, представляет собой величественный памятник мужеству советских людей. Сжигаемые на костре коммунисты поют, вероятнее всего, пролетарский гимн «Интернационал», являвшийся на тот момент и государственным гимном Советского Союза. Таким способом они в последние мгновения жизни отстаивают свое человеческое достоинство и одновременно демонстрируют свою непоколебимую уверенность в победе, в торжестве правого дела. На заднем плане под дулами автоматов свидетели казни — заключенные, жест их правых рук — знак солидарности с казнимыми. Важную роль в картине играет экспрессионистски решенное изображение неба, грозные очертания которого подчеркивают драматизм момента.

На полотне «Отбор» (1978) представлена сцена отбора в лагере смерти здоровых и красивых девушек для медицинских экспериментов. Те, кто не прошел отбор, а это матери, дети, беременные женщины, — расстреляны. Савицкий довел до предела контраст между обликом убийц и их жертв. Живые девушки выглядят беззащитными, одинокими и вместе с тем прекрасными среди жуткого пейзажа с рядами бараков, холмами трупов, мрачным небом и палачами в черных мундирах.

Картина «Танец с факелами» (1978) с особенной выразительностью показывает конкретное событие, но в то же время имеет метафорический подтекст. Сцену сожжения тел Савицкий показывает как некое демоническое действо: эсэсовцы с горящими факелами в руках, перед тем как разжечь костер, «забавляются» исполнением «ритуального» танца. Все это происходит в жутком пространстве с коричнево-черным небом и мертвыми телами на втором плане. Произведенние несет в себе идею, что никакое зло, в том числе концлагерь, не может запятнать красоту и достоинство человека. Сложенные среди грубых и тяжких бревен тела мужчин, женщин и детей несут печать нравственной чистоты и отрешенного спокойствия. Схожую мысль о содержании данной картины высказал упоминавшийся выше В. М. Зимиенко в письме к Савицкому: «Прекрасный человек остается таковым и после смерти — в памяти близких, в памяти общества. И пластические формы изобразительного искусства тактично и решительно утвердили эту важную мысль/чувство».

В концентрационном лагере Освенцим, известном также под немецкими названиями Аушвиц и Аушвиц-Биркенау (Auschwitz-Birkenau), погибло наибольшее колличество людей, в том числе женщин и детей. Произведение «Мадонна Биркенау» (1978) можно назвать живописным памятником всем детям и матерям, которые были замучены и сожжены в концлагерях. На полотне мы видим чернеющий силуэт крематория и словно парящую над ним мать с ребенком. Старые мастера подобным образом изображали на своих полотнах святых мучеников, вознесенных в небо и уже недоступных для сил зла. Прекрасны мать и ребенок — в небе они кажутся более действительными, чем объекты нижнего плана работы. У нижнего края картины как символ неуничтожимой жизни изображены прорастающие цветы.

В концлагере Освенцим словом «Канада» эсэсовцы называли группу заключенных, состоявшую из женщин, используемых в качестве прислуги, личных

рабов, а также в работе по сортировке конфискованных у прибывших арестантов личных вещей. На картине Савицкого «Канада» — место, где нацистские палачи складировали отобранные у узников ценности. На первом плане эсэсовцы подсчитывают прибыль (золотые монеты, драгоценности, церковную и бытовую утварь), на втором — охранники ведут узниц вместе с детьми в газовую камеру на смерть. В контрасте — между подгоняемыми овчарками обнаженными женщинами с детьми и самодовольными эсэсовскими офицерами — обнажена бесчеловечная суть фашизма.

В картине «Эттерсберг — Голгофа XX столетия» (1978) Савицкий сравнил гору Эттерсберг, находящуюся неподалеку от немецкого города Веймар, где был построен концентрационный лагерь Бухенвальд, с холмом в окрестностях Иерусалима, на котором был распят Иисус Христос. Здесь Савицкий вновь использовал ранее опробованный им прием «обожествления» человека, который в данном случае применил к каждому замученному нацистами узнику концлагеря. На картине изображен коридор бункера Бухенвальда, где были размещены одиночные карцеры, на решетчатой двери подвешен узник. С вырезанной и уже не кровоточащей звездой на груди он словно распят на металлических решетках. Его голова поднята, взгляд устремлен в какую-то неведомую высь, обессиленный и перенесший издевательства, он не покорен и не сломлен.

Савицкий как человек, испытавший на себе ужасы лагерной жизни, хорошо знал, что перед каждым узником вставала проблема выживания. Большинство заключенных оставалось в живых несколько недель или месяцев. Бывший узник концлагеря Освенцим, впоследствии знаменитый австрийский исследователь-психотерапевт Виктор Франкл писал: «Безвыходность ситуации, ежедневно, ежечасно и ежеминутно подстерегающая угроза смерти, близость смерти других — большинства — все это делало само собой разумеющимся, что почти каждому приходила, хоть и на короткое время, мысль о самоубийстве. Ведь более чем понятно, что в этой ситуации человек принимает в расчет вариант «броситься на проволоку». Этим повседневным лагерным выражением обозначался повседневный лагерный метод самоубийства: прикосновение к колючей проволоке, находящейся под током высокого напряжения. Конечно, негативное решение — не бросаться на проволоку — в Освенциме давалось без особого труда; в конце концов, попытка самоубийства была там довольно-таки бессмысленной. Среднестатистический обитатель лагеря в своих ожиданиях не мог с точки зрения вероятности «ожидания жизни» в цифровом исчислении рассчитывать на то, что он попадет в ничтожный процент тех, кто пройдет живым через все еще предстоящие «селекции» в различных их вариантах».

В картине «Проклятие» (1979) Савицкий изобразил тех, кто не выдерживал бесчеловечных условий нахождения в концлагере и сводил счеты с жизнью, бросаясь на колючую проволоку ограды. Опираясь на собственную память и архивную фотографию, художник отразил эту сцену с предельной реалистичностью. Мученики в последние мгновения своей жизни выкрикивают проклятия в адрес нацистов.

Еще одно испытание, через которое проходят выжившие узники концлагеря, — это момент освобождения. В этой связи Франкл пишет: «То, что касается реакции заключенного на освобождение, может быть кратко описано так: вначале все кажется ему похожим на чудесный сон, он не отваживается в это поверить... Освобожденный из лагеря пока еще подвержен своего рода ощущению деперсонализации. Он еще не может по-настоящему радоваться жизни — он должен сначала научиться этому, он разучился. Если в первый день свободы происходящее кажется ему чудесным сном, то в один прекрасный день прошлое начнет казаться ему лишь более чем кошмарным сном». Видимо, не случайно и Савицкий полотно «Свобода», завершающее цикл, написал спустя восемь лет после окончания предыдущих работ: ему понадобилось дополнительное время для экзистенциального осмысления пережитого в качестве узника. Необходимо

понимать и то, что во время создания картин серии художник в определенном смысле заново переживал эти события своей жизни.

Таким образом, в цикле картин «Цифры на сердце» М. А. Савицкий соединил и гуманистическо-патриотическую тематику, и классическую композицию, и уверенный академический рисунок, и выверенное цветовое решение. Также он применял лессировочную (с использованием прозрачных слоев) технику живописи, которая помогла передать световые эффекты. Михаил Андреевич вспоминал: «Раньше, работая над «Цифрами на сердце», размышлял: как представить «описать» концлагерь, аналога которому в истории, в природе еще никогда не было? И, смею думать, нашел какие-то новые структурные возможности картины, показав лагеря смерти не только как вселенское преступление против человечества, но и как особую философию жуткого времени, особую форму «социального обустройства общества».

В 1979—1981 годы, накануне столетнего юбилея Янки Купалы, художник создает серию из одиннадцати картин для литературного музея поэта в Минске. Цикл включает в себя портрет Купалы и десять картин по сюжетам произведений поэта. «Здесь передо мной стояла задача, — сообщал Савицкий, — исторического изображения времени в свете купаловской поэзии. Должна была быть историческая точность, даже этнографическая... Главным посылом для меня было выдержать камертон поэтического творчества Купалы».

Вероятно, художник сам выбирал литературные произведения поэта, по которым он писал картины. Полотна серии иллюстрируют произведения Купалы разных периодов его творчества. Во вступительной статье к изданному при жизни Савицкого альбому «Михаил Савицкий» Э. Н. Пугачева указывает следующие произведения Купалы и соответствующие им полотна: поэма «Яна і я» — «На покосе» (1980), стихотворение «Жняя» — «Жатва» (1980), стихотворение «Над калыскай» и поэма «Адвечная песня» — «Колыбельная» (1980), стихотворения «Чаго хмурыцца?..», «Пойдзем...» — «Мужики»» (1980). Кроме того, есть все основания считать, что полотно «Белорусы» (1979) иллюстрирует стихотворение «А хто там ідзе?», «Партизаны» (1979) — стихотворение «Беларускім партызанам», «Жатва» (1980) — стихотворение «Жніво», «Колхозница» (1981) — стихотворение «Я — калгасніца», «Мечты» (1981) — стихотворение «Хлопчык і лётчык», «Лён» (1981) — стихотворение «Лён», «Коммунары» (1981) — поэму «Над ракой Арэсай».

Нам представляется, что наиболее близко к поэзии Купалы художник приблизился в картинах, иллюстрирующих дореволюционную жизнь белорусов («Жатва», «Колыбельная», «Мужики», «На покосе»). Особенно выверен и гармоничен композиционный и колористический строй полотен «Колыбельная», «Жатва» и «На покосе», что созвучно купаловской поэзии. В данных работах нет и намека на прозаичность и случайность в трактовке тем, сама живопись в них становится наполненной поэзией. Художественный строй полотна «Мужики», в котором раскрывется тема тяжелого положения белорусского крестьянства, также близок к купаловскому поэтическому повествованию.

Портрет Купалы — своего рода смысловое ядро серии. Здесь поэт изображен в динамике, он словно идет с открытой душой к зрителю. Пейзаж, его окружающий, — это вид белорусской земли, его вдохновляющей. Темные цвета, доминирующие в пейзаже, в работе также несут важную эмоциональную нагрузку, тем резче на его фоне выделяется фигура поэта, несущего свое вдохновенное слово людям. Э. Н. Пугачева отмечала: «В полотне новой серии Янка Купала на фоне тревожного облачного неба, идущий из глубины на зрителя, подобен пророку. Раскрытая книга в его руке и доказующий жест символизируют мудрость, обращенную к людским сердцам».

Работы серии неоднородны. Это понимал и Савицкий, который однажды отметил: «В большой живописной серии по мотивам поэзии Янки Купалы у меня не все получилось так, как хотелось. Слишком мало времени было на обдумыва-

ние». Однако мы считаем, что в лучших из этих картин на высоком художественном уровне отображен мир купаловский поэзии, а также донесен до зрителя патриотизм поэта.

Со второй половины 1980-х годов в белорусской живописи, как и в советском искусстве в целом, сложилась переломная ситуация. В перестроечное время все активнее стали заявлять о себе художники, искавшие новые творческие подходы, которые мы отнесли к постсоцреалистическому направлению. Также набирало приверженцев постмодернистское направление.



«Жатва».

Творчество Михаила Савицкого не оказалось в стороне от этих влияний. В его работах конца 1980-х годов, таких как Чернобыльский цикл (1987—1993), триптих «Агрессия» (1984), «XX век» (1987), «Шинель отца» (1991), прослеживается желание найти новые художественные решения, он активно использует аллегорию, вносит разнородные элементы в ткань художественного произведения. Вместе с тем мастер прочно стоит на идейных позициях соцреалистического искусства, более того, он продолжает писать вполне традиционные полотна: «Клятва Севастопольцев» (1985), «Портрет народного артиста СССР Михаила Ульянова» (1985), «41-й День Победы» (1986).

В качестве примера, характеризующего разнообразие исканий художника, остановимся на написанном в 1987 году полотне «XX век». Картина явилась достаточно неожиданной для зрителей. На этом полотне художник изображает Христа, будто бы пришедшего в XX век, и как две тысячи лет назад, он схвачен, на его руках наручники. На груди у Христа табличка с первыми словами энциклики папы Иоанна XXIII «Pacem in Terris» («Мир на Земле»). Примечательно, что энциклика, призывающая к миру, была опубликована во время обострения холодной войны. Созданная художником фантастическая история является формой, с помощью которой он выражает свое критическое отношение к социальной несправедливости и кровопролитным войнам XX столетия.

В 1987—1993 годы художник создает цикл «Черная быль», состоящий из десяти монументальных картин. Работы были начаты в тот же год, когда произошла чернобыльская катастрофа, и закончены в 1993 году. Савицкий явился одним из первых художников Беларуси, который на языке живописи стал говорить о вызванных чернобыльской аварией бедах. В 1989 году в процессе работы над циклом он поделился своими мыслями: «Людям необходимо знать всю правду о Чернобыле, чтобы общими усилиями преградить путь подобной катастрофе в будущем. Я думаю, это достаточно веские доводы для художника, чтобы взять-

ся за такую работу. ...Цикл будет состоять из ряда композиций (пока в работе десять), который, по моему замыслу, должен вызывать у зрителя широкий круг мыслей о месте в жизни, о ранимости и хрупкости всего, что нас окружает, о тысячах нитей, что связывают нас с родной землей. О человеке как органичной части живого мира, ответственности разумного существа за существование жизни на нашей планете».

Художник полностью выполнил свой замысел, практически избегая повествовательности. В свои полотна он вложил тот смысл, который придал им не только национальное, но и общечеловеческое значение. Законченные в 1993 году десять картин можно назвать памятником людям Беларуси, потерпевшим от чернобыльской беды. Вместе с тем, они стали еще одним предупреждением об опасности ядерной индустрии, призывом к ответственности и милосердию. В каждой картине художник нашел необходимую форму, композицию и образную структуру, чтобы наиболее полно раскрыть владевшие им мысли. Живописный язык картин часто условный, Савицкий не вдавался в детали или тонкости реалистической передачи предметного мира, все его внимание сосредотачивалось на смысле работ. Цикл выполнен в приглушенной цветовой гамме. Серые, черные, охристые оттенки создают атмосферу опасности, в которой находятся герои картин. Сама земля-кормилица показана в трауре, черной и неприветливой. Преодоление того зла, что принес с собой Чернобыль, Савицкий связывает с возвращением людей к христианской вере. На чернобыльских полотнах реальность наполнена мистическими видениями и религиозными существами.

Первым из этой серии было написано полотно «Крест надежды» (1987). Расставание навсегда с отчим домом, деревней, городом стало для множества людей, проживавших в зоне чернобыльского заражения, реальностью. Эту тему раскрывал в своей картине Савицкий. Композиция картины полностью подчинена стремлению передать предельную эмоциональность сцены. Все персонажи погружены в свое горе, только опустившаяся на колени и плачущая старушка обращена к зрителю. Также серо-коричневая цветовая гамма передает ощущение глубокой тревоги.

Территория вокруг ЧАЭС, которая в наибольшей мере пострадала от радиации и из которой выселены все ее жители (30-километровая зона), позже стала называться Чернобыльской зоной отчуждения. Об этой территории и судьбе населявших ее людей картина Савицкого под названием «Плач о земле» (1988). На ней изображена группа белорусских крестьян, на лицах которых запечатлены глубокая печаль и недоумение. Небо над ними разверзлось черной зловещей дырой. Словно не веря в происходящее, старец опустился на колени, чтобы взять в руки горсть зараженной родной земли. Показанный на полотне окружающий мир лишен устойчивости, стал враждебным человеку, до катастрофы же люди и земля-кормилица были нерасторжимы.

Словами «Requiem aeternam dona eis, Domine» («Покой вечный даруй им, Господи») начинается заупокойная месса, или Реквием, — в западной церкви (католической, лютеранской) служба памяти усопших. Его поет ангельский хор на величественной картине Савицкого «Реквием» (1989). Сочувствующие и сострадающие людям, они парят над мертвой деревней и зараженной радиацией землей, в то время как на фоне черного неба, словно свечи в память об усопших, несут свой мягкий свет звезды. В этой картине художник нашел лаконичные и в то же время монументально-декоративные формы, которые соответствовали его замыслу.

Тема картины «Доля» (1989) — судьба девушек, которые из-за радиационного облучения не могут стать матерями и обречены на раннюю смерть. С помощью аллегории он показывает участь многих облученных радиацией молодых людей — их ждало бесплодие, физическая немощь и даже ранняя смерть. В верхней части полотна изображен череп — символ смерти. Девушки находятся

в каком-то неопределенном, темном пространстве, создается впечатление, что они уже отторжены от обычного хода жизни.

В картинах серии «Черная быль» Савицкий вводит образы ангелов, которые сочувствуют и сопереживают беде человека. Художник соединяет в рамках отдельных картин изображение реального, земного бытия с неземным, божественным. Бог, христианство стали для него теми силами, которые преодолевают зло и вселяют в человека надежду. На полотне «Чернобыльская мадонна» (1989) два темнокрылых ангела ласково и бережно забирают в свои руки неживого младенца. Лицо матери полно беззвучной скорби, ее образ — это еще один вариант уподобления молодой женщины Божьей Матери, переживающей трагический момент своей судьбы. Симметричная композиция предельно лаконична, фигуры, внимание которых сконцентрировано на младенце, образуют круг. Луна, виднеющаяся в большом темном окне, усиливает ощущение трагизма происходящего.

Полотно «Ностальгия» (1989) раскрывет тему тоски по родным местам, которую стали испытывать тысячи выселенных из чернобыльской зоны белорусов. Для них оказались навсегда утеряными и земля, на которой они родились, и воздух, которым они дышали, и дома, в которых проходила их жизнь. Савицкий написал композицию, где переплетены предметное и реальное с фантастическим, при этом ясно передана овладевшая человеком непреодолимая тоска. На первом плане человек, вернувшийся к родным местам, чтобы хотя бы через заграждение из колючей проволоки взглянуть на них. В небе фигура ангела-хранителя, который словно предостерегает, что далее путь опасен. Важное значение имеет сложный и напряженный колорит картины. Цветовая гамма полотна содержит некоторые диссонансы, чем обостряет ощущение недоступного мира. Воспаленно-красное солнце, большой бледно-желтый месяц усиливают чувство тревоги и тоски.

Объясняя замысел картины «Ностальгия», в 1989 году Савицкий говорил: «Как представить ностальгию, как ее увидеть? Я вижу человека, навсегда потерявшего свой дом и землю предков. В старинное время сказали бы, что он остался без ангела-хранителя. Знаете, было такое представление у наших дедов: каждому дан на земле невидимый заступник, он сопровождает смертного от рождения до последнего часа, оберегает от бед. Такая надежда и нам не чужда, только для нас это — любовь матери, память о доме, глубоко запрятанное чувство Родины. Так вот, самое страшное — остаться без такой защиты...»

В полотне под названием «Зрячий» (1989) Савицкий погибших от радиации людей сравнил с христианскими мучениками, пострадавшими за свою веру. К ним обращены слова из шестой главы Откровения Иоанна Богослова, введенные в изображение данного полотна: «...И сказано им, чтобы они успокоились». Фигуры одетых в белые одежды праведников и невинно погибших составляют как бы архитектуру собора. Этот художественный прием восходит к иконам под названием «Собор всех святых». Произведение носит название «Зрячий», потому что души погибших людей изображены с широко открытыми, не по-земному видящими глазами. Дозиметр в руках «ликвидатора», выполнившего свой долг, уже не нужен. В картине настолько переплелись религиозно-каноническая и реалистическая художественные традиции, что она воспринимается скорее как икона, как видимый образ невидимого.

Работа «Покинутые» (1989) повествует о людях, оставшихся на зараженной территории. Известно, что возвращаться в свои дома люди начали уже спустя несколько недель после взрыва на атомной станции. Многие из них не понимали всей опасности радиации, другие — не желали оставлять свои дома. Изображенные на картине старики вернулись, чтобы умереть на родной земле. В их лицах, взглядах можно прочесть и укор, и прощение, и смирение перед судьбой. Картина решена в изысканной цветовой гамме, и вместе с тем в ней есть ирреальная атмосфера.

Полотно «Эвакуация» (1989) раскрывает тему вывоза населения на безопасное от радиоактивной зоны расстояние. На заднем плане показаны люди, уже раз-

местившиеся в автобусе, на переднем — ждущие своей очереди. Работа является одновременно и групповым портретом, и наполненной внутренней динамикой сюжетной композицией. Сама живописная среда картины пронизана атмосферой внезапно вторгшейся беды. С мрачными темно-коричневыми фонами контрастируют бледные, большеглазые лица, на которых буквально застыли страх, тревога, недоумение. Именно образы людей, написанные широкими мазками, придают произведению эмоциональную выразительность.

Последнее полотно цикла под названием «Запретная зона» было завершено несколько позже, в 1993 году. Оно необычно для привычного стиля и творчества художника в целом. Савицкий выбирает условный язык живописи для изображения потустороннего мира. Показана запретная, недоступная живым зона, в которой ангел с невинными детскими душами направляется в какую-то неизвестную область. Кажется, что фигуры лишены земного притяжения, а уверенные мазки фона создают впечатление бескрайности окружающего пространства. Колористическое решение отличается предельной простотой. Художник всего тремя цветами — белым, черным и изумрудно-синим — изобразил запредельный мир. Своими размышлениями об этой картине Савицкий поделился в 2005 году: «Я долго думал над ее художественным решением. Что же это — запретная зона? Может, брошенная деревня, где людей можно встретить лишь на Радуницу, когда приезжают на родные могилки? Решение пришло неожиданно: а если придать трагедии... поэтичность? Написал семь детских душ в небе, и с ними черный ангел скорби. Все». Картина доносит до зрителя тревогу автора, его сочувствие всем детям, пострадавшим от техногенной аварии.

Смена эпох

Последние двадцать лет творчества Савицкого — с 1990 по 2010 годы — приходятся на сложный, противоречивый период советской и белорусской истории. Процессы, происходившие в период так называемой «перестройки» и завершившиеся распадом Советского Союза, повлекли за собой катастрофические последствия для социально-экономической, политической и культурной жизни бывших советских республик. Эта сложность времени и нашла свое отражение в творчестве Савицкого. Художник начал искать новые способы выражения своих мыслей и переживаний. Основной опорой на данном этапе и вплоть до конца его творческой деятельности становится христианство, хотя к евангельским сюжетам как средству творческой самореализации он прибегал и ранее. Уместно заметить, что обращение к христианству в это время было характерно для многих значительных деятелей культуры. Здесь хотелось бы вспомнить близкого Савицкому по духу советского и российского художника Гелия Михайловича Коржева, картины которого на темы Писания приобретали остроту социальных реалий. Размышляя о современности, о потере ориентиров, о безразличии к духовным ценностям, Михаил Андреевич использовал библейские сюжеты.

За последние два десятилетия художником было создано несколько десятков работ. Отдельные из них остались незаконченными, что естественно для его преклонного возраста. Будучи классиком белорусского соцреалистического искусства, Савицкий не мог отказаться от накопленного в предыдущие годы профессионального багажа и мировоззрения.

Одно из центральных мест в позднем творчестве художника, на наш взгляд, следует отвести работе «Без вести пропавшие» (1991) с изображением православной Троицы в образе трех ангелов. По личному признанию художника, картина входит в число его любимых работ. Всякий большой художник, обращаясь к известному, привносит в него что-то новое. Задача написать Троицу после достижений Феофана Грека, Андрея Рублева и других известных иконописцев — крайне сложная. Надо признать, что решена она художником блестяще. Полотно

предстает величественным и трагическим. Крылья и одежды ангелов «обрезаны» рамой — это усиливает эффект монументальности фигур. Трагизм представлен соединением иконописной темы с темой войн и бедствий. Освещенные фрагменты в нижней части картины — это места массовых расстрелов и погребений.

В центре полотна «XX век — убийство правды» (1994) мы видим девушку — это аллегория правды. Мужчины, ее окружившие, — обобщенно изображенные политические и экономические элиты, самовольно решающие судьбы мира, на втором плане — народ, который стоит словно за чертой и не может увидеть правду. Все фигуры размещены в каком-то индустриальном интерьере, что с одной стороны соответствует XX веку развития индустрии, с другой — усиливает трагическую атмосферу. «XX век — убийство правды» — итог размышлений художника об истории самого кровопролитного века человечества. Произведение, которое содержит в себе и аллегорию, и гротеск, имеет глубокое философское, социальное и политическое значение. Его смысл остается актуальным и в наши дни. Однажды Савицкий, обсуждая эту работу, сказал так: «Я прожил сложную жизнь и решил, что могу честно сказать веку, каков он в моем понимании».

С 1992 по 1996 годы Савицким был написан ряд картин по сюжетам из жизни Иисуса Христа. Хотя художник и не замышлял их как евангельский цикл, имеющий определенное название, рассматриваемые работы следует выделить в целостную серию. Обращение к Библии имело своим основанием мировоззрение художника, в котором все большее место стали занимать личность и учение Христа. В 1996 году он писал: «Само Евангелие представляет для художника в прямом смысле энциклопедию тем, где есть и трагедия, и жертва, и предательство, и преданность, и любовь, и вера. Весь круг проявлений человеческих судеб представлен в библейских текстах».

Своими работами художник восстает против бездуховности и неумеренного практицизма современности. В то же время в этих картинах христианские идеалы выступают как действенная сила. Интересно сравнить библейскую серию Савицкого с работами великого русского художника Н. Н. Ге, которые также были написаны им в последний период творчества. Ге поворачивает от выработанной им годами художественной манеры в сторону экспрессионизма и большей живописной свободы. Как отмечал Д. В. Сарабьянов, в библейских картинах Ге «форма приобретает возможность непосредственно откликаться на каждое душевное движение, на каждый внутренний порыв». Савицкий, как и Ге, во время работы над библейскими полотнами полностью подчинил свое творчество задачам достижения высшей нравственности. Так же, как и у Ге, «каждый шаг героя словно воплощает ту жизненную ситуацию, в которой пребывает и сам художник — страдающий, сомневающийся, жаждущий, гибнущий».

Будучи свободным от различных канонических традиций изображения, Савицкий опытной кистью создает яркие образы участников евангельских событий. В этих работах детали сведены до минимума, доминируют обобщенные фоны, отсутствуют архитектурные антуражи. Каждая картина имеет тщательно продуманное колористическое решение. Стихия цвета помогает раскрывать замысел. К примеру, темно-красный цвет одежды Христа во «Взятии под стражу» (1996) или «Несении креста» (1996) ассоциируется с цветом пролитой им крови. В «Снятии с креста» художник создает атмосферу сумерек, основное цветовое пятно — это бледно-серое бездыханное тело, остальные цвета приглушены и не нарушают общей гармонии.

Интересно отметить, что работа «Хождение по водам» (1992) очень близка к эскизу русского художника Александра Иванова с тем же названием. Однако в картине Савицкого изображены только Христос и лодка, апостол же Петр, который также захотел пойти по воде, еще находится в лодке. В центре полотна Савицкого природная буря и сверхъестественное явление — идущий по волнам Христос. Картина наполнена динамикой, что выражено как экспрессией мазка, так и сочетанием цветов.

«Искушение Иуды» (1995) — картина на сюжет, сравнительно мало разработанный в изобразительном искусстве. В произведении Савицким поднята тема не только искушения Иуды, но и вины тех людей, которые его подвигли на предательство. Окружающие Иуду три человека — это первосвященники и книжники, на которых также падает вина в казни Иисуса Христа. Тридцать сребреников, полученные Иудой Искариотом, стали евангельским символом предательства. Савицкий образовывает из четырех фигур с Иудой в центре компактную группу. Иуда изображен уже исполненным решимости, его не трезают сомнения, он протягивает руки за монетами. В картине полностью отсутствуют какие-либо дополнительные детали, даже не обрисовано окружающее пространство: художник всецело сосредоточился на эмоциональной характеристике момента подкупа.

В 1996 году художник пишет библейский цикл «Заповеди блаженства», состоящий из семи картин. Девять заповедей блаженства — часть Нагорной проповеди, произнесенной Иисусом Христом перед собравшимися на одном из небольших холмов близ Генисаретского озера. В христианстве принято считать, что следование этим заповедям ведет человека к блаженству в последующей, внеземной, жизни. На протяжении более чем двух тысяч лет развития искусства после Рождества Христова художники довольно редко обращались к иллюстрированию заповедей Нового Завета. Не опираясь на какие-либо образцы, Савицкий совершенно самостоятельно нашел художественное решение для шести выбранных заповедей. В современном белорусском искусстве аналогов этим работам также нет. Цикл, состоящий из семи картин, имеет сложную образную систему. Как нам представляется, через зрительные образы художник передал глубину и универсальность евангельского слова.

О своем замысле Савицкий в 1998 году говорил так: «Пришла такая мысль, как я ее определил: писать работы о хороших людях. Я обратился к заповедям блаженства. Кто же такие «Блаженны нищие духом»? «Блаженны кроткие»? «Блаженны чистые сердцем»? «Блаженны изгнанные за правду»? Есть ли такие сейчас? Пытаюсь дать современный ответ». Когда уже были написаны эти произведения, он заметил: «В картинах этого цикла — «Чистые сердцем», «Кроткие», «Плачущие», «Блаженны жаждущие правды» — я пытаюсь показать, каким хотел видеть Бог человека: нравственным, трудолюбивым, не приемлющим зло и лукавство, творящим добро. Я стремлюсь остановить зло, изгнать насилие даже из помыслов. Быть созидателем, творцом, быть свободным — это кодекс нашего бытия».



«Лен».

Для полотен характерна особая живопис-

ная структура, художник часто обобщает и упрощает формы пастозными широкими мазками, в некоторых работах фигурам придает монументальность и значительность. В каждом произведении точно организован колорит. Яркие оттенки мы видим лишь в двух картинах с одинаковым названием «Чистые сердцем», благодаря им художник подчеркнул душевную чистоту изображенных людей. В приглушенной цветовой гамме решены работы «Блаженны жаждущие правды», «Блаженны плачущие», «Блаженны нищие духом», цвета в них не мешают, а помогают «раскрыть» библейские слова.

Первая заповедь — «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» — имеет множество богословских истолкований. Поэтому иллюстрирующая ее картина «Блаженны нищие духом» (1996) может истолковываться по-разному. Для лучшего понимания замысла Савицкого обратимся к словам самого автора: «Когда в 1992 году я писал картину «Ветераны», я рассуждал так: ну, бросила родина этих вот людей. Но кто они, эти люди? Они трудились до войны, создавали новое государство. В войну гибли, но кто-то выжил. После Победы страна была полностью разрушена. Восстановили. Те же люди. А потом были брошены. Они — нищие. Все, что от них требовалось, они отдали стране. И стали нищие духом! Выходит, это самая высокая оценка Христа: это их царствие небесное». В рамках данного произведения показаны два мира: внизу — мир земной, вверху — небесный. В первом показаны те самые нищие духом — кроткие, бедные земные старики, о которых говорил Савицкий, во втором — праведники в окружении ангелов. Интересно, что в правом нижнем углу художник поместил свой автопортрет, тем самым свидетельствуя о своей верности христианским идеалам.

Для иллюстрации второй заповеди — «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» — Савицкий выбрал сюжет оплакивания ребенка. На полотне «Плачущие» (1996), как на иконе, показан мир материальный и духовный, реальное и божественное. Общая композиция картины основана на иконографическом изображении сцены Успения Богородицы. На иконе в центре на ложе изображается Богоматерь, по сторонам от нее — апостолы, за ложем стоит Спаситель, принявший в свои руки новорожденную к вечной жизни душу Марии. На картине Савицкого в центре тело усопшего ребенка, по сторонам стоят плачущие женщины, к зрителю повернуты, вероятно, его мать и бабушка. На втором плане изображен держащий в руках душу малыша ангел, в верхней части — очертания блаженных душ. Колорит, построенный на коричневых, охристых и золотистых оттенках, создает атмосферу сакральности изображаемого явления.

На картине «Блаженны жаждущие правды» (1996) художник изобразил простых, современных нам людей разных возрастов, которые усердно стремятся к истине и совершенству. Их вопрощающие глаза устремлены на зрителя, руки выдают жгучее желание узнать правду. В композицию включен символ христианства — Крест. Вот слова Савицкого об этой картине, сказанные в 2007 году: «Но я оценку человека беру именно у Христа. В его Нагорной проповеди — проповеди счастья, наслаждения. Скажем, «блаженны жаждущие правды». О тех, кто хочет знать правду. Вот они, эти люди. Женщины, мужчины. Руки, что спрашивают, просят, жаждут... А позади — Крест, на котором распяли Христа. Я неслучайно показываю этот Крест: это люди простые, обычные, это их убежденность в том, что может случиться, что предвидится. У кого они спросят об истине? Только — у Бога ...»

На шестую заповедь — «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» — Савицкий написал два полотна.

Одно из них, «Чистые сердцем. (Рождество)» (1996), изображает поклонение младенцу Христу пастухов, которые первыми явились к новорожденному. Толкователи Библии отмечают, что именно за простоту нрава, доброту и чистоту сердца первым из людей о рождении Спасителя ангел сообщил им. Именно Дева Мария и пастухи чисты сердцем, и о них евангельские слова «Блаженны чистые

сердцем, ибо они Бога узрят». Присутствующие в хлеву словно замерли, созерцая ребенка. Сцена освещена теплым золотистым светом, исходящим от младенца, чем создается ощущение чудесного видения. Живопись картины, построенная на игре теплых и холодных цветов, отличается необыкновенным колористическим богатством.

Второе полотно, «Чистые сердцем» (1996), также соответствует шестой евангельской заповеди. Образы матери и ребенка присутствуют на многих картинах художника. Материнство показывалось художником в ряду наивысших ценностей человеческой жизни вообще. По мысли Савицкого, изображенные женщина и ее ребенок, который едва научился стоять на ногах, и есть те, кто в наше время соответствуют этой евангельской заповеди. Они изображены после омовения, поскольку вода — символ очищения и обновления. В картине Савицкого заложена мысль, что, как и эта женщина, миллионы матерей и детей во все времена были исполнены чистоты и близки к Богу.

Картина «Изгнанные за правду» (1996) создана на слова восьмой заповеди блаженства — «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». В каком-то неопределенном зимнем пространстве бредут большой колонной люди, на лицах которых запечатлены мудрость и терпение. Изгнанников сопровождает святая Троица в лице трех ангелов, видных только зрителю полотна. Картина Савицкого — обо всех людях, вынужденных покинуть родные места за правду и свои убеждения. Такие люди были на протяжении всей человеческой истории, они есть и в наши дни. Вся поверхность картины оживлена сложной игрой цвета и стремительным ритмом мазков, наложенных широкой кистью. Холодные тона зимней ночи контрастируют с теплыми «согревающими» цветами, исходящими от Троицы.

В 1998 году художник обращается к сюжету ветхозаветной книги Иова и создает картину «Иов». Этот шедевр древнееврейской литературы вдохновлял на создание художественных и литературных произведений многих мастеров. Главный персонаж книги — справедливый, непорочный и богобоязненный человек по имени Иов. По библейскому преданию, проверяя истинность любви Иова к Богу, сатана послал ему все бедствия этой жизни: лишил богатства, слуг, детей, поразил проказой. Но все это не пошатнуло веру Иова. Измученный, он говорит: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что, доколе дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи» (Иов 27: 2-4). За верность Бог щедро наградил страдальца. Он стал вдвое богаче, чем прежде, у него родилось семь сыновей, и умер он в счастье в глубокой старости. Эту книгу Библии относят к одной из самых глубоких по своему философскому смыслу — в ней заложена идея возможности страдания без вины и необходимости его переживания как проявления ведомого только самому Богу замысла. Иов стал избранником Божьим. Как и некоторые старые мастера, Савицкий переносит это библейское событие в современность. На его картине мы видим простых крестьян, которые окружили Иова. Он сидит внизу, его облик раскрывает сильнейшее внутреннее напряжение. Возникает чувство, что его уста произносят оправдание, его голова обращена к небу. Современная трактовка сюжета не случайна. Савицкий своей картиной как бы говорит зрителю: драма Иова, которая происходила тысячи лет назад, происходит и сейчас. Для картины характерны многие удачные решения: в ней найдены необходимые и колорит, и пластика, и композиция. Савицкий заметил однажды, что первоначально в образе Иова он изобразил самого себя, однако впоследствии устранил автопортретные черты.

Незаконченная работа «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1997—2000 гг.) и «Саломея» (1997) — два произведения художника, которые связаны одной сюжетной линией. Сохранился такой комментарий Савицкого к первой работе: «Когда христианство начало проявлять свою истинность, царь Ирод приблизил Иоанна Крестителя к себе и частенько пользовался советами святого. Но

его невзлюбила Иродиада, жена брата царя. По легенде, на день рождения Ирода плясала ее дочь Саломея. И так понравилась царю, что тот сказал: «Проси что хочешь». Иродиада шепнула дочери: «Проси голову Иоанна Крестителя». Но это, повторяю, библейская легенда. На самом деле иудеи стали бояться христианства. Поэтому недолго думая решили обезглавить Иоанна Крестителя. С тех пор за политическое, другое инакомыслие рубят головы, что и для нашего времени очень современно». Композиция «Усекновения главы Иоанна Крестителя» классическая по своей структуре. Она напоминает полотно «Усекновение главы Иоанна Крестителя» итальянского художника XVI века Караваджо. Мы видим правую и левую группы людей, которые объединены смысловым центром — коленопреклоненным Крестителем. На картине Савицкого через мгновение тесак опустится на голову пророка. Все присутствующие, кроме палача, замерли в ожидании. Фигура палача — это само напряжение, темная сила, даже кожа его написана в темных тонах, что подчеркивает творимое им черное дело.

Картина «Саломея» развивает сюжет «Усекновения главы Иоанна Крестителя». Согласно древнееврейскому историку Иосифу Флавию, Саломея — это реальное лицо. Однако отделить исторические наслоения от действительных событий тех времен весьма сложно. Есть версия, что Саломея танцевала разнузданный танец перед Иродом Антипой обнаженной. И в таком же виде на картине Савицкого она идет со своей «наградой» ночью, при полной луне. На этой картине она непривлекательна, хотя художники прошлого, как правило, старались сделать ее как можно более обольстительной. Лицо ее напоминает бесчувственную маску, тело слишком вытянуто. Девушка несет голову пророка Иоанна Крестителя, вокруг которой распространяется сияние, но она его как будто не видит. Существует предание о смерти непокаявшейся Саломеи. Если допустить, что предание правдиво, то ее тяжелую смерть можно истолковать как следствие ее страшного деяния в юности. Однажды по собственной оплошности Саломея провалилась в прорубь, и сомкнувшиеся льдины сжали ей шею.

Парные картины «Христос и его крест» и «Святая Богородица», вызывающие в памяти русскую иконопись, написаны Савицким в 1998 году. Искусство Савицкого, которое в целом относится к социалистическому реализму, содержит в себе элементы разных художественных направлений. Русской иконописи, как мы видим, среди них отводится важное место. После 1990 года целый ряд его произведений близки к иконе, при этом сохраняется авторская манера художника. Данные работы вполне можно назвать иконами, написанными на холсте. Характерные поля напрямую говорят об иконописном характере работ, причем у Савицкого Христос и Богоматерь «выходят» за их границы. В обеих картинах художник разместил важный в иконописи элемент — не имеющий начала и конца круг, который символизирует вечность. Диптих отличают гармония форм, линий, колористическое богатство. Используя простые художественные средства, Савицкий наполнил картины подлинно духовным смыслом.

В начале девяностых художник задумывает серию из четырех картин на тему времен года. Он словно отрывается от тяжелых тем и мучительных вопросов — конфликтов и проблем современности — и обращает свой взор на природу родной Беларуси. Единственной доведенной до завершения стала картина «Осень» (2007). Вот высказывание М. А. Савицкого, раскрывающее замысел: «Продолжаю серию, рассказывающую о временах года. Раскрываю тему аллегорически, через женские образы. Пока готова лишь осень. Кроме главного действующего лица на всех полотнах будет белорусский пейзаж. Так, в осенней картине женщины перебирают на поле картофель. Почему остановился на этом варианте? Потому что, на мой взгляд, это символ Беларуси».

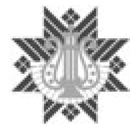
Последние картины мастеров кисти зачастую остаются незаконченными. И каждая заключительная вещь большого мастера, пусть и незаконченная, — особенная. Такой работой стала для Михаила Андреевича «Скобровка-1944» (2007—2010). В 1993 году году Савицкий был назначен на должность предсе-

дателя белорусского фонда «Взаимопонимание и примирение», основная задача которого состояла в оказании материальной помощи лицам, пострадавшим от нацистов. Из попавших к нему документов и бесед с живыми свидетелями он узнал о существовании на территории Беларуси немецкой лагерной больницы в деревне Скобровка. Там для раненых немецких солдат у детей брали кровь, после чего многие из них умирали. Как-то незадолго до смерти он заметил: «Так вот, картина моя об этих бедных детях. Работа большая по размеру и очень сложная психологически. Несмотря на то, что она еще не закончена, я ее очень люблю. Страдаю вместе с маленькими мучениками. У меня много писем об этом ужасе, но узнал несколько лет тому назад. Сюжет забора детской крови пытались писать другие, но не вышло. Тяжело. Поэтому я решился».

Таким образом, поздние работы Савицкого, написанные после 1991 года, можно охарактеризовать в целом как постсоветские. Также необходимо отметить, что художник выработал и собственную, узнаваемую, манеру письма. Его картины рассматриваемого периода представляют одно органическое целое, сочетающее в себе черты и социалистического реализма, и русской религиозной живописи, и в какой-то мере европейского экспрессионизма. Он вкладывал в них мысли о пережитом, о наследии прошлых веков, свое понимание действительности. В последний период своего творчества художник, как и ранее, стремился к тому, чтобы наиболее масштабные его работы были и современными, и емкими по содержанию, и в то же время принадлежали в полном смысле этого слова к миру искусства.

Этапы творческой эволюции М. А. Савицкого в целом соответствуют стадиям развития советского и белорусского искусства второй половины XX столетия. Источниками его творчества являлись важнейшие события русской, советской и белорусской истории, главным из которых была Великая Отечественная война 1941—1945 гг. На становление его художественной позиции решающее влияние оказали русская религиозная и реалистическая живопись, а также советское соцреалистическое искусство. Он начал писать самостоятельные жанрового и повествовательного плана работы в годы хрущевской «оттепели», что было вполне закономерно для этого периода белорусского искусства. В конце 1960-х годов, восприняв приемы мастеров «сурового стиля», он нашел и собственную манеру письма, и главную тему своего творчества в рамках принципов соцреализма — события Великой Отечественной войны. В 1970—80-е годы, на которые приходится пик творческой активности мастера, он уверенно решал сложные художественные задачи. Созданные им в данный период картины, среди которых шедевром мирового значения является цикл «Цифры на сердце», составляют золотой фонд советского и белорусского искусства. В тот период он выработал индивидуальный художественный стиль, состоявший из синтеза базовых принципов социалистического реализма, русской религиозной, в том числе иконописной, живописи и европейского экспрессионизма. В постсоветский период, используя библейские сюжеты и специфику собственного стиля, он художественными средствами предельно актуализировал ряд проблем современности.





Искать свое, обретая себя

Музыкальное прошлое Беларуси когда-то мало чем отличалось от музыкальной действительности: разница между ними составляла несколько десятков лет. Основоположники профессионального национального искусства (в частности, композиторской школы) появились у нас только после создания БССР, поэтому классики, представители среднего поколения и так называемой творческой смены были в буквальном смысле современниками, общались между собой. Учебники по истории белорусской музыки, сохранившие актуальность едва ли не до начала 1990-х, самим содержанием настойчиво внушали мысль о том, что разножанровое музыкальное искусство появилось и начало развиваться у нас лишь при советской власти, а прежде на этой земле никакой своей «звуковой среды», кроме фольклора, не существовало.

Вдумчивым и пытливым соотечественникам подобные уничижительные обобщения казались противоречащими глубинным связям исторических реалий, а белорусское музыковедение — однобоким, упрощенным и уплощенным, идеологически «заангажированным». Возможно ли, чтобы народ, издревле проживающий в центре континента, на перекрестке важнейших связующих путей, вместе с Европой познавший богатый опыт развития цивилизации и культуры, — чтобы самобытный и творчески одаренный народ враз и без посторонних воздействий лишился собственного многовекового прошлого, впал в историческое беспамятство, потерял весьма ощутимую долю музыкального наследия?

Сомнение, проникая в среду специалистов, сменялось любопытством, любопытство — научным интересом. Конечно, немногочисленные искатели правды о музыкальном прошлом не собирались оспаривать очевидное. Разве можно отрицать, например, что наша национальная композиторская школа формировалась именно в советское время, когда была создана Белорусская государственная консерватория (теперь академия музыки)? Однако на основании этого факта недопустимо замалчивать и вычеркивать из сознания все, что происходило у нас на родине до XX столетия, отлучать новые поколения от уникального духовно-художественного наследия народа, его наисложнейшего, нередко парадоксального опыта. Энтузиасты национально-культурного возрождения 1980-х стремились преодолеть «массовую амнезию» и, всмотревшись в былое, напомнить, что у белорусов есть не только удивительный, уникальный аутентичный фольклор и яркие достижения советской эпохи, но и многовековые традиции чрезвычайно разнообразного профессионального и любительского творчества. Есть богатая старосветская музыкальная культура, складывавшаяся с участием всех слоев общества, весьма своеобразная и неотъемлемая от европейского контекста.

Вскоре к этим энтузиастам присоединилась и выпускница Белорусской консерватории по классу фортепиано Ольга Дадиомова.

Главной сферой ее интересов стала история отечественной музыкальной культуры до XX века. Три десятилетия подвижнического труда — нескончаемая череда дел, достижений, открытий. На основе музыкально-исторических источников, выявленных в хранилищах разных стран, Дадиомова осуществила научную реконструкцию и создала всеобъемлющую концепцию развития изучаемой культуры. Разносторонний ученый, историк и теоретик, просветитель, педагог, методист, Ольга Дадиомова известна как автор более 200 публикаций (монографии, учебные пособия, хрестоматии, программы, брошюры, статьи, изданные в Беларуси, Германии, Литве, Польше, США, России, других странах). Составляет и редактирует научные сборники, книги, нотные издания, аудиодиски. Постоянно участвует в международных научных форумах, в проектах ЮНЕСКО. Подготовила и провела сотни телевизионных программ и радиопередач (цикл «Галасы мінуўшчыны», рубрика «Беларуская рэтраспектыва»). Разработала и прокомментировала концептуальные белорусские концерты в Лондоне, Варшаве, Вильнюсе.

Впервые в стране и мире ею создан курс истории музыкальной культуры Беларуси до XX века (Ольга Владимировна ведет его в родной академии уже более 20 лет!). На ее же научных и методических материалах основано преподавание аналогичных белорусоведческих дисциплин во всех учебных заведениях искусств страны. А через работу с молодыми исследователями доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой белорусской музыки БГАМ Ольга Дадиомова формирует свою научную школу.

Возвращение утраченных столетий

Новую для себя сферу деятельности преподаватель тогдашнего столичного Института культуры Ольга Дадиомова осваивала в аспирантуре Академии наук БССР. Под научным руководством именитого музыколога Инны Назиной было определено направление работы, и уже в 1992 году увидела свет монография молодого исследователя: «Музыкальная культура городов Белоруссии в XVIII веке». Через два года вышло учебное пособие «Гісторыя музычнай культуры Беларусі: ад старажытнасці да канца XVIII ст.». Первые книги Дадиомовой, появившиеся в романтический период взлета широкого интереса к забытой истории отечественного искусства, стали своеобразным компасом в море нашего непознанного и удивительного европейского прошлого.

«Удивительно было все! Каким-то абсолютно мистическим образом идея восстановления наследия захватила со временем все учреждения и организации, имеющие отношение к художественной жизни. В том числе академию музыки, университет культуры, филармонию, исполнительские коллективы — те столпы, на которые опирается процесс творческого возрождения. Правда, в самом начале поверить в поддержку такого процесса было просто невозможно, потому что сами нотные источники вызывали у многих людей весьма противоречивые чувства. К великой радости, это безусловно была музыка далеких эпох, рожденная и существовавшая на белорусской земле. Но в ней не было проявлений «почвенного фермента», четкого фольклорного фундамента. И когда найденные источники, выявленные материалы предлагались вниманию профессионалов — исполнителей и ученых, в их реакции далеко не всегда были сочувствие и доброжелательность. Вот почему я всякий раз с особой признательностью вспоминаю и говорю о том, что первой организацией, обратившей внимание на идею возрождения несправедливо забытого и утраченного наследия, был Белорусский союз музыкальных деятелей. Его руководство и активисты поддержали энтузиазм подвижников именно сердцем, не ожидая, пока наша инициатива станет общепринятым, а то и востребованным делом; люди

с меркантильными интересами, с прагматичным подходом никогда этого не сделали бы, за «проект-утопию» возьмутся только поистине блаженные люди! А заместитель председателя союза Наталья Кузнецова-Витченко, с которой мы вместе учились в консерватории, еще и доверяла моей увлеченности».

Незабываемо, ни с чем не сравнимо счастливое состояние, когда она возвращалась домой, в очередной раз везя раритетную «добычу» — музыкальные памятники, выисканные в зарубежных архивах. Незабываемо и то, с какой неуверенностью показывала потом свои находки, в которых не было ни одного белорусского слова, ни одной фольклорной мелодии. Хотя, казалось бы, всем должно быть понятно, что в конкретных исторических условиях существовали иные критерии, по которым судили о принадлежности старинных образцов музыки к определенной культуре. Увы, понятно было не всем... Зато с каким воодушевлением заходила Ольга Дадиомова в родной союз, где слышала радостное: "Бере-е-е-м!!!" и понимала: это не дань вежливости, а готовность к серьезной работе и гарантия, что через двести лет забвения ноты забвения вновь зазвучат на родине, что их споют, сыграют, возродят.

«В общем, очень рискованно было тогда презентовать музыкальные памятники, которые и по сей день в сознании многих так и не стали частью культуры Беларуси, при том, что сегодня уже есть соответствующая теория. А на тот момент ее не существовало, курса истории музыкальной культуры Беларуси до XX столетия тогда не было не то что в профильных училищах и школах — его не было и в консерватории! Поэтому вся надежда возлагалась на поддержку со стороны тех, кому свойственно плюралистическое отношение к действительности. Это люди с живым творческим мышлением, которые не держатся за определенные каноны: мол, все, что не соответствует сложившейся доктрине, не имеет права на жизнь. К чести наших единомышленников из БСМД, союз активно поддержал и абсолютно новый, во многом рискованный проект — проведение первого, сенсационного для своего времени, просветительского фестиваля «Адраджэнне беларускай капэлы», с подвижниками которого — Виктором Скоробогатовым и Анной Корженевской — мы шли буквально навстречу друг другу.

Кстати, мало кто знает, что музыковед и композитор Александр Друкт (жизнь этого талантливого человека, к сожалению, оборвалась рано, его уже не было в то время) предвидел движение, направленное на поиск и возвращение утраченной белорусской музыки прошлого. Он словно руководствовался аналогом системы Менделеева. Как Менделеев по своей таблице вычислял отсутствовавшие химические элементы, которые еще предстояло открыть, так и Александр Друкт, не имея конкретного нотного материала,



В детских мечтах о балете.

просто «высчитывал» существование того, чего в нашей музыке не хватает. Он предвидел, что будут найдены нотные памятники, которые подтвердят: и ренессанс, и классицизм, и романтизм — все эти стадии прошла музыкальная культура Беларуси, в особом, возможно, виде. И этот стадиальный процесс он показал в своей брошюре.

Но, повторюсь, в то время наши музыкальные утопии не могли найти поддержку у большинства профессионалов. Я их понимаю и никогда с ними не спорила. Потому что тем, кто за всю свою жизнь никогда не держал в руках такие архивные материалы, резко перестроиться, развернуться в другую сторону невозможно. Хорошо, если есть подсознательное, а может, и осознанное ощущение того, что должна существовать история у народа — народа в широком категориальном смысле этого понятия. Народа, который объединяет и носителей фольклорной традиции — хранителей этого собственно этнического, очень мощного национального течения; и свою интеллигенцию; и элиту своего времени — магнатерию, тех представителей, что отошли в иную языковую сферу, иную этнокультурную среду, но все равно являются репрезентантами Беларуси».

Парадоксы реальности

Говоря о тех, кто поддержал ее начинания, Ольга Владимировна с особой признательностью вспоминает Ядвигу Григорович.

«Ее, к сожалению, уже нет среди нас... Ректор БГУ культуры и искусств, тогда института, где я преподавала, Ядвига Григорович в 1993 году с пониманием отпустила меня в другой вуз. Можно сказать, благословила мою работу в академии музыки, чтобы и там развивалось белорусское дело, изучалась история музыкальной культуры Беларуси, — то, что всегда поддерживала Ядвига Доминиковна. Ведь не случайно тогда в институте сложился круг исследователей: и незабвенный Гурий Барышев, и Анатолий Грицкевич, и троица «утопистов», занимавшихся XIX столетием: Вера Прокопцова, Александр Капилов и Елена Ахвердова. Я присоединилась к их деятельности с еще более утопическим XVIII веком. И учились мы прежде всего на книгах Адама Мальдиса, который тогда уже был гуру. С нами рука об руку работали директор бывшего Института проблем культуры Владимир Скороходов, многие музыканты-исполнители, в том числе маэстро Михаил Козинец, солисты Лев Горелик, Юрий Гильдюк, Владимир Дулов, Игорь Оловников и целый коллектив энтузиастов, возглавляемый Михаилом Финбергом».

К слову, музыкальные памятники (от опер и симфоний до камерно-инструментальных и вокальных произведений), возвращенные Ольгой Дадиомовой в Беларусь и вошедшие в репертуар многих исполнителей, стали основой уникального направления деятельности Национального академического концертного оркестра, которым руководит Михаил Финберг. На протяжении двух десятилетий коллектив, по инициативе неутомимого маэстро, проводит художественно-просветительские акции в различных регионах страны. И Дадиомова участвует в них как научный руководитель и ведущая концертных программ.

Все началось в 1995 году, когда состоялся первый, сегодня уже знаменитый на всю Беларусь, фестиваль «Музы Нясвіжа». Успешный дебют стал стимулом для популяризации возрожденной классики в других наших исторических городах и местечках, для превращения таких акций в ежегодную традицию и постепенного расширения географии «асветніцкіх фэстаў». Процесс этот продолжается. «Заслаўе», «Мсціслаў», «Мірскі замак», «Чачэрскія сустрэчы», «Пінскія спатканні», «Гасцёўня Напалеона Орды»; музыкально-просветительские праздники в Молодечно, Турове, Новогрудке, Горках, Любани, Хойниках... Для

каждого проекта разрабатывается научно обоснованная, с учетом местных исторических традиций, концепция, в соответствии с которой составляется программа. В ней бывает предусмотрено даже проведение научной конференции, и тогда Ольга Владимировна заранее заботится об издании сборника докладов и сообщений, подготовленных участниками чтений, пишет вступительную статью.

А как ведет она музыкальные программы, исполняемые на таких фестивалях камерными академическими коллективами, которые работают в составе знаменитого оркестра! Из ее неповторимых, очень серьезных по сути, но легких по форме комментариев, окрыленных импровизацией и юмором, можно почерпнуть столько увлекательных исторических сюжетов с участием легендарных персон! В таком рассказе (или сценарии сериала?) можно убедительно связать с Беларусью, например, великого Иоганна Себастьяна Баха. Нет-нет, он, судя по достаточно подробной биографии, никогда не ступал по белорусской земле! Однако этот гениальный немец в совершенстве освоил «модный» у нас жанр полонеза, а свою грандиозную Мессу си минор посвятил Фридриху Августу «Моцнаму», курфюрсту саксонскому и королю Речи Посполитой, который, между прочим, вынашивал идею независимости Великого Княжества и которого поддерживали Радзивиллы. А сын композитора — Карл Филипп Эммануэль Бах был наставником и другом Яна Давида Голланда, который в молодости покинул родную Германию, на долгие годы связал свою судьбу с окружением Радзивиллов, а оперу «Агатка, або Прыезд пана» (ее принято считать первой белорусской оперой) написал в Несвиже на либретто Матея Радзивилла. (Замечу, ноты этой оперы, записанной в фонд Белорусского радио с участием ведущих солистов, нашла в зарубежном хранилище и привезла «домой» именно Дадиомова.)

Кстати, Голланд — современник Моцарта, который (точно известно) никогда в Несвиже не гостил. Однако оба композитора, «авангардисты» своего времени, не сговариваясь, работали в общем для XVIII века интонационно-стилевом поле. Так стоит ли удивляться, что написанные в один год легендарная несвижская «Агатка» и моцартовский шедевр «Свадьба Фигаро» имеют в звучании определенные схожести, а то и совпадения? В более позднее время именно под влиянием творчества Моцарта, даже цитируя его музыку, создавал оперу «Фаўст» (на оригинальное либретто самого Гёте!) Антоний Генрик Радзивилл, в молодости приехавший в Германию и обосновавшийся там на всю жизнь. А в его доме находил поддержку и приют Фридерик Шопен — между прочим, обожатель фортепианных полонезов Михала Клеофаса Огинского, часто называемого «предтечей Шопена» в этом жанре...

Вот примерно в таком духе комментирует концерты наша героиня. Думаю, заслушаться может и человек, далекий от классического искусства. Но главное, что живой, доходчивый, остроумный рассказ обаятельной ведущей не только захватывает публику на время даже двухчасового концерта, идущего без антракта. Главное, что зрители-слушатели, грамотно подготовленные к восприятию серьезных произведений,



Годы студенчества, «на картошке».

с интересом вступают в сложный звучащий мир, замечают его красоту, наслаждаются, ждут продолжения. Благодаря этому в родной глубинке воспитывается уже не одно поколение просвещенных любителей старинной белорусской музыки, знакомых также и с отечественной классикой XX столетия, и с шедеврами мирового музыкального искусства. И очень важно то, что непростой просветительский процесс осуществляется через образную и яркую белорусскую речь.

«Сотрудничая с этим удивительным оркестром уже 20 лет, могу с уверенностью сказать, что он является не только высокопрофессиональным исполнительским коллективом, но также научным и просветительским центром, который осуществляет и поощряет научные разработки, направленные на практическую творческую деятельность. Все новейшие исследовательские находки сразу внедряются в практику, а она в свою очередь стимулирует и создает перспективу для дальнейших музыковедческих поисков, формирования новых научных актуалий и концепций. А таким образом возникает возможность ввести многие найденные музыкальные памятники в белорусскую художественную действительность — через подготовку и обработку нотного материала и, конечно, через его блестящее исполнение.

Именно поэтому не прерываются инновационные проекты коллектива, где возрождается творческий облик многих видных личностей белорусского музыкального мира (в том числе, по инициативе руководителя оркестра, — и наших классиков XX века), где «музычная даўніна» Беларуси подается также и в новом освещении, в определенном контексте. Как раз таким путем пошли мы нынче, презентуя творчество Чайковского в Несвиже, а в прошлом сезоне, за год до юбилея Огинского, начав концерты в его честь первым выступлением оркестра в Залесье. Кстати, там же проведем юбилейный концерт 25 сентября, в день рождения этого выдающегося общественного деятеля, интеллектуала, истинного аристократа духа, рыцаря и патриота».



В студии телевидения.

Фигура Огинского, как подчеркивает Ольга Дадиомова, уже 20 лет остается центровой в деятельности коллектива, который одним из первых начал представлять в разных уголках страны музыку наших давних соотечественников (в акциях, получивших сегодня общее название «Гістарычныя канцэрты ў старажытных цэнтрах Беларусі»). Если говорить о цифрах, то это более тысячи концертов в рамках 120 фестивалей. Если говорить об именах, то это Матей Радзивилл и Ян Голланд, Наполеон Орда и Михаил Ельский, Осип Козловский и Станислав Монюшко (посвященный ему праздник в Мире длился целых 6 часов!), а еще Михал Казимир и Михал Клеофас Огинские, Камилла Марцинкевич, даже Тадеуш Костюшко, — и многие другие композиторы, как профессионалы, так и музыкально образованные талантливые любители.

Между прочим, «белорусский след» в сознании Ольги Дадиомовой — это «семейное наследие». Родилась она в Гомеле, но детство прошло уже в Минске. Отец Владимир Дадиомов был писателем и журналистом. Мама Мария Захаровна преподавала белорусскую литературу в Республиканской гимназии-колледже при академии музыки, по тогдашнему названию — Средняя специальная музыкальная школа при Белорусской государственной консерватории. В этой школе, кстати, училась Ольга.

«Только теперь, вспоминая отца, я особенно остро чувствую, как много он значил для меня, хотя его присутствием было отмечено несколько лет моего детства — то короткое счастливое время, когда все мы жили вместе, в единой семье, в одном доме... Только теперь осознаю, что именно первые детские впечатления во многом определили контур, содержание и стиль дальнейшего моего существования, образ которого формировался на примере именно отцовской жизни. А его жизнь определяли мощная творческая доминанта, высокая художественная нота, главенство интеллектуального труда и нескончаемый поиск, компанейская открытость и внутреннее одиночество, усмешливая самоирония и глубинный душевный трагизм. Помню, как он читал маме, брату и мне очередную главу своего романа «Над Нёманам». Именно мы первыми оценивали «на слух» и строки его «Белазёрскага дзённіка», устроившись на полу комнаты (потому что стулья и даже кровати были завалены рукописями). Помню простор новой квартиры, где не смолкали стрекотание пишущей машинки и телефонные звонки: как ответственный корреспондент «Литературной газеты» отец по нескольку раз в день передавал срочные сообщения, рецензии, статьи. Мама полностью была занята редактированием его рукописей... На даче папина машинка тоже не утихала. Но приход его коллег и соседей Андрея Макаёнка, Алексея Кулаковского прерывал работу, время проходило в искренних беседах и творческих спорах. Их участниками в разные годы были Иван Шамякин, Василь Быков, Максим Лужанин, Владимир Карпов, Иван Новиков, Алексей Карпюк. Хорошо помню Льва Кассиля — с ним родители подружились в Доме творчества в Крыму, а еще — Расула Гамзатова и Чингиза Айтматова, с чьими семьями жили рядом в период папиной учебы на Высших литературных курсах в Москве. Вспоминаю Беловежскую пущу, где ходили с Нилом Гилевичем и впервые увидели первозданный сосновый бор, буквально завороживший папу... Берегу его пронзительные военные заметки — пожалуй, самое ценное, что осталось у меня из его рукописей...»

Ходят какие-то легенды про магическое обручальное кольцо, которое в самом начале исследовательского пути Ольги Дадиомовой помогло ей осуществить первый научный подвиг. Слухи слухами, но... Они правдивы.

«Моя мама, у которой был культ «навучальнасці», считала, что ребенок, то есть я, должен учиться постоянно. В специализированной школе, потом в консерватории, обязательно в аспирантуре — и далее учиться всю жизнь. Такой вот учительский синдром. Мама сказала: «Я тебе помогу, буду заботиться о твоей дочери, но ты должна заниматься наукой». И когда оказалось, что в белорусских архивах действительно нет интересовавших меня нотных источников, она спросила: «А где они есть?», на что я ответила: «Они есть в Польше». Мама не отступала: «Сколько стоит билет до Польши?» Говорю: «Это до Кракова, туда проезд 25 рублей». По тем временам четверть зарплаты. Она сказала: «Я тебе дам 50». Отнесла в скупку свое золотое обручальное кольцо и сказала: «Не надо останавливаться. Покупай билет и поезжай».

Наверное, это какая-то сотая часть того «легендарного», что происходило на самом деле. Вспомнилось, как мы с моей аспиранткой Светой Немогай сидели всю ночью на вокзале... Ехали то ли из Германии, то ли из Польши. Чтобы переночевать в отеле, денег уже не было. Вот и коротали время «в гуще жизни». К нам подходили любопытные бомжи. Один оказался филологом. Так вот он

помог нам в работе! Виртуозно перевел очень сложный текст со старопольского языка на белорусский, именно его переводом мы потом и пользовались.

Да и все, что происходило, — вовсе не подвиг, а какая-то абсолютная наша оторванность от реальности. Мы занимались своими поисками как блаженные! Вот сейчас бы я на такую авантюру не решилась... Избавилась от определенного научного снобизма, научных утопий и научной романтики. И убеждена, что не стоит комплексовать по поводу, например, того, что в досоветское время белорусской национальной композиторской школы не было. Этот факт надо принимать и объяснять как нашу уникальность и — научную загадку, разгадать которую тоже очень важно и почетно.

Я склоняю голову перед сотрудниками нашей кафедры, каждый из которых уникален как, пожалуй, единственный в мире специалист в своей области. Очень сожалею, что профессор Тамара Семеновна Якименко (а она ведет свою научную генеалогию от действительно легендарной Лидии Сауловны Мухаринской!) уже не работает на кафедре... Случилась и горькая утрата — ушла из жизни доктор искусствоведения Лариса Филипповна Костюковец, которую никто не заменит. Правда, ее ученики работают самоотверженно, «подхватили» ее предметы, продолжили многолетнюю традицию фольклорных экспедиций (теперь ими руководит доцент Лилия Баранкевич). Коллеги радуют профессиональными успехами. Доцент Тамара Лихач завершает книгу о музыкально-литургической традиции Беларуси, доцент Татьяна Беркович (ученица Тамары Якименко) недавно опубликовала обстоятельную монографию, посвященную проблемам белорусской народно-песенной культуры. Надежда Бунцевич еженедельно публикует блестящие статьи о современном белорусском искусстве».

Сопровождаемые концертами научные конференции «Шэсць стагоддзяў беларускай музыкі», «Беларуская музыка ў каардынатах еўрапейскага мастацтва». Программа «Шляхі мецэнацтва. Да 500-годдзя дынастыі Радзівілаў», символично объединившая в стенах обновленного великокняжеского дворца музыку Вацлава из Шамотул, Яна Карловича, Яна Голланда, Михала Казимира Огинского, представителей рода Радзивиллов — Матея, Антония, Софьи... Достаточно и трех фактов, чтобы представить себе, какой привлекательный, неизведанный и все еще загадочный музыкальный ландшафт открывается перед нашими современниками. Возрожденный из утопии, превращенный в реальность...

*«В науке очень важно говорить правду. Даже в том случае, когда эта правда не нравится — ни нам, исследователям, ни слушателям. Как хотелось бы, чтобы белорусская музыка имела высокий национальный облик уже со времен ренессанса, барокко, чтобы и эпоха классицизма в нашем музыкальном наследии была обозначена величественными именами, подобными Моцарту, Гайдну, Бетховену. И чтобы эпоха романтизма впечатляла реализацией идеи создания национальной композиторской школы... Михаил Глинка мог бы стать белорусским классиком, точно так же и Монюшко мог стать белорусским классиком романтизма. (Для этого были все предпосылки, как были и неблагоприятные для развития белорусской культуры реальные условия XIX века. — **С. Б.**). Но прошлое уже состоялось. И давность остается для нас закрытой комнатой, ключи от которой навсегда потеряны. Но то, что не сбылись наши определенные мечты и чаяния, не значит, что исследователи вынуждены рассматривать эту правду лишь в негативном аспекте. Мы должны говорить правду и объяснять, почему этот «музыкальный сценарий» разворачивался во времени и пространстве не по тем законам, к пониманию которых мы приучены на примерах развитых культур. У культуры Беларуси была иная функция, иная «жыццядайная», результативная миссия в ходе европейского музыкально-исторического процесса. Наше культурное донорство, дарение своих лучших сыновей другим народам, следует воспринимать как синоним жертвенности. А ведь без тех жертв не могла бы осуществиться история европейской музыкальной культуры. Сказано, может быть, излишне пафосно — ну, неужели без культуры Беларуси не состоялся бы европейский му-*


С учениками.

зыкально-исторический процесс? Не состоялся бы! Я могу с полной научной ответственностью так говорить. Ведь без участия музыкальной культуры Беларуси никогда не произошли бы те процессы, которые пережили культуры соседних и более отдаленных стран. Потому что наша культура принимала, адаптировала, переносила очень важные и плодотворные западноевропейские течения, явления искусства и высокого, и бытового. Если бы она не адаптировала на своей почве и не перенесла, не подарила что-либо культуре, скажем, России, то культура нашей восточной соседки выглядела бы беднее и совсем иначе. Не могла бы развиваться в том русле, в котором она развивалась, и культура Польши, обогатившаяся деятельностью Станислава Монюшко, Яна и Мечислава Карловичей.

Многие выходцы из Беларуси, плод их деятельности — неразделимое наследие белорусского, и польского, и литовского, и российского народов. Во времена существования Российской империи Беларусь, входившая в ее состав, дарила свои таланты, ехавшие в российские столицы, где еще с XVII столетия были желанными гостями. Дарила своих сыновей: Осипа Козловского, автора первого российского гимна, и Михаила Глинку, чей талант сформировался на белорусской почве и чья «Камаринская» на самом деле является нашей «Лявонiхай па-даўнейшаму». Однако, рассуждая так, я полагаю, что все те композиторы, которые жили и работали на территории Беларуси, когда эта территория входила в состав империи, в равной степени принадлежали русской, белорусской, литовской и польской культурам. И точно так же российское музыкальное наследие, тем более XIX века, в полной мере можно отнести к культуре Беларуси. Впрочем, кого бы мы ни вспомнили из восточноевропейских, западноевропейских, чешских, польских, украинских, русских композиторов, среди них нет ни одного, кто так или иначе, напрямую или опосредованно не был бы связан с нашей культурой. Когда я начинаю рассказывать о ее специфике, выступая на конференциях за рубежом, то убеждаюсь: коллеги не просто получают новую для себя информацию, но и заинтересованно вникают в исследования культуры Беларуси, такой бесподобной, особенной в своем историческом развитии, столько давшей разным народам, — и ученые с мировыми именами многое проясняют для понимания культуры собственной.

Музыка Беларуси, музыка на территории Беларуси имеет очень широкую трактовку. Многие памятники являются общим сокровищем нескольких народов, их общим наследием. И говоря «общее», мы не присваиваем ни польское, ни русское, ни литовское — мы не трактуем наследие как исключительно национальное белорусское, а только смотрим на факты и стремимся о них говорить максимально корректно».

Музыка Беларуси — это музыка Беларуси... Глядя на сегодняшнюю ситуацию глазами оптимиста, Ольга Владимировна удивляется, можно сказать, «сама себе»: за четверть века, буквально у всех на глазах — просто невероятно! — произошла полная реконструкция всего музыкально-исторического процесса. И теперь история белорусской музыкальной культуры — со всеми ее парадок-

сами, «дипломатичными» недомолвками, загадками — отражается в зеркале шести столетий.

«Это действительно невероятно! В жизни ни одного народа не было такого случая, чтобы за столь короткий для истории период идея — причем идея музыкального возрождения — овладела массами, была подхвачена, разработана группой исследователей, возведена с невспаханной целины во впечатляющий «гмах» новой отрасли знаний. Во внутреннем дворе этого внушительного строения — широчайшее художественное поле, где все живет, переливается всевозможными красками: здесь усердствуют исполнители. А мы, исследователи, уже не успеваем следить за тем, что они делают, их даже не сосчитать, ведь помимо известных профессионалов сотни любительских, учебных, народных коллективов увлеченно играют стародавнюю музыку Беларуси. Общество с удовольствием воспринимает это движение через столетия как движение к себе. И легче, чем специалисты, принимает очень простую мысль о своей музыкальной истории: древние архитектурные памятники на нашей земле — это не молчаливые знаки прошлого, а свидетели былой жизни. А жизнь во все времена сопровождала музыка. На протяжении столетий пространство храмов, замков, дворцов, усадеб, обычных домов и построек наполнялось разноязычной человеческой речью и музыкальными звуками...»

Личное дело Ольги Дадиомовой

Август, воспетый поэтом как «месяц цезарей», — время ее рождения. Нынче, в разгар летнего затишья, Ольга Владимировна принимает поздравления с юбилеем. По поводу очередной своей круглой даты высказывается непритязательно и откровенно:

«Обычно юбиляры кокетливо замечают: в 50 (60, 70) лет жизнь только начинается. Я же скажу иначе: моя жизнь — в обыденном личном смысле — еще и не начиналась. Потому что пришлось многим пожертвовать — и пожертвовать, к великому сожалению, не только собственным спокойствием, но и благополучием близких... Недаром, когда я даю советы в воспитании внука, моя дочь говорит: «Что ты можешь посоветовать, когда сама ничего не знаешь? У тебя же как будто не было детей. Единственное, что я помню, — это лязг входной двери и твой возглас: “Я пошла в архив!”» Поэтому теперь приходится отдавать долги: как могу, компенсирую свою «вредность», сожалея, что уже невозможно отдать тепло родителям, которым я стольким обязана...

Понимаю также, что никогда не смогу воздать должное учителям, которые вывели меня в люди, и прежде всего — профессору Инне Дмитриевне Назиной, остающейся образцом преданности своему делу. Поэтому стараюсь хотя бы через учеников передать почтение, признательность своим наставникам».

В числе учеников Ольги Дадиомовой, как известно, ее самая первая, увлеченная и самоотверженная аспирантка, с которой когда-то доводилось делить дорожные приключения и бытовые тяготы поездок за рубеж — ради работы в нотных архивах. Это Святлена Немогай, ныне весьма успешный ученый-белорусист, высокообразованный музыкант, кандидат искусствоведения. С ее именем связано создание замечательной книги — историко-теоретического исследования «Жыццё і творчасць М. К. Агінскага ў каардынатах яго часу і культурнага асяроддзя», выявление и презентация ранее неизвестных опусов Михала Клеофаса Огинского, подготовка и проведение в качестве комментатора уникальных концертных программ возрожденной белорусской музыки...

«А учеников у меня уже много. Начиная от Святлены Немогай, которая постоянно двигается вперед в науке и просветительстве, до молодых магистрантов, аспирантов и зрелых соискателей, — замечает Ольга Владимировна. — *Катерина Берестова (с ее работой о белорусско-немецких музыкальных*

связях), Ольга Поддубская (она разработала проблему белорусско-итальянских музыкальных отношений), Алина Данилевич (в центре ее интересов — Ян Карлович), Ольга Царик (изучает музыкальную культуру городов Минщины), Владимир Лебецкий (сфера его научных занятий — музыкальная Гродненщина). А еще довелось помочь завершить работу над начатыми ранее диссертациями Наталье Копытько (о камерной кантате) и Татьяне Трофимчук (ей профессор Тамара Якименко предложила тему воплощения средневековых образов в белорусской симфонической музыке).

Нынче, к сожалению, в Академии музыки не объявляли прием на белорусоведческую специализацию, и это всех нас очень обеспокоило, поскольку музыкологи-белорусисты до сих пор имели возможность углубленного изучения соответствующих дисциплин (от нашего родного песенно-инструментального фольклора и истории музыкальной культуры Беларуси до философской мысли Беларуси). Но есть обещание руководства нашего вуза и твердая уверенность в том, что через два года «музычнае беларусазнаўства» станет специальной отраслью, в которую вольется новый приток студенческой молодежи. Пока же я стремлюсь делать всё, чтобы сохранить и продолжить сложившуюся традицию, создавая научно-методический фундамент для обучения будущих воспитанников».

На пути к заинтересованному читателю ее новая книга, в основе которой авторский перевод на русский язык монографии «Гісторыя музычнай культуры Беларусі да XX стагоддзя», изданной в 2012-м, к юбилею академии музыки, и год назад размещенной на сайте учреждения. Более двух лет Ольга Дадиомова занималась переводом и дополнением этого труда, дабы с ним смогли познакомиться коллеги в других странах. Также с целью продвижения знаний о нашей художественной культуре начала сотрудничать с московским журналом «Учитель музыки». Там она публикует материалы об историческом пути отечественного музыкального искусства, о его деятелях. И разве могут не привлечь внимание, например, очерки под заголовками «Музыкально-историческое наследие Беларуси как общее достояние нескольких народов», «Жизнь и творчество Глинки: взгляд из Беларуси», «Чайковский и музыкальный мир Беларуси»! Нынче, когда мир отмечает 250-летие со дня рождения Михала Клеофаса Огинского, его личность стала наиболее примечательной в контексте новых публикаций.



Концерт в Свято-Николаевском костеле поселка Мир.

«В судьбе Огинского воплотились типологические качества культуры Беларуси как общего достояния и «объединительницы» нескольких народов, как культуры-донора и переводчика в диалоге славянского, общеевропейского запада и востока. И еще в этом году исполнилось 175 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Вспоминая о такой знаменательной дате, важно было высветить его связи с нашей культурой. Ведь они существуют и прослеживаются через деятельность уроженцев Беларуси — Николая Зарембу, наставника Чайковского в консерватории,



Доктор искусствоведения, профессор Ольга Дадиомова.

и Константина Горского, блестящего исполнителя, скрипача-виртуоза; через творчество Осипа Козловского и его ученика, упомянутого Михала Клеофаса Огинского; через музыку крупнейшего современного композитора страны Дмитрия Смольского, исследования нашей коллеги Екатерины Дуловой и ярчайшие интерпретации наследия русского классика молодыми белорусскими исполнителями».

Какая бы тема, какая бы творческая школа, какое бы громкое имя ни оказывалось в поле зрения Ольги Дадиомовой, она едва ли не всегда найдет и обоснует определенную причастность объекта научного внимания к истории нашей отечественной культуры, докажет глубинную связь того или иного художественного явления, факта с белорусским музыкальным ландшафтом. Велика ее личная заслуга в том, что сложные очертания этого самобытного, многообразного, неповторимого ландшафта, как минимум на полтора столетия упрятанного за пелену забвения, открываются для всех. А неожиданные открытия принципиально изменяют, расширяют представления о месте и роли белорусов в развитии культурных традиций Европы, питают и обогащают нашу историческую память и самосознание, повышают самооценку народа.

Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства (в области критики и искусствоведения), Ольга Дадиомова поощрялась стипендией Главы государства, награждена медалью Франциска Скорины, нагрудным знаком Белорусского союза музыкальных деятелей «За ўклад у развіццё музычнага мастацтва», грамотами, благодарностями, дипломами ряда ведомств и организаций, в том числе международных. Разумеется, высокая оценка ее талантливого труда, видное место в обществе, уважение в мире науки и творчества не защищают от проблем, в том числе и финансовых, сопряженных с постоянной и разносторонней деятельностью. Но как не похожи они на проблемы, которые доводилось решать «саматугам» лет 30 назад! Думаю, именно то незабываемое время закалило характер исследователя и выработало привычку первопроходца — рассчитывать на собственные силы.

«Тогда мне в голову не приходила даже мечта о том, чтобы получить командировку за пределы Беларуси на поиски материалов по отечественной истории музыки. Да и не было уверенности в результативности тех поисков, осуществлявшихся по замысловатому маршруту: через Санкт-Петербург и Москву, Вильнюс, Варшаву и Краков, Франкфурт-на-Майне и Брюссель. Мне и правда приходилось долгое время искать музыкальные артефакты на свой страх и риск, не надеясь, что кому-нибудь они понадобятся. Оказалось, все это не напрасно: сотни стародавних произведений, относящихся к музыкальному наследию Беларуси, переданных исполнителям, коллегам и студентам, зазвучали

в репертуаре лучших солистов и коллективов, даже две композиции в оперном жанре («Фаўст» Антония Генрика Радзивилла и «Чужое багацце нікому не служыць» Яна Давида Голланда) были поставлены на сцене нашего академического Большого театра.

И вот сегодня, готовя к изданию новую книгу, я специально не обращаюсь за финансовой помощью, хотя уверена, что нашла бы поддержку и в государственных учреждениях, и в частных структурах. Но помощь каким-то чудесным образом приходит. Уже ощущаю ее со стороны минского издательства «Ковчег». Уже интересуются будущим изданием учебные заведения и заказывают его в типографии. Но все же, по большому счету, в своем ощущении и отношении к работе я по-прежнему считаю восстановление отечественного музыкально-исторического наследия своим личным делом. Потому что знаю и всегда подчеркиваю: только благодаря подвижническому труду исследователей, многих и многих наших коллег, выдающихся музыкологов, историков различных областей белорусского мира (начиная от Адама Мальдиса, Гурия Барышева, Анатолия Грицкевича) Беларусь стала единственной страной на всем земном пространстве, в которой при жизни нашего поколения осуществилась полная реконструкция всех музыкально-исторических эпох, в разных сферах и направлениях. В научном — через поиски, находки, всесторонний анализ, создание обобщенных концепций и публикацию исследований; в педагогическом — через создание целых отраслей знаний и соответствующих дисциплин во всех учебных заведениях искусства и культуры страны, издание учебников, учебных программ и хрестоматий; в творческом — через исполнение в разных уголках нашей страны, в интерпретации лучших музыкантов, чудом сохранившихся и чудом найденных старинных произведений».

* * *

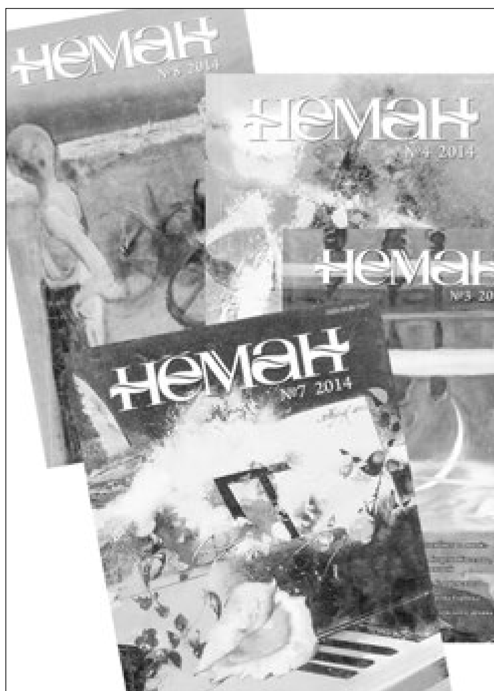
Подготовка творческих проектов, учебных материалов, занятия с учениками... Но главным делом в ближайшем будущем станет для нашей героини написание новой работы под названием «Музычная культура Беларусі: гістарычны лёс і творчыя сувязі». Несомненно, что в ней на современном уровне будет обобщен и переосмыслен богатейший материал многолетних исследований. Опытный автор-аналитик и целеустремленный просветитель, Ольга Владимировна четко представляет свою научную задачу. Но как человек ответственный и творческий она избегает разговоров о том, сколько именно времени понадобится на воплощение задуманного. Ведь бесчисленные и разнообразные труды профессора Дадиомовой, от популярных очерков до монографий, — это всегда результат живого, подвижного креативного процесса, который вряд ли можно регламентировать временными рамками. Размышляя, она творит. Попросту говоря, работает постоянно, много, быстро. А юбилей свой воспринимает с улыбкой: «Пока есть перспектива, рано подводить итоги, потому что жизнь — впереди».

Светлана БЕРЕСТЕНЬ
Фото автора, а также из архива Ольги ДАДИОМОВОЙ.



С точки зрения рецензента

Последние романтики XIX столетия



Роман Олега Ждана «Не погибнет со мной» *(О. Ждан, «Не погибнет со мной» // Нёман, 2014, № 3,4,7,8)* имеет непростую историю. Идея этого проекта была задумана еще в 60-е годы в серии «Пламенные революционеры», но смогла реализоваться только сейчас — в исторически изменившемся мире, в условиях новой культурной парадигмы. Художественное осмысление истории О. Жданом не вписывалось в идеологические и эстетические каноны ни застойных 80-х годов, ни все разрушающих 90-х. Поражает мужество автора в его противостоянии официальным доктринерам и его провидческий талант — отображенные им события российской истории 60—90-х годов XIX столетия явно резонируют с днем сегодняшним, с XXI столетием.

На исторические темы, начиная с В. Короткевича, у нас писали и пишут многие. А. Бутевич, Л. Дайнеко, В. Орлов, А. Наварич, Л. Рублевская... Достойнейшие авторы и достойные у них тексты. Только у О. Ждана свое восприятие истории и свои художественные задачи. Писатель пытается разобраться не столько в исторических **событиях**, сколько в их нравственном наполнении — с позиции истинного гуманитария, а если точнее — с точки зрения христианского понимания человека и развития мира.

Роман «Не погибнет со мной» — сложное художественное целое. Текст выполнен в формате интеллектуальной прозы. С использованием технико-комбинаторных, во многом эклектических и хаотических методов постмодернистской поэтики. По жанровой модификации это одновременно роман документальный, роман-хроника, роман событийный и роман-исследование, роман-полемика и роман-монолог от я-повествователя.

Проблема власти, личности и народа — основные логические центры, вокруг которых организуется художественное поле романа. Образным же центром, по замыслу автора, является достаточно противоречивая и теперь до конца не разгаданная фигура Николая Ивановича Кибальчича. Однако в «полный голос» этот герой заговорит только к концу повествования. Текст наполнен множеством голосов поколения народовольцев, поколения, кото-

рое выросло на идеях народнического движения — протестного движения молодежи 70-х — начала 80-х годов XIX века.

При всем этом О. Ждан формально пытается самоустраниться от прямых оценок исторического времени, передавая эти функции повествователю — литератору и издателю Павлу Сильчевскому. Павел Дмитриевич был непосредственным участником событий, но вместе с тем он оценивает те события уже спустя годы с позиций начала XX столетия. Но это и авторская оценка, его концепция истории, его философия. С учетом общественной и исторической мысли уже XXI столетия.

Весна 1889 года. Новгород-Северская гимназия празднует 100-летие. Это — отправной пункт повествования. Далее автор будет фрагментировать текст, смешивая временные и пространственные пласты и событийное действие.

Восприятие истории у О. Ждана многомерно. Удивительно сложно, многолико и многоголосо передана атмосфера исторического времени, в котором доминировали политический диалог, дискуссия, столкновение концепций и взглядов. По мысли автора, молодежное движение в России есть следствие развития общественного сознания. «*Все поколения и сословия болели переменами, как корью, каждый мало-мальски мыслящий человек строил и предлагал свои спасительные планы. Все испытывали потребность откреститься, очиститься, откупиться, проклясть и присоединиться*».

Как должно жить по законам природы и правды? — этот вопрос занимал умы всего просвещенного населения страны. Но ни брошюры народнические, ни роман Чернышевского ответить на него не могли. Они только формулировали вопросы.

«*Я изначально не собирался писать книгу о «пламенном революционере...* — напишет О. Ждан в своем письме автору этой статьи. — *Кибальчич в моем понимании не революционер по душевному устройству, он человек, вовлеченный в протестное движение молодежи по разным причинам, в том числе несправедливостью по отношению к нему судебной машины*».

Так что же представляет собой Кибальчич в дискурсе О. Ждана?

Герой родился в семье потомственного священника. По законам семьи и генетики, он должен был связать свою жизнь с церковью. Этот сан наследовался в их семье второй век. И этим фактором многое детерминировано в характере героя. Отсюда идут «корни» его уравновешенного, даже «самоустраненного» поведения. «*То было выработанное поведение людей, из рода в род наследующих духовный сан: нет в мире ничего удивительного, кроме Бога, даже самое таинственное, рождение и смерть, предопределено*». Кроме того, в их роду произошло слияние русской и сербской крови, что также не могло не повлиять на свойства его характера. Отношения Кибальчича с отцом — это отношения притяжения и отталкивания. Отец хотел, чтобы Николка поступил в духовное училище. И он туда поступил, а затем, тоже в угоду отцу, и в Черниговскую духовную семинарию пошел. Отучился два года. И вдруг забунтовал. Вернулся в Новгород-Северский, выдержал экзамен в 6-й класс гимназии. Вот тогда отец, все дальше и дальше отдалявшийся от мирской жизни, и отказал ему в помощи. И только перед смертью признал и свою вину в несложившейся судьбе сына. Помогали Кибальчичу дед Максим и старший брат Степан — военный врач. Он убеждал младшего брата стать доктором: «*Нет службы более угодной Богу, чем докторская!*» Николай же почему-то выбрал Институт путей сообщения. Хотя позже, и не исключено, что под влиянием того же брата, Кибальчич перейдет в Медико-хирургическую академию.

Мировоззрение героя в определенной степени складывалось под воздействием социума — хотя он и сопротивлялся этому, пытаясь сохранить свою нетипичность, непохожесть, **свое** понимание взаимоотношений человека и мира. Незаметно для себя, не стремясь к этому, Кибальчич был вовлечен в модные тогда поиски демократических путей развития российской государственности.

Автор не дает нам возможности проследить путь становления и развития мировоззренческой парадигмы героя. Он не открывает его внутренний мир, не проникает в его душу, не показывает его сомнений, метаний, не показывает его внутренней боли, нравственной борьбы. Герой избегает рефлексии, самоанализа. Он раскрывается через поступки, спор, полемику, множественные диалоги.

Студенческими умами завладевает идея народа, иллюзия о его всегдашней готовности к протесту и даже социализму. Лидировала Медико-хирургическая академия, которая была настроена более радикально, чем другие учебные заведения. Произошел некий сдвиг в умах и намерениях молодых людей. Даже медицина была отодвинута на второй план. Главным для них казалось служение народу. И даже не служение, а **искупление** своей вины перед народом. И молодые люди устремились в деревню.

О. Ждан связывает начало террора не с убийством Мезенцева и даже не с выстрелом Веры Засулич. Оно началось раньше. Более того, по мысли автора, террористическое движение было направлено не вовне, а внутрь, не на правительство, а на самих себя. Отсюда и родилась идея вины перед народом, которую интеллигенция должна была искупить. «*Виноваты были все*». Общество бурлило. «*Уже Иван Аксаков предложил дворянам торжественно и принародно сложить с себя это позорное звание. Уже стыдно было признаться, что лето ты провел не среди бурлаков, поденных рабочих, сапожников, золотарей, а среди братьев и сестер, с милыми родителями. Позорно было не знать... Бакунина, Лаврова, Ткачева*».

Кибальчич тоже ушел в народ, но не для того, чтобы его изучать, а для того, чтобы убедиться в правоте своего «знания» деревни. Он видел там людей добрых и злых, щедрых и жадных, прямодушных и хитрых. Но главное, они — консервативны, не было у них никакой склонности к борьбе.

В полемике с радикально настроенным бунтарем-индивидуалистом ЭнТэ (это — образ-идея, фикция) Кибальчич впервые формулирует свое отношение к революции и государственному перевороту. Герой был против насилия, но вместе с тем считал, что «*реформаторская энергия государя уже реализовалась, иссякла. Что же дальше? Путь один: просвещение всех, от крестьянина до сенатора. Новые реформы должны быть вызваны новым уровнем просвещения общества. Далеко не все зависит от воли правительства и государя*».

Итак, просвещение — вот идеологическая «платформа» Кибальчича-политика. Только не всегда герою О. Ждана удается устоять на этой «платформе», что в итоге и сделало его личность трагической.

Писатель моделирует сложное по архитектонике художественное повествование, где индивидуально-личностное сублимируется с общественно-социальным. Автор создает яркий образ времени, который по своей художественной значимости существенно превышает функцию фона. Народническое движение отображено широко и объемно, в деталях: «*Сходки происходили едва ли не каждый день, и, казалось, ради них, а вовсе не для учения, собралась здесь молодежь со всей России... обсуждалось не только, как жить и что делать, что читать и как понимать, о чем думать, а и что есть, пить, носить, на чем спать российскому интеллигенту*». Отображенное время кажется соткано из противоречий, противоборства различных концепций и мнений. С одной стороны, утверждения Бакунина, что «*в России столько революционеров, сколько учащейся молодежи, и что страсть к разрушению — страсть творческая*». С другой — заявление Лаврова, что «*наука — единственная сила в переустройстве общества*». «Время» было на стороне Бакунина. Позиция Лаврова большинству казалась неубедительной, сомнительной. А были еще и «троглодиты», игнорировавшие лавристов, те, в свою очередь, не признавали, осмеивали «троглодитов» — «*за нарочную дикость и немытые уши*». А были и такие, и их тоже было много, что

«*признавали всё понемногу и ничего в целом»*. Были еще и «долгушинцы», призывавшие идти в народ, чтобы возбудить его к протесту во имя лучшего общественного устройства.

В воздухе носилось много идей: от молчаливого и безропотного служения униженному народу до кровавого бунта, когда «*не лучше ли пролить кровь тысяч, чтобы спасти миллионы*». Где главная, которой можно посвятить жизнь?

Кибальчичу импонировали суждения Лаврова. «*В самом деле, что, как не образование, поможет темной России*, — все больше убеждался герой. Вместе с тем будущий «Техник» не спешил на «баррикады». До осени 1873 года он спокойно наблюдал за происходящим и только после ареста долгушинцев возмутился: «*За что?*» Именно это противозаконное действие властей и подтолкнуло героя. Он включился в молодежное движение, начал посещать сходки и — усиленно искать ответы на поставленные временем вопросы.

Первый арест Николая Кибальчича состоялся осенью 1875 года.

По России было арестовано около 4 тысяч молодых людей, среди них и Николай Кибальчич. Это был небывалый политический процесс, инициатором которого стал прокурор Жихарев. Одновременно судили «*сто девяносто трех и всех разом*». Масштаб протестного движения, как и сам политический процесс, позволили автору сделать вывод, что «*к ответу призвано ни много ни мало, а поколение. И что ж ему, поколению, молчать?..*» Автор углубляется в суть конфликта. Кто виноват в противостоянии? Правительство допустило ошибку, когда у Казанского собора разогнало студентов. Молодежь хотела диалога с властями. Она хотела быть востребованной, а «*за ней погнались с лаем и улюлюканьем*». Вот тогда поколение и «*поняло, что история не рок, а дело рук человеческих, почувствовало себя гражданами...*».

Тюрьма для Кибальчича была первой политической школой. Хотя и здесь он пытается сохранить свою индивидуальность. После того как в Петербурге в ДПЗ розгами высекли политзаключенного Боголюбова и в ответ на это прокатилась очередная волна жестокостей со стороны социалистов, Кибальчич недоумевает: «*Что общего у него с ними? Ничего*».

Автор пытается отобразить суть всех, или почти всех, противоборствующих сил. С одной стороны, крайний радикализм организаторов «Тайной дружины» — Стефанович, Дейч, Бохановский — с их тезой, что «*пора российскую колымагу перевернуть*». С другой — «*нельзя рушить старый дом, не имея хотя бы временного жилища. Не сносят храмы, не узрев нового Бога. Или хотя бы пророка*».

Кибальчич все больше будет склоняться к тому, что путь к социализму идет через просвещение, физику, химию, физиологию. «*Социализм — общество образованных людей, для диких больше подходит монархия*». Идея переворота видится ему утопической, ибо время революций еще не настало. Он убежден, что «*восстание возможно, если у народа нет надежд и ненависть сильнее чувства опасности. Бунт поднимается со дна жизни, без подготовки и сокрытия намерений*». Революция — постепенно нарастающее следствие жизни общества. Есть еще у людей надежда на царя и нет отчаяния. Да и вообще, «*злом невозможно погасить зло. Путь зла долгий, непредсказуемый и приводит к еще большему злу*».

Мотив «антизла» — первый шаг автора к христианскому императиву.

Судебный процесс о пропаганде в империи закончился большим позором для России. «*Всероссийский конфуз получился вместо суда*». Мир недоумевал, «*за что и почему продержали в тюрьмах двести человек от трех до четырех лет. Девяносто оправданы, многим зачтено время предварительного заключения, всерьез пострадало только двадцать*».

Кибальчич, дожидаясь суда, провел в тюрьмах Киева и Петербурга два года и семь месяцев, чтобы, наконец, тем же судом быть выпущенным на свободу в связи с недостатком улик.

Определенную роль в становлении политического сознания Николая Кибальчича сыграет убежденный революционер, «*не то бабувист, не то бакунист*» Тимофей Квятковский. Полемика с ним «оттачивала» убеждения героя, он готов был признать необходимость революции, но не стихийной, т. е. кровавой, а «*подготовленной десятками лет развития, просвещенной, продуманной, с которой согласны все и требуют все*». Кибальчич не понимал, «*почему — в хаос и из хаоса?*». «*Революции не делают, они — свершаются*». А для этого необходимо готовить общественное мнение, необходима основательная, понятная всем программа, наука о революции. На тот момент, по мысли героя, Россия не готова была к революции.

Николай Кибальчич не ушел из политики, как намеревался это сделать в тюрьме в минуты отчаянья. Жизнь вскоре свела его с народовольцами: Желябовым, Фроленко, Верой Фигнер и другими. Судьбоносной оказалась встреча с Александром Квятковским. С этой встречи и началась новая жизнь Кибальчича. «*Очередная новая жизнь*». Хотя, как подчеркивает автор, никто не мог повлиять на выбор Николая Кибальчича — ни Квятковский, ни брат Степан, ни даже отец. Герой сам, по своей воле и вопреки всякой логике несколько раз ее круто менял. Так было в Чернигове, Новгород-Северском и дважды в Петербурге. И все это были разные жизни.

Начинался новый этап в истории развития общественного движения России. Хождения в народ потеряли свою актуальность. Заметно меньше стало разговоров о любви к народу и больше злобы — к правительству, полиции, к русской истории, к предыдущим поколениям и даже к народным кумирам — Чернышевскому, Чайковскому, Натансону, Долгушину. «*Впечатление было таково, что в огромной топке стало больше жара*».

Вместе с этим закончилось и время реформ. Да и сами реформы кончились. А время революции еще не наступило. «*Далее что?*» — задается вопросом повествователь. «*Значит, бунт и переворот*». «*Если оглянуться, не так уж далеки они оказались друг от друга — Бакунин, Лавров, Ткачев, Исполнительный комитет*».

С исторической арены уходило поколение романтиков, которое было далеко от народа и его запросов, поколение, которое «*с луны свалилось*». Но и новое поколение было не лучше. «*Все они — и те, и эти — были поражены идеей, как массовой душевной болезнью»*. Остается надежда на новое поколение, «*у которого будет своя идея, а эта перестанет интересовать*». «*Несомненно,* — уверен один из героев дискурса, — *то первое благородное движение выродилось. Террор — признак малочисленности, а значит, и поражения поколения*».

В 1878 году Кибальчич принимает предложение Квятковского и Александра Михайлова и вступает в кружок под названием «Свобода или смерть». Кружок входил в общество «Земля и Воля» — впоследствии его часть образовала партию «Народная воля». Предполагалось, что именно эта партия станет кумиром для мыслящей интеллигенции. «*Пора понять, что в России слышен только револьвер. Каждый должен отдать партии главное — жизнь*», — говорилось в документах съезда общества «Земля и Воля».

Начинается последняя, трагическая страница жизни выдающейся личности российской истории Николая Ивановича Кибальчича.

Кибальчич-народоволец посвящает себя изобретению взрывчатых веществ и устройств. Он занимается изготовлением динамита в домашних условиях. Еще в Петербурге, в институте инженеров он возмечтал использовать энергию вращения Земли. Затем он выдвигает идею о двигателе летающей конструкции, способах управления этой конструкцией, и вместе с этим изучает свойства нитроглицерина, пироксилина, артиллерийского пороха.

Кибальчич становится главным техником Исполнительного комитета, принимает участие в покушении на государя в Одессе и под Александровском, а также под Москвой, в Зимнем дворце и в последнем — в Петер-

бурге 1 марта 1881 года. И при всем этом он категорически против убийств. Это и есть главное несоответствие между его «хочу» и «надо», или «хочу» и «могу». Хотел служить народу, отечеству, науке, а служил идее. Вместе со своим поколением. «*Каждое поколение должно найти средь себя смелых и бескорыстных, иначе как жить всем другим? Что ожидает Россию, все человечество без таких вот людей?*

Так славно было чувствовать себя одним из них». Это было народовольческое понимание патриотизма. Патриотизма как служения идеи.

Автор сосредотачивается на нравственной составляющей деятельности народовольцев. «*Чего вообще хотят эти люди?*» И вообще, «*как ему, сыну священника, эти две цифры — десять и тридцать три? Десять разорванных динамитом невинных солдат и тридцать три покалеченных*».

Нравственная идея как базис государственной власти России взращена на почве православия. «*Мы — православные, и недооценивать этого нельзя. Вот если рухнет оно, православие, тогда иное дело, а пока лишь только добрая воля может принести успех и результат*».

Охваченные идеей равноправия, свободы для всех, молодые люди отошли от христианских приоритетов. «*Страшен лишь первый выстрел, а после покушения Каракозова и особенно Соловьева не страшно*». То было поколение, возросшее в свободе. И это было главной причиной их выбора. Не методы воспитания сыграли свою роль, не общественное неустройство, не влияние Европы, а именно это, ибо «*в сущем мире все предопределено*» (8,6). Правда, была еще и жажда абсолютного. Абсолютной свободы, равноправия, справедливости. «*На дрожжах идей и личной неудовлетворенности забродила реальность. Поскольку их, идей, было мало, а неудовлетворенности много, выбрали самую решительную. При помощи любой, даже одной-единственной идеи можно объяснить и построить мир. Годится для такой цели и Бог, и безбожие, и царь, и народ. Главное — вера*». Вера в идею, добавим. Вместе с тем, каждое поколение — порождение своего времени, «продукт» своей эпохи. Ибо бытие определяет сознание.

Молодые люди стали заложниками идеи, в которой нет правды, она не «рождена» жизнью и не востребована ею. «*Жизнь идей и жизнь натуральная должны развиваться рядом и бесконечно поправлять одна другую. Нет ничего страшнее оптимизма, что внушает мысль, а не натуральная жизнь*».

Восприятие мира у Николая Кибальчича также трансформировано идеей, он «обесчеловечен» ею, внутренне деформирован — отсюда и его душевная черствость. Ему не нужны ни старые, ни новые друзья, ему, как и его соратникам-народовольцам, «*идеи... довольно для счастья вполне*». Такими же «обесчеловеченными» предстают и другие народовольцы. Во время допросов Желябов глядит равнодушно и презрительно, Перовская переполнена ненавистью и отчаянием. Но всех их превзошла Вера Фигнер, уже вечером 2 марта она предлагает сделать новое покушение на Александра III — это особый, женский фанатизм, гораздо страшнее мужского.

Именно поэтому адвокат Герард видит в народовольцах некую скрытую ненормальность. Ибо «*нормальный, полноценный человек выше всего поставит свое физическое существование, он понимает временность любых идей, изобретений, и кроме того, не может быть уверен в их правильности, значительности. А жизнь — вот она, во мне и вокруг меня. Она и есть мерило сущего. Нет ее — и ничего нет*».

«*Ты убийца, а не гений!* — так обращается к Кибальчичу полковник отдельного корпуса жандармов Никольский. — *Преступник, а никакой не гражданин! Таких, как ты, следует не казнить, а всю жизнь возить на эшафотных дрогах по городам и весям или содержать в зоологическом саду*». Никольский-аналитик делил движение социалистов по категориям: идейные и практические руководители (Желябов, Александр Михайлов), исполнители (Рысаков и Тимофей Михайлов); бунтовщики по мировоззрению и по

темпераменту, случайно примкнувшие и т. д. И только Кибальчича он не смог разгадать, тот так и остался для него непознанным социальным типом.

О. Ждан в образе Кибальчича совмещает две исторические судьбы. Совершенно разные — ученого и революционера. *«Ты,* — говорит Кибальчичу его друг и соратник Сильчевский Павел Дмитриевич, — *не революционер, ты ученый, ты можешь реализоваться только в науке, но имя твое погибнет вместе с тобой, никто не будет знать о тебе, будто и не жил на земле!*» Однако ошибся Павел Дмитриевич. Имя Кибальчича-революционера в России не погибло вместе с ним. Без Кибальчича «Народная воля» осталась бы «*шайкой с кастетами и ножами*», и только благодаря ему, а не Желябову и Перовской, тем более малограмотному Тимофею Михайлову и совсем потерянному от содеянного Рысакову, она осталось в истории России.

Поступки Кибальчича так же противоречивы, как и его характер. Он, ученый, уходит из науки, ибо считает это занятие на тот момент недостойным, «*как недостойно желать женщину, если ее м-мучает голод и страх*». Кибальчич противник террора, пишет программную статью партии под названием «Политическая революция и экономический вопрос» и помещает ее в «Народной воле». Он отрицает любовь к женщине, ибо такая любовь не приносит счастья, а только разочарование. Счастье приносит надежда. Но и надежды на революцию у него не было. Уже накануне, 1 марта, ему «*вдруг стало вполне ясно, что гибель императора ничего не изменит*». Однако: *«Честь партии требует»*. «*Но что — честь, если речь о бессмысленной гибели многих людей?..*» И несмотря на внутреннее несогласие, герой участвует в кровавой акции, радуясь только тому, «*что нет человека на земле, который бы думал сейчас о нем*». Что гложет героя? Совесть за свой поступок или жалость к близкому человеку? Брат Степан летом прошлого года написал: «*Догадываюсь, чем ты занимаешься. Одно скажу: не хочу тебя знать*».

Такими же противоречивыми чувствами Кибальчич полнился и в день покушения. Его радовала неудача товарищей — значит живыми останутся. Но вместе с тем: «*...все — даром? Опять напрасно погибнут Александр Михайлов, Колодкевич, Ширяев, Тригони, Желябов? Еще плотнее укутает землю тысячелетняя российская дрема?*» И в итоге, вопреки всякой логике и даже физиологии, следует знаменитый «чисто кибальчичевский» поступок: он быстро, как мог, направился к дому — **спать**. Именно этого **спать** до сих пор не может разгадать история. Как не смог этот поступок до конца понять полковник Никольский, в глазах которого долго стояла жуткая картина покушения, мастерски выполненная писателем, когда «*кругом стонали, кричали, копошились, ползли раненые. Детский голос звал — просил то ли пощады, то ли помощи. Раненая лошадь выбивала копытами фонтаны бурого от крови снега*». Никольский насчитал раненых и убитых около двадцати человек. Вот этих — убитых и раненых, детского голоса и смертельно раненой лошади — полковник не мог простить Кибальчичу: «*...проспал, не имел столь замечательной картины перед глазами. Какие же сны видел ты? Уж ясно, не окровавленного старика в изодранной шинели, с перебитыми костями ног. Не лошадь с выпученными глазами, не мальчика, не слышал его утихающий крик*».

В нравственной сути характера Кибальчича пытается разобраться и адвокат Герард. Он считал, что массовое движение молодежи нравственно выродилось еще в апреле семьдесят девятого года. Это «*благодаря им на Руси значительно подешевела кровь*». Герарду трудно было защищать Кибальчича, ибо «*все самое кровавое за эти два года подготовлялось его холодными руками, многократно обдумано, оправдано, решено*». А главное «*никакого раскаяния или страдания не видел я на его лице*». В итоге адвокат признает, что Кибальчичу «*в сущности, никогда не была дорога ни своя, ни чужая жизнь. Все ему присуще, что и другим людям — любовь, печаль,*

ненависть, страх, радость, — но все в малой степени, в зародыше, поскольку нет места чувствам, если человеком овладевает идея-фикс».

Писатель утверждает, что «*каждый, как может, провидит будущее*». Такое ли будущее провидел себе Кибальчич? «*О таком ли поле деятельности мечтал он, приехав в Петербург? Он, склонный к уединению, к ученым занятиям, знающий несколько языков?*»

Государственный обвинитель Муравьев увидел в Кибальчиче новый тип борца в социально-революционном движении, наиболее опасного, ибо в его руках наука предстала носителем зла. Вместе с тем он рассматривает Кибальчича и как жертву народовольческого движения.

Кибальчич как ученый «проявит» себя только перед смертью. Словно спохватившись, боясь не успеть, герой все свои мысли направляет на реализацию своей главной научной идеи — проект воздухоплавательного аппарата. Николай Иванович решился на работу, которую давно откладывал на потом. Это и было его завещание потомкам. «*Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мной, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать своей жизнью*».

«*Трагедия русского общества,* — подчеркивает П. Васюченко, — *состоит в безмерном одиночестве мыслящих совестливых, одаренных интеллектуалов*» (Васюченко П. Петроглифы. О литературе во времени и пространстве. // Всемирная литература, 2007, №1, с. 204.). Николай Кибальчич также переполнен чувством одиночества. Страх одиночества впервые постиг его после смерти матери и укрепился, когда отец отправил его в Мезень к деду Максиму. Из-за страха одиночества он бежал из Черниговской семинарии, затем из-за него перешел из Института инженеров путей сообщения в Медицинскую академию. Одиночество же подтолкнуло героя пригласить в Жорницу совершенно чуждого ему ЭнТэ, а впоследствии сбежать от него к брату. С новой силой страх одиночества постиг его после первого ареста, почти три года сверлил душу в Киевском замке. Спасаясь от страха одиночества, герой в ДПЗ бросился к Брешковской, сблизился с Тимофеем Квятковским. Позже, выйдя на волю, из-за этого же страха он сблизился с народовольцами. И теперь, боясь остаться один, он хочет и умереть вместе с ними.

Уже в финале в Кибальчиче проявляется его второе «я» — «просто человек». Герой впервые сожалеет, что не знает своих соратников «*как человеков*». «*Почему ни разу не пришлось поговорить по душам, выслушать и рассказать о себе?*» Это второе «я», проснувшееся в Кибальчиче перед казнью, приведет его к мысли, что «*прозрачный и жалкий ручеек его собственной жизни истлел, то приближаясь, то отдаляясь, рядом с океаном вечности*». В этом ощущении было нечто «*бессмысленное и счастливое*».

Кибальчич, как и все его поколение, были распяты своим временем. Отсюда тянутся нити их трагических судеб.

Кибальчич не страшится предстоящего суда, для него гораздо важнее суд потомков. «*Что скажут о них потомки? Нет суда более пристрастного и несправедливого, чем их, грядущих поколений суд. Некому будет возразить им, обладателям своей временной правды и истины, своя злоба днями будет занимать их.*

Но, может быть, смерть оправдает и примирит», — пытается оставить себе хоть слабую надежду на бессмертие герой. Только напрасно! Самое страшное для Николая Ивановича случилось потом, уже после его смерти. Имя Кибальчича навсегда было вычеркнуто из списка выпускников Новгород-Северской гимназии, «*поскольку не гордиться, а стыдиться должно этого имени, не слава оно гимназии, а позор*».

Нравственные искания романа связаны с идеей Христа. Кибальчич удалился от христианского Бога. Но разве он не пытался, не хотел жить по христианским заветам? С христианской целью? Жертвуя своей жизнью во благо всего народа? Только народ не принял его жертвы. Время не понимало своих героев. А «*многие ли понимали*

Христа в последний день его земной жизни? Сколько времени прошло от смерти до понимания?» Народ понимал только одну правду — Божию: «Не убий». Двух правд русский народ признавать не хотел. Даже после случившегося, осудив террористов, народ надеялся на помилование, царь должен простить убийц, если чувствует связь с ним, народом. «*Вот великая минута самоосуждения и самооправдания*». «*С отмщения ли начинать новому государю?*» Нет, не простил новый царь террористов, следовательно, тоже нарушил основной закон христианской жизни. «*Правда есть Бог, неправда — рознь, правда — единство*». Или, говоря словами одного из героев романа: «*Убийцы... Убийцы с обеих сторон. Вместо кровной мести — классовая и государственная. Око за око, зуб за зуб... На что, интересно, надеются?*»

О. Ждан главную причину трагического неприятия народом протестного движения видит в отступничестве последних от христианского — базисного — начала русской идеи. В отступничестве от законов Божьих. Народовольцев упрекали во многом: безнравственности, жестокосердии, разврате, мстительности, фанатизме, нехристианстве и т. д. Но при этом забывали о главном: «*неправда — рознь, правда — единство*». Правда есть Бог. Субстанциональной основой всего сущего на земле, по О. Ждану, являются не города и речки, «*а народная вера в грядущее, в добро и любовь. В конце концов, Бог у каждого свой, вера и безверие свои, а любовь к жизни единая. В этом и заслуга, и необходимость религии, какой бы она ни была, она объединяет и направляет людей*». Время безжалостно сместило приоритеты. «*Из народа и России сотворили кумира, ради них преступили главную заповедь. За это и предстанут перед Его судом*».

Автор усматривает уникальность развития российской истории в том, что она развивается по кругу. В 1901 году, когда студент Карпович с двух шагов выстрелил в министра просвещения Боголепова, начался ее новый «круг». Снова возникли «*их тени*». И опять появились новые палачи и новые жертвы. «*Выходит, гуманизм и жестокость идут рука об руку*». Как теза и антитеза. Возникает ощущение призрачности физического существования человека. «*Что остается после человека? Невыносимый вопрос*».

Приближалась эпоха «тотального катастрофизма»...

«*Братья! Поминайте наставников ваших!»* — призывает и предостерегает словами апостола Павла всех нас Олег Ждан.

«Наставники... это и временные победители, и окончательно побежденные. И вы, и я, и те, кто уже за нами».

* * *

Роман «Не погибнет со мной» — логическое продолжение художественной биографии Олега Ждана. Он является автором многих книг о современности и историческом прошлом. В том числе и таких, как «По обе стороны проходной» (1987), «Князь Мстиславский» (2010), «Гений» (2011). Тексты писателя — это как бы два уровня художественного отображения бытия: материального и духовного. Для него важно передать не столько атмосферу времени, его психологию, идеи, но и углубиться, постичь незыблемое, общечеловеческое, субстанциональное, что делает мир духовно богатым, устремленным в будущее.

Дискурс О. Ждана не только о народовольцах, об историческом прошлом, он и о жизни современной. О современной, думается, даже больше.

Валентина ЛОКУН

С точки зрения рецензента

Наша жизнь — не игра!

Помните пронзительно исповедальную, хватающую за живое песню Булата Окуджавы?

Над гранитной Невой гром стоит полковой,
Да прощанье не дорого стоит.
На германской войне только пули в цене,
А невесту другой успокоит.
Наша жизнь — не игра, в штыковую, ура!
Замерзают окопы пустые...
Господа юнкера, кем вы были вчера?
Да и нынче вы все холостые...

Не знаю, почему именно эта щемяще грустная мелодия вдруг сама собой всплыла в памяти и зазвучала в ушах, стоило мне взять в руки книгу Вячеслава Бондаренко под названием «Полководцы и военачальники Первой мировой — уроженцы Беларуси». Да, грустная правда, грустные слова, вроде как бы и не относящиеся напрямую к вполне серьезному изданию, не имеющему ничего общего с авторской песней. И все же, все же...

Впрочем, вопреки всем устоявшимся канонам, хочу начать обзор не с текстовой части книги, а с ее художественного оформления. Ибо оно безупречно. Медленно листаю страницу за страницей, и каждый новый карандашный портрет заставляет снова и снова больно сжиматься сердце. *«Господа юнкера! Собираться пора! Кант малинов, и лошади серы... Господа юнкера, кем вы были вчера? А сегодня вы все офицеры».* Генералы, если уже говорить конкретно о тех, кто запечатлен на старых фотографиях.

Не надо обладать чересчур богатым воображением, чтобы догадаться, как трагически непросто складывались биографии и судьбы большинства героев этой книги. Но как сказал другой поэт, *«времена не выбирают, в них живут и умирают»*. Так случилось и с нашими доблестными генералами, чей жизненный путь совпал с невиданными катаклизмами и потрясениями. Еще бы! Война, потом две революции, одна за другой в течение всего лишь одного года, далее Гражданская война, поставившая перед каждым из полководцев непростую альтернативу в духе знаменитого вопроса Максима Горького: так с кем же вы, господа генералы? Самое время *to take sides,* как говорят англичане, то есть определиться с выбором и



занять свое место по ту или иную сторону окопа.

И как следствие, невозможность в некоторых случаях даже проследить судьбу героя до момента его перехода в мир иной. Вот и в посвящении автора — памяти двоюродного прапрадеда генерал-майора Михаила Пантелеймоновича Михайлова дата кончины указана весьма приблизительно: «После 1917». Довольно часто повествование заканчивается и вовсе на минорной ноте: «Как сложилась судьба имярек в дальнейшем, пока установить не удалось». Обнадеживает лишь это «пока».

Ибо если возник интерес к теме, то найдутся и пути, и способы реализации научного (или даже просто любительского) поиска новых сведений и материалов. Наши архивы хранят еще множество тайн и ответов на вопросы, на которые «пока» нет ответа.

А интерес, судя по всему, есть, и немалый. 2014 год отмечен всплеском внимания к событиям столетней давности. И дело здесь даже не столько в круглой дате, ознаменовавшей вековой юбилей начала Первой мировой войны.

Лично мне представляется, что у наших историков, архивистов, литераторов, да и просто у образованной публики, коей не безразлично историческое прошлое своей Родины, проснулось некое запоздалое чувство раскаяния, что ли. Нечто очень смахивающее на угрызения совести. Дескать, что ж мы это, братцы, похоронили под спудом времени такую тяжелую и кровопролитную войну. А она ведь была! И не просто была, а жестоко прошлась по судьбам многих и многих миллионов людей «красным колесом», если вспомнить того же Солженицына.

Да, Первая мировая война («империалистическая», как часто называли ее простые люди) была страшно непопулярна в народе. Это правда. Свидетельствую как человек, лично знавший участников тех далеких событий. Оба моих деда воевали на фронтах Первой мировой (один дошел аж до Варшавы), и их фотографии той поры до сих пор украшают мою квартиру.

Поразительно, но факт. Угар патриотизма, охватившего все без исключения слои российского общества в августе 1914 года на момент оглашения царского манифеста о вступлении в войну (на волне этого неистового патриотизма даже Санкт-Петербург тут же переименовали в Петроград), так вот, этот угар быстро рассеялся. Далее потянулись суровые и, по большей части, безрадостные военные будни. Бесконечная вереница поражений, гибель армии Самсонова, тяжелые позиционные бои, нехватка оружия и боеприпасов, бездарность многих командиров, а главное — совершенно непонятная большинству рядовых солдат мотивация. Зачем воюем? Ради чего ввязались в эту кровавую бойню?

Впрочем, обо всем этом писано миллионы раз. И не секрет ведь, что война кардинальным образом ускорила радикализацию российского общества, завершившуюся сломом царского режима и расправой над членами монаршей династии, трехсотлетие которой с невиданной пышностью было отмечено в 1913 году, всего лишь за год до начала войны. Так что всем любителям и почитателям конспирологии стоит хорошенько подумать над событиями начала XX века. Ведь одними только масонскими заговорами да запечатанными вагонами события 1917 года никак не объяснишь. Все слишком сложно, слишком запутано и драматично.

И судьбы героев книги Вячеслава Бондаренко — лишнее тому подтверждение. Взять хотя бы судьбу «красного генерала» Антона Владимировича Станкевича, уроженца современного Поставского района. Кстати, единственного генерала царской армии, по словам автора, похороненного с высшими воинскими почестями у Кремлевской стены в Москве. На момент начала войны Станкевичу было уже пятьдесят два года. Солидный возраст! И огромный жизненный опыт, видно, помогший осознать боевому генералу одну весьма простую истину: всякая война с собственным народом бесперспективна.

Станкевич «белое движение» не принял, а попав в плен к корниловцам, проявил твердость духа, принципиальность и мужество. Его приговорили к повешению. Не к расстрелу, как боевого офицера и генерала, а к позорной, по мнению его оппонентов, казни в петле.

Забыли корниловцы старую пословицу о том, что на миру и смерть красна. Согнали жителей всех окрестных деревень полюбоваться на экзекуцию. Вот только «перформанса», выражаясь современным языком, у них не получилось. Достойный человек и смерть свою встретил в высшей степени достойно. Отсылаю читателей к волнующим страницам, живописующим сей весьма назидательный эпизод из биографии нашего земляка.

Кстати, и генерал-лейтенант Николай Триковский, трижды Георгиевский кавалер, успевший проявить военную доблесть еще в Русско-японскую войну 1905 года, уроженец Минской губернии, тоже перешел на сторону Красной Армии. По словам его сослуживца, *«этот старый вояка верил, что Россия одумается, армия восстановится и работы будет много для каждого, любящего Родину»*.

Увы-увы! Гражданская война есть гражданская война. Линия фронта в ней очень часто прочерчивается не просто по территориям. Она проходит по человеческим судьбам и даже по семейным узам. Брат против брата — это оттуда. Вот и Яков Давыдович Юзефович, следующий герой повествования, выходец из дворянской семьи литовских татар, магометанин по вероисповеданию (что не помешало ему дослужиться до командарма в царской армии), связал свою постреволюционную судьбу уже с Белой армией. Окончил свои дни боевой генерал в изгнании. В 1920 году он даже вел в Париже дипломатические переговоры о формировании еще одной Добровольческой Белой армии, уже непосредственно на территории Польши. Идея не успела воплотиться в жизнь, ибо Гражданская война закончилась раньше.

Трагично сложилась судьба и еще одного нашего земляка, генерала Владимира Зеноновича Май-Маевского, выходца из старинного белорусского шляхетского рода, уроженца Могилевской губернии. Талантливый военачальник, прославившийся своим беспримерным личным мужеством и бесстрашием, генерал не раз сам поднимал солдат в штыковую атаку, воодушевляя их своим личным примером. По отзывам тех, кто знал генерала, он отмахивался от пуль, как от безобидной мошкары, а *«его бесстрашие так передавалось войскам, что части шли с ним в атаку как на учение»*.

Вячеслав Бондаренко приводит любопытную подробность касательно биографии Владимира Зеноновича Май-Маевского. Оказывается, именно он стал прообразом генерала Ковалевского, кстати, тоже Владимира Зеноновича, блистательно сыгранного Владиславом Стржельчиком в знаменитом телефильме 70-х годов «Адъютант его превосходительства». Кто хоть единожды видел этот прекрасный фильм, навсегда запомнил внутреннее благородство и достоинство героя фильма, у которого был такой славный прототип. В Гражданскую войну Май-Маевский возглавлял какое-то время Добровольческую армию, но уже в 1919 году Деникин отправил его в отставку, а годом позже 53-летний генерал, кавалер десяти боевых наград, умер от разрыва сердца в одной из больниц Севастополя, буквально за несколько дней до эвакуации войск Врангеля из Крыма и последовавшего затем страшного террора, развязанного против «беляков» некоторыми наиболее одиозными личностями революционного лихолетья.

Однако оставим этот *«спор славян между собою»*, по известному всем выражению великого Пушкина. И поэт абсолютно прав. Всякие междоусобицы, к числу которых относятся и гражданские конфликты, — это *«вопрос, которого не разрешите вы»*. Особенно если пытаться решать его с наскока. К тому же, нас в первую очередь занимают события, непосред-

ственно относящиеся к Первой мировой войне.

Автор книги приводит вот такую печальную статистику. Из двадцати шести боевых генералов, чьи биографии стали предметом его исследования, шестеро погибли на фронтах Первой мировой войны, непосредственно участвуя в боевых действиях на передовой. Получается почти как в той песне: каждый четвертый.

Кто-то (как генералы Вильчинский и Будилович) скончался от ран, полученных в бою. Генерал-лейтенант Бицютко был смертельно ранен при обходе позиций. Еще один генерал, Лурье Михаил Васильевич, был убит разрывом снаряда непосредственно на командном пункте. Такая же смерть (от осколка снаряда) настигла и генерала Мамонтова в 1916 году. Годом ранее, в 1915-м, был смертельно ранен разрывом снаряда генерал-майор Мацеевский Адам Адольфович, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени и Георгиевского оружия.

Их могилы разбросаны по всему периметру тогдашнего театра военных действий. Увы, ни одной могилы на территории современной Беларуси. Кто-то упокоился в земле Польши, Украины, Литвы, прах других похоронили с воинскими почестями в семейных склепах и усыпальницах, кои тоже по большей части не сохранились до наших дней. Так, к примеру, случилось с генералом Мамонтовым. Его, самого молодого, кстати, и единственного полного генерала России, погибшего на фронте, похоронили 7 сентября 1916 года на Московском Братском кладбище, которое было снесено в тридцатых годах прошлого века.

Вот и выходит, что память обо всех этих достойных людях, независимо от их бело-красных симпатий и пристрастий, позволяют сберегать только такие вот книги, как та, которую написал Вячеслав Бондаренко. Труд, заслуживающий и всяческого уважения, и самой искренней благодарности.

Кто знает, как сложится судьба книги в последующие годы. Вдруг какой-нибудь молодой беллетрист, оттолкнувшись от документальных фактов, приведенных в каждой биографии, захочет написать исторический роман о драматических перипетиях столетней давности. Почему бы и нет? Отличный материал собрал Вячеслав Бондаренко, просто находка для любого романиста. А может быть, книга займет свое почетное место во всех «учебках» наших воинских частей, как весомое напоминание о неразрывности исторических процессов и верности боевым традициям нашей армии. Да, судьбы книг, как и человеческие судьбы, неисповедимы. Но одно можно сказать со всей определенностью. Книга, написанная Бондаренко, никогда не затеряется в безбрежном море всякой иной печатной продукции. Она слишком серьезна и честна, чтобы просто раствориться в потоке беллетристики.

И все же пару замечаний напоследок. Понимаю, в современной историографии еще много путаницы: возникли новые государства, появились новые границы, не все еще устоялось. Однако... Лично меня, например, неприятно царапнул такой пассаж из биографии генерала Александра Францевича Рагозы применительно к тем военным операциям, которыми он руководил.

«Это достойные попытки изгнать оккупантов с белорусской земли, а русские войска, сражавшиеся в Беларуси, показали высокие образцы воинской доблести».

Помилуйте! Генерал, присягавший на верность царю и отечеству, сражался за отечество под названием Российская империя, и оно в те годы было территориально гораздо-гораздо шире, чем современная Беларусь.

Покоробила фраза из Предисловия.

«Таким образом, белорус в генеральских погонах вовсе не выглядел в рядах русской армии инопланетянином».

Что за фантазии, ей-богу! Да и грузин Багратион не был в этой армии чужаком, и чеченец Шамиль тоже, и украинец Милорадович, и поляков было пруд пруди на высших воинских

должностях. Даже финн Маннергейм успел поносить генеральские эполеты царской армии, как и представители иных прочих национальностей, проживавших на тот момент в Российской империи.

Понимаю! Появилась потребность срочно иметь собственную историю, но не любой же ценой, право дело! У нас есть замечательная и славная история, которой мы, белорусы, можем только гордиться. Просто эта история складывалась в рамках разных геополитических образований и союзов. Так бывает. Мировой опыт полнится сюжетами на подобную тему.

Надеюсь, мои замечания не станут слишком огорчительными для автора и он сделает некоторые выводы и учтет их при возможных переизданиях своей книги. От души желаю таковых! Ибо всякие сведения, помогающие сберегать нам память о собственной исторической идентичности, важны не только в плане познания. Такие книги помогают развивать национальное самосознание, они воспитывают, наконец, они просто учат. А ведь учиться на уроках истории гораздо комфортнее, чем на собственном горьком опыте.

И последнее. Уже не замечание, а просто пожелание. Лично мне не хватило пусть и коротенькой, но предметной биографической справки уже о самом авторе.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ



Содружество

Украинистика в книжном собрании Петра Глебки

Личная библиотека известного белорусского поэта Петра Глебки (1905 — 1969) находится в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. О своем желании, чтобы его собрание было сохранено в целостном виде и передано вместе с архивом рукописей в академическую библиотеку, поэт, ученый, академик Академии наук БССР заявил еще в 1967 году. После смерти Петра Федоровича его жена Нина Илларионовна выполнила волю писателя и в августе 1979 года передала часть собрания и рукописного архива в фонд библиотеки. Основная часть книжной коллекции П. Ф. Глебки вместе с обстановкой его рабочего кабинета перешла в Центральную научную библиотеку имени Я. Коласа АН БССР после смерти Нины Илларионовны, в ноябре 1986 года.

Совсем недавно, в нынешнем году, в издательстве «Белорусская наука» в Минске увидела свет книга «Библиотека академика П. Ф. Глебки (1905—1969), каталог изданий: из фонда отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси». Составители — А. Стефанович, О. Губанова, М. Лис, И. Мурашова. Уникальность данного издания, конечно же, совсем не в тираже каталога — в 120 экземпляров. Многостраничный том (423 страницы текста плюс 62 страницы иллюстраций) представляет собой подробное библиографическое описание 3867 экземпляров изданий на белорусском, русском, украинском, польском, таджикском и других языках, напечатанных в 1804—1960-е годы. В «Предисловии» (авторы — Инна Мурашова, Ольга Губанова) к каталогу читаем: «Человек глубокой эрудиции, П. Ф. Глебка имел широкий круг интересов, поэтому собранная им библиотека носит универсально-гуманитарный характер. Она включает художественную литературу и издания, что касаются вопросов белорусской и всемирной культуры в самом широком смысле: книги по истории, философии, политике, религии, искусству и др. Значительную часть составляют справочные издания: энциклопедии, словари и справочники по разнообразным отраслям знаний».

Особое место в книжном собрании П. Глебки занимает украинистика. Это и понятно. Еще в 1930-е годы (а библиотека поэта начала формироваться именно в 1920—1930-е годы) Петро Федорович познакомился со многими украинскими коллегами. В начале 1939 года белорусский литератор выступил в газете «Советская Украина» со статьей «Шевченко и белорусская литература». А переводить украинских поэтов П. Глебка начал еще в 1932 году. Из первых публикаций украинской поэзии в его переводах — стихотворение Дмитро Чепурного (1908—1944) «Литейный цех» в журнале «Чырвоная Беларусь» (№1 за 1932 год). К 1936 году относятся переводы П. Глебки из поэзии Саввы Голованивского, Максима Рыльского. В 1938 году «Літаратура і мастацтва» — 23 сентября — публикует большую подборку глебковских переводов из поэзии великого Тараса Шевченко. Потом эти и другие переводы стихотворений, поэм Кобзаря войдут в книгу Т. Шевченко «Выбраныя творы», что увидит свет в Минске в 1941 году. Поэтому совсем не случайным в библиотеке

П. Глебки представляется четырехтомное издание Т. Г. Шевченко «Мистецка спадчина (Выяўленчы матэрыял)», вышедшее в 1961—1964 годах. На одном из томов — следующая дарственная надпись: «Дорогому Петрові Фёдоровичу Глебці — великому другові Украіни и видатному перекладачеві поезіи Тараса Шевченка — в день славного 60-річчя — від співробітників Інституту мистецтвознавства, фальклору та етнографіі ім. М.Т. Рильского...»

В «Украинской литературной энциклопедии» (Киев, 1988, том 1) говорится о том, что П. Глебка — переводчик Т. Шевченко, М. Рыльского, М. Бажана. Но мы уже назвали Д. Чепурного, С. Голованивского. А еще П. Глебка перевел на белорусский произведения Платона Воронько. И Глебку немало переводили украинские коллеги — П. Усенко (Павло Матвеевич переводы стихотворений Петра Глебки опубликовал еще в 1937 году в журнале «Молодняк»), С. Крыжанивский, Л. Первомайский, М. Зисман, В. Сосюра, Д. Билоус, Я. Шпорта, П. Слипчук, Ф. Гарин, О. Ющенко, К. Журба, Р. Лубкивский, А. Таран, М. Нагнибеда, П. Горецкий, Д. Павличко, Ю. Кушак и др. В 1975 году в Киеве вышла книга избранного П. Глебки «Поезіі». С рецензией на сборник в газете «Друг читача» 27 ноября 1975 года выступил В. Качкан — «Поезія з життя».

В книжном собрании Петра Федоровича — немало поэтических книг украинских коллег. Среди них — и сборники Миколы Бажана на украинском и русском языках: «Дорога: вибране» (Киев, 1964), «Едність» (Киев, 1954; на этом сборнике — автограф М. Бажана: «Любому другу моему Петрові Глебці Микола Бажан. 18/V—54 р.»), «Избранные стихи» (Москва, 1933).

В Беларуси, пожалуй, совсем не известно имя поэта Василя Яковлевича Басока (1906—1940). А между тем в книжном собрании П. Глебки имеется его сборник «Розорані межі» (Харьков, 1930 год). Первая книга украинского поэта — одного из активных участников «Молодняка». На сборнике «Розорані межі» — пометка «КГ/551», свидетельствующая о том, что книга является одним из довоенных приобретений мастера белорусского художественного слова.

Из довоенных приобретений Петром Федоровичем украинских поэтических книг— две книги Олексы Влизько: «Hoch, Deutschland!» (Харьков, 1930) и «Мій друг Дон-Жуан: поэма кахання» (Харьков, 1934). Олекса Федорович родился в 1908 году, немногим позже Петра Глебки. Как и у Петра Федоровича, первая книга вышла в 1927 году — «За всех скажу» (у Глебки в 1927 — «Шыпшына»). Сборник украинского поэта был отмечен премией Наркомпроса УССР на конкурсе к 10-летию Октября. В 1934 году Олекса Влизько был незаконно репрессирован. Реабилитирован в 1958 году. Что интересно, ни в «Украинской литературной энциклопедии» (статья С. Крыжанивского), ни в справочнике «Письменники Радянської Украіни»» (составители Олег Килимник, Александр Петровський) среди других изданий О. Влизько книга «Hoch, Deutschland!» не упоминается, тогда как называются другие его четыре поэтические книги издания того же 1930 года.

Стоит заметить, что ни Великая Отечественная война (Минск, как известно, был оккупирован фашистами), ни страхи перед сталинским режимом не помешали сохранить книги репрессированных писателей, как украинских, так и белорусских.

Теплые автографы оставил на своих книгах, подаренных белорусскому коллеге, Василь Козаченко. На очерке «В боях гартована» (Киев, 1954): «Пятру Фёдаравічу Глебчі з любов'ю. 18.IX.54 р. В. Козаченко». На повести «Сальвія» (Киев, 1956): «Дорогому Петру Фёдоровичу Глебці любов'ю і повагою. 2.VII.57 р. В. Казаченко». В 1957 году Василь Козаченко и Петро Глебка вместе принимали участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Знакомство с автографами украинских писателей, ученых является свидетельством многих творческих, научных, дружеских контактов Петра Глебки с Украиной и ее славными сыновьями. Каталог, изданный «Белорусской наукой», несомненно, подсказывает важность и значимость исследования на тему «Петр Глебка и Украина».

Есть в собрании и две книги Степана Крыжанивского — «Енергія: поезії» (Харьков, 1930, на титульном листе — дарственная надпись: «Петру Глебку на хороший спагад про подаріж (...) до Узбекістану, на дружбу белорусів і украінців, за наш зріст. З привітом Ст. Крижанівскі. 15.IX.31 р., м. Миколаів») и «Золоті ключі: поезіі» (Киев, 1938). Еще одна подсказка — о встрече, о дружбе.

4 декабря 1960 года Микола Нагнибеда подписывает в Ленинграде Петру Глебке свою книгу «Пісня, підказана сердцем» (Киев, 1960): «Дорогому Петру Глебці — з любов'ю до Білорусі...»

Отдельным разделом в книжном собрании П. Глебки можно считать подборку книг великого украинского поэта Максима Рыльского (1895—1965). Всего 16 (!) изданий. Из них 12 книг с дарственными надписями автора. Первый автограф датирован 26 февраля 1937 года — на книге поэзии «Літо» (Харьков, 1936). Самая старая книга из сборников М. Рыльского в коллекции П. Глебки, точнее — самые старые: «Під осіннімі зорямі» (1926) и «Тринадцатая весна» (1916). Успел Петро Глебка познакомиться и с книгой «Незабутній Максим Рильский: Спогади» (Киев, 1968 год). Многолетней дружбе П. Глебки и М. Рыльского способствовало и то, что Максим Тадеевич, как и его белорусский собрат, возглавлял академический институт искусствоведения, фольклора и этнографии, только в Академии наук Украинской ССР. Кстати, автографы М. Рыльского отличаются своим эволюционным характером. От такого: «От искренне уважающего автора...» до — «від сердця...», «з любов'ю...». Некоторые надписи сделаны в Минске (ноябрь и декабрь 1946-го), в Москве (сентябрь 1958 года, на съезде славистов).

Из украинских книг довоенного времени (до 1941 года) — и сборник П. Тычины «Поезії», изданный в 1929 году. А книга П. Тычины 1953 года — «Могутність нам дана» уже с дарственной надписью автора.

И это — еще не вся украинистика в собрании Петра Глебки. Белорусский ученый интересовался не только поэзией, художественной литературой Украины, но и фольклором, этнографией, историей близкой и понятной ему Украины.

Кирилл ЛАДУТЬКО

Мост дружбы

О китайском танцевальном искусстве — в Беларуси

Сунь Цянь. Китайское танцевальное искусство XX века: взаимодействие национальных и западных традиций. — Мн.: Энциклопедике, 2010.

Появление в Беларуси монографии «Китайское танцевальное искусство: взаимодействие национальных и западных традиций» — явление не случайное. Дело в том, что в Белорусском государственном университете культуры и искусств существует и плодотворно работает научная школа «Компаративное искусствоведение». В рамках ее деятельности выполнены и успешно защищены три диссертации молодых ученых из Китайской Народной Республики. Автор одной из них — преподаватель хореографии, член Союза хореографов провинции Хэнань КНР, практикующий хореограф-постановщик и хореовед Сунь Цянь. «Китайское танцевальное искусство: взаимодействие национальных и западных традиций» — результат диссертационного исследования.

Первая глава монографии — «Традиционное танцевальное искусство Китая: народный и придворный танец». Автор исследования делает и небольшой экскурс в историю китайского танца. Примечательно, что искусствовед достаточно полно освещает источниковедче-

скую базу. Тем самым увеличивается ценность монографии для тех, кто следом за Сунь Цянь возьмётся за изучение истории китайского танца. Следует отметить, что автор провела большую работу по изучению источниковедческого материала. Упомянуты даже отдельные статьи, посвященные китайскому танцу (как, например, статьи А. Мессера и В. Цаплина в российских журналах середины 1950-х годов). Это очень важное источниковедческое «воспоминание», позволяющее объединить достижения исследователей разных поколений.

В первой главе автор приводит слова основоположника советского народно-сценического танцевального искусства И. А. Моисеева о том, что национальное своеобразие хореографии разных этнических и национальных групп проявляется, прежде всего, в системе координации движений в народных танцах: «Основным корневым признаком, по которому мы различаем танцы народов, является система координации движений ног, то есть сочетание, связь движений ног, корпуса и рук (...) Системы координации движений у различных народов в высшей степени разнообразны». И дальше автор продолжает мысль И. А. Моисеева: «У народов Европы основными являются движения ног; тогда как движения рук и корпуса только дополняют их. У многих народов Азии, напротив, основными выразительными средствами становятся движения рук, корпуса и головы, а движения ног выполняют роль «аккомпанемента».

В первой главе осуществляется подробное рассмотрение особенностей развития и национального своеобразия традиционного китайского танцевального искусства.

Вторая глава монографии — «Развитие профессионального танцевального искусства Китая в XX веке (1900 — 1970 гг.)». Отдельно искусствовед выделяет период 1900—1937 гг., точно очерчивает тему проникновения западной хореографии в китайскую культуру. Открытием для белорусского читателя является танцевальная судьба первого профессионального хореографа Китая XX века Юй Жунлин, первой китайской танцовщицы, изучавшей европейское хореографическое искусство. Не менее интересны страницы, рассказывающие о танце военно-революционной эпохи (1937—1949 гг.), о зарождении народно-сценического танцевального искусства.

В третьей главе искусствовед рассматривает синтез национальных и западных традиций в танцевальном искусстве Китая 1980 — 2000-х гг. Один из выводов, которые предлагает вниманию читателей исследователь, хотелось бы подчеркнуть особо: «Период 1978 — 2009 годов ознаменован провозглашением в стране курса на «открытость» взаимоотношений со странами всего мира. Вдохновленные идеей свободы творчества и деятельности, стремительными темпами развивается множество разнообразных хореографических произведений. Основными жанрами этого периода являются Китайский национальный балет, балет европейского типа, танцевальные миниатюры, сюиты на основе народных танцевальных танцев и классического китайского танца, музыкально-танцевальные эпопеи, произведения малых форм и балеты (сюжетные и бессюжетные) в стиле танца модерн».

Работа Сунь Цянь — несомненная удача не только исследователя, но и в целом коллектива Белорусского государственного университета культуры и искусств. В предисловии к монографии начальник отдела по делам образования Посольства КНР в Республике Беларусь Мэй Ханьчэн отмечает, что исследование будет полезно «и для исследователей хореографии, дав им возможность полнее осознать культурный «симбиоз» и специфичность современной хореографии, расширив представления о проблеме «национальное и инонациональное» на материале китайского танца».

Монография Сунь Цянь — своеобразный связующий мост двух древних культур, позволяющий думать не только о минувшем, но и подсказывающий пути художественного взаимопроникновения и единения в освоении задач искусства.

Вероника КАРЛЮКЕВИЧ

Авторы номера

КАЗАКОВ Валерий Николаевич. Родился в 1952 г. на станции Реста (деревня Горбовичи) Могилевской области. Окончил Высшее военно-политическое училище и Литературный институт имени М. Горького. Автор многих книг поэзии, публицистики и прозы. Живет в Москве.

ГНИЛОМЕДОВ Владимир Васильевич. Родился в 1937 г. в деревне Кругель Каменецкого района Брестской области. Окончил Брестский педагогический институт. Доктор филологических наук, академик НАН Беларуси. Литературовед, критик, прозаик. Автор многих книг. Живет в Минске.

КАМЕЙША Казимир Викентьевич. Родился в 1943 г. в д. Малые Новики Столбцовского района Минской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэт, прозаик, переводчик. Автор многих книг для детей и взрослых. Лауреат Литературной премии имени Аркадия Кулешова. Живет в Минске.

ЗЕЛЕНКО Вера Викторовна. Родилась в 1956 г. в Москве (Россия). Окончила математический факультет Белорусского государственного университета. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси. Автор книги прозы «Время ничего не значит». Живет в Минске.

ЗАВАЦКАЯ Жанна Евгеньевна. Родилась в 1963 г. в Пинске. Окончила Минский институт культуры. Публиковалась в периодических изданиях. Живет и работает в Пинске.

ГАЛЬПЕРОВИЧ Наум Яковлевич. Родился в 1948 г. в Полоцке. Учился на факультете журналистики Белорусского государственного университета, окончил Витебский педагогический институт. Поэт, прозаик, публицист, радиожурналист. Автор ряда книг. Директор радиостанции «Беларусь». Живет в Минске.

НОРИНА (ПАВЛЮЧЕНКО) Ольга Михайловна. Родилась в 1965 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный университет. Автор трех поэтических сборников. Живет в Минске.

БОГДАНОВИЧ (МАРТЫНЕНКО) Лёля Владимировна. Родилась в 1949 г. в д. Гродзянка Осиповичского района Могилевской области. Окончила Молодечненский политехникум. Автор сборника стихов «Зорны кошык». Живет в Борисове.

ДЖО АЛЕКС (Сломчинский Мацей). Родился в 1920 г. в Варшаве (Польша). Польский писатель, переводчик и драматург. Автор псевдоанглосаксонских детективов и милицейских повестей, среди которых «Я третий нанесла удар», «Лабиринты смерти», «Пусть найдут своих врагов», «Черные корабли», «Серая тень» и др. Кавалер Ордена Возрождения Польши. Умер в 1998 году в Кракове (Польша).

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 284-85-25, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Александр Николаевич КАРЛЮКЕВИЧ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Таргонская*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 13.08.2015. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 21,06. Тираж 2118. Заказ .

Цена номера в розницу 23 500 руб.

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*



ВАЛЕРИЙ КАЗАКОВ

Поворот к дому

Рассказы

К строительству Союзного государства можно относиться по-разному. Но тот факт, что Союзное государство состоялось, – ни у кого из экспертов и специалистов не вызывает сомнения.

На сегодняшний день сближение, особенно славянских или прославянских сегментов бывшего Советского Союза, очевидно, и мы никуда от этого не уйдем. Отдаление этих народов друг от друга ведет к деградации общества, как в России, так и в Беларуси, и в Украине.

Мы хотели бы жить в хороших, добрососедских отношениях и с прибалтами, и с молдаванами, и с грузинами, и с поляками, и с украинцами — да со всеми, включая американцев, немцев, евреев и пр. Сегодня огромное число наших граждан находится за рубежом на отдыхе, учебе, на работе — мы уже интегрированы в мировое сообщество. Это — естественная картина мира.

Бабушки

Как и у всякого законнорожденного внука, у меня были две бабушки. Два абсолютно разных человека, оставивших в моей жизни два светлых и незабываемых следа. Во многом благодаря им я стал тем человеком, рассказы которого вы сегодня читаете. Бабушки, бабушки мои любимые и милые, как вам там, в вашем таком далеком жилище? Вот сижу в своей тихой подмосковной баньке, пишу эти строки, а учащенно стучащее сердце уже далеко, далеко, в том сладком и недоступном для чужого взгляда мире, имя которому — память.

Так уж сложилось, что деревни мои, по-нашему вёски, распределились в моей жизни не совсем равномерно. Ресты с Горбовичами было и осталось больше, а Завожанья с 53-м разъездом меньше.

Реста, здесь прошло мое детство. Несмотря на то, что я родился в железнодорожной больнице Могилева, всегда пишу в анкетах, что родился именно здесь, нисколько не обижая соседнюю с нашим поселком деревню Горбовичи, которая считается официальным местом моего появления на свет.

Реста — это бабушка Ева, зычный голос, властный и упрямый подбородок, кулацкая хватка, чисто выметенный двор, подпол с канистрами самогона, стол как полная чаша, ломящийся для любого, самого захудалого гостя, хотя захудалых гостей для бабушки не было. На кухне и в комнатах перед войной построенного дома — простенькие бумажные иконки. Про Бога бабушка вспоминала перед праздниками или когда что-то не ладилось в делах, приснился дурной сон, скотина прихворнула, от тетки долго писем не было, мало ли еще что могло приключиться в большом деревенском хозяйстве. Обращения эти были ненавязчивые, вроде между прочим и следовали уже после того, как бабушка сгоняла на попутной подводе в соседнюю деревню пога-

дать к Аксинье, проконсультировалась с парой-тройкой авторитетов в знахарстве, все подробнейшим образом обсудила с закадычной подругой-соседкой бабой Аделей Бардиловской, сама что-то пошептала, поплевала, поскребла гусиным крылом. Зато уж в церкви Ева Ивановна молилась от всей души, с поклонами и слезой, правда, по малолетству я так и не запомнил, исповедовалась ли она когда-нибудь, была ли у причастия. Мне кажется, с причастием и покаянием у белорусов дела обстоят весьма проблематично, большинство из нас считают, что само посещение церкви, зажжение свечей перед образами, покаянная молитва и откровенный разговор со Спасителем или Богородицей достаточны для надежды на их милость и прощение, а все остальное придумали власти и попы, чтобы выкачивать из людей деньги. Бабушка, мне кажется, придерживалась этого принципа.

Особой статьей незлобного бабушкиного гнева были наши внучьи развлечения, прежде всего рыбалка и купание до дрыжиков на Амхинецком или на Лявоново, когда-то так назывались самые купальные места на неширокой и мирной Рудее. Мне кажется, что и сейчас в ушах звучит бабушкин голос: «Валерька, лиха матритвою, утопишься, домой не приходи!» Надо сказать, что жизнь внуков и внучек — а свозили к бабке всех шестерых — была строго регламентирована и наделена персональными обязанностями: прополка, поливка, догляд многочисленных цыплят, утят, гусят, сбор тли и колорадских жуков, уборка двора, участие в заготовке сена, пилка дров и прочее, прочее, прочее, не говоря об обязательных походах по грибы и ягоды. Гляжу на своих детей и внуков и диву даюсь: в отличие от них, у нас никогда не было проблем с аппетитом и сном, и никто из нас понятия не имел, что такое аллергия или насморк в разгаре лета. Самой большой проблемой было перед школой отдраить ноги — черные от загара и въевшейся в них грязи. Сегодня трудно и представить, как это можно было бегать по ржищу босиком! Недавно попробовал, скинул свои модельные туфли и резво так зашагал вслед за комбайном, однако резвость исчезла, когда прошел шагов пять. Искололся и, косолапя, вернулся на межу. А ведь тогда мы в полном смысле этого слова носились по полям и весям, и все нам было нипочем! Три месяца про сандалии и иную обувь мы вспоминали крайне редко.

Мы были дети, игравшие в свои игры в еще не заросших траншеях недавно отгремевшей войны. Нас окружали ее атрибуты: трофейные патефоны и велосипеды, ржавое и поломанное оружие, все исправное взрослые повыбрасывали или припрятали в укромных местах на всякий случай. Артиллерийский порох, из этих серых тонких макаронин запускали ракеты, жгли, как бенгальские огни. Патроны, гильзы, какая-то немецкая амуниция, коробки, мешки с большими фашистскими орлами — все это жило рядом с нами. Помню, мой матрас, который периодически набивали свежим сеном, был сшит из мешков, украшенных свастикой, и спал я на нем лет до шестнадцати. Были еще штык-ножи и много разной военной мелочи. Да, чуть не забыл, как обязательный атрибут у нас во дворе была большая стальная «фрицевская» каска, прилаженная к длинной березовой палке, ею чистили выгребные туалеты и вычерпывали жижу из хлевов. Надо отдать должное некой толерантности моих земляков, многие тоже черпали и красноармейскими шоломами. Немецких касок было больше, скорее всего, из-за того, что они своих погибших хоронили, на могилах ставили кресты и вешали на них таблички с именами и почти всегда стальные шлемы. Наши, если отступали, совсем

не хоронили своих убитых, присыпали прямо в окопах, а чаще всего оставляли на попечение местных жителей или неприятеля. Безусловно, похоронные команды все же иногда работали, но несчастных хоронили в общей ямке, как правило, без гробов, под одной палкой с пятиконечной звездой. Каски, оружие, а иногда и обмундирование собирали и после определенной чистки и подладки вновь пускали в жутковатый оборот.

Жизнь в бабушкином доме была тесно связана с железной дорогой. Дед Никодим до глубокой старости проработал стрелочником. Наверное, поэтому железнодорожная станция была для нас отдельным и доступным миром, со своими запахами, звуками, гордостью за городской хлеб в тяжелых деревянных, а потом и алюминиевых ящиках, которые привозили раза три в неделю на пригородном поезде из Могилева и продавали только поселковским.

Новогодние елки в красном уголке станции, Дед Мороз с мешком под портретами Ленина и Сталина и, конечно же, подарки, пахнущие мандаринами! Бьюсь об заклад, сегодня мандарины так не пахнут! Кто постарше, помнит этот запах, в бумажном пакетике были дешевые конфеты, печенье и два, только два, мандарина или один небольшой апельсин. Помню, как душила жаба, но этими вкусными нездешними яблоками приходилось делиться и с родственниками, и с друзьями по деревенской улице, в колхозах новогодних подарков в то время не было. Руки мерзнут, отламываешь излучающую свет и летний запах дольку и даешь по очереди откусить друзьям, и каждый кусает немножко, чтобы не подумали, что жадный, самая большая кроха доставалась последнему. Даже странно, что такое когда-то могло быть. Цитрусовые корки никогда не выбрасывали, а в обязательном порядке сдавали бабушке, которая их сушила, а потом заваривала вместе с чаем или настаивала на них самогон — для пущей изысканности, что ли.

Здесь, в этой бесхитростной жизни, входили в меня древние токи загадочных радимичей, от которых, петляя, в веках тянется незримая нить отцовского рода.

Нет уже 53-го разъезда с трехминутной остановкой пригородного поезда. Нету, стерт прогрессом, словно мел со школьной доски. А ведь разъезд этот периодически всплывал в моей жизни на протяжении целых восемнадцати лет. Два или три маленьких строения в глухом лесу, казарма станционного начальника, крохотный огородик и воняющая разогретыми на солнце шпалами железная дорога. С поезда прямо на насыпь спрыгивали редкие гости, а кто-то, толкая впереди себя мешки и кошелки, ухватившись за поручни, с сопением и матюками поднимался в вагон. Звонил станционный колокол, трубил рожок, гудел паровоз, и, зашипев паром, звякнув сцепками, поезд торопливо уползал в сторону несбыточно далекого Богушевска.

На разъезде нас, как правило, встречал дедушка Константин, или кто-то из заважанских, подъезжавших за своими, или никто не встречал. Заранее мама про встречающих не знала, но всегда надеялась на это. А потом была лесная дорога длиною в девять с гаком километров. До сих пор никто точно не определил длину белорусского гака. Если летом да на подводе, то это незаметно и даже где-то весело, кругом ягоды, грибы, а если зимой, пешком да фактически ночью... О, я знаю, как замерзают слезы обиды и страха на щеках! И какие страшные и живые тени в лунном морозном лесу. Наверное, после тех страхов я перестал бояться ночного леса и даже где-то полюбил его за надежность и безопасность.

Чем для меня была эта дорога? Я долго не мог ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Ответ пришел сам собой. Лесной путь был естественной машиной времени: преодолев положенные километры, я попадал из относительной цивилизации в мир древней Беларуси, из середины века двадцатого в середину девятнадцатого, из языкового суррогата «трасянки» в заповедную сказку роднай мовы.

«Бабушка Феня, бабушка Феня, платочек кофейный...» — старые мои стихи, а имя у бабушки было Федора, но деревенские звали ее на кривицкий манер Хадося, Тадора, а иногда Тэкля, хотя это уже русская Фекла. Худенькая, небольшого росточка, живая, все время согнутая работой, улыбчивая и очень набожная. С бабушки можно было в равной степени писать и икону, и портрет кривичанки. Безбрежное добро и смирение поразительным образом сочетались в ней с несгибаемой волей и настойчивостью.

Электричества в Завожанье не было года до шестьдесят пятого, были керосиновые лампы для зимних калядных застолий, а так по хозяйству управлялись при лучине, летом же и вовсе старались обходиться без света. Исключение делалось только для гостей, которые по городской привычке любили почитать перед сном. Здесь, в забытом всеми уголке, жил дух чего-то таинственного и уходящего. Здесь я узнавал, для чего служат различные деревянные приспособления, некоторые из которых встречались мне и в Ресте. Оказывается, вот это странное громоздкое сооружение ни много ни мало, а целый ткацкий станок, да к тому же работающий! И бабушка зимними вечерами ткала кросны, а до этого почти все лето совершались длительные приготовления: пахалась земля, высаживался лен, потом он необычно цвел, набирал силу, потом его надо было «брать» — вытаскивать из земли по стебельку, вязать в снопы и ставить в «бабки», потом мочить, мять, трепать, чесать, сучить нитку и уже только после всего этого ткать узкое полотно. В мое время из самотканой холстины уже не шили одежду, а использовали ее для домашних рушников, занавесок, подзоров и каких-то сакральных действий. Дежу с тестом для хлеба покрывали только самотканым, испеченный хлеб тоже выкладывался остывать на палицу, застланную чистым домашним холстом. Исключительно в домотканое заворачивались различные примочки, компрессы, им покрывались наговоренные вода, соль, масло. Все, что касалось давнины, не терпело металла и должно было быть изготовлено только руками человека при соответствующих молитвах и заговорах.

Бабушка и дед молились всегда. Дед, конечно, с меньшим усердием и менее многословно. Он вообще был молчуном, за свою долгую жизнь — а прожил он до ста двух лет — дед Костусь убедился, что молчание почти всегда дороже пустого и долгого разговора, может, поэтому он сторонился людей и предпочитал больше бывать в лесах и на работе.

Бабушка знала уйму сказок, старых, не вычитанных в книжках. Да и читать-то она толком не умела, а рассказывала нам те сказки, что передавались из поколения в поколение. «А вось гэтую казку мне казала ажно мая прабаба...» — так часто начиналось бабушкино повествование. Долгое время безуспешно силился я вспомнить эти сказки, чтобы записать, но, увы, ничего не выходило, не вспоминалось. Расстраивался, злился. Тот сказочный мир живет где-то глубоко во мне, его волшебные образы рядом, кажется, вот — протяни руку, а нет — не получается. Время летит поразительно быстро, уже и сам дед, уже внуки просят рассказать сказку. И все стало на свои места, просто, наверное, пришло время, и старинные небылицы как-то сами собой начали сказываться. И что удивительно, часто начинались они со слов: «А эту сказку мне рассказывала еще твоя прабабушка...» Дальше по-русски говорить не

получалось, волшебство из сказки уходило, она становилась пресной и похожей на плоский американский мультик. Я понял, что народные сказки, как и народные песни, на другой язык перевести нельзя, их можно пересказать чужим языком.

Странно, внукам эти старинные истории на малопонятном для них языке нравятся, и слушают они их с затаенным дыханием и открытыми ртами. А еще дважды повторить одну и ту же сказку одинаково у меня не получается. Но сам я этого не замечаю, благодарные слушатели поправляют, списывая изменения не забывчивость деда.

Вот такие сказки были у бабушки Фени. Может, действительно, живое слово, записанное на бумаге, теряет свое волшебство и таинственность и живет только в благодатном поле живого родного языка.

Бабушка не умела читать и писать, и от этого мучилась, ей хотелось самой прочесть Священное Писание. Библию в те годы купить было невозможно, да и хранить подобную литературу в доме было делом рискованным. Однако у бабушки это сокровище было, хранилось оно в только ей ведомом месте. Извлекалось по праздничным дням, и если я оказывался под рукой, меня заставляли читать непонятные мне тексты. Писание было на церковнославянском языке, хорошо хоть — в новой орфографии. Вот так, спотыкаясь на незнакомых словах, поправляемый бабушкой, я делал свои первые шаги к Богу.

И последняя картинка из Завожанья, которую бережно хранит моя память. Я приехал попрощаться с бабушкой и дедушкой: через неделю уходил в армию. Помню, что, как и в детстве, долго читал старикам Евангелие. А потом было хмурое утро, и я уходил в первую свою неизвестность вдоль покосившейся изгороди, и надо было спешить на поезд, но что-то екнуло внутри, оглянулся: бабушка молча плакала и крестила меня в спину. Больше я ее живой не видел, но ее крестное знамение хранит меня и поныне.

Пишу эти слова, а в голову приходит название книги известного сербского поэта Благое Баковича «Повраток на Итаку», и думаю: как это важно не прозевать, не забыть поворот на свою Итаку, поворот к своему Дому, своим Истокам.

Так мы встретились

Если ты родился в деревне, то город редко когда станет для тебя родным. Но мне повезло: внутри одинаково сильно зацепились и моя деревня, вернее, станционный поселок Реста, и областной центр, взгромоздившийся на крутом берегу мелеющего летом Днепра.

Мои первые воспоминания о Могилеве связаны с пивом, вернее, вкусом пива, которое мне дал попробовать из большой стеклянной кружки отец. Помню, что удержать этот непривычный сосуд самостоятельно я не мог, и батя, скорее всего, боясь, что я разолью вожделенный напиток, присев на корточки, поднес кружку к моему рту. Губы и нос обволокла противная лопающаяся пена, а рот заполнился, как мне показалось, тошнотворной мыльной водой. Я с силой увернулся, выплюнул пиво и заплакал. Отца моя реакция огорчила, зато обрадовала маму. Пиво с тех пор, невзирая на бурную офицерскую молодость, я не пил сорок лет.

Картинок улиц, площадей, каких-то достопримечательностей того, восстанавливаемого пленными немцами города, моя память не сохранила. Наверное, из-за того, что и родители, как всякие сельские люди, от близкого железнодорожного вокзала отходить далеко особенно не решались.

Хорошо помню привокзальный рынок, он еще кое-как жив и поныне, тенистые клены уже давно вырубленного привокзального сквера. Особое место в моей памяти, конечно же, занимают стаи безбилетников на крышах вагонов. Когда я их видел, меня охватывал панический страх. Мне казалось, что мама или отец обязательно потеряют билеты и нам придется, отмахиваясь от проводников и свистящих милиционеров, лезть на крышу. Слезы текли в два ручья. Я знал, что с крыши меня обязательно сдует, а страх этот мне внушил дед Никодим, авторитетно объяснивший, грозно потрясая узловатым с черной отметиной пальцем, что детей с крыш поездов сдувает, как пух с ладони. И тут же поймав гуся, выдернул из него серое перышко и наглядно продемонстрировал, как это произойдет.

Билеты тогда были — не чета нынешним — плотными, картонными, коричневатого цвета и всегда имевшими определенную цену в детском обиходе. В деревне на них можно было выменять много ценных и нужных вещей. Однако по малолетству своего персонального билета мне не было положено. Даже и сейчас помнится, как это было обидно. Но билет мне доставался, как правило, только один — мамин. Отец ездил по своему годовому — как железнодорожник.

А еще на вокзале безногие калеки продавали глиняные свистульки, и самой козырной из них был — соловейка. Все прочие просто дудели и сухо свистели, а соловейка, если в него налить воды, пел. Позже инвалиды куда-то разом пропали, а с ними и соловейки. Сколько я ни приставал к старшим с вопросами: «Куда подевались веселые дядьки со свистками?», меня как будто не слышали и спешили увести от злосчастного скверика, на месте которого ныне автомобильная стоянка. Только уже весьма взрослым я узнал, что по приказу Хрущева всех покалеченных войной людей в скором темпе пособирали по крупным городам и убрали с глаз долой. Места их скорбных поселений назывались громко: специальные интернаты для инвалидов, размещались они зачастую в бывших монастырях, откуда совсем недавно ушли по домам или на тот свет бывшие враги народа, а иногда и вовсе в бывших лагерных бараках. Так стыдливая Родина и родная Коммунистическая партия сполна отблагодарили своих защитников, которым ни великий Сталин, ни его железные маршалы счета никогда не вели.

Уже в девяностые годы я встретил остатки этого увечного, одичавшего племени на острове Валаам, когда по благословлению святейшего Патриарха Алексия началось возрождение одной из православных святынь — Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Господи, во что был превращен Северный Афон советской властью и согнанными сюда людьми, которых все та же власть обратила в жалкое подобие человеков! Сегодня обитель радениями игумена епископа Панкратия возрождена и голубизной куполов своего главного храма славит Бога и труды людские. Следует сказать, что с воскресением монастыря воскресли и души бывших интернатчиков и их детей — они прилежные прихожане.

Но вернемся к моему родному Могилеву. Конечно же, та старая свистулька у меня не сохранилась, но на какой-то из ярмарок, по-моему, в Новогрудке, я вдруг услышал заливистую, слегка захлебывающуюся трель глиняного птаха, и теперь он всегда со мной. Когда совсем становится муторно на душе от олигархической действительности, я, как шаман бубен, достаю своего соловку, заливаю водой или чем покрепче и свищу на удивление жене и на радость дочке. И вы знаете, здорово помогает.



ВЛАДИМИР ГНИЛОМЕДОВ

Беженцы. 1916 год

Из романа «Восток»

Началось Заволожье.

Всю ночь они провели в вагоне и изрядно-таки продрогли. Утром к вагону подъехали подводы. Подошел начальник станции:

— Которые брестские — выходи!

— Мы — брестские! — отозвался Гомон.

Прусковчане ожили и стали, кряхтя, выходить из вагона, разминаться. Вынесли сундуки, корзины, узлы.

— Давай вылезай! — торопил начальник станции, пряча голову в воротник шинели.

Подошел парень лет семнадцати, улыбчивый, с курносым лицом, и предложил:

— Кто хочет ехать в Заполонное?

— А далеко это?— поинтересовался Левон.

— Как далеко? Шесть верст отсюда!

Парень оказался свойский, разговорчивый:

— Село наше богатое, есть жилье, работа. Сейчас завезу.

В разговоре он заметно «окал».

— А ты кто будешь? — снова спросил Левон.

— Я Андрюшка Платонов. Батя меня послал.

— Ну, тогда спасибо! — вступила в разговор Марыля.

— Безбородые вы какие-то... — удивлялся Андрюшка, оглядывая прусковских мужчин.

— Бороды мы сбриваем, — ответил Гомон, хотя сам брился редко — борода у него почти не росла.

— Помолчал бы уж ты! — упрекнула его Матрена.

Андрюшка помог Кужелям погрузить на сани вещи. Сани — Левон обратил внимание — были запряжены парой здоровых, упитанных лошадей. Кужели сели всей семьей, сани тронулись с места. Впереди и сзади, также на санях, ехали остальные прусковчане.

Заволжье обдало холодом и порывистым ветром. Белыми космами завивалась вокруг саней поземка.

— Что, холодно? — улыбнулся возница.

— Холодно! — встрепенулась Тоня, укрывая одеялом и себя, и сестер, — все они пристроились на санях позади.

— Ветер! — как бы оправдываясь, ответил Левон. — У вас он какой-то более холодный, чем у нас.

— Это еще не холодно, — утешил Андрюшка, — бывает, что и до костей пробирает! А теперь градусов под тридцать, не больше.

Андрюшке хоть бы что — одет по-зимнему: овечья шапка, тулуп, валенки.

Левон — в легком тулупчике. Пробовал заслониться от ветра воротником, но это мало помогало, и он, чтобы забыть о холоде, стал всматриваться в окрестные пейзажи.

— Так вы, значит, издалека! — прищелкнув языком на лошадей, вел разговор возница.

— Из-под Берестя аж! — отозвалась Марыля.

— А там что — война?

— Война, детка, война...

— Скоро мы его разобьем! — сказал Андрюшка. — Ерманца-то!

Утомленные дорогой, обессиленные седоки ничего на это не ответили.

Подъехали к селу Борское. Большое, с версту протяженностью, рядом со станцией Неприк. Потянуло прогорклым дымом от кизяка и соломы. Андрюшка оживился:

— За Борским, сказывают, овраг есть, так там будто бы Стенька Разин золото свое спрятал, — сообщил он, повернувшись к Кужелям.

Через Борское обоз ехал долго.

— Здесь уездное начальство живет, — проинформировал Андрюшка, — наше Заполонное поменьше будет.

Переехали речку Самарку. Видны были берега: один крутой, обрывистый, другой более ровный, пологий.

«Совсем как наша Лосьна, — подумал Левон, — может, только пошире немного».

Затем началась степь, которая удивляла и настораживала своей снежной бескрайностью и безлюдьем. Казалось, этой равнине конца-краю не будет. В Пруске горизонт со всех сторон замыкал лес, а тут — степной простор. Степь — насколько видит глаз.

«И за грибами нет куда сходить», — опять подумал Левон.

— А леса у вас, что, нет? — словно почувствовала мысли сына, спросила Марыля.

— Лес есть, но далеко, отсюда не увидишь, — парень снова прищелкнул языком на лошадей и дернул вожжи.

— Чем же они топят, если леса нет? — спросила Тоня.

— Соломой!

— Соломой? — удивилась Марыля.

— Либо еще кизяком или хворостом — его на берегах Самарки много!

Прусковчане не знали, что это такое, но допытываться не осмеливались. Андрюшка перевел разговор на другое.

— В нашем Заполонном — волость.

— Волость? — оживились Кужели. — Ого!

— А как вы думали!

— Так рядом с начальством плохо! — заойкала Марыля.

— Ничаво! — засмеялся Андрюшка, стараясь поднять своим пассажирам настроение. — Начальство у нас свое!

— Разве что.

— В хорошее место вы попали — край наш пшеничный... — рассказывал Андрюшка. — Хлеба хватает. Посмотрите!

— Ну, как-нибудь оно будет... — вздохнула Марыля.

— Не пропадем! — поддержал ее сын.

Дальше ехали молча.

— А вот и Заполонное! — кнутом показал возница.

В той стороне, куда он указал, Кужели еще издали увидели кучку каких-то построек. По мере приближения их становилось все больше.

Наконец они приобрели вид сельского поселения с церковью на возвышенности, и обоз незаметно въехал в село. Приезжие стали оглядываться вокруг

— Смотрите, улица у них какая широкая. Не то, что у нас, — ожили Марылины девчата.

Улица казалась широкой и пустоватой. Не было привычных для прусковчан палисадников с цветами и плодовыми деревьями перед окнами, выходящими на улицу. Такой мелочи здешние жители, видимо, и не придавали значения. Постройки, обступившие с двух сторон улицу, возведены из кругляков, без теса, переложенные мхом. Почти все они, крытые соломой, приобрели со временем замшело-серый вид. На довольно просторной площади, посреди селения, обоз остановился. Беженцы слезли с саней на землю и замерли, боязливо оглядываясь вокруг, будто к чему-то прислушиваясь. Оборванные, с бледными лицами, худые и изнуренные женщины, одетые в длинные поневы, выглядели особенно жалко.

Подошли местные жители, плотно окружили приезжих. Прусковчане очутились среди незнакомых людей. Мужчины были бородатые, с широкими скуластыми лицами. В облике некоторых просматривались татарские черты. Одеты кто как: в тулупы, длинные халаты, в похожие на прусковские свитки и во что-то еще непонятное.

— Откудова, родимые? — спросила, как будто пропела, розовощекая курносая молодайка в рыже-коричневом тулупе, дохнув теплым капустным духом, который на морозе сразу превратился в струю белого пара. Прусковчане молчали, широко раскрыв глаза и рты.

— Замерзли, что ли?

— Носы красные! — заметил кто-то из мужчин.

— Господи, Боже ты мой! — воскликнула какая-то из особенно сочувствующих женщин. — Царица небесная!

— Из-под Бреста мы, — сказал Левон, отряхивая с тулупчика потертые стебельки соломы.

— Из-под Бреста? — не поверил крепыш с черной курчавой бородой, пожал плечами и ухмыльнулся, скривив полные красные губы.

— Ну да. Гродненской губернии, из-под Бреста, — подтвердил Голенко, смешно хлопая осоловелыми после бессонной ночи глазами.

— Православные, чай? — послышался голос из толпы. Он принадлежал невысокому человеку с морщинистым, похожим на печеное яблоко лицом. Одет он был в короткий латаный-перелатаный зипунок, на ногах лапти с оборами. На голове полинявшая шапка-вислоушка. В глазах — покой и какое-то как бы бессмыслие.

— Православные, православные, — закивали прусковчане.

— Бог один, — рассудительно высказался человек с длинной бородой, напоминавшей подвешенный к лицу веник и которая болталась в разные стороны, когда хозяин крутил головой

— Когда же вы из дому-то выехали?— поинтересовалась та самая розовощекая говорливая молодайка.

— Да еще летом, — сказал Гомон, стараясь поддержать разговор.

— Летом?

— Ого-го! — удивлялись заполонновчане.

— Ой, несчастные мы! — не выдержала, схватилась за голову, запричитала Апраска, и сразу захлюпали носами другие бабы, а за ними — дети.

— У нас несчастных любят, — как бы заверил ее и всех остальных прусковчан житель Заполонного с похожей на веник бородой.

— Ой, знаете, до нутра промерзли! — передернула плечами Марыля.

— Ай-ай! — сочувствовали ей заполонновские женщины.

Сквозь толпу протиснулся седобородый человек в длинном, до самых пят, тулупе. Это был заполонновский староста Иван Милягин. Выглядел он, как библейский пророк. Борода одна чего стоила — широкая, седая, курчавая, во всю грудь. Он ее, видимо, сколько жил, никогда не брил.

— Ивану Ивановичу почтение нижайшее! — не то сказал, не то пропел маленький кругленький человечек в теплом зипуне, подвязанном ниже живота тонким ременчатым поясом. Из седой бороды у него просвечивались розовые щеки.

— Здорово, Елизар! — ответил староста и махнул рукавом на строение, которое примыкало к площади и имело казенный вид. — Вот здесь у нас караулка — пока в ней будете жить.

Это был, как прусковчане узнали впоследствии, свой местный острог, в котором удерживались провинившиеся, — в одной половине мужчины, в другой — женщины. Кроме того, здесь обычно проходили все деревенские сходки. Иногда, во время жатвы, перед тем как ехать в поле, ночевали татары, нанятые для уборки урожая.

Приезжие послушно потащились в караулку.

— Татион, открывай! — приказал староста и достал из глубокого кармана большой железный ключ.

Тот, кого староста назвал Татионом, был уже как бы знаком прусковчанам: это он спрашивал, православные ли они. Он схватил ключ и побежал впереди в своем латаном тулупчике и вислоухой шапке. Подбежав к караулке, ловко вскочил на крыльцо и как-то радостно загремел замком. Как с наружной стороны, так и изнутри помещение имело довольно неуютный, обшарпанный вид. Зашуршали по стенам, бросились врассыпную тараканы. Забористо пахло потом и раздавленными клопами. Сквозь маленькие окна скупо пробивался свет зимнего солнца.

— Ну вот, — кашлянул староста, который вошел в помещение после всех, — мужчины будут ночевать здесь, а женщины на своей половине.

— Так что, без жены? — поскреб затылок Гомон.

— Ой, замолчи ты! — оборвала его Матрена.

Староста продолжал:

— А на отопление вам солома, — и указал на огромную скирду, стоявшую невдалеке от караулки.

«Человек, видно, неплохой», — подумал про старосту Левон.

— Топить соломой? — удивился Петро Ломако, переглянувшись с остальными прусковчанами.

— Жгите, не жалейте, чтобы было тепло! — не понял его удивления розовощекий кругленький заполонновчанин, которого звали Елизаром.

— Это же дома не поверят, — сказал Гомон, стоя рядом со старостой.

— Кому не поверят? — повернулся к нему Иван Иванович.

Вздернутые брови Гомона свидетельствовали, что он удивлен происходящим.

— Это он так говорит, — успокоил старосту Голенко. — Его в детстве безменом ударили. С того времени он такой.

— Понятно! — засмеялся Иван Иванович, а с ним засмеялись и все присутствовавшие.

Левону показалось, что у старосты очень веселые глаза, хотя сам человек солидного возраста.

Новые хозяева караулки стали, наконец, раздеваться, сбросили с себя тулупы, армяки. Принесли солому, растопили печь. Этим занялся Гомон, который с непривычки топить соломой напустил в помещение много дыма. Пришлось открывать дверь, чтобы проветрить.

Вечером собрались люди — полная караулка, и каждый с собой что-то нес: караваи белого пшеничного хлеба, приличные куски мяса и сала, муку, крупу. Это было весьма кстати: припасы прусковчан почти закончились, и они уже изрядно проголодались.

— Добрый вечер, миряне! — приветствовали местные новых обитателей караулки.

— Небось, кишки марша играют? — смеялся, обнажая беззубый рот, Татион.

Прусковчане сначала не поняли, но потом и до них дошел смысл выражения «кишки марша играют». Голодные, значит. Зажгли керосиновую лампу, подвешенную к потолку, и, вымыв руки, сели за стол. Вошла полноватая женщина невысокого роста, в чуйке, которую обременяла большая грудь. Принесла ячменную крупу. Это была, как прусковчане узнали позже, Марфа — жена многодетного Епишки Тюрина. Держалась Марфа раскрепощенно, шутила:

— Бабы, а как же вы тут с мужьями будете жить? — удивилась она, блеснув немного раскосыми, с серебристыми искринками глазами. — Здесь же перепутать легко!

В караулке грянул хохот.

А людей прибавлялось. Несли — кто булку, кто кусок пирога, кто кувшин молока. Пришла и знакомая розовощекая молодайка.

— Вот пышки с юрагой, пожалста! — Она поставила на стол небольшую корзинку и достала из нее пышки и вареное мясо.

— Ну, молодчина, Пелагея! — похвалил розовощекую красавицу еще не старый, широкобородый здоровяк в длиннополом тулупе, который также был среди встречавших. — Много у тебя доброты! — добавил он, осмотрев дебелую фигуру женщины.

— Еды столько! — удивленно покачал головой Татион, поглядывая на стол. На лбу у него натянулась и запульсировала тоненькая жилка.

Действительно, казалось, гостеприимству заполонновчан не будет конца.

— Это же слишком много... — махнул рукой Голенко.

— Обчество порешило! — сказал Елизар. Его голос звучал торжественно. — Как сказано в Библии, пришельца не притесняй и не ущемляй его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской.

— Христос велит, чтобы мы любили ближнего, как самого себя, — в тон ему добавила какая-то женщина с припухшим носом.

— Богато живете! — похвалил хозяев Михаль Тупчик.

— Ничего! Наше Заполонное всю Россею прокормит! — самоуверенно заговорил чернобородый крепыш, встречавший беженцев на заполонновской площади.

— Мы больше картофеля садим, рожь сеем, — сказал Петро Ломако, дожевав кусок белого пирога.

— Черный хлеб мы не признаем! — как бы не согласился с ним пожилой мужчина с мощными, круто очерченными челюстями. Из-под шапки у него торчали большие, словно листья капусты, уши.

Разговаривали заполонновчане с гостями в мягкой, снисходительной манере.

— Мы блинами могли бы устлать дорогу до Берлина и дальше! — горделиво прихвастнул староста. Все, кто находился в караулке, в том числе и беженцы, дружно засмеялись.

Местные люди, по всему видно, любили похвастаться.

Потом тема разговора изменилась.

— И зачем ее Бог послал — войну-то? — сетовали женщины.

Перекусив, Голенко повеселел:

— Ничего, перебудем зиму, а там и домой! Немца к тому времени и след простынет!

— Мы ненадолго! — поддержал его Гомон.

— Белорусы — младшие братья, — сделав ударение на последнем слове, сказал Милягин, и все с ним согласились.

Татион, почувствовав какую-то близость к Гомону, подсел к нему и похлопал по плечу:

— Мы с тобой родня!

Прусковчанин посмотрел с недоверием. Татион с серьезным выражением лица пояснил:

— Кода у меня плетень горел — твой дед портянки грел.

Караулка взорвалась хохотом. Не смеялся только один староста.

— Рад человек, что глупее себя нашел! — прокомментировал он шутку Татиона и поучительно, подняв вверх палец, произнес: — Отечество у нас одно, единое и неделимое!

— Ну, как пироги? Понравились? — допытывались заполонновчане, когда беженцы перекусили.

— Ой, очень! Очень! — наперебой хвалили прусковчане.

— Я никогда таких не ела! — призналась Матрена.

— Еще бы! — сказал Гомон. — Ты никогда таких и не пекла...

— Вот уж! Не можешь ты, чтобы не упрекнуть, — толкнула его локтем Матрена.

Женщины стали убирать со стола.

— Чайку бы!.. — высказался кто-то из заполонновчан.

— А-а, какая от него польза! — махнул рукой Голенко. — Мы его, когда ехали, столько выпили.

— Это пользительно! — не согласился Татион.

— Пелагея!— обратился староста к розовощекой молодайке. — Поставь-ка самовар!

А про самовар подумали заранее. Он стоял в сенях и уже кипел. Его внесли, поставили на стол, налили в стаканы кипяток.

Выпив чаю, Гомон подошел к ведру с водой, что стояло в углу, глубоко зачерпнул медной кружкой и жадно пригубил.

— Мил человек, что же ты воду-то пьешь? — по-отцовски снисходительно, сладким голосом пожурил Елизар.

— Нет, дядя, — возразил Гомон, оторвавшись от кружки, — я одним чаем не напьюсь, мне вода нужна, — и опять зачерпнул из ведра.

Заполонновчане от удивления дружно захохотали.

— Хорошо, когда наелся! — сказал Ломако и, громко икнув, погладил свой живот.

Когда местные жители, пожелав спокойной ночи, покинули караулку, вошел незнакомый молодой человек, одетый по-праздничному. Прусковчане заметили, что он немного прихрамывает.

— Михаил! — улыбчиво представился он и сел на скамейку. Смотрите, дескать, какой я свой и вас своими считаю.

Беженцы заинтересовались.

— Ну, как делишки? — Он достал из кармана кисет, развязал, протянул мужчинам. — Война, не секрет, тяжелая штука.

У прусковчан, хотя они и устали, возникло желание поговорить с гостем.

— У нас люди добрые, — продолжал Михаил, — богачи, правда, не очень, а кто победнее, с тем дело можно иметь. А вы что за люди?

— Мы такие, что и муху не обидим... — ответил Михаль Тупчик, словно хотел понравиться незнакомцу. В углу засмеялись девчата. Гость не без интереса посмотрел на них.

— Девчата у вас, не секрет, красивые, — после продолжительной паузы сказал он и засмущался, лицо его заметно покраснело.

— О-о-о! Девчата у нас пригожие... — согласились женщины, переглянувшись между собой.

— Спите. Завтра, не секрет, будет новый день, — Михаил простился и, слегка прихрамывая, исчез за порогом караулки.

Таким образом, наши герои после длительного путешествия очутились в Заполонном Борского уезда Самарской губернии. Это была старая, патриархальная русская деревня, дворов на пятьсот, жизнь в которой протекала медленно и однообразно. Многие свои жилища обогревали еще по-черному, для освещения жгли лучину, большая часть жителей носила лапти с оборами.

Однако народ был мужественный, непокорный — далекие потомки беглых разинцев и пугачевцев. Помещиков в Заполонном никогда не было, крестьяне издавна считались государственными. Они сполна пользовались всей землей, платили налоги и подчинялись старостам. После отмены крепостного права в Заполонном появились так называемые кулаки. Они покупали землю у сельской бедноты. Но возникли и земства, которые отстаивали интересы народа, поднимали культуру и сельскохозяйственное производство. Кроме того, в Заполонном образовалось сельское «общество», которое, являясь самостоятельным, собирало средства на общие расходы, избирало сельские власти, старосту, занималось и судебными делами, налаживало взаимопомощь.

В Заполонном некоторые не без основания чувствовали себя зажиточными, но большинство считалось середняками или вовсе бедными людьми.

Какое-то время прусковчане жили в караулке. Местные жители опекали гостей. То кое-что из одежды дадут, то молока принесут, то пирогами угостят. Беженцы были благодарны им, хотя не забывали и старую истину — чужой хлеб горький.

Можно было и не сетовать на такую жизнь, если бы не клопы, которые чувствовали здесь себя хозяевами и без дружелюбия относились к пришельцам. Не зря сами заполонновские жители называли караулку клоповкой.

Однажды гостей посетил староста Милягин — в том же тулупе, валенках.

— Добрый день, ваше степенство! — приветствовали его обитатели клоповки.

— Ты ваша, я ваша, а кто же хлеба напаша? — шуткой ответил староста.

— Мы к тому, ваше степенство, — пояснил Алексей Голенко, — что нам в беженский комитет надо.

— Клопы надоели? — насторожился староста.

— Ну, и клопы, — осмелел Голенко.

— Зачем нам беженский комитет — мы сами порядок наведем. Отсюда мы вас расселим по избам.

Прусковчане уже слышали это слово и не удивились, что обыкновенную хату здесь называют избой.

— Караулка иногда и нам может понадобиться, — добавил староста.

Через несколько дней беженцев из караулки выселили, распределили по дворам.

Кужели попали к Платоновым («Раз Андрюшка привез — так пусть уже к нам идут!» — сказали хозяева). Изба у них очень хорошая — крытая жестью пятистенка, построенная из толстого бруса. Не изба, а дворец! Стоит на высоком, видном месте, откуда видна, говорили, Самарка, которая однажды весной, разлившись особенно широко, залила даже хлебные амбары, а сюда, к Платоновым, не поднялась. Поэтому зажиточные люди строились здесь, на горке. И волость размещалась тут. Над дымоходом, который здешние жители называли печной трубой, скрипел на ветру жестяной петух. А недавно Илья поставил еще новые тесовые ворота с козырьком, крытым дранкой.

Вел Кужелей все тот же Андрюшка. Недалеко от избы, на заднем дворе, у колодца, их встретил хозяин Илья Александрович — человек уже пожилого возраста, седобородый, в длиннополом тулупе.

— Афанасья! — позвал он.

Из избы вышла пожилая женщина, полноватая, в широком батистовом кафтане с длинными рукавами.

— Принимай гостей!

— Милости просим, милости просим, дорогие гости, — пригласила Афанасья, приветливо щуря и без того слегка раскосые глаза и прикладывая руки к груди.

В избе был настлан деревянный пол. На кроватях красовались подушки в разноцветных наволочках. В одном углу стоял иконостас, в другом лимонное дерево в большой кадушке. На стене висело несколько фотоснимков в деревянных рамках.

Илья Александрович снял тулуп, остался в синей ситцевой рубашке. В Заволжье он слыл зажиточным, даже богатым. По столыпинскому позволению вышел из общины: стало невыгодно в ней оставаться, большая самостоятельность позволила и больше развернуться. И дела у Ильи Платонова, надо сказать, пошли вверх. Продавал пшеницу, торговал лошадьми. Односельчане стали приходить к нему с поклоном — одолжить чего-нибудь или попросить.

Кужели также разделись. Афанасья тем временем накрыла стол. Помогала ей чернявая девушка в ситцевом сарафане. Домна. Видно было, что хозяева не собирались ограничиваться одним чаем. Домна принесла два каравая белого пшеничного хлеба и горшок горячего супа с бараниной. Это было блюдо, которое здесь очень любили.

Все присели за стол, перекрестились «во имя Отца и Сына...». Афанасья, словив руку мужа, поцеловала ее.

— Моей Афанасье только игуменьей быть — все понимает и в порядок приведет, — похвалил Илья Александрович жену.— С Богом, — сказал он, позволяя сесть.

Прусковчане вместе со всеми принялись хлебать большими деревянными ложками, закусывая пышным белым хлебом.

— Живите, хлеба не жалко, — сочувственно посмотрела на них Афанасья.

Большая грудь ее мерно поднималась в такт дыханию и медленному говору.

Хозяин и хозяйка ели из отдельных деревянных мисочек, все остальные — из общей.

— А что вы у себя на родине ели? — поинтересовался Илья Александрович.

Марыля грустно улыбнулась:

— Картошку с салом, капусту, колбасы...

— Драники, — добавил Левон.

Засмеялись Тоня с Федоркой и Барбарка.

— А что это такое? — не поняла Афанасья.

— Это такие оладьи из картошки, — пояснила Марыля.

— Как это так — из картошки? — опять удивилась хозяйка. — У нас блины из пшеничной муки...

— У каждого народа — по-своему! — рассуждал Илья Александрович. — Все хорошо было бы, если бы не этот проклятый ерманец! — добавил он.

— Ерманца разобьют! — как бы между прочим заверил всех Андрюшка.

— Это да, — причмокнул губами Илья Александрович, — однако пока что не получается.

На второе подали шанежки — пышки из сладкого теста.

— Отведайте наших шанежек! — сердечно пригласила хозяйка.

Кушали не торопясь, много. Обед у Платоновых основательный и вкусный.

Домна принесла вместительный самовар, и Кужели выпили чаю с шанежками. К этому напитку они еще не привыкли и много выпить (местные люди опорожняли ведерные самовары) не могли.

— Хватит. Чтобы не обобениться, — слабо улыбнулась Марыля, поставила стакан и поблагодарила. Девчата, глядя на мать, поступили так же. Левон поужинал раньше всех.

— У нас, — поучительно сказала хозяйка, — если кончают пить, то кладут стакан набок. Тогда уже никто не нальеть. Значит, напился, достаточно.

Гости удивились такому простому обычаю.

— Работать будете! — объявил Илья Александрович. — Адаму что было сказано? «В поте лица трудись».

— От работы мы не отказываемся, — отозвался Левон. Хозяин осмотрел его фигуру.

— А ты сам что умеешь?

— Все что прикажете.

— Силен! — похвалил его Илья Александрович. — В таком случае за лошадьми будешь приглядывать, а то Фролка что-то запивать стал, я его на другую работу определю.

— Отлеживается! — скривила губы Афанасья, имея в виду батрака Фролку. — Пироги трескать охочий, а работать не очень. — Повернулась к женщинам: — А вы, молодки, по хозяйству, чай, будете. А то и коров подоить некому — нанимать приходится...

Андрюшке, видимо, надоело слушать разговор, он поднялся из-за стола и вышел.

— Поглядим, которая лучше, может, невесту выберем... — засмеялся Илья Александрович, кивнув головой вслед сыну.

— Ему еще рано, — поджала губы Афанасья.

— Ну, отдыхайте! — сказал хозяин, вылезая из-за стола. — И я немного сосну...

Беженцам отвели более холодную половину избы. До недавнего времени здесь жил сын хозяев вместе с невесткой, но минувшей осенью отделился.

На половине, где поселились Кужели, стояла большая печь. В Пруске такие печи называли русскими. На пол бросили несколько овчин, пару одеял, подушек. Вечером гости улеглись отдыхать. Левон устроился на кровати.

Ночью слышно было, как мороз хватался за забор, трещали углы платоновской избы. Зима!

Назавтра Левон вышел на работу. Илья Александрович показал ему конюшню, а заодно и хозяйство. А хозяйство у него было большое — полтора десятка рабочих лошадей, два жеребца на выезд, восемь коров, овцы. В сараях хрюкали свиньи. А поля у него, говорил, более двухсот десятин. Да десятина сада и пасека на двенадцать ульев.

Илья Платонов — зажиточный степной хозяин. Держал несколько наемных работников. Держал на всем, как он выражался, довольствии, да еще и деньгами рублей тридцать платил и хлеба пудов пять давал. Рукавицы да лапти у его работников были также хозяйские. Дед Ильи Александровича когда-то бурлачил на Самарке, на Волге. Отец — были деньги — смог выкупить у казны двадцать пять десятин хорошего чернозема. Остальное — сам Илья заботился.

В стойлах стояли лошади — буланой масти и вороные. Все были сытые и гладкие на вид — хоть сейчас запрягай в плуг. Спины блестели, как воронье крыло.

Показывая конюшню, Илья Александрович похвалился:

— Таких лошадей, как у меня, нигде не найдешь!

— Во всем Заполонном?

— Что Заполонное... Бери шире, бери губернию, Самару саму бери! Разве что у губернатора...

«Ну ты же, человече, и хвастун!» — подумал прусковчанин, но улыбку сдержал.

Илья Александрович кивнул на лошадей:

— Будешь их кормить, поить, чистить. Машина любит уход и смазку, — добавил он, — а лошадь — овес и ласку. Хлопоты, известно, немалые, но и я, надо полагать, не обижу.

Левон увидел в углу вилы с четырьмя зубцами и взял их в руки.

— Вперед и с песнями! — подбодрил Илья Александрович нового работника. Это была излюбленная присказка хозяина.

Потом всех позвали на обед. Левон вошел в избу, разделся, вымыл руки и сел за стол. Начали с удивительного супа, приготовленного, как пояснила Афанасья, из кислого молока, овощей и грибов. Затем Домна с Тоней (она помогала) подали запеченные овечьи мозги, политые сметаной. После появилась каша с ливером. Казалось бы, уже и достаточно, но нет. Была еще запеканка из творога, моркови и свеклы. А после всего выпили самовар чаю. Так Левон не кушал и в Америке. Он поблагодарил, расслабился и решил выйти в сени покурить.

— Куришь? — удивился Илья Александрович, будто впервые увидел человека с самокруткой.

Левон пожал плечами:

— Редко.

— Это ни к чему.

— Бывает, что окурки с огнем швыряют куда попало! — поддержала опасения хозяина Афанасья, шевельнув отвисшими щеками.

Илья Александрович вспомнил о трагическом происшествии, которое случилось в Заполонном позапрошлым летом. Загорелась скирда соломы. Как раз возле караулки. Погода стояла сухая. Хватило одной искры, чтобы огонь, зацепившись за солому, пошел-покатился по всему селу.

Первая увидела пожар Афанасья. Даже не пожар, а отсвет в окне — во дворе словно посветлело. Давай тормошить Илью. Заметили и другие, сбежались тушить.

— Уж столько воды вылили, — рассказывала Афанасья, — бессчетно! Вот они льют, а он еще больше разгорается. Никак не могут усмирить — огонь-то. Тут спрашивают: «А кто поджег?» Никто не знает. А Елизар-то видал! Уследил — Елизар-то! «Да вот, — говорит, — Вантя, работник, спал возле скирды да папироску и сунул!» Так Вантю того в огонь и вбросили. Живого! Тогда-то и пожар остановился, и огонь уняли, — закончила хозяйка.

Левон, посочувствовав такому происшествию, погасил самокрутку и направился к конюшне. Илья Александрович остался в избе. После обеда он обычно ложился немного отдохнуть. Хозяйка также отдыхала.

Кужелю отдыхать было некогда, и он налег на работу. Взял скребок и щетку и стал чистить коня. Не услышал даже, как в конюшню кто-то вошел. Выпрямившись, увидел человека в порванном зипуне.

— Фрол, — назвал себя незнакомец, не вынимая рук из карманов.

«Это тот работник, — догадался Левон, — что «отлеживается», как сказала о нем хозяйка». Удивили его желтые, как у кота, глаза, скуластое, с пренебрежительным выражением лицо. На спине рос как будто горб.

Прусковчанин назвал свое имя.

Фролка закурил (предложил Левону, но тот, помня разговор с хозяевами, отказался), сделал несколько сильных затяжек и сказал:

— Хресьянину, значит, от утра до вечера трудись?! С зарей поднимайся, с зарей ложись?! — Он помолчал. — Пососал он моей кровушки.

— Кто?

— Хозяин.

— Как так?

— В кабале я у Платонова, задолжал ему крепко...

Прусковчанину трудно было понять, как это так может быть, и он молча слушал, а Фролка продолжал:

— Всё прибрали к рукам! Сами, слышь, богатые, а с бедняком поделиться не хотят. Хотя бы за работу заплатили по-человечески. Что же тогда делать человеку остается? Я тоже обедать хочу, как и он, каждый день! Им что! Калачи едят и чай с сахаром пьют, а меня он водой кормит! А я ведь за себя и постоять могу!

— Мы благодарны Илье Александровичу — приютил, как-никак, — сказал Левон.

— Приютить-то он, допустим, приютил, как ты сказываешь, однако же и хомут насунул, а за лошадьми ходить тяжело. — В голосе Фролки чувствовалась обида. — Мы для них, слышь, низшие, на нас и ехать можно. Еще повторится девятьсот пятый, ох и повторится! — пригрозил он кому-то.

«Голос у него какой-то нетерпеливый», — подумал Левон после того, как Фролка, покурив, ушел.

Вечером Илья Александрович пояснил Левону (видел, наверное, как Фролка заходил в конюшню):

— Опущенец он.

Прусковчанин не знал, кто такой опущенец. Оказывается, опущенец — человек, который вместе с землей попал в кабалу. Бедняк, короче говоря, который взял взаймы у богача и был не в состоянии вернуть долги. В таком случае опущенец должен был отработать. Заполонновские богачи поступали в соответствии с написанным в библейском Исходе: «Пусть он работает на тебя шесть лет, а на седьмой пусть выйдет на свободу задаром». На седьмой год отпускали. Долги отменялись, возвращалась земля.

Так вот и Фролка вместе со своим наделом попал в кабалу к Платонову, которому был много должен — и деньги, и зерно, и что-то еще.

— Фролка — малец потерянный, — возмущался хозяин. — Ты, Левонтий, с ним не дружи.

«Та-а-к, — размышлял прусковчанин, — оказывается, здесь свои порядки».

Судьба беженцев складывалась по-разному. Голенко выглядел бодро — взяли почтальоном. Почту привозили в волость, и оттуда он ее забирал и разносил по адресатам.

— Легкая у тебя работа! — позавидовал Ломако.

— Не такая уж и легкая...

— Мозгами надо шевелить, — согласился Ломако. — Как это ты уряднику письмо носил?

— Будто и грамотный, а перепутал, — насмешливо покосился на него Гришка Латушко, моргая своими маленькими глазками.

Действительно, письмо, адресованное местному уряднику, Голенко отдал попу, за что получил суровый выговор и едва удержался на своей должности. («Утечка секретности!» — рассердился урядник.)

Большинство батрачило на никобаловском хуторе. Это было имение богатого купца Никобалова, за версту от Заполонного, на берегу Самарки. Недалеко от хутора — плотина и водяная мельница купца. Все это возвышенно называлось — Иерусалим. Так, вероятно, хотел хвастливый хозяин, но жители Заполонного в разговоре сокращали это слово — оно у них звучало просто как Русалим. За помол Никобалов брал по пять пудов пшеницы с воза.

Рядом с мельницей была маслобойня — «алейка», как называли ее прусковчане. Далеко слышны были громкие голоса приказчиков.

Сюда, на маслобойню, пошли Петро Ломако, братья Латушки и другие. Работа на мельнице — настоящий ад. Двенадцать часов в день! Поэтому к новой обстановке привыкали тяжело.

— Непонятная мне здесь жизнь, — тихо посетовал Ломако.

Ему никто ничего не ответил, — видимо, все были с ним согласны.

Левон сказал, что его обязанности — присматривать за лошадьми. У хозяина их полтора десятка.

— Ого! Как у нашего пана Подгурского! — не сдержался Михаль Тупчик.

— Мой хозяин не бедный, — подтвердил Левон, — все имеет.

— Хорошо быть богатым, — вздохнул Гомон.

— Работы много, но жить можно, — сделал вывод Левон.

Беженцы свернули цигарки, закурили.

— Земля хорошая, без навоза, говорят, все плодоносит: пшеница, арбузы, овощи... — Алексей Голенко о многом был уже осведомлен.

— Лук здесь — как огонь! — вставил слово небезразличный к луку Гомон.

— Не может такого быть, чтобы без навоза родила! — насторожился Михаль Тупчик.

— Выходит, что может, — сказал Левон.

— Мужчины все бородатые! — напомнил Гомон.

— Не бреются! — пожал плечами Михаль Тупчик. — Может быть, надо и нам отпустить щетину.

— Да я не о том! — махнул рукой Голенко. — Сильные все! Крепкие! Возьмет мешок на плечи и хоть бы что!

— Люди не плохие, — согласился Левон.

Поговорив и покурив, стали расходиться. Последним выходил Гришка Латушко. Чувствовалось, что он о чем-то хотел сказать.

— И я, и ты помним, — начал он уже в сенях, — что родители наши не слишком ладили, но это не означает, что мы не должны ладить.

Левон глянул на Гришку, как бы не узнавая односельчанина.

— А тогда, знаешь, когда ты был с Ганной, Трофим меня подговорил...

— Я догадывался, — тихо ответил Левон, — как-то будем жить...

В Заполонном доброжелательно отнеслись к беженцам, которые постепенно осваивались на новом месте. Понемногу приживались здесь и Кужели. Следует сказать, что в отношениях с прибывшими хватало теплоты и внимания. Начали получать помощь от беженского комитета. Давали хлеб, крупу, сахар.

Но свое, прусковское, не выходило из головы. Что там дома? В воскресенье Левон с Голенкой и Гомоном решили подойти к волости, где обычно собирались заполонновские мужчины. Улица шла от Самарки, поднималась вверх и в самом конце упиралась в площадь. Впереди, на горке, белела церковь. Напротив церкви, на противоположной стороне площади, стоял кирпичный одноэтажный дом на пять окон. Над окнами — вывеска с надписью:

ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ.

Волость обслуживала местные нужды — там, прусковчане уже знали, сидел писарь Кренделев. Изба его здесь же, невдалеке. Возле волости стояла толпа местных людей — крестьяне — в лаптях, валенках, армяках, зипунах.

— Ну, как делишки? — приветливо встретили они беженцев.

— Так себе, — неуверенно ответили прусковчане. К ним присоединился еще Петро Ломако.

Некоторые из мужчин уже хорошо выпили, были навеселе. Рядом с волостью стоит «Разгуляй» — корчма, которую здесь называют кабаком.

— Ваша родина теперь под ерманцем, — посочувствовал человек в теплом армяке, от которого шел густой запах конопляного масла.

— Наступает, холеры на него нет! — выругался Голенко.

Здесь же стоял тот самый плотный крепыш с черной курчавой бородой, который когда-то хвастался, что Заполонное всю Россею прокормит. Звали его Спиридон Верзилин. Глаза у Спиридона большие, выпуклые — удивленно и с недоумением смотрят на мир. Верзилин заговорил, и оказалось, что голос у него тонкий и даже писклявый:

— Все-то ты знаешь, Татьян, а про то, что твоя Ульяна к Похмелкину побежала, того ты не знаешь...

В толпе засмеялись.

Татион пробовал опровергнуть Верзилина, но присутствующие стали смеяться еще громче.

К толпе подошел староста Иван Милягин. Поздоровался.

— Иван Иванович! А кто такая, скажите на милость, Антантая? — начал Сисяйкин.

— Антанта — это согласие, — объяснил Иван Иванович, подняв вверх палец, — союз, чтобы ерманца одолеть. Россея, Франция, Англия теперь заодно. Да Сербия еще!

— Теперь немца вспугнут! — солидно кашлянув, с уверенностью сказал Гомон.

— Он газом, говорят, целые полки убивает! — присоединился ко всем старый знакомый прусковчан Миша, который навестил их в первый день приезда. Он слегка прихрамывал. — И не секрет, — добавил Миша, — многие генералы — из немцев.

— Говорят, что сама царица за них, — сказал кто-то сзади.

— Чего тут ожидать? Царица — немка, — искривил губы Фролка.

— Не тебе, молодому, об этом знать! — оборвал его староста.

— А к царице, слух есть, Распутин подлез!.. — выкрикнул широкоплечий и высокий молодой мужчина, стоявший позади.

— Ты уж, Саша, помолчал бы! — недовольно буркнул Илья Александрович, которого Левон сначала не приметил.

Тот, кого назвали Сашей, бросил семечко в рот, раздавил его зубами и выплюнул шелуху.

— Из Сибири он — конокрад, — оказал Сисяйкин.

— Из хлыстов он! — опять показал свою осведомленность Татион. — Есть такая секта. Ох, проказник!

— Конокрад, а любовницы у него — княгини, — повел бородой Сисяйкин.

— Княгини ведь тоже бабы, только, может, еще более бесстыжие, — снова отозвался Саша.

Все опять захохотали. Дошли, значит, и сюда слухи о Распутине.

— Про царя разговоры... — заговорщицки подмигнул Миша, как бы на что-то намекая. Он стоял, прикрывая шею воротником своей городской курточки.

Прусковчане как-то инстинктивно уклонялись от разговоров о политике, тем более про царя.

— Какие могут быть разговоры про императора! — возмутился Илья Александрович и повернулся к Мише: — Ты, Михаил, глупостей не говори!

— Звестно, царю тяжело, — заметил Милягин, который очень почитал царя и царскую семью.

Левон слушал бы еще, о чем говорилось в толпе (а жители Заполонного любили поговорить), однако нужно было торопиться к лошадям — надолго их без присмотра не оставишь. Работа нелегкая. Левон чистил стойло и не увидел, как в конюшню вошел Илья Александрович. Прусковчанин почувствовал, что кто-то на него смотрит.

На виду у хозяина Левон подбросил лошадям сена, подсыпал овса.

— Сена в этом году хватит! — сказал Илья Александрович. — И всего хватит! Кормов не жалей.

— Лишнее тоже не на пользу.

— Оказывается, ты умеешь трудиться! Ну, заканчивай, пойдем обедать!

Левон давно заметил, что если к человеку относишься хорошо, тогда и тот платит добром.

Перед обедом он вошел в светлицу. Стол уже был накрыт. Возле него хлопотали те же Домна и Тоня с Федоркой. Позвали Марылю.

Каждый раз перед тем, как сесть за стол, старательно молились, читали «Отче наш».

А на столе — всего — и жареного, и пареного, и печеного. Горою — пироги. С рыбой, с грибами, с капустой. И много блинов. Масленица. Блины боярские, царские, красные... Однако начали не с них.

— Щи! — закомандовал Илья Александрович.

Это то, что в Пруске называли капустой. Горячие, наваристые, они с мороза казались особенно душистыми и вкусными.

— Щи да каша — пишша наша, — озорно засмеялась Афанасья, даже заходила ее полная грудь.

Под щи выпили водки. Она стояла в зеленой бутылке посреди стола. Даже Афанасья глотнула рюмочку. Марыля и девчата отказались. Андрюшка не пил тоже.

— Ну, а теперь — пельмени! — объявила хозяйка. Пельмени прусковчане пробовали впервые, и они им пришлись по вкусу. Потом занялись блинами.

— Сухой блин горло дерет, — сказал Илья Александрович и положил сверху на блин ложку кетовой икры.

— Выпите ишо! — напомнила мужчинам хозяйка, кивком головы показывая на зеленую бутылку.

Мужчины выпили.

— Вкусные блины! — объявил Илья Александрович, закусывая блином водку.

— Сама пекла, на дрожжах. На этот раз просяной муки добавила.

Марыля также похвалила блины:

— Вкусные!

— А ты, я вижу, холостяк? — обратился Илья Александрович к Левону.

— Выходит, что да.

— Ничего! В Заполонном девчат много. Женим!

Все заулыбались. Марыля посмотрела на чубчик сына — уже увлажнившийся, прилипший ко лбу. «От блинов это или от волнения?»

— Жениться — не упасть: не поднимешься и не отряхнешься, — сказала она.

С нею все согласились.

На завершение подали гурьевскую кашу с маслом, яйцами и орехами.

Обед закончился чаем. Илья Александрович, выпив не десяток ли чашек этого удивительного напитка, ловко хлопнул себя рукой по круглому животу, который выпячивался из-под жилетки:

— Бог напитал, никто не видал.

После обеда разошлись немного отдохнуть. Кужели ушли на свою половину.

— Ну, у нас так и Подгурский не живет, — сказала Марыля.

Они помолчали.

— Сейчас мы тут, — вздохнула Тоня, — а Пруска где-то далеко, там, где заходит солнце…

Перевод с белорусского Михаила ПОЗДНЯКОВА.



КАЗИМИР КАМЕЙША

На родном крыльце

Отдавали мне предки...

Отдавали мне предки
По наследству ремесла,
Полноводные реки,
Лодки, снасти и весла.

Говорили мне строго,
Чтоб не смел оступиться
И берег свою стронгу,
Словно ока зеницу.

Мне желали здоровья,
Чтоб с работой справлялся,
Чтоб с родных Новиков я
Удирать не пытался.

Что давали навеки —
Век имело короткий:
Пересохли те реки,
Продырявились лодки.

У былого истока,
У заброшенной хаты
Я стою одиноко
Без вины виноватый.

* * *

Любил когда-то суету вокзалов.
Был креслом мне дорожный чемодан,
А в чемодане вкусно пахло сало,
Сидел — и сам себе и кум, и пан.

Зовет гудок — и ты уж на подножке,
В вагон запрыгнешь, станешь у окна.
Поклонишься неведомой дорожке —
Пусть будет не последняя она.

Колеса резво тарахтят на стыках
И отдаются музыкой в ушах.
Какой он, мир, — загадочный, великий!
Какая ты широкая, душа!

И мчусь сквозь ночь мечте своей вдогонку,
Как в наказанье за свои грехи.
Вот обнимаю в тамбуре девчонку,
Волнуюсь и читаю ей стихи.

Себя я ощущаю кавалером
И за дорогу столько ей навру,
Что сгоряча и сам я вдруг поверю
В свою замысловатую игру.

Душе моей в вагоне места мало,
И сердце бьется пламенно в груди,
А в чемодане вкусно пахнет сало,
И вся дорога жизни впереди.

Разбудит кто-то: «Друг, ты не проехал?»
Кто это будит? — Как тут не понять?!
Ведь нам невзгоды жизни — не помеха —
Нас будит время — не дает проспать!

На родном крыльце

Не верится — я снова дома —
Крутой песчаный берег наш,
Такой зовущий и знакомый,
В ячейках-гнездах, как мираж.

Я был взволнован и уверен,
Что встреча здесь меня ждала,
Но пуст и тих тот желтый берег —
Ни клюва там и ни крыла.

Мы ноги в речке сполоснули,
Слегка махнули по одной
И песню хором затянули
Про берега земли родной.

В седых кудрях смеялся ветер
И гладил тех, кто полысел.
Набалагурившись, под вечер
Мы разошлись по хатам все.

На сердце праздная истома,
И нету неотложных дел.
Я на крыльце родного дома
Совсем потерянный сидел.

Челнок по небу сонно плавал,
Звенела тишина в ушах.
Как быть? Смеяться или плакать?
Не знала мудрая душа.

Не плачь, души моей изнанка,
Что оборвался твой полет,
Что даже птица-бережанка
Свой берег здесь не бережет.

Баллада о крещеном снегире

Возникла тень в окошке среди дня
И смотрит на меня суровым оком.
Ксендз Тарасевич, что крестил меня,
Почудился мне в образе далеком.

И вспомнил, как в мороз гудит камин,
Идет война, страна готова к бою.
Дорога, что сужается, как клин,
Судьбы две нити тянет за собою.

Когда порвется тонкая одна,
Дай Бог мне за вторую ухватиться...
Всего через три месяца весна —
Ну, надо ж было мне зимой родиться.

Несутся сани — их не удержать,
Полозья вмиг сугробы разрезают,
Как два стальных отточенных ножа
Слезу, а может, искру высекают.

Мороз крепчает, путь еще далек,
И бубенцы звенят на всю округу,
А я качусь, как будто снегирек,
Заботливо укутанный во вьюгу.

Такая вот суровая пора,
Такой мороз, что даже снег дымится.
В такую пору — время умирать,
А мне вот время выпало — родиться.

Топите печку, не жалейте дров,
Идите в гости с миром к нам и с Богом.
Пусть будет снегирек наш жив-здоров —
Война пусть остается за порогом.

Перевод с белорусского Михаила КУЛЕША.



ВЕРА ЗЕЛЕНКО

Благопристойная жизнь

Роман

Идея собрать всех своих детей под одной крышей зародилась в голове у Ильина лет пять назад, в момент скромного празднования очередного юбилея. В тот день он почувствовал себя особенно молодым, успешным и даже в какой-то мере счастливым, он хотел разделить радость бытия со своими детьми, чье рождение он всячески приветствовал, к матерям которых когда-то был по-своему сильно привязан. Соблазн более чем зрелого возраста — потакать собственным изощренным прихотям.

Но сегодня, отдавая последние распоряжения на своей греческой вилле за несколько часов до начала грандиозного события, в день шестидесятилетия, очень элегантной даты в жизни состоявшегося ученого и просто человека, он вдруг невероятно пожалел о задуманном. Погорячился явно с этим юбилеем. Однако менять что-либо было уже поздно.

Во-первых, для него явилось полной неожиданностью желание Кати, матери двух его близнецов Павлуши и Верочки, сопровождать их в этой поездке во что бы то ни стало.

— Пойми, Катя, я собираю только детей, а не жен и любовниц! — раздраженно бросил он в трубку.

— В мои планы не входит ломать тебе праздник, дорогой Георгий. Просто я их еще ни разу не оставляла надолго без присмотра, тем более не отсылала одних за границу. Ты не должен беспокоиться — я зарезервировала себе номер в ближайшем отеле, — и она повесила трубку.

Вот так бывало всегда. С этой женщиной ему было особенно трудно. Он оставил Катю на пике ее влюбленности, с гулкой пустотой в душе, он видел ее слезы, ее мольбы. Нельзя сказать, что Катины страдания не ранили его, но поделать с собой ничего не мог.

Во-вторых, причиной его обеспокоенности явилась вполне здравая мысль, почему-то не пришедшая в голову раньше, что дети его выросли, по всей видимости, поумнели — а иначе они не были бы его детьми — и теперь вправе его судить, хочет он того или нет.

А самое главное — почему-то стало мерещиться, что данная встреча каким-то необъяснимым образом может угрожать безопасности Андрюши, да и Марины тоже. Мысль об этом мелькнула накануне ночью, когда он опять страдал от бессонницы. Он не поленился встать, налил стакан виски, залпом опрокинул его. Но и это не помогло. Марина, заснувшая на последних титрах фильма, дышала так тихо, так покойно, что ему, как всегда, захотелось прикоснуться к ее груди, чтобы почувствовать биение ее сердца. Она лежала рядом, смертно любимая им, свежая, безмятежная, полная доверия к нему и миру. Стало не по себе.

И вот теперь он собирался выставить их, самых любимых и дорогих, перед своими взрослыми и не очень взрослыми детьми, и они будут стоять

беззащитные и ранимые, как никто другой в этом мире, потому что любить больше, чем любит их он, невозможно. Он ни с кем не хотел пожизненного родства, только с женой и маленьким сыном. Он давно понял простую истину: тех, кого любим мы больше жизни, наша любовь делает уязвимыми. А люди между тем громоздят вокруг себя ад. Чужое счастье сводит их с ума.

Смогут ли другие дети понять его непростые чувства, смогут ли удержаться от ревности и, не дай бог, ненависти к самому младшему, самому обласканному и любимому, не ранить его неосторожным словом или жестом? У Марины, он полагал, наличествует хоть какой-то иммунитет.

Георгий неспешно прогуливался вдоль низкой каменной кладки, ограждающей территорию виллы от скалистого обрыва, хозяйским взором прошелся по мощеному дворику, утопающему в кустах цветущей глицинии, — ниспадающий водопад ее нежных соцветий всегда волновал его чрезвычайно, — бросил взгляд вдаль. Эгейское море в томной утренней дымке беззвучно катило свои волны к подножию скалы, верхушку которой венчала двухэтажная каменная вилла Ильина Георгия Сергеевича, или... дорогого Жоржа, как называли его многочисленные друзья и приятели. Друзья, безусловно, дорожили добрыми отношениями с Георгием, приятели не скрывали, что были бы счастливы перейти в категорию друзей, что, конечно же, льстило его самолюбию, однако не ускоряло процесс сближения... Ильин бесконечно гордился своей греческой виллой, самым последним и самым грандиозным своим достижением, разумеется, достижением из сферы материального. Именно здесь его жизнь обрела покой, ощущение полноты бытия и желание жить и творить дальше. А это значило много больше, чем красивое решение банального квартирного вопроса.

Все будет хорошо. В конце концов, он любил когда-то матерей своих детей, он мечтал о рождении малышей, он видел их будущее успешным, счастливым, свершившимся. Для этого он работал как проклятый — в той забытой богом стране, где работать можно было только на страну, а не на себя и своих детей. Он кропал диссертацию за диссертацией — дарил призрачное академическое счастье всем жаждущим элегантной научной карьеры. Платили ему деньгами, услугами, дружбой, а потом и... ненавистью. Еще бы! Он оставался живым свидетелем человеческой посредственности, и это в лучшем случае, в худшем же лицезрел законченную бездарность и, как правило, сопутствующую ей подлость. Но он не задерживался мыслями на человеческой неблагодарности. Он продолжал писать статьи в различные популярные журналы, спорил на острые научные темы в теледебатах, писал сценарии, не испытывая при этом страха самозванства, участвовал во всевозможных конференциях и форумах, — словом, жил напряженно и глубоко. Отточенное математическими дисциплинами, а главное, математической логикой, его абстрактное мышление становилось все более изощренным, шаг за шагом он поднимался на самую высокую ступеньку пьедестала, чтобы обрести, наконец, неограниченную свободу и возможность жить и творить так, как велят душа и разум.

Первой прибыла Валерия — плод незаконной его любви. Он обрел это дитя относительно недавно и еще не вполне совладал с мыслью, что у него на одного ребенка больше, чем долгое время он полагал. Девочка выросла независимой. Но без того глянца, который не уставала наводить на своих близнецов Катя. Иными слова, Георгий не чувствовал в ней той утонченности, которая присутствовала в Ариадне, в ее матери и которая была свойственна в той или иной степени всем его женщинам. Впрочем, других он не любил.

Когда такси остановилось у дома, он еще гадал, кто первым прикатил поздравить отца, но вот он увидел Анну, и все вопросы отпали сами собой. Вот так сюрприз! Еще одна головная боль! Анна пыталась спрятаться за тон-

кой фигурой выпрыгнувшей из машины дочери, во всем ее облике сквозили застенчивость и нежелание оказаться вдруг в центре внимания. Когда-то она была иной: излучала свет, и мягкую женственность, и уверенность в себе. Разлитой во всем ее существе негой она затопила его без остатка, так что он потерял способность сопротивляться и даже работать. Сейчас она стояла рядом с Валерией, такая же тонкая, как и дочь, со следами былой красоты, но в глазах уже была усталость.

— Папа! — бросилась на шею Лера — Ильину показалось — не без внутреннего сопротивления.

Господи, он никак не привыкнет к этому «папа», произносимому его детьми на все лады! Зябкое это все-таки чувство — заново обретать своих детей и снова и снова знакомиться с подросшими отпрысками.

— Гоша, прости меня, ради бога! — тихим задыхающимся голосом проговорила Анна. Промельк жестов, вспыхнувшая улыбка. Ильину показалось, он услышал легкую вибрацию почти забытой интонации. — Я без звонка, без предупреждения. Просто я никогда не была в Греции. Я вообще никогда и нигде не была. И я очень хотела увидеть тебя снова. Я не стану вам мешать. Я просто поброжу по берегу Эгейского моря, искупаюсь в его теплых водах.

Острая жалость полоснула сердце Ильина. Он и не подозревал, что еще способен на подобные чувства. Переждав волнение Анны и несколько преувеличенные восторги дочери, он деликатно прожевал губами:

— Э-э-э... Аня, в эту пору греки не купаются. Море холодное, да и солнце еще не слишком жаркое.

— Я закаленная, — голос ее дрожал.

— Я распоряжусь приготовить тебе комнату.

— Что ж, спасибо! — Анна старалась унять волнение. — А можно, мы с Леркой сначала спустимся к морю?

И они, обнявшись, как лучшие подруги, забыв о чемоданах, которые бросили тут же, посреди двора, словно уверенные в том, что теперь есть кому о надоевших чемоданах позаботиться, устремились к белой тропинке, круто убегающей вниз.

— День сюрпризов только начинается! — озадаченно, с долей раздражения в голосе бросил садовнику Ильин. Грек с усердием поправлял разросшиеся, дивные кусты струящейся, подобно волосам Мальвины, глицинии, или вистерии, как называют глицинию греки. — Ладно, поручу развлекать ее Гаврилычу. Однако что-то не торопится ко мне старый греховодник!

Плохо понимавший русский язык садовник только пожал плечами в ответ.

— Папа, папочка! — Андрюша бросился к отцу на шею, стал мягко пощипывать лицо наклонившегося к нему Георгия, собирая своими нежными пальчиками складчатую, морщинистую кожу вокруг глаз в веер, а потом разглаживая ее.

У них была такая игра. «Вот ты старый, — говорил ему сын, складывая пальчиками кожу, — а вот теперь ты молодой!» И разглаживал складки такими же нежными прикосновениями своих по-детски чувствительных пальчиков. Георгий Сергеевич в этот момент испытывал ни с чем не сравнимое чувство восторга, словно насыщался-напитывался животворящим эликсиром молодости.

Марина счастливо смеялась за спиной у сына. Она была необыкновенно хороша в это утро, впрочем, как и всегда. Ее душа излучала столько любви, всепрощения, тепла, он растворялся в этой женщине всецело, он испытывал блаженство, выше которого ничего нет.

— Уже кто-то приехал? — тихо спросила она, поеживаясь от утренней прохлады.

— Да, Валерия! Со своей матерью!

— С матерью? — голос Марины чуть дрогнул.

— Я Анну не приглашал. Так вышло.

— И где они? — поинтересовалась Марина, окончательно придя в себя.

— Первым делом решили спуститься к морю.

Марина приблизилась к Георгию вплотную, прильнула горячими влажными губами к его губам. Его на секунду бросило в жар. Он приготовился что-то сказать, она остановила его, приложив палец к его губам.

— Тебе вредно волноваться. Все хорошо. В конце концов, у тебя юбилей, и приглашено много гостей. Одной гостьей будет больше, только и всего! — И она направилась в дом, напевая мелодию из фильма, который они посмотрели вместе на ночь. Музыкальный слух у нее был отменный. Легкое, свободное платье едва касалось ее ног.

Следующим приехал Жоржик-младший. Это была точная копия Георгия, его абсолютный клон с полным набором его хромосом, так что донжуанство Ильина стало и для сына в каком-то смысле визитной карточкой. По возрасту Жоржик занимал то замечательное место между отцом и Андрюшей, когда и отцу он друг, и младшему брату товарищ. Если все этого возжелают, конечно.

Сын влюблялся во всех смазливых девиц, не пропускал ни одной, так что Аманда проплакала все глаза, — что было не совсем в испанской традиции, — уговаривая любимое чадо остепениться и подарить ей внука, хотя бы одного для начала. В этом было что-то очень русское, словно, пережив однажды сильнейшую страсть к человеку славянской культуры, она навсегда лишилась испанского темперамента. Жоржик-младший мать не слушал, а с отца глаз не сводил, насколько позволяли, стало быть, огромные расстояния, копировал его даже в мелочах. Может быть, конечно, это гены работали, а вовсе не подражательный пыл. И даже упражняться в написании прозы Жоржик начал благодаря отцу.

С Амандой Ильин познакомился буквально в первую свою заграничную поездку, на молодежном форуме в Мадриде. Вырваться из страны Советов, не будучи человеком преклонного возраста, к тому же номенклатурным чиновником, было огромной удачей. А удачи, как известно, не приходят сами собой, над ними приходится долго и упорно трудиться. У Ильина уже было кое-какое международное имя, смелые статьи в научных журналах, где он выдвигал, на первый взгляд, совершенно абсурдные гипотезы сотворения мира. Им был написан фантастический роман и даже поставлен по нему спектакль в одном из скандальных столичных театров. К слову, идеологические акценты в спектакле были расставлены верно, что явилось скорее заслугой режиссера, однако приписано было ему как автору, следовательно, в глазах власть предержащих он выглядел вполне благонадежным. В общем, перед ним загорелся зеленый свет.

И хотя потом он бесконечно оправдывался перед всеми, что влюбился в Аманду с первого взгляда, — а она действительно была хороша: легкая, чувственная, раскрепощенная, — никто ему так до конца и не поверил, слишком уж сильны в стране были диссидентские настроения.

Аманда подарила ему мир, свободу передвижения, а потом еще и Жоржика-младшего, за ростом и развитием которого он наблюдал с любопытством постороннего. И хотя в Жоржике он различал свои, чаще всего не самые лучшие черты, неким внутренним посылом сын разительно отличался от отца.

...На горизонте показалась яхта со знакомыми очертаниями. Неужели Славка, каналья, все-таки соизволит причалить к его афонским берегам, разделит с ним радость или печаль, — все зависит от точки зрения, которая имеет, собственно говоря, право меняться в зависимости от обстоятельств жизни, — разделит радость или печаль круглой, будь она неладна, даты?

— Отец, — прервал его размышления Жоржик-младший, говорил он с очень сильным акцентом, да это и немудрено: отца, единственного русского в своем окружении, он видел крайне редко, — я тут начал писать сценарий. Хотел бы получить от тебя пару дельных советов или даже, возможно, секретов, как сколотить прочную основу будущему фильму.

Ильин с тоской посмотрел на сына. Парню тридцать лет, а он еще только нащупывает свой путь. Ему бы в кино сниматься с такой фигурой, лицом небанальным — чувствуется его, ильинская порода, а уж взгляд вообще с ума свести может. А он туда же... писака!

— Ты хочешь знать, как мимоходом наваять шедевр? Послушай, Жорж, я тебе уже как-то говорил: не ищи трудных дорог в жизни. С такими губами тебе женщин целовать, а ты... писать, для писательства совсем иной захват пространства должен быть, иной замес души. Хочешь, поговорю с Кевином? Получишь маленькую роль, тебя заметят, потом чуть больше слов произнести доверят и так далее. А писать сценарии — это не для тебя, сценарии пусть пишут неудачники, которым на экране и светиться-то нельзя, настолько уродливы их лица.

Он поддразнивал сына, разговаривал с ним, словно с мальчишкой, и все ждал, что тот взорвется в ответ, — словом, провоцировал его на проявление каких-то сильных мужских эмоций. Но Жоржик то ли не был способен на сильные эмоции в принципе, то ли не хотел обидеть своего знаменитого отца, которого видел не слишком часто и потому дорожил всякой минутой общения с ним.

— Ладно, слушай, — Георгий обнял своего взрослого сына, — конфликт, лежащий в основе любого творения, может быть нереальным и даже алогичным, но он должен быть с мощным внутренним посылом, очищающей компонентой и торжеством разума, я бы даже сказал... — он обернулся на шум подъезжающего автомобиля, увидел Ариадну на переднем сидении и понял, что больше ни слова не скажет на тему писательства, по крайне мере, сегодня.

Он уже обнимал Ариадну, свою первую и самую взрослую дочь, которая вполне годилась в старшие сестры его теперешней жене. В этот момент на ступеньках роскошного ильинского дома снова появилась Марина, охватила всех присутствующих быстрым, проницательным взглядом, на секунду задержалась глазами на Жоржике-младшем, как-то внутренне просветлела, улыбнулась приветливо Ариадне и ее девятилетней Дарье, не спеша спустилась вниз, легкой походкой преодолела пространство между домом и Георгием, окруженным детьми, всех по очереди обняла, всех перецеловала. Затем припала к груди Георгия Сергеевича, нежно поцеловала и его, тем самым словно дала всем понять: смотрите, мол, к какой замечательной семье вы имеете счастье принадлежать. Однако Ариадна истолковала, как всегда, все по-своему: это Марине выпала удача влиться в их большую и очень известную семью.

Виновник намечающегося торжества внезапно почувствовал такой внутренний подъем, такое воодушевление, словно вот только сейчас понял, какой же он все-таки баловень судьбы, какой счастливый человек. Жизнь состоялась: и творчески он взлетел на недосягаемую высоту, и женщинами был нежно обласкан, и дети выросли замечательные. Хотя и не всегда он был рядом с ними. Да разве в этом дело?! Он подарил им жизнь! Что еще можно к этому добавить?! Все талантливы, красивы, все слетелись по первому зову. А уж в Андрюше он вообще души не чает. Это дитя по жизни идет рядом с ангелом. Марина же самая сильная, самая последняя и потому несокрушимая его привязанность.

— Ариадна, идем, я провожу вас в дом! — Георгий ласково приобнял дочь. — Ваша комната на втором этаже, все готово к вашему приезду со вчерашнего дня. Примите душ, и я вас буду ждать к завтраку.

Дарья плелась сзади, норовя оглянуться, споткнулась, чуть не упала, но все-таки удержалась на ногах.

— Вот неуклюжее дитя! — в сердцах воскликнула Ариадна.

«А все-таки она очень нервная, — подумал о дочери Ильин. — И на лице вечная маска. Небось, снова сделала очередную пластику. Верхняя, особенно пухлая, губа неестественно задралась, глаза стали круглыми, выражение лица застылое». Георгий Сергеевич иногда смотрел ее передачи, если вдруг выдавался свободный вечер, что, конечно же, случалось нечасто. Разве что Марина вдруг убегала в филармонию, на заезжую знаменитость, предварительно пристроив Андрюшу к своей матери, и тогда Георгий начинал слоняться по огромной московской квартире — без Марины он и работать не мог.

Поначалу все интервью Ариадны, тонко задуманные и весьма профессионально сделанные, очень нравились Ильину, в них был изыск и обаяние. Но позже она стала работать штампами, приемы стали казаться заезженными, вопросы звучали двусмысленные. В конце концов она скатилась до манеры желтой прессы, задавала в лоб нелицеприятные вопросы, долго мусолила щекотливые темы, и этому уже не могло быть оправдания. Легкость ушла, а вместе с ней и шарм. Она стала много курить, возможно, научилась коротать вечер за бокалом вина, голос ее огрубел, талант обольщения был утрачен. Поток влюбленных мужчин, по слухам, стал иссякать. Вот, слава богу, Дарьей обзавелась.

Когда они пересекали огромную гостиную на первом этаже, обставленную в греческом стиле, справа и слева на них смотрели со своих мраморных постаментов античные фигурки греческих богинь. Даша от восхищения даже подпрыгнула на широких закругленных ступенях лестницы, ведущей на второй этаж, так что едва не задела великолепную напольную вазу, и Ариадна со злостью шлепнула ее сзади, прошипев: «Да угомонись ты наконец!»

И хотя в душе у Ильина появилось некоторое напряжении — неужели это угловатое дитя все перебьет в его роскошном доме, — он и виду не подал, что что-то беспокоит его.

В великолепно и со вкусом обставленной комнате, которую он еще вчера распорядился подготовить для Ариадны, он тотчас устремился к широкому, во всю стену, окну, распахнул его одним движением — комната мгновенно наполнилась запахом моря, цветов, свежести.

— Однако Гаврилыч уже рядом, — с довольным видом произнес он. — Узнаю его посудину.

— Неужели дядя Слава порадует нас своим присутствием?! — с ликованием в голосе воскликнула Ариадна. — Господи, сколько лет я не видела его? Как же я рада! Дарья, погляди, вон на той яхте плывет самый добрый в мире человек. Папа, помнишь, как ты сбывал ему меня на вечер, когда ехал к очередной своей подруге?

— Ну будет, будет вспоминать такое, чего никогда и не было, — и он скосил взгляд сначала на Дарью, потом на дверь. Не ровен час, Марина покажется.

— И мы с ним отправлялись в цирк, на каток или к его подруге. Вот почему-то дядя Слава не стеснялся водить меня к своим подругам. Папа, можно только одну просьбу?

«Начинается», — с тоской подумал Ильин.

— Сколько? — невозмутимо произнес он.

— Совсем немного. Тысяч десять. Я все верну. Ты же видел мои последние интервью? С примадонной Мариинки?

— Ариадна, я никогда тебе не говорил, но сейчас скажу. По-дружески. Позволю дать тебе совет. Как бы ты ни желала обнажить человека перед зри-

телями, сама примера не подавай — душевным эксгибиционизмом не занимайся. Ищи другие приемы. Иначе наступит момент, и ты ощутишь крах.

— И это говоришь мне ты, самый открытый и самый искренний?

— Я приоткрываю лишь то, что готов и хочу приоткрыть.

— Я подумаю об этом как-нибудь на досуге, — и она замолчала чуть обиженно.

— О деньгах не беспокойся. Жду вас с Дарьей внизу.

...Ильин отпил глоток свежевыжатого апельсинового сока, принесенного Мариной из кухни, поставил стакан на поднос. Впервые он не почувствовал его вкуса, более того, сок показался горьким, словно постоял в тепле какое-то время. Он мог бы поклясться, что Марина выжала его пять минут назад, но это ничего не меняло — сок был не таким, как всегда.

Наверно, нервничаю все же, — подумал он и тяжело поднялся. Пора было идти на пристань.

— Кто со мной? — бросил он клич.

Вся семья высыпала на берег встречать дорогого дядю Славу.

Марина, Ариадна облепили его с двух сторон, едва старый морской волк ступил на берег. Как летит время, однако! Этот облезлый старый черт, который и моря-то до сорока лет не знал, успел превратиться в настоящего морского волка. Дарья все норовила повиснуть у Гаврилыча на руке, а Андрюша колобком катался у всех под ногами.

Георгий с улыбкой наблюдал эту счастливую картинку. Он и сам в это мгновение любил весь мир безмерно, любил своего старого приятеля и всю свою огромную семью. Он приобнял Жоржика, сиротливо стоявшего рядом, прошептал на ухо:

— Не унывай, парень! С таким отцом, как у тебя, с такими друзьями-приятелями, как у отца, пропасть тебе в этом мире никто не позволит.

Все были в сборе, кроме Валерии и Анны. Георгий забеспокоился, куда пропали милые дамы, и это беспокойство перебило вдруг остро возникшее чувство неуютности при мысли о том, как же он будет лавировать между многочисленными своими женщинами и детьми. А ведь еще не прилетела Катя со своими близнецами.

Ладно, пора сделать последние распоряжения по поводу торжественного ужина. Работа на кухне кипит, официанты накрывают столы в гостиной. Георгий самолично составил меню, он выбрал самые изысканные блюда, которые пробовал когда-либо в Греции. Вот только нарастающее чувство тошноты не позволяло всецело отдаться радостному предвкушению праздника. С чего бы такое мутное, ни на что не похожее ощущение дискомфорта?! При его отменном здоровье, при его замечательном оптимизме и выверенном образе жизни?

В четыре прямо из аэропорта Салоников со своей неизменной киношной свитой прибыл Кевин Кларк. Еще через час прикатил Майкл Адамс с умопомрачительной мулаткой. Следом приехал Яннис Метаксас, архитектор из Салоников, впрочем, он, скорее всего, прикатил из «Алескандрос Палас» — отеля на противоположном берегу, который располагался у самого основания Афона, третьего пальчика полуострова Халкидики. Музыканты появились дружно — слава богу, ждать их не пришлось.

За час до начала торжества из подъехавшего такси вынырнули Павлуша, Верочка и заметно похудевшая Катя. Он перецеловал их всех по очереди, но заняться ими вплотную теперь не было никакой возможности, он перепоручил их Жоржику, сам же повел Кевина и Майкла обозревать свой великолепный дом, предмет особой гордости. Славка, слава богу, все понимал, внимания не требовал, собственно, он в нем и не нуждался.

...Марина решительно взяла Андрюшу за руку, отвела в детскую, усадила рядом на широкий диван, чмокнула в макушку, предложила книжку на выбор. Она любила эти часы и минуты наедине с ребенком, любила возиться с ним, отвечать на каверзные вопросы. Ее радовал живой мальчишеский ум, блеск в глазах, интерес ко всяким мелочам, которые, собственно, и должны занимать мальчишку. Но сейчас у нее не было и пяти минут, чтобы посидеть рядом с сыном, всецело отдаться счастливому общению с самым любимым человечком на свете.

Как только Андрюша потянулся за книгой сказок, Марина быстрым, ловким движением руки позвонила Тане, Андрюшиной юной няне и гувернантке в одном лице, продолжая обнимать сына. Мальчик на минуту замешкался, потянулся рукой к лицу матери, но Марина что-то шепнула ему на ухо, и он просиял навстречу появившейся в дверях Танечке. Он был по-своему привязан к своей белокурой воспитательнице, иногда, правда, обижался на нее, даже злился, если она настаивала на занятиях математикой, но как правило, бывал рядом с нею в веселом расположении духа — она не давала ему возможности чувствовать свое одиночество, свою отделенность от вечно занятых собою родителей.

Марина выскользнула из детской, направилась в спальню, по пути на минутку остановилась на террасе, чтобы бросить еще один взгляд на море, еще раз почувствовать легкий укол счастья, в котором они с Георгием просто-таки купались все последние дни и месяцы их совместной жизни. Сегодня она, несмотря ни на что, пребывала в особенно хорошем настроении. Может быть, все дело было в том, что и дорогой Георгий Сергеевич, ее замечательный, умнейший, самый тонкий и самый блистательный Георгий Сергеевич, испытывал сегодня невероятный душевный подъем. Марину даже не огорчило нашествие его многочисленных жен и детей, которым он вынужден будет уделять внимание — ровно столько, чтобы не прослыть зачерствевшим отцом. Пожалуй, ей было даже забавно наблюдать за всеми, за тем, как будут они выпутываться из столь затруднительного положения.

Присутствие Жоржика-младшего, как две капли воды похожего — судя по фотографиям — на Георгия в молодости, и вовсе вселяло надежду на прекрасный вечер. Ей было любопытно представить Георгия молодым, еще не избалованным славой, деньгами, женщинами, немного рассеянным от того небывалого количества проблем, научных, творческих, житейских, которые он всегда, она полагала, вынужден был решать одновременно и, возможно, именно по причине вечного цейтнота решал лучшим для мира способом. В общем, Марина уже успела каким-то неизъяснимым образом привязаться к Жоржику и начать мысленно опекать его. Она чувствовала его неуверенность, силу его притяжения к отцу, его потребность в сильном и родном человеке, его жажду хоть в какой-то мере повторить жизненный успех Георгия.

Марина открыла дверь своей спальни, но тут услышала возню в другом конце коридора, увидела Катиных близнецов, улыбнулась, сделала шаг в их сторону, но передумала и нырнула в прохладу своей замечательной комнаты.

Она распахнула дверцы совсем не маленького своего гардероба, прошлась рукой по его внушительному содержимому. Многочисленные вешалки-плечики, на которых ждали своего часа изысканные наряды, словно зубья расчески, упруго скользили под пальцами чуть вытянутой руки. Марина не хотела никого удивлять ни дорогим нарядом, ни великолепными украшениями, которые Георгий ей дарил с неизменной щедростью к знаковым датам их совместной жизни, но она точно знала, что платье должно подчеркнуть ее стройную фигуру, высокую грудь, по-девичьи тонкую талию и красивые ноги. Словом, все! Она искренне посмеялась над собой, над своей уверенностью в собственной неотразимости. А еще все должны увидеть, какая изумительная

у нее кожа. Пожалуй, она остановится на сером шелковом платье на бретелях, с высоким боковым разрезом. Скоро придет парикмахер, а пока можно принять душ и выпить чашку фраппе — холодного кофе по-гречески.

Марина села за белый сияющий рояль — одно из последних приобретений Георгия, — откинула тяжелую крышку. Господи, как давно она не играла! А ведь когда-то она не могла прожить без музыки и дня. Она пробежалась рукой по клавишам, едва касаясь их прохладной матовой поверхности, в надежде притянуть то сладостное ощущение, что охватывало ее прежде всякий раз при встрече с настоящей музыкой. Она попыталась вспомнить хоть что-то из обожаемого ею Баха, но увы... Ничего... Проклятое ремесло. Если ты не отдашь ему всю себя без остатка, оно будет мстить тебе жестоко.

Молодая женщина взяла в руки семейный портрет, что стоял тут же, над пюпитром. Андрюше здесь годика три, не больше. Очаровательный малыш. Сердце Марины наполнилось гордостью. Какого ангелочка она явила на свет божий! Голубые глаза, светлые волосы, обаятельная улыбка. От него исходит сияние. А вот здесь они вчетвером — их удостоил визитом Жоржик-младший. Славный малый, рожден для побед.

...Катя страшно нервничала. Еще в Москве ей стало ясно, что не следовало сопровождать детей на юбилей к Ильину, но билеты были куплены, визы оформлены, осталось плыть по течению. Георгий пригласил только Павлика и Верочку, но ведь она не могла бросить их одних. Они глупые, смешные десятилетние сорванцы. Они единственное, что примиряет ее с действительностью. Она их любит просто безумно.

На месте Марины должна была быть она, Катя. Ведь больше, чем Катя, любить этого ужасного человека просто невозможно. И вот теперь она здесь. И надо пережить этот день, этот вечер, не потерять свое лицо, не выглядеть униженной и жалкой. Сейчас она возьмет себя в руки, примет душ, выберет одно из трех платьев, сшитых специально для этого случая. В конце концов, вкус у нее отменный, это все отмечают, кому посчастливилось иметь с нею дело. В конце концов, она дизайнер, пусть по интерьерам, — в московских кругах с нею считаются, а значит, в науке, как себя преподать, ей нет равных.

Верочка с Павликом затеяли потасовку. Они все время демонстрировали друг другу свою независимость и в то же время долго обходиться друг без друга не могли.

— Вот я расскажу папе, что ты меня все время обижаешь, — тоненьким голосом выводила Верочка. — Ты ведешь себя как грубиян.

— А ты ябеда и вредина! — возражал Павлик. — Я тоже папе расскажу, как тяжело мне жить в вашем бабьем царстве.

Сердце у Кати болезненно сжалось. Дети считают, что дороги отцу. Раз он позвал их в гости. Он думает, верно, о них день и ночь.

Ей хватило одного мимолетного взгляда, чтобы понять, что сердце Ильина вовсе не такое безмерное, чтобы вместить в себя любовь сразу ко всем своим детям. Там царит один лишь Андрюша. И лишь одной женщине место в этом сердце. Это видно было невооруженным глазом.

Катя никогда не простит себе этой поездки. Если бы она приехала одна, она бы выскользнула из этого враждебного дома, так что ни одна живая душа не догадалась бы о ее исчезновении. Но с детьми она так поступить не могла. Дети были на верху блаженства, особенно Верочка. В широкое окно своей комнаты они видели отца, дававшего последние распоряжения перед началом праздника.

...Анна едва поспевала за скачущей по ступенькам Валерией. Длинноногая и угловатая, она ухитрялась пропустить ступеньку, а то и две, демонстрируя неожиданную при ее угловатости ловкость и даже некоторую грацию.

Сама Анна, почти ровесница Ариадны, старшей дочери Ильина, закончила когда-то минское хореографическое училище и все еще имела право гордиться своей фигурой, утонченностью манер, отточенностью плавных движений. Когда-то она танцевала в кордебалете самой известной московской дивы, где ее, собственно, и заприметил свободный в ту пору Ильин.

Впрочем, он никогда не считал себя обремененным какими-либо обязательствами перед своими женщинами. Это теперь он стал образцовым семьянином, преданным мужем и сумасшедшим отцом. А в пору знакомства с Анной он был всецело поглощен ее неброской, но вполне очевидной красотой. Таких дивных ног, такой матовой кожи не было ни у одной из его подруг. Он сходил с ума по этой женщине, он караулил ее после концертов, так что даже сама дива, хорошо знакомая с Ильиным, слегка подтрунивала над ним, что это, мол, он, бедолага, не ее, неповторимую звезду, выбрал для счастья, а всего лишь тонконогую и бедную красотку из подтанцовки. Дурной вкус у тебя, парниша, невоспитанный. Приходи, мол, ко мне в студию, позанимаемся, смотришь, и вкус твой выправится.

А Ильин засыпал счастливую Аннушку корзинами цветов, завлекал ее в номера-люкс самых шикарных московских гостиниц, сулил ей прекрасное будущее. Господи, какой глупой, какой наивной она была! Верила всем его посулам, мечтала стать актрисой и при этом родить ему кучу детей. В общем, мечтала о вещах несовместимых. Так все и вышло. То есть, ничего не получилось. Он исчез в одночасье, не обозначив ни причины, ни даты отъезда. О дочери узнал много лет спустя. Он и Аннушку, прежнюю, волновавшую его до истомы, едва разглядел в той простоволосой, скромной женщине, какой она перед ним вдруг предстала. Вот только глаза ее были те же.

Лерка соскочила с последней, самой высокой ступени на землю.

— Мама, смотри, море! Настоящее море! — голос ее ликовал.

Она сбросила на бегу сандалии, ноги сразу же стали увязать во влажном песке, а еще через минуту волны, разбивавшиеся на множество мелких барашков, обжигали прохладой ее ноги.

— Ой, холодно! Мама, я не буду сегодня купаться.

Анна с наслаждением прошлась босиком вдоль кромки моря, вода приятно бодрила, пробуждала счастливые воспоминания.

— А я, пожалуй, окунусь. Думаю, градусов пятнадцать все-таки будет.

— Мам, может, не стоит?! Еще заболеешь! Как я тебя из самолета в Минске домой потащу?

— Лерка, ты же знаешь, я закаленная. Вот только жаль, купальник не захватила!

И Анна быстрым и ловким движением стянула с себя джинсы, короткую, приталенную, отделанную мелким жемчугом блузку, осталась в узких кружевных трусиках и таком же изящном лифчике.

— Мама, какая же ты у меня красавица! — ахнула дочь.

— Не преувеличивай! Мама как мама.

— Неправда! Я только здесь, на берегу моря, увидела — у тебя тело богини. Жаль, ГээС не видит тебя сейчас.

— Не ГээС, а папа. Твой папа!

— Не обижайся, ради бога, только я не могу воспринимать ГээС как отца. Я все понимаю. Ты любила его когда-то, ты любишь его и теперь. У тебя родилась я. Но у него есть Андрюша и Марина. И он для них отец и муж.

— Слушай, Лерка, не слишком ли ты умная для своих тринадцати лет?! Вот отведу тебя в школу, где детей учат быть глупыми, — и Анна обняла рукой дочь, чмокнула в макушку, поднявшись для этого на цыпочки.

— Не смеши! Нет таких школ, — и Валерия подтолкнула свою так и не повзрослевшую за долгую жизнь мать в сторону набегающей волны.

Вода тысячью ледяных иголок вонзилось в бледное тело Анны, лишь только она решилась нырнуть. Пожалуй, было бы неплохо проплыть хотя бы метров сто. Женщина уверенными движениями рванула к буйку и... даже не сразу поняла, откуда появился этот далеко не юный человек в абсолютно безлюдном пространстве.

— Браво! — глухо воскликнул он между коротким вдохом и долгим выдохом. — Я восхищен. Разрешите представиться: Яннис! — сильный акцент выдавал потомка Древней Эллады.

— Анна, — прерывисто дыша, произнесла женщина, все еще соображая, откуда и зачем черт принес этого немолодого человека. На всякий случай она обернулась к берегу, сидит ли там, на одиноком лежаке, ее Лерка, все-таки свидетель, если что.

Валерия как ни в чем не бывало чертила что-то прутиком на мокром прибрежном песке.

— И откуда появилась в наших краях столь прекрасная, сколь и удивительная любительница экстремальных заплывов? — витиевато — учитывая место знакомства — поинтересовался грек. Надо отдать этому Яннису должное: по-русски он говорил весьма прилично.

— Мы с дочерью прилетели из Минска, — коротко ответила Анна, прикидывая в уме, как быстрее отделаться от незнакомца.

— Минск — замечательный город, мне приходилось в нем бывать.

— У отца моей дочери сегодня юбилей, — как на духу вдруг выпалила Анна. Может быть, упоминание об отце остановит любителя скорых знакомств.

— Что ж, замечательно. А я архитектор. У меня в Фесалониках небольшой архитектурный бизнес.

— В Фесалониках?

— Ну да! Это вы, русские, перекрестили наш славный город, упростили его название до Салоников. Кстати, я проектировал здесь, на Афоне, отель «Александрос Палас». Это в получасе ходьбы отсюда, от Неа Рода. Вы наверняка не знаете, здесь самое узкое место на Афоне, то есть третьем пальчике Халкидики. Вы будете двигаться вглубь полуострова, а через полчаса снова окажетесь у воды. Новичков это, как правило, обескураживает. Приглашаю вас как-нибудь взглянуть на мой отель. В определенном смысле я горд своим творением. Впрочем, этот отель, другой ли, все это мое ремесло, не более, результат зависит исключительно от суммы финансирования. Так что добро пожаловать!

Все это Яннис изложил уже на берегу, кутаясь в огромное махровое полотенце. В то время как Анне пришлось натягивать одежду на мокрое, мгновенно покрывшееся гусиной кожей тело. Она позавидовала его предусмотрительности.

— Спасибо! Мы с дочерью приехали всего на неделю, — Анна кивнула в сторону продолжавшей как ни в чем не бывало что-то чертить на песке Валерии. — Но если вы настаиваете, мы обязательно заглянем.

Вот хорошо все же, что она не одна. Трудно будет истолковать их визит иначе как проявление простого человеческого расположения. Анна обязательно навестит этого слишком общительного грека. Будет что рассказать подругам.

...После пропущенного перед выходом, первого за вечер, стаканчика виски — для расслабления, разумеется, ибо нервишки начали пошаливать, ситуация сложилась нестандартная, хотя, если честно, нестандартной была вся его жизнь, чем он порой невероятно гордился, — Георгий зашел за Мариной, поцеловал ее виновато в обнаженное плечо, с наслаждением вдохнул аромат любимой женщины, подхватил ее, уже готовую к выходу, под руку и повел вниз, к гостям.

Он почувствовал, как она напряжена, как не знает, куда деть свои изумительные руки, какой взгляд сотворить на лице. Так они и вышли: она, растерянная и красивая, со сверкающей гладкой кожей, и он, еще вовсе не старик, скорее даже шикарный мужчина в расцвете своего творческого, всеми признанного таланта, блестящий эрудит, оратор, глубокий ученый и, наконец, изысканный ценитель женской красоты.

Гости были в сборе и встретили юбиляра самыми искренними аплодисментами. Георгий охватил взглядом просторную гостиную, заполненную дорогими ему людьми, выхватил на мгновение Катю и Аннушку, остался весьма доволен: все-таки необыкновенных женщин выпало в жизни ему любить, даже в зрелом возрасте они сохранили несомненную привлекательность и неброскую, неяркую, но такую чувственную красоту, что дай бог всякому встретить в жизни подобных женщин. Рядом с Анной он узнал Янниса, местную архитектурную знаменитость. Неделю назад он пригласил его на юбилей.

Ариадна стояла чуть в стороне, она потянулась за бокалом шампанского, который одиноко высился на подносе у смазливого малого, и было понятно, что уже проскочило нечто между ней и смуглым, в коротких завитках смольных волос официантом. Этого еще не хватало! Ее накачанные гелем губы выглядели более рельефными, чем обычно, но как ни странно, после стакана виски они не казались Георгию столь безобразными, как в момент встречи.

Жоржик был занят детьми, веселой стайкой они облепили старшего брата, прыгали, теребили его беспрестанно, что-то спрашивали и, не дождавшись ответа, спешили сами что-то важное ему сообщить.

— Ну что ж, мои дорогие! — Георгий, наконец, отпустил Марину, которую до сих пор крепко держал под руку. Он протянул обе руки к гостям, словно хотел заключить всех в объятия. — Я бесконечно счастлив приветствовать вас в моем греческом доме. Я вас всех очень люблю и прошу, хотя бы на вечер, забыть о том грустном поводе, ради которого мы все здесь собрались. Вот доживете до моих лет и только тогда, может быть, поймете, какое мужество надо иметь, чтобы так долго жить и иметь смелость при этом и право что-то вещать миру! — кокетливо произнес Георгий, приглашая присутствующих отдать должное его ясному уму, подтянутому телу, завидной работоспособности, восхитительному чувству юмора, а главное — умению и желанию жить и радоваться жизни.

Гости верно истолковали скрытый призыв и с возгласами подлинного восторга потянулись своими наполненными бокалами к бокалу славного юбиляра. По гостиной разлился мелодичный звон тонкого хрусталя.

— Прежде чем пригласить всех к праздничному столу, хочу порадовать вас, дорогие мои, великолепной музыкой, которую исполнит для вас потрясающий квартет. Вот они, перед вами, мои замечательные друзья, дружбой с которыми я невероятно горжусь. И не удивляйтесь такому количеству превосходных эпитетов, мои друзья заслуживают только лестных похвал. Пока они будут рассаживаться перед пюпитрами, прошу и вас, дорогие мои гости, занять места в нашем импровизированном зрительном зале.

Пока гости решали, как и с кем им сесть, Дарья таки разбила древнюю или сработанную под таковую очень красивую вазу. Ариадна вспыхнула внутренне, но виду не подала. Представила на мгновение, как отец со сдержанным гневом упрекает ее в дурном воспитании дочери, и решила держаться стойко во что бы то ни стало. Не даст она никому повода унизить себя. Ильин, конечно, все заметил: и как затряслась от ужаса Дарья, и как напряглась Ариадна, и как по залу пролетел протяжный общий вдох, но как ни странно, он тут же смирился с потерей. В конце концов, он уже в том возрасте и на той

ступени осмысления бытия, когда все материальное меркнет перед взлетами и падениями напряженной жизни человеческой души.

Музыканты играли Грига. Гости, привыкшие и не к таким поворотам сюжета, казалось, все же оробели. Вот только приготовились облобызать юбиляра, вручить подарки, сорвать свою долю комплиментов, ну и, конечно, отдать должное всем женам и детям Георгия, чтобы чуть позже начать потихоньку накачиваться спиртным, были вынуждены мужественно воспринять паузу, отведенную высокому искусству. И все же с первыми прозвучавшими тактами большинство из присутствующих оценили уместность и даже необходимость музыкальной прелюдии. Народ как будто чуть-чуть обмяк, обуздал на минуту безудержный бег своих плотских желаний, спохватился: а может быть, и в самом деле все не так бездушно и не так откровенно в нашей непростой жизни. Взять, к примеру, фильмы того же Кевина, который своим присутствием почтил юбиляра. Все его фильмы по праву вошли в золотой фонд мирового кинематографа. Они были о торжестве человеческого разума. Кевин слушал музыку, закрыв глаза и не шевелясь. Его в высшей степени одухотворенное лицо излучало некий внутренний свет.

У Ариадны, однако, было несколько иное мнение о творчестве Кевина. Вот если бы его фильмы были бы так же интеллектуальны, как и его лицо, — с сарказмом думала она, глядя на Кевина, — пожалуй, можно было бы в него влюбиться. Вот только староват, пожалуй, немного. И она стала искать взглядом куда более простое — в смысле внутренней жизни, — но куда более юное и прекрасное лицо мальчика-грека, поправлявшего что-то на праздничном столе, уголок которого она видела в широкую арку, соединявшую гостиную с террасой.

Тихий храп со свистом, идущий откуда-то сзади, вынудил Ариадну оглянуться и поискать взглядом источник столь неуместного в данный момент звука. Она зацепила взглядом Гаврилыча и чуть не поперхнулась от смеха: дорогой дядя Слава выдавал такого храпака под чудные звуки Грига, что ей не осталось ничего другого, как показать знаком обескураженной Кате, сидевшей рядом с Гаврилычем, чтобы она срочно растолкала старика.

Катя улыбнулась виновато, осторожно потянула Гаврилыча за рукав, прошептала ему на ухо:

— Гаврилыч, проснись! Пропустишь самое главное. И танцевать мне будет не с кем, так как тебя выставят сейчас за дверь.

Гаврилыч не сразу сообразил, где он и зачем находится, но сообразивши, оценил Катину тактичность.

— Катя, девочка моя, я всегда тебя любил и продолжаю любить. Вот просто у нас с тобой жизни не совпали. Когда ты стала свободной, я уже по уши влип в семейный бизнес моей последней испанской стервы.

Катя улыбнулась уголками губ.

— Ладно, Гаврилыч, потом расскажешь. А сейчас я хочу послушать Грига.

Верочка с Павлушей сидели рядом притихшие и даже не тузили друг друга. Они растерялись от обилия чужих людей, они не знали, как реагировать на папину отдельность, на его холодный взгляд, обращенный к ним, и на то, как этот взгляд теплел, лишь только он начинал говорить с Андрюшей.

Андрюша с Мариной сидели рядом с Георгием Сергеевичем за высоким столиком, который располагался в центре гостиной, чуть ниже выступающего полукруга, обозначавшего сцену. На сцене играли музыканты, Георгий Сергеевич торжественно внимал им. Теплый свет откуда-то сверху лился на музыкантов, на столик, за которым сидел Георгий с семьей. Зрительный зал оставался в тени, гости были едва различимы. Свет был призван подчеркнуть основную мысль: в доме царит гармония.

Катя с болью смотрела то на Ильина, то на Марину. На то, как Георгий склонялся над женой и она шептала ему что-то на ухо. Его лицо дышало при этом сдержанной страстью. Он отвечал, и они улыбались друг другу, попеременно поглаживая Андрюшу по светлым льняным волосам.

Эта женщина увела когда-то Георгия из ее, Катиной, жизни, да так ловко увела, что Катя ничего и осмыслить не успела. Ей было сказано: смирись! И вот уже годы прошли, а она смириться так и не смогла. Сначала она рыдала от боли, потом пыталась уговорить себя, что никто в этой сиротской жизни ни на кого не имеет пожизненного права, но это помогало слабо. В конце концов, а где прописано, в каких скрижалях, право приручать, а потом бросать прирученного?! Так она и продолжала жить все последовавшие за предательством годы — между небом и землей, в состоянии невесомости.

И все-таки правды ради надо отметить, Марина была достойной соперницей. С точки зрения совершенства Кате не в чем было ее упрекнуть — Марина была красива сдержанной, как будто не до конца проявленной красотой, и в этом был залог долгой привязанности к ней Ильина. Катя хорошо знала, какого рода достоинства будоражат кровь и сознание все еще любимого ее человека.

Марина слушала Грига, все более изумляясь: как же она могла отказаться от музыки в своей жизни, предать забвению годы каторжного труда. Неужели только потому, что сама оказалась недостаточно музыкально одаренной. Надо что-то главное понять в себе, еще есть время что-то преодолеть, и тогда, возможно, она снова проснется наполненная музыкой. Ведь для этого у нее все есть.

Она потянулась к Георгию, одними губами прошептала:

— Я тебя очень и очень люблю! И еще Андрюшу! Вы — моя жизнь!

Ильин нежно прикоснулся рукой к ее ладони.

Музыка Грига царила в гостиной Ильина, заполняла большие и малые пространства дома, ее сладкие звуки изливались за пределы каменных стен и гасли под звездным небом над тягучими водами Эгейского моря.

Яннис все порывался погладить Аннушкину руку, но она почти незаметным движением убирала ее — будто для того, чтобы поправить прядь волос, случайно упавшую на лоб, или повернуться к дочери и прошептать ей что-то на ухо. Он подумал, что, должно быть, выглядит смешно в глазах этой далеко не юной женщины, немного дикарки, несмотря на достаточно взрослую дочь.

Два года назад Яннис проектировал дом, в котором сейчас проходила вечеринка, потом приглядывал за его строительством и, в общем, остался доволен результатом. Очевидно, остался доволен и Ильин, ибо рассчитался незамедлительно. Такой тип людей, с аристократической ноткой в характере, был особенно интересен Яннису. Собственно, он и сам слыл в Фесалониках истинным аристократом.

Как только стихли аплодисменты в честь сонатины Грига и музыкантов, великолепно исполнивших ее, гости перешли на открытую террасу. С террасы открывался потрясающий вид на море под затканным звездной пылью небом. На территории виллы, но ниже этажом, на фоне изумительной мраморной мозаики просматривался овал искусно подсвеченного бассейна с плавающими букетами коротко подрезанных цветов. Вдоль ближайшей к дому стороны овала сидели другие музыканты, призванные играть другую музыку.

Майкл Адамс со своей обольстительной мулаткой первым переместился на террасу. Он устал от классической музыки. Что ж говорить о спутнице?! Такие и вовсе музыкальных школ не заканчивают, в лучшем случае их ухо привычно к джазовым композициям, то и дело звучавшим где-нибудь в ночной забегаловке, где длинноногие девочки с наклеенными улыбками подают виски к кровавому ростбифу.

Ильин отказался от идеи доверить кому-либо ведение вечера. Он сам, остроумный и блестящий рассказчик, выстроил для себя сценарий праздника и до сих пор более-менее придерживался его. Кроме того, никакой тамада не смог бы так деликатно лавировать между его гостями, женами и детьми, как он сам. Тут требовался тонкий подход и знание некоторых секретов его женщин.

Несколько раз за вечер он коснулся своей любимой темы в физике, которой занимался много лет и которая в научном мире в последние годы была особенно модной и горячо обсуждаемой. Это была так называемая М-теория, или Струнная Теория, или Теория Всего. Она была призвана единым образом описать Вселенную. Люди, далекие от физики, часто просили Ильина популярно объяснить, в чем ее суть, и он так поднаторел в этом деле, что, объясняя, как-то за скобками оставлял тот факт, что это все-таки только гипотеза и для ее доказательства науке вряд ли когда-нибудь хватит возможностей.

Вот и сейчас он увлекся, стал вдохновенно обрисовывать 11-мерную модель Вселенной и закончил весьма глубокомысленным утверждением чешского математика Курта Геделя, доказавшего, что в пределах любой области математики некоторые суждения не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты, так что окончательной Теории Вселенной может и не быть.

— Так считают кроме меня и еще дюжины продвинутых физиков, способных понять в общих чертах, о чем идет речь, и сам Стивен Хокинг.

Георгий замолчал, ожидая, кто же следующий возьмет соло.

— Браво, Джордж! — Кевин Кларк поднялся с наполненным бокалом и медленно двинулся в сторону Ильина. — Когда-то мы с тобой написали великолепный, я бы даже сказал, великий сценарий к великому фильму. И он имел ошеломляющий успех. Думаю, пришло время новых свершений. А не сделать ли нам фильм, во главу угла которого ляжет твоя новая Теория Всего. Когда приступим к работе?!

— Да хоть завтра! Вот только в толк не возьму, как мы с тобой изобразим пресловутое 11-мерное пространство, — засмеялся довольный Георгий.

— Ты не волнуйся! В Голливуде могут все. Главное — это идея, сценарий. Вот ты за него и возьмешься. А в память о нашей договоренности прошу принять сей подарок, — и Кевин продемонстрировал всем гостям, с трудом внимавшим его английской речи, замечательные швейцарские часы, упакованные в черную коробку с бархатным нутром.

У Ариадны даже слезы проступили на глазах, едва она представила их цену. Пусть бы отец ничего ей не давал, а только эти часики.

— Папа, а почему М-теория? — громко спросила Ариадна, намеренно притягивая к себе внимание публики. Впрочем, ей и впрямь было любопытно. Мысленно она увидела отца в телестудии, на своей авторской передаче, рассказывающего в своей пленительной манере о таких потрясающе интересных научных теориях.

— Так ее назвал Эдвард Виттен в середине 90-х годов и не уточнил, почему. Со временем это стало забавной игрой у физиков — гадать, почему и в самом деле М-теория. Может быть, М означает Мистическая, или Магическая, или Материнская. А есть более веские предположения: Матричная, Мембранная. А может быть, это перевернутая W — первая буква имени Witten. Есть и еще интересные версии: Недостающая (Missing) и даже Мутная (Murky), — со смешком закончил Ильин.

Все засмеялись. Действительно мутная.

— Вот так всегда у физиков: все мутно и непонятно, и всегда в построенной цепочке недостает главного звена! — весело отозвалась Ариадна и залпом осушила очередной бокал шампанского. Очень хотелось пить.

— Когда-нибудь я расскажу вам еще о черных дырах, в которых пропадает информация, тем не менее, информация понемногу испаряется из дыр... — самозабвенно продолжал Георгий. Стало ясно, что он сел на любимого конька. — Но это как-нибудь в другой раз. Например, в мой следующий юбилей. Кстати, долгое время М-теория была для меня той лакмусовой бумажкой, по которой я безошибочно проверял интеллект собеседника. Если человек проявлял явный интерес к Теории Всего, его IQ в моих глазах резко возрастал, ну а если он мог еще понять и оценить теорию в моем изложении, он поднимался на высшую ступень. Потом я немного остыл. Понял, что не могу применять это правило, например, к женщине, ибо она слушает мою теорию, а сама тем временем думает о том, как будет завтра предаваться шопингу. — Все зааплодировали. — С мужчинами сложнее.

Гости разразились аплодисментами.

— А теперь ты, каналья, мой дорогой Гаврилыч, а для детей попросту дядя Слава, готовь тост. Следующим будешь говорить ты. — Реплика была подана вовремя, Славка явно заскучал и, возможно, собрался напиться.

Так и понеслась эта вечеринка быстрым фокстротом вокруг юбиляра, его жен и друзей, захватывая в свой водоворот одного гостя за другим, кружась вместе с легким ночным бризом по просторной террасе, спускаясь по широкой лестнице вниз, к бассейну, скользя по великолепной мозаике импровизированной танцевальной площадки.

Анна устала от длительного застолья, она была утомлена вниманием Янниса, который много рассказывал, но и интересоваться ее мнением по самым разным поводам не забывал, так что надо было реагировать на его частые реплики и при этом не выглядеть абсолютной дикаркой. Когда заиграла танцевальная музыка, Анна первая устремилась вниз.

Лет до двадцати пяти Анна танцевала в самых различных шоу звезд советской эстрады. Это был счастливый период ее жизни. Именно в ту пору она и познакомилась с Георгием. Многие тогда искали с нею встреч. Многим казалось, что она находится так близко, стоит лишь протянуть руку и можно погладить ее обнаженную спину, коснуться шелковистой кожи бедра. И только Гоша повел себя иначе. Он осыпал ее цветами, вниманием, подарками, он внушил ей мысль, что она иная, особенная, избранная. А потом родилась Лерка, а Гоша пропал. Ей пришлось вернуться в Минск, к матери. Наступили тяжелые времена.

Рухнула страна, и вместе с нею вся налаженная жизнь, и надо было начинать все сначала. Анна пала духом, чуть ли не полы ходила мыть в свое училище, пока Настя, с которой Анна училась в том самом хореографическом училище, не надоумила ее открыть школу танцев.

И вот теперь, когда зазвучали первые звуки медленного вальса, она с надеждой взглянула на Янниса. Он понял ее без слов, повел в центр площадки, элегантно поклонился, и они закружились по мозаике, делая попытку за попыткой вставить по ходу танца некие интересные элементы, будь то спин-поворот либо расхождение в виск, к которым, как ни странно, оказался готов немолодой греческий архитектор. Несколько мгновений спустя они обнаружили, что так и танцуют практически одни, в центре площадки, окруженные плотным кольцом гостей, откровенно любующихся их грацией, их легким скользящим шагом.

Валерия с волнением наблюдала за матерью, словно та сдавала свой самый главный экзамен, словно должна была доказать всем присутствующим, что была и осталась достойной любви самого лучшего в мире мужчины.

Ильин, беседуя с Кевином, боковым зрением следил за происходящим на танцплощадке. Он был удивлен и восхищен одновременно смелостью Анны, ее грацией, ее неувядаемой прелестью. Для нее этот поступок — он знал ее

застенчивость, ее неспособность солировать, даром что числилась артисткой кордебалета, — выйти вот так смело и открыто и сосредоточить на себе скрестившиеся взгляды. Яннис не отводил от нее восхищенного взора. Вот и архитектора настигла стрела Амура в самый неожиданный момент. Что-то болезненно отозвалось в душе у Георгия. Уж не ревность ли?! Да нет, не может быть. В его сердце царит одна лишь Марина. Просто ему было важно всегда — для внутреннего комфорта и жизненного тонуса — осознавать, что все его женщины влюблены в него до гроба. Любовь к нему — это их пожизненное наказание и пожизненная благодать. В известном смысле это держало его на плаву, побуждало двигаться вперед. Тяжело лишаться иллюзий в его возрасте. Господи, что за глупости разные лезут в пьяную голову?!

Резкий всплеск воды, как будто в бассейн свалилось что-то тяжелое, вынудил всех оглянуться. Ильин, извинившись перед Кевином, скорым шагом устремился к бассейну. Пьяная Ариадна ушла под воду и никак не могла вынырнуть. Она показывалась на поверхности и снова уходила ко дну.

— Эй, где там мой мальчишка, мой греческий бог?! — захлебывалась она. — Ну, тот, который наливает шампанское? — Она снова оказывалась под слоем воды. — Пусть подаст мне руку! — выкрикивала она, лишь только ее голова появлялась над водой.

— Ариадна, дорогая, дай я тебе помогу. Отведу в твою комнату! — проговорил Георгий, задыхаясь от бешенства. — Просто ты очень устала. Проделала сегодня долгий, нелегкий путь. Пойдем, моя девочка, — снова произнес он, а про себя зло выругался: «Назюзюкалась как свинья! Черт подери эту сумасшедшую девку!»

Он протянул руку дочери. Ариадна снова ушла под воду.

Пока возились с пьяной Ариадной, вылавливали ее туфли, ее драгоценности, выяснилось, что пропали дети: Андрюша и Верочка с Павликом. Этого еще не хватало! Первой их таинственное исчезновение обнаружила Таня, она же и обошла весь дом, комнату за комнатой, тщательно заглядывая в каждый угол. Тот факт, что и Дарья выпала из поля зрения, остался для всех незамеченным. Так уж повелось: некому было присматривать за этим ребенком.

Катя уже собиралась покинуть вечеринку — ей было явно не по себе среди бурно веселящейся толпы, — однако срочно пришлось откорректировать планы.

Пока все шло чинно и гладко, ей было любопытно наблюдать за Кевином Кларком, этим титаном современной киноиндустрии, за суперпопулярным Майклом Адамсом с его смуглой, чрезвычайно сексуальной подругой, за Гаврилычем, наконец. Но когда тот напился до чертиков и пошел, невзирая на лица, приставать ко всем подряд, повторяя одну и ту же, похоже, не раз обкатанную фразу: «Милости прошу ко мне на яхту! Мне есть чем вас удивить и порадовать!» — Кате стало тоскливо и немного стыдно перед многочисленными гостями, хотя, видит бог, она была тут ни при чем.

Время от времени Катя бросала тайные взгляды то на Марину, то на Георгия — после двух бокалов изумительного греческого вина, от которого, она очень надеялась, у нее не разболится голова, ярость ее понемногу утихла и она смогла взять себя в руки.

Вот те на! Иди теперь, ищи сорванцов. Это же чужая страна, чужой уголок земли, кто знает, какие здесь нравы.

— Вы только не волнуйтесь! — уговаривал Катю и Марину Ильин. — Танечка с нашим садовником давно изучили все любимые Андрюшины маршруты. Все будет хорошо.

Марина как будто прислушалась к аргументам Георгия, хотя заметила вслух, что сын так поздно никогда не покидал дом. Она согласилась все же с

тем, что поиски начнутся без нее. Дом был полон гостей, которых следовало развлекать.

Катя быстро поднялась в свою комнату, поменяла обувь, выпила таблетку анальгина, так как голова все-таки начала болеть, и тотчас присоединилась к Тане, успевшей вооружиться огромным фонарем. Катя решила ни на шаг не отставать от благоразумной Андрюшиной няни.

Садовник спустился к морю чуть раньше, было слышно, как он зовет детей, и долгое эхо вторило ему. С моря дул холодный ветер.

Катя настолько плохо ориентировалась в незнакомой местности, тем более ночью, тем более, когда под ногами с довольно крутой тропы, ведущей вниз, то и дело сыпались камни, — в общем, в какой-то момент она поняла: брось ее Танечка здесь, завтра найдут Катины косточки.

На пустынном берегу, у причала, черным размытым пятном одиноко покачивалась на воде яхта Гаврилыча. Луна тяжелым диском с чуть отсеченным боком едва удерживалась звездным неводом. Было свежо.

— Вы не волнуйтесь! — сказала Танечка таким спокойным голосом, что Катя и вправду немного успокоилась.

Столько прелести было в этой симпатичной девочке! Интересно, где они ее нашли. Где они вообще себе помощников преданных находят.

— Еще не было случая в нашей деревне, чтобы кто-то пропал. Андрюша — мальчик думающий, дурного не замыслит и на дурное не откликнется.

И они пошли в сторону ближайших огней.

Неизвестно, чем закончился бы вечер, если бы Кевин Кларк, этот старый ловелас, не упускающий случая продемонстрировать окружающим силу своего несколько отдельно отстоящего таланта обольщать, не вздумал похитить смуглую спутницу Майкла. Майкл догадался, что что-то замышляется, еще во время танцевальной части вечеринки — по тому, как запрокидывала Литиция голову во время танго с Кевином, как смеялась. Так смеяться — окрашивая голос грудными бархатными вибрациями — может только знающая себе цену искусительница. Потом Кевин с улыбкой опытного сердцееда что-то шептал ей на ухо, бросая красноречивые взгляды в сторону моря. Литиция качала своей дивной головой, пряди смоляных волос при этом падали на лоб, она смеялась все громче, демонстрируя исключительно ровный ряд белых зубов, и этот свободный, упоительный смех был ее ответом. Старый черт Кевин! Не уследишь. А уследишь, так ведь ничего не исправишь. Слишком он, Майкл, от Кларка зависим... Пока Майкл танцевал с Мариной, он мог наблюдать боковым зрением, как Кевин небрежно подошел к Гаврилычу, похлопал того по-свойски по плечу, увел в дальний угол. Но дальше, поднимая с Джорджем бокал за его многообразные успехи, Майкл потерял этих двоих из виду, и в общем-то, если честно, был к этому готов. Господи, что он там собирается с ней делать? Кто будет песок собирать, на который Кларк неминуемо рассыплется? Майкл как-то вдруг забыл, что и сам уже давно не блещет в постели. Таблетки изредка спасают положение. Интересно, как выпутывается в этом смысле Джордж. Марина, без сомнения, выглядит счастливой.

...Кевин осторожно ступил на палубу яхты, она тихо покачивалась на волнах. Он подал руку Литиции — мулатка, приподняв подол длинного, почти прозрачного платья изящными длинными пальцами одной руки, другой крепко уцепилась в Кевина, ибо едва держалась на высоких шпильках. В этот момент внимание обоих привлекли детские глухие голоса из каюты. Спустившись, они обнаружили дверь незапертой, толкнули ее и не сразу сообразили, что же там происходит. Резко мигающий свет компьютера обрисовал две склонившиеся над клавиатурой фигурки. Рядом, на диванчике, головой

к голове спали маленький сын Джорджа Андрюша и дочь от предыдущего брака Ильина с красивой русской женщиной по имени Катя. Собственно, все женщины Джорджа были красивы той неброской, неяркой красотой, которая только и является истинной, — подумал Кевин несколько отстраненно. Всякая другая красота от лукавого. Вот и Литиция... Кровь с молоком... и хорошей порцией порошка какао, все при ней... На голову выше Кевина. Да что тут говорить! Обыкновенная голливудская шлюха...

Павлик, брат спящей девочки, и дочка напившейся Ариадны убивали друг друга на экране компьютера. Кажется, девчонка — внучка Джорджа. Черт его знает, кто здесь кому и кем приходится!

— Вот вы где! — произнесла по-английски Литиция. — Вас ищут! Пойдемте! — и она стала осторожно будить спящих детей.

Дети спросонья не могли сообразить ни где они, ни с кем, но разглядев в темноте Павлика с Дашей, кажется, немного успокоились.

— Кевин, оставайся! — все так же по-английски произнесла Литиция. — Я проведу их до самых ворот и сразу же вернусь к тебе. — И она поцеловала его в губы. — Как ты думаешь, у Гаврилыча на яхте найдется для меня пара растоптанных шлепанцев? Без твоей поддержки я на этих чертовых шпильках и шагу не сделаю.

...Увидев детей, Георгий неожиданно понял, что чувствует себя неважно. Мало того, что закружилась голова и стал одолевать приступ тошноты, так еще резкая неожиданная боль под ложечкой в одно мгновение скрутила его пополам, замутила рассудок. Когда он все-таки пришел в себя, он понял, что с него на сегодня достаточно.

Таня повела детей наверх, гости — те, что не напились до смерти, — продолжали бурно веселиться. Гаврилыч немного оклемался, со стаканом минералки бродил по террасе в поисках того, с кем можно было бы потрепаться по душам, — в лучших русских традициях. Майкл Адамс вел светскую беседу с Катей, вернувшейся чуть раньше с безрезультатных поисков детей и еще не вполне пришедшей в себя от радости, что они нашлись. Она кивала головой, но было ясно, что с трудом понимает, о чем Майкл ведет речь. Анна любезно общалась с Яннисом, кажется, парочка обнаруживала все больше точек соприкосновения. Музыканты, исполнявшие Грига и уже успевшие, кажется, забыть о своей причастности к миру высоких чувств, веселились как дети. Виолончелист, немного смахивающий на Ростроповича, так же, как и маэстро в свое время, смешно оттопыривавший губу и, возможно, в этом видевший для себя залог и подтверждение общей для всех виолончелистов мира гениальности, — вел себя так, как будто вернулся после долгих гастролей к себе домой. Его, и правда, частенько видели в гостях у Джорджа — то в московской, то в чикагской квартирах. К концу любой вечеринки он, как правило, бывал глубоко нетрезв.

И только Жоржик-младший явно скучал. Ильин с бодрой улыбкой, которая давалась ему нелегко, подошел к сыну, обнял за плечи, повел к Марине, распоряжавшейся по поводу десерта, сказал:

— Я очень устал, неважно себя чувствую.

— Что, что случилось? — испуганно спросила Марина.

— Переволновался, видимо. Вы потанцуйте еще немного. Вот Жоржик заскучал. Пригласи его к нам в гости в Москву. Или в Штаты. Все-таки мы одна семья. А потом проследи, дорогая, чтобы гости не потерялись. А если кто-то и потеряется, то не беда, — улыбнулся он и шаткой походкой направился в дом.

— Что ж, Жоржик, давай танцевать. Ты мне расскажешь, как это — быть настоящим испанцем, — Марина говорила очень трезво.

Жоржик, передумавший за день много разных мыслей, вспомнивший о матери не один раз, о ее редких слезах, но чаще о ее небывалой стойкости, понял вдруг, насколько отец виноват перед нею, и перед ним, и перед всеми этими женщинами, которым обещал любовь и заботу, а принес лишь одни страдания. Но они продолжали его боготворить, он видел это, это невозможно было не замечать. Они растили его детей и, наверно, верили, что Господь видит все это сверху и воздаст, если не им, то их детям. Отец же родился баловнем судьбы, всеобщим любимцем, полагавшим, что все должны быть счастливы только потому, что он у них есть. Видит бог, все его женщины были достойны лучшей доли. Они заслуживали более совершенных мужчин.

Танцуя, Жоржик обнимал Марину так, как следовало обнимать жену отца. Они были почти ровесниками. Мир для них начинался в одной исходной точке на шкале времени, что бы там ни говорила М-теория отца. Им не требовалось совершать никаких усилий, чтобы стянуть тот временной интервал, ту пропасть, что лежала, к примеру, между Мариной и его отцом, в одну отправную точку. Мир открылся для них в единый космический миг, и они приняли это как данность, точно так, как принимает безоговорочно время и место своего рождения всякий явившийся на землю человек. И даже география мало чего меняет в восприятии действительности. Ритм времени, его четкие удары инициируют пульсацию крови в унисон с собой.

Жоржику показалось, что Марина прижалась к нему плотнее. Наверно, все-таки показалось...

Ильин наконец добрался до своей комнаты. Не включая света, сразу двинулся в туалет. Сильнейший спазм скрутил все его тело. Перемещаться теперь он мог только согнувшись. Он не успел дотянуться до унитаза, как почувствовал: теплая, жидкая масса рванула из него. Он глянул на пол — кровавая лужа растекалась все шире. Ильин потерял сознание.

Когда он пришел в себя, он все еще был один, лежал в туалетной комнате, распластавшись на холодном кафельном полу, в мутной жиже со зловонным запахом. Он поднял руку, чтобы опереться на унитаз, рука, вся в кровавых сгустках, соскользнула на пол. Он повторял и повторял это движение рукой, пока не получилось зацепиться и подтянуть обессиленное тело. Он затер, как мог, лужу, сунул тряпку в пакет, туда же отправил свою испорченную одежду от кутюр, туго завязал узел. Затем стал под душ, вернее, сел под струю чуть теплой воды и долго сидел так, не двигаясь и не открывая глаз.

А потом забылся тяжелым сном в своей чистой прохладной постели.

Часа через два пришла Марина, возбужденная, немного более счастливая, чем всегда. Он это понял по тому, как страстно она целовала его в темноте, гладила его суховатую руку и приговаривала: «Ты у меня самый умный, самый замечательный и самый обольстительный мужчина в мире!»

Так и не включив света и не заглянув в его бледное лицо, еще раз чмокнув в щетинистую щеку, вышла на балкон, общий для ее и Георгия спален, постояла недолго, любуясь ночным небом и морем, в котором отражались сотни звезд, и, не возвращаясь более к мужу, ушла к себе в комнату.

Георгий был благодарен жене за то, что не стала его теребить, спрашивать о чем-либо, тут же требуя ответа, — она дала ему шанс прийти в себя до утра, и он свято верил, что проснется абсолютно здоровым человеком.

Рано утром, когда весь дом еще спал после бурной вечеринки, Марина заглянула в комнату Георгия, проверить, как он. Он имел привычку рано вставать. И тогда, когда случалось им проснуться в одно и то же время, они вместе пили утренний кофе на балконе. С умиротворяющим, настраивающим

на философское восприятие жизни видом на море. Как никогда наслаждаясь обществом друг друга. Но сейчас, едва взглянув на Георгия, на его бледное лицо цвета плохо постиранной простыни, она сразу поняла: случилось нехорошее. Ильин тяжело дышал.

Заглянув в ванную, Марина обнаружила мешок, набитый доверху тряпьем. Она подняла его с пола, поднесла к лицу — пахнуло чем-то смрадным. Отшвырнула мешок в дальний угол и едва не упала, проехав шлепанцем по скользкому пятну. Она все поняла.

Вернувшись в комнату, Марина набрала номер больницы в Уранополи и на прекрасном английским языке, так что ее сразу отлично поняли, вызвала «скорую», или как там у них называется подобная служба. При этом не забыла упомянуть о проплаченной страховке.

Георгий проснулся, едва Марина заговорила в полный голос по телефону. Он понял, что Марина вычислила шаг за шагом весь его вчерашний маршрут, понял, что сейчас за ним приедет машина, что госпитализация неотвратима. Силился сопротивляться, так как чувствовал себя сегодня намного лучше, так ему, во всяком случае, казалось, и в этом он порывался уверить Марину, но она не сдалась.

— Хорошо! Пока я буду околачиваться в местной больничке, пожалуйста, организуй все так, чтобы гости ни в чем не нуждались. Попроси Гаврилыча взять на пару дней заботу о детях и моих бывших женах. Пусть покатает всех на яхте вокруг Афона. Это будет замечательная экскурсия, я знаю. Можешь отпустить с ними и Андрюшу. Ариадне дай десять тысяч из сейфа. Анне и Кате дай по пять. Остальных накорми и отправь в Салоники. С Майклом и Кевином распрощайся чувствительно. Ты понимаешь, о чем я говорю. Андрюшу береги!

Он говорил так, будто диктовал завещание. Марина начала плакать.

Ровно в десять Танечка обошла родных Георгия Сергеевича и пригласила всех к завтраку. Через полчаса собрались за столом: Ариадна, не поднимавшая глаз, сонная Дарья, Катя с детьми, Анна с Лерой. Анна уже успела совершить утренний заплыв, выглядела свежо. У Кати был усталый вид, будто всю ночь она не спала. Собственно, так и случилось, к этому часу она выпила три таблетки анальгина, продержала полночи под языком таблетку валидола, потом еще одну, ее немного мутило. Павлуша с Верочкой спорили, как обычно, о чем-то своем, Катя не вмешивалась. Жоржик пришел последним. Во главе стола восседал Гаврилыч, трезвый как стеклышко, он пребывал в чудесном настроении и вообще уже успел заждаться своей чашки горячего кофе.

Ни Марины, ни Андрюши не было. Георгия Сергеевича, разумеется, тоже.

Подавала к столу юная тоненькая гречанка с веселым личиком, с живым и любопытным взором. Стояла тягостная тишина, все были вежливы и предупредительны друг с другом.

— Итак, дети мои, — начал Гаврилыч, — с Георгием Сергеевичем вчера произошла маленькая неприятность, его немного подвело здоровье, вероятно, он переутомился, а потом еще вдобавок что-то не то съел за праздничным столом, а может, просто мало выпил. Сегодня он отправился в больницу, чтобы доктора поставили диагноз. Думаю, что ничего страшного не произошло и к вечеру он вернется живой и здоровый на радость нам всем. Так вот, он поручил мне позаботиться о вас, и посему я приглашаю всех ко мне на яхту. Кое-кто, правда, уже успел на ней побывать и без моего приглашения, — Гаврилыч зычно расхохотался. — Мы с вами обогнем третий пальчик Халкидики под названием Афон, увидим колокола русского монастыря на самой вершине горы, но паломничество совершать не станем, так как женщинам туда ни ногой — запрет для них категорический. Грешны, наверно, очень уж... — и он опять

захохотал. — Потом мы с вами высадимся на необитаемом острове, поудим рыбу, и я сварю вам такую уху, что пальчики оближете. Как вам мой план?

— Ура! Ура! Ура! — завопила дружно детвора.

После всеобщего тягостного молчания это троекратное «ура» прозвучало как гимн человеческой способности испытывать одновременно добрые и сильные эмоции.

Ариадна протестующе подняла руку. Гримаса боли исказила ее лицо.

— Возражений не принимаю! — резко произнес Гаврилыч.

Кевин Кларк со своей киношной свитой отбыл в Салоники так рано, что никто в доме не успел попрощаться с голливудской именитостью, разве что Гаврилыч, бродивший, как сомнамбула, по пустым и гулким коридорам ильинского дома в поисках какой-нибудь заначки, успел что-то буркнуть ему на прощание. Кстати, заначки Гаврилыч так и не нашел, чем был раздосадован невероятно и чему был несказанно удивлен. Куда они, сволочи, спрятали всю выпивку? Вымуштрованная прислуга! И где они научились школить всех этих горничных и шоферов, со злостью подумал Гаврилыч про Ильиных. А главное — когда? Ведь лет двадцать назад вообще считалось дурным тоном приглашать кого-то в дом в качестве прислуги. Люди осудят: это не по-божески, не по-советски так унижать человека. И вот те на! Посулят теперь лишнюю сотню — и все эти мальчики и девочки, а иногда и люди солидного возраста, с ног собьются, угождая новому русскому. Гаврилыч с неприязнью думал сейчас об Ильине, о Марине, хотя прекрасно понимал, что все дело только в том, что ему надо срочно выпить.

И вдруг, говоря какие-то дежурные слова прощания Кевину, которого он безумно уважал, — да и какой современный интеллигентный человек мог относиться к Кларку иначе, — он увидел на камине среди рамок с фотографиями сиротливо стоящую бутылку виски. С прыткостью, несвойственной людям его возраста, он на мгновение оставил Кевина, рванул за бутылкой, сделал пару глотков прямо из горла. Тут же выпрямился, так что сразу же проявилась в нем неожиданная для его лет мужская грация и выперло слегка утраченное человеческое достоинство, вернулся к Кевину, сунул в руки ему злосчастную бутылку и сказал жалостливо на ломаном английском:

— Кевин, ты так много работаешь, печешь блины, то бишь фильмы, как заправский повар. Тебе, бедняге, поди и выпить-то некогда, не то что поговорить с хорошим человеком по душам, — и он точным, выверенным движением поднес руку Кевина вместе с бутылкой к губам оторопевшего американца. — Пей, дорогой! — только и добавил Гаврилыч.

Кевин испуганно взглянул на парней из своей свиты, маячивших за широкой стеклянной дверью в ожидании босса, потом на Гаврилыча, неожиданно ухмыльнулся и со словами, которые можно было перевести на русский приблизительно как: «А, где наша не пропадала!» — сделал один долгий глоток. Он вернул бутылку, похлопал Гаврилыча по плечу и решительно направился к выходу.

Гаврилыч пошел досыпать.

После завтрака с женщинами и детьми Георгия Гаврилыч окончательно пришел в замечательное расположение духа, стал деятельным и говорливым.

— Через полчаса я вас всех жду на причале! Не забудьте панамы и купальные костюмы. Об остальном я позабочусь сам. — С этими словами он пошел отдавать последние команды Антонио, своему штурману и юнге в одном лице.

Через час дети, за ними преобразившиеся мамы гуськом спускались к подножию горы по крутой лестнице, чередующейся с долгими участками довольно-таки узкой тропы. Ариадна замыкала процессию со злым лицом,

будто ее тянули на аркане. А что поделаешь?! Денег нет, и теперь непонятно, будут ли они вообще. Дашка путается под ногами, нет от нее спасения. Анна с Катькой действуют на нервы. Какого хрена они вообще приперлись в этакую даль? Отец ясно дал всем знать: «Хочу видеть только детей!» И теперь с лицами вечных страдалиц эти две несчастные отставные курицы квохчут вокруг своих цыплят как ненормальные. Да что это за ограниченность такая бабская, что за вечная, непонятно кому, а главное — зачем, данная клятва любить лишь одного мужика и до гроба, будто других мускулистых соискателей женской любви нет вокруг. Да оглянитесь вы, дуры! Полно молодых, свободных самцов. И Ариадна со сладостным чувством предалась теплым еще воспоминаниям о юном греке, разливавшем с непостижимой грацией весь вчерашний вечер шампанское и виски. Какое у него тугое и гибкое тело, какая редкая мужская красота! Точеные черты, прямой греческий нос, гладкая смуглая кожа, широкие плечи и тонкая талия!

Ариадна на секунду прикрыла глаза, и волна блаженства прокатилась по телу. Она не сразу поняла, что Дарья тянет ее за руку:

— Мам, а мам, а мне можно дружить с Верой и Павликом?

— А почему нет? Они же твои тетя и дядя! Груз ответственности за тебя, свою маленькую племянницу, не позволит им сделать ничего дурного, — и она зашлась едким смехом.

— Тетя и дядя — это как? И почему это тетя и дядя?

— Потому, глупая, что они мои брат и сестра.

— И что, я должна как-то по-особенному с ними дружить? Говорить им «вы»? Подчиняться?

— Вовсе нет. Ну что за въедливое дитя! Дружи просто. Как, например, с Лялей и Никитой из твоего класса.

— Как это, как с Лялей? Она ведь моя лучшая подруга. Так, как с ней, я ни с кем никогда дружить не буду. Я ведь не предательница.

— Нет, это просто невыносимо! Дружи как хочешь. Но я тебе говорю: дружить можно сразу со всеми. Вон Лера заскучала. Поди спроси у нее, понравился ли ей вчера дядя Яннис и где они будут жить, когда мама выйдет за него замуж.

— Я не буду про это спрашивать. Про такое не спрашивают.

— Много ты понимаешь! На своих передачах я всегда выпытываю у гостей их самые главные тайны.

— Поэтому, наверно, они на тебя часто обижаются.

— Что?! — Ариадна с удивлением взглянула на дочь. Вот тебе и малышка! Уже матери замечания делает, советы профессиональные пытается давать.

И она подтолкнула дочь вперед, иди, мол, к детям, с ними и спорь. Те спускались гуськом по тропе, на широких участках собирались в кучку, увлеченно обсуждали какую-то новую компьютерную игру. И только Андрюша безучастно шагал рядом, совсем другие мысли, похоже, одолевали его.

Анна с Катей перебрасывались редкими фразами. Было заметно, как нелегко давался им этот, в общем-то, простой разговор, как трудно было не дать ему иссякнуть.

Катя с удовольствием осталась бы в Неа Рода, побродила бы в одиночестве по скалистому берегу, полюбовалась бы видом на море, съездила бы в ближайший городок Уранополи. То, что она совершила ошибку, собравшись на юбилей Георгия, ей стало ясно с самого начала, но глядя на детей, она радовалась тому, что все-таки привезла их на встречу с отцом. Все долгие годы после разлуки с Георгием она неустанно им врала, что папа находится в длительной творческой командировке, что он серьезный ученый, физик,

преподает в престижном университете в Америке, что он помнит о них, и любит, и скоро обязательно вернется. Это было началом той страшной лжи, которой она опутывала детей, в которой вместе с ними все больше погрязала сама и от которой все труднее было избавиться. Повзрослев, дети сами стали догадываться, что в их семье что-то идет не так. Первым к Кате на серьезный разговор явился Павлуша. Это случилось два или три года назад.

— Мама, я знаю, папа нас бросил. Он больше не любит нас.

Катя сжалась в комок, перестала, кажется, дышать, слабым голосом пробормотала:

— Павлик, милый, почему ты так решил? Ведь совсем недавно вы с Верочкой получили от папы на день рождения чудесные велосипеды. А теперь он пишет, что, когда вы окончите школу, он заберет вас в Америку.

— Не говори мне больше о нем никогда! Я и сам его уже не люблю. Когда я вырасту, я... — он запнулся, — я... у меня не будет детей. Чтобы они не страдали так, как я.

Катя в тот момент едва не разрыдалась. Она гладила и гладила Павлика по шелковистым волосам, целовала его в макушку и все приговаривала:

— Глупый! Глупый! Папа подарил вам жизнь. Это самый бесценный подарок.

С Верочкой было иначе. Она взрослела медленнее, глубокие мысли не одолевали ее. Но и она однажды пришла со словами:

— Мама, а если все мужчины такие, как папа, я никогда не выйду замуж!

Верочка с пеленок ощущала себя настоящей маленькой женщиной, капризулей, кокеткой. Очень рано она почувствовала силу своих чар. Она говорила милые детские глупости, а взрослые вокруг умилялись тому, как складывала она при этом губки трубочкой, как изящно поводила тонкими красивыми руками, как выгибала свое худое тельце, даром что детское, но все уже было при ней: и тонкая талия, и длинные, очень привлекательной формы ножки, и замечательные пропорции уже вполне сложившейся фигурки. Верочка ясно уже осознавала, что она родилась для счастья. И пусть папа разлюбил маму, ее, Верочку, он не разлюбит никогда. У нее с папой до сих пор были нежные отношения, свои тайны, свои секреты, она всегда демонстрировала ему при встрече все те очаровательные «па», что успела выучить в хореографическом училище. И вроде бы ничего особенного не было в этих движениях, но было столько пленительной грации в этом чудном цветке, что папины глаза начинали сиять радостным светом.

Павлик, конечно же, был иной. Закрытый, трудно идущий на контакт подросток, часто с колючим взглядом, в котором читалось неприятие всего, что связано было с отцом. И все-таки Катино сердце наполнялось болезненным чувством любви, гордости, добрых предчувствий именно при взгляде на своего подрастающего сына. Кате казалось, он компенсирует ей все те многочисленные моральные потери, которые она вынесла и продолжала нести в своей обманутой жизни.

В общем, со временем в детях появилась напряженность, обозначились комплексы. Кате стоило немалого труда уговорить повзрослевших Павлика и Верочку собраться к папе в гости. Ей казалось, что когда они познакомятся с Андрюшей, с Валерией, что-то отзовется в их раненых душах, некая зажатая пружина расслабится и освободит их чувства, их любовь к отцу и к окружающему миру. Они поймут, почувствуют, что жизнь шире, чем несостоявшиеся отношения с отцом. Что можно любить его и таким, несовершенным, в чем-то слабым, но при этом глубоким и интересным человеком. Все это в большей степени относилось, конечно же, к Павлуше.

Катя вовсе не была уверена, что достигнет успеха в выбранной стратегии, но прилетев на Халкидики, неожиданно увидела, что дети: и Верочка с Павлушей, и Валерия, и Дарья, и даже маленький Андрюша — небезразличны друг другу.

Накануне поездки Дарье исполнилось девять лет. Она почувствовала себя очень взрослой и все ждала от Ариадны какого-то особенного подарка, соответствующего своему новому, очень серьезному возрасту. Она даже мечтать боялась о чем-то конкретном, настолько была уверена, что мама лучше знает, чем удивить свою подросшую дочь. Иногда Дарья представляла, что мама купит фигурные коньки, такие красивые, с высокими белыми ботиночками и частой шнуровкой. И тогда она встанет на эти чудесные коньки и покатится легко и ловко, как все эти прекрасные фигуристы из «Ледникового периода». И тогда Денис из параллельного класса обратит, наконец, на нее внимание. А может быть, пусть лучше мама подарит ей щенка, и тогда у Даши появится настоящий маленький друг. Она будет гулять во дворе со щенком, и все вокруг станут говорить: какой очаровательный у Даши пес, умный и преданный друг. Нет, пожалуй, пусть лучше мама купит ей розовую курточку с розовой опушкой и белые кожаные сапожки, все как у Кристины. И тогда Кристина, может быть, перестанет насмехаться над нею и скажет всем, что самая лучшая подруга для нее — это Даша. А как было бы здорово, если бы мама догадалась подарить дочери все сразу: и коньки фигурные, и щенка ласкового, и розовую курточку!

Каково же было потрясение девочки, когда рано утром в день ее рождения мама чмокнула родное чадушко в щечку и сказала ровным голосом:

— Дарюня, я уезжаю на три дня. Из школы тебя заберет бабуля. О подарке не беспокойся.

Через три дня мама вернулась веселая, в новом необыкновенном платье, в ушах сверкали небывалой красоты новые сережки, туфли на высоком тонком каблуке были тоже новые. О подарке для дочери мама больше не вспомнила.

Бабушка была добрая. Про деда говорить не любила. И только однажды, когда они сидели вдвоем за большим круглым столом в старой московской квартире, а за окном надоедливо барабанил дождь, бабушка вдруг очень серьезно произнесла:

— Знаешь, Дарюня, я иногда думаю, а что было бы, если бы дед Жора не ушел от нас.

— И что же ты, бабуля, придумала?

— Наверно, и Ариадна выросла бы совсем другой. Доброй и умной девочкой. И тебя бы растила иначе.

— А что, бабуля, мама не умная?

— Ну что ты такое говоришь? Видишь, какие передачи она создает, каких людей приглашает в студию!?

— А почему они иногда очень злые слова ей говорят? И она им точно так отвечает?

— Вот вырастешь, моя хорошая, и поймешь, насколько этот мир непростой. А теперь пошли обедать. Небось, мама тебя одними полуфабрикатами кормит? — и она встала, и выпрямилась, и потопталась немного на месте, прежде чем сделать первый шаг.

— Бабуля, а что такое полуфабрикат?

— Ну, это, — рассмеялась по-доброму старая женщина, и морщинки лучиками разбежались вокруг глаз, — как ты у мамы или мама у меня. Над чем еще поработать было бы неплохо.

Ариадна тем временем жила очень насыщенной и, как ей казалось, необыкновенно интересной жизнью. Еженедельные передачи, поиски героев, желательно мужского пола, интервью с ними, часто за полночь, иногда

заканчивающиеся в постели. Презентации, вернисажи, встречи с друзьями, тоже принимающими как дар ночи любви. При этом много алкоголя и сигарет, так что все чаще появляющийся во рту металлический привкус уже перестал казаться чем-то ужасным. Иногда в этом бесконечно длящемся угаре она брала тайм-аут, и в прояснившемся на мгновение сознании сам собой вставал вопрос: куда она летит, за каким призрачным счастьем и небывалыми чувствами? Ведь для счастья надо не так уж много. Во-первых, мужчина, к которому привязываешься, и тем больше, чем в более спокойное русло входит иссушающая прежде страсть. Во-вторых, ребенок. Твое отражение. И если отражение не теряет своего очарования, то и ты как исходный объект можешь гордиться собой. В мире столько прекрасных моментов, ради которых стоит жить. Солнце, море, созерцание закатов, мгновение на переломе бодрствования и сна, чашка утреннего кофе с хрустящим рогаликом. Твой особый внутренний мир, твое призвание. Окружающие тебя люди. Несмотря ни на что, люди блестящего ума и глубокой культуры. Все эти мысли посещали Ариадну в часы прозрения и уходили в никуда, лишь только очередной поклонник щелкал у уха любовным хлыстом и завлекал в известные дали.

Майкл Адамс проснулся лишь к полудню. И то лишь потому, что Литиция впорхнула к нему в комнату и стала активно его будить. Он с трудом разомкнул веки, долго разглядывал изысканные элементы незнакомого дома, мучительно вспоминал, где он и как здесь оказался. Голова раскалывалась. Он с неприязнью всматривался в смуглое, дышащее пороком лицо своей соблазнительной мулатки, но никак не мог припомнить, чем же неожиданная для столь раннего часа неприязнь к этой безупречной игрушке могла быть вызвана.

Литиция пристроилась у него на постели с подносом, на котором дымилась чашка кофе и аппетитно круглился круассан. Кофе издавал сильнейший аромат, в Америке такого не варят. Литиция норовила коснуться его плеча рукой или почти оголенной грудью, кожа ее была матовой на ощупь, чуть прохладной, прикосновения ее доставляли Майклу несмотря ни на что радость. Ему показалось, что голова стала болеть чуть меньше. Он пил кофе маленькими глотками и рассматривал Литицию так, как будто видел ее впервые. Роскошные пропорции тела, бархатная кожа, идеальные для мулатки черты лица. Правда, с эмоциями слабовато. Видно, поэтому дальше ролей второго плана дело у нее не идет. Зато какая шея, какая грудь! Майкл еще раз скользнул взглядом вдоль глубокого декольте и застонал — снова накатил приступ мигрени. Он отчетливо вспомнил, со всеми «милыми» подробностями, весь вчерашний вечер, и волна темной агрессии против этого безмозглого существа накрыла его с головой.

— Уйди, Литиция, уйди, ради бога, с моих глаз!

Он отшвырнул от себя поднос с недопитым кофе. Чашка перевернулась, остатки кофе выплеснулись аккуратной дорожкой на шелковую простыню.

— Милый, я бы не стала тебя будить, но, во-первых, в четыре у нас самолет, так что времени в обрез, во-вторых, дом пуст.

— То есть?

— Ну, не совсем пуст. Кое-какая прислуга слоняется по гулким коридорам. Вот и кофе помогли мне сварить. Но ни Джорджа, ни Марины, ни всех этих ужасных женщин с их детьми — никого!

— И куда они могли запропаститься? Надо же как-то прилично распрощаться. Хотя бы с Джорджем. Литиция, а что такого ужасного ты рассмотрела в Джорджиковых женщинах? По-моему, все они... они... — и он обрисовал круг, так и не подобрав подходящего слова. Голова раскалывалась.

— Я бы на месте Марины... Ноги бы здесь их не было! — резко произнесла Литиция.

Майкл даже привстал. Не ожидал он таких эмоций от эбонитовой куклы с густо накрашенными ресницами. А она, оказывается, что-то думает там иногда.

— Ладно, подай мне рубашку. На худой конец, оставим записку. Что любим и ждем новых сценариев. Может быть, роль для меня там серьезную пропишет. — Он скосил взгляд на подругу, добавил: — Ну и для тебя вставит пару слов.

Он резко оторвал голову от подушки, комната закачалась и поплыла в медленном вальсе. Главное сейчас — принять холодный душ.

После двух или трех часов напряженной рыбной ловли, в которой так или иначе участвовали все, и даже Ариадна, презрев свою неприязнь к коллективному времяпрепровождению, вошла в охотничий азарт, Гаврилыч высадил всю свою шумную команду на небольшом островке. Этот островок они с Георгием открыли для себя еще в прошлый его, Гаврилыча, приезд. С одной стороны острова отвесной стеной громоздились скалы, с другой его окаймляла довольно широкая и ровная полоса песчаного берега. Идеальный уголок для романтических встреч. Гаврилыч махнул рукой своему вышколенному и весьма понятливому юнге, чтобы тот вытаскивал на берег все необходимые для костра и ухи принадлежности.

Дети галдели у трапа, норовили оттеснить друг друга, чтобы соскочить на берег чуть раньше остальных. Юнга каждому вручал что-то важное: кому-то ведро с рыбой, кому-то казан, полный овощей, а кому и готовые поленья для костра. Все у них с Гаврилычем было предусмотрено — не тратить же даром драгоценное время. В веселом настроении ватага двинулась вглубь острова.

А старый капитан тем временем галантно помогал женщинам сойти на берег.

Анна с нескрываемым удовольствием покинула катер; почувствовав опору под ногами, потянулась, как после сна, всем своим стройным телом. Немного кружилась голова, чуть покачивалась земля под ногами. Как ни странно, вся эта сумбурная, наспех подготовленная прогулка приносила ей огромную радость. Она удивлялась всему, что видела вокруг, — все было новым, потрясающим, не похожим на родной Минск, да и в Москве тоже все было иначе. Господи, какая красота, какой простор! Солнце, небо, море! И эта непостижимая вершина со сверкающими куполами монастырей Афона! Все иное. Она снова потянулась, подхватила бутыль с водой, забытую у берега кем-то из детей, потащила ее к лагерю, уже обозначенному и обживаемому.

Катя, ступившая на землю следом за Анной, залюбовалась ее молодым телом, ее гибкостью, почти юной, ее потрясающими ногами. Анну Ильин когда-то действительно любил, и свидетельством его чувств явилась Валерия, угловатый подросток, обещающий превратиться со временем в прекрасный цветок. На месте Ильина Катя никогда бы не стала искать Анне замену. И все-таки он оставил ее ради Кати, которая долго не подозревала о существовании соперницы, и — слава богу. Может быть, именно поэтому три года брака с Ильиным Катя была безумно счастлива, до сумасшествия. Она бредила этим человеком, боготворила его. Что ж! Теперь, когда она видела Анну, наблюдала за ней, ее боль не была уже столь непомерной, столь непреодолимой. Ариадна с заспанным лицом, — ей удалось немного прикорнуть, несмотря на неутихающий детский гам, — спускалась на берег последней. Она осторожно переставляла ноги, обутые в сабо на слишком высоких для подобной прогулки каблуках, — со ступеньки на ступеньку, держась за Гаврилыча и на всякий случай балансируя другой рукой. Ей хотелось, чтобы вся эта ненужная вылазка

закончилась как можно скорее. Она была полна новых идей и планов, которые носили очень личный характер, ей не терпелось приступить к их реализации.

Уха вышла на славу.

— А вот мой папа не любит ловить рыбу, — произнес задумчиво Андрюша.

— Подумаешь, твой папа не любит ловить рыбу! — дерзко оборвал его Павлик. — Между прочим, твой папа при этом еще и мой папа!

— Павлик! — резко остановила сына Катя.

— Да ладно, дети! — миролюбиво вклинилась Ариадна. — Все мы тут дети нашего замечательного папочки. И это вовсе не повод ненавидеть друг друга. Держи! — обратилась она с ободряющей интонацией к Павлику и протянула ему очищенный апельсин. — А это тебе, — и она подала Андрюше бутылочку кока-колы со вставленной трубочкой.

— Мама мне не разрешает пить кока-колу.

— А ты ей скажи, что сестра старшая разрешила... Знаете что, мои милые? — она обвела всех дружеским взором. — А давайте-ка споем! — И тут же, не дожидаясь формального согласия, затянула: — Я счастливый как никто, я счастливый лет уж сто...

У нее оказался сильный, на редкость приятный голос, хоть и с хрипотцой, что к песне подходило исключительно. Дети, а потом и Катя с Анной дружно подхватили слова, последним присоединился Гаврилыч. Разудалая песня Григория Лепса неслась над островом посреди Эгейского моря.

Вернулись поздно. Дом встретил их темными окнами и настороженной тишиной. Полусонные разбрелись по своим комнатам. Выпорхнувшая из детской Танечка повела Андрюшу принимать душ.

На следующее утро Ариадна проснулась очень рано. Утреннее солнце едва коснулось верхушки скалы, идеально ровных стен греческой виллы Ильина, ее покатой черепицы.

Ариадна решительно поднялась, хотя всегда любила понежиться в постели, благо, ее полуночное существование на телевидении позволяло ей просыпаться к обеду, Дарья в это время обычно уже возвращалась из школы. Ариадна открыла балкон, свежий ветер ворвался в комнату. С наслаждением выкурив на балконе первую в этот день сигарету, она вернулась в комнату, прикрыла балконную дверь, но совсем закрывать ее не стала. Взглянула на Дарью, плод поздней своей любви. Хотя как на это посмотреть. Сегодня редкие дуры выскакивают замуж прямо из пеленок. Жизнь сложна, вписаться в нее не так уж просто. И затянув удавку в восемнадцать, трудно избавиться от нее до конца жизни. Так уж складывается: избавившись от одних мучительных обстоятельств, тут же обзаводишься другими. Так было и с нею. И не один раз. Развязавшись с одним сожителем, — мужьями трудно было их считать, — она тут же сажала себе на шею другую сволочь. Кто знает, может быть, она сама во всем и виновата. Нет чтобы осмотреться, все взвесить, понять, действительно ли очередной воздыхатель ее обожает, она сама закидывала на него петлю. Вся в отца. Тот тоже никогда не ждал. Разве что с Мариной. Никогда Ариадна не ревновала отца к его женщинам. Но вот с Мариной все было иначе, она не любила ее.

Ариадне захотелось горячего кофе, она решила не ждать момента, когда дом наполнится голосами и всех, наконец, позовут к столу. Взглянула на себя в зеркало, ахнула, рукой прошлась по пережженным волосам, так и вышла в полутемный коридор — непричесанная, в ночной пижаме.

На кухне хозяйничала Марина. Она пекла тонкие блины и заворачивала в них начинку из мяса. Неужели при таком количестве прислуги есть нужда что-то делать самой, изумилась Ариадна.

— Привет! — произнесла она сиплым голосом.

Марина обернулась.

— Это ты? — сказала равнодушно. В вопросе, в общем-то, не было смыла.

— Да, это я, — в тон ей ответила Ариадна. — Как отец?

— Неважно. — Она помолчала. — Говорит, что выкарабкается.

— Конечно, выкарабкается.

— Врачи пока не делают прогнозов.

— На то они и врачи.

Ариадна говорила таким же безжизненным голосом, как и Марина. Без восклицательных знаков и запятых. Теперь оставалось только ждать, кто первый не выдержит, у кого появятся человеческие интонации.

— Знаешь, я тебя никогда не любила, — сказала вдруг Ариадна.

— Знаю. Мне все равно. Право, я не вру.

— Трудно поверить, что с этим легко жить, — Ариадна продолжила атаку.

— Ты это о чем? — холодно переспросила Марина.

— Ты прекрасно знаешь, о чем.

— Легко, если не чувствуешь за собой вины, — Марина дала понять, что не собирается ни в чем уступать Ариадне.

— Ах, вот как! Значит, ты ни в чем не виновата? И даже перед Катиными детьми?

— Ну да, пожалуй. Только Катя точно так виновата перед Анной, — не сдавалась Марина.

— Она, в отличие от тебя, ничего не знала об Анне. Знаешь, у меня тоже есть такой сосед, только жена за порог — понеслась душа в рай. Мужская верность — это когда третья жена, а любовница все та же. Что нужно для счастья счастливой семье? Ага, вот списочек...

— Катя ничего не знала об Анне, — попыталась остановить Ариадну Марина, повторив за нею фразу, которая, по всей видимости, зацепила ее. — Анна ничего не знала о Жоржике-младшем, а Аманда, его мать, ничего не знала о тебе.

— Верно, — согласилась Ариадна, на этот раз не очень понимая, куда клонит Марина. — Все вроде бы правильно, да что-то тут не так.

— Ты права. Никто ни о чем не знал, кроме Георгия Сергеевича, разумеется. А я вот знала все и обо всех и взвалила непосильное бремя на свои хрупкие плечи. Вероятно, из врожденной подлости. Я самая большая грешница! — и она громко отставила сковороду, громыхнув ею, выключила плиту и быстро вышла из комнаты.

— Если отбила ты, где гарантия, что его не отобьют у тебя, если он такой «отбивчивый»? — это были как бы мысли вслух, задавать вопросы уже было просто некому. — Гарантийный талон проштамповать хотя бы не забыла? — зачем-то добавила Ариадна.

Впрочем, пора было сворачивать утреннюю разминку.

Она продолжила пить кофе, размышляя, зачем затеяла весь этот никчемный и даже вредный, в известном смысле, разговор. Вот уж воистину, молчание — золото. Ведь не раз давала себе слово — особенно во время авторских своих программ, вернее, ровно за пять минут до их начала — не задавать неудобных вопросов интервьюируемым. Но потом, все больше входя в охотничий азарт преследования дичи, все больше распаляясь от того, насколько верно почуяла след, начинала крушить все на своем пути, множа и без того немалую армию своих недоброжелателей.

Через минуту Марина вернулась, что-то резко выложила перед падчерицей, снова занялась блинами.

— Что это? — недоуменно спросила та.

— Деньги.

— Какие деньги?

— Здесь десять тысяч. Ты просила их у отца.

— А-а-а! — протянула Ариадна. — В самом деле!

Господи, какая же она дура! Так подгадить самой себе!

— Знаешь, что самое обидное во всей этой истории? — миролюбиво затянула она, но, так и не дождавшись ответа, добавила: — Отец никогда не вспоминает мою мать, будто ее и не было на свете, будто меня ему подбросили на порог или он забрал меня из приюта, отчаявшись заиметь своего собственного ребенка. А ведь моя мать еще не очень старая и по-своему привлекательная женщина. И все ждет, что когда-нибудь он позвонит и хотя бы попросит у нее прощения.... Ладно, спасибо. Я пойду...

— Подожди, Ариадна! Георгий Сергеевич хотел бы, чтобы вы все задержались у нас еще какое-то время. Он хотел, чтобы вы... чтобы вы увидели Афины. Он мечтал съездить с детьми в Афины.

— Нет-нет! Только не Афины! — взмолилась Ариадна. — Дети пусть едут, но только без меня. Вот если бы кто-нибудь отвез меня в Касторью! — в голосе у Ариадны появилась просительная интонация.

— Я, пожалуй, тебе помогу. Я дам тебе машину и водителя. При условии, что ты вернешься сегодня же. Все равно в Афины надо ехать в ночь.

— Спасибо, Марина! — Ариадна сделала попытку обнять молодую мачеху, которая годилась ей, пожалуй, в младшие сестры, но Марина едва заметным движением отстранилась от нее.

— Извини, Ариадна, мне еще предстоит испечь целую гору блинов. Хочу порадовать детей домашней едой. Греческая кухня для них непривычна, — и она поставила на вторую конфорку еще одну сковороду.

Ариадна обернулась у самой двери:

— Марина!

— Да, Ариадна?

— Присмотрите за Дашкой, пока я в Касторью за шубкой смотаюсь.

— Конечно присмотрим, — ровным голосом ответила Марина. Что было у нее на душе, понять было трудно.

Лишь только Ариадна миновала гостиную, поднялась на первую ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж, как ее окликнул Жоржик-младший. Вот тоже не спится кому, носят черти в такую рань...

— А, братишка, привет! — произнесла она с изрядной долей иронии. Ее забавляла эта ситуация: куда ни кинь взор — всюду братья и сестры, прямо как в церкви.

— Куда ты все время торопишься? В детстве, помнится, ты больше радовалась моим приездам.

— Так ведь нас тогда было только двое. И ты был такой пленительный малыш. Большеглазый, в кудряшках, прехорошенький.

— И ты вовсю мной забавлялась. Дурацкие бантики на кудряшки завязывала.

— Ты и это помнишь? — изумилась женщина. — Ведь тебе было года три. Ты прилетел с Амандой, словно с другой планеты спустился. Аманда мне казалась... — Ариадна на минуту умолкла, словно с головой ушла в воспоминания, — она мне казалась запредельно красивой, нездешней, неземной. Я, кажется, тогда впервые смогла понять отца и, может быть, даже простить. Хотя, — вдруг перешла на резкий тон Ариадна, — все это ложь, я никогда его не понимала. И даже сейчас, когда веду себя во многом подобно ему, то есть не очень порядочно, скажем прямо.

— У нас в Испании он был бы разорен — уже после первого развода.

— В самом деле?! — зло рассмеялась женщина. — А ему все нипочем. Он только крепче становится на изломе и еще больше любит красивых баб. А ты, похоже, не в него. Хотя, что я о тебе могу достоверно знать?! Во всяком случае, за отцом в твоем возрасте тянулся шлейф ослепительных побед. Ладно, братишка, поговорим, когда вернусь! — И она стала стремительно подниматься по лестнице.

Жоржик чувствовал себя неважно после ночной попойки с Гаврилычем. В поисках минералки он забрел на кухню, изумился не меньше Ариадны, завидев Марину, пекущую блины.

— Марина, ты уволила всю прислугу? — удивленно спросил он.

— Жоржик, хотя бы ты не задавай мне глупых вопросов. Я второй день не нахожу себе места. Мне просто необходимо чем-то занять себя, чтобы отвлечься.

— Неужели все так плохо?

— Не знаю. Врачи молчат. Я просто извелась. Может быть, Георгий съест хоть что-то из того, что я ему принесу. Хотя я и сама в это плохо верю. Его все время рвет.

— Марина, так нельзя!

— Я знаю... Андрюша умрет от горя, если с отцом что-нибудь случится. Он его любит безумно.

— А ты?

Марина замолчала. Кажется, она не давала повода...

— Хочу напомнить вам, уважаемый Георгий Георгиевич, что ваш отец...

— Марина, не злись, ради бога. Мне всегда было трудно поверить в искренность твоих чувств к отцу. Он вдвое тебя старше. Я просто не верю в слепую женскую наивность.

— Послушай, Жорж, — уже мягче произнесла Марина, — я не должна ни перед кем оправдываться по поводу своих чувств к твоему отцу, тем более перед тобой. Но я тебе все-таки скажу: Георгий Сергеевич замечательный человек, он личность в самом высоком смысле этого слова, таких всесторонне одаренных, потрясающе интересных людей я мало встречала в жизни. И мне странно, обидно и непонятно, почему я должна объяснять это именно тебе, его сыну. И любовник он потрясающий. Если именно об этом ты хотел меня спросить.

— Марина, прости меня, ради бога. Но не стоит во всех подробностях обсуждать все пятнадцать выдающихся талантов моего отца.

— Ты спросил, я ответила.

— Прости меня, ради бога! — повторил Жоржик. — Просто я тебе желаю огромного счастья. Даже с моим отцом. И всегда желал. И вообще, что тут обсуждать?! Ну, подраконили друг друга немного и в хорошем настроении разойдемся по своим делам.

Марина махнула рукой, тем самым дав понять, что разговор окончен. Да и дети один за другим потянулись на кухню. День начался.

Анна категорически отказалась ехать в Афины.

— Нет, сутки в дороге — это не для меня. Да и у нас с Валерией на сегодня совсем другие планы. Правда, Лерик?

— Никак к архитектору собралась? — едко поинтересовалась Ариадна. Сама она подготовилась к поездке в Касторью, была собранна и деловита. Вопрос сорвался с языка скорее по привычке язвить всегда и каждому. — Будешь теперь с греком водку пить... вот дела!

— День не задался прямо с утра? А иначе с чего бы такие выводы? — зло отреагировала Анна. — Послушай, Ариадна, я никогда не лезла в твои дела, не комментировала твои похождения.

— Еще бы! Кто вообще ты такая?! — Ариадна прямо-таки вышла из себя. — Молчала, молчала, и на тебе — утрись! Хотя понять тебя можно: осень близко, если ты понимаешь, о чем я.

— Ты от своих семи пядей отними шесть и девять десятых, — вспыхнула Анна, — останется в самый раз. Надо внимательнее слушать других, тогда и выглядеть будешь умнее.

— Ух, как вы разошлись! — вмешалась Катя. — Не ссорьтесь. Не стоит. Вас слушают дети. Я поеду в Афины. И возьму с собой всех детей. Валерия, хочешь поехать с нами?

— Ой, тетя Катя, спасибо! Я даже не знаю. Я мечтала увидеть в Греции все. Афины — это, конечно, здорово. Мы по истории Древней Греции изучали храм Зевса, а еще Парфенон, — и она вопросительно посмотрела на мать.

Анна пожала плечами.

— А Дашку мою возьмешь? — уже выходя из кухни, в последний момент поинтересовалась на всякий случай у Кати Ариадна.

— А почему нет? Конечно, возьму. Езжай со спокойной душой.

— Не злитесь, родственнички. Все мы здесь обречены. — Ариадна все-таки задержалась. — Погода, когда все время дожди, называется «займи и выпей». Однако бессмысленность бытия, ненужность людей друг другу еще не говорит о том, что человек не может быть счастлив. И не стоит думать, что у других все бывает иначе.

Это была последняя фраза Ариадны, непонятно к кому обращенная. Впрочем, что имела она в виду, уточнять никто не стал. Да и не у кого уже было.

Марина, присутствовавшая при разговоре, молча ухаживала за детьми, наливала кому сок, кому чай. Андрюша, единственный, потребовал молока.

— Испорченные с пеленок вкусы, — заметила Катя. — Готовишь им каши, супы, котлетки, а они просятся в «МакДональдс». Аня, чем ты Валерию кормишь по утрам?

— Все просто: хлеб с маслом, кусочек сыра. Лерик, чем я тебя кормлю? — Анна все еще приходила в себя после перепалки с Ариадной. Вот не хотела она ни с кем ссориться, видит бог. Но Ариадна переходит черту.

— Мам, это я тебя кормлю по утрам. Забыла, что ли? Гренки жарю и манную кашу варю, — Валерия не поленилась встать, чтобы снисходительно чмокнуть сидящую рядом Анну.

— А я манную кашу терпеть не могу! — заметил Павлик, доедая третий блинчик с мясом. — Тетя Марина, вы такие вкусные блинчики готовите! Научите маму, пожалуйста.

— Павлик, — засмеялась Катя, — ты не лучшим образом выставляешь свою мать. Аня с Мариной подумают, что я вас вообще не кормлю. Тем более что ты и Вера самые худые дети на свете.

— Мам, ты же знаешь, почему я много не ем, — встрепенулась Верочка, едва осилившая один блинчик, — когда-нибудь я стану знаменитой балериной.

Марина улыбнулась, подвинула к Верочке стакан с апельсиновым соком.

— Марина, как ты думаешь, — спросила вдруг Катя, — если в Афины мы отправляемся в ночь, могу ли я навестить Георгия? До вечера ведь еще далеко.

— Не знаю даже, что тебе сказать, — печально произнесла Марина. — Георгий очень ослаб, никого не хочет видеть, — добавила она, приступив к мытью посуды.

В полдень Анна с Лерой собрались на прогулку. Предварительно расспросив Танечку, как быстрее добраться до отеля «Александрос Палас», они отправились открывать для себя непарадную Грецию. С одной стороны их путь лежал вдоль побережья, с другой — открывался замечательный вид на деревню: красочные домики лесенкой повторяли все изгибы главной, очень уж живописной улочки Неа Рода.

Первым делом они остановились у небольшой часовенки на вершине скалы. Отсюда можно было бы взлететь. Если бы были крылья. И потом долго парить в восходящих потоках теплого воздуха над прозрачными водами Эгейского моря, над изрезанной береговой линией, над мелкими островами, протянувшимися вдоль побережья, над кажущейся сахарной виллой Ильина.

— Боже мой, Лерка, какая красота! Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное в жизни?

— Мам, ну где бы я могла такое видеть? Только в кино!

— Вот и я о том же. А давай заглянем в часовенку.

— Давай!

Они подошли ближе к каменному строению в полной уверенности, что оно закрыто, — вокруг не было ни души. Анна потянула дверь, та поддалась. Внутри было прохладно и... торжественно.

— А кто здесь служит, интересно? — шепотом спросила Валерия.

— Не знаю, — так же тихо ответила Анна. — Посмотри, свечи горят. А вот совсем нетронутые свечки. Как ты думаешь, можно их брать?

— Ну не бесплатно же они тут лежат! — разумно заметила Валерия.

— Не знаю. Наверно, нет. А вот, кстати, и ящичек со щелью для денежных подношений.

— Давай бросим монетку, — предложила Лера. — У меня есть один еврик. Мне Андрюша подарил.

— Хорошо, я согласна. У меня тоже еврик завалялся где-то. — Анна заглянула в кошелек. — Даже два. Вот мы с тобой какие богатые. А давай помолимся!

— А о чем?

— Тебе разве не о чем попросить Бога? Попроси ума больше, и везения, и здоровья своей матери. Ладно, подумай сама, — и Анна стала перед иконой и сложила свои ладони, губы сами зашептали о сокровенном.

В центре деревни под прямым углом от дороги отделилась широкая тропа. Дорога дальше снова пошла вверх, вдоль побережья, а тропа запетляла по низине. В этом месте Неа Рода естественным образом разделялась на две части, между ними лежало огромное безжизненное пространство, поросшее степной травой. Тропа, пролегающая по низине, с одной стороны окаймляла жилую половину деревни, другая, торговая, хоть и просматривалась свободно, все же выглядела несколько игрушечной, уменьшенной ввиду заметной отдаленности.

Какое-то время Анна с Валерией вышагивали вдоль добротных домов, выстроенных в греческом стиле. Этот стиль легко угадывался во внешней простоте жилища, в обязательном наличии изысканных архитектурных деталей, которые, собственно, и придавали этой простоте ощущение совершенства.

— Лерик, а ты бы хотела тут жить?

— Как это?

— Ну, остаться навсегда?

— Нет, мама! Если жить в такой красоте, то уже и мечтать будет не о чем.

— А-а-а! Ну да! Пожалуй! Ладно, пошли дальше. Как ты думаешь, что там за сад маячит впереди? Какие плоды созреют в нем к осени?

— Ну, может быть, апельсины или киви, — мечтательно перебирала Валерия любимые фрукты, — или орехи.

Катя робко вошла в просторную, очень затемненную комнату. Она не сразу узнала Георгия, настолько он изменился и похудел за два последних дня. Лицо, какого-то желтого оттенка, стало похожим на восковую маску. Георгий спал. Катя села на ближайший стул, долго всматривалась в дорогие некогда черты. Она боялась пошевелиться, вспугнуть мгновение, когда ей выпала удача снова оказаться рядом с любимым человеком, подарившим ей в жизни столько счастья и принесшим столько страданий... Как же она ненавидела его в тот момент, когда он объявил, что уходит к Марине! Она готова была сжечь, испепелить эту женщину жаром своей ярости. Так не поступают благородные мужчины. Убивая, не оставляют жертву жить.

Катя робко потянулась к Георгию, мягко прикоснулась к его холодной руке. Он открыл глаза. С выражением непередаваемой муки произнес:

— Катя? Зачем? Зачем ты здесь? Тебе надо быть с детьми.

Можно подумать, он озабочен их судьбой, их благополучием, их безопасностью, — с болью подумала женщина.

— Послушай, Георгий! Мне жаль...

— Ты о чем?

— Мне жаль, что ты заболел. Правда. Я не хочу, чтобы ты умирал... Хотя я желала тебе такого конца много раз. Но столько же раз я раскаивалась. Прости меня, если можешь.

— Катя, я виноват перед тобой. Но надо быть честным: если бы я начинал жизнь сначала, все снова бы пошло по тому же сценарию. Кроме того, признаюсь: у меня нет иллюзии победы жизни над смертью. Разве что в наших детях...

— Ты жестокий! — глаза ее наполнились слезами.

— Просто я свободу ценю превыше всего. И ты об этом знала всегда.

— Но ведь ты и сейчас несвободен. Марина...

— Я не хочу говорить с тобой о Марине. В этом тоже мой выбор. Мой свободный выбор.

— Ты просто старый, похотливый, выживший из ума сластолюбец. Всякое безумие должно иметь осмысленную меру, хотя о чем это я, безумие не бывает осмысленным, — резко и зло проговорила Катя и, кажется, тут же пожалела о сказанном. Ей никогда не вырваться из этого ада, никогда...

Не прощаясь, она понуро побрела прочь. Как жаль, что она не взяла с собой пяти тысяч, врученных утром Мариной. Она швырнула бы ему сейчас эти деньги, и пусть бы он знал: никогда она не возьмет у него ни копейки и никогда больше не произнесет перед детьми его имя.

Вечером она отправится в Афины, хотя, будь ее воля, она уже сегодня улетела бы в Москву. Но раз уж так вышло, отъезд состоится двумя днями позже. И ничто не сумеет ей помешать.

Через три с половиной часа Ариадна была уже в Касторье. С чувством упоения ворвалась она в огромный шубный магазин, который располагался на въезде в город. Она примерила первую приглянувшуюся ей шубку — сердце зашлось от счастья. Наконец-то! Настоящий, ничем не омраченный, даже отсутствием или недостатком средств, шопинг. А шубка ничего! Вот точно такая же, но с капюшоном. До чего же приятно пройтись рукой по шелковистому, прохладному, тонко выделанному меху норки. Ариадна понеслась по огромному магазину, в порыве вдохновения примеряя все подряд. Водитель терпеливо сопровождал ее, едва справляясь с трудностями перевода. Немного

погодя он приотстал, кто-то уже протягивал ему кофе по-гречески — холодный напиток с шариками мороженого, а еще через минуту он наслаждался беседой с хозяином меховой фабрички, забыв об Ариадне. Да и нужда в переводчике отпала. Выяснилась, что продавщица сносно говорит по-русски. В общем, все было замечательно. Шубку было из чего выбирать. Ну не возвращаться же в Неа Рода, проехав три с половиной часа и посетив лишь один-единственный магазин. Так не пойдет. Ариадна не пропустит ни одной лавки на своем пути. И самая лучшая шубка в Москве будет у Ариадны Ильиной, автора и ведущей одной из самых интеллектуальных передач российского телевидения.

В следующих двух магазинах шубы были шикарными, изысканными, но и дороже раза в два. Полушубки были еще лучше, цены на них, однако, еще больше взмывали ввысь. Очевидно, фантазия у дизайнеров обострялась по мере укорочения длины изделия. В одном из полушубков норка в воротнике была разрезана на полоски и чередовалась с кусочками кожи. Эффект был потрясающим. Ариадна уже представляла себе, как появляется в студии, небрежно сбрасывает с себя полушубок и все девицы в радиусе пятисот метров сбегаются посмотреть на ее очередное приобретение. Ариадна взглянула на ценник — охренительно дорогой полушубок! Ладно, она подумает еще немного.

По мере углубления в город дизайнерские экземпляры искусства скорняков поражали воображение Ариадны все больше и больше. Но и усталость начинала вползать в душу. Персиковая шубка из норки, с шиншилловым воротником, шла ей необычайно. Русская продавщица поинтересовалась, помогает ли ей кто-либо совершать покупки. Интересно, — стала размышлять Ариадна, — если она ответит ей «нет», скажется ли это на цене в сторону удешевления. Или, наоборот, лучше сказать «да», мол, водила помогает. Откуда вообще в этом городе столько въедливых русских теток? Тем временем Ариадна облачилась в тонкую шубу из каракуля с норковыми вставками, редкое, надо отметить, сочетание и редкая красота. Она уже расстроилась, ну почему не попросила у отца денег раза в два больше. Тогда она могла бы себе позволить, предположим, две шубки. А еще лучше три. На разные случаи жизни. В одной — к любовнику, в другой к директору канала, в третьей на благотворительный вечер. Главное, не перепутать: к директору — ни в коем случае не являться в самой шикарной, ибо это чревато урезанием гонораров. А уж благотворительность вообще надо подавать скромными руками, иначе всегда найдется кто-то, готовый осудить дающего за элементарное жлобство. С любовником и подавно ясно: пусть с самого начала знает, с кем имеет дело. Маху, в общем, она дала с этими деньгами. Да за один удачно пристроенный сценарий отец кучу бабок загребает, что ему стоит отжалеть каких-нибудь двадцать-тридцать тысяч для любимой дочери. Лишь бы ребенок счастлив был! Обут, одет и накормлен!

Ариадна вышла из очередного магазина и поняла, что устала.

— Веди меня в кафешку, — бросила водителю. — Я тебя покормлю.

Пока возились с форелью, осторожно поинтересовалась:

— Слушай, Теодорос, а ты случайно не знаешь, какая фирма обслуживала вечеринку отца?

— Да, знаю я этих ребят. Они из Фесалоников, — Теодорос оказался на редкость сметливым малым.

— Ну-ка, ну-ка, поподробнее! Как фирма, говоришь, называется?

— Да какая разница?! Я завезу вас прямо по адресу.

— Ну молодчина. Подзаработаешь тем самым. А еще накину немного за понятливость. А теперь подлей мне вина. Очень уж форель вкусная. И поедем

за полушубком. Дорогой, правда, уж очень. Ну да где наша не пропадала! — и она ловким движением продолжила отделять кусочки форели от костей и с наслаждением отправляла их в рот.

Янниса Метаксаса Анна с Лерой нашли в фойе отеля. Широкие стеклянные двери, соединяющие административное здание с внутренней территорией отеля, гостеприимно распахнулись перед ними. Яннис беседовал, по всей видимости, с управляющим отеля, презрительно прищурив глаза. По всему было заметно, что тот категорически не согласен с архитектором в каком-то принципиальном вопросе, но зависимое положение не позволяет ему высказать это в резкой форме. Хорошо, он все передаст хозяину, и тот решит, как поступить в данной ситуации.

За спиной у управляющего Яннис увидел Анну, рядом ее дочь, настроение его резко взыграло, и он неожиданно для себя пошел на мировую с управляющим. Тот ошалело оглянулся, увидел женщину и взрослую девочку рядом, умолк, поклонился и расторопно покинул фойе.

— Ну, наконец-то! — Яннис радостно развел руками, словно пытаясь выразить переполнявшую его радость. — Идемте, мои дорогие. Я покажу вам мое детище.

— А мы уже многое увидели сами. Мы ведь вошли на территорию «Александрос Палас» с тыльной стороны. Так что, сколько шли, столько и глазели по сторонам.

— Ну что ж, я рад! Я очень рад! Идемте, я покажу вам наш ресторан. С его террасы открывается просто-таки идиллическая картина. К тому же приближается время обеда, не грешно и перекусить.

Они вышли через парадную дверь главного здания отеля на прилегающую уличную территорию. Асфальтированная дорога, начинавшаяся у порога отеля, огибала все неровности ландшафта и спускалась, скорее всего, к шоссе, которое пролегало, по всей видимости, где-то неподалеку, вдоль афонского побережья. Кусты зацветающих бугенвиллий колоритно обрамляли парадную дверь отеля. Дивными соцветиями они касались огромных греческих амфор, восхищавших отдыхающих своими выверенными пропорциями.

Яннис повел гостий в ресторан через уличный проезд, в обход главного здания с его внешней стороны, наверно, для того, чтобы они в полной мере насладились прекрасным видом парадного входа, декорированными изящной решеткой широкими дверями, уютными балконами второго и третьего этажей. Они продвигались вдоль замечательной площадки для отдыха с аккуратно вмонтированной сценой в дальнем углу. Со стороны улицы площадка была огорожена внушительным по ширине каменным забором, но поскольку все это наполненное деталями пространство было как бы утоплено внизу, оно прекрасно просматривалось со стороны резко поднимающейся вверх дороги. Вокруг сцены с одной стороны теснились изящные столики со стульями, с другой — амфитеатром расположились скамейки для зрителей.

Коктейли, очевидно, готовили в баре, расположенном ярусом выше. Там тоже стояли столики — для тех, кто не жаждал окунаться в гущу концертной жизни, а довольствовался выпивкой да еще созерцанием праздной курортной жизни.

На территории «Александрос Палас» было малолюдно, сезон только начинался. Однако это не мешало всем службам отеля функционировать в полную силу, чтобы те туристы, что рискнули приехать на Айон-Орос (так по-гречески называется Афон) в конце мая, не чувствовали себя хоть в какой-то мере ущемленными. Двери скромных бунгало по левую сторону круто

поднимающейся вверх узкой асфальтированной дороги то и дело распахивались — отдыхающие направлялись в ресторан.

Яннис увлек своих девочек в глубину зала, который представлял собой огромное крытое пространство с высоким потолком и большими окнами и одновременно выполнял функцию раздаточной, а также предназначался для приема греческих яств. Как ни странно, эти две, казалось бы, абсолютно разные функции помещения не входили в противоречие друг с другом. Длинные столы на раздаче, расставленные в два ряда, являли собой радостную картину на тему изобилия и эстетики греческой кухни. Мясные блюда, рыбные, многочисленные салаты, брынза, оливки, яркие фрукты, белые и розовые йогурты, налитые в глубокую посуду, — все сочилось, изнемогало от желания быть съеденным здесь и сейчас.

— Мама, как все красиво! Как вкусно! — прошептала Лерка. — Хочу все попробовать.

— Девочки, запоминайте все, что вам понравилось. Выбранное вами мы сейчас закажем, и нам все принесут на террасу, — произнес Яннис с царственной интонацией и повел гостий на открытую часть ресторана.

Сраженные внезапным впечатлением, Анна с Валерией ахнули одновременно. Перед ними открылся такой изумительный вид, что впору было забыть, зачем они здесь, в ресторане. Терраса волнующим изгибом тянулась вправо и плавно повторяла все изгибы бассейна, который расположился внизу, прямо под рестораном. А впереди, и справа, и слева, до самого горизонта простирались прозрачные воды Эгейского моря. Все было так тонко продумано, каждая деталь так бережно пригнана, что у Анны само собой сорвался вопрос:

— И это все вы?

— Ну не совсем все, — удовлетворенно хмыкнул архитектор, — мне помогали. А давайте сядем вот здесь. Отсюда открывается чудесный вид на залив.

— А разве это не Эгейское море? — пришла в замешательство Валерия.

— Эгейское, Эгейское. Только здесь оно превращается в залив под названием Сингитикос.

— Яннис, скажите, пожалуйста, как можно создать такую красоту и не воспользоваться этим. Я имею в виду не жить в ней постоянно?

— Анна, милая, если бы архитекторы жили в границах своих творений, они либо перестали бы творить, либо никогда не имели бы собственного дома. Это моя работа, которую я люблю, но тем не менее занимаюсь которой исключительно ради денег.

— Ради денег? — повторила Анна с вопросительной интонацией, не понимая, как такое возможно.

Принесли поднос, полный еды. Молодой грек помог расставить блюда, посовещавшись с Яннисом, чуть позже принес бутылку красного вина. Его вкус показался Анне восхитительным. Оно не дурманило голову, но проясняло чувства. Господи, как давно за ней никто не ухаживал, не давал понять, что восхищен ею.

Час спустя Яннис повел своих девочек взглянуть на все примечательные уголки отельной территории, которые — он был уверен — они не успели еще толком рассмотреть. Позже они спустились к морю.

— Посмотрите налево! Вам повезло: только в очень ясную погоду видна оконечность Айон-Ороса, или Афона, как называют его русские.

— Мама, можно, я куплю себе в баре кока-колу?

— Ну конечно, Лерик. Возьми сумку, там кошелек.

Валерия отправилась мимо идеальных рядов пустующих в эту пору лежаков к скучающему за стойкой бармену.

— Анна, — Яннис взял руку женщины в свою и прижал ее, несколько театрально, к груди, — мы сейчас отвезем твою дочь к Георгиосу в Неа-Рода, а затем вернемся сюда и продолжим наш так великолепно начавшийся вечер.

— Нет, Яннис! — растерявшаяся Анна осторожно высвободила свою руку. Не подыскав подходящих случаю слов, замолчала надолго. Потом все-таки нашлась: — Вы сейчас вернете нас с Лерой в дом Ильина, и мы расстанемся с вами как добрые друзья. И потом долгими зимними вечерами в Минске, — а в Минске зимы очень долгие, неуютные, промозглые, — я буду с улыбкой вспоминать и наш с вами вальс, и чудесный обед в «Алескандрос Палас».

— В это можно смело не верить. Если вы так скоро спасаетесь бегством.

Ну и дура! Самая настоящая дура! — корила себя Анна. Так глупо влипнуть! Как будто нельзя было изначально предположить, что все закончится именно так. Господи! Вечно она попадает в подобные истории. Немолодая женщина с повадками дикой лани. Ничего не может быть смешней и нелепей. Ну что, собственно, такого страшного произошло? Мужчина, очень интересный во всех отношениях, предложил ей остаться на ночь. Ариадна ни на секунду не усомнилась бы в том, что все будет красиво, незабываемо, обворожительно. Впрочем, Ариадна вряд ли бы позарилась на стареющего ловеласа.

Ночь любви, и колыхающиеся занавески, и тихое потрескивание свечи, и запах моря в открытом окне, и касания нежной мужской руки... Нет, никогда! Так гадко, так унизительно падать в объятия ловкого обольстителя, лишь только он поманил наивную душу, посулил ей любовные радости. В конце концов, она бы хотела, чтобы ее добивались долго, очень долго, и звали замуж каждый день, и пусть бы свидетелем ее маленького торжества был бы Георгий, и пусть бы сердце его разрывалось от тоски и ревности.

— Анна, Анна, вы меня слышите? — Яннис теребил ее за руку, заглядывал в глаза, словно хотел внушить свои мысли, желания.

— Мы с Лерой возвращаемся домой! — твердым голосом произнесла Анна, так что ретивый обольститель сразу все понял.

Гаврилыч на цыпочках пробрался в палату, тихо пристроился на стуле у изголовья Ильина. Георгий медленно открыл глаза, казалось, почувствовал колебание воздуха.

— Гаврилыч, родимый, здравствуй! — придушенным голосом произнес он. — Как же я рад тебя видеть, дружище! Значит, я жив и, может быть, завтра еще не подохну.

— Хорош пугать! Мы с тобой еще повоюем!

Ильин в ответ сделал попытку улыбнуться, улыбка получилась вымученной.

— Гоша, дорогой, может, тряхнем стариной? — с ласковой интонацией вопросительно произнес Гаврилыч. — Я тут кое-что припас, — и он осторожно вытащил из-за пазухи бутылку водки, накрытую, как глубокой дамской шляпкой, двумя пластиковыми стаканами.

— Нет, Гаврилыч, ты сам. А я полюбуюсь тобой.

Гаврилыч не заставил себя долго упрашивать. Он наполнил стакан, разом опрокинул его, занюхал рукавом. Следом наполнил второй.

— Знаешь, я все кумекаю про себя, как так у нас с тобой вышло. Вроде бы вместе учились, физикой элементарных частиц оба мечтали заниматься. И ты действительно ею занимался, а потом пошел дальше, разными новомодными теориями физики космоса увлекся, стал развивать Теорию Суперструн, что-то там подправлять в ней, спорить с самим Стивеном Хокингом. Ты рассуждаешь о бранах, дуальностях, компактик... компатфик... фу, черт, не выговоришь, — не очень трезво Гаврилыч боролся с тяжеловесным, труднопродираемым

словом, — компактификации и черных дырах. А еще о Вейлевской теории кривизны. — Он вытер пот, настолько трудно далось ему предложение. — А я, старый козел, погряз в разборках со своими женами-иностранками, будь они неладны, ухаживаю по очереди за их немощными телами, лишь бы они в своих завещаниях — не дай бог! — не обошли меня стороной. Я, между прочим, глядя на тебя, переместился в другие декорации, то бишь женился на Амелии. Уж больно лихо ты рванул за кордон открывать свои Америки. И вот теперь я выношу горшки за своими бабами, сначала — за Амелькой, потом за Габриэлой, а ты тем часом порхаешь от одной молодухи к другой, и все они продолжают трепетать перед тобой, даже числясь твоими бывшими. Открой, наконец, тайну, как тебе удается владеть их душами.

— Гаврилыч, не стоит сейчас об этом. Ей-богу, я сотни раз сожалел о том, что сделал их всех несчастными.

— Дурак ты, Гоша! Ты принес в их жизнь свет. А иначе чего б они все слетелись по первому твоему зову?

— Да нет, все не так, — отмахнулся он.

— Ну конечно же, это так. Какие могут быть сомнения?

— Да и не звал я их вовсе. Я детей хотел видеть. Подружить их между собой мечтал.

— И в этом ты тоже должен быть счастлив. Сколько детей здоровых выпустил на свет белый! А я вот один-одинешенек, как перст божий, — Гаврилыч запрокинул голову, поднес бутылку ко рту и... едва не разрыдался. — Бездарно прожитое время. И я воспринимаю собственное поражение все с тем же накалом чувств... А Грецию ты мудро выбрал. Такую домину отгрохал. Греция того стоит. Ей-богу! Даже Амелька мне такого дома не оставила.

— Я и в самом деле Грецию очень люблю. Мы здесь и с Катей прежде бывали. И не один раз.

— Если бы ты только знал, старый черт! Я твою Катю боготворил. Какая женщина! А ты... Э-э-эх! Ладно. Так что про Грецию?

— Мне всегда хотелось стать истинным греком, научиться воспринимать жизнь, как только греки одни и умеют делать это. Без суеты, без заискивания перед нею. Созерцать море, закаты, сидя где-нибудь в баре на берегу — за бутылкой метаксы, к примеру. А рядом бегают мои дети... В мире вселенского хаоса и беспредела я улавливаю на этой земле элементы гармонии.

— Вот в этом ты преуспел. Я имею в виду твоих детей. Небось, одна Марина вряд ли справилась бы с таким их количеством? Тут нужна была целая бригада, настоящая команда, здоровый плодовитый гарем. Так что все было не зря, дорогой Гоша. Во всем просматривается божественный замысел, или умысел — ты как считаешь? Ты, кстати, веришь в Бога?

— Именно сегодня — да!

— Вот что я тебе скажу, старина. Не дело ты задумал. Вставай и доводи до ума детей своих малых. Да и М-теория в тебе нуждается. Дописывай свои уравнения, которые объединяют... объясняют Вселенную, — выдал Гаврилыч. Все-таки, по-видимому, не совсем был пьян. — Утрамбовывай и дальше свою стезю. И вообще запомни: мы не имеем права умирать, пока не опустошим твой бар. Едва унюхал я его. Раньше ты прятал спиртное в глобусе. Ну, бывай! На днях еще загляну.

И он вышел шаркающей походкой.

В Салониках Теодорос высадил Ариадну у ресторана, знаменитого на весь Халкидики тем, что если кто-то когда-то хоть раз воспользовался услугами его вышколенных мальчиков-официантов, он потом возвращался по их

души вновь и вновь. Теодорос пообещал забрать Ариадну через полчаса, в полной уверенности, что можно будет и не возвращаться вовсе. Впрочем, он все-таки заглянул на всякий случай минут через сорок. Ему передали записку, что он свободен. Вот и отлично. Надо было торопиться в Неа-Рода, чтобы сдать автобус своему напарнику — ему в ночь отправляться в Афины.

Теодорос был славный малый, почти русский. То есть на самом деле он был грузином с греческими корнями. Окончил высшее военное училище в Минске, лет десять назад переехал в Грецию. И перебивался здесь на самых разнообразных работах, лишь бы платили. С работой было туго. И все равно это было самое головокружительное приключение в его жизни — снова почувствовать себя греком. Он приехал сюда с женой и ребенком и каждый день доказывал себе и всем, кому это было хоть в какой-то мере интересно, что поступил он взвешенно и что жизнь его идет в гору. И никакие встряски, вроде бесконечных демонстраций с требованиями повышения зарплаты, социальных выплат или против монополии раскрученного бизнеса местных толстосумов, не могли поколебать его уверенности в правильности сделанного выбора.

Ариадна кометой ворвалась в тихое, уютное пространство греческого ресторана, сразу узрела юное лицо своего мальчика, подкатила к нему, скучающему у стойки бара, будто невзначай.

— Так это ты?! Вот не ожидала тебя тут встретить. Какая приятная случайность!

Грек не отозвался. Во всяком случае, лицо его ничего не выражало. Может быть, он ее не понимал. Все-таки грек.

— Будьте добры, мне виски со льдом, — сказала она на хорошем английском и приготовила самую крупную купюру из тех, что через Марину передал ей утром отец.

Юноша купюру заметил. Он кивнул головой и вернулся совсем скоро со стаканом на крошечном подносе. Тут же стопкой помятых бумажек лежала сдача.

— Как тебя зовут? — бесстрастно спросила Ариадна.

— Костас, — ответил парень. Выражение его лица смягчилось.

— Оставь эти деньги себе. Я бы хотела, чтобы ты показал мне город. Я здесь впервые, и мне все очень нравится. Я очарована Грецией и греками. Особенно такими юными, как ты.

— Нет проблем. Я только скажу хозяину, что сегодня больше не работаю. Можете подождать меня на улице. Красная машина — это моя.

— О'кей! — ответила Ариадна и пошла к выходу вихляющей походкой. Только теперь она сообразила, что мальчик прилично изъясняется на русском.

— А почему в первом классе детям женихов и невест не подыскивают? — спросила она сама у себя шутливо. — А потому что в начальной школе грудь не сформировалась, да и с попой не все понятно.

В восемь вечера к парадным дверям ильинской виллы плавно подкатил маленький автобус. Тот самый, на котором утром в Касторью умчалась Ариадна. Водитель был другой — немолодой грек с окаменелой улыбкой на лице, больше смахивающей на гримасу. Дети попрыгали в автобус в порядке нарастания старшинства. Сначала Андрюша — он сел с водителем впереди, потом передумал и переместился в салон. За ним поднялся Павлик и сел рядом, Верочка потянула за собой Дашу. Неожиданно появившаяся Валерия — никто не знал, когда она вернулась в деревню, — заняла последний широкий ряд и даже примерилась, можно ли там будет поспать, все-таки путь до Афин предстоял долгий, километров семьсот, не меньше. Однако завидев Таню в дверях автобуса, дружелюбно потеснилась.

Последней в салон автобуса поднялась Катя, сразу за Гаврилычем, строгим голосом приказала всем пристегнуться. У каждого в кармане лежала записка с адресом виллы на греческом языке и телефонными номерами. Марина, тоже заглянувшая в автобус, приглушенным голосом давала Кате последние наставления, впрочем, наставлениями это вряд ли можно было бы назвать, скорее просьбы или дружеские советы — как не потерять детей в большом городе, не дать им умереть от жары, от жажды, от тайфуна и извержения вулкана в придачу.

— В багажнике у вас еда на весь завтрашний день. Ждем вас назад к ужину. — И она чмокнула в щеку подскочившего к ней Андрюшу, прошептала что-то ему на ухо, подтолкнула назад. — Катя, ты только не волнуйся, ради бога. Через пятнадцать минут к вам присоединится русскоговорящий гид. Диана знает дорогу «от и до». Все будет хорошо! — и она помахала вслед плавно отъезжавшему автобусу.

Марина вошла в дом, мгновенно определив, где и в чем нарушен обычный порядок вещей, чтобы тут же броситься наводить его, — все-таки, когда руки были заняты, душа ее не рвалась на части. Она собрала на поднос стаканы, расставленные тут и там, стала перекатывать на свои обычные места тяжеленные кресла, непонятно для чего и кем смещенные с этих мест, стала поправлять на них чехлы, но потом махнула на все рукой и рухнула в одно из этих злосчастных кресел. Только сейчас она поняла, насколько устала за три последних дня. Захотелось просто разреветься — такое количество испытаний выпало на ее душу за столь короткий промежуток времени.

Вся ее жизнь до сегодняшнего дня, хоть и не была лишена сомнений и внутренней работы над собой, все-таки проходила под знаком большой удачи и добротного женского счастья. Ей даже стало казаться, что Бог присматривает за нею. У нее было все, о чем мечтает любая женщина: любимый муж, рядом с которым не приходилось ни минуты скучать, ребенок, одаренный малыш, о котором она бредила задолго до его рождения. У нее были великолепные квартиры — одна в Москве, другая в Чикаго, где Георгий преподавал в местном университете, наконец, вилла на Афоне. Были подруги, как ни странно, настоящие, хотя их наличие всегда трудно предположить при стабильном семейном положении любой из сторон. Сколько печально почивших дружб наблюдала Марина в жизни! Они рассыпались от одного неосторожно сказанного слова, от завистливого взгляда, неспособности преодолеть душой явного или скрытого, такого естественного для людей, неравенства. И тогда все летело к черту: долгая и счастливая история дружбы, совместные поездки к морю, девичьи посиделки и еще много чего другого. Но вот Марине повезло. Просто она умела дружить, была терпеливой, деликатной, помогала неунизительно и щедро. Ее любили. И только разрушенные браки Георгия, даже те, к которым она не имела никакого отношения, и, конечно, брошенные им дети являлись причиной бесконечного, никогда не покидающего ее чувства вины.

— Господи, прости меня, если можешь! — прошептала она тихо.

— Марина, что ты там мурлычешь? — Жоржик так неожиданно возник за спиной, что Марина вздрогнула. Она испугалась того, насколько громко застучало ее сердце. Не хватало только, чтобы Жоржик услышал его взволнованные удары и истолковал их на свой счет.

— Я думала, в доме никого нет... Дети с Катей и Гаврилычем укатили в Афины... У тебя тоже была возможность прошвырнуться вместе с ними.

— Я не мог оставить тебя одну в такой момент. Хотя, бьюсь об заклад, ты вообще обо мне забыла. Да мы и не одни в доме вовсе. Анна недавно приехала на такси.

— Анна? — удивленно переспросила Марина. Она с трудом возвращалась к действительности.

— Видно, не поладили с архитектором, — заметил язвительно Жоржик.

— Послушай, Жорж! Я бы не хотела, чтобы ты неуважительно отзывался о бывших женах своего отца, — как можно мягче произнесла Марина, однако укор в голосе явственно наличествовал.

— Не надо со мной так, Марина! Я сыт по горло назидательными речами отца. Я бы не хотел, чтобы и ты звучала с ним в унисон. Я готов разделить с ним любые его взгляды на жизнь, на творчество, на М-теорию, в конце концов, но только не на женщин.

— Он был всегда со всеми честен, — слабо возразила Марина. — Никого не обманывал. Просто уходил.

— А по-другому быть не могло? Или это оправдывает мое несчастное детство? Застывшие вопросы в глазах других его детей? Агрессию Павлика или не по годам самостоятельность Леры?

Марина удивленно взглянула на пасынка.

— Ты, наверно, хотел еще что-то добавить? — почти неслышно произнесла она. — О своих обидах, одиночестве, ненужности? Я согласна дать тебе слово. Но давай договоримся: я выслушаю тебя в первый и в последний раз.

И она сама вдруг заплакала беззвучно, обхватив голову руками, сотрясаясь всем своим тонким, красивым телом.

— Марина, я умоляю тебя, не надо! — он прикоснулся к ее руке нежно, будто хотел успокоить.

А она плакала все сильнее и сильнее. И чем больше он успокаивал ее, тем больше ей хотелось, чтобы он прикасался к ней снова и снова, и говорил слова утешения.

У нее началась настоящая истерика, Жоржик перепугался не на шутку. Он рванул к бару, закамуфлированному под картину в тяжелой старинной раме, — о нем, кстати, не догадывался даже Гаврилыч, рыскавший тут пару ночей назад в поисках спиртного, — резким движением открыл первую попавшуюся бутылку, плеснул немного виски в стакан, поднес к Марининым губам. Ее зубы застучали мелко по стеклу, она сделала над собой усилие, чтобы набрать в рот обжигающей жидкости, а потом и проглотить ее. Сделала еще глоток. Ее продолжало трясти, но уже заметно меньше. Жоржик и себе налил полстакана, не спеша выпил содержимое.

— Я помогу тебе добраться до твоей комнаты, — решительно произнес он.

— Нет, я сама! — она попыталась встать и снова упала в кресло.

Жоржик растерялся. Можно было оставить ее ночевать здесь. И самому пристроиться в соседнем кресле... В конце концов он так и поступил. Погасил везде свет, оставив лишь фонарь снаружи, у парадной двери. Комната погрузилась во мрак. Огромная венецианская люстра на потолке поблескивала отраженным светом; блики, словно забывшие уснуть ночные зайчики, сновали по стенам, ступенькам и потолку. Жоржик устроился в кресле, спать было неудобно, но все-таки можно. Он заснул.

Через полчаса резко открыл глаза. Марина смотрела на него из своего кресла напротив немигающим, гипнотизирующим взглядом.

— Жоржик, помоги мне подняться в спальню. У меня дико кружится голова. Кажется, меня сейчас вырвет, — и она протянула к нему руку.

Жоржик приблизился к Марине, подставил свое плечо, приобнял. Так они и потянулись к лестнице. По ступенькам идти было не совсем удобно, Жоржик поднял Марину на руки и понес в комнату. В спальне бережно опустил на кровать. В нерешительности замер над нею. В этот момент он не мог бы

поклясться даже себе, что смутное желание, которое он так явственно ощутил, зародилось в нем только сейчас. Тем не менее, он сделал шаг к двери.

— Жоржик! — слабо произнесла Марина. — Не уходи! — и она снова начала плакать.

Жоржик склонился над нею, прильнул губами к ее дрожащим ресницам в соленой влаге, стал целовать ее горячие губы, приговаривая:

— Не плачь! Все будет хорошо. Все будет просто замечательно.

Он стал раздевать ее быстрыми движениями, она чувствовала сладостные касания крепких мужских рук и через мгновение забылась в его сильных, упругих объятиях. Два опьяненных любовью тела. Они ничего не сказали друг другу, чтобы не подпускать к себе реальность словами и именами.

— Господи, что я творю со своей жизнью? — глядя в потолок, со страданием проговорила она, когда Жоржик задышал ровно и спокойно. Он уже не слышал ее. Непробудный молодой сон мгновенно сковал здоровый организм. — Что я вообще вытворяю с собой? — Она с тоской посмотрела на красивое, словно выточенное, лицо Жоржика-младшего. — А ведь ему не придется вмонтировать это в свою жизнь! Завоеватель без преднамеренья...

Анна слышала какой-то шум внизу, чей-то нервный плач, недолгую возню на лестнице, потом и вовсе короткий разговор где-то рядом, через комнату или две. Ей было безразлично, что происходит в доме, кто плачет, почему. Она не была ни любопытна, ни безучастна в равной мере, но в данный момент ее собственные терзания достигли той степени накала, когда она благоразумно решила, что с нее на сегодня хватит. В конце концов, в доме оставался Жоржик, пусть он и утешает страдающую. Даже если в утешении нуждается сама Марина. Ей и в самом деле не помешало бы пережить волнующие минуты в страстных объятиях молодого мужика, — с несвойственной ей язвительностью и даже с неким чувством мстительного удовлетворения подумала Анна.

Солнце поднялось довольно высоко, когда Анна по-утреннему лениво открыла глаза. Дом был погружен в настораживающую тишину. Ни едва слышных, скользящих касаний пола ножками вышколенной ильинской прислуги, ни грациозного, легкого постукивания Марининых каблуков, ни Жоржиковых пружинистых и сильных шагов. Как же не хватает сейчас дому детской возни Андрюши, шумного выяснения отношений между Павликом и Верочкой, Дашиных неуклюжих столкновений с самыми различными предметами на ее пути, Леркиных смешных и дельных советов! Как было бы здорово, если бы все эти замечательные дети были Аниными детьми и этот чудесный дом принадлежал бы ей и Гоше, и они бы жили большой и дружной семьей!

Анна глубоко вздохнула. И было столько всего в этом вздохе: и тоска по несостоявшемуся счастью, и радость от того, что дети эти рождены, пусть другими женщинами, и пожелание им доброй судьбы, и страх за них. Но больше всего за Лерку, дочь — самое дорогое, что было у нее.

Когда-то, когда Ильин бросил ее, не поинтересовавшись даже, как она будет жить дальше, она готова была умереть. И если он бросил ее одну, то никакие силы на свете не могли заставить ее признаться в том, что их уже скоро будет двое. Он не заслуживал ее тайны. Раз уж она не заслуживала его любви. Она бродила дни напролет по набережной Москва-реки, размышляла, как легче поставить точку в своей неудавшейся жизни. Но потом случился короткий декабрьский день, когда выпал первый снежок, он лежал таким ровным и чистым покрывалом, словно решил преобразить до неузнаваемости день ее ухода. И вдруг на минуту из-за снежных туч выскочило тусклое и чуть-чуть больное солнце, и его бледные лучи заскользили по крышам

вот только недавно серой, а теперь обновленной Москвы, и в этот момент Анна отчетливо поняла, какое же это счастье жить и носить под сердцем ребенка — любимого, долгожданного, единственного. У нее сразу же созрел план — уйти из кордебалета и тихо, ни с кем не прощаясь, уехать в родной Минск, к маме. В конце концов, дома и стены помогают.

А потом был долгий, мучительный период. Когда она была словно прилеплена к Лерке, повторяла мысленно и наяву каждое движение маленького существа. И не было возможности ни на день, ни на час взять от нее отпуск, вырваться к друзьям в Москву, на концерт своей труппы. Лерина бабушка работала тяжело, на двух работах, чтобы обеспечить своих девочек. Это был безрадостный, изнурительный труд: утром на литейном станке, где бесконечной, змееподобной лентой вытекал еще теплый резиновый уплотнитель, а вечером в этом же цеху она подрабатывала уборщицей, сметая в совок рассыпавшиеся по углам гранулы пластиката. К ночи она добиралась домой без сил, с одним желанием — спать. Аня кормила ее поздним ужином, и они, едва обменявшись одной-двумя фразами, засыпали нервным и не очень глубоким сном. Первые месяцы Лерка просыпалась несколько раз за ночь, подолгу плакала, не отпускала от себя ни на шаг. Так они и спали: Анна в халате и носках, малышка у нее на груди, попкой кверху.

Анна поднялась, вышла на балкон. Вид завораживал. Как же она любит море! Какая немыслимо прекрасная страна Греция! На горизонте показался парусник, потом другой, третий. Какой же это надо жить жизнью, чтобы вот так беззаботно парить над водами Эгейского моря?! С каким багажом надо родиться и каким содержанием его продолжать наполнять, чтобы этот багаж никогда не иссяк?

Она подумала вдруг о Яннисе. Нет, это точно герой не ее романа. Законченный бабник с замашками аристократа. Она симпатизирует более внятным мужчинам. Ну его к черту! Думать о нем вовсе не хотелось.

А вот Гошу надо бы навестить. И прямо сейчас. В Уранополи ходит автобус. Несколько раз в сутки, кажется. В первой половине дня, главным образом. Пожалуй, она не станет пить сейчас кофе. Встречаться с Жоржиком, а тем более с Мариной, ей не хотелось. Вот что действительно замечательно — у нее теперь есть деньги. Марина вчера торжественно вручила. Будет на что позавтракать в городе. А вообще надо все взвесить, продумать и самым оптимальным образом распорядиться деньгами. Не каждый день ей выпадает такая удача. Георгия надо обязательно увидеть. И сказать ему самое главное — она не держит на него зла.

На остановке автобуса выяснилось, что автобус ушел пять минут назад, следующий будет только через час. Можно прогуляться по набережной. Продавцы не спеша отворяли лавки, выкладывали и вывешивали товар. Анна бродила от прилавка к прилавку, высматривая себе летнюю сумку, а Валерии — что-нибудь стильненькое. Все это она купит, вернувшись из Уранополи, — не хочется весь день таскаться с этим барахлом. Греки без особого любопытства рассматривали ее, белокожую северную женщину с серыми глазами. Они лениво переговаривались между собой, потягивая через трубочки свой холодный кофе по-гречески. Не было ни суеты в их движениях, ни желания услужить кому бы то ни было. Молодая парочка, вроде бы немцы, что-то долго выбирала в сувенирной лавке, никто им не мешал.

Анна осторожно вошла в затемненное нутро прибрежной таверны, попросила чашку горячего кофе и два крошечных пирожных — из тех, что были выставлены на витрине. Пирожные оказались необыкновенно вкусными.

— Хау мач? — спросила Анна у подошедшего официанта.

Он показал ей чек, на котором значилось пятнадцать. Анна отсчитала ровно пятнадцать евро и тут же пожалела о потраченных деньгах. Она могла бы купить Лерке еще одну майку.

У входа в городскую больничку Анна столкнулась с Ариадной. Обе шли в одном направлении.

— Привет, — не слишком дружелюбно произнесла Анна.

— Привет! — ответила равнодушно своим хрипловатым, вязким голосом Ариадна.

Она выглядела устало, но эта усталость была, по-видимому, приятного свойства. Во всяком случае, она вылепила на лице какую-никакую улыбку.

— Послушай, если ты собираешься к отцу, я тогда, пожалуй, прогуляюсь немного, — сказала сдержанно Анна. — Не стоит нам всем кагалом вваливаться к нему в палату. Для Георгия Сергеевича это станет большим стрессом.

— Пожалуй, не стоит, — миролюбиво согласилась Ариадна. — Я ненадолго. Минут через двадцать возвращайся. — И она нырнула в проем двери на своих тонких покачивающихся ногах. Ее бедра были несколько широковаты для таких цаплевидных ног.

— Папуля, привет! — Ариадна впорхнула в палату, бросилась к отцу на шею.

Георгия всегда коробило это обращенное к нему «папуля». С трудом он пытался всякий раз разглядеть в этой грубо размалеванной девке с пухлыми губами, с силиконовой громадной грудью, которая непонятно как держалась на худющем и бессильном теле с тонкими ногами, свою дочь — некогда маленькое чудо с прекрасным овалом лица, с бархатной кожей, с широко открытыми и всему удивляющимися глазами, с локонами невероятного, пепельного оттенка, подчеркивающими тот самый прекрасный овал. Теперь она превратилась в вульгарное существо, в карикатуру на саму себя. Гордо несла знамя своего эмансипированного племени, доказывая окружающим право жить широко, по-мужски, провозглашая всяческие свободы. Вот только во имя заработка ей приходилось иногда банально эксплуатировать свою женскую сущность, а заработав, тратить деньги так, как полагается тратить свободным мужчинам, — на дешевые, а порой и не очень, альковные страсти, на загулы где-нибудь на испанском побережье, на ненужные шмотки и прочее.

— Как ты себя чувствуешь? — голос ее прозвучал так, что было трудно понять, действительно ее волнует здоровье отца или приличие заставляет задать дежурный вопрос.

— Я рад, что ты все-таки пришла. У меня к тебе просьба, — бескровными губами произнес Ильин. — Не оставь Андрюшу и Марину, ежели что... Ты сильная.

— Не поняла?! — грубовато отозвалась дочь. — А ты куда собрался? Впрочем, не отвечай. Могу тебя утешить: ты еще поживешь... Однако забавно получается: когда ты оставил меня с матерью, ты как-то забыл перепоручить нас кому бы то ни было. А времена были дикие. Или тебе напомнить?

— Послушай, Ариадна! Я никогда не оставлял вас без финансовой поддержки, и ты это знаешь отлично.

— Мы стали никому не нужны, не интересны, мы стали изгоями, на мать словно черная тень опустилась... И все-таки я тебя прощаю. Одолев половину пути, вернее, пронесшись сквозь события своей, не самой простой, жизни на крыльях генетической памяти, то есть, проще говоря, унаследовав от тебя твой генетический код, я не имею морального права хоть в чем-то тебя упрекать. В известном смысле ты стал для меня примером. Как никогда не надо

себе изменять, своим страстям, цинизму, видениям. И оставаться преданным единственно важному жизненному кредо — лелеять свое «эго».

Голос Ариадны звучал почти зло, и в то же время Ильин мог поручиться: Ариадна была совершенно искренна.

— Я не хотел бы, чтобы ты жила с такой ненавистью в сердце.

— Брось ты, папуля! Какая ненависть?! Ничего, кроме благодарности за здоровые гены и блестящий пример! — голос ее смягчился.

— Хотелось бы верить!

— Нет, правда! Если бы ты знал, как я гордилась тобой, когда Кевин Кларк начал ставить фильмы по твоим сценариям. Я ходила и рассказывала всем подряд: «Это мой папа все придумал!» Мне не верили. Я даже дралась с мальчишками, а Любаше вообще выбила зуб. Я не знала еще тогда, что существует такой иезуитский прием в творческом мире, который к победителю не применит только ленивый, — сомневаться во всем: в авторстве, в искренности, в чистоте намерений, в гениальности, наконец.

— А ты поумнела... Раньше с тобой можно было говорить только о мальчиках и нарядах.

— Так я и сейчас не прочь об этом поболтать, — рассмеялась Ариадна. — Ладно, папуля, я пошла. К тебе тут Анна рвется. Жалко бабенку. Остальные хоть в женах твоих походили. Ну все, больше не буду. — И она поцеловала Ильина в холодную шершавую щеку.

Спустившись на первый этаж, Ариадна вспомнила, что не поблагодарила отца за деньги, но возвращаться не стала.

Как только за дочерью закрылась дверь, Ильин предпринял попытку подняться. Хотелось в туалет. Негоже родителю обнаженным щеголять перед детьми. С трудом приведя себя в вертикальное положение, пальцами ног коснулся прохладного пола, ощущение было приятным. Кружилась голова, однако тошнота уже столь сильно не досаждала. Держась за спинку кровати, он медленно встал и... тут же рухнул обратно, ноги не держали. Он снова поднялся, уже увереннее. Только бы не пришла сейчас Анна!

Стоило об этом подумать, как дверь тотчас приоткрылась и почти незаметно, как-то бочком, в нее проскользнула Анна. Ильин сделал шаг в сторону, покачнулся, схватился за широкий подоконник и стал медленно оседать. Анна бросила сумку у входа, рванулась к Георгию, едва успела его подхватить.

— Анна, проводи меня в туалет, пожалуйста.

— Конечно, конечно...

И она обвила его руку вокруг своей шеи и то ли повела, то ли потащила к туалету.

— Как чисто в этой больничке! — только и сказала, задохнувшись, она.

Через пять минут они сидели друг против друга, он на кровати, она на стуле — как старые добрые друзья.

— Анна, у меня только что была Ариадна.

— Я знаю, Гоша. Не волнуйся. Я не стану тебя утомлять слишком долго. Тебе нужны покой и положительные эмоции.

— А ведь я тебя любил, Анна, — проникновенно произнес Георгий.

— Я знаю и об этом, Гоша. Просто такая нам выпала судьба.

— Но я все равно бы тебя оставил. Как ни жестоко об этом говорить.

— Значит, все было предопределено, — глаза женщины увлажнились.

— В момент встречи с тобою я был на пике своей научной формы. В Союзе я достиг максимума. На мои лекции ломились, мои идеи воровали, а я был беден как церковная мышь. И это все происходило со мной уже после Испании и Мадрида, где я успел прочувствовать, что значит быть свобод-

ным, быть востребованным. Но оторваться совсем от родной почвы я никак не решался. И вот Кристофер Фаррелл, случайно попав на мою лекцию, по достоинству оценил мои гипотезы и пригласил меня тут же в Чикагский универ, где всегда была сильна школа физики. Благо, времена уже были другие, препятствий никто чинить не стал. У меня открылось второе дыхание. А там я уже познакомился с Кевином Кларком. После череды неофициальных встреч появилась идея написать сценарий фантастического фильма. Он оказался удачным. Принес мне деньги и славу. Я купил квартиру в Чикаго, в Москве, потом еще одну в Москве, вот этот дом построил на Халкидики.

— Дом замечательный, Гоша. Только зачем ты все это мне рассказываешь? Я не хочу твоих оправданий. Они мне не нужны, да и неинтересны. Если быть честной до конца, я никогда не видела будущего у наших отношений.

— А ты стала жесткой...

— Это не совсем так. Просто надо смотреть правде в лицо.

— Почему ты скрыла от меня рождение Валерии?

— Вскоре ты снова стал отцом. И это уже было неактуально.

— Расскажи мне, какая она, наша дочь.

— Лерка славная, — голос Анны потеплел. — Немного угловатая, временами смешная. Но очень добрая. Говорит, что это я ее дочь на самом деле. Непутевая, несамостоятельная, неуверенная.

— Мне так не показалось. Вот Яннис Метаксас очаровался тобою...

— Не надо. Я не хочу об этом... И, конечно же, я не такая, какой видит меня дочь. Я вполне самодостаточная, иногда мудрая, иногда хитрая, в общем, обыкновенная баба. Люблю танцевать, держу свою школу танцев, она нас с Леркой кормит.

— Я любовался тобой, когда ты танцевала с Яннисом вальс. В тот момент я даже пожалел, что жизнь все-таки конечна. А иначе можно было бы все пройти по второму кругу, и кто знает, какой бы был финал.

— Не обольщайся, Гоша, финал был бы тот же. И ты в финале всегда с новой и более юной женой и еще одним маленьким, самым любимым сыном.

— Ты хочешь сказать, что все уже было?

— Все уже было, но только иначе. И все подлежит описанию твоей Теорией Суперструн. Не так ли, наш дорогой физик?

— Странно, почему Марины нет до сих пор, — неожиданно поменял тему разговора Георгий. — Ты видела ее сегодня утром? Она ничего не просила передать?

— Гоша, дети уехали в Афины. А я ушла из дому, когда остальные еще спали.

— Какие еще Афины?! И Андрюша уехал? — голос Ильина старчески задрожал. Он, кажется, забыл, что был инициатором поездки. Анна увидела, насколько он сдал.

— Да не волнуйся ты, ради бога! С ними Катя, Гаврилыч и Танечка. Все будет хорошо, — Анна погладила его руку.

— Я устал, Анна, — его едва было слышно.

— Гоша, я все понимаю. Тебе нельзя волноваться. Я ухожу.

Анна, приподнявшись, приникла к груди Георгия, поцеловала в губы. От нее пахнуло уютом, покоем, чистотой и еще чем-то очень знакомым, но позабытым, чему он названия так и не вспомнил.

Появилась медсестра, немолодая гречанка с некрасивым лицом. На плохом английском объяснила, что завтра ему не стоит есть, доктор будет проводить обследование. Другой доктор приедет из Фесалоников и еще один из Афин. Она сделала обезболивающий укол и тихо выскользнула из палаты. Ни

в одной стране мира люди в белых халатах не любят надолго задерживаться у постели больного.

Георгий на минуту представил, как завтра врачи вынесут ему приговор, изъясняясь преимущественно на греческом, так им проще будет обсудить все нюансы его болезни, а он будет лежать и улыбаться — дурак-дураком, — хотя, возможно, это будет его последний осмысленный день.

Надо срочно учить греческий! Вот только как осилить произношение шестью способами одного только звука «и»?! Не говоря уже о других трудностях. И во сколько, интересно, выльется завтрашний консилиум? Пожалуй, Ариадна права в одном — он действительно выздоравливает, раз снова думает о деньгах.

Мучительного цвета абажур напротив заставил его прикрыть глаза.

Лишь только автобус покатился по автостраде в направлении первого пальчика Халкидики, Гаврилыч сразу же заклевал носом, а потом и вовсе захрапел. Дорога действовала на него умиротворяюще. Он давно уже понял, что дороги мира заменили ему счастье жизни. Каких-нибудь тридцать-сорок лет назад он еще надеялся на что-то, надеялся, что вот-вот поймет, в чем оно, его человеческое предназначение, — в физике, лирике, в красивых женщинах, от которых поначалу крыша съезжала. А может быть, в настоящей мужской дружбе, подкрепляемой бурными возлияниями и бесконечными выяснениями истины: где же жизнь счастливее — на сытом Западе или в обескровленной, до боли родимой России. Потом стало казаться, что главное — это дети, но поскольку бог ему их не дал, то и это стало содержанием не его в отдельности взятой жизни. Он всегда немного завидовал Ильину, но зависть эта была доброго свойства. Он завидовал его многосторонней одаренности, артистичности натуры, завидовал легкости, с которой тот охмурял все новых и новых женщин, в конце концов, его плодовитость тоже не оставляла Гаврилыча равнодушным. Это ж надо только подумать! Сколько маленьких и больших Ильиных бродит по белу свету, и в каждом до времени дремлет в зародыше ильинская гениальность!

И все же, несмотря ни на что, Гаврилыч был необыкновенно горд дружбой с Ильиным, платил ему самой большой привязанностью, на которую был только способен.

С женщинами было иначе. Поначалу Гаврилыч увлекался ими, боготворил, потом долго пребывал в состоянии равнодушного созерцания: а что еще могут выкинуть в жизни эти алогичные, непредсказуемые создания. Наконец начинал тяготиться ими и пьяно рассуждать, где же были его глаза, почему он не видел раньше, что они склонны к истерии, демонстративности поведения, лжи, а то и просто беззастенчиво стареют, толстеют, становятся похожими на жаб.

Георгию попадаются бабы, очевидно, совсем другой породы. И чувства его к ним словно вырваны из иного человеческого контекста. И когда Георгий боготворил своих женщин, а потом, случалось, ненавидел их, Гаврилыч страстно завидовал ему. Ему также хотелось объять женскую душу, прикоснуться к оголенным нервам, чтобы пережить нечто равное по накалу чувств. Он всю жизнь искал женщину, чтобы так влюбиться, но когда находил, все равно не дотягивал до высокой планки Ильина. Что ж, Гаврилыч искренне за него рад. Ему же не остается ничего другого, как стареть вместе со своими нелюбимыми женами и ждать от них наследства. Ибо зарабатывать другим способом он, воспитанный в лучших традициях советского общества, так и не научился.

Катя несколько раз легко касалась плеча Гаврилыча, он на минуту прерывал свой храп с присвистом, а потом снова принимался выводить только

ему понятные рулады. Его не смог разбудить громкий звук микрофона присоединившейся к ним вскоре девушки-экскурсовода.

Пока хоть что-то было видно за окном, дети глазели на бегущие вдоль дороги уютные деревеньки, на темные очертания то ли гор, то ли холмов, тянущихся долгой грядой, а потом, когда все стало неразличимо, разве что свет фонаря вырывал из темноты одинокий дом у дороги, каждый сосредоточился на своем. Павлик осваивал новую игру на своем мобильном телефоне, он что-то громко приговаривал, вроде того, что база построена, силы подтянуты и он сейчас мигом их всех прикончит. Андрюша зачарованно смотрел в маленький экран своего старшего брата, но потом вспомнил вдруг, что у него самого в рюкзаке лежит новенький планшет. Он сунул в рюкзак руку, ни на минуту не отрывая взгляд от игры на экране Павлика, но когда Диана что-то там заговорила о планах на завтрашний день, он все-таки переключился на свой планшет.

— Посмотри, что у меня есть! — сказал он Павлику.

— Ну что еще? — раздраженно буркнул Павлик, но все-таки бросил быстрый, оценивающий взгляд на предмет в Андрюшиных руках. — Подумаешь! У моего друга в классе есть еще покруче, — и он снова уткнулся в телефон.

Но буквально через минуту, когда Андрюша перестал зачарованно пялиться в его экран, Павлику и самому стало не так уж интересно выстраивать свою стратегию дальше. Он искоса, одним глазом, стал поглядывать на большой экран Андрюшиного планшета, а потом и вовсе закруглился со своей стратегией и со словами, сказанными нарочито равнодушно: «Ну-ка, дай взглянуть!» — завладел Андрюшиной игрушкой.

Катя чуть отстраненно, боковым зрением, наблюдала за детьми, ее кольнуло пренебрежение, которое выказал уже не в первый раз по отношению к Андрюше ее сын, в то же время как-то болезненно сжалось сердце при мысли, как безоговорочно и дружелюбно Андрюша принимает любые поступки, совершенные Павликом.

Верочка с Дарьей довольно мирно беседовали на свои девчоночьи темы, обижать друг друга как будто намерения не имели.

— А ты что, собираешься балериной становиться? — с нескрываемой завистью решила уточнить Даша.

— Ну как тебе сказать? — немного манерничала Верочка. — Мама говорит, на балерину стоит выучиться, а вот быть балериной совсем не обязательно.

— Как это?

— Ну что тут непонятного?! Балерины все такие красивые, у них ноги, как у Барби. А всю жизнь прыгать по сцене — это очень тяжелая работа.

Окончание следует.



ЖАННА ЗАВАЦКАЯ

Из темного, глухого далека

Гамаюн — птица вещая

За воротами тишь
Роковая, зловещая...
Что печально глядишь,
Гамаюн — птица вещая?
Что грустишь? Все одно —
На чужбину далекую
Улетели давно
Сыновья твои — соколы,
Чтоб в заморской стране
В горделивом парении
Щегольнуть по весне
Золотым оперением.
А за ними вослед
От порога от отчего
Уплыли в белый свет
И лебедушки-дочери.
Заневестились тут,
Засиделись в девичестве.
Их за морем найдут
Женихи заграничные.
Не твоя в том вина,
Что птенцы желторотые,
Насладившись сполна
Материнской заботою,
Сговорившись тайком,
Удалые, проворные,
Променяли свой дом
На житье забугорное.
Разве мало ты их
Миловала, лелеяла,
Врачевала больных,
Мелодичными трелями
Услаждала, еду
Добывала обильную,
Отводила беду
Распростертыми крыльями?

И любимых детей,
Молодых, неиспорченных,
Берегла от когтей
Остроклювого коршуна?
Все мечтала, вот-вот
Детки стайкою звонкою
Унесутся в полет
Над родимой сторонкою.
Но осталась сидеть,
Что и было предсказано,
В опустевшем гнезде,
Как сова пучеглазая.
Им бы, глупым птенцам,
Убедиться воочию,
Что такое ты там
Наплела, напророчила.
Им бы взять да спросить:
Что тобою завещано?
Отчего на Руси
Нарекли тебя «вещая».
Но в заморском краю
Детки ночками жаркими
Лишь блудливо поют
Да на Родину каркают.
Дескать, эта страна,
Им чужая и странная,
Безнадежно больна
И до одури пьяная.
Словом, грош ей цена,
Если силы растрачены.
И не мамка она,
А постылая мачеха.
Подскажи, ты же мать,
Как случилось, что любо им
Так отчизну клевать
Неокрепшими клювами?
Не жури, не брани,
Вспомнят детки со временем,
Из какого они
Вышли роду и племени.
И вернутся назад,
Поумневшие, взрослые,
Закричат, закружат
Над родными покосами.
«Ты прости нас, земля,
Величавая, мудрая.
Мы — твои сыновья,
Непутевые, блудные».
И, забыв о былом,
Все поймет и доверчиво
Примет их под крыло
Гамаюн — птица вещая.

Старость

Из темного, глухого далека,
Морщиниста, горбата и убога,
Плетется старость в пыльных башмаках,
Неловко приволакивая ногу.
Ворча, грозит костлявою рукой
Не в меру пылким молодым невеждам
И гонит прочь увесистой клюкой
Заветные желанья и надежды.
Она приходит, так уж повелось,
Не в одиночку, а с недугом в паре,
Как нежеланный и незваный гость,
Как дикий и безжалостный татарин.
И за спиной коварно притаясь,
Ехидно прохихикает на ушко:
«Не бойся, ведь на самом деле я
Довольно справедливая старушка.
Какой бы я жестокой ни была,
Но от тебя мне лишнего не надо.
Я, подытожив все твои дела,
Заслуженную выплачу награду.
Когда, умея жертвовать собой,
Другим в беде протягиваешь руку,
На склоне лет ты обретешь покой,
Состарившись в кругу детей и внуков.
Но если жаждой славы ты томим,
Лишь власти и богатству зная цену,
Я стану одиночеством твоим,
Судьей и палачом одновременно».
Вздохнула старость, молча поднялась,
Взяла клюку, шагнула на дорогу.
И, спотыкаясь, дальше поплелась,
Неловко приволакивая ногу.





НАУМ ГАЛЬПЕРОВИЧ

Вздох нежности

Повесть

Автобус неумолимо удалялся. Кажется, только мгновение назад еще светились сзади красные огни, а уже темнота поглотила силуэт, оставив только слабый гул мотора, который постепенно стихал.

Андрей остановился, убедившись, что продолжать бег бессмысленно. Сердце колотилось в груди, пот выступил на лбу.

«Надо немедленно позвонить, там ведь все свои, пусть скажут водителю, чтобы остановился, подождал немного», — мелькнула мысль. Но мобильника почему-то не было.

«Как так, где же я мог его потерять? — в отчаянии думал Андрей. — Как назло!»

И вдруг мобильник отозвался мелодичным звоном.

Андрей проснулся, отбросил одеяло, нащупал мобильник на тумбочке, выключил будильник. Тело было покрыто потом, скомканная простыня, на которой он вертелся всю ночь, имела и вовсе мятый вид.

Не первый раз снились ему под утро такие сны: то он опаздывал на поезд или на самолет, то все товарищи, с которыми он был в командировке, оставляли его в отеле одного... Врач, милая отзывчивая женщина, говорила, что это все от его стенокардии, советовала пить перед сном что-нибудь успокаивающее.

Андрей встал, подошел к окну. Светало. Моросил мелкий дождик, и бронзовый Скорина на площади, казалось, съежился. «Бедный Франтишек, — усмехнулся Андрей, — не спрятаться, и с пьедестала не сойти, и зонта нет».

Здесь, в родном городе, было довольно непривычно смотреть на знакомую площадь из гостиничного окна. Андрей вспомнил, как торжественно открывали этот памятник, и он, подросток с полоцкой окраины, зачарованно смотрел, как падало с бронзы белое полотно, и глазам открывалась величественная фигура знаменитого полочанина.

«Вот бы написать об этом, но удастся ли передать тот детский восторг, то трепетное чувство радости и гордости, ощущение сопричастности к чему-то великому и таинственному», — думал, одеваясь, Андрей. Он знал, что близкие порой посмеиваются над его сентиментальностью, юношеским максимализмом в его-то годы, но ничего поделать не мог. В среде таких же краеведов, как сам, Андрей слыл авторитетом, ходячей энциклопедией. И тема его диссертации, и многочисленные статьи были в основном посвящены Полоцку или событиям, связанным с полоцкой землей. С раннего детства Андрей мысленно путешествовал по подземным лабиринтам, начинавшимся у Софии, вместе с Всеславом Чародеем мчался через ночной лес из Киева в Полоцк, сражался с наполеоновскими войсками на Красном мосту.

Его учитель истории Яков Александрович, которого Андрей уважал и считал самым образованным в мире человеком, заметил увлечение юноши

и посоветовал ему писать историю родной улицы. И они вместе с приятелем по историческому кружку Толиком Василенко ходили по домам, записывали в тетради рассказы об артели «Правда», о нефтебазе, о железнодорожном тупике... Андрей пытался узнать больше о Спасо-Евфросиниевском монастыре, но Толик отговорил: отец не советовал трогать богомолок.

Кто знал тогда, что улица будет называться улицей Евфросинии Полоцкой и что по ней будут подъезжать шикарные туристические автобусы прямо к монастырским воротам?..

Будучи студентом, потом аспирантом, Андрей с радостью торопился домой — в небольшой, но уютный дом родителей, где во дворе ждал старый вяз, деревянный столик со скамейкой: здесь Андрей любил заниматься, когда готовился к выпускным экзаменам в школе. В крохотной прихожей на вешалке висели знакомые вещи, в гостиной радовала глаз картина на стене, которую они с мамой когда-то купили в книжном магазине с маминой тринадцатой зарплаты.

Это была, ясное дело, репродукция. Поленов, «Московский дворик». Тогда она и понравилась своим сходством с их двором, и за годы, проведенные здесь, этот московский дворик стал почти родным.

Картина по-прежнему висит на стене, но ни папы, ни мамы уже давно нет, старый вяз спилили. В доме теперь живет старшая сестра жены, которая с тремя детьми бежала из пылающего Грозного во время первой чеченской войны. Ее муж, водитель «скорой помощи», местный русский, погиб от шальной пули своего же русского солдатика, который принял его за боевика, когда он на своей собственной машине мчался домой предупредить семью, что в город врываются танки.

Андрей уже тогда жил с семьей в Минске, родительский дом у них с сестрой был вместо дачи, и конечно, когда жена со слезами на глазах заговорила о том, что Зое с детьми негде жить, сомнений не было. Правда, муж сестры Петро заикнулся было, что надо заплатить им за их часть, но Андрей устроил скандал, сказал, что он за все заплатит, но знаться больше с сестрой не хочет, и в конце концов все успокоилось, поскольку Петро, хоть и был изрядным выпивохой и скандалистом, Андрея побаивался и уважал.

Как-то раз, в один из приездов, Зоя постелила ему на знакомом старом диване в гостиной.

Андрей спал плохо. Чуть свет он поднялся, подошел к окну, глядевшему в старый сад, потом бросил взгляд на знакомую картину. Стало жутко от изображения поленовского дворика, нахлынули воспоминания, и ноги сами понесли на улицу.

Он не торопясь пошел к воротам Спасского монастыря. Церквушка, как свеча, белела в предрассветном сумраке. Андрей перекрестился.

Он, в прошлом пионер, комсомолец, коммунист, сам не ожидал, что придет к вере, что имя преподобной Евфросинии, о которой он слышал с раннего детства, станет для него не просто образом просветительницы, а засияет святым огнем в душе, что он будет чтить это имя святой заступницы белорусского народа.

...Андрей отогнал воспоминания, прошел в душевую и, стоя под тугими струями прохладной воды, осваивался в непривычном для него состоянии приезжего гостя в родном городе. Потом, вытираясь махровым полотенцем, осматривал свое временное пристанище. Это был, конечно, не Шанхай, куда он недавно ездил в командировку. Там все сияло роскошью: и широченная кровать, и телевизор во всю стену, и шикарный буфет с посудой, и ваза на столе со свежими фруктами — подарок администрации...

В родном городе все было просто и по-спартански строго. Андрей в последнее время не раз ночевал в разных гостиницах и привык оценивать

их прежде всего с точки зрения удобства. Полоцкий отель в этом смысле был хоть и не на сто процентов хорошим, но вполне сносным.

Спустившись в холл и поздоровавшись с дежурной, — она его, вероятно, узнала, приветливо заулыбалась, — он вышел на площадь. Дождь прекратился, но в воздухе пахло сыростью и утренней свежестью.

Андрей подошел к бронзовому Скорине, немного постоял, глядя на знакомый с юных лет силуэт, затем спустился вниз, на набережную.

Над Двиной висел туман, и от воды поднимался пар, как бывает всегда, когда на смену вчерашнему зною приходят дождь и прохлада.

Андрей вспомнил, как они с одноклассниками после выпускного экзамена взяли напрокат лодку и поплыли против течения вверх, за железнодорожный мост. Грести было тяжеловато, но именно это и влекло — юношеские мышцы требовали нагрузки, хотелось почувствовать силу в руках, ту бодрость во всем теле, которая бывает только в молодости.

Была весна, щедро дарившая тепло, пьянящие ароматы сирени и черемухи, впереди ждала новая, взрослая жизнь...

Вдруг из надвинувшейся тучи хлынул проливной дождь.

— Разворачиваемся! — крикнул Сашка Дворецкий. — Промокнем здесь насквозь!

Дождь не утихал. Колючие капли били по голове, по лицу. Одежда, сложенная в уголке, давно промокла.

Андрей даже усмехнулся, вспомнив, как они бежали по улицам, а потом через центральную площадь в одних плавках, держа в руках измятые, мокрые штаны и рубахи, как на них смотрели прохожие — кто со смехом, а кто и с осуждением...

— Уважаемый, закурить не найдется? — прервал его воспоминания хрипловатый басок.

— Не курю! — хотел было ответить Андрей, но что-то в седом, неряшливого вида человеке показалось очень знакомым.

— Толик, ты?

Действительно, это был Толя Сидоревич, его одноклассник, неопрятный, седой, со стойким запахом перегара.

— Андрюша! — воскликнул, улыбаясь и демонстрируя ряд металлических зубов, Сидоревич. — А я думаю, вот мен какой-то заезжий, расколю его на сигареты. А может, и наличность вместе посчитаем?

Толик еще в седьмом классе загремел в колонию для несовершеннолетних, а потом несметное количество раз тянул срок, проводя короткие периоды между отсидками в родительской хате.

Андрей вытащил из кармана пачку «Мальборо» и протянул однокласснику.

— Бери всю. У меня в гостинице еще есть.

Андрей вообще курил редко и сигареты брал с собой на всякий случай.

— Спасибочки, — растянул рот в улыбке Сидоревич. — А ты забурел, забурел!.. Видел тебя однажды по телевизору на какой-то научной конференции. Чувакам говорю — корешок мой бывший!

Они действительно в детстве могли стать друзьями. Толик пришел в их пятый класс и почему-то сразу обратил внимание на Андрея. Может, потому, что Андрей среди одноклассников выделялся спортивной фигурой, стильной прической с длинными по тогдашней моде волосами. Не раз выслушивал замечания от учителей, но упорно не ходил в парикмахерскую, и эта позиция новичку импонировала. У Толика тоже был шикарный каштановый чуб, спадавший на лоб, отчего он казался взрослее.

За новичком уже тянулась недобрая слава, об этом даже классная предупредила. И хотя отец его был милиционером, сам Сидоревич, по словам учительницы, уже состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Тем не менее Андрею новичок понравился, и они часто стали ходить вместе.

Однажды, вернувшись домой, Андрей застал в квартире классную, которая разговаривала с его матерью.

— Вот и Андрей! Хорошо, пусть послушает. Я и говорю, не нравится мне, Софья Григорьевна, что он с Сидоревичем водится. Собьет тот вашего парня с толку.

— Татьяна Петровна, вы же сами говорили, что пионер должен всегда помогать другу избавиться от недостатков. Я вот и хочу помочь Толику перевоспитаться, — возразил мальчик.

— Смотри, чтобы он тебя не перевоспитал! — парировала учительница. — Я вам, Софья Григорьевна, настоятельно рекомендую ограничить контакты вашего сына с будущим малолетним преступником.

Тем не менее Андрей еще пытался поддерживать дружбу, но понемногу она стала угасать — Толик тоже начал отдаляться, больше времени проводил в своей прежней компании, где заводилой был второгодник по прозвищу Бурма, который уже не учился в школе.

А через год Сидоревич действительно попал в колонию. Говорили, что его приятели залезли на территорию мясокомбината, вынесли оттуда два ящика тушенки, и хоть Толика в тот день не было с ними, он взял вину на себя. С тех пор у него и пошло-поехало: то подрался с таким же, как сам, малолетним зэком, то нагрубил воспитателю... Одним словом, как говорится, тюрьма стала для него родным домом.

— Слушай, раз уж встретились, — оторвал его от воспоминаний Сидоревич, — может, найдешь для меня пару рублей? Вчера перебрали с подругой, котлы горят.

— Ладно, проставлю в честь встречи. Только по пятьдесят граммов, не больше.

Андрей знал, что буфет в гостинице открывается в семь утра, и потому уверенно повел бывшего одноклассника в свой временный приют. Подойдя к буфетной стойке, заказал двести граммов коньяка и бутерброды с красной икрой. Буфетчица, узнав Андрея, пыталась ему что-то сказать, но он опередил ее:

— Вот одноклассника встретил. Много лет не виделись.

Буфетчица с недоверием осуждающе посмотрела на Андрея, но молча подала графинчик и бутерброды.

Толик быстро захмелел, к бутербродам не прикоснулся. На лице выступили красные пятна.

— Ты вот ученый, а сколько тебе платят? Ишачишь в своем институте за копейки. А ты вот роман про меня напиши, такая книжка будет! Я тебе такого порасскажу, за уши читателя не оттянешь!..

Андрей уже жалел, что привел его сюда. В очередной раз жизнь дала ему понять, что былого не вернуть, что люди меняются и что высокий интеллигентский порыв часто оканчивается досадой и разочарованием.

Тем более что с Толиком это случилось уже второй раз. В первый, лет двадцать назад, он, встретив Толика на улице, поделился радостью рождения дочери.

Толик тогда неожиданно расчувствовался, вызвался проводить его домой. По дороге они встречали каких-то подозрительных типов, которые здоровались с Толиком, а он всем рассказывал, что с ним его давний кореш, у которого родилась дочь... Потом их затянули во двор какие-то размале-

ванные женщины, достававшие из сумок дешевое вино и закуски, и Андрей банально сбежал — что последует дальше, догадаться было нетрудно.

Так случилось и сегодня.

«Это тебе наука!» — мысленно упрекнул себя Андрей, а вслух произнес:

— Ладно, пора прощаться, у меня сегодня много дел.

— Хорошо, хорошо, — засуетился Толик, — а может, пару рублей...

Андрей не дослушал, полез в кошелек, вынул пятерку, положил на стол и, не прощаясь, выскочил из буфета.

— Серому бросать? Серому и так на блюдечке принесут, — слышал он за спиной пьяное бормотание.

«Вот тебе и первая встреча в родном городе! — с горечью подумал Андрей. — Всегда, когда ожидаешь чего-то возвышенного и красивого, получается такая вот ерунда!»

Андрей поднялся в номер, разделся, зашел в ванную комнату и подставил тело живительным струям.

«А чего я хотел? — думал он, чувствуя, как вода смывает с него усталость и раздражение. — Радости встречи с бывшим одноклассником?» Как-то раз, когда они вместе с Валерием Федоренко в гостях у своей бывшей учительницы Татьяны Петровны заговорили о Сидоревиче с сожалением, Валера прямо-таки вскипел:

— Нечего его жалеть! Каждый сам выбирает свой путь. Я рос без отца в такой же хулиганской среде. Однако же ни в колонию, ни в тюрьму не угодил.

Валера действительно был из одной с Сидоревичем компании, пошел в спортивную секцию, стал известным боксером, поступил в ветеринарный институт, работал главным ветврачом в соседнем районе.

Андрей и сам не раз убеждался, что не всегда благородный порыв приносит хороший результат. Он помог своему ученику защитить кандидатскую диссертацию, а когда тот попал в автокатастрофу и был прикован к постели, ходил к нему, помогал деньгами. А в результате Михасёк распустил грязные слухи о нем, даже пасквиль в интернете тиснул.

Ему стало неприятно от того чувства превосходства, которое невольно испытал при встрече с Толиком. Он не раз ловил себя на этом противном желании взять реванш за детские и юношеские обиды: перед библиотекаршей Катей, которая обманула его, выбрав другого, перед Фатимой — своей первой и, пожалуй, самой большой любовью.

Дом, в котором она жила, и сегодня стоит прямо за мостом через Двину. Сколько раз они проходили по этому мосту, сколько часов провел он в ее холодном подъезде!..

Впервые он увидел ее в поезде, когда ехал с другом в Минск. Худенькая, стройная, со слегка раскосыми серыми глазами, взгляд которых сразу, словно молнией, пронзил сердце. «Это она!» — сказал он тогда приятелю. Она ехала с сестрой. Парни подсели к девушкам и всю ночь шутили, смеялись, и, кажется, Андрей никогда еще не был таким красноречивым.

В Минске он не пошел на занятия, два чудесных дня они встречались в городе, ходили в кино, на КВН в политехнический институт, где училась ее сестра. Потом Фатима уехала, и Андрей считал дни до встречи, а его тоска по родному городу усилилась настолько, что тянуло как магнитом к родным улицам, к дому, где жила его желанная Фатима.

Долгих шесть лет, зная, что она полюбила не его, а того друга, с которым он тогда ехал в поезде, Андрей старался переломить ситуацию — как жить без нее, не представлял. Но даже то, что друг женился на другой и они с Фатимой были вместе на его свадьбе, не растопило ее сердце...

Он привычно отогнал тяжелое воспоминание. Простившись с любовью, искал девушек и женщин, заводил бесчисленные романы, чтобы забыть ее, а вот сейчас почему-то вспомнил...

Андрей вытерся махровым полотенцем и стал собираться на центральную площадь. Новая рубаха и галстук, любимый, в синюю полоску костюм добавляли ему солидности, как сказала бы жена, импозантности. Андрей относился к тому типу мужчин, которые становятся лучше с годами, и не похож теперь на долговязого, с пушком над верхней губой подростка, каким был тридцать лет назад.

На площади уже собирался народ.

— Андрей Семенович, приветствую! — заулыбался издали заведующий гороно Волков. Когда-то он был просто Леником Волковым, с которым они проводили свободное время, когда Андрей работал после института в школе. Леник преподавал математику в той же школе, но его вскоре забрали на должность инструктора в райком комсомола.

Почти каждый день они бродили по полоцкому «Бродвею», носившему имя основателя научного коммунизма Карла Маркса, иногда заходили в кафешку Дома офицеров или на танцплощадку в парке над Двиной.

Как-то раз выбрались вместе в сельскую школу-интернат, где работали по распределению молодые учительницы. Одна, светловолосая, с длинной косой, «крепко сшитая» Светлана через год стала женой Леника, а Андрей был у приятеля свидетелем.

— Приветствую, Леонид Геннадьевич, рад тебя видеть, — сухо ответил Андрей.

Он так и не смог забыть о том, что когда через два года, отработав в школе, поехал в Минск устраиваться в институт истории и его не взяли из-за того, что не было прописки, вернувшись в родной город, не мог устроиться на работу. Леник же, который был тогда уже первым секретарем райкома комсомола, избегал встреч с ним — кто-то в городе пустил слух, что у Андрея какие-то нелады с правоохранительными органами.

Потом Андрей поступил в аспирантуру, стал доктором наук, заведующим кафедрой крупнейшего вуза страны, автором и ведущим одной из программ телевидения, и хоть по определенным меркам — не очень уж большой начальник, но все же известный в стране человек.

И Волков старался загладить былое недоразумение, возродить дружбу, даже несколько раз приезжал к Андрею в Минск, но прежняя обида все же не проходила.

Андрею было приятно видеть старых знакомых, тех, кого знал еще с детства, с кем работал на заводе и в школе.

Приветливо улыбнулся Павлу Афанасьевичу Сташкевичу, Герою Социалистического Труда — на лацкане пиджака сияла Золотая Звезда. В первый год, когда Андрей не поступил после школы в институт, довелось пойти работать учеником слесаря на завод стекловолокна. Его тогда прикрепили учеником к Павлу Афанасьевичу, имя которого гремело, портрет красовался на Доске почета, от корреспондентов, желающих написать о герое, отбоя не было.

Собственно говоря, профессия слесаря не слишком привлекала Андрея, руки у него, по словам Павла Афанасьевича, не из того места росли, но они с наставником все-таки сошлись. Он очень любил слушать рассказы Сташкевича о том, как тот двенадцатилетним пареньком с Ушатчины стал связным и разведчиком партизанского отряда, как потом стал сыном полка и вместе с бойцами дошел до Берлина, как закончил службу на Дальнем Востоке

и приехал в полуразрушенный Полоцк, как строили завод, на который пришел работать. Завод стекловолокна в Полоцке в то время был настоящим гигантом, дав возможность сотням юношей и девушек получить рабочую профессию, общежитие, неплохие заработки.

— Не получится из тебя слесаря, — вздыхая, говорил Павел Афанасьевич, глядя на тонкие пальцы ученика, — но парень ты неплохой, башковитый, так что учиться тебе надо.

И через несколько лет, когда Андрей уже стал кандидатом наук, при встрече сказал:

— Рад за тебя. Хорошо, что на заводе не остался. Как говорят, кто на кого учился. Так что двигай науку!

Сегодня ветеран, совсем седой, давно на пенсии, но приходит на все городские мероприятия, когда его приглашают как почетного гражданина города.

Еще с одним человеком было приятно увидеться. Это его былой тренер Василий Сивограк — такой же могучий в плечах, такой же подтянутый, в дорогом костюме. Он и тогда, в Андреевом детстве, выделялся среди остальных своим внешним видом. Родной брат олимпийского чемпиона по штанге Ивана Сивограка, он каким-то чудом попал после института в Полоцк, да так и остался в городе навсегда.

Сам по спортивной квалификации метатель молота, он стал тренировать легкоатлетов. Андрей пришел в секцию легкой атлетики детской спортивной школы после неудачной попытки стать гимнастом. Ничего не поделаешь, не получалось у него никак прыгать через коня, да и брусья не давались. В футбольную секцию поступить было трудно, а в секцию легкой атлетики брали всех желающих.

Новый молодой тренер после нескольких тренировок оставил Андрея и еще одного парня.

— Ты, Паша, займешься бегом с барьерами, а тебя, Андрей, сделаю чемпионом в беге на средние дистанции.

Паша высокий, мускулистый, длинноногий — Андрей значительно уступал ему в физическом развитии. Впрочем, бегал, кажется, неплохо.

Но, как пояснил тренер, у него идеальные данные для бегунов на четыреста и восемьсот метров: высокая стартовая скорость, небольшой рост, только надо развить выносливость.

— И подкачаться, — добавил тренер. — Сил поднабраться, железо потаскать.

Начались изматывающие тренировки: приседания и прыжки через препятствия с тяжелыми металлическими «блинами» в руках, отжим штанги лежа, десятки кругов по беговой дорожке единственного в городе стадиона «Локомотив»...

— Давай, давай, Андрей! Я из тебя чемпиона Европы сделаю!

Но Андрей не слишком верил в то, что станет чемпионом Европы. Хотелось чего-то иного: играть в футбол, ходить в драматический кружок, просиживать часами в читальном зале библиотеки, искать клады в раскопках на берегу Двины... И он решил бросить секцию.

Андрей начал прятаться от Сивограка. Не раз он со страхом представлял зычный голос тренера, который опять заставит таскать те ненавистные железные «блины».

Но все обошлось. Правда, из футбольной секции, куда он поступил вскоре, его отчислили, поскольку не выполнил нормативы по прыжкам в высоту... На этом его спортивная карьера закончилась.

Сивограк, между тем, казалось, совсем забыл своего бывшего воспитанника. Возобновилось знакомство во время одной из научных конференций

в Музее белорусского книгоиздания — Сивограк увлекся историей Полоцка и даже выступил с докладом, посвященным древним рукописям.

«Вот тебе и обещание воспитать чемпиона Европы!» — подумал тогда Андрей.

Народ на площади начал строиться в колонну. Заблестели трубы духового оркестра, впереди формировалась колонна передовиков с красными лентами.

«Все как раньше, — подумал Андрей, — словно ничего не изменилось за эти двадцать лет».

Он хорошо помнил прежние торжества, сам не раз шагал в колонне родной школы. Явка на любую такую демонстрацию была обязательной. Если кто-то в этот день уезжал из города, должен был принести справку об освобождении. Тем не менее было весело — после шествия собирались группками, шли на берег Двины или в какую-нибудь кафешку, порой тусовались до позднего вечера.

Он не знал, как формировали колонну теперь, но людей было много. Под звуки оркестра людские шеренги двинулись по центральному проспекту. По пути следования на тротуарах стояли люди, слышались приветствия, многие фотографировали шествие фотоаппаратами и мобильными телефонами. Впереди шагали руководители во главе с мэром, за ними передовики и почетные гости.

«Вот бы мама порадовалась», — мелькнуло в голове. Мама Андрея, из-за ленинградской блокады недоучившаяся в институте, всегда хотела, чтобы ее сын получил высшее образование, вышел в люди. Она, скромный бухгалтер в конторе маленького заводика, где выпускали пуговицы, всегда приносила ему из библиотеки интересные книги, ходила с ним в кино и на концерты приезжих артистов. Несколько раз они ездили в город юности Ленинград, где жил ее брат, во время войны фронтовой корреспондент, что и помогло ему переправить ее, едва живую от голода, через Ладогу на Большую землю.

Отец же, фронтовой разведчик, вернулся с войны без руки, работал на том же заводике сторожем, частенько заглядывал в рюмку, но сына любил фанатично и очень переживал, что парень не интересуется его довоенной профессией печника.

Он не очень радовался, когда сын переехал в Минск, и, оставшись без супруги, мамы Андрея, которая тихо ушла в лучший мир, ждал в гости сына с внуками, это было его единственной радостью.

Отец прожил почти девяносто лет, так и не побывав в гостях у сына, хоть Андрей не раз приглашал его...

Колонна, продефилировав по проспекту, вернулась на площадь, где уже были расставлены стулья для почетных гостей перед большой сценой.

Ведущие появились перед публикой, и началось торжество.

Дождь давно кончился, солнце припекало, хотелось спать. Андрей не слишком вслушивался в произносимые речи, не следил, как на сцену выходили один за другим руководители предприятий, рабочие — победители предпраздничной вахты.

Потом начался концерт. Местные исполнители старательно копировали популярных звезд, и это вызывало у Андрея ироническую улыбку.

Он и вовсе развеселился, когда на сцену вышел почетный гость, известный композитор, автор нескольких популярных шлягеров. Невысокого росточка, лысый, он долго говорил о совместных проектах с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, о дружбе с Иосифом Кобзоном...

«А сейчас я исполню для вас свою новую композицию «Ниндзя», — с гордостью объявил композитор.

«Вот только в Полоцке «Ниндзи» и не хватало, — чуть не вслух засмеялся Андрей. — Не понимает маэстро, где он и для чего».

Завершился концерт массовой детской танцевальной композицией. Дети самых разных возрастов, от самых маленьких до подростков, по замыслу режиссера, должны были изображать счастливое детство и светлое будущее.

«Только будущее почему-то под Майкла Джексона танцует, — опять с грустной иронией отметил про себя Андрей, вслушиваясь в английские слова, несшиеся из динамиков. — Не представляю, чтобы где-то в Калифорнии детвора танцевала под песняровское “Касіў Ясь канюшыну”».

Концерт окончился, народ начал потихоньку расходиться. Через несколько часов по программе должен был быть фуршет, и Андрей решил пока пройтись до Софийки. По дороге подошел к одному из лотков, которых на площади было множество. Пахло дымом и шашлыками, как на грузинском пляже. Андрей купил бутерброд с красной рыбой и стакан чаю. Встречаться ни с кем не хотелось. Слегка перекусив, он отправился по маршруту своего детства — вверх, через больничный городок, минуя Вал Ивана Грозного и Стрелецкий переулок, которые оставались справа. Место это называлось Верхним замком.

Улочку эту Андрей очень любил. Прежде чем подняться к Больничному городку, нужно было пройти мимо зданий бывшего Кадетского корпуса, ранее — Иезуитской академии. Здесь до недавнего времени был госпиталь, но после длительной борьбы с военным ведомством корпуса передали университету и картинной галерее.

Андрей не спешил, шел медленно, рассматривая новшества на знакомой улице, и не сразу услышал женский голос.

Он оглянулся. Окликала его средних лет женщина со следами былой красоты на лице, одетая несколько старомодно, но со вкусом.

Улыбка ее показалась знакомой, но Андрей не мог припомнить, кто перед ним.

— Не пазнаеш? — по-белорусски спросила женщина.

— Валя? Валентина? — неуверенно спросил Андрей. — Еще как узнаю!

— Да, именно на этом месте, — засмеялась Валентина, — почти в Стрелецком переулке. Помнишь?

Как же было не помнить этот переулок? Там, за Валом Ивана Грозного, был деревянный дом Валиной тетки. А напротив, в небольшой пристройке, жила она сама. Андрей не раз бывал в девичьей комнатке, оставался там до поздней ночи, мог бы остаться навсегда...

Он не знал, о чем говорить, как продолжать разговор — после предыдущего, который Андрей не любил вспоминать, прошло больше двадцати пяти лет.

Валентина начала первая.

— Я вот только что приехала из Иркутска, в родные места потянуло. Тетя Броня умерла, Ванда в Новополоцке живет, а тут жили квартиранты в моей пристройке, да съехали, и пустует теткина хата...

Как продолжать разговор, Андрей не знал и машинально переспросил:

— Из Иркутска?

— Да, из Иркутска, — откликнулась женщина. — Там муж служил, оттуда в Афган попал и не вернулся. Там квартира, там и живу.

Валентина всегда любила офицеров. Отец ее тоже был офицером и в то время, когда они познакомились, служил в ГДР. А судьба свела их после того, как Валентина рассталась с женихом-офицером.

Их первое, мимолетное знакомство, казалось, не должно было иметь никакого продолжения. Однажды на танцплощадке, куда случайно завернули Андрей и его закадычный приятель по прозвищу Джексон, они от нечего

делать начали легкий флирт с девушками, одной из которых была Валентина, и даже проводили их домой.

Через некоторое время Валентина нашла его сама.

— Можем ли мы встретиться? — спросила, вдруг позвонив однажды вечером.

Андрей тогда после разговора с Фатимой, которая в очередной раз нашла причину, чтобы не прийти на свидание, был зол и грубовато ответил:

— А зачем?

— Я тебе все объясню. У меня неприятности, мне очень одиноко и очень нужна твоя помощь.

По голосу чувствовалось, что она действительно расстроена, казалось — вот-вот заплачет, что Андрею уж вовсе не нравилось.

— А чем я могу помочь?

— Приходи ко мне.

Она назвала адрес, именно тот, в Стрелецком переулке.

— Мне изменил жених, поступил со мной подло. Оказался самым настоящим негодяем. Мне сейчас так тяжело, что жить не хочется. Ты не думай, я от тебя ничего требовать не буду. Только побудь рядом. Будем просто друзьями.

Это звучало очень уж странно, даже слегка театрально. «Однако кто знает, — подумал тогда Андрей. — Мне тоже несладко».

Потом они пили чай в ее боковушке, посмотрели телевизор, и Андрей отправился домой.

Рано утром Валентина опять позвонила.

— Ты знаешь, вчера я не решилась попросить... Сегодня я приглашена в ресторан. У подруги помолвка. Торжество было намечено еще месяц назад. Мне неудобно идти одной. Будь добр, составь компанию, за все уже заплачено, требуется только твое присутствие.

Она выпалила все это на одном дыхании, словно опасаясь, что Андрей прервет разговор. И только под конец выдохнула:

— Придешь?

Они сидели за столиком вчетвером. Подруга оказалась той самой девушкой, с которой Валентина была на танцплощадке. Она с неприкрытым интересом посматривала на Андрея. Парень же явно был не в курсе дела, воспринимал Андрея как Валентининого жениха и весь светился счастьем.

Потом долго гуляли по проспекту. Сыпал мелкий снежок, легкий морозец приятно пощипывал щеки. Валентина казалась веселой и жизнерадостной. Они бросали друг в друга снежки, шутили. Андрей поскользнулся, образовалась куча-мала, и вдруг он почувствовал под распахнутой шубой жар Валентининого тела. Его впервые обдало могучей волной страсти — с Фатимой было все не так: романтично и возвышенно.

С Валентиной они теперь встречались почти ежедневно. Ходили в кино, гуляли по городу, возвращались в ее боковушку...

Она была действительно красивая, привлекательная, и Андрей прямо-таки дрожал от нетерпения.

Валентина словно забыла о том, что они намеревались просто дружить, да и дружбой их отношения уже назвать было трудно. Тем не менее сердце Андрея по-прежнему занимала Фатима, и хоть с Валентиной ему было хорошо, он все время думал только о Фатиме.

Андрею было неловко от того, что он вроде бы подает Валентине какую-то надежду, все время хотел поговорить с девушкой, расставить все точки над «i». Такой случай наконец представился.

Однажды — они возвращались от ее друзей — она, нежно прильнув к нему, сказала:

— Слушай, а давай уедем в Брест! Там родительская квартира пустует, три комнаты.

Андрей был на подпитии, что придало ему смелости.

— А больше ты ничего не хочешь? Мы же только друзья.

— Ах, друзья? — взвилась вдруг Валентина. — И в моей постели тоже были друзьями? Все вы такие! Что? Поматросил и бросил?

Этот бабский базарный тон, этот крик вызвал у Андрея раздражение и возмущение. Он наговорил чего-то злого, некрасивого, о чем было стыдно вспоминать потом, и пошел прочь.

Больше на телефонные звонки он не отвечал и сам не звонил.

Полгода спустя Валентинина соседка, встретив его на улице, сказала, что Валя вышла замуж за офицера и уехала с ним куда-то в Россию.

И вот теперь она стояла перед ним, постаревшая, но все же красивая зрелой женской красотой.

— Давай зайдем ко мне, — вдруг предложила Валентина. — Не бойся, приставать не буду. Просто поговорим. Есть о чем рассказать.

Неожиданно для себя Андрей согласился. Этот ее новый облик, эта белорусская речь заинтересовали его. К тому же делить теперь было нечего.

Комнатушка была все та же, и мебель почти не поменялась.

— Теперь тут никто не живет. Сначала тетка держала квартирантов, а потом племянники от них отказались. — Она продолжала: — Начинали мы жизнь в самом отдаленном гарнизоне, почти на Новой Земле. Потом мужа направили в академию, дослужился до полковника, командовал десантной бригадой. А в это же время — Афган. Я дома с двумя детьми, успокаивала сама себя, ведь война заканчивалась. А погиб он, когда войска уже выводили.

А сын вот вбил в голову, что будет, как отец, офицером. Поступил в военное училище. Я плакала, просила его оставить эту учебу, даже фиктивные справки собирала, чтобы «откосить» его от армии. А он ни в какую! И беда не заставила себя ждать. Началась первая чеченская. Девятнадцать лет ему было...

Она поднесла к глазам платок.

— А вот дочь нашла себе парня-белоруса из переселенцев у нас, в Иркутске. Его прадеды по столыпинской реформе туда приехали. А она ходила в белорусское общество у нас. Там его возглавляет, кстати, отставной офицер, родом из Полоцка, Олег. Она и меня туда затащила. Поем песни, выступаем с концертами, собираем фольклор. Я немного душой отошла, вот Родина и вспомнилась. В Полоцке по-белорусски не говорила, а в Иркутске потянуло на родной язык.

Андрей слушал и удивлялся. Валентина, которую он считал недалекой, занятой собой и поисками легкой жизни, оказалась совсем иной: мудрой, отважной.

И уж совсем неожиданным было ее отношение к языку, к родной культуре. Впрочем, он не раз убеждался в том, что когда человек отрывается от Родины, он возвращается к извечным истокам патриотизма. Это как в известной песне: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць...»

Ему было стыдно за прежнее отношение к Валентине, за грубые слова, сказанные когда-то, — у него нет таких забот, не пережил такой страшной трагедии.

Видимо, уловив его растерянное молчание, Валентина произнесла:

— А знаешь, я ни о чем не жалею. И то, что у нас не сложилось, — значит, так должно было быть, хоть мне очень хотелось быть с тобой. Замуж вышла от отчаяния, от злости, но привыкла, притерпелась, человек он был хороший. А потом дети пошли... Но видно, Богу было угодно, чтобы прошла через такие испытания, чтобы многое поняла.

И переводя разговор на другую тему, добавила:

— Очень хотелось вернуться домой, к родной Двине, к Софийке, к этому Стрелецкому переулку. Но там ведь дочка, квартира, там подрастает внучка, там уже мой дом... Вот побуду еще неделю и поеду.

Чай уже давно остыл, званый фуршет, на который Андрей собирался, уже, конечно, начался, и Андрей не знал, что делать. Хотелось и сказать что-нибудь теплое, ласковое, и даже обнять Валентину, но что-то не позволяло.

Наконец он встал из-за стола, поднес Валины тонкие пальцы к губам и на миг задержал, целуя.

Она грустно усмехнулась, хотела было приблизиться, но остановилась и, отняв руку, сказала:

— Прощай, дорогой. Я даже и не спросила, как у тебя, все ли хорошо, есть ли семья?

— Да, все в порядке. Жена, дочка, сын...

— Ну, пусть все будет хорошо. Пусть Бог бережет...

Остался позади знакомый двор, Андрей завернул за угол и подался к Софийке. Хотелось побыть одному. На душе было довольно погано. Кто мог подумать тогда, в юности, что будут войны, что на них будут гибнуть люди, что исчезнет страна, которой присягали и те же чеченцы, и узбеки, и грузины... Что та же Валентина, мечтавшая о счастливой семейной жизни, перенесет столько горя, потеряв сразу двух самых близких и дорогих людей.

А сколько белорусских парней полегло в далеких афганских горах, в других «горячих точках»!.. А ведь кто-то в это самое время жировал, пил, гулял, а цинковые гробы доставляли матерям молоденькие солдаты из всех уголков Советского Союза.

Около Софийки было людно. «Видно, очередная экскурсия», — подумал Андрей. Ему вспомнилось, как в детстве лежал в больнице, красный корпус которой находился в нескольких десятках метров от Софийки. Был конец мая, время торжества молодой жизни, буйного цветения сирени.

Больные в серых халатах сидели прямо на траве над двинской кручей, гуляли возле храма, в котором тогда был какой-то склад. Андрей долго стоял, глядя на воду, на то место, где узкая змейка Полоты вливалась в широкое русло Двины. Перед мысленным взором представали крепкие струги, на которых купцы везли в Ригу товары, заполненная людьми площадь около Софийского собора, построенного знаменитым Всеславом Чародеем, — князь и представить себе не мог, что на этой площади будут толпиться экскурсанты, что в Софийке будет концертный зал с органом...

Незнакомые люди фотографировались возле Борисова камня. Раньше его здесь не было. Этот темный валун с надписью «Боже, помоги рабу своему Борису» лежал на двинском дне и был не единственным — слабый здоровьем полоцкий князь Борис повелел когда-то разместить несколько таких валунов по течению реки, чтобы Господь внял его просьбе и даровал здоровье. Этот, пожалуй, один из самых больших, вытянули из реки аквалангисты, потому что он мог навсегда исчезнуть под водой: предполагалось строительство мощной ГЭС в Латвии, и тогда этот регион превратился бы в широкое и глубокое водохранилище.

До строительства ГЭС дело не дошло, однако же камень занял свое место рядом с Софийкой, как будто так и надо было.

Пошел слух, что если прикоснуться к его шершавой поверхности, может исполниться любое желание, а потому многочисленные экскурсанты прямо-таки отполировали его своими ладонями.

Андрей, хоть и относился к этому иронически, все-таки подошел к валуну, дотронулся рукой до его теплой шероховатой поверхности. Неожиданно ладонь ощутила легкое тепло — будто ветерок подул — такое нежное, что у Андрея перехватило дыхание.

Словно и далекая юность, и недавняя встреча с Валентиной, и дыхание родного города сплелись разом в какой-то удивительный клубок. Андрей почти физически почувствовал этот порыв нежности, такой щемящий и пронзительный, что на глаза навернулись слезы. Он даже удивился — кажется, никогда не был слишком сентиментален. Потом оторвал руку от камня и двинулся к знакомому острову. Как всегда внизу, у самого устья, были рыбаки. Они стояли по колено в воде, ожидая, когда затрепещет на конце пластмассового удилища проворная плотва или хитрая щука, а может, даже лещ, устремившийся в чистую воду Двины. Андрей вспомнил, как его минский научный руководитель, к тому же полоцкий земляк, рассказывал, что в годы его еще довоенной молодости они с отцом ловили на Полоте сомов и лещей, как на узком челне заплывали в широкое русло двинской воды.

Высокий подвесной мостик через Полоту вел в Заполотье, бывшую деревню, а прежде — стародавнее полоцкое городище, откуда, собственно, и начинался древний Полоцк.

Андрей спустился по крутым ступеням и, не заходя в Заполотье, пошел вдоль берега, поросшего густым ивняком и кустарником, по узкой стежке, за которой открывался огромный луг, где летом всегда цвели красивые цветы, паслись козы с заполотских подворий. Потом тропинка вела в небольшой переулок, приютившийся на высоком берегу.

Когда-то Андрей бывал здесь чуть не каждый день. В низкой хатке над обрывом жил с матерью и сестрой его одноклассник и друг. Высокий богатырь, загорелый до черноты, он откликался на прозвище «Дядя Том» — иначе, как хижиной, эту деревянную низенькую хатку из двух комнаток назвать было нельзя.

Отличный спортсмен, талантливый художник, он еще писал стихи и вообще был мастер на все руки. Казалось, у парня сложится жизнь, однако...

Дядя Том комплексовал из-за большого шрама на щеке, обожженного лица, хотя Андрей убеждал его, что это никак не бросается в глаза, а даже украшает настоящего мужчину. Мать его работала уборщицей, была малограмотной, и Дядя Том из-за этого тоже страдал — родители его приятелей, в том числе и Андрея, имели иной социальный статус. И хотя все вокруг твердили, что советские люди равны, на самом деле это было не так.

Что до Андрея, то права лидерства он готов был отдать приятелю и часто убеждал его в том, что тот добьется успеха в жизни.

Но с годами Том делался все большим чудаком. Встретил красивую и добрую девушку, но не поверил в ее любовь, страдал сам и заставлял страдать ее. Он даже начал ревновать ее к одному из своих друзей, подозревая, что тот за его спиной поддерживает отношения с его возлюбленной.

Поступая в институт, он пошел сдавать экзамен за соседа по общежитию — его разоблачили и, несмотря на высокие оценки, к дальнейшей сдаче не допустили.

Больше поступать не захотел, устроился художником в райпотребсоюз, увлекся халтурами...

А там, где легкие деньги, там и стопка... Андрей до последнего надеялся, что все это пройдет, несколько раз пытался помочь приятелю, сводил его

со знакомыми художниками, которые хвалили талант полоцкого самоучки, но дальше совместных пьянок дело не двигалось...

Потом умерла мать, случайно сгорела хата, и жизнь Дяди Тома покатилась под откос.

О его смерти Андрей узнал почти через полгода и долго переживал, что даже не проводил в последний путь.

И сейчас, стоя на том месте, где была хата старого друга, Андрей вспомнил их последнюю встречу в Минске. Была Пасха, Дядя Том успел побывать в церкви и принес Андрею свечи для всей семьи. Они вдвоем сидели до самого утра за столом, было хорошо, как в юности.

Дядя Том, постаревший, но еще крепкий и моложавый, говорил, что хотел бы купить себе дом под Минском, заняться настоящим творчеством... Но об этом Андрей слышал уже добрый десяток лет и слабо верил, что такое возможно, — судя по всему, у приятеля уже не было ни сил, ни средств на воплощение в жизнь таких планов.

...Андрей двинулся дальше к Красному мосту через Полоту и пошел в направлении центра вдоль Вала Ивана Грозного, совершив таким образом круг, словно окольцовывая древнюю часть города. Теперь к валу вели ступени — из внутренней части насыпи, используя рельеф, сделали амфитеатр городского стадиона с футбольным полем. Вообще, городские власти раньше очень любили приспосабливать исторические места к новым нуждам: еще один стадион был на месте старого еврейского кладбища, под склады были приспособлены Софийка и Богоявленский собор, а в кельях Спасо-Евфросиниевского монастыря устроили коммуналку. И все жители помнили, как в середине шестидесятых годов прошлого столетия на центральной площади сносили Николаевский собор, венчавший здания Кадетского корпуса.

Андрей был совсем маленьким, они с мамой смотрели какой-то детский фильм в кинотеатре «Родина», когда в зале неожиданно погас свет, а потом опять включился, вышел к экрану пожилой седой мужчина и сказал:

— Дети, не волнуйтесь, это взорвали Кадетский корпус.

Нынешний мэр был совсем иным. Он посещал службы в монастыре, дружил с Владыкой, при нем в городе поставили несколько памятников, восстановили корпуса Иезуитского коллегиума, он поощрял историков, творческих людей, сам писал стихи.

...На площади было людно. На сцене выступали какие-то парни с гитарами, имитировали тяжелый рок, из динамика неслись их хриплые голоса.

Андрей усмехнулся — парни воображали, что поют по-английски. Андрей немного знал язык, часто бывал на семинарах за границей, где английский язык был рабочим, и его забавляло, как музыканты безбожно искажают английские слова.

«Нет чтобы на своем родном, так нет — туда же, как Дунька в Европу, — привычно подумал Андрей. — И «Песняры» для них не пример. Хорошо, хоть Тимоти не подражают». Его всегда удивляло это преклонение местных артистов перед всем чужеземным, пришлым, лишь бы только не по-белорусски.

Со школьных лет он помнил, как старались некоторые его одноклассники освободиться от изучения белорусского языка: выкручивались, раздобывали фиктивные справки, прикидывались чрезвычайно больными. И находили поддержку у родителей — бывших сельчан, говоривших на трасянке и окончивших в свое время сельские школы.

«Дзярэвня», — называли они друг друга, и так хотелось им стать городскими, что вытравливали в собственных детях родной язык.

Родители Андрея своего сына от родного языка не освобождали, хоть у отца были знакомства.

— Живем в Беларуси, значит, и язык свой должны знать, — говорил он.

Разве мог он тогда представить, что сын станет известным историком, который все свои статьи и научные труды будет писать по-белорусски?

— Андрей! — вдруг окликнул его мужской голос.

Он оглянулся. Это был Сашка Зуёнок, раздобревший, солидный, в дорогом костюме, но с прежней знакомой улыбкой.

— Приветствую! Давно тебя не видел!

— Здравствуй. Что ты, кто ты ныне?

— Ну ты же слышал? Был заместителем мэра. Теперь вот ПМК возглавляю. В мелиораторы подался, по первой специальности.

С Сашкой Андрей учился в одной школе, в параллельном классе. Тот на учебу не очень налегал, но хорошо играл в футбол, выступал на сцене, был комсомольским активистом. Так и пошел сначала по комсомольской, а потом по партийной линии.

— Какой же из тебя мелиоратор? Ты же заочно учился и ни дня на производстве не работал, — не выдержал Андрей.

— А, — засмеялся Зуёнок, — главное, общее руководство осуществлять. А это я умею. Ты знаешь, — продолжал Сашка, — поменяли руководителя и нас, из его старой команды, попросили. Мне еще повезло, а кое на кого и уголовные дела повесили.

— И было за что? — поинтересовался Андрей.

— А, — Сашка махнул рукой, — на нашего брата, если захотеть, всегда что-то повесить можно. Там не ту бумагу подмахнул, там тендер не так провели... А что творилось, когда давили разные начальнички, особенно те, которые бизнес крышевали!.. Теперь более-менее порядок навели, а то, что было в девяностых, страшно вспомнить.

Андрей хорошо помнил, что было в девяностых. Бывшие функционеры становились бизнесменами, на побегушках у них оказались воры в законе. Даже его, историка, далекого от всяких гешефтов, пытались втянуть в какую-то аферу, связанную не то с полиэтиленом, не то с бензином.

А Сашка тем временем продолжал:

— Говорят, что и этот ненадолго. Хорошо, я свою ПМК нашел, отсижусь до пенсии.

Андрею не хотелось продолжать разговор. Не любил он эти сплетни, эти страсти борьбы за кресла и должности. Даже когда его избрали заведующим кафедрой, не было внутреннего ликования, радости, что будет руководить своими бывшими преподавателями, ровесниками, которые не меньше сделали в науке.

— А чего ты не был на фуршете? — поинтересовался Зуёнок. — Неужели не пригласили?

— Пригласили, пригласили. Просто старую знакомую встретил.

— Знакомую? — хитро усмехнулся Сашка. — Уж не Людмилу ли?

Людмила была в их школе первой красавицей, отличницей. Все парни, начиная с девятиклассников, были тайно влюблены в худенькую стройную девушку с большими голубыми глазами, льняными косами, которые были ей так к лицу.

Людмила ни на кого не обращала внимания, и все просто ахнули, когда она появилась после каникул с огромным животом.

Тем не менее экзамены она успела сдать и даже получила медаль, хотя некоторые моралистки-учительницы были категорически против.

Полоцк город небольшой, и вскоре похорошевшую Людмилу стали видеть в веселых компаниях. Она, окончив заочно институт, работала библиотекарем. Злые языки утверждали, что с Людмилой, если постараться, можно завести романчик, но Андрею в это не очень верилось. Но слава такая за молодой женщиной катилась, и казалось, Людмила сама смирилась с этим и не слишком старалась опровергнуть досужие вымыслы.

— Нет, не Людмилу, — сухо ответил Андрей, давая понять, что не расположен продолжать разговор.

— Ну, Людмила — уже залежалый товар, — не унимался бывший школьный приятель. — Можно что-то помоложе найти. У меня на Суе заветное местечко имеется, сауна, шашлычки. Девчонок прихватим, моя благоверная с дочерью в Египте по путевке, так что могу составить компанию.

Озеро Суя было традиционным местом отдыха полочан, и Андрей бывал там не раз. Однако компания Сашки с девчонками его абсолютно не вдохновляла, и он вежливо, но решительно отказался.

К тому же он явно устал. От встреч. От воспоминаний.

«Зачем мне все это? — мысленно укорял он себя. — Вернуться в прошлое невозможно. Я уже совсем другой, и люди тоже изменились, хоть и были мы когда-то вместе».

Он понимал, что и город свой воспринимает иначе: красивый, ничего не скажешь, чистый и уютный, но налет провинциальности неистребим.

Андрей стыдился таких мыслей, втайне радуясь, однако, что не остался здесь навсегда. Было жутковато: память о родном городе согревала его постоянно, вблизи и вдали, во всех странствиях, на всех дорогах. Родное гнездо снилось ему и в минской квартире, и в многочисленных отелях, которых и не упомнить.

Казалось, это придавало ему сил — знал, что где-то есть родимый уголок, откуда ушел в большой мир, улочки и деревья, которые помнят его маленьким, знают его родителей.

Но сегодня Андрей понял, что его город все больше отдаляется от него, делается виртуальным — его дом, его гнездо уже в шумном столичном дворе, где выросли его дети, где есть любимая работа, где рядом друзья, единомышленники, коллеги.

От осознания этой истины сердце сжимала тоска — навсегда утрачено что-то дорогое и возвышенное, трепетное, как первая любовь, которую уже не вернешь.

Однако надо было еще пережить вечерний банкет в ресторане, в той самой «Двине», куда Андрей с друзьями иногда забегал, когда отмечали чей-нибудь день рождения. В то время это был единственный ресторан в городе, не считая железнодорожного на вокзале, и для них, молоденьких мальчишек, служил символом роскоши.

...На банкете было душно и жарко. Нудные речи-тосты местных начальников и гостей перемежались концертными номерами — ресторанной попсой про белого лебедя «на пруду» и левый берег Дона в исполнении солистов местного Дома культуры.

— Вы не могли бы у вас, в Минске, посодействовать, чтобы на радио записаться? — игриво вопрошала солистка на высоченных каблуках, сверху вниз поглядывая на Андрея. — Там же наш земляк работает. И не лишь бы кем, а даже каким-то начальником.

— А что записать? «Левый берег Дона»? — Андрей немного выпил и понимал, что его заносит.

— Почему? У нас есть другой репертуар. Наш руководитель Славик написал песню на собственные слова «Твои губы пахнут вишнями»...

Вдруг Андрей услышал свою фамилию. Ему давали слово.

— Дорогие друзья, — начал он, когда ему передали микрофон, — скоро наступит красивый народный праздник Купалье. По Двине поплывут венки, на берегах запылают костры. Юноши и девушки будут вместе искать цветок папоротника. Здесь звучало столько песен, но не было своей, нашей. Давайте же споем. — И неожиданно для самого себя затянул: — *Купалінка, Купалінка, цёмная ночка...*

В зале воцарилась тишина. Не звякали вилки, утихли пьяные разговоры.

Андрей слышал свой хрипловатый голос и думал: «Только бы не расплакаться!»

И вдруг услышал, как подключился к нему один женский голос, потом присоединился мужской баритон. Потом еще...

И над залом поплыло:

Твая дочка ў садочку
Ружу-кветку поліць.
Ружу-кветку поліць,
Белы ручкі коліць...

Именно так — *«поліць і коліць»* — как говорят у них на Полотчине, а не так, как требуют литературные нормы.

— Слушай, забываем мы свои песни, свой язык, — говорил потом ему плотный лысый дедок, — а я ведь в белорусской школе учился.

Андрей не поддержал беседу, не любил вслух говорить о сокровенном.

Наступило утро. Второе утро в родном городе, в дорогом гостиничном номере.

Голова побаливала, во рту пересохло.

«Что-то я вчера увлекся!» — упрекнул себя Андрей. Было как-то не по себе, как, впрочем, после каждого бурного застолья.

За окном вставало солнце. Площадь, чисто вымытая вчерашним дождем, весело блестела под утренними лучами, и казалось, даже бронзовый Скорина повеселел.

Андрея снова потянуло на берег Двины. Рыбаки с удочками уже были здесь.

Андрей увидел с высокого берега, как к воде спустилась женщина. Она неторопливо раздевалась и наконец осталась в ярко-красном купальнике. «Купаться еще вроде бы рановато, — подумал Андрей, — ишь, какая смелая!»

Женщина вошла в воду. От всей ее фигуры, такой по-женски обольстительной, веяло утренней свежестью и прохладой, какой-то извечной красотой и целомудрием.

Она немного постояла и поплыла. Рыбаки тоже оторвались от своих удочек и провожали ее взглядами.

Андрей снова ощутил в сердце могучий прилив нежности, теплый и сладкий, будто мама прижала его к груди.

Широкая Двина, знакомый с детства силуэт Софийки, были, как он, наконец, понял, тем единственным, чистым и светлым, без чего, кажется, невозможно жить. Андрей искал те слова, которые могли бы передать это чувство, но слова не приходили, а была только благодарность за этот миг, за этот вздох, за то, что у него есть этот уголок земли, его начало, его исток.

Этот вздох нежности еще долго был с ним, пока маршрутка мчалась по дороге в Минск.

Перевод с белорусского Ирины КОЧЕТКОВОЙ.



ОЛЬГА НОРИНА

И строчки приходят в томлении странном

* * *

Дни шли, как с пашни черные волы,
Тяжелым вздохом отзывалось эхо.
Я в нашем доме вымыла полы,
Да только мой любимый не приехал.
Одна ложусь в холодную кровать,
Молитвы исступленно повторяя.
А мой любимый не желает знать,
Что без него я тихо умираю.
Я залатаю парус кораблю,
Отправлюсь догонять весну и лето.
Я выживу! Я просто разлюблю.
О знал бы кто, чем я плачу за это.

Солдатка

Растяжно она произносит слова — такая манера.
— Как звать-величать, ты скажи мне сперва.
— А хоть бы солдаткой, — в ответ мне вдова.
Вдова офицера...
На лоб беспощадно морщины легли —
На счастье ни шанса.
— А твой-то с какой не вернулся войны?
С чеченской? С афганской?
Та только вздохнула, чтоб жизни канву
Вести без огрехов:
— При чем тут война-то? С другою в Москву
Кататься поехал.
Далеко над ними шумят ковыли.
Не спросит мой милый,
Какие дожди надо мною прошли,
Как сына растила.
— Просила бы мужа себе в Покрова.
Одной-то несладко.
— Да я и при муже жила как вдова, —
Ответит солдатка. —
Частенько моя пустовала кровать,
И кончились слезы.
Зеленого змия ходил воевать
К Калинову мосту.

— Помочь тебе чем? — осторожно спросил.
А вдруг не под силу?
— Да вот ты о доле меня расспросил,
На том и спасибо.

Последняя женщина дона Хуана

Он юн и силен, и беспечен, как птица,
И список побед его начат пространный,
Когда с пуповиной на шее родится
Последняя женщина дона Хуана.
О щепках не думая, яростно рубит.
За новой бросается — все ему мало.
Она одевает застенчивых кукол
И с книжкою прячется под одеялом.
Он тянется к власти и станет известным,
В руках его нити событий и судеб.
Она почитает и верность, и честность,
Не ведая, что с нею вскорости будет.
Не знает, что будет водою живою,
Не знает, какие достанутся раны,
Кому будет первой, кому роковою,
Что встретит когда-нибудь дона Хуана.
Распахнуто сердце навстречу желанью,
И строчки приходят в томлении странном.
Не ищет причин и не ждет оправданий
И просит, как просят небесную манну, —
Уж если случится любить, то героя, —
И жить не получится обыкновенно.
А он попытается сильной рукою
Бессмертье в веках ухватить непременно.

Улыбка. Касание. Руны морщинок
На дереве. В облаке дремлющий ветер.
И нет и не будет малейшей причины
Спастись — и однажды друг друга не встретить.

Коллегам

Соратники! Служители пера,
Старатели клавиатуры сложной!
Идеям Вашим — твердую обложку
И веский многотысячный тираж.
Писательство — неблагодарный труд
В подлунном мире, где ничто не ново.
Пусть все же глубину и остроту
Имеет мысль и сохраняет слово.
Пусть не угаснет пламенный порыв,
Динамика сюжета и не только.
И Вами сотворенные миры
Пропишутся на полках у потомков.



ЛЁЛЯ БОГДАНОВИЧ

Подари немного счастья, лето

* * *

На пороге ситцевое лето.
Пью взахлеб мелодию любви.
Все, что было раньше не допето,
Поцелуи допоют мои.

Допоет горячее дыханье.
Лебединых рук озябших плен.
Вспыхнет ярче алой ленты пламени
Музыка волшебных перемен.

Лето одурманит пьяным зноем.
В зелень трав душистых упаду.
Ветру настежь дверь свою открою.
И калитку отворю в саду.

Пусть грохочет гром как сумасшедший!
Мне сегодня не страшна гроза.
Убегу мечте своей навстречу,
У которой синие глаза.

Утону в объятьях до рассвета.
Позабуду гордость я и честь.
Подари немного счастья, лето!
А потом оставим все как есть...

* * *

Васильки да ромашки,
Колокольчики синие.
Как пущусь во все тяжкие,
Ты, Всевышний, прости меня.

И спаси, и помилуй —
Я перечить не смею.
Что поделать, любила —
Ни о чем не жалею!

Жизнь бежит без оглядки...
Васильки-василечки...
И, играючи в прятки,
Улетают денечки.

Надышалась свободой.
Мне б надежды глоточек!
Перламутр небосвода
Вышью радужной строчкой.

Васильки да ромашки...
Колокольчик звенящий...
То ли горе, то ль счастье,
То ль любовь настоящая...

* * *

Боюсь упасть и не подняться,
И быть непонятой боюсь.
Боюсь, когда зашкалит счастье, —
За ним всегда приходит грусть.

Боюсь терять родных и близких
И веру в друга потерять.
Боюсь грозы и катаклизмов,
И долг кому-то не отдать.

Боюсь унынья, равнодушья,
А также наглости взахлеб
И черной зависти удушья —
От них трясет меня озноб.

Но не боюсь быть настоящей —
Смеяться, плакать и любить.
Я открываю сердце настежь —
Мне так намного проще жить!



К 100-летию со дня рождения Дмитрия Ковалева

АЛЕСЬ МАРТИНОВИЧ

Неподвластно забвению

Один из районных центров Гомельщины, город Ветка, как известно, особенный. Больше таких на белорусской земле нет. Основан он русскими старообрядцами, которые появились в этих сказочно красивых местах, спасаясь от преследования царских властей. Произошло это во второй половине семнадцатого столетия. С того времени в этих местах и живут в дружбе и добрососедстве представители трех народов: русского, белорусского и украинского. Как и было издревле, еще со времен Киевской Руси. Это братство проявилось и в судьбе известного поэта, публициста, переводчика Дмитрия Ковалева. Об этом Дмитрий Михайлович не преминул сказать в одном из своих стихотворений:

Мать русская, отец мой — белорус,
Я вновь,
Как в Киевской Руси, един,
Как та вода, что пьем,
Хлеб, что едим,
Как тот, что держит кровлю,
Цельный брус.

Родному городу он посвятил стихотворение «Ветка», сделав после названия сноску: «Городок на реке Сож», что, впрочем, тогда было нелишне, поскольку это произведение писалось в первые послевоенные годы, а тогда о Ветке за пределами Беларуси знали немногие, все-таки небольшая:

Ветка...
Зеленая Ветка!
Выпадало нам видеться редко.
Первый раз увидал,
Как родился,
А второй привелось —
Как женился.
Всё по свету,
По белому свету.
И тебя там, где был я, нету...

Из мастеровой семьи

Зато ныне о Ветке хорошо известно. Конечно, не в последнюю очередь благодаря оригинальному музею старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова, подобных которому нигде больше нет. Но еще и потому, что Ветка — малая родина Дмитрия Ковалева. Родился он 17 июня 1915 года. Отец

его, Михаил Тимофеевич, был родом из крестьянской семьи, жившей в деревне Прудок, что под Гомелем, а мать, Екатерина Ивановна, происходила из ветковских старообрядцев.

Если чем и были богаты Ковалевы, так детьми (пятеро братьев и три сестры). Митя среди них был старшим. Поэтому, чтобы прокормить столько ртов, приходилось часто переезжать с места на место. В 1926 году Ковалевы обосновались, наконец, в Прудке. В этой деревне Митя Ковалев окончил три класса. Учился бы и дальше, но на семейном совете рассудили так: будет лучше, если он станет помогать по хозяйству. Ослушаться родителей он не мог, да и никогда от труда не отлынивал: какую работу ни предлагали, охотно брался за нее. Когда же ему исполнилось четырнадцать лет, пошел подручным к отцу в кузницу.

Михаил Тимофеевич был человеком мастеровым, хорошо знал свое дело. Будучи трудягой, он и от других требовал такого же отношения к работе, а лентяев и бездельников не терпел. Дмитрий Ковалев посвятил ему стихотворение «Отец». В этом произведении словно воочию видишь Михаила Тимофеевича, безусловно, незаурядную личность — одного из тех сельчан, которые трудились в поте лица на земле или занимались каким-нибудь нужным ремеслом:

Вставал
До петушиной переклички,
Когда еще луна глядит в кровать.
Будил и нас,
Пеняя по привычке
За то,
Что рано не хотим вставать.

И сразу же брался за дело: «Обмазав горн, // Сменив в лоханке воду, // Наваривал он сталью сошники». Авторитет отца Дмитрия Михайловича был настолько высок, что «За честь считали кумом или сватом // Назвать его — Чтоб в жизни повезло. // И на престольный ездил к небогатым, // К таким, как сам, // И не в одно село». Когда же создавались колхозы, даже «шел в исполкоме крупный разговор», к которому из них сначала мастер придет на помощь. И он тогда сказал по-деловому:

— Видать, один на всех не настачу.
Но каждому по мастеру такому,
Как сам я,
Непременно обучу.

Результат не заставил себя ждать: «Теперь звенят кувалды повсеместно, // Напоминая всюду об отце. // И выучка отцова всем известна, // Кругом идет молва о кузнеце».

И у деда своего Ковалев также многому научился. И тому же трудолюбию, и честности, и порядочности, чем, кстати, отличалась вся семья Ковалевых. А каким был дед Ковалева, можно узнать из стихотворения Дмитрия Михайловича «Топор»:

Бывало, мой дед топор откует —
И плотник,
И дровосек
Ликуют.
Зато из-за речки,
Лишь станет лед,
Являлся к нам лесник в мастерскую.



Дмитрий Ковалев. 19 лет.

— Знаешь, Трофимыч,
Знаешь.
Не спорь...
Три дуба в ночь свезли от болота.
Какому ты вору ковал топор? —
И дед отрезал:
— Не моя работа!

О том, что Трофимыч руководствовался именно своими понятиями добра, справедливости, порядочности, свидетельствует и такой случай, также связанный с топором, сделанным им. На этот раз, правда, произошла не самовольная рубка леса, а страшное: «...убили в лесу панского сына. // Приносит урядник // Топор в крови — // У трупа был найден, // Под старой осиной». Отпираться Трофимычу нет смысла, топор-то, конечно, его работы, больше никто в деревне топоров не делал. Понимает дед, что ситуация может принять серьезный оборот, если урядник донесет властям о случившемся. Поэтому Трофимыч нашел такой выход, который, по его представлению, от виновника в убийстве на какое-то время отведет беду, а в остальном — Бог судья:

Ответил дед
С достоинством, смело:
— Топор, — говорит, —
Работы моей...
Только не помню,
Кому он делан.

Есенин взбудоражил душу

Постигая кузнечное ремесло, Ковалев не имел возможности продолжать учебу. Работы хватало. Через некоторое время вместе с отцом трудился в колхозе, потом в судоремонтных мастерских Гомеля. Но несмотря на постоянную занятость, по вечерам, а также в воскресные дни, занимался самообразованием, много читал. И даже начал писать стихи. Толчком для написания их послужило знакомство с творчеством Сергея Есенина. Произошло это в некоторой степени случайно. Хотя как сказать. Видимо, все было предначертано свыше — что именно так и должно было быть.

В уже зрелом возрасте в статье «Трудная слава», посвященной великому русскому поэту, Дмитрий Михайлович признавался: «Слава Сергея Есенина опережала его стихи. Это, пожалуй, не совсем так. Я все же прежде услышал его песню «Ты жива еще, моя старушка». Как, видно, и многие. Но, как и многие, я не знал, что слышу да и сам пою Есенина». Узнал же Ковалев «впервые о нем от брата соседки, летчика, приехавшего на побывку. Услышал, показав ему первые свои малограмотные, многодикие стихотворные опыты».

Правда, не все было так просто. Ведь Есенин в то время находился в опале: «Он (брат соседки. — *А. М.*) меня сразу же стал предостерегать от Есенина, уловив, видимо, какую-то склонность во мне, которая и мне грозила есенинщиной, так тогда понимали и нарицали всякое упадничество и богемщину». Но «обычно такие настораживания только, как говорится, подливают масла в огонь». Ковалев, по его словам, «сразу же начал просить [...], а где бы достать стихи Есенина, но узнал от него же, что книги его не продают». Как ни старался, но стихи Есенина нигде отыскать не мог. Однако, как известно, кто ищет, тот всегда находит: «И уже когда мне было девятнадцать, кажется, лет и я со своими тремя классами решил подготовиться дома до семи и поступить все же на рабфак, брат моего школьного одноклассника, теперь уже кончившего пединститут, Гаврилы Синчука, Андрей неожиданно признался мне, что у него есть Есенин. Почти весь, переписанный им самим от руки. И тогда я не удивился, а поразился тому, что слова песни «Ты жива еще, моя старушка» и песен, которые у нас пели вечерами и под гармошку, и под гитару, и так просто, не век существовали, как я думал о песнях, а что они написаны, и не кем-нибудь, а С. Есениным. И меня ошеломили они уже по-новому. То я вроде и не замечал, как образны, как живописны они. А тут это «И тебе в вечернем синем мраке», это «Когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад» так задышало, так повеяло в душу, так хватило за нее еще не сознаваемой невозвратностью чего-то, что еще в расцвете, но неудержимо улетает и потому так до физической боли драгоценно».

Понять состояние юного Ковалева можно. Есенин, по сути, перевернул всю его душу, коснулся самых нежных струн ее, заставив задуматься над тем, какая великая сила у поэтического слова, если оно истинно талантливое: ««Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» Казалось, действительно это моя жизнь, мои лучшие порывы и чувства, я это, сам я, только сам я выразить этого до сих пор не мог, — и вот оно нашло исход, вырвалось, выпросталось, рванулось, закружило, понесло... Ходил, как во хмелю, в легком, не тяжелом хмелю, после которого не тянет опохмелиться, а только хочется никогда не трезветь, не становиться муторно затурканным, не забывающим копеечного долга. Ничего подобного я до сих пор не испытывал». Ни тогда, когда писал свои первые, с позволения сказать, стихи. Ни тогда, когда еще до этого увлекся рисованием, «покупал на последние гривенники масляные и акварельные краски, копировал пейзажи, увешивая в хате все стены ими».

Безусловно, никакого разговора о том, чтобы связать свою жизнь с литературой, тогда еще не шло. Это было только увлечение, в чем-то похожее на то, когда занимался рисованием. Поэтому для продолжения учебы в 1936 году поступил в Гомельский политехнический вечерний рабфак. Однако литература тянула его к себе, поэтому после окончания рабфака в 1939 году подал заявление на филологический факультет Ленинградского государственного университета. Также выбрал заочную форму обучения.

Свое первое стихотворение «Так сказала Рая» Ковалев напечатал в газете «Палеская праўда» (нынешняя «Гомельская праўда») 1 ноября 1937 года. Ничем особо не примечательное, но начинающему поэту, конечно, это было в радость. Он вскоре стал в этом издании своим автором, предлагал редакции произведения в духе времени: «Встреча Ворошилова», «Счастливая мать», «Доблестных в совет», «Говорит китайский партизан», «Славная осень», «Ответ самураям», «Песня комсомола», «Берите власть!». Это то, что было опубликовано в «Палескай праўдзе» в 1938 году. Кроме того, Ковалев печатался в газете «Сталинская молодежь» (теперешнее «Знамя юности»).

Нетрудно догадаться, что эти стихи были малохудожественны. Но в этом не столько вина самого молодого поэта, сколько неправильная творческая ориентация его, правильнее, дезориентация сотрудниками редакции. Поэтому и выходи-

ло «на гора» то, что было далеко от настоящей поэзии. Хотя вскоре Ковалев все же понял, что пишет не то, и перешел к стихам лирическим, задушевным. Позже на народную основу их обратил внимание Дмитрий Кедрин, а в ней было заметно «присутствие» Есенина. Именно в есенинском духе написано и стихотворение «***В синем звездном сарафане...».

Появилось оно, скорее всего, в 1936 году, поскольку им открывается книга избранной лирики Ковалева «Мое время» (1977), а если конкретнее — ее первый раздел «1936—1940». Именно в этом стихотворении «живопись» до того выразительна, насыщенна, что создается впечатление, словно все то, о чем рассказывает поэт, сам видишь воочию — находясь у костра, освещающего своим пламенем темноту летней ночи и вслушиваясь в разговор старика с ребятами:

В синем звездном сарафане
Ночь плетется по лугам.
Темны травы на поляне.
Лег туман по берегам.

За высоким шлемом спрятав
Краснобокую луну,
У костра старик ребятам
Говорит про старину.

У костра внезапно дрема
Оборвала разговор.
Дым померк.
Старик все курит.
Кони бродят вдалеке.
И рассвет зеленокудрый
Умывается в реке.

И в других ранних стихах Ковалева немало свежих метафор. Также вроде бы внешне и неброских, но точных, непридуманных и, не взятых «напрокат» у других поэтов (в молодом возрасте, к сожалению, такое бывает нередко), а подмеченных в самой природе наблюдательным взором поэта, способным увидеть то, что другие заметить не могут: «Утром в инее белом зардеют, // Как в пуховых накидках, стожки», «В раздумье облако вдали // Облокотилось на лесок», «Как в испуге, вздрогнула река», «Туча, двигаясь издалека, // В воспаленном небе заворчала».

На глазах рождался поэт со своим видением окружающего мира, с талантом, Богом данным. Но для творческого становления требовались условия и время. А вскоре началась война.

С ходу на фронт

В армию он был призван в январе 1941 года. Попал не в сухопутные войска, куда направляли многих призывников, а на Северный флот — мечту любого довоенного парнишки. Хотя здесь вкусы расходились: кто морем грезил, а кому, как Валерию Чкалову, хотелось покорять заоблачные высоты. Дмитрию Ковалеву в то время уже исполнилось почти двадцать лет. Профессию он избрал «земную» — в ребячьих душах сеял «разумное, доброе, вечное». Но в армии, как известно, не выбирают, где служить. В армии приказывают, а те, кто ниже по званию, тем более призывники, эти приказы должны неукоснительно выполнять.

О мирной службе Ковалев, правда, вспоминал мало. Служил, как все служили. Условия были суровыми, как и для всех, кто связал свою жизнь с северными широтами. Да и какая военная служба может казаться медом?! Зато стихотворения, которые он посвятил военным испытаниям краснофлотцев, несомненно, входят в золотой фонд русской поэзии. Уже хотя бы этих четырех строк достаточно, чтобы понять, что представляли те, с кем он вместе громил врага:

Враги называли нас черною тучей,
Друзья называли гвардией Флота.
А мы назывались короче и лучше,
Яснее и проще — морская пехота...

Кстати, Уинстон Черчилль, который, нужно отдать ему должное, признавал истинных героев независимо от того — свои это или чужие, назвал советскую морскую пехоту «лучшими воинами в мире». Однако он подобное утверждал исходя из сведений, которые ему преподносили. Элитные же немецкие части, состоявшие из дивизии «героев Крита» и горных егерей фон Дитля, на собственной шкуре почувствовали, что значит — столкнуться с морпехами, готовыми противостоять любому, кто посягает на свободу их Родины, перегрызть горло.

Особенно ожесточенные бои шли на подступах к Мурманску. Неслучайно это место называли Долиной смерти. Да и по сей день называют, ибо, как поется в известной песне, написанной, правда, по другому случаю и после войны уже: «кто хоть однажды видел это, не позабудет никогда». Хотя свидетелей происходившего тогда почти не осталось. Но память людская не лжет, до крупиц помнит все.

Страшны были морпехи в своем праведном гневе, черной тучей идя на врага. Только лучиками в этой черноте просвечивались сине-белые тельняшки — воротники гимнастерок специально были расстегнуты, ленточки бескозырок закушены. Знайте, мол, гады, кто наступает. Дрожите! Смерть ваша идет. Конечно же, гитлеровцы это знали, понимали, что пощады не будет. Когда же звучало многоголосое «Полундра!», многие фашисты не выдерживали, считая за лучшее отступить, поскольку понимали, что добром для них наступление «черной тучи» не кончится.

Хотя так было не всегда: враг ожесточенно сопротивлялся. Ошибаются те, кто считает, что заградительные отряды существовали только в Красной армии. Гитлеровцы также строго обходились с теми, кто отказывался выполнять приказ или проявлял в бою трусость. Возникали и такие ситуации, одну из которых Ковалев мастерски отобразил в стихотворении «Егерь»:

Там, где лишь олень бродил когда-то
У туманных баренцевых вод,
Черным парабеллумом солдата
Офицер под пули гнал вперед.
Гнал подвластных смертному приказу
На захват чужой земли...

Не выдержал этот солдат: «Офицеру в розовый затылок // Очередь свинцовую всадил. // Бросил автомат и с поля боя // Убежал». Хотя куда от войны убежишь? Его подобрали замерзающего свои же разведчики, которые возвращались с задания:

Офицер другой в снарядном гуле
Еще злей погнал его вперед...
Гнал, пока, прожженный пулей,
Не упал солдат на мутный лед...

Там и мертвому несладко спится,
Где обрел он волю и приют.
Крыльями шурша, большие птицы
Мерзлые глаза его клюют...

Скорее всего, это произошло в Долине смерти, а что она представляла собой, можно узнать из одноименного стихотворения. Оно оттуда, с переднего края. Это все то, что Ковалев видел собственными глазами. Осмысливал и переосмысливал еще тогда, когда происходящее не успело стать памятью, а было только суровой действительностью:

Все повидавшие, на склоне сопки
Вдруг отшатнулись —
Будто ахнул взрыв:
Дрожали прутья нервно,
Неторопкий
Дым расползался,
Гребень приоткрыв.

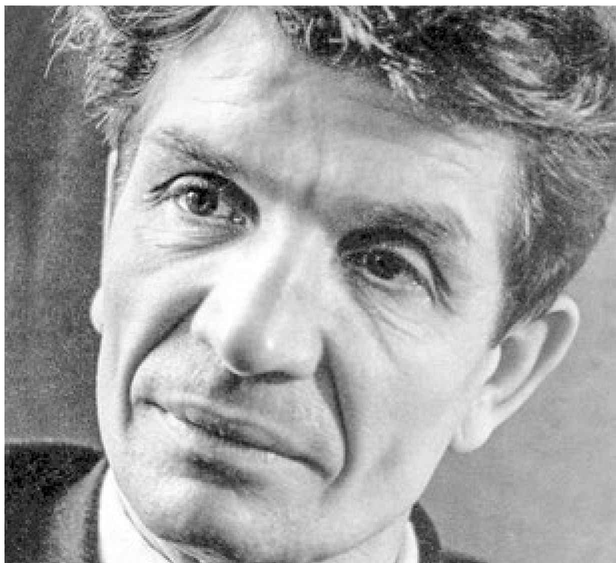
Действительность эта до того была жестокой, что когда читаешь о происходившем, по спине пробегает дрожь. Даже не по себе становится, настолько все чудовищно по своей сути. Оно как бы из иного, параллельного мира, о котором до этого не знал, но вместе с тем — это все то, что было в реальности. Происходило тогда, когда нелюди, объявив себя сверхнацией, стали помышлять о завоевании всего человечества, а в планах их значилось и уничтожение всего Советского Союза. Рассчитывали на блицкриг, не ожидая, что на священную войну поднимется вся огромная страна, а защитники Родины предпочтут смерть, чем покориться врагу. Как было и в Долине смерти, где обнажилась та страшная правда войны, которую Ковалев знал не понаслышке. Видел и то, о чем рассказал в стихотворении «Долина смерти»:

...И первый,
Неожиданный до жути,
Дзот,
Сложенный из человечьих тел...
Заиндевелый,
Словно в каплях ртути,
Весь мерзлыми глазами он глядел.
Костями пальцы из него торчали,
Железно скрюченные кулаки.
Рты — словно бы еще «ура!» кричали...

Фашистским нелюдям противостояли те, кто в огненной и безжалостной круговерти, несмотря ни на что, «остаться все-таки людьми сумели», хотя и понимали, что большинству из них не выжить. Понимали, но стояли до последнего:

Что смерть?!
Что орудийные клыки?!
Что лед, колючкой ржавою поросший?!
Скорбящий залп долину огласил.
Какой-то не своею волей брошен
Был батальон сверхчеловечьих сил.
И разряжал себя он в рукопашной,
Коловший и давивший без суда...
Стал снег целинный кумачовой пашней,
Долиной смерти названной тогда...

Штыки, как совесть, обнаженные



Дмитрий Ковалев. 1960-е годы.

Одного стихотворения «Долина смерти» достаточно для того, чтобы говорить о Ковалеве как об одном из лучших поэтов-участников Великой Отечественной войны, сумевших сказать о ней свое весомое слово. Ковалевское слово. Но у него есть и другие, замечательные произведения о пережитом в те суровые годы.

Взять хотя бы «Потери». Это стихотворение также написано по горячим следам событий, хотя многие стихи Дмитрия Михайловича о войне появились позже. Даже не в послевоенное время, а тогда, когда он уже набрался жизненного и творческого опыта. Следовательно, и мастерство стало более высокое, но это нисколько не умаляет значимость тех, которые писались в перерыве между боями. Хорошо сказал о таких стихах Евгений Осетров в предисловии «Свет братства» к книге Ковалева «Мое время»: «Молодой воин и начинающий поэт, Дмитрий Ковалев заносил пришедшие в голову строчки на клочки бумаги, оказавшиеся под рукой. Дистанции времени не существовало. Поэтому многие стихи, рожденные в ту пору, напоминают дневниковые записи, сделанные запекшейся кровью. [...] В стихах — много метко и точно увиденных подробностей, которые невозможно придумать».

Стихотворение «Потери» — также тому подтверждение:

Они сошлись в Полярном.
В полдень.
С бота.
Как уцелел он?
Как дошел сюда?..
Что там теперь?..
Туда ушла пехота.
Слыхать:
Бомбили по пути суда.

Шинели
Ржавые на всех от крови
Пожухли,
Коробом стоят.
И только взгляды
Скорбь потерь откроют,
Но, как позор свой,
Ужас затаят.

Завершающая строфа еще больше конкретизирует драматичность происходившего... Нет, даже не драматичность, а трагизм того, что связано с войной.

Прав Е. Осетров: определенная дневниковость присутствует и здесь, но сказано так много и так убедительно, что это сродни углубленному проникновению в сущность того, название чему — война:

От всей заставы
Пятеро осталось.
И не сознанье подвига —
Вина.
В глазах —
Тысячелетняя усталость.
А
Только-только
Началась война.

Конечно, и его, Дмитрия Ковалева. Солдат стройбата, стрелок батальона морской пехоты, подводник, сотрудник редакции флотской газеты «Краснофлотец» — таков его военный послужной список. Интересно, что стихов о службе в стройбате, пусть себе и недолгой, о работе в редакции у него не найдешь. Видимо, это не случайно. Понимал Дмитрий Михайлович, что не такое время, чтобы на это обращать внимание, а позже, после войны, ничего такого примечательного в этом не находил. Зато будни морских пехотинцев, подводников — это то, что было и частью его собственной биографии, вызывало накал чувств и эмоций. Какое стихотворение ни возьмешь — это как бы избранное из пережитого, выстраданного, вынесенного оттуда, откуда многие и многие не вернулись. Честно признавался:

Непросто приезжать туда,
Где был ты молод,
Где, потеряв друзей,
Остался жив,
Где жарко было
Даже в лютый холод,
Где шли,
Штыки, как совесть, обнажив.

И уточнял в конце этого стихотворения, то, что до поры до времени таил в себе, но пришло время все произнести, как на исповеди:

Непросто приезжать туда,
Откуда
Уже ты никогда
Не уезжал.

Да и как «уехать», если в твоей памяти столько всего, что не может стать прошлым. Конечно, если иметь в виду временное понятие, это пережитое уже стало историей. Но только не для тех, кто все видел своими глазами, был непосредственным участником тех или иных событий.

Вчера на высоте хребта седого
Наш красноармеец на кресте пылал.
Мы видели — как было все готово,
Как полыхнул огонь, кроваво-ал.

Боевые товарищи, ставшие невольными свидетелями этой казни, ничем не могли помочь: «Но обнаружить гнев свой не могли мы: // Над сердцем скорбно ум преобладал».

Дистанции времени не чувствуется и в стихотворении «Молчание». Все, о чем рассказывается, также не может кануть в Лету, поскольку оно из ряда того, что забвению не подлежит. Да и как иначе, если это — часть народной памяти о Великой Отечественной войне и свидетельство народного мужества, а одновременно — еще одно напоминание о том, какой великой ценой было заплачено за Великую Победу.

Образная пластика этого стихотворения настолько особенная, что, на первый взгляд кажется, будто совмещается несовместимое: «У маяков лужены глотки. // И тучи, будто валуны. // Железом врублены подлодки // В породу грубую волны». Но чем внимательнее вчитываешься в эти строки, чем глубже проникаешь в них, тем больше убеждаешься в том, что поэт нашел единственно правильные слова. Напиши он иначе, не было бы такого эффекта от сказанного. Нельзя было бы во всей полноте почувствовать это подводное молчание там, где моряки находятся наедине с водной стихией.

Однополчане спят глубоко
В стеклянном холоде глухом.
Над ними, видящий, как око,
Стоит воды зеленый холм.
Вода тяжелая, без света.
В ней залегло молчанье гроз.
И ни привета,
Ни ответа.
И это наглухо, всерьез.
Весь в атомных незримых звездах —
Поход подводников далек.
Над головой у них не воздух,
А лед. На сотни миль залег.

Я знаю, что такое воздух,
Со дна, один его глоток!..
Я чую, что таится в звездах
И как их тайный свет жесток!..

«Молчанию» близко стихотворение «***И вот мы всплыли...». Оно как бы продолжение его. Непонятно только, почему Дмитрий Михайлович, сам составляя том своей избранной лирики «Мое время», поставил его раньше стихотворения «Молчание».

Видимо, придерживался хронологического принципа, хотя даты написания под произведениями не поставлены. «...И вот мы всплыли. // Воздух нас пьянит. // Шуршанье пены, // Ветер, // Чаек голоса. // И хмуры небо с морем, // Хмур гранит. // И хмурость режет // Яркостью глаза... // На палубе стоять // Я твердо мог, // А вот сошел — // И поплыла скала. // Качается, // Уходит из-под ног. // И глохнешь. // А в ушах — колокола».

Есть у Ковалева еще одно замечательное стихотворение, связанное с войной, — «А думал... я», которое он посвятил своей маме Екатерине Ивановне: «А думал я, // Что как увижу мать, // Так упаду к ногам ее». В действительно все оказалось совсем не так, как представлялось:

Но вот,
Где жжет роса,
В ботве стою опять.
Вязанку хвороста межой она несет.
Такая старая,
Невзрачная на вид.

Меня еще не замечая,
Вслух
Сама с собой о чем-то говорит.
Окликнуть?
Нет,
Так испугаю вдруг.

Мать сама заметила его, своего сына: «Уже, // Забыв и ношу бросить на меже, // Не видя ничего перед собой, // Летит ко мне: // — Ах, боже, гость какой! // А я, // Как сердце чуяло, // В лесу // Еще с утра спешила все домой...» Разговаривают о том о сем, он расспрашивает о пустяках: «— Есть ли орехи? // Много ли грибов?»:

А думал —
Там,
В пристрелянных снегах,
Что если жив останусь и приду, —
Слез не стыдясь,
При людях,
На виду,
На улице пред нею упаду.

Но жизнь брала свое. Горько прозвучало в одном из стихотворений признание Ковалева: «Все отняла война: // Двух братьев, // Вести от матери, // Всю молодость сполна». Но надо было жить. Как бы оправдывая тот аванс, который дала ему судьба. Другие-то погибли, а он остался жив. Он нисколько не кривил душой, когда говорил:

Уже донашиваю свой бушлат.
И в памяти фамилий многих нету:
И тех,
Которые в глубинах спят,
И тех,
Которые разъехались по свету.

Но и понимал, что война останется с ним навсегда, постоянно будет напоминать о себе. И скорбью о погибших друзьях-товарищах, и бессонными ночами, и желанием по-новому осмыслить многое из пережитого.

Время любить

Демобилизовавшись в 1946 году, приехал в Минск, где систематизировал стихотворения, написанные на Севере, которые вошли в его первую книгу «Дальние берега» (1947). В Минске увидели свет также его книги «Мы не расстаемся» (1953) и «Рябиновые ночи» (1958). Но последняя из них была издана после того, как распрощался с Беларусью и, отдав Минску девять лет, переехал в Москву, где в 1957 году окончил Высшие литературные курсы. Если в Минске работал в различных периодических изданиях, то после окончания курсов стал заведовать редакцией русской прозы и поэзии в издательстве «Молодая гвардия». А в 1960—1970 годах вел творческий семинар в Литературном институте имени М. Горького. И конечно же, писал стихи. Уже в Москве вышли его книги «Тишина» (1958), «Студеное солнце» (1961), «Солнечная ночь» (1963), «Зеленый дым» (1968), «Зябь» (1971). Всего у него более 20 книг поэзии. Последняя прижизненная «Море, море!...» была издана в 1976 году в Мурманске.

Стихи, помещенные в этих книгах, разноплановые по своей тематике. Впрочем, как и у любого из поэтов, участников Великой Отечественной войны: это и борьба с немецко-фашистскими захватчиками, и воспевание любви, поэтизация родной природы. Звучали в творчестве Ковалева и гражданские мотивы, но пафосная публицистичность — это не его стиль. У него не найдешь произведений призывного характера. Такая манера письма несвойственна Дмитрию Михайловичу.

Он и в повседневной жизни был неприметен — невысокого роста, худой, из-за чего выглядел значительно моложе своих лет. Правда, когда отстаивал какую-нибудь мысль, голос становился резким. Если это касалось поэзии, то свою позицию отстаивал горячо, не принимал фальши, неискренности. Когда же писал о том, что волновало, не давало покоя, оставался сдержанным, тем не менее публицистичность присутствовала, но она была, если можно так сказать, внутренняя. А еще Ковалев был большим оптимистом и жизнелюбом, что видно и из стихотворения «***До чего же хорошо живется...»:

До чего же хорошо живется —
Если к жизни ты не равнодушен.

До чего же ярко светит солнце —
Если другу раскрываешь душу.

До чего же все свежо и ново —
Если смотришь ты вперед с волненьем.

Как же чувствуешь родное слово —
Если тронет песня откровеньем.

До чего ж земля кругом просторна
И работа радостна простая —

Если знаешь, рассевая зерна,
Что не ты один богаче станешь.

До чего же возвращаться любо
После очень длительной разлуки —

Если так давно тоскуют губы
И объятий сильных просят руки.

Пусть для нас сияет солнце в небе!
Пусть звучат слова родимой речи!

Пусть, кто сеет, думает о хлебе!
Пусть, кто любит, думает о встрече!

Лирический герой Ковалева интересен еще и тем, что всю свою жизнь, начиная с юношеских лет, находился в поиске своей настоящей любви.

Если собрать вместе все стихотворения Ковалева на тему любви, получилась бы очень интересная и содержательная книга. Как постепенно взрослел сам поэт, так постепенно «взрослело» его чувство.

Стихотворение «***Ты, наверно, спишь...» — безусловно, можно было бы поставить первым в этой возможной книге. Состояние впервые влюбленного, которое передает поэт, в общем-то характерное: «Я не сплю, // Мой сон умчался прочь. // Что мне грустно? // Чем я опечален? // На меня из окон смотрит ночь //



В кругу семьи: жена Антонина Андреевна, старший сын Евгений, младший сын Михаил. Минск, 1954 г.

Черными безумными очами. // Знаю я: // Не будешь ты скучать. // Промелькнешь лучом зари в тумане // И уйдешь...» Соответственная на все и реакция: «Ну что ж, тогда — прощай...» Однако чувства не позволяют успокоиться. Поэтому по-прежнему та, которая давно уже не дает покоя, «не отпускает» от себя, — с ней хочется разговаривать и разговаривать, словно она находится рядом и хочет тебя слушать. Только вся беда в том, что то ли от волнения, то ли от неумения просто, но вместе с тем и внятно высказать наболевшее, не получается:

Я один...
К чему же тут прощанье?..
Дни пройдут.
Мои стихи читая,
В них тоску по девушке найдешь.
Тихо спросишь:
— Кто ж она такая?.. —
Вновь прочтешь...
Да так и не поймешь.

На все нужно время. Время жить и время... Нет, не умирать, а любить. По-настоящему. Все, что было раньше, перед настоящей любовью отходит на второй план. Начинает забываться как нечто несущественное, а значит, и неважное. Особенно это чувствуется тогда, когда происходят какие-либо суровые испытания, а следовательно, понимаешь: может случиться так, что и уйдешь, не сказав о любви. Или в таком возрасте, когда уже нужно спешить любить, ибо потом будет поздно. Стихотворение «Снилось мне» — по-моему, наилучшее из всей его любовной лирики. На Северном флоте написалось, когда так хотелось жить.

Снилось мне,
Что в тундру ты пришла.
Все уснули.
И костер погас.
Чуть курилась легкая зола
И никто-никто не видел нас.
Часовой — поодаль,
Строг и тих...
Я сиял,
Себе не веря сам:
Пламя недоступных губ твоих
Прикоснулось вдруг к моим глазам.

Радость сна недолго длилась: «Я открыл глаза — // Тебя уж нет. // Солнечная ночь была длинна. // И молчал суровый край в ответ». А потом была очередная атака, в разгар которой беда настигла солдата: «Между льдин // Я упал, // Где тощие кусты. // Все ушли вперед. // А я один». Конечно же, звал возлюбленную, но она не слышала этого зова, не могла слышать, поскольку находилась за тысячи верст отсюда.

Так продолжалось только до того времени, пока лирический герой не уснул. После этого у него появилось иное ощущение, и оно, конечно же, опять было связано с той, которая приходила в сон, принеся радость любви, а вместе с этим и желание жить. Между прочим, среди дневниковых записей поэта есть и такая: «Как сильно человек любит жить, я чувствовал только тогда, когда собирался в бой. Тогда не хотелось есть. Тогда только хотелось стать незаметным. И никогда не хотелось верить, что меня убьют. А это, говорят, хорошее чувство». Это, говоря словами поэта, хорошее чувство было подкреплено и новым сновидением: «Я заснул — // И снова ты пришла, // И не видел нас, // Никто-никто». Это таинство любви сокровенно:

Я проснулся в тишине палат.
Я скажу соседу и врачу,
Что задачу
Выполнил отряд...
А о том, что снилось, —
Промолчу.

Валентин Сорокин сказал об этом стихотворении так: «Кажется, невозможно представить нам, мужавшим после войны, подобное целомудрие... Ныне упрощаются многие понятия, привычки и ритуалы. А кое-кто хотел бы «упростить» и священное отношение к любимой, к матери, к Родине, ибо все это связано единой болью, единым дыханием человеческой верности и красоты. Но верность и красота не так уж и беззащитны перед пошлостью и жестокостью. Только эта убежденная верность помогла нашему солдату выстоять и победить. И если бы нашлись на планете силы, способные разрушить эти качества человеческой натуры, они бы разрушили само человечество».

Березы как символ чистоты

Одно из стихотворений Ковалева, которое так и называется — «Красота», написано словно на одном дыхании. Исповедь поэта сродни соловьиной песне. Лирический герой Ковалева обращается к своей любимой, но есть все основания полагать, что, видя мысленно перед собой возлюбленную, он писал и о девичьей, женской красоте вообще как о той тайне, с которой и рождается любовь:

Как лебеди,
Дики твои колени,
Тоскуют весны ранние по ним...

В унисон этому стихотворению звучит еще одно — «***Все видится...», хотя между ними есть разница. «Красота» — это богатство эпитетов, сравнений. Притом неожиданных. Одно сравнение женских колен с лебедями чего стоит! А зябкость, «как будто ветви сада // Росой осыпали»? Не каждому удается найти такие оригинальные, незатасканные образы. «***Все видится...», наоборот, — здесь лаконичность, казалось бы, предельная. Даже как бы обычная информация. Хотя такое восприятие обманчивое. Стоит внимательнее вникнуть в смысл сказанного, как сразу почувствуешь, что это вовсе и не лаконичность в ее традиционном понимании, а философская наполненность содержания, более того — афористичность высказывания:

Все видится
Закрытыми глазами,
Все любит:
Руки, губы и колени;
Дыханьем,
Шорохами
И слезами,
Улыбкой...

Любви все возрасты покорны — эту аксиому и подтверждают стихи Ковалева о любви. Сопоставляя некоторые из них, написанные в разное время, особенно если между ними во времени чувствуется большой разбег, нельзя не заметить, как его лирический герой, по мере своего взросления, требовательнее относится к своей любви. Нет, он не собирается отрицать то, что было раньше. Наоборот, по-прежнему трепетно вспоминает свои юношеские чувства, видя в них чистоту, которая с годами не утрачивает своей прелести, первозданности, что, к примеру, видно, из этого стихотворения:

Все взбудоражила, все, что где-то
Глубоко в сердце моем залегло.
Страшно забыть мне теперь все это,
А не забыть — тяжело.
Знаю: не быть, не случиться чуду.
Скорее вдруг запоет немой.
Как без тебя дышать буду,
Солнечный зайчик мой?..

Ответа, случилось ли чудо, нет. Да и стихотворение, конечно же, писалось не ради такого ответа. Появление его вызвали иные обстоятельства: неуверенность в том, можно ли ожидать взаимности в любви, отсюда и соответствующее содержание, не вызывающее особого оптимизма. Но несмотря ни на что, «солнечный зайчик» навсегда остался в душе, как и памяти. Однако, стихотворение «***В позднем возрасте любится чутче, родней...», написанное уже тогда, когда тяжесть прожитых лет все ощутимее, не о той, которая когда-то так волновала сердце. Содержание этого произведения в какой-то степени, видимо, вообще без какой-либо конкретной привязки. Это просто раздумье зрелого человека.

Только о своей ли любви он размышляет, остается загадкой. Можно сказать, что это так. А можно засвидетельствовать, что подобное утверждение ошибочное. Как и нельзя конкретно сказать, о какой любви поэт рассуждает. О той, которая выдержала испытание временем и с годами наполнилась новым содержа-

нием? Или о нагрянувшей нежданно-негаданно, когда, как говорят в народе, бес в ребро. Хотя это и хорошо, что однозначного ответа нет. Иначе стихотворение утратило бы свою прелесть, связанную с тем, что, читая его, как бы соизмеряешь свои чувства с чувствами лирического героя:

В позднем возрасте любится чутче, больней.
Потерять, кого любишь, намного страшней.
Одиночества холод — куда холодней.
Нежность близости— бережней и нежней.
И потребность заботиться, близость тепла —
Только в ней бы душевность ответной была.
От себя одного не уйдешь никуда...
Человеку души прибавляют года.

Символом чистоты для него всегда были березы, которые запали в память еще со времен детства и которые постоянно радовали его в Подмосковье, где любил побродить по лесам и перелескам. Не мог спокойно смотреть на карликовые северные березки, бывшие своего рода спутницами его фронтовой жизни. В них также была своя красота. Пускай себе неброская, но и не отталкивающая, а по-своему притягивающая, позволяющая приобщиться к тому, что также воспринимал близким и родным.

Мои березы,
Я без вас болею.
Я жить без вас,
Наверно, не смогу!
Чем больше вас чернят —
Тем вы белее,
И утро все в березах,
Как в снегу.
Перед нестыдной
Вашей наготою
Остолбенело солнце,
Льнет к росе.
И словно бы
К защите наготове,
Стоят дубы
В воинственной красе.

Стихи Ковалева о природе, как и его стихотворения о любви, для лучшего восприятия, требуют соответствующего настроения читателя. Особенно хорошо они ложатся на душу, когда то, что переживает лирический герой, близко тебе самому. Тогда создается впечатление, что все это — не плод таланта, фантазии поэта, а естественный ход и твоих мыслей, и то, что его волновало, волнует и тебя: «Озер зеленая лесная мгла. // В безмолвии их, пахнущем озоном, // Прислушайся... Звонят колокола // Малиновым, давно забытым звоном. // Черкнет изогнутый полет жука: // Как реактивный, звуки ножевые. // И неподвижность просит свежака. // И — как живые, листья неживые».

Как удачно соединены в единое то давнее, что связано с малиновым звоном колоколов, и нынешнее: «изогнутый полет жука» сопоставим с полетом реактивного самолета. Сравнение неожиданное, но оно не искусственное, не притянутое, а подмеченное, рожденное творческой фантазией, на которую способен только истинно талантливый поэт. Такая же образная насыщенность и в стихотворении «***Шустрее лез подсолнух из-за прясла...», хотя она и не сразу бросается в глаза. Это чувствуешь только тогда, когда начинаешь жить самим духом стихотворения

и на все смотришь такими же восторженными глазами, как видел все это лирический герой:

Шустрее лез подсолнух из-за прясла.
Шумнее за речушкой поезда.
И на заре над садом не погасла
В малиновой туманности звезда.
След пены в колеях от ливня, грома,
Уже сквозь сон ломившихся в окно.
В любовной близости родного дома —
Мечта и память, слитые в одно.
Грозы ночные тучки сбились стайно
На край небес и по краям горят.
И в яркости земля темна, как тайна.
И, как лицо твое, светла, как взгляд.
Подобна зелень привороту-зелью,
Сквозит, как глубь лесов, во сне не спя.
В ней тайны,
Что с собой уносят в землю,
Что знают и что помнят про себя.
Как знак их счастья — месяца подкова.
И говорит рассвет, хотя и нем...
И то,
Что так знакомо,
Так неново, —
Еще вовек не сказано никем.

Как стихи Ковалева о любви легко выстраиваются (во всяком случае, лучшие из них) в нечто завершенное, в особый цикл, с единым замыслом и воплощением, так и лирика о природе — это, по сути, одна поэтическая повесть, состоящая из отдельных произведений, близких, взаимно дополняющих друг друга. В эту «повесть» хорошо вписывается и стихотворение «***Туманной подсинённые росою...»:

Туманной подсиненные росою,
Сквозь красные ресницы смотрят яблоки.
И раненные раннею красою, —
Как трепет,
Скромные певцы их — зяблики.

На кровлях мокрые синеют сурики,
И радужна лягушачья икра еще.
И чем темнее в речке сада сумраки,
Тем ярче светляки плотвы играющей.

Носатая поскрипывает утица,
И селезень
Не сводит глаз с забочины:
Семьей своей писклявой озабочены.
И, омуток сверля, воронка крутится.

Ты после стольких травм
Как невредимая,
Земля моя —
Прозрения пророчица...
Чем больше я люблю тебя, родимая, —
Тем больше уходить в тебя не хочется.

И критик, и переводчик

Дмитрий Михайлович писал не только стихотворения. Подтверждение тому — повесть в стихах для детей «О мальчике Женьке из села Нижние Деревеньки». Но, как и многие писатели, работал и в жанре публицистики, понимая, что это хорошая возможность высказать свою позицию по наболевшим вопросам. Не отказывался написать рецензию, особенно если это касалось произведений тех, кто являлся своего рода его литературным крестником. Как же, в таком случае, не молвить доброе слово напутствия тому, в чьи силы веришь. Выступал и с литературно-критическими статьями, лучшие из которых вошли в его посмертную книгу «Наедине с жизнью», выпущенную издательством «Современник» в серии «О времени и о себе».

В этой книге есть статьи о таких замечательных поэтах, как Михаил Исаковский («Жизнь — песня»), Александр Прокофьев («Радужный хоровод жизни»), Павел Васильев («Неистовое естество»), Сергей Васильев («Не голубиного нрава»), Василий Федоров («По главной сути») и другие. Рядом помещены размышления о творчестве молодых на это время авторов. Не обошел Дмитрий Михайлович своим вниманием и белорусских поэтов, сказав свое весомое, авторитетное слово о Якубе Коласе («Колос белорусской нивы»), Максиме Танке («Длиною в один день»), Иване Мележе («Поэзия Полесья»), Янке Брыле («Работа вечная огня»), Миколе Сурначеве («Одна любовь»).

К творчеству братьев-белорусов он иногда обращался и говоря о русских мастерах поэтического слова. В той же статье «Трудная слава», давая свою оценку Есенину, подчеркнул: «Белорусской поэзии он близок своей народностью, своим гражданственным интимнейшим лиризмом. И в стихах Кляшторного, и Чарота, и многих других можно было уловить многое, что принес в советскую поэзию Сергей Есенин. Павлюка Труса так и называли, помнится, белорусский Есенин. [...] Не совсем это лестно, хоть читателя и это подкупало, и не от плохого чувства он такие названия давал, но что было, то было. Важно как раз, что



С писателями. Начало 1970-х.

у Есенина учились талантливые по-настоящему поэты. И что брали у него, за исключением голых подражателей, отстоявшееся, самое чистое, светлое».

А в статье «Не раб и не соперник», имеющей подзаголовок «Заметки о мастерстве перевода», Ковалев рассуждал о том, «как важно найти автору переводчика или переводчику — автора, найти ту единственную взаимопроникаемость душ, когда и схватиться приятно. Когда именно взаимная неуступчивость приводит к желаемым результатам». При этом уточнял: «Конечно, это может быть только между живыми. Ушедшие — особая статья. Там особенно важна совесть; ответственность переводчика умножается на степень таланта ушедшего». Говоря о живых переводчике и авторе, свидетельствовал: «Наиболее близкий пример, который приходит первым в голову, — это Исаковский и Кулешов. Это было всем очевидно — как взаимны творчески эти два крупных таланта, как звучит Кулешов, самый родниковый Кулешов, в переводах Михаила Исаковского. Не хуже ведь ничуть, чем на своем родном языке. Так, словно бы и написано по-русски».

К проблемам перевода Ковалев обратился не случайно: и сам успешно работал на переводческой ниве. Прежде всего, знакомил русскоязычного читателя с творчеством белорусских писателей. Благодаря его мастерству вышли поэтические книги Нила Гилевича «Песню берите с собой» (1959), Олега Лойко «Моя планета» (1971), Миколы Сурначева «Одна любовь» (1971), Анатоля Гречаникова «Звезды и курганы» (1976) и другие. Потрудился Ковалев и на прозаическом поприще, переводя роман Ивана Мележа «Дыхание грозы» (1967), книги Янки Брыля «Горсть солнечных лучей» (1968) и «Краюха хлеба» (1977)... В том же 1977 году, благодаря Дмитрию Михайловичу, на русском языке вышла и книга Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника «Я из огненной деревни...». Всего Ковалев перевел 10 книг стихов и прозы белорусских писателей.

Однако не только они интересовали Дмитрия Ковалева. Например, на русский язык перевел избранные произведения талантливого узбекского поэта Султана Джуры, который в совсем молодом возрасте в Великую Отечественную войну погиб на Гомельщине, вблизи родных мест Ковалева. О нем у Дмитрия Михайловича также есть стихотворение:

Далеко оно,
Фронтовое житье,
Года тревог и разлук.
Говорят, что узбекское имя твое
Означает по-нашему «друг».
И ты настоящим был другом мне,
Хотя я тебя не знал.
Походную жизнь ты узнал на войне,
В землянке стихи писал.
Я был в Заполярье, матрос рядовой,
Когда у села моего
Твой путь оборвался
И холм небольшой
Вырос в конце его.

Честность во всем

Вообще, Ковалев принадлежал к тем поэтам, которые выступают в различных жанрах. Да и не только рецензиями и литературно-критическими статьями, но и размышляют над современным им литературным процессом, выражают свою жизненную и творческую позицию. Подтверждение тому и его ответ на вопрос: «Что вы думаете о народности поэзии, о возросшем интересе к нацио-

нальным и классическим традициям в сегодняшней поэзии и каковы, на ваш взгляд, противоречия этого процесса?», заданный альманахом «День поэзии».

Вопрос этот был предложен не только Дмитрию Михайловичу. На него отвечали также Лев Аннинский, Вадим Кожинов, Александр Михайлов, Игорь Матяшов, Евгений Осетров, Александр Яшин и другие поэты и исследователи литературного процесса. Ковалев, являясь сторонником классической манеры письма, в самом начале своих рассуждений заметил, что «очень чутка поэзия к течению жизни, к движениям ее атмосферных масс, никогда не зависящих от легких дуновений», и продолжал: «И вот где-то здесь, по-моему, в сердцевине всего этого, кроется двигательная сила народных традиций поэзии, ее национального своеобразия, которое так едино с народностью, что их разделить немыслимо, не разрушив, не повредив живой ткани. И поскольку у каждого народа свое, неповторимое во времени, а человеческое присуще всем человекам, составляющим всякий народ, то именно в неповторимом и чувствуют люди больше всего общее. И впрямь — интересно ли мне читать французского поэта, в котором я не почувствую француза, с его тонкой остроумностью, и не только: именно у него мне особенно приятно, в нем самом находить себя и свое — и это есть общечеловеческое».

Высказался и о своем понимании традиции и новаторства: «Так вот о традициях: дико, но факт, — уже даже привыкли и механически произносим: «Ах, это традиционно», — в смысле не ново, просто бездарно, если называть вещи своими именами. Даже бранным словом стало это «традиционно». Куда уж!.. И якобы это антиподы — традиционность и новаторство; простите, если некоторые несть числа «новаторы» приняли за своего противника такого сорта «традиционность», то и сами они, видать, недалеко ушли: по воину и противник. Между тем традиционными испокон веку становились только те поэты, которые были изнутри, из корня новаторами. Так и во всем. Неспроста же: суворовские традиции, наконец, ленинские, революционные, пушкинские, некрасовские, блоковские, есенинские, маяковские... Кто их продолжал — не стали традиционными. Как не стали те, кто во что бы то ни стало расшатывал все, что они укрепляли, и во что бы то ни стало делал все непохоже, даже нарочито наоборот. У тех обычно получалось наоборот с известностью и, наконец, со славой. Они шумели в юности, которая, жаль, скоро проходит, а вместе с нею и шум. Сколько их уже объявлялось гениями, даже на мировой арене! Сколько уже на моей памяти объявленных новейшими знаменитостями на глазах перестали быть таковыми. Остаются вечно молодыми старые мастера. Старое, но грозное оружие!..»

Давно сказано, а в основном не устарело, ибо и сегодня, как в поэзии, так и в литературе в целом, основную службу, если можно так сказать, несут те писатели, которые и в самом деле остаются «вечно молодыми» и у которых есть чему поучиться. Это, конечно, не означает, что нужно полностью отрицать новаторство, литературный эксперимент, но все должно быть в меру. Ковалев в одинаковой степени был требователен как к самому себе, так и к товарищам по перу, независимо от того, являлись они его ровесниками или тогдашней молодой порослью, уверенно завоевывающей свое место под литературным небом. Не стеснялся прямо высказать то, что думал.

Так поступил однажды и с Евгением Евтушенко. Тот, как известно, всегда писал много, но, что также нельзя отрицать, иногда уж слишком быстро реагировал на злобу дня. Естественно, подобные стихи имели «вес», значимость только тогда, когда быстро приходили к читателю. По истечении определенного времени интерес к ним ослабевал. Этого не мог не понимать и сам Евтушенко. Однажды он начал сетовать, что, мол, из-за задержки выхода очередного сборника его стихи успевают устареть. Присутствовавший при этом разговоре Ковалев не удержался и посоветовал: «А ты, Женя, пиши, чтобы лет на пять хотя бы хватало!..»

Неоднозначно он относился и к творчеству Роберта Рождественского. В частности, ему не нравился ныне широко известный «Реквием». Прежде всего из-за строк: «Помните! Пожалуйста, помните!», он считал, что все это рассчитано на массового потребителя. Даже сказал, что Рождественский «совсем глухой. На ухо слон наступил», при этом добавил, характеризуя Рождественского: «Железный Робот». В какой-то степени, безусловно, это можно расценить как просто непринятие Дмитрием Михайловичем Рождественского как поэта. В чем-то, конечно, это так. Однако только не относительно вышеприведенных строк. Их неестественность, надуманность налицо. Это так волновало Ковалева, что он даже написал стихотворение «***Зачем вы красите солдата золотом...»:

Зачем вы красите солдата золотом,
Что над могилами склоняется, скорбя?..
Его война огнем пытала, холодом,
Он для победы не щадил себя.

Как жесткость у зубчатых стен еловая,
Печаль седых бровей его строга.
Ему к лицу его шинель суровая,
В которой грозно он встречал врага.

Зачем вы эти «... помните, пожалуйста!»
На камне высекаете слова.
Достойные не мужества, а жалости,
Где гордая и в горе голова?..

У скромного по-братски изголовия
Слова должны быть подвигу под стать.
Здесь неуместно блуду многословия
Просительной галантностью блистать!

К голосу Ковалева со временем прислушались. Строчки «Помните, пожалуйста, помните!», где их успели выбить на памятниках в честь погибших в Великую Отечественную войну, поменяли на те, которые сегодня стали крылатыми: «Никто не забыт и ничто не забыто!» Автором их является Ольга Берггольц.

Знакомясь и с дневниковыми записями Дмитрия Михайловича, также можно убедиться, что у него есть немало высказываний, свидетельствующих о том, что он, будучи человеком и поэтом активной жизненной позиции, по сути, делал наброски, которые в будущем можно было использовать как при написании произведений, так и в публичных выступлениях. Как эти: «Личная свобода мысли, не навязанной, а своей, мысли, достигнутой убеждением, на опыте, необходима человеку как воздух, человек на это имеет право, пока он дышит», «Вчера заметил, что люди (а это я уже давно чувствовал), которые не любили учиться, при всяком удобном случае стараются унизить учителя. Это им приносит удовольствие». Как же без любви: «Есть люди, в присутствии которых время начинает мчаться, будто они его подгоняют. Это признак людей, которые нами любимы». «Самое искреннее — это то, что сказано озлобленным, обиженным или влюбленным сердцем». А это связано с военной действительностью: «Когда подводники возвращаются на базу, выбравшись из лап смерти, они необычайно задушевны», «На днях бродил по скалам, откуда видна даль мрачного Баренцева моря. Подумалось: многие уже оттуда не придут, и гибель их останется тайной».

Есть у Ковалева и такая запись в дневнике, относящаяся еще к годам войны: «Тема для стихов:

Койка Васи Облицова. На тумбочке — пришедшее ему письмо.
— А где Вася?
— Вася? В Баренцевом море остался».

Эта запись стала позже темой для стихотворения «***И все шумит, шумит залив...», имеющего посвящение «Памяти подводника Василия Облицова».

Счастлив вопреки невзгодам

На долю Дмитрия Ковалева выпали не только суровые военные испытания. Хватало их и в мирной жизни. И чаще всего это было связано с творчеством. Он, в сравнении с другими поэтами, в том числе и с представителями военного поколения, писал не так и много. Сказано это, конечно, не в укор ему, ибо много-мало — в поэзии, как и в целом в творчестве, литературе, и вовсе не показатель значимости того, что создал тот или иной автор. Но вся беда в том, что в редакциях журналов, куда Ковалев приносил свои произведения, им не всегда охотно давали зеленую улицу. Причина известная: о чем бы он ни писал — о войне, о любви, о дне сегодняшнем, слишком уж был индивидуален, его стихотворения как бы «выпадали» из общего потока. Даже при всей правильности они иногда воспринимались «неправильными».

Правда, если с таким предвзятым подходом к его произведениям да и с бытовыми неурядицами он более-менее успешно справлялся, то куда сложнее ему стало, когда начало подводить здоровье. Однако и здесь не собирался сдаваться. Стоял, что говорится, до последнего. Перенес несколько операций и все же, немного выздоровев, как говорится, опять возвращался в строй. Так было и после седьмой, которую ему сделали в 1971 году. Зная, что студенты, с которыми занимался, с нетерпением ожидали его возвращения, снова начал вести творческий семинар в Литературном институте. Да и сам успел соскучиться по ним.

Преподавательской деятельностью, однако, не ограничивался. Не пропускал ни одного заседания редколлегии журнала «Наш современник», членом которой



В редакции газеты «Маяк». 1960-е.

являлся. Охотно работал и в приемной комиссии Союза писателей РСФСР, где всегда поддерживал тех из молодых литераторов, в ком видел талант и в чье творческое будущее верил. Но никогда «добреньким» не был. Посредственности, серости спуску не давал. Да и в Москве не засиживался. Всегда был легок на подъем, а тогда словно вторая молодость вернулась. С удовольствием отзывался на предложение принять участие в днях, декадах литературы. Или просто выехать с очередной писательской бригадой на встречи с читателями. И не куда-нибудь в Подмосковье или, скажем, несколько дальше. Поездки и по Сибири, и по Дальнему Востоку.

Не жаловался ни на трудности в пути, ни на усталость. Но другие-то здоровы были, а его силы медленно, но неустанно продолжала подтачивать тяжелая болезнь. Та, которая и поныне не излечивается, а тогда и тем паче. Но Дмитрий Михайлович еще шесть лет противостоял сахарному диабету. И был по-своему счастлив. Да и как не быть счастливым, если, несмотря на все превратности судьбы, по-прежнему можно было радоваться солнцу, видеть лица любимых людей и самому любить. На это обратил внимание Юрий Прокушев, когда в предисловии к книге Ковалева «Дороги жизни и любви», вышедшей в 1987 году, писал: «Счастлив, вопреки невзгодам и превратностям жизни, всем колючкам и шипам на тернистом его пути тот поэт, судьба которого всегда была кровно сопричастна народной судьбе и неотделима от нее как в радости, так и в печали; поэт, для которого наипервейший гражданский долг, высшее призвание жизни — любовь и верность Родине.

Как поэт и гражданин Дмитрий Ковалев обращался к тем вечным нравственным проблемам, которые сегодня особенно тревожат каждого честного человека, каждого думающего литератора. Это совестливость, доброта, человечность наших повседневных поступков, всей духовной жизни».

Однако борьба Дмитрия Михайловича с болезнью была неравной. 5 марта 1977 года Ковалева не стало. Похоронили его на Ваганьковском кладбище. Там, где вечным сном спит Есенин. Могила великого русского поэта находится неподалеку от того места, где обрел покой и он. У него постоянно было желание приобщать к творчеству Есенина и своих воспитанников, поэтому на творческих семинарах, которые вел в Литературном институте имени А. М. Горького, рассматривая произведения молодых авторов, обязательно обращался к поэзии того, кто стал, по сути, его первой литературной любовью.

Первая же литературная любовь отличается от той, которую человек переживает в жизни. В жизни, за редким исключением, о первом увлечении со временем остаются лишь воспоминания. В литературе же все происходит наоборот. Поэтому у Ковалева с годами эта самозабвенная любовь к Есенину стала еще более осмысленной и сильной. Его тянуло к Есенину, как тянет писателя к писателю, который в его жизни и творчестве занимает важное, а то и определяющее место.

Дмитрий Михайлович часто навещал могилу Есенина. Иногда не один, а вместе со своими студентами. Был уверен: «Надо чаще бывать на кладбищах. Не наскоком приходить поглазеть на свежую могилу той или иной знаменитости, а чтобы подумать, поразмышлять — о жизни, о смерти, о добрых делах своих и о грехах. Наедине с ними, некогда жившими, человек становится чище помыслами. Он как бы глубже осознает: все мы бренны, а сделать предстоит еще многое. Так не лучше ли, пока не поздно, отбросить лень и праздность, поспешить закончить работу за себя, а если успеется — и за них, вот под этими памятниками лежащих...»

Посещения Ваганьковского кладбища для него были не только возможностью отдать дань памяти человеку и поэту, который так много значил и в его жизни, да и во всей русской поэзии. Появлялась возможность и иного плана: мыслен-

но повторить то, что высказал в одном из своих замечательных стихотворений о бренности всего живого на земле, но вместе с тем и о том, насколько мы, ныне живущие, чувствуем присутствие тех, кто уже ушел в вечность. Во всяком случае, должны постоянно помнить об этой незримой взаимосвязи:

За путями в молчанье своем
Чаша памяти вечной встает.
Мне о том,
Что не вечно живем,
И сегодня забыть не дает.
Свет включаю под утро всегда,
Но такой, что углы не зальет.
Мыслью занятый, гляну туда:
Спит Есенин,
Но синью зовет.
Спят Тропинин и Даль там давно,
И Саврасов, и Суриков там...
Разве им, как живу, все равно
И каким поклоняюсь местам?..

Дмитрий Михайлович, любя творчество Есенина, увлекаясь им, никогда не писал под него. В поэзии Ковалева можно заметить есенинские мотивы, но вместе с тем, это все свое.

* * *

Хорошо сказал, провожая Дмитрия Михайловича в последний путь, Егор Исаев: «Дмитрий Михайлович Ковалев... Фронтовик-подводник. Большой русский поэт, пришедший к нам из Белоруссии... Как он любил родную землю — Центральную Россию и Белоруссию! Любил ее во все времена года. Любил дивную, бушующую в цветах и соловьях, любил туманную, серую — в низких облаках и секучих дождичках; любил белую — сугробную, вьюжную... всякую любил. Любил жителей ее и тружеников. Любил самозабвенно, мудро — от раннего тепла до позднего, от первого до последнего. Любил. И эта любовь, как сама жизнь, от всего сердца сказалась в его стихах, в его книгах — удивительных и неповторимых...»

А вот как сказал сам Дмитрий Ковалев: «И даже потом, когда не будет меня, я не перестану любить — стихи мои будут любить».

ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ

Все пути озарены тобою

* * *

Янке Брылю

Перед рубиновым огромным солнцем ранним
песчано-дымные кряжи в бору...
С тобой — ни забытья, ни умиранья.
Все предвещания твои к добру.
Русь,
нареченная когда-то Белой,
с Великой Русью ты слилась во мне,
как две любви во ржи заголубелой
с одною правдой в мире и в войне.
Хочу погожим эхом оставаться
в твоих грибных и ягодных лесах,
за правду рисковать и не сдаваться,
у совести твоей быть на часах.
Закон:
неси земле хотя бы лучик.
Завет:
живи — душою не криви.
Быть искоркой твоей —
чего же лучше?
Быть искоркой сознания в крови.

Учимся

Белы от инея —
Как выбелены мелом мы.
Всю ночь
Телами греем валуны.
Какими оказались неумелыми
В начале
Неигрушечной войны!
Не наступать,
А каждый шаг отстаивать,
И не на их,
А на своих снегах.
Своим теплом
На сопках лед оттаивать.

Носить свой сон
По суткам на ногах.
Пока вооружимся
И научимся —
И все припомним ***им***
На их полях —
О, сколько мы натерпимся,
Намучимся!
И скольким лечь
На подступах в боях!

* * *

Я вижу издали родительскую кровлю.
Гречихи пенятся.
И лен — как море, синий.
Моя по убеждению, по крови,
Одна в тысячелетиях — Россия,
Отчизна скромная,
Душа моя!
Гроза и половодье,
Бор и нива —
Все то, чем жизнь светла,
В тебе увидел я —
И полюбил тебя
Безмолвно и ревниво.
Пусть не цветист,
И не душист, и гол
Простор под мурманскими небесами—
Но где бы ни был я,
Куда бы я ни шел —
Холмы твои стоят перед глазами.
Мы часто сдержанны в любви к тебе.
Не говорим о ней, готовясь к бою.
Мы только глубже чувствуем в борьбе,
Что все пути озарены тобою.

Ветка

Ветка...
Зеленая Ветка!
Выпадало нам видеться редко.
Первый раз увидал,
Как родился,
А второй привелось —
Как женился.
Все по свету,
По белому свету.
И тебя там, где был я, нету.
Но бушлат мой — лишь знак былого.
Узнаешь ли меня пожилого?

Я медлительней стал и строже.
Ты же стала еще моложе.
Все, что в годы войны пережито,
Под листвой молодою скрыто.
Лишь чернеют в песке рыжевато
Лапа якоря, хвост каната:
Наводненье когда-то было —
Староверскую пристань смыло,
И теперь ветковчане наши
Староверами не зовутся.
Только в память об их вчерашнем —
Крепкий чай в фарфоровом блюдце.
Только имя, данное метко,
У тебя неизменно, Ветка...
Будешь ты, мой безвестный город,
И в неблизком будущем молод.
В изобилии расплодится
В плесах рыба,
В чащобах — птица.
Пионер, свесив ноги, будет
Красноперок в затоне удить.
Я ж при встрече этой короткой
Буду лысый, уже с бородкой.
Стану, может, еще степенней.
Но душою черствым не буду.
Солнцем в окна,
Ласточкой в сени
Ты являешься мне повсюду.
Все не вечно
Под поясом млечным.
Время
Метит морщинами
Метко.
Но шумит по-весеннему
Вечно —
Вечно зеленая
Ветка.

* * *

Памяти отца Михаила
Тимофеевича Ковалева

С Первой мировой семье отправлен:
Ранен и контужен,
Газами отравлен.
Полверсты обмоток — долго ты носил их.
А рука — кусок держать не в силах.
Где уж было горну тут куриться!
Вереск спас: все парили в корытце.
Нежелезный после, вспыльчив, резок,
Сколько перенянчил ты железок!
Скольких обучил своей науке!

Говорили все:
— Какие руки! —
В кузницу твою валили лавой.
Как гордился я твоею славой!
Сколько мы с тобой серпов зубили!
Будь бы с нами — и нужду б забыли...
Бросил малых нас и мать под старость,
И мою, недетскую, усталость.
Не своих кормил... А нас — полроты.
При живом отце росли сироты.
И себя мы сами порастили...
И вернись бы только — все простили...
Может, чуяла, душа слепа ли,
Что сыны твои на фронте пали.
Что помощник первый твой,
Твой старший,
Хоть немногим —
Но известным ставший...
Только бы вернулся... Есть ли чудо?
Разве возвращался кто оттуда?..
Как ты умирал... Один... Больница...
Будешь к непогоде сыну сниться.
И во сне наплачусь теми же слезами...
И проснусь с кругами под глазами.

* * *

Опять не получается работа.
Ночами беспокоят голоса.
Все требуют типичного...
Но что-то
Все лезет нетипичное в глаза.

* * *

Все обо всем:
О мировой судьбе,
О будущем —
Да с пышным караваем!
А что мы знаем
Сами о себе?..
Себя мы
От самих себя
Скрываем.
Как смею жить,
Не разорвав кольца,
С неусыпленной совестью
И с жаждой?..
Сказать хотя б себя,
Но до конца.
Чтоб, вздрогнув,
О себе подумал каждый.

Красота

Как лебеди,
Дики твои колени,
Тоскуют весны ранние по ним...
Приснилось,
Что ханжи пооколели.
И стало меньше
Хоть грехом одним.
И стала юность чище и моложе,
И зрелость добротою ближе ей,
Наедине,
Опаслива до дрожи,
Ты хмуришься от наготы своей,
Такая зябкая,
Как будто ветви сада
Росой осыпали,
Хоть голову втяни.
Двух земляничин робкая прохлада
Краснеет и хоронится в тени...
Но если бы рассвет
Твои опаски
И глаз твоих пугливых высоту
Увидеть мог —
Он погасил бы краски,
Чтоб не спугнуть такую красоту.

Летящий вечер

Брату Мише

Совсем один
И тот на небе
Серп.
А по стерне —
Сыпь шинных перепонок.
А на лугу —
Круги лишь от копенок.
И как наторкано
Вдоль шляха верб.
И как насыпано
У пней опенков.

Не оторвусь...
Уже серчает брат,
Заводит мотоцикл
С пол-оборота.
Тускнеет красный
Сосняков парад.
В стемневших чащах
Светятся болота.

Студеные,
Слетают звезды с век.
Оранжевые полосы
Неярки.
Нам души леденит
Тумана снег,
К лощинам никнущего...
Туч огарки...

Навстречу — фары,
Все растут, растут...
Вдруг ослепив,
Трассирующе меркнут.
И вот он, город!
Потеплее тут...
Над нами медлит
Самолет, как беркут...
Подробно помни.
Никуда не день.
Как миг,
Когда неясно
И опасно,
Но юно.
Помни:
Позади твой день.
Все меньше у тебя
Таких в запасе.

Позывные

Прослушивает полночь сны земные.
И на волнах коротких,
И на «ультра»
По мирозданью рыщут позывные,
Предсказывают день,
Торопят утро...
Никто не виноват.
Все только правы.
Так доверительны.
Насквозь правдивы.
Но кто-то косит же
Людей — не травы,
В чужом дому хозяйничать радивый.
Себя ж не предает огню,
Кто им объятый,
Себя с земли своей не гонят взашей.
Где смеют заживо детей сжигать
солдаты —
Там даже солнце праведное в саже.
По хрупкостям броня ступает грузно.
Запугивают мир уж не парады.

Любовь к отечеству используется гнусно.
Ложь оголтелая правдивей правды.
Бессонница, здоровье пожирая,
У изголовья совести маньячит.
Как голова в сединах пожилая,
В окне подоблачном луна маячит.
Любовное, наивное светило!..
Теперь на нем сыны земной державы.
Чистейшей обувью она там наследила.
А на земле следы ее кровавы...
Каким еще поветрием повеет —
Какие по ветру развею сны я?..
Будь проклят,
Хоть родной,
Кто вам поверит,
Зловещих оправданий позывные!..
Уйдешь ты не последним
И не первым,
Собою будь, мой век!
Себя твори!..
Пронзительно
Проносятся
По нервам
Космические
Скорости твои.

Смелость

И мы бывали смелы — не с оглядками.
И задним все числом,
Как вы, я это помню.
С вчерашними сражались непорядками.
С сегодняшними — был порядок полный.
А на войне —
Не с прошлыми ошибками
Войну вели,
А с танками,
А с танками.
Мы уважительно вели себя с останками.
Живых врагов щадить могли не шибко мы.
Теперь вы нас в несмелости корите.
И нашу вы беду в вину нам ставите...
Вы по-солдатски с нами покурите —
Быть может, снизойдете и оттаете...
По сути — смелость остается та же.
По смыслу — смена тоже не другая...
Вы так усердны,
Прошлое ругая,
Что боязно за будущее даже.



ДЖО АЛЕКС

Скажу вам, как погиб он[1]

Роман

V. «И вот стою я перед вами...»

Когда часы пробили без четверти восемь, Алекс оторвался от пишущей машинки и начал переодеваться к ужину. Он был очень доволен. В течение каких-то двух часов книга в общих чертах обозначилась. Все сюжетные линии стояли перед глазами. Осталось еще несколько уточнений плана — и можно начать писать. Завязывая перед зеркалом галстук, он улыбнулся своему отражению и, как мальчишка, скорчил ему рожу. Очень забавно, что он превратит эту группу людей в круг подозреваемых, среди которых выявятся убийца и убитый. Это даже хорошо, что Паркер позвонил ему и обрисовал всю ажурную атмосферу опасности, которая витает над Саншайн Мэнор. Это подталкивало воображение. И даже могло бы стать отдельной сюжетной линией, разумеется, в измененных обстоятельствах. Он вымыл руки и, тихонько посвистывая, спустился в салон, где застал лишь одного человека.

Увидев Алекса, Филипп Дэвис поднялся с кресла, где сидел, просматривая какую-то газету. На столике перед ним стояла шахматная доска, а фигуры на ней были расставлены так, словно партнер минуту назад вышел, оставив партию в ходе игры.

— Вам удалось хоть немного поработать? — спросил Филипп. В темном костюме и белой рубашке он выглядел еще привлекательнее, чем днем.

— Да, — ответил Алекс и, вынув пачку сигарет, хотел угостить его.

— О, нет, не перед ужином! — молодой человек сделал легкое движение рукой, будто хотел отгородиться от сильного искушения. — Говорят, это губительно действует на аппетит. Разумеется, — поспешил он объяснить, — я говорю это вовсе не для того, чтобы лишить вас удовольствия покурить сейчас. У каждого взрослого человека свой взгляд на то, что он называет маленькими удовольствиями.

— Это верно! — Алекс закурил и спрятал пачку в карман. — Вижу, у вас довольно оригинальные маленькие радости. Вы играете сам с собой?

— Нет, что вы! Я ведь никогда бы не выиграл, играя сам с собой, — всегда получалась бы ничья. Это не игра, а просто шахматная задача. Точнее, я сочиняю шахматную задачу и предлагаю другим решить ее. Вот это как раз издание нашего клуба, — он указал на газету. — Здесь публикуются наиболее интересные задачи и способы их решения. Я — один из членов правления клуба.

— Должно быть, это очень увлекательно... — произнес Алекс без большой уверенности в голосе и сделал вид, что рассматривает фигуры на доске. — Но, вероятно, шахматист со средними способностями, в конце концов, всегда находит правильные ходы?

---

[1] Продолжение. Начало в № 7 за 2015 г.

— Нет, — отрицательно покачал головой Дэвис. — Это примерно то же самое, что ваши романы, если можно привести такое сравнение. Вы ведь точно так же расчетливо сообщаете все необходимые данные об убийце и убийстве, но так, чтобы затруднить их обнаружение, не делая его, однако, невозможным. Несмотря на это, случается, что даже очень проницательный и умный читатель увидит какой-нибудь факт «с неправильной стороны», если можно так выразиться, и сделает из него неверный вывод. А один неверный вывод повлечет за собой другой и в результате приведет к ложному окончательному решению. Здесь такие же ловушки и преграды. Признаюсь — я большой поклонник вашего творчества. Особенно мне понравилась «Тайна зеленого такси»...

Джо мысленно застонал. К счастью, в ту же минуту дверь, ведущая в холл, отворилась и вошел профессор Роберт Гастингс.

— Добрый вечер! — сказал он. — Я вижу, что каждую свободную минуту вы проводите за самой важной из всех работ! — рассмеялся он, указывая пальцем на шахматную доску. — Он действительно великолепный шахматист, — обратился профессор к Алексу. — Позавчера мы сыграли пять партий подряд, и ни в одной из них мне даже не удалось перехватить инициативу. Фигуры этого молодого человека ведут себя, как живые враги, причем с количественным перевесом. Мне все время казалось, будто у него вдвое больше фигур, чем у меня.

— О, это всего лишь вопрос практики, профессор. — Дэвис покраснел от удовольствия. Такие слова ученого с мировым именем явно были для него чем-то, что он запомнит на всю жизнь.

— А вы надолго приехали в этот очаровательный дом? — спросил профессор у Алекса.

— Еще не знаю. Скорее всего, на две-три недели... Я хочу тут кое-что сочинить. Согласитесь — здесь идеальное место для работы.

— Не знаю. К счастью, я здесь не работал. Зато оба моих знакомых и присутствующий здесь их стойкий и дельный сотрудник работают почти непрерывно. Хорошо, что Иэн не любит работать после обеда, а Гарольд Спарроу — вечером. Иначе я бы их вообще не видел, кроме как во время еды. Видно, что они приближаются к финишу. Мне знакомо такое состояние, и я очень люблю ощущать его на себе. Вам известны такие минуты, когда человек знает, что еще день или неделя усилий, и он сможет, наконец, выпрямить плечи и позволить уснуть уставшему мозгу, выключив работу его важнейших клеток, и заменить их теми, которые позволяют нам поймать рыбу или подстрелить зайца? Разум чувствует приближение такой минуты определенным специфическим образом. Он торопит нас и вызывает горячечное возбуждение. Мне кажется, что именно такое настроение я наблюдаю здесь в настоящую минуту. Не правда ли, мистер Дэвис?

— Более-менее, профессор, хотя мне трудно точно ответить на этот вопрос. Вы ведь знаете, что не всегда такой финиш действительно является финишем. Иногда кажется, что результат — вот он, совсем рядом, за углом улицы, если можно так выразиться, а тем временем оказывается, что он по-прежнему укрыт за семью горами. Профессор Драммонд утверждает, что до тех пор, пока какая-либо работа не окончена, никогда не известно, начата ли она вообще, ибо путь может привести в тупик, и тогда выяснится, что все надо начинать с самого начала.

«Ничего он ему не объяснил. Умный парень...» — подумал Алекс и с уважением посмотрел на невинное юношеское лицо Филиппа Дэвиса, который слегка наклонился вперед, как бы подчеркивая, что он готов с уважением выслушать ответ оппонента.

Профессор открыл рот, но прежде чем успел заговорить, дверь отворилась снова, и на пороге появились обе дамы, а следом их мужья.

— Прошу к столу, — сказала Сара. — К счастью, Кейт уже вернулась, и мне не придется самой вас обслуживать, — лицо Сары разрумянилось, а волосы были слегка примяты. — Кажется, один из тех двух охотников за бабочками, которые расположились у наших ворот, пытается поймать нашу Кейт... Однако не будем сплетничать о слугах. Довольно того, что они о нас сплетничают.

Все направились в столовую. Неразговорчивый Гарольд Спарроу сел рядом с Люси, одетой в платье холодного фиолетового цвета, которое прекрасно оттеняло ее красоту и светлые волосы. По локоть забинтованную правую руку поддерживала переброшенная через шею белая шаль, из-под которой поблескивал рубин на узенькой, короткой цепочке. «Мало заботят ее женские мелочи, — подумал Алекс, — раз она к двум разным платьям надевает одно и то же украшение. Несомненно, она достаточно обеспечена, чтобы иметь определенное количество драгоценностей, и наверняка она их имеет. Просто вопрос красоты не является предметом ее постоянной заботы». Джо взглянул на Сару. Ничего в эту минуту не напоминало в ней того подростка, в обществе которого он сегодня утром покинул Лондон. День за окнами уже догорал, и стол освещала огромная хрустальная люстра. В ее свете белое платье Сары с глубоким вырезом, ее бриллиантовые серьги и великолепный алмаз на среднем пальце левой руки представляли собой изумительный фон для смуглых гладких плеч и шеи. Большие черные глаза сияли. Высоко зачесанные волосы блестели, словно политые водой. Пожалуй, впервые в жизни Алекс понял, что означает выражение «женщина, излучающая сияние». Сара Драммонд была похожа на инопланетянку, окруженную прозрачным электрическим ореолом, который двигался вместе с ней и вместе с ней застывал неподвижно. Но она, казалось, об этом не подозревала, хотя опытный глаз Алекса уверенно определил, что ей понадобился по крайней мере час для того, чтобы подобрать и сопоставить все элементы, создающие этот эффектный внешний облик.

— За здоровье нашего гостя, — произнес Иэн Драммонд, поднимая бокал.— К сожалению, это наш последний общий ужин здесь, и мы с профессором Гастингсом в последний раз садимся за этот стол вместе. Я, конечно, убежден, что вскоре мы встретимся вновь, ибо мир становится все теснее, и мы все чаще перебираемся с континента на континент, чтобы повстречаться со старыми друзьями и познакомиться с их новыми достижениями. Я пью за здоровье нашего гостя и за то, чтоб мы могли как можно чаще посещать его великолепную лабораторию, читать его мудрые статьи и восхищаться его достижениями, равно как и достижениями его коллег и всей его страны, столь прославившейся стремительным развитием технического прогресса!

Все подняли бокалы. Джо Алекс не мог избавиться от ощущения, что хотя тост Иэна был полон искренней сердечности, где-то в его глубине таилась нотка иронии. Но если даже профессор Гастингс и заметил ее, он не подал никакого вида. Подняв бокал, он поблагодарил за гостеприимство и пожелал обоим ученым успешного окончания работы, которую ожидает весь мир, хотя и не отдает себе в этом отчета. Все это прозвучало очень мило, и настроение за столом быстро улучшалось. Даже молчаливый Спарроу попытался сказать несколько теплых слов уезжающему американцу, а сидящая рядом Люси, которая с беспомощной очаровательной улыбкой позволяла то ему, то сидящему с другой стороны Филиппу Дэвису резать ей ветчину и намазывать маслом хлеб, несколько раз высказалась так тонко и остроумно, что Алекс невольно взглянул на нее с недоверием. Он считал себя прекрасным психологом и полагал, что с первого взгляда может определить, на что способен человек, с которым он только что познакомился. Тем временем Люси Спарроу проявлялась каждый раз в новом свете.

Он посмотрел на ее мужа. Это была еще одна загадка. Крепкий, сильный, по-видимому, несколько ограниченный за пределами своей профессии человек — и она! Что их объединяло? Любит ли она мужа? Наверно. Ведь не вышла же Люси замуж из-за его состояния — она сама прекрасно зарабатывает. Не прельстилась же она его славой, потому что она сама, быть может, более известна, чем он. Ее эффектные операции и женская красота были постоянными сюжетами газетных репортажей и статей. На медицинских конгрессах ее всегда окружал целый рой коллег и журналистов. Он сам видел массу ее снимков в прессе, и если она не была столь же популярной, как сидящая напротив нее Сара Драммонд, то лишь потому, что невозможно ведь сравнивать славу, которую приносят подмостки сцены, со славой, родившейся в тиши операционного зала. Откуда же взялся в ее жизни этот Спарроу? А может, она полюбила его просто потому, что именно такого мужчину ей суждено было полюбить? В конце концов, Джо Алекс не раз наблюдал любовь двух людей, на первый взгляд совершенно разных. Но чтобы, имея такую жену, Спарроу мог завести роман с другой женщиной, да еще, к тому же, с женой друга, с которым вместе работает? Джо еще раз взглянул на Спарроу, который в эту минуту тихонько говорил что-то Люси, осторожно поправляя при этом опустившуюся с ее плеча шаль. Да, это и были, вероятно, те странные особенности рода людского, необъяснимые порывы, бессмысленные падения, трагические бездорожья, на которых оказываются порой даже самые мудрые... Потому-то жизнь всегда и несет в себе элемент неожиданности... Неожиданности, которая подстерегает нас за углом, как говорил юный Дэвис. Джо перевел взгляд на Сару. Легко склонившись влево, она беседовала с американцем. «Нет, я не удивляюсь Спарроу... — подумал Алекс. — Я бы никому не удивился. Но Иэн? Ну не верится мне, что Спарроу — это единственная греховная услада ее жизни. Эта женщина живет так, как ей хочется, и берет все, чего пожелает. Но похоже, что любит она лишь моего старого доброго друга Иэна. Если он никогда не узнает, он будет счастлив до конца жизни. А если случайно узнает?..» Он хорошо знал Иэна. И знал, что это могло бы сломать ему жизнь. Просто разбить ее. Нет ничего ужаснее обманутого доверия действительно доверчивого человека. Но ведь Сара, наверно, тоже об этом знает... «Пусть она будет поосторожней! — подумал он. — Ради бога, пусть она будет осторожна!» Он улыбнулся в душе, как всегда улыбался, когда ловил себя на своем цинизме, вытекающем из жизненного опыта. Но он желал им обоим всего наилучшего и был убежден, что единственное, что в этом случае было возможным и обязательным, — это ее осторожность.

В этот момент Сара говорила профессору:

— В Нью-Йорке мы будем гастролировать в марте, так что если вы будете в это время в городе, непременно меня навестите.

— А в каких спектаклях вы будете участвовать? — спросил Гастингс. — Предупреждаю, что театр не является сильной стороной моего образования.

— В «Гамлете» я буду играть Офелию, в «Макбете» — леди Макбет, а в «Орестее» — Клитемнестру.

— Серьезно?! — вскинула голову Люси. — Это великолепно! Я никогда не видела Эсхила на сцене и всегда мечтала об этом. Да еще с твоим участием! Вы играете все три трагедии «Орестеи» вместе?

— С небольшими сокращениями. Во всяком случае, я играю все, что написал Эсхил для роли царицы.

— Ты уже знаешь всю роль? — с неподдельным интересом спросила Люси.

— Да... — Сара слегка поколебалась. — Не настолько, чтобы завтра ее сыграть, но я знаю ее уже много лет.

— Прочтите какой-нибудь фрагмент! — попросил Гастингс.

— Да, прочти, Сара! — Драммонд явно гордился своей женой. Алекс отметил его любящий спокойный взгляд.

— О нет, только не сейчас, — Сара смущенно улыбнулась и покрылась густым румянцем школьницы, которой учительница велела декламировать стихи перед всем классом.

— Именно сейчас, дорогая! — Драммонд взял ее руку. — Таким образом, и я, наконец, тебя услышу. Живя здесь, я совершенно не отдаю себе отчета в том, что моя жена — актриса. Я вообще видел тебя на сцене всего несколько раз в жизни. Прочти, Сара!

— Ну, если ты просишь, — улыбнулась ему Сара так, будто хотела сказать, что стоит лишь ему пожелать, и она будет декламировать хоть в пылающем доме, хоть на дне морском.

На секунду она сомкнула веки. Все затихли. Алекс краем глаза глянул на Спарроу. Ученый сидел совершенно неподвижно. Он разглядывал скатерть. Люси неосознанным, красивым жестом положила здоровую ладонь на его руку. Он вздрогнул. Алекс готов был поклясться, что в эту секунду он испытывал угрызения совести, но в то же время он много бы дал за то, чтобы жена публично не демонстрировала таким образом свое к нему отношение. «Господи, как он, должно быть, нелепо себя чувствует», — подумал Джо и быстро перевел взгляд на Сару, которая начала читать:

— И вот стою я перед вами.
Исполнено деяние мое!
Свершилось, наконец, веление судьбы: удар нанесен.
Теперь открыто и бесстрашно скажу вам, как погиб он.
Сперва я плотной тканью укутала его, как сетью,
чтобы не смог он избежать удара иль уклониться от него...

Джо смотрел на Сару и не верил своим глазам. Эти слова произносила вовсе не Сара Драммонд, а кто-то совершенно другой: зрелая женщина, с неровным дыханием, вызванным усилием и возбуждением после только что совершенного убийства. Гордая, слегка презрительная, слегка неуверенная в том, что готовит грядущая минута. И в то же время — царица, владелица душ своих подданных, желающая говорить спокойно, но принудить их к послушанию и не допустить у них мысли о бунте и каре. А ведь в ее лице ничего не изменилось, не было никакого грима, и голос был тот же, и глаза те же. Но весь облик стал иным. Это была Клитемнестра!

— Затем ударила подряд два раза, а он, два раза вскрикнув,
упал и сразу умер. И вот тогда, когда лежал он,
а жизнь уже покинула его, я третий нанесла удар —
священный, жертвенный, в благодаренье Зевсу,
властителю в подземном царстве мертвых...
Так пал он и погиб, а через рот открытый
душа его из тела устремилась с потоком крови
настолько сильным и могучим,
что окропил меня он
с ног до головы, подобно черному дождю.
И тут внезапно испытала я неслыханное наслажденье,
сродни тому, что чувствует иссохшая земля во время ливня,
когда во чреве ее разбухают
готовые ко всходам семена...

Наступила мертвая тишина.

— О Боже! — тихо прошептал Гастингс.

— Нет, ну правда же: какая отвратительная тетка!? — сказала Сара и расхохоталась. — Налей мне немного вина, Иэн, что-то в горле запершило. Нельзя читать вслух после острых приправ.

Напряжение рассеялось, и Алекс был благодарен Саре, что она не позволила ни на секунду больше, чем надо, продлиться восхищенному молчанию. Так могла позволить себе поступить только поистине великая актриса. Не ожидая, пока кто-нибудь выскажется о том, что происходило здесь минуту назад, она спросила:

— Как твоя рука, Люси? Я вспомнила, что наш последний счет пять—пять, ты ведь выиграла последний мяч.

— Подожди... — Люси поднесла здоровую руку ко лбу. — Я вдруг ощутила себя глупым ребенком, — сказала она беспомощно. — Я всегда знала, что ты великая актриса, но чтобы вот так, прямо за столом, по первому требованию, в течение доли секунд? Нет, все мы со всеми нашими способностями просто дети по сравнению с тобой. Ты гениальна... Я впервые кому-то это говорю... Я только в эту минуту осознала, что такое настоящий гений. Когда я теперь смотрю на тебя, я уже сама не знаю, правда ли то, что видят мои глаза, или ты можешь произвольно меняться по своему желанию и становиться кем хочешь и когда захочешь!.. — Она остановилась и добавила тихо: — Извините. Я редко так волнуюсь, но...

В эту минуту в дверях появилась Кейт.

— Из Лондона звонят мистеру Дэвису, — сказала она негромко, подходя к молодому человеку.

В первую минуту Филипп Дэвис не расслышал ее слов. Он сидел неподвижно, не сводя глаз... с Люси Спарроу. Потом слова горничной, очевидно, достигли его сознания, он вскочил, пробормотал извинения и быстро вышел.

— Я рада, что наши штучки пришлись по душе благородным господам! Благодарим сердечно и кланяемся низко! — прошепелявила Сара Драммонд голосом старой нищенки со столь узнаваемым лондонским акцентом, что все рассмеялись. — Так о чем это мы говорили? Ах да, о твоей руке, Люси.

— Мне уже немного лучше, хотя боль еще есть. Но, надеюсь, завтра я уже смогу ею владеть. Помассируешь мне ее на ночь, дорогой? — обратилась она к мужу.

— Да, конечно, — Спарроу склонил голову и снова углубился в разглядывание скатерти.

«Нет, но какие сцены! — подумал Джо Алекс. — Какие изумительные сцены для моей новой книги: она, декламирующая по просьбе своего мужа монолог женщины, которая убила супруга, чтобы получить возможность жить с любовником! А та, другая, бедняжка, хвалит ее и восхищается ею в своей невероятной наивности! Какая же, однако, дьявольская забава — жизнь!»

Начался разговор о театре, а спустя несколько минут вернулся Филипп Дэвис. Занятые разговором не заметили, как он бесшумно появился в гостиной, но Алекс, сидящий напротив него, сразу заметил, что молодой человек ужасно бледен. Садясь и поймав взгляд Алекса, он попытался улыбнуться, но эта улыбка получилась столь нарочитой, что он как бы сам отказался от нее, и чтобы как-то скрыть ее, положил себе в тарелку большой кусок пирога, к которому потом даже не притронулся.

Сара посмотрела в окно.

— Полнолуние! — воскликнула она. — В Лондоне человек с трудом ориентируется — зима или лето на дворе. Когда же это я последний раз видела полную луну? Не иначе как полгода назад. Это, между прочим, лучшее время для работы над новой ролью. Ходишь себе по безлюдным аллеям и выстраиваешь каждую интонацию. — Она улыбнулась. — Поверь мне, Люси, что над каждым вздохом, над каждой краской в каждом слове я работаю уже добрых пару лет. Это лишь на первый взгляд все кажется таким красивым. На самом же деле я — тяжело вкалывающий рабочий,

и во мне во сто раз больше упорства, чем того, что ты называешь талантом. Думаю, что после ужина я как раз и отправлюсь «...на бездорожье узких тропок, дабы сама с собою в нежной страсти беседой насладиться...» — процитировала она и поднялась с кресла. — Я пошла в парк.

Алексу показалось, что, произнося эти слова, она посмотрела на Спарроу, который поднял голову и коротко глянул ей прямо в глаза. И еще Алексу показалось, что мелькнуло в их взглядах некое тайное взаимопонимание. Но это могло быть лишь игрой воображения. Все встали.

— Ты, наверно, уже ляжешь? — спросил Спарроу, беря жену под руку.

— Да, я только хотела, чтобы ты помассировал мне мышцы руки. Но это попозже.

— Не забывайте, господа, — сказал Драммонд, — что после десяти Мэлахи спускает с цепи своих овчарок и к этому времени лучше быть уже в доме. Разумеется, можно его предупредить, если хотите погулять подольше, и тогда он придержит собак подле себя.

Алекс задержался у двери, пропуская выходящих дам. Он заметил, что Дэвис подошел к Спарроу и спросил, сможет ли тот уделить ему несколько минут для разговора.

— Разумеется, мой дорогой. Я провожу жену в ее комнату, а потом пройдусь по парку. Прошу меня подождать, ладно?

Филипп склонил голову в знак благодарности.

За дверью Алекс почувствовал на своем плече руку Драммонда.

— Я иду в свой кабинет, — сказал Иэн, — загляни ко мне попозже, я покажу тебе удочки и условимся, когда выезжаем. А пока я хочу сориентироваться, сколько времени у меня есть завтра и можно ли поручить утреннюю работу Филиппу. То есть мне придется приготовить ему задания, чтобы до обеда Спарроу имел все, что ему потребуется. Мы работаем как один человек, а эта взаимозаменяемость позволяет нам превратить восьмичасовой рабочий день в шестнадцатичасовой. Так я тебя жду!

Иэн взмахнул рукой и направился к двери, ведущей из холла в его кабинет. Джо взглянул на часы. Без десяти девять. В сгущающемся сумраке он увидел спину Гастингса, который начал свою прогулку вокруг клумбы, время от времени склоняясь над цветами. Сквозь ветви деревьев уже проглядывала луна, еще низкая, но круглая и белая. Было очень красиво и тихо. Джо решил прогуляться по парку и подумать над книгой. Этот лунный пейзаж казался прекрасной декорацией к размышлениям о преступлении. Через час он сядет за машинку и будет работать до полуночи. И хватит. Надо выспаться, чтобы утром не дремать в лодке. В конце концов, жизнь действительно состоит не только из одной работы. Джо направился к приоткрытой остекленной двери и легонько толкнул ее. Перед ним лежал парк, полный душистых ароматов и таинственных вечерних шорохов лунной ночи.

VI. В свете луны

Ночь была теплой, настолько теплой, что Джо ощутил значительную разницу между нагретым воздухом сада и холодной, пахнущей камнем атмосферой холла. Было совсем светло. Острые лезвия лунного света пронзали кроны древних деревьев и ложились на цветы клумб, выхватывая их из мрака и придавая им таинственные и фантастические формы. Слегка изогнутый стебель еще не распустившейся белой розы напоминал тело приподнявшейся змеи с узкой белоснежной головой, устремленной вверх. Эта роза росла на краю обрамления огромной клумбы, которая занимала почти все свободное пространство перед домом и была перерезана посредине тропинкой, ведущей к старым платанам и липовой аллее. Вокруг

клумбы царила темнота. Густая стена парка казалась еще более густой и непроницаемой, потому что луна светила из-за этой стены и находилась выше, запутавшись в кронах лип.

Возле белой розы стоял человек. Алекс прищурился и присмотрелся к нему, спускаясь по широким ступеням, ведущим из дома в парк. Человек двинулся к нему и остановился. Алекс узнал Филиппа Дэвиса.

— Вы случайно не видели профессора Спарроу? — спросил Дэвис. — Я жду его тут... — добавил он, как бы оправдываясь.

— Наверно, он сейчас выйдет. — Алекс остановился и закурил. — Он пошел проводить жену наверх.

— Да, да, конечно. Я знаю об этом. Но я думал, что, может... — Алекс заметил, что молодой человек нервничает.

— Красивая ночь, — сказал Джо, чтобы что-нибудь сказать. Он хотел двинуться дальше: ему теперь надо было спокойно, в одиночестве обдумать книгу и еще раз критически рассмотреть запланированный ход сюжета. А потом уже можно садиться и записывать.

— Да, действительно, очень красивая... — Филипп приподнялся на цыпочки и глянул через плечо Алекса на освещенную прихожую, из глубины которой зазвучали шаги. Но это была всего лишь горничная Кейт.

— Вам снова звонят из Лондона, сэр, — сказала она и в полумраке слегка улыбнулась Алексу.

— Мне? — спросил Алекс.

— Нет, вам.

— О Господи, — прошептал Филипп, но так, что Джо его услышал.

Дэвис быстро двинулся к дому и, миновав горничную, исчез в холле. Молодая и симпатичная Кейт подняла голову, взглянула на луну и вздохнула.

— Очень красивая ночь, не правда ли, сэр?

— Да, действительно... — Алекс невольно окинул ее взглядом с ног до головы и быстро отвернулся. — Надо прогуляться после ужина, — пробормотал он, чтобы как-то закончить разговор. Сейчас совершенно не подходящее время, чтобы флиртовать в парке с молодыми горничными. Хотя, со стыдом глядя в прошлое, он должен быть признать, что в его жизни случалось и это тоже.

«Ну что ж, у меня, как у всякого человека, есть свои маленькие слабости...» — сказал он себе и тут же, будто его второе «я» хотело подтвердить это, подумал о Саре Драммонд, которая сейчас, совсем одинокая, находилась где-то в этом сумрачном парке на одной из его многочисленных извилистых аллей. Он оглянулся. Кейт исчезла, а на ее месте возникла широкая, могучая фигура мужчины. Спарроу. Он стоял, оглядываясь по сторонам. Увидев Алекса, он вздрогнул и как будто хотел повернуться и уйти, но Джо окликнул его.

— Только что здесь был мистер Дэвис и искал вас. А сейчас его позвали к телефону.

— Да. Большое вам спасибо... — Спарроу сошел со ступенек, по-прежнему незаметно оглядываясь, будто рассчитывая на то, что слабый свет луны не позволит заметить движения его головы. — Конечно. У него, кажется, было ко мне какое-то дело... Наверно, он сейчас вернется... А я пока прогуляюсь...

И не добавив ни слова, он направился в противоположную сторону, удаляясь от того места, где стоял Алекс. Он исчез в тени деревьев, еще раз показался в луче лунного света и снова исчез, на этот раз окончательно. Джо еще несколько секунд слышал звук его шагов на усыпанной мелким гравием дорожке. Шаги эти были куда быстрее, чем шаги человека, идущего «пока прогуляться». Казалось, будто Спарроу шел в каком-то опреде-

ленном направлении и хотел как можно скорее достичь цели. Джо снова подумал о Саре Драммонд.

Он сердито тряхнул головой. «Это их сугубо личное дело! — подумал он. — Я не должен вмешиваться не в свои дела».

Он медленно двинулся вдоль клумбы и, сделав большой полукруг, оказался под одним из платанов у входа в липовую аллею. Там стояла длинная зеленая скамейка, которую он заметил еще днем. Он сел на нее и углубился в размышления о своей книге. Точнее, он лишь собрался углубиться в них, но ему снова помешали. Садясь, он видел перед собой дом. Окна левой стороны первого этажа, где находились лаборатория и кабинет Драммонда, были освещены, хотя закрытые жалюзи не позволяли увидеть, что происходит внутри. Из окон падал легкий желтоватый свет, сливающийся с холодным лунным блеском, так что сидящий мог видеть все, что находилось между домом и скамейкой. Вот тут-то он и увидел какую-то фигуру у клумбы, медленно направляющуюся в его сторону. В первую секунду он подумал, что это Филипп Дэвис, закончив телефонный разговор, возвращается на свой пост, где он собирался ожидать Спарроу, еще не зная, что тот отправился на прогулку в парк. Но через минуту свет упал на лысину идущего и обозначил ее легким ореолом. Это был Гастингс. Американец шел, слегка склонив голову, заложив руки за спину, и казалось, был погружен в свои размышления до такой степени, что его, вероятно, совершенно не волновала красота ночного парка, и уж наверняка он не был бы рад, если б ему сейчас пришлось начать разговор с человеком, с которым он познакомился лишь сегодня утром и с кем у него не было никаких естественных тем для беседы.

Подумав обо всем этом, Алекс тихонько встал и, пользуясь глубокой тенью кроны платана, вошел в сумрак липовой аллеи.

Его мысли снова вернулись к сюжету книги. Да. Это было прекрасное решение. Убийца имел все мотивы при условии... Ну конечно! Надо будет только подробно описать фон, на котором развиваются события. Точно такой же дом, такие же люди, то же сплетение интересов и страстей...

Размышляя, он все дальше углублялся в парк и машинально свернул на ту же тропинку, по которой днем они гуляли с Драммондом. Потом остановился. Теперь он находился на самом краю парка, где тропинка кончалась возле столика, за которым они с Иэном сидели в полдень. Было совершенно темно. Где-то высоко крикнула большая ночная птица. Она крикнула пронзительно и захлопала крыльями, прячась в ветвях невидимого огромного дерева. Потом наступила полная тишина.

Алекс стоял не шевелясь. Он готов был поклясться, что минуту назад до него долетел едва слышный звук слов, произнесенных тихим, сдавленным шепотом. Джо вглядывался вперед, пытаясь хоть что-нибудь увидеть в темноте. Двигаясь почти на цыпочках, он сделал еще несколько шагов до того места, где поворот тропинки был перекрыт густой стеной кустарника. Джо встал за ней и присмотрелся. Свет луны падал прямо на поверхность столика, в то время как скамейка находилась в тени. Но даже этого маленького отблеска было достаточно, чтобы в белом пятне среди мрака Джо узнал платье Сары Драммонд. Рядом с ней сидел человек, лица которого нельзя было различить.

Джо хотел немедленно отступить. Он никогда в жизни не подслушивал и считал неприличным вмешиваться без спроса в чужие дела. Но слова, которые он услышал, приковали его к месту:

— Я предпочла бы, чтобы мы все умерли: он, ты и я! — сказала Сара.

— Может, и я бы предпочел. — Это был Спарроу. Джо сразу узнал твердый, внешне спокойный тон его голоса. — Это ужасно — ведь мне казалось, что ты меня любишь. Я был идиотом.

— О, Гарольд... — В этих словах таилось столько усталости, что человек, к которому они были обращены, встал.

— Знаю. Теперь я знаю все. Если бы я знал тогда... Но я не думал, что меня использовали лишь для того, чтобы ты еще раз могла убедиться, что ни один порядочный человек перед тобой не устоит. У тебя свои красивые забавы. Может, так мне и надо?... Но я этого не понимаю. Я... я просто не понимаю. Ради тебя я изменил жене, я изменил Иэну... Я — подлец... Я уже не могу смотреть людям в глаза, я не знаю, что я говорю... Но, к сожалению, я люблю тебя... А ты, ты любишь его. И спокойно говоришь мне об этом. Сейчас!

— Но пойми же, наконец... — сказала Сара. — Пойми, что в жизни так бывает. Возможно, я вначале и думала, что... — она умолкла. Потом решительно, будто намереваясь раз и навсегда покончить с такой ситуацией и понести все последствия, какими тяжелыми они бы для нее ни оказались, она произнесла: — Послушай! Я не могу сказать тебе ничего больше. Я хотела с тобой встретиться, потому что дальше так продолжаться не может. Я приехала из Лондона для того, чтобы сказать тебе это. Да. Я люблю Иэна. Я никогда от него не откажусь. Мы оба сделали ошибку. Ты... ты должен вернуться к... Люси, а я... я все забуду. Ты никогда больше не услышишь от меня об этом... о наших делах. И я от тебя тоже. Ты должен жить так, будто ничего не случилось. Будто это был сон. Это единственный выход. Поверь мне.

— Но я тебя люблю! — Спарроу снова встал, будто не мог усидеть на месте. — Я люблю тебя и не могу так жить! Я не смогу ежедневно смотреть на тебя, все помнить и повторять себе: «Это мне приснилось!» Я не смогу!.. — Он умолк. — Что-то должно случиться... — сказал он тихо, больше себе, чем Саре. — Что-то должно случиться со мной, с нами, с ним. Я пойду к нему, все расскажу, а потом уйду и никогда больше с ним не встречусь!

— А обо мне ты подумал? — спокойно спросила Сара. — Или ты полагаешь, будто самое благородное, что мужчина может сделать, это пойти к мужу своей любовницы и донести ему об этом?

— Что? — Спарроу тихо рассмеялся жестким невеселым смехом. — Самое благородное? В этой ситуации ничто не может быть благородным. И никогда уже не будет. Я должен пойти к Иэну и должен ему сказать... что я не могу с ним дальше работать. А что другое я могу ему сказать?

— Не знаю. Что угодно, кроме этого. Ты так не поступишь. Ты не можешь этого сделать. Разве что ты хочешь мне отомстить?

— А Люси? — спросил он вдруг. — Ведь она, наверно, знает?

— Что знает? — в голосе Сары прозвучал испуг.

— Знает или, может, догадывается. Ведь я... я уже давно изменился по отношению к ней... Я не актер. Я не умею играть. Я стараюсь хорошо к ней относиться, как можно лучше, потому что я подлец, и она, вероятно, чувствует, что... что... — Он умолк. Потом сказал почти с удивлением: — Ведь ты довела меня до того, что я ее уже не люблю. Как такое могло случиться?

Некоторое время они молчали.

— Гарольд... — сказала Сара мягко, и Алекс даже прикусил губу, понимая, что сейчас эта великая актриса перейдет в наступление. — Гарольд, вот ты говоришь, что меня любишь... Но я не могу оставить Иэна. Я все поняла. Я не могла бы быть счастлива ни с кем, даже с тобой... То, что было... это было чудесно, но это должно закончиться. Все на свете кончается и все оставляет после себя печаль. Но это не значит, что мы обязаны стать врагами, что мы должны устремиться в погоню за недостижимым и не сможем понять, что мы и так получили от жизни больше, чем нам было предназначено. Человек склонен грешить. Я, наверно, знаю об этом

больше, чем ты. Я слабее тебя. Я испытала в своей жизни больше унижений и радостей, чем ты. Мне тридцать пять лет. И я хотела быть счастлива. Я думаю, что и тебе я дала немного радости. Но я не хотела ранить, затаптывать и убивать невинных. Ни Иэн, ни Люси никогда не должны ничего узнать. Это не их вина, и они не должны быть несчастны. А ведь будут... К одному преступлению против них мы добавим второе, быть может, худшее. Это лишь мы должны нести всю эту тяжесть...

— Но я не могу... — Он повысил голос. — Я не могу так больше жить! Я сегодня же пойду к Иэну и скажу, что завтра я должен уехать. Пусть он думает что хочет. Возможно, ты права, и я должен хранить тайну, раз уж мы не можем говорить о том, что нас связывало. Я не скажу ему. То есть, я постараюсь ему не сказать. Не знаю, смогу ли. Может, он убил бы меня за это. Но и тогда я был бы счастливее, чем сейчас.

— Успокойся... — Сара встала. — Я должна идти. Останься здесь еще немного. Не надо, чтобы кто-нибудь мог подумать... Особенно сейчас...

— Я уеду! — Спарроу сел на скамейку, и Алекс подумал, что сейчас он, наверно, обхватил голову руками. — Я уеду в Америку и не вернусь сюда. А Люси я напишу с корабля. Я не скажу ей, о ком идет речь, будь спокойна. Но она должна меня понять. Я ее уже недостоин. Я запятнал... Впрочем, я все равно думаю только о тебе... К сожалению, только о тебе.

— Ради бога! — воскликнула Сара. — Будь мужчиной! Что бы ни случилось, будь мужчиной!

— Хорошо! — глухо сказал Спарроу. — Я тебя прекрасно понимаю.

И не говоря больше ни слова, он шагнул в темноту и исчез, прежде чем Сара успела что-либо ответить. Алекс замер. Потом очень осторожно, шаг за шагом, отступил к тропинке, опасаясь, как бы не попалась ему под ноги какая-нибудь сухая ветка. Но сидящая на скамейке женщина была целиком погружена в свои мысли и не замечала ничего вокруг.

Выбравшись на липовую аллею, Алекс ускорил шаг и перестал идти крадучись. Издалека доносился шум моря. Луна уже поднялась над деревьями, и сад превратился в темно-серебряный лабиринт причудливой формы. «Бедный Иэн. Он сказал, что счастлив... Мудрые древние греки говорили, что никого не следует называть счастливым, пока он не закончит своих дней, оставаясь счастливым...» В кабинете на первом этаже все еще горел свет. Иэн боролся со своими проблемами, ничего не подозревая и ни о чем не догадываясь. Джо взглянул на часы. В полумраке он разглядел лишь одну стрелку, указывающую вниз. Половина десятого.

Он дошел до скамейки под платанами и сел, сожалея о том, что вообще с нее вставал. Вокруг клумбы прогуливались двое: Филипп и Гастингс. Они были совсем близко.

— Конечно, — сказал Гастингс, — я не оказываю на вас давления. Но такой способный молодой человек был бы нам крайне нужен. Вы ведь знаете, что в нашей университетской лаборатории работают люди со всего мира. Со всей лояльностью к моему другу Драммонду и профессору Спарроу я должен признать, что, работая рядом с ними, вы можете многому научиться. Но открытая жизнь и большие перспективы — это все-таки у нас. Просто у нас больший размах, и способный человек может подняться по карьерной лестнице, преодолевая одним шагом несколько ступеней. И никто ему не помешает, если он сам будет чего-то стоить. Мой адрес вы знаете, так что, если надумаете — дайте телеграмму. Я буду...

Они удалились, и Алекс не мог больше ничего услышать. Собеседники подошли к дверям дома и расстались. Американец вошел внутрь, а Филипп Дэвис, после некоторого колебания, вернулся и медленным шагом стал прогуливаться вокруг клумбы. Оказавшись поблизости, он остановился, заметив, очевидно, в темноте белое пятно воротничка Алекса, и подошел.

— Простите, — сказал он. — Я все еще жду профессора Спарроу. Вы его не видели?

— Нет, я его не видел.

— Не знаю, куда он мог деться...

— Может, гуляет по парку? — сказал Джо. — Меня тут не было некоторое время, поэтому я не могу сказать вам ничего определенного...

В эту минуту он увидел Сару. Быстрым шагом она прошла мимо них и оказалась в ярком прямоугольнике света, падавшего сквозь остекленную дверь холла. Она вошла в дом, и эхо донесло легкий звук ее шагов по каменному полу. Филипп Дэвис зажег спичку и взглянул на часы.

— Уже десять, — с удивлением сказал он. — Должно быть, профессор Гастингс беседовал со мной гораздо дольше, чем сперва показалось... — Молодой человек понизил голос. — Он всех уговаривает ехать в Америку. Меня, конечно, в последнюю очередь. Представляете, сейчас он подошел ко мне и предлагал огромное будущее, если можно так выразиться. Наверно, я мог бы стать очень богатым, если бы все, что он говорил, исполнилось... — Он умолк. — Страшная это штука — деньги! — внезапно воскликнул он с живой искренностью. — Иногда они бывают так нужны, причем срочно! — Он резко поднялся со скамейки. — Должно быть, я каким-то чудом с ним разминулся... С профессором Спарроу. Пойду постучусь к нему в комнату. Может, он там. А то Мэлахи сейчас спустит собак... Извините.

Он быстро направился к дому. Алекс задумчиво посмотрел ему вслед. Почему этот симпатичный молодой человек так нервничает? Может, из-за предложения американца и миражей богатства? А может, из-за этих телефонных звонков из Лондона?.. У всех свои проблемы, — пришел, наконец, к выводу Джо, отдавая себе отчет в том, что этот вывод столь же банален, сколь и правдив. Он встал и направился к дому. Навстречу ему из холла вышел профессор Гастингс.

— Уже поздно, — предупредительно поднял руку Алекс. — Не забывайте о собаках!

— Ах, да! Я хотел поговорить с профессором Спарроу. Но его нет ни у себя, ни у Иэна... А, вот он!

И, миновав Алекса, он направился к медленно приближающейся в темноте фигуре. Когда Гастингс подошел, Спарроу резко поднял голову, будто внезапно пробудился ото сна.

— Я хотел бы еще сегодня побеседовать с вами, если можно, — сказал Гастингс. — В будущем году у нас в Штатах состоится всемирный научный конгресс, и в связи с этим я хотел бы сказать вам обоим пару слов. Конечно, можно это сделать и позже письменно, но раз уж я здесь...

— Да-да, конечно, — сказал Спарроу. — Разумеется...

— Кроме того, я хотел бы поговорить лично с вами об одном деле, которое могло бы нас обоих заинтересовать. Мы было начали говорить об этом несколько дней назад, но я тогда не хотел отнимать у вас много времени...

— Да, — сказал Спарроу и потер ладонью лоб. — Да-да, я тоже хотел с вами поговорить... Вы не могли бы зайти ко мне, ну, скажем, через полчаса? Я обещал жене помассировать руку... с ней сегодня произошел этот несчастный случай и...

— Да, прекрасно понимаю. Сейчас десять минут одиннадцатого. Значит, без двадцати одиннадцать, верно?

— Да, я буду вас ждать.

Алекс уселся на каменной ступеньке и закурил. Они прошли мимо него, входя в дом, и американец при этом упомянул что-то о прохладном вечернем воздухе и ревматизме. Алекс улыбнулся.

Они вошли в дом, и теперь он остался один. Луна выглянула из-за крыши дома, и в саду стало светлее. Повеял прохладный ветерок. Джо увидел чуть согнувшуюся фигуру, которая приближалась с левой стороны дома. Рядом с ней бесшумно скользили две невысокие тени. Собаки.

— Дядюшка Мэлахи? — спросил Алекс вполголоса. Обе тени мгновенно рванулись вперед, но их остановил короткий свист. Собаки вернулись. Старик подошел, держа в зубах свою неразлучную трубку.

— Да, это я, — сказал он. На плечи Мэлахи была наброшена овчина. — Красивая сегодня ночь. И светлая...

— Да. Завтра утром мы собрались на рыбалку, мистер Драммонд и я. — Алекс встал, и собаки заворчали, но тут же умолкли, повинуясь взмаху руки хозяина.

— Почему нет? И я бы с вами съездил.

— А когда же вы спите, дядюшка Мэлахи, если ночью ходите с этими псами, а днем полно работы в огромном саду, да еще полдня отнимает рыбалка?

— Я сплю ночью. Я сажусь себе вот тут, а они гуляют. Потом я еще часик дремлю после обеда, и мне хватает. Старые люди не должны много спать. Они еще успеют выспаться, — он рассмеялся тихим старческим смехом. — В последнее время я предпочитаю быть здесь, поблизости, — добавил он шепотом. — Я меньше беспокоюсь за мистера Иэна, если сижу недалеко от него с этими собаками. Тогда уж никто сюда не пройдет. А в доме нет никого, кто мог бы его обидеть... — Он на секунду умолк. — По крайней мере, так обидеть, чтобы он не мог потом успокоиться.

Алекс молчал. Он догадывался, что хочет сказать старый садовник. Стало быть, и он знает... Откуда? Конечно, он мог когда-нибудь заметить их вдвоем в парке. Наверно, они не первый раз встречались там, как сегодня. Впрочем, это его дело... Джо встал.

— Так до завтрашнего утра! — сказал он.

— Конечно! Спокойной ночи! — старик уселся на пороге. — Я потом закрою, — добавил он. — У меня с собой ключ, а второй висит на гвозде у двери.

— Спокойной ночи! — Алекс вошел в холл и направился к двери кабинета Драммонда.

VII. «...Не смог он избежать удара иль уклониться от него...»

Алекс постучал в дверь, которая находилась рядом с пролетом лестницы, ведущей на второй этаж. Не услышав приглашения, он постучал вторично. Потом, обеспокоенный, нажал на ручку. Дверь бесшумно отворилась, и тогда он понял, что его стук не имел никакого смысла. Дверь с внутренней стороны была обита звуконепроницаемыми предохранительными подушками.

— Прости, — сказал он, — но я тут стучу, стучу и...

— О, входи! Я думал, это Сара. Она только что была здесь и сидела около четверти часа. Похоже, ее очень утомил нынешний лондонский сезон. Она была так рассеянна, что тоже постучала. Потом заглянул Гастингс и сделал то же самое. — Драммонд поднялся из-за большого, заброcанного бумагами стола. — Я забыл сказать тебе, что в эту комнату не стучат. Да и зачем? Никто сюда без надобности не приходит. Во время работы мы избегаем шума и лишних разговоров. Стены я тоже велел обложить пробкой. Старею, наверно.

Он встал и тяжелым мраморным пресс-папье промокнул страничку, на которой виднелись ряды непонятных Алексу значков.

— Господи! — воскликнул Джо. — А что это за иероглифы?

— Я мог бы тебе все объяснить простыми словами, не употребляя этих знаков, но это все равно тебе никогда не пригодится. — Он вынул из кармана ключ и открыл им дверь в противоположной стене. — Вот тут наша лаборатория! — рассмеялся он. — А вот ее важнейшее оборудование! — Он зажег свет, и Алекс увидел большую белую комнату с зарешеченными окнами. Здесь стояло несколько столов и застекленных шкафов, а в них разнообразные сосуды, полные жидкостей и порошков. На столах были закреплены причудливые приспособления, о назначении которых Алекс не мог даже догадаться. На стене висела черная приборная доска, покрытая разноцветными лампочками. К ней от каждого стола тянулись провода.

— Значит, вот так выглядит современная алхимия, — вздохнул Джо. — Думаю, в старые времена легче было постигать истины.

— Вряд ли. Ничего не изменилось. Все ведь по-прежнему заключается в поисках философского камня, только для каждого столетия он другой. Но ты взгляни на это! — Иэн с гордостью указал на единственный незастекленный шкаф. На нем был нарисован огромный, зловеще ухмыляющийся череп, снабженный, согласно обычаю, двумя скрещенными костями под ним. А под этими костями находилась красивая, стилизованная надпись красными, как кровь, готическими буквами: «ВНИМАНИЕ! НЕ ОТКРЫВАТЬ — ГРОЗИТ СМЕРТЬЮ!» Иэн открыл дверцу шкафа, и внутри показался ряд удочек, аккуратно расставленных, подобно карабинам в оружейном шкафу. К внутренней стенке дверцы шкафа крепились прозрачные коробки, полные разноцветных искусственных мух и всевозможных крючков, от маленьких одиночных до огромных тройников, похожих на якоря.

— Да-а! — кивнул головой Алекс. — Для нас двоих хватит. Ты уже решил, в котором часу мы выедем?

— Я думаю, в семь, если ты не проспишь.

— Ни за что в жизни, хотя, может, лучше разбуди меня утром, когда сам встанешь.

— Ладно, — Иэн закрыл шкаф. — Я еще потом пересмотрю крючки и привяжу их к леске, чтобы не возиться с ними в лодке. А теперь — за работу!

— Я тоже немного поработаю, — пробормотал Алекс. — Кажется, мой новейший гениальный шедевр родится здесь, под твоей крышей.

— Память об этом сохранится в веках! — улыбнулся Драммонд. Они вернулись в кабинет.

Джо подошел к двери и обернулся:

— Только не забудь, разбуди меня сразу же, как только протрешь глаза!

Стоя у двери с рукой, опущенной на дверную ручку, Джо заметил в углу кабинета большой, несколько старомодный сейф, толстая дверца которого была полуоткрыта.

— Не бойся, не забуду!

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Джо закрыл за собой дверь кабинета и двинулся наверх.

Войдя в свою комнату, он зажег свет. Пишущая машинка стояла на столе и, казалось, скалила клавиши, приглашая поработать. Алекс снял пиджак, галстук и туфли, достал из-под кровати тапочки и набросил на рубашку фланелевый халат. Когда он уселся за стол, часы пробили два раза. Половина одиннадцатого.

Джо подвинул лист бумаги, торчащий в машинке, и под словами «Глава первая» написал: «Перед поднятием занавеса». Потом снова подвинул лист и начал: «В этот день Джо Алексу исполнилось тридцать пять лет...»

Спустя минут двадцать с тех пор как он начал писать, в дверь постучали. Джо запахнул полы халата и встал, глянув на часы. Без десяти одиннадцать.

— Войдите!

Дверь медленно приоткрылась.

— Ради бога, простите... — вполголоса сказала Люси Спарроу, — но я услышала, что вы печатаете на машинке...

— Пожалуйста, входите.

— Нет, нет, я в халате. Не могли бы вы одолжить мне несколько листов машинописной бумаги. Мне надо написать письмо, но рука обездвижена, поэтому я попробую как-нибудь одним пальцем напечатать его на машинке.

— Конечно, пожалуйста! — Джо взял из пачки на столе десяток листов и подал ей через порог. Люси была одета в длинный голубой халат, прекрасно контрастирующий с ее светлыми волосами.

— Спасибо и извините. Спокойной ночи, — она тихо закрыла дверь.

— Спокойной ночи, — несколько поздновато сказал Алекс. Какая, однако, красивая женщина! Холодная греческая богиня. Он подошел к зеркалу и пожал плечами. Что они все видят в этом Спарроу? Это же полный бред!

Джо вздохнул и снова уселся за стол. Почти полчаса он писал без перерыва, испытывая огромное удовольствие. Книга шла легко, складно и сама подсказывала все новые, необходимые подробности, что было признаком хорошо продуманного сюжета. Наконец заболела спина, он встал и, расправляя плечи, подошел к окну. Огромная клумба была залита лунным светом. Издали деревья походили на могучую темную стену, отделяющую Саншайн Мэнор от таинственного ночного мира. Вдруг тропинку пересекли две низкие длинные тени. Они остановились, потом вернулись обратно. Минуту спустя он увидел согнутую фигуру, которая медленно передвигалась вокруг клумбы, останавливаясь, наклоняясь и разглядывая цветы в лунном свете. Старый Мэлахи и два его грифона. Джо высунулся в окно. В нижнем окне под ним по-прежнему горел желтый свет за закрытыми шторами. Иэн. Высокий, светлый, склоненный над причудливыми значками непонятных формул, из которых рождалась новая эра синтетических масс. Глубоко скрытые тайны серы, еще недавно служившей всего лишь топливом, которым дьявол разжигал свои печи в аду...

Мысль о преисподней напомнила Джо о его книге. Он вернулся к столу и, взяв несколько напечатанных страниц, начал их перечитывать, делая карандашом то там, то здесь пометки о необходимости поправок. Закончив работу, он подумал, что пока все идет хорошо. Однако надо тщательно продумать еще несколько фрагментов этой драмы. Он подошел к кровати, взял с ночного столика пачку сигарет и закурил. Это оказалась последняя сигарета. Ничего, позже он спустится к Иэну. А пока надо немного подумать... Не снимая халата, он прилег на кровать и закрыл глаза. В воздухе ощущался легкий аромат дыма сигареты, которая медленно сгорала между пальцами. Алекс крепко затянулся раз, потом еще раз... Никакого удовольствия... Он затушил сигарету и снова закрыл глаза. Поездка с Сарой. Ребенок на шоссе. Отвратительная рыба, пойманная Гастингсом. Постепенно рыба превратилась в царицу, которая тяжело дышала после убийства мужа. «И вот стою я перед вами... — сказала рыба. — Свершилось, наконец, веление судьбы: удар нанесен...» Джо уснул.

Проснувшись, он не мог понять, где находится. Свет по-прежнему горел. Он сел, протер глаза и взглянул на часы. Без пяти час... О Господи... Он беспомощно огляделся в поисках сигарет. Нет, нигде ни одной... А может, раздеться и лечь спать? Нет, последняя сигарета в сочетании с теплой ванной — без этого никак! Он подошел к окну. Иэн, наверно, уже

спит. Нет. Свет внизу по-прежнему горит. Как же он собирается рано вставать, если до сих пор работает?..

Джо подобрал полы халата и тихонько открыл дверь. Дом спал. Нигде не было слышно ни малейшего шороха. Под сводом тускло светилась маленькая ночная лампочка. Не закрывая своей двери, Алекс миновал коридор и, взявшись за поручень, начал тихонько спускаться по лестнице. На повороте он остановился. Какой-то звук? Нет, показалось... Он был уже внизу, когда одна из последних ступеней резко скрипнула под ногами. Дверь, ведущая в кабинет Иэна, была распахнута. Но свет уже не горел. Должно быть, Иэн потушил его минуту назад. Может, он в лаборатории? Джо вошел и остановился в нерешительности. Сквозь шторы едва просвечивалось легкое лунное сияние, настолько слабое, что он с трудом различил сидящую за столом фигуру в белой рубашке.

— Иэн! — позвал Джо.

Фигура за столом не шелохнулась. В ту же секунду Джо услышал за своей спиной что-то вроде легкого вздоха, и все сразу исчезло. Остался лишь глухой, равномерный гул где-то в глубине черепа, и яркие радужные круги все разбегались и разбегались... пока он не соскользнул в глубокую, непроницаемую тьму...

VIII. В доме все спят

Радужные круги исчезли, и в голове разрослась боль. Джо Алекс открыл глаза. Он не знал, где находится, и ничего не мог вспомнить. Он увидел, что лежит на каком-то ковре, и прикоснулся ладонью к затылку.

— Меня кто-то ударил... — прошептал он. — Почему он меня ударил?

И вдруг все вернулось. Джо поднялся на ноги. Шум в ушах утихал. Он оглянулся. Освещенная лунным светом фигура за столом по-прежнему сидела неподвижно.

— Иэн! — прошептал он, и внезапный спазм сжал ему горло.

Где выключатель? Не прикасаться к лампе на столе... Не прикасаться к лампе на столе. Наверно, у двери...

Он начал шарить рукой по стене. Есть. Нажал. Комнату залил молочный свет большой лампы, висящей под потолком.

Иэн Драммонд сидел за столом — собственно, он не сидел, а наполовину лежал, уткнувшись головой в стол. Чувствуя, что волосы на голове встают дыбом, Алекс подошел ближе и увидел...

На белой рубашке виднелось огромное кровавое пятно, а в центре его торчал глубоко воткнутый нож с серебристой ручкой. Кровь протекла по спинке кресла и образовала на ковре большое темное пятно. Не в состоянии оторвать взгляда от этого пятна, Алекс подошел ближе.

«Я должен проверить, жив ли он...— в отчаянии подумал Джо. — Должен!»

Полуоткрытые глаза Иэна были совершенно неподвижны, и в глубине их таилось выражение какого-то безбрежного, тихого изумления. Одной рукой он судорожно сжимал край стола, будто хотел резко подняться, прежде чем, потеряв сознание, уткнулся головой в этот стол. В другой руке он держал ручку. На столе перед ним лежал лист бумаги, на котором виднелись какие-то слова, будто это было начало письма. Сбоку разложены коробки с крючками и блеснами. Алекс заметил это, еще как бы не понимая и не видя ничего, кроме этих неподвижных изумленных глаз. Он превозмог себя и, протянув руку, прикоснулся ко лбу Иэна Драммонда. Лоб был холодным, настолько холодным, что на первый взгляд казалось невозможным, чтобы в этой теплой комнате человек мог быть таким холодным даже после смерти.

— Он умер...умер...— прошептал Джо и опустил руку. Он видел в своей жизни слишком много мертвых, чтобы сразу понять — никакая помощь уже не нужна. «Какая помощь? Где карточка? Карточка, которую мне дал Паркер? Телефон...»

Он выпрямился и обошел вокруг стола, стараясь ни к чему не прикасаться. Он поступил так автоматически — слишком много преступников в его книгах оставляли следы... В его книгах? А ведь именно Драммонд должен был погибнуть в его книге... Он взялся рукой за голову. «Господи, что со мной происходит? — Джо подошел к двери. — Надо что-то делать!»

И вдруг он вспомнил: «Кто-то меня ударил! Это был убийца! Он был здесь, когда я вошел! — Он резко остановился. — Да нет, он уже ушел. Если б он хотел меня убить, то уже давно убил бы... Мэлахи? Мэлахи и его собаки...»

Он вышел в темный холл. Луч, падающий из дверей кабинета, осветил висящий на стене родовой герб Драммондов с двумя скрещенными копьями, которые были его главным мотивом. «Последний из Драммондов... проткнут... ножом... скальпелем. Я его знаю. Где же я его видел?»

Он взял трубку и набрал номер. Ему ответил далекий голос.

— Это участок полиции?

— Да, участок в Мэлсборо. Это дежурный полицейский.

— Я звоню из Саншайн Мэнор. Моя фамилия Алекс. Мне надо немедленно поговорить с инспектором Паркером из Скотленд-Ярда.

— Да, сэр. Минуточку.

Щелчок в трубке, второй, третий.

— Алло? — отозвался спокойный, трезвый голос, и Алекс почувствовал огромное облегчение, хотя только сейчас он начал все понимать, и его охватило отчаяние.

— Это я, Джо, — сказал он тихо. — Иэн мертв!

— Что? — спросил Паркер. — Мертв? Убит?

— Да. Несомненно.

— Подожди минуту. Я сейчас вернусь.

Джо услышал далекий приглушенный голос:

— Джонс!

Ответ был не слышен. И снова Паркер сказал кому-то:

— Врач, фотограф, дактилоскопист! Выезжаем! — А потом в трубку: — Через час я буду на месте. Ты знаешь, кто это сделал?

— Нет, — сказал Алекс. — Я только что обнаружил Иэна в его кабинете. В доме все спят. Никто еще не знает.

— Кроме убийцы, — пробормотал Паркер. Потом помолчал и продолжил: — Если можешь, позаботься, чтобы никто туда не входил. Никого не буди до нашего приезда. А Мэлахи пусть не запирает своих собак.

— Хорошо.

— Я уже выезжаю.

— Да.

Трубку положили. Джо отвернулся от телефонного аппарата. Впереди темнел мрачный холл, а с левой стороны сквозь приоткрытую дверь кабинета падал свет.

Стараясь не смотреть в ту сторону, Джо прошел мимо к остекленной двери, ведущей в парк. Луна по-прежнему светила, хотя теперь уже с другой стороны. Джо нашел висящий на толстом крюке большой старомодный ключ. Он вложил его в замок. Скрежет был настолько громким, что казалось, будто во всем доме заскрежетали ключи. Жуткое железное эхо. Джо нажал на дверную ручку. Сидящий на пороге человек в бараньем тулупе поднял голову. Собак не видно было.

— Мэлахи...— прошептал Алекс.

Старик вздрогнул и вскочил на ноги.

— Что случилось? — спросил он, приходя в себя ото сна. Мэлахи говорил так же тихо, как Алекс, будто принимая это как необходимость ночной поры.

— Мистер Иэн... Мистер Драммонд мертв.

— Что? — переспросил Мэлахи. — Что такое?

И в эту минуту подбежали собаки. Они остановились возле хозяина, и вдруг одна из них ступила на порог и, сунув голову в холл рядом со стоящим Алексом, коротко и тихо завыла.

— Мертв... — сказал Мэлахи Ленеган и перекрестился. — Мистер Иэн умер...

Он опустил голову, потом поднял ее.

— Сейчас приедет инспектор Паркер, — Алекс положил руку на плечо Мэлахи. — Иэна убили.

— Его убили? — старик поднял голову, и Алекс в свете луны увидел, что его глаза блестят серебряными слезами, которые стекают по глубоким морщинам.

IX. «Уважаемый господин профе...»

Все еще стояла ночь, но вот-вот уже наступит ранний летний рассвет, взойдет солнце и ярко зазеленеют деревья за окном.

Инспектор Бен Паркер стоял в углу комнаты у окна и наблюдал.

— Боже мой...— произнес он тихо.

Все по-прежнему оставалось неизменным. Блеснула вспышка полицейского фотографа. Джо закрыл глаза. Последний фотоснимок профессора Иэна Драммонда, известного британского исследователя. А потом два санитара осторожно подняли тело и положили на носилки.

— Пока я могу сказать очень мало, — произнес низенький лысый доктор Беркли, который приостановился в дверях, прежде чем двинуться вслед за телом, — смерть наступила мгновенно. Было нанесено несколько ударов скальпелем.

— Несколько? — спросил Алекс и внезапно глубоко вздохнул. — Три?

— Да... — врач посмотрел на него с изумлением. — Неужели вам удалось сосчитать разрезы на рубашке? Ведь она была так пропитана кровью, что...

— Нет... Нет, — покачал головой Джо.

— Как можно скорее сообщите мне по телефону результаты, доктор, — попросил Паркер.

— Да, конечно.

Доктор вышел. Паркер двинулся вслед за ним к двери.

— Джонс! — вполголоса позвал он стоящего в холле молодого толстощекого человека в гражданском.

— Да, шеф.

— Дактилоскопист уже у всех взял отпечатки пальцев?

— Пять минут назад, шеф.

— Хорошо.

Фотограф собрал свои приспособления и на цыпочках вышел из комнаты.

— Снимки будут готовы через три часа! — сказал он, выходя.

— Минутку, — Паркер шагнул вперед, — мне нужны крупные планы стола, этого пятна на полу, ну и все остальное.

— Конечно.

Они остались одни. Джо смотрел на пустое место за столом. Пятно крови на полу уже успело потемнеть.

— Джонс! — позвал Паркер.

— Да, шеф?

— Все находятся в своих комнатах?

— Да.

— Предупреди, что скоро я буду приглашать каждого из них сюда на несколько слов. Надеюсь, все уже одеты?

— Кажется, да, — сказал Джонс и вышел.

— Миссис Драммонд уже была одета, когда я вошел к ней, — сказал Паркер. — А что ты имел в виду, говоря об этих трех ударах?

— Да ничего, то есть, я думаю, что это чепуха. Сара Драммонд вчера декламировала фрагмент пьесы, где это было...

— Это может подождать. — Паркер подошел к нему. — Джо, я знаю, как ты себя чувствуешь. Поверь мне, я чувствую то же, что и ты. Но Иэна уже ничто не воскресит. Единственное, что нам осталось, — найти убийцу. Ты мне очень нужен сейчас. Ты был здесь вчера весь день. Ты видел его. Ты, как никто, можешь помочь. Ты ведь умеешь думать. Думай вместе со мной.

Он сел в кресло у небольшого столика под окном и указал Алексу на другое кресло. Затем вынул блокнот.

— Давай соберем первые факты, — сказал он. — Начнем с комнаты: Иэн сидел, держа в руке перо. Перед ним лежало начатое письмо...— Бен встал и подошел к столу. Ни к чему не прикасаясь, он склонился над листом бумаги: — «Уважаемый господин профе...» — прочел он, — затем резкая прямая линия вниз и клякса. Это значит, что его ударили в тот момент, когда он писал. Это несомненно. Перо он сжимал в руке. Убийца должен был действовать очень быстро. Он не мог себе позволить специально укладывать руку. В любую минуту кто-то мог сюда войти. Впрочем, видно, что перо скользнуло вниз в процессе написания. Второе: Иэн был убит медицинским инструментом, если, конечно, вскрытие не покажет ничего другого. Но думаю, что нет. Ты говоришь, что видел вчера этот или очень похожий инструмент и что он принадлежал Люси Спарроу. Сейчас проверим. — Он подошел к двери: — Джонс!

— Да, шеф!

— Где был этот скальпель? — спросил Бен у Алекса.

— Он должен быть в маленьком кожаном чемоданчике, в гардеробе, соединяющем комнаты миссис Драммонд и миссис Спарроу. Впрочем, лучше пусть она сама скажет.

— Принеси его, — сказал Паркер Джонсу, — и спроси у миссис Спарроу, все ли в порядке в этом чемоданчике? Или нет, подожди. Не ходи.

Бен закрыл дверь и вернулся.

— Джо, — сказал он, — мы потеряли полчаса на осмотр тела врачом, на процедуры дактилоскописта и на то, чтобы успокоить домочадцев. Давай еще раз все осмотрим. Подойди сюда. Будем смотреть вместе. Ты был здесь вчера вечером. А позже снова пришел. Смотри и вспоминай! Может, ты что-нибудь увидишь? Этот скальпель еще ни о чем не говорит. Повсюду есть отпечатки пальцев. Даже на нем. Позже мы что-нибудь о них узнаем. А пока давай будем думать.

Джо встал. Они вместе подошли к столу. Паркер склонился над ковром.

— Эта лужа крови... — сказал он. — Видишь?

— Вижу, — Джо наклонился. Психическое напряжение проходило. Он начал думать все яснее. — Смотри, тут будто кто-то ступил носком туфли... Вот здесь... И дальше еще один отпечаток на ковре. Вероятно, отступил. — Джо выпрямился. — Кто-то ступил в лужу крови и сразу отошел...

— Покажи свои туфли, — сказал Паркер. — Может, это ты, когда подошел к столу.

Алекс поднял левую ногу, потом правую.

— Нет, — Паркер покачал головой. — На твоих туфлях нет крови. Это был носок туфли. Хоть бы убийца этого не заметил...

Но Джо не слушал его. Он вглядывался в пятно крови и протянул вперед ладонь.

— Там что-то есть, — сказал он. — Посмотри.

Паркер присел на корточки. Под запекшейся скользкой темно-красной поверхностью пятна едва виднелись нечеткие очертания какого-то мелкого предмета, полностью залитого кровью.

— Джонс!

— Да, шеф!

— Таз с водой!

— Есть, сэр!

Паркер по-прежнему сидел на корточках. Джо вглядывался как зачарованный. Ему казалось, что он видит очертания тоненькой цепочки. Небольшой, полный воды таз появился через минуту. Алекс посмотрел на Паркера. Паркер закрыл глаза и двумя пальцами осторожно вынул из лужи крови маленький предмет, затем широко открыл глаза и опустил этот предмет в таз. Вода сразу же окрасилась в красный цвет. Паркер легонько прополоскал предмет в воде, а затем протер платком. Джо затаил дыхание.

На ладони Паркера блестел красный, как кровь, рубиновый кулон на короткой золотой цепочке.

— Ты видел это раньше?

— Да, — Алекс кивнул головой. — Этот кулон весь вчерашний день носила на шее Люси Спарроу.

На столике у окна Паркер осторожно расстелил платок и положил на него кулон.

— Люси Спарроу... — пробормотал он. — Хорошо. Посмотрим еще. — Он подошел к открытому сейфу. В нем находились аккуратно сложенные бумаги в разноцветных папках. В верхней перегородке стояла маленькая шкатулка. Паркер вынул из кармана другой платок и осторожно приподнял крышку. — Бижутерия, — сказал он. — Вероятно, принадлежит Саре Драммонд. А может, это какие-нибудь семейные реликвии? — Он взглянул на стол. — Ты уверен, что этих денег не было тут, когда ты заходил к Иэну в десять вечера?

— Я уверен, — кивнул Джо. — Это сразу бросилось бы в глаза. Я смотрел почти точно в это место, потому что перед Иэном лежала тогда открытая тетрадь, в которой он что-то писал. Я даже пошутил насчет значков... символов, которыми он пользовался.

Паркер подошел к столу. На нем лежала небрежно брошенная поверх коробок с рыболовными крючками пачка банкнот, обтянутая лентой с надписью: «1000».

— Тысяча фунтов... Зачем же ему было вынимать их из сейфа и класть на столе, поверх всего, что тут разложено? Ведь они не нужны для рыбной ловли! — Он повернулся и заглянул вглубь сейфа. — Вот здесь место, как бы идеально подходящее для этих денег, — сказал он, указывая на самую высокую перегородку сейфа. — Если они здесь не лежали, то можно понять, зачем Иэн оставил свободное место, а шкатулку поставил именно так. Но это лишь гипотеза. Быть может, кто-нибудь сможет нам что-нибудь об этом сказать. Ключ вложен в замок сейфа...

— Иэн говорил мне, что он держит там все важнейшие документы, — сказал Алекс. — Я это точно помню.

— Надо выяснить, может, там чего-то не хватает. Спарроу должен знать. — Паркер вернулся и сел. — Пока нам надо подождать результатов вскрытия и проверки отпечатков пальцев. Давай попробуем подвести итог тому, что у нас есть сейчас.

— Скальпель, — сказал Алекс, — кулон с рубином, след в крови на ковре, тысяча фунтов...

— Кроме того, — сказал Паркер, — есть человек, который ударил тебя и выключил свет. У нас есть еще эти крючки на столе и письмо.

— Письмо, да, — Алекс наморщил брови. — Но крючки?

— Быть может, благодаря этим следам мы найдем убийцу еще сегодня, — сказал Паркер. — Но если мы его сегодня не найдем, нам придется задать себе очень важный вопрос: *зачем Иэн Драммонд, который, как по всему видно, закончил работу и занялся подготовкой крючков для завтрашней рыбалки, вдруг бросил это занятие и начал писать письмо?*

— Но, ведь он мог вспомнить, что не написал кому-то что-то важное? А может, он хотел написать прощальное письмо Гастингсу, который сегодня уезжает?

Паркер покачал головой.

— Я думаю, что он написал бы такое письмо до или после работы над крючками. Но не в процессе ее. Иэн был методичным. Он всегда был поклонником систематичности и порядка.

Они подошли к столу.

— Посмотри, — сказал Паркер, — на столе нет ничего, что указывало бы на еще какую-нибудь работу. Вероятно, он уже спрятал все свои бумаги и разложил на столе крючки. Тогда откуда это письмо?

— Не знаю, — сказал Алекс и потер рукой лоб. — Мне кажется, здесь чего-то не хватает. Чего-то, что я видел вечером...

Паркер поднял голову.

— Не можешь вспомнить?

— Нет, — Джо беспомощно развел руками. — Не помню. Но здесь было что-то, чего я сейчас не вижу... Минутку...— Он задумался. — Нет. Не помню.

— Итак, — сказал Паркер, — у нас есть:

1. Скальпель (вероятно, принадлежит Люси Спарроу).

2. Тысяча фунтов, ничем не объяснимые на столе.

3. Кулон в крови (Люси Спарроу).

4. Письмо: «Уважаемый господин профе...».

5. След на ковре (не установлен).

6. Факт, что убийца был здесь в час ночи, если ты помнишь, что без пяти час ты пошел вниз.

7. Факт, что *убийца до сих пор находится в доме, а стало быть, это один из тех, кто здесь живет.* Осмотр всего дома в поисках кого-либо чужого не дал никаких результатов. А собаки Мэлахи никому не позволили бы выйти за пределы сада. В эту минуту вся усадьба окружена полицией. Убийца находится здесь.

8. Из этого следует, что убийцей должен быть один из людей, находящихся в этом доме, а именно:

1. Роберт Гастингс,

2. Филипп Дэвис,

3. Гарольд Спарроу,

4. Мэлахи Ленеган, потому что у него был ключ и он мог войти в дом,

5. Сара Драммонд,

6. Люси Спарроу,

7. Кейт Сандерс, горничная.

— А кухарка? — спросил Джо.

— Ее не было. После ужина она пошла в Мэлсборо к больной сестре и вернется лишь утром. Так сказала горничная.

— В таком случае, остаюсь еще я, — сказал Джо.

— Да. Верно. 8. Джо Алекс. Среди этих лиц мы должны выявить убийцу и отправить его туда, откуда он уже никогда не вернется. И мы отправим его туда, Джо.

— Мы должны, Бен.

Они посмотрели друг другу в глаза.

За окном светало.

— А теперь, — сказал Паркер, — расскажи мне коротко, что происходило здесь вчера вечером. Но постарайся ничего не упустить.

Алекс открыл было рот, но в эту минуту в дверь заглянул толстощекий сержант Джонс.

— Стивенс что-то нашел, шеф.

— Что? — повернул голову Паркер.

В комнату протиснулся молодой человек с коротко стриженной головой и очень широкими плечами. Он был одет в гражданское, но Алекс сразу понял, что это детектив. Стивенс держал на разложенной газете какой-то предмет.

— Можно, шеф?

Инспектор жестом руки пригласил его. Детектив подошел ближе. Алекс увидел большое мраморное пресс-папье.

— Это оно! — громко воскликнул Джо.

— Что? — Паркер повернулся к Стивенсу. — Где это лежало?

— За занавеской, на подоконнике в коридоре второго этажа.

— А что ты хотел сказать, Джо?

— Это пресс-папье, — Алекс внимательно присмотрелся. — Да, точно. Оно лежало на этом столе. Иэн как раз промокнул им исписанный лист, когда я пришел к нему. Именно этого я и не мог вспомнить.

— Ясно, — инспектор кивнул Алексу. — Я думаю, этим пресс-папье тебя и ударили. Промокательная бумага разорвана. Отдайте это на исследование отпечатков пальцев, — сказал Паркер Джонсу, — а потом пусть его сразу вернут. Где работает дактилоскопист?

— В спальне. Он разложил там все свои причиндалы. В автомобиле у него лаборатория, и он делает там увеличенные снимки.

— Дай ему это пресс-папье, и как закончит, пусть сразу вернет. Оно будет мне нужно для допроса. Ищите дальше... Минутку! Джонс, пусть люди осмотрят, но незаметно... я повторяю, Джонс, незаметно — все туфли и тапочки, которые им попадут под руку. Надо искать пятнышко крови на носке или следы свежего замывания водой. Ты понял?

— Понял, шеф. Кто-то ступил в кровь, что ли?

— Да.

— Хорошо, шеф.

Дверь за детективами закрылась.

— Рассказывай, — сказал Паркер, опираясь рукой на столик, где лежал рубиновый кулон на белом платке.

Джо, стараясь не упустить ни одной мелочи, описал ему все события дня, начиная с той минуты, когда Сара Драммонд подъехала на своем черном «ягуаре» к его лондонскому дому.

X. «...Я третий нанесла удар — священный, жертвенный...»

— Так, — сказал Паркер, когда Джо закончил свой рассказ. — Тут много поводов для размышления. Когда же они закончат этот медицинский осмотр и работу с отпечатками? Пора уже что-то делать.

В ту же минуту Джонс снова просунул голову в дверь.

— Звонит доктор!

— Наконец! — Паркер вскочил с места и вышел.

Алекс остался один. Он отвел взгляд от того места, на котором попрежнему стояло кресло Иэна. Пятно на полу становилось все темнее.

Дверь открылась.

— Уже есть результаты! — воскликнул Паркер. — Убит тремя ударами, именно этим скальпелем...

— Тремя? — Алекс потер лоб. — Значит, все-таки... О Господи!...

— Да. Тремя. Смерть наступила мгновенно. Сердце пробито навылет дважды. Третий, последний удар, был совершенно излишним. Сильное кровотечение. Поэтому такое большое пятно. А убийство произошло не ранее десяти часов тридцати минут и не позднее одиннадцати часов пятнадцати минут.

Бен сел.

— То есть, как это? — Алекс вскочил с места. — Ведь в час ночи, когда я спустился вниз, убийца был здесь и...

Паркер развел руками.

— Он не ошибается, наш дорогой эскулап. Его можно во многом упрекнуть. В Ярде говорят, что он слишком много пьет. Но он никогда не ошибается. Мы должны принять это как должное.

— Но ведь Я САМ разговаривал с Иэном в десять тридцать!

— Нет. Ты сказал мне, что часы пробили, когда ты был уже наверху. Ты разговаривал с ним минутой раньше. Впрочем, это нижняя граница времени. Он мог погибнуть в течение следующих сорока пяти минут. В любую из этих минут.

— А этот человек? Ну, тот, который меня... — Алекс показал на свою голову.

— Все это нам еще предстоит выяснить. Подождем результатов дактилоскопических исследований. Это займет чуть больше времени, потому что они требуют точности и надо еще увеличить снимки. Но результаты будут. Слишком уж много оставлено улик, чтобы мы не могли найти подлинный след. — Джо сел. Паркер заглянул в свой блокнот: — Может, пока допросим тех, кто вызывает наименьшие подозрения, а точнее говоря, находятся вообще вне всяких подозрений. Ну, ты же не думаешь, что старый Мэлахи не теоретически, а реально мог подойти к Иэну сзади и ударить его скальпелем в спину? Да еще три раза? А потом спокойно вернуться на порог дома и ждать, пока все выяснится и обвинят кого-нибудь вместо него.

— Это абсурд! — покачал головой Алекс. — Мэлахи не мог этого сделать, и ты можешь спокойно вычеркнуть его из своего списка. Зачем ему убивать Иэна, ведь он его любил и был связан с его семьей почти с самого своего рождения? Это же не лакей и не повар, это настоящий друг трех поколений семьи Драммондов. Да и вообще это невозможно. Не то преступление и не тот способ. И откуда бы Мэлахи взял скальпель и кулон? Разве что Люси Спарроу их потеряла... Если б ты видел его слезы...

— Да. Ты прав. Даже без этих выводов мы оба знаем, что Мэлахи Ленеган этого не сделал. Именно поэтому я и хотел его допросить. Джонс!

— Да, шеф, — толстощекая физиономия вынырнула из-за приоткрытой двери так бойко, будто была на пружине.

— Приведи сюда Мэлахи Ленегана, старого садовника.

— Есть, шеф!

Они ожидали в молчании. Вскоре Джонс показался снова.

— Он уже здесь, шеф.

— Пригласи его сюда.

Мэлахи Ленеган вошел в комнату ссутулившись, но тут же выпрямился и ровным спокойным шагом подошел к столику.

— Садитесь, дядюшка, — сказал Паркер и указал на третье кресло.

Садовник сел и огляделся. Но не сказал ни слова, хотя увидел разложенные на столе коробки с крючками. Затем перевел взгляд на Паркера.

— Мистер Иэн умер, — сказал Паркер таким мягким и теплым голосом, какого сам Иэн от него никогда не ожидал бы. — Мы все, сидящие здесь, были его друзьями. Я имею в виду настоящих друзей, которых у человека бывает немного в жизни. А теперь он погиб. Его убили, хотя мы думаем, что в его жизни не случилось ничего такого, за что ему можно было бы так жестоко отомстить. Это не был кто-то обиженный, кто таким образом хотел восстановить справедливость, потому что не мог добиться ее иным путем. И хотя это тоже было бы преступлением, потому что человек не имеет права карать смертью другого человека, но в этом случае мы могли бы подумать, что убитый сам повинен в своей судьбе. Однако мы знаем, что это не так. Убит лучший и честнейший из людей. И мы должны узнать, кто это сделал. Мы обязаны найти убийцу не только потому, что Иэн Драммонд был нашим близким другом и мы любили и уважали его как брата. Но для того, чтобы зло было наказано, а добро восторжествовало. А здесь мы имеем дело с очень большим злом. Я убежден, что Иэн Драммонд был убит лишь потому, что сама его смерть была кому-то нужна. Мы еще не знаем кому. Именно это мы должны узнать, собрать все доказательства и схватить преступника.

— Да, — это надо сделать...— Мэлахи кивнул седой головой.

— А теперь, дядюшка, сосредоточьтесь, пожалуйста, и расскажите нам все, что случилось вчера. По порядку и не пропуская никаких событий, пусть даже они кажутся мелкими и неважными.

— Я встал утром... и мы с мистером Гастингсом отправились на рыбалку. Мы ловили долго, до самого полудня. Мистер Гастингс поймал красивую рыбку. Потом мы вернулись. Я вместе с ним обрабатывал ее, то есть, не саму рыбу, а только голову, потому что мистер Гастингс хочет ее увезти с собой...

— А как ловили? — спросил Паркер. — На крючки?

— Нет. Он ловит не так, как я и мистер Драммонд... Они там, в Америке, любят ловить таким небольшим гарпуном на сжатом воздухе, вроде пистолета... Он выстрелил и попал в рыбу, когда она была близко к поверхности. А потом эта рыба таскала нас, потому что к этому гарпуну привязана леска, которая разматывается, когда подстреленная рыба уплывает. Она таскала нас по морю туда и сюда, пока, наконец, не ослабела. И тогда мистер Гастингс высунулся за борт и ударил обычным гарпуном. Он пробил ее насквозь... Попал в самое сердце... Это был прекрасный удар...

— Так... Паркер поставил какой-то значок в своем блокноте. — Вы вернулись, обработали голову, и что было дальше?

— Я немного подремал. Потом пошел в сад. Два раза в неделю из Мэлсборо мне на помощь приходит молодой парень. Он обрезает сухие ветки на деревьях и помогает мне постричь живую изгородь. Летом много работы, потому что все быстро отрастает. Потом я занимался розами, а затем пошел посмотреть на одну прививку возле ворот. Там были эти двое из палатки: они обходили парк полем, держась подальше. Я их видел. Они постоянно здесь шатались. Но вы сказали, что это ваши люди, и я, стало быть, не обращал внимания. Ну, а потом я отправился на кухню поужинать, а после ужина был у собак. Они сидят весь день в маленькой загородке за моим домиком. Я накормил их и вернулся к себе продолжать работу над рыбьей головой. Я повозился с ней немного, потому что она должна была быть готова наутро. Ну, а потом я выпустил собак и пошел с ними в парк. Там я встретил мистера Алекса. Мы немного поговорили, и мистер Алекс ушел. Позже, около одиннадцати, ко мне вышел мистер Драммонд.

— Что? — спросил Паркер. — Около одиннадцати?

— Ну да, было без четверти одиннадцать... Потому что, когда я с ним разговаривал, часы на башне Мэлсборо ударили три раза. Я всегда слушаю бой часов ночью. В такую лунную погоду он слышен так, будто это не целых две, а лишь полмили.

— Мистер Драммонд спросил о чем-нибудь?

— Да. Он спросил о погоде на завтра. Ему казалось, что после такой теплой ночи может разразиться гроза. И еще о том, какие лучше взять крючки — одинарные или тройные... Я сказал, что, быть может, у этих современных тройных и есть свои достоинства, но я этих достоинств не вижу. Тогда он рассмеялся и сказал, что возьмет одинарные. И пошел в дом.

— А дальше что?

— Ничего... Ну разве, может, только... Но это неважно, потому что если этот преступник ударил мистера Алекса в час ночи, то его же не могло быть тогда в саду...

— Что? — спросил Паркер. — Рассказывайте, дядюшка Мэлахи. Все может пригодиться. Пока мы даже еще не знаем, что именно.

— Так вот, в одиннадцать, ну, может, за пару минут до одиннадцати, я шел с псами вокруг клумбы. Вдруг они насторожились и стали тихо ворчать. Затем побежали к двери и начали там нюхать. Я заглянул через стекло, но в холле было темно, и я ничего не увидел. Сразу после этого часы в Мэлсборо отбили одиннадцать.

— Значит, это произошло за две или три минуты перед одиннадцатью?

— Да.

— Но не за пять?

— Нет. Пожалуй, нет. Часы стали бить сразу после. Потом я прошелся с псами вокруг дома, заглядывая туда, сюда... посмотрел на лестницу, ведущую к пристани, и вернулся обратно. Было светло и ночь тихая. Я и вздремнул немного...

— А как вы думаете, дядюшка, — Паркер понизил голос, — кто убил мистера Иэна Драммонда?

Мэлахи поднял на него свои спокойные синие глаза, слегка сейчас покрасневшие.

— Как я думаю? Я думаю... Но я не могу вам этого сказать, потому что вы из полиции. А когда говоришь с полицией — надо знать. Или знать, или хотя бы слышать. Иначе можно обидеть невиновного.

— Не бойтесь, Мэлахи. Мы никого не обидим. Мы лишь хотим узнать правду. И вы можете нам в этом помочь.

Старик некоторое время молчал, глядя на Паркера.

— Эта жена ему не подходила, — сказал он наконец. — Я не знаю, кто его убил. Но, наверно, если бы он женился на какой-нибудь порядочной девушке, а не на этой комедиантке, он был бы жив до сих пор, и сегодня мы бы поехали на рыбалку.

Мэлахи опустил голову и вытер глаза рукавом.

— Вы уже можете идти, дядюшка, — сказал Паркер и взял его под руку. — Думаю, вы нам очень помогли. Спасибо.

Мэлахи махнул рукой и, вытирая слезы, двинулся к дверям в сопровождении Паркера. Алекс открыл шторы. Уже светало. Лодка напрасно будет ждать на пристани, Иэн Драммонд не поедет на рыбалку. Какая-нибудь рыба, глядящая сейчас в светлеющую поверхность воды, никогда не узнает, что своей жизнью она обязана кому-то, кто убил Иэна Драммонда, рыболова, который ее уже не поймает. Алекс встряхнулся. Паркер вернулся и сел напротив.

— Так как было дело с этими тремя ударами? — спросил он.

Алекс повторил ему содержание фрагмента из «Орестеи», который прозвучал во время вчерашнего ужина.

— Так... — инспектор задумался. — Ну что ж, давай пока поговорим с миссис Люси Спарроу. Ее кулон, а также, кажется, и скальпель находятся в этой комнате. Но стоит ли допрашивать ее здесь?

— Она врач, — сказал Алекс. — Она привыкла к виду крови.

— Может, ты и прав, — кивнул Паркер. Он прикрыл уголком платка кулон, а под платок сунул скальпель. — Его рукоятка сфотографирована и с нее сняты отпечатки пальцев. Мы можем провести маленький эксперимент. Джонс!

— Да, шеф?

— Ступай наверх и пригласи сюда миссис Спарроу, если она может спуститься.

— Есть, шеф!

— И... Впрочем, ничего. Как идут поиски в доме?

— Стивенс и Симмс осматривают все по очереди, от чердака до погреба. Мы не знаем, можно ли обыскивать комнаты гостей и хозяев.

— Пока воздержитесь с этим. А сейчас иди за миссис Спарроу.

Джонс исчез, закрыв за собой дверь.

— А ты заметил, — спросил Паркер, — что когда дверь закрыта, из дома сюда не проникает ни единый звук?

— Да, Иэн мне говорил, что в эту комнату даже не стучат. Он был очень чувствителен к шуму и сказал, что только здесь ему ничего не мешает и ничего не отвлекает.

— Вот как. Наверно, поэтому все двери в доме так хорошо смазаны. Жуткая комната. Здесь можно даже орать — никто не услышит. Пробковые стены. Плотные белые шторы. — Он осмотрелся. — Быть может, Иэн крикнул тогда? У собак слух лучше, чем у людей. Сейчас мы уже знаем, что Иэн был убит между 10.45 и 11.15. Значит, время 10.57, на которое указал Мэлахи, находится приблизительно в середине этого периода и представляется наиболее вероятным.

— Здесь миссис Спарроу, шеф, — сказал Джонс.

— Пригласи и закрой за ней дверь.

— Да, сэр.

При виде вошедшей женщины они оба поднялись с мест. Люси Спарроу была одета в темно-серое платье, на ногах — серые туфли с белой подошвой, на тонких высоких каблуках.

— Моя фамилия Паркер, я — инспектор Скотленд-Ярда, — сказал Бен. — Вы, конечно, знаете о трагическом несчастном случае, который произошел несколько часов назад в этом доме?

— Да. — Голос Люси был ровным и спокойным. — Ваш подчиненный сказал нам... моему мужу и мне, что Иэн... мистер Драммонд был убит. Он просил нас оставаться в комнатах. И это все, что я знаю.

— Так. — Паркер смотрел ей прямо в глаза. — Следовательно, вы не знаете, как погиб Иэн Драммонд?

— Нет.

— Понимаю... — Бен умолк.

Алекс сидел, глядя на Люси, и вдруг глубоко вздохнул. Ну конечно! Почему он раньше об этом не подумал? Тогда, стоя во мраке и глядя на неподвижную, едва видимую фигуру за столом, он услышал за собой дыхание. Это не было дыхание ни Люси, ни Сары Драммонд, ни ее горничной Кейт Сандерс. Это было дыхание мужчины! Он не знал, по каким признакам это определил, но был уверен, что это так. Дыхание мужчины.

— Вчера после обеда, — сказал Паркер, — играя в теннис, вы получили травму, не так ли? — он смотрел на ее левую руку. Люси невольно

подняла ее, несколько раз согнула и пошевелила пальцами. — Сейчас она вас уже не беспокоит?

— Нет. — В ее голосе прозвучало легкое удивление. — Но я по-прежнему над ней работаю. Перед ужином я носила ее на временной перевязи, но после нескольких сеансов массажа пришла к выводу, что мышца не надорвана, и решила как можно больше двигать рукой. У меня завтра операция. Я хирург.

— Это мне известно, — Паркер склонил голову. — Не нужно быть инспектором полиции, чтобы знать вашу фамилию.

Люси оставила этот комплимент без ответа.

— А когда вы пришли к выводу, что рука нуждается в движении?

— Что, простите? — Она взяла себя в руки. — То есть, разумеется, я буду отвечать на все ваши вопросы, раз вы представитель закона.

— Благодарю вас.

— Так о чем вы спрашивали? О том, когда я пришла к выводу, что мне надо двигать рукой? Сегодня, когда меня разбудил ваш подчиненный.

Паркер поднял брови.

— Простите, — сказал он, — но, казалось бы, что в минуту, когда вас будят на рассвете таким сообщением, вы должны были бы подумать о чем угодно, кроме этого. Как я должен себе это объяснить?

— Меня что, подозревают в убийстве Иэна Драммонда? — спокойно спросила Люси. — Если так, прошу разрешить мне связаться с моим адвокатом. Кажется, закон дает мне право на это.

— Разумеется. И если бы вас подозревали в убийстве, вы могли бы отказаться от любых показаний до встречи с адвокатом. Но мне кажется, что это вы выдвинули такое предположение. Я этого не говорил.

— Хорошо, — Люси пожала плечами, — в таком случае, я должна вам сказать, что меня не удивляет ваш последний вопрос. К сожалению, мои руки не являются лишь моей собственностью. Так случилось, что завтра от их состояния в буквальном смысле зависит жизнь человека и счастье его семьи. Если бы я приступила к операции, не будучи уверенной в функционировании моих рук, я могла бы убить человека, с той лишь жуткой разницей, что Скотленд-Ярд никогда даже не приступил бы к следствию, а я была бы безнаказанной в глазах людей. Даже семья этой бедняжки благодарила бы меня за мою бескорыстную, хотя и неудачную работу. Мне стоило лишь сказать: «Мы сделали все, что было в человеческих силах», или что-нибудь в этом роде. Поэтому, когда сегодня утром меня разбудили ужасным известием о судьбе Иэна Драммонда, которого я считала своим сердечным другом и смерть которого явилась для меня огромным ударом, — я не впала в истерику и не заплакала. Я работаю лицом к лицу со смертью и постоянно вижу честных и добрых людей, которые погибают и которых мы не можем спасти. Я постоянно борюсь со смертью. Мне нельзя ей поддаваться, а завтра утром я буду оперировать. И это будет одна из труднейших операций в моей жизни. А я ведь, как вы знаете, не занимаюсь удалением аппендиксов. Поэтому, несмотря ни на что, я первым делом подумала о своей руке. И сейчас о ней думаю. Кажется, мой ответ был длиннее, чем вы ожидали. Но я не хотела... — тут ее голос слегка дрогнул, — я не хотела, чтобы кто-нибудь, даже посторонний, мог бы подумать, что смерть Иэна не потрясла меня. — И вдруг в ее глазах показались слезы. Она вытерла их маленьким платочком и выпрямилась. — Простите.

— Это вы меня простите, — Паркер снова смотрел ей в глаза. — К сожалению, я должен задать вам еще несколько вопросов. — Он умолк, затем продолжал: — Вернемся ко вчерашней игре в теннис. Когда вы ощутили боль в руке, вы попросили мистера Филиппа Дэвиса принести чемоданчик с медицинскими инструментами, не так ли?

— Да.

— Он его принес?

— Да.

— А что потом с ним случилось?

— Потом? Не знаю. Я не обратила на это внимания. Возможно, кто-то из мужчин взял, потому что Сара шла со мной впереди.

— Да, — Алекс кивнул головой. — Чемоданчик нес Иэн, а потом отдал его миссис Драммонд у двери вашей комнаты.

— Наверно, так и было, — кивнула головой Люси, — но я по-прежнему не понимаю, какое...

— А позже вы видели этот чемоданчик?

— Да. Сегодня я сразу, как только встала, положила в него свернутый эластичный бинт, которым на ночь обмотала руку. У меня здесь нет другого, и я не знаю, не понадобится ли он мне еще.

— А где этот чемоданчик стоит?

— В нашем гардеробе, на столике под окном.

— В «нашем» — это значит в гардеробе вашем и мужа?

— Нет. У нас общий гардероб с Сарой... с миссис Драммонд. Когда-то это был гардероб матери Иэна. Это большая комната, состоящая из одних шкафов и двух больших зеркал. Двери в коридор нет, а войти в него можно через две прилегающие к нему с двух сторон ванные комнаты. Одна из них Сары, другая — моя. Миссис Драммонд была так любезна, что после моего приезда сюда предложила мне половину этой гардеробной. В других комнатах слишком мало места для размещения дамской одежды. У меня много платьев и белья...

— Ясно... Вчера, когда мистер Дэвис принес этот чемоданчик, вы употребили скальпель для того, чтобы разрезать бинт, верно?

— Да.

— А разве это не может повредить такому точному инструменту?

— И даже очень. Но я перед этим вынула ножницы из чемоданчика и оставила их на туалетном столике. Я была очень расстроена и поэтому попросила быстро отрезать. В конце концов, скальпель мне здесь не нужен. У меня есть еще несколько таких же.

— А где сейчас этот скальпель?

— Разумеется, в чемоданчике. Где же ему быть?

Паркер потянулся к платку и вынул из-под него блестящий инструмент.

— Он был похож на этот?

— На этот? — Люси взяла скальпель и осмотрела его. — Да. Но тот на один размер больше.

— Вы в этом уверены?

— Абсолютно.

Она улыбнулась той легкой улыбкой, с какой улыбается эксперт, услышав вопрос дилетанта, но тут же снова стала серьезной.

— Этот скальпель вымыт... — сказала она, — но... — и резко положила его на стол. — Но он грязный. На нем след крови!

— Где? — спросил Паркер.

— Вот здесь! Возле рукоятки!

— Значит, этот скальпель отличается от того, который находится в вашем чемоданчике наверху?

— От того... Да. Но у меня там есть другой, точно такой же, как этот... — Она еще раз взяла в руки скальпель и рассмотрела его со стороны рукоятки. — Это же мой скальпель! — сказала она. — Да! Мой! Откуда он здесь взялся?

— А как вы его узнали?

— У него две узенькие щербинки на конце рукоятки, почти невидимые. Так я помечаю свои скальпели, чтобы их потом не заменили. У меня

личные инструменты, к которым я привыкла... А в операционной, когда несколько хирургов по очереди оперируют, инструменты могут перепутаться во время стерилизации. Вот, посмотрите, видите? — Она наклонила свою красивую светлую голову к лицу Паркера. — Вот тут, потрогайте. Это точно мой скальпель.

— Вот именно... — сказал Паркер. — И вчера он находился в вашем чемоданчике?

— Да. Не помню, видела ли я его там. Но если какого-то инструмента не хватает, это сразу бросается в глаза, я не могла бы этого не заметить.

— А тогда можете ли вы мне объяснить, кто и почему сегодня ночью убил этим скальпелем Иэна Драммонда?

Вопреки ожиданиям Алекса, Люси не выразила удивления.

— Я стала подозревать это уже несколько минут назад. Нет. Я не могу ответить вам на этот вопрос. Иэна? Это кажется мне совершенно невозможным.

— Кто вчера входил в гардероб?

— Сара и я, конечно, а кроме того... кроме того... туда мог кто-нибудь войти, когда мы ужинали.

— А до того или после?

— Пожалуй, никто... Не знаю.

— А ваш муж входил туда?

— Мой муж?... Возможно... Кажется, да — я просила его принести мне теплый халат сразу после ужина. А позже уже никто туда не входил.

— Вы выходили из комнаты?

— На минутку. Я одолжила бумагу для письма у мистера... — она указала на Алекса, — а потом заглянула к Филиппу Дэвису. Он просил меня уладить одно личное дело. Я была там две-три минуты...

— И тогда любой мог войти в вашу комнату? Вы оставили дверь открытой?

— Да. Но я могла в любую минуту вернуться и застичь постороннего в гардеробе. А кроме того, Сара была у себя, значит...

— А откуда вы знаете, что миссис Драммонд была у себя?

— Потому что я заходила к ней, чтобы одолжить пишущую машинку. У нее маленький «Ремингтон», на котором она записывает свои роли, чтобы лучше их запомнить. Она говорила мне об этом когда-то. Так что, когда я пришла к выводу, что лучше не напрягать травмированную руку, а письмо написать надо было, то подумала, что его можно напечатать одним пальцем левой руки. Письмо короткое.

— В котором часу вы одолжили машинку?

— Примерно без четверти одиннадцать. Потом я отнесла ее в комнату и пошла к мистеру Алексу, потому что у Сары как раз закончилась бумага.

Паркер взглянул на Алекса, который подтвердил:

— Я вошел в свою комнату в половине одиннадцатого. Это я точно помню. Потом я писал минут двадцать. В 10.50 в дверь постучала миссис Спарроу. Я посмотрел на часы.

— А не могли бы вы мне сказать, — спросил Паркер, — по какому делу вам пришлось так срочно ночью писать письмо?

Несколько секунд Люси Спарроу была в нерешительности.

— Мне очень жаль, но я не могу ответить на этот вопрос. Меня просили оказать одну услугу.

— Кто-то из присутствующих в этом доме?

— Пожалуйста, не спрашивайте меня больше об этом. Я не смогу вам ответить. Могу только заверить, что это не имеет ничего общего с делом, которое вы расследуете.

— Этого никогда нельзя предвидеть, — пробормотал Паркер. — Противоположности притягиваются... И в расследовании тоже.

Но Люси Спарроу не слушала его. Она смотрела на лежащий перед ней скальпель.

— А можете ли вы мне сказать, почему, собственно, вы убили Иэна Драммонда? — спокойно спросил Паркер.

Люси вздрогнула, но тут же взяла себя в руки.

— По какому праву...

Паркер снова поднял руку, а потом сунул ее под платок.

— Это ваше?

Люси не ответила. Она смотрела на рубиновый кулон, и лицо ее окаменело.

«Словно греческая статуя... — подумал Алекс, — белая и неподвижная, но таящая огромную глубину. Будто она думает о чем-то, чего никто из живущих не может постичь. Молчание мрамора».

— Это ваше? — повторил Паркер.

Она кивнула.

— Этот кулон найден у ног покойного. Мы сразу не заметили его. Он был покрыт кровью.

Люси закрыла глаза. Потом открыла их и крепко сжала руки.

— Да. Это я убила Иэна Драммонда, — сказала она спокойно. — Арестуйте меня. Я признаюсь в этом преступлении.

Алекс вскочил с места, но Паркер одним движением руки остановил его.

— А почему вы убили Иэна Драммонда, замечательного человека, который, я уверен, никогда не сделал вам ничего плохого?

— Почему? — Люси некоторое время молчала, глядя в окно, за которым уже начинался день, полный деревьев, птиц и распустившихся цветов. — Я отказываюсь отвечать.

— У вас есть такое право. Как друг Иэна, я благодарю вас за этот самый большой комплимент, какого человек может удостоиться после смерти.

Алекс посмотрел на него с изумлением. Инспектор встретился с ним взглядом, и тогда Джо увидел в его глазах блеск упрямства, так хорошо знакомый ему с прежних военных лет.

— А как здесь оказался этот рубиновый кулон? Вы потеряли его во время борьбы, да?

— Что? — Видно было, что Люси не понимает вопроса.

— Этот кулон был найден у ног покойного. Как он там оказался? Вы не припоминаете?

— Я... вероятно, зацепилась за что-то, и он остался здесь...

— Ага. Это объясняло бы этот факт. А что делал Иэн Драммонд, когда вы его убили?

— Он сидел... за столом.

— Так. Он сидел, а вы подошли и вонзили в него этот скальпель, зацепившись при этом за что-то кулоном?

— Я... Да! Перестаньте, пожалуйста!

Она не заслонила руками лицо, не заплакала и даже не склонила головы, но Алекс понял, что эта женщина сейчас потеряет сознание. Она побледнела.

— Почему вы лжете, Люси Спарроу? — резко спросил Паркер. — Кого вы выгораживаете?

— Я? Никого. Я убила Иэна Драммонда и признаюсь в этом. Чего еще может желать закон от преступника?

— От преступника — ничего больше. Но закон желает знать правду. А я вовсе не желаю, чтобы вы понесли наказание вместо кого-то другого, кого вы выгораживаете или вам кажется, что вы его выгораживаете,

потому что полагаете, что это он убил. К тому же вы хотите выгородить кого-то, кто с заранее обдуманным намерением хочет свалить на вас доказательства вины.

— Но почему? — спросила Люси. — Не понимаю... — ее голос потерял тот спокойный деловой тон, которым она до сих пор говорила.

— Потому, что вы не могли потерять здесь этот кулон. Убийца совершил ошибку. Взгляните на эту цепочку! Что вы видите? Ты, Джо, автор детективных романов, которые читает вся Англия, что ты видишь?

— Вижу... Не знаю! — Джо склонился над кулоном. — Нет. Не вижу ничего необычного.

— А вы?

— Я уже сказала, что потеряла его здесь... — голос у Люси был тихий и неуверенный. Она тоже всматривалась в лежащую на столе цепочку, как бы желая проникнуть в ее столь явную, но непонятную тайну.

— Она закрыта, — сказал Паркер. — Убийца забыл ее разорвать. Понимаете? А ведь сразу видно, что она слишком короткая, чтобы ее можно было надеть через голову. А даже если бы она и не была короткой, то при ваших густых волосах вряд ли бы она могла пройти через голову, даже если бы вы стояли на руках. Думаю, нет. Мне кажется, что если попытаться ее снять, то она даже через подбородок не пройдет. Как же тогда эта цепочка могла оказаться здесь иначе, чем принесенная кем-то, кто бросил ее рядом с телом убитого Иэна Драммонда?

Только теперь Люси склонила голову.

Паркер безжалостно продолжал:

— Прекратите эти глупости! Когда вы отказались ответить на вопрос, почему вы убили Иэна, я сказал, что это огромный посмертный комплимент ему. Вы не смогли выдумать хоть какой-нибудь повод, потому что Иэн не был человеком, которого можно было бы хоть за что-нибудь ненавидеть. Лишь один убийца знает, какую пользу он извлечет. Поэтому вы пытаетесь выгораживать людей, которые хотели свалить на вас это ужасное преступление, как будто знали, что вы понесете этот крест почти без колебаний. И что вы скажете?

Но Люси Спарроу не отвечала. Она спрятала лицо в ладонях, а потом покачнулась в кресле. Алекс вскочил и поддержал ее.

— Сейчас пройдет, — сказала она тихо. — А теперь, пожалуйста, отпустите меня. Я и так ничего больше не скажу.

Паркер смотрел на нее почти с гневом, но потом опустил голову и мягко сказал:

— Благодарю вас. Быть может, вы очень нам помогли, хотя наверняка не желали этого.

Джонс сунул голову в дверь и дал знак, что хочет поговорить с Паркером, который тут же подошел к нему. Они шепотом обменялись несколькими словами. Паркер поколебался, затем снова подошел к Люси Спарроу.

— Простите меня, — сказал он почти заботливо, — но я должен попросить вас еще об одной небольшой любезности. Сюда принесли маленький чемоданчик, о котором мы говорили. Не могли бы вы осмотреть его содержимое и сказать нам, чего там еще не хватает?

— Хорошо, — Люси прикрыла глаза и открыла их, как человек, который пытается побороть охватывающий его сон. — Если это обязательно нужно...

Джонс внес маленький черный чемоданчик, который Алекс видел вчера на теннисном корте.

Паркер открыл чемоданчик. Люси наклонилась и, вытянув руку, проверила содержимое бутылочек, вынимая их одну за другой и возвращая на место. Пустой зажим явно указывал то место, из которого был взят скальпель.

— Нет. Тут все в порядке, — сказала Люси и заглянула в плоский карман на внутренней крышке чемоданчика. Карман застегивался кнопкой. Люси открыла его и сунула внутрь руку. — Нет моих резиновых перчаток! — изумленно сказала она.

— А вы уверены, что они вчера там были?

— Нет... Я ими здесь не пользовалась... Они находились там, потому что являются частью снаряжения. В деревне никогда не известно, что может случиться... Иэн и Гарольд проводят химические опыты... Я всегда опасалась — мало ли что... — Люси подумала. — Я видела их четыре или пять дней назад, — сказала она решительно. — Я вынула их и пересыпала тальком. Была жара, и мне пришло в голову, что резина может пересохнуть. Да-да! Теперь я вспомнила — я положила их на место.

— Я в этом уверен, — пробормотал Паркер. — А спросил только для того, чтобы сказать вам: убийца вынул перчатки из вашего чемоданчика, затем одну бросил на дно шкафа в гардеробе, а другую глубоко затолкал под другой шкаф. И эта, вторая, была в крови. Джонс!

Вошел Джонс. На чистом листе бумаги он нес резиновую перчатку. Она была покрыта следами засохшей крови.

И в этот момент Люси Спарроу потеряла сознание.

— Шеф, — спокойно сказал толстощекий сержант Джонс с лицом румяного ребенка, — сейчас принесут результаты дактилоскопии.

— Хорошо, принеси воды!

Джонс исчез. Но прежде чем он вернулся, Люси пришла в себя.

— Я понимаю, что вам это необходимо, — тихо сказала она, поднимая голову, — но я больше не могу этого переносить. — Она выпрямилась в кресле.

— А не проще ли было сказать правду?

— Какую правду? — Люси подняла на него глаза с выражением, какое охотники видят иногда у загнанного, умирающего зверя. — Но я в самом деле не знаю, кто убил...

— Но вы догадываетесь. Иначе вы не выгораживали бы убийцу. Или вы не понимаете, что уже сказали нам, кого пытаетесь прикрыть?

— Я?... я... Прекратите... — Она с огромным усилием взяла себя в руки. — Больше вы не услышите от меня ни слова, господин инспектор. Невзирая на то, что вы об этом подумаете. Либо арестуйте меня, либо позвольте уйти. Мне нечего больше сказать.

— Хорошо, пожалуйста. — Паркер встал. — Я лишь удивляюсь, что вас раздражают мои усилия. А ведь я ищу преступника, и казалось бы, имею право просить помощи у каждого порядочного человека?

Но Люси Спарроу, плотно сжав губы, даже не удостоила его взглядом. Выходя, она лишь чуть кивнула головой Алексу.

Когда дверь за ней закрылась, Паркер тяжело сел в кресло.

— Ты только подумай, — тихо сказал он, — погиб наш Иэн. Кто-то убил его. Казалось бы, что такая женщина, как Люси Спарроу, умная, хладнокровная, умеющая держать себя в руках, поможет нам, тем более что убийца хотел свалить вину на нее: он совершил убийство ее скальпелем, держа этот скальпель в руке, на которую надета ее перчатка, да еще подбросил здесь ее кулон, который все не раз видели. А между тем она вышла отсюда, будто мы ее враги. — Он секунду помолчал. — Я знаю, кого она выгораживает.

— Своего мужа, конечно, — сказал Алекс. — Но почему она думает, что это он? Когда она сюда вошла, она этого еще не знала.

— Вот-вот! — Паркер встал. — Когда мы это узнаем, мы будем знать все. Точнее, почти все.

Он подошел к двери.

— Джонс!

— Да, шеф.

— Так что с этими результатами?

— Сейчас будут.

— А что насчет обуви с кровью?

— Ни у миссис Спарроу, ни у мистера Спарроу ничего такого не обнаружено. Вообще пока ничего, кроме того, что я передал.

— Хорошо. Он ждет в салоне?

— Да. Стивенс дежурит у двери, но так, как вы хотели, шеф, то есть, он не задержит его, а лишь попросит вернуться, потому что вы скоро подойдете. Пока что он терпеливо ждет...

— Хорошо. Давай сюда дактилоскописта, как только он будет готов.

— Да, шеф.

Паркер вернулся в комнату.

— Я велел проводить Спарроу в другую комнату, где он меня ждет. Я не хотел, чтобы они здесь встретились. Кроме того, за это время мы успели спокойно осмотреть их комнаты и гардероб. Миссис Драммонд, разумеется, не возражала.

— А как она держится? — спросил Алекс.

— Сара Драммонд? Она была очень бледна, когда я вошел к ней сразу после приезда, но хорошо держала себя в руках. Ты знаешь, такая женщина могла бы его убить.

— Знаю. Но не верю в это.

— А кого ты подозреваешь?

— Мне трудно сказать... Если бы не один факт...

— Вот именно. Мы должны считать виновным любого из них, пока не убедимся в его невиновности. Я не знаю, но мне кажется, что нас тут еще многое ждет... Бедный, бедный Иэн... Если бы он знал...

— К счастью, он не знал, — сказал Алекс, невольно понижая голос. — Он погиб, считая ее лучшей из жен.

— Не обязательно. Если она стояла за ним и ударила скальпелем в спину, он не потерял сознание мгновенно... Это изумление, застывшее в чертах его лица... Его глаза...

— Послушай! — сказал Алекс. — Когда ты допрашивал Люси Спарроу, я кое-что вспомнил. Иэна убила не женщина. Головой ручаюсь. Тот человек, который вздохнул за моей спиной в темноте, — это был мужчина.

— Тот, кто тебя ударил?

— Да. Это было дыхание мужчины, понимаешь?

— Да... — Паркер развел руками. — Ну что ж, подождем — узнаем. Я велел сделать подробное увеличение всех отпечатков на внешних и внутренних ручках всех дверей и на выключателе в кабинете. Ведь этот человек потушил свет, услышав, что ты подходишь, и притаился с пресс-папье, которое схватил со стола. Это ясно. А потом, убегая, он оставил пресс-папье на подоконнике в коридоре второго этажа.

— Это исключает горничную и Мэлахи, — сказал Алекс. — Никто из них не побежал бы наверх.

— Да. Значит, у нас есть шесть человек, из которых ты и Люси Спарроу не имеете никакого разумного мотива для убийства. Итак, остаются четыре человека.

— Дэвис, Сара, Гастингс и Спарроу, — перечислил Алекс.

— Шеф! — Джонс вошел в комнату. — Отпечатки пальцев готовы!

— Превосходно!

В комнату осторожно вошел высокий худой человек с седыми коротко стриженными волосами. Под мышкой он держал папку. Кивнув Алексу и не ожидая приглашения, он уселся за стол.

— Здесь у меня отпечатки пальцев восьми указанных лиц и убитого, — начал он несколько монотонно, — а здесь отпечатки, собранные на дверных ручках, выключателе в кабинете, на пресс-папье и на скальпеле... Отпечатки на выключателе...

— Господи! — воскликнул Паркер. — А чьи отпечатки на скальпеле?!

— Минуточку. Отпечатки на скальпеле принадлежат только одному человеку, чьи папиллярные линии идентичны с линиями лица, находящегося в списке пробных отпечатков, взятых у присутствующих в доме лиц. Они принадлежат... миссис... нет... минуточку... Ага, вот! Мистеру Спарроу.

XI. «А ты не прикасался к дверной ручке?»

— Да... говорила вам... — Было видно, что он размышляет. — Потом ко мне зашел профессор Гастингс, и мы с ним разговаривали, может, полчаса, может, дольше...

— В котором часу к вам пришел профессор Гастингс?

— В котором? — Спарроу оживился. — В 10.40. Я сейчас вспомнил. Мы встретились у дома, и тогда было 10.10. Я сказал ему, чтобы он зашел ко мне через полчаса.

— Я это слышал, — сказал Алекс. — Я стоял тогда рядом с вами.

— Вот именно! — Спарроу с благодарностью посмотрел на него. — Пожалуйста, не удивляйтесь, но этот ужасный удар... я не могу собраться с мыслями...

— Да. Я хорошо это понимаю... — Паркер наморщил брови, вглядываясь в свой блокнот. — Значит, вы разговаривали с профессором Гастингсом с 10.40 до 11.10 или 11.20?

— Да. До 11.20, потому что когда после его ухода я вошел в комнату жены, она сказала: «Послушай, уже двадцать минут двенадцатого. Тебе пора ложиться...» Она всегда беспокоится о том, чтобы я вел правильный образ жизни, ну, то есть... — он умолк.

— И что вы ответили жене?

— Я? Что ответил?... Кажется, мы начали разговаривать и беседовали некоторое время... где-то минут двадцать. Потом я пошел к себе и разделся.

— А что делала ваша жена, когда вы вошли?

— Печатала письмо на машинке.

— А откуда вы знаете, что это было письмо?

— Потому что она как раз закончила и печатала адрес на конверте.

— И кому было адресовано это письмо?

— Ее адвокату... Я взглянул на конверт и... Но почему вы меня об этом спрашиваете?

— Перед лицом значительных и трагических событий все остальные блекнут или смешиваются в памяти. Я хотел лишь проверить, не спутались ли в вашей памяти разные мелочи ввиду происшедшего...

Он замолчал. Минуту все сидели не шевелясь.

— Почему вы лжете? — вдруг спросил Паркер.

— Что? Как вы смеете? Как вы...

Паркер встал, оперся руками на край столика и наклонился к сидящему профессору так близко, что почти касался лицом его лица.

— Убит ваш друг и коллега. Совершено отвратительное убийство. Погиб добрый, чистый человек. Я нахожусь здесь для того, чтобы найти убийцу, а не для того, чтобы выслушивать ложь от людей, которые должны чтить память убитого и содействовать правосудию! То, как вы поступаете, господин профессор, это низость и по отношению к покойному, и по отношению к живущим! Что вы делали в этой комнате в минуту убийства Иэна

Драммонда? Это вы вонзили скальпель в его спину? А если не вы, то почему вы немедленно не сообщили полиции? Почему вы, как жалкая крыса, вернулись к себе в комнату, делая вид, что ничего не случилось? Кто же вы: преступник или сообщник преступника? Отвечайте!

Бен выпрямился. Гарольд Спарроу сидел, как окаменевший. Наконец он закрыл лицо ладонями, и Алекс с изумлением увидел, что этот сильный, твердый мужчина плачет. Джо взглянул на Паркера, но инспектор стоял невозмутимо, а на лице его не было ни жалости, ни сочувствия. Он ждал.

Вдруг Спарроу опустил руки и поднял голову. Дрожащей рукой он снял очки и, вынув платок, протер глаза, а затем стекла. Его пальцы сильно дрожали.

— Я... я ничего не знаю... — повторил он слабым голосом. — Почему вы?... По какому праву?

— По какому праву? По такому, которое говорит мне, что вы находились здесь и держали в руках скальпель, которым был убит Иэн Драммонд.

Спарроу молчал. Потом поднял голову и посмотрел на Паркера.

— Вы правы... — Его руки дрожали так сильно, что он должен был их прижать к коленям. — Я... Я — ничтожество... Это я его убил...

Паркер вздохнул и сел.

— Вы его убили. Да. Конечно. Определенным образом, может быть, и вы. Еще не знаю. Пока не могу сказать. Пока я хочу знать, что вы делали в этой комнате и когда вы вошли в нее?

— После... после разговора с женой я спустился сюда...

— Который был тогда час?

— После половины двенадцатого... если точно: без двадцати двенадцать. Я взглянул на часы, спускаясь вниз.

— И что?

— Я вошел и...

— Дверь была закрыта?

— Что? Да.

— Точно?

— Точно. В холле было темно. Только немного лунного света падало на пол и маленький лучик с лестницы... Я хорошо знаю расположение комнат в доме, но помню, что я вытянул руку, чтобы нащупать дверную ручку. У меня очки, вы видите...

— Да. А когда вы нашли дверную ручку, что вы сделали?

— Я открыл дверь.

— И закрыли ее за собой?

— Да. Конечно. Иэн сидел за столом... Я подошел к нему и... — Он спрятал лицо в ладонях.

Паркер смотрел на него, сморщив брови.

— И вы его убили, да?

— Да... — прошептал Спарроу и медленно поднял голову.

— Как жаль, — сказал Паркер, — что я не могу вам поверить. Когда вы вошли в эту комнату, ваш коллега был мертв уже полчаса.

— Как это? — Спарроу машинально поправил очки и наклонился вперед. — То есть, как это — мертв?

— Мертв. Он погиб до 11.15. Если вы теперь хотите вернуть свои слова назад и сообщить, что вы не разговаривали с профессором Гастингсом и со своей женой с 10.40, то есть с той минуты, когда, как нам известно, Иэн еще был жив, и вплоть до 11.40, то есть до той минуты, когда, как мы знаем, он уже полчаса был мертв, тогда я охотно выслушаю ваше описание того, как вы совершили преступление. Но мне кажется, что это бессмысленно, поскольку оба собеседника подтвердят ваши слова. Я думаю, что вы не солгали, потому что вы не очень хороший лжец, и вам не пришло бы в голову

впутывать в это других лиц. У вас нет ни малейших шансов стать убийцей Иэна Драммонда, хотя вы уже второй, кто сегодня в этом признается.

На лице Спарроу отразилось огромное и искреннее облегчение. Он выглядел как человек, который приготовился посвятить все, что ему дорого, ради какой-то цели, и вдруг оказалось, что это невозможно.

— Кто? — спросил он едва слышно. — Кто признался в убийстве Иэна?

— Ваша жена, Люси Спарроу! — сказал Паркер. — А призналась она потому, что была уверена, что это вы его убили, господин профессор! Но вовсе не о ней вы заботитесь! Вы выгораживаете вовсе не ее, а кого-то другого, кто, по вашему мнению, убил Иэна Драммонда ее скальпелем, подбросил на место преступления вот это... — он открыл платок и показал рубиновый кулон, — а потом затолкал под ее шкаф окровавленную резиновую перчатку из ее чемоданчика! Вы очерняете память человека, с которым вас много лет объединяла общая работа, вы потворствуете тому, чтобы вещественные доказательства указывали на вашу жену, и лжете в глаза людям, ведущим расследование! Неужели до этого может довести человека любовь, господин профессор, мистер Гарольд Спарроу?

И тут профессор Гарольд Спарроу сломался. Отрывистыми предложениями он начал рассказывать о себе, о своей жизни, о том, как он познакомился с Сарой Драммонд и как постепенно он, человек, который в течение всей своей жизни не совершил ни одного, даже самого мелкого поступка, которого мог бы стыдиться, начал жить двойной, фальшивой жизнью.

— Вообще-то... Я виделся с ней всего лишь несколько раз... потом она стала сторониться меня... а я... я не мог не думать о ней. Наконец... я написал ей письмо в Лондон. Я писал, что сойду с ума... что я не знаю, что со мной происходит... что я уже не могу больше смотреть в глаза Иэну и... и Люси... Я не рожден для такой жизни...

Алекс, который в своей жизни видел множество мужей и жен, для которых все это не составляло бы ни малейшей проблемы и нисколько не мешало бы их гармоничной супружеской жизни, глядя на профессора, в глубине души хорошо понимал его. Гарольд Спарроу не был ни соблазнителем, ни лжецом. Его трагедия стала следствием его порядочности, следствием невозможности совмещать ложь с правдой.

— Она приехала вчера, — продолжал Спарроу, — и после ужина мы встретились в парке. Я хотел уехать с ней, убежать отсюда, от этой ужасной жизни. Но она сказала, что очень многое поняла в последнее время, что она любит Иэна и хочет с ним остаться. Она просила меня, чтобы я ушел, чтобы я был мужчиной. Она умоляла меня все сохранить в тайне. Я обещал ей это, но решил уйти. Здесь как раз был Гастингс, который предлагал мне выезд в Соединенные Штаты. Я согласился, когда он пришел ко мне вечером. Потом я вошел к Люси и сказал ей... — он умолк и потер ладонью лоб. — Как я мог? Ведь она... она хотела пойти на виселицу ради меня, а я... я...

Паркер не прерывал. Он стоял, выпрямившись, напротив сидящего профессора и смотрел на него в упор, ни на секунду не спуская глаз.

— ...я сказал ей, что между нами все кончено. Что я не люблю ее больше, хотя уважаю и не имею никаких претензий. Я сказал, что намерен уехать и что я возвращаю ей свободу...

— А она?

— Она? Она тихо заплакала. Потом спросила меня, есть ли в моей жизни кто-то другой? Я ответил, что да. Я не мог ей солгать, хотя и не дал понять, о ком идет речь. Я сказал, что не смогу жить с ней под одной крышей, думая о другой женщине. Что это нечестно. А она... она сказала, что никогда не перестанет меня любить и верит, что я к ней вернусь... Потом я вышел. Мне было очень тяжело. Я сел в своей комнате и думал о том, правильно ли я поступил. Я начал колебаться. Но было уже поздно.

Я сошел вниз. Меня ждал разговор с Иэном. Я решил, что ничего не буду ему объяснять, а лишь скажу, что мои личные дела вынуждают к отъезду и что я еду в Америку. Разумеется, я никогда не передал бы американцам того, что было предметом наших исследований. Я знал, что Иэн сам все доведет до конца. Правда, Гастингс хотел, чтобы я принял на себя руководство исследовательской лабораторией в Филадельфии и продолжал там то, что мы здесь начали, однако есть и другая область исследований, над которой мы с Иэном не работали и которая очень меня привлекает. Думаю, я смог бы добиться в ней успехов... Когда я вошел, Иэн сидел за столом. В его спине я увидел скальпель... Я не мог пошевелиться. Я стоял, словно окаменев... Потом я решил, что надо что-то делать. Ведь скальпель... Скальпель принадлежал Люси. Я прикоснулся к нему, потому что мне вдруг пришло в голову, что я должен его спрятать... Кто-то, наверно, хотел, чтобы... Разные мысли мелькали в моей голове... Но скальпель застрял так прочно... Это было ужасно... Я оставил свои попытки и бегом бросился наверх. Я вошел в свою комнату, но сразу вышел и постучался к Гастингсу. Теперь я уже не имел права уехать... Кто бы тогда закончил нашу работу? Несмотря ни на что: ни на то, что случилось, и ни на то... что еще случится, эта работа важнее жизни одного или двух людей. Кроме того, — он опустил глаза, — Иэн верил, что это очень нужно людям... Я должен закончить за него эту работу... Только этим я мог бы искупить... хотя знаю, что ничто никогда не исправит того, что я сделал...

— Хотелось бы вам верить, профессор, — сказал Паркер. — Вы больше ничего не хотите мне сказать?

— Я ничего больше не знаю... Ах да, после ужина ко мне подошел молодой Дэвис и попросил поговорить с ним, но потом в парке он меня не нашел и теперь, когда я вернулся, он постучал ко мне. Это было примерно в половине одиннадцатого, за несколько минут до прихода Гастингса. Дэвис очень волновался и просил меня о чем-то... Кажется, ему нужна была тысяча фунтов. Но я был в таком состоянии, что сразу же отказал ему и постарался выпроводить. Теперь я очень жалею об этом, потому что располагал такой суммой и мог бы его выручить. Это порядочный парень...

— А потом вы уже не видели его?

— Нет.

— Возвращайтесь к себе, господин профессор, и очень прошу вас не выходить из дома. Вы можете еще понадобиться нам.

Спарроу встал и двинулся к двери. Потом остановился.

— Но... — он колебался, подбирая слова, — то, что я сказал, должно остаться... это ведь останется между нами, правда?

— Мы не занимаемся разглашением частных секретов, господин профессор, — сухо сказал Паркер. — А кроме того, я хочу, чтобы вы помнили: как мистер Алекс, так и я, — мы были друзьями Иэна Драммонда. И, как вы знаете, настоящих друзей у него было мало.

Гарольд Спарроу вышел с опущенной головой.

Продолжение следует.

Перевод с польского Роберта СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО
при участии Владимира КУКУНИ.

КИРИЛЛ МЕЛЬНИК

Творческий подвиг художника

В каждой стране есть люди, которые оставляют глубокий след в ее истории. О них помнят, ими восхищаются. Они являются гордостью государства, примером для подражания. Их труд и подвиг вдохновляют современников на достижение новых высот, задают ориентиры для будущих поколений. Таких людей называют героями.

Герой Беларуси — высшая степень отличия в Республике Беларусь. Это звание присваивается указом Президента за исключительные заслуги перед государством и обществом только один раз. Лицам, удостоенным звания «Герой Беларуси», вручается знак особого отличия — медаль Героя Беларуси. Впервые звание Героя Беларуси было присвоено 21 ноября 1996 года указом Президента Республики Беларусь подполковнику авиации Карвату Владимиру Николаевичу (посмертно): «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». В настоящее время этого высокого звания удостоены 11 граждан Республики Беларусь.

Наша новая рубрика — о них.

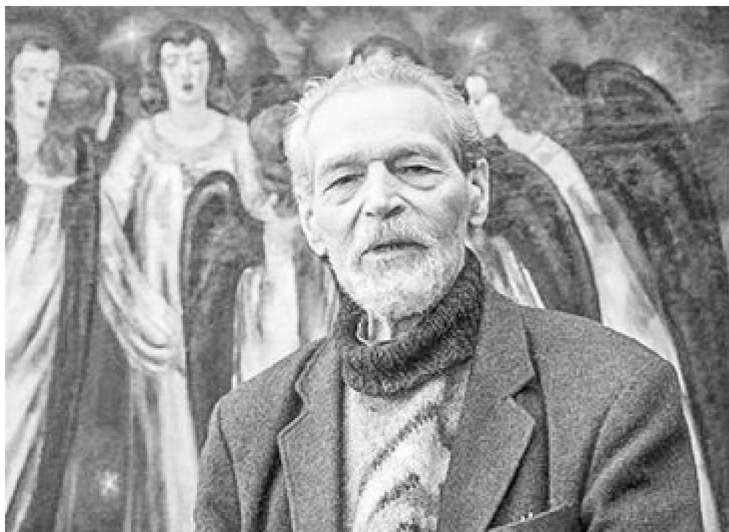
От редакции

Жизнь и творчество Героя Беларуси, народного художника СССР и БССР, действительного члена Российской академии художеств и Национальной академии наук Беларуси, лауреата государственных премии СССР и Беларуси Михаила Андреевича Савицкого обычно анализировались в публицистических работах. В качестве предмета научных исследований они выступали довольно редко. А материала для подобной работы более чем достаточно. Автор этой статьи непосредственно общался с Михаилом Савицким, изучал материалы личного архива художника, хранящиеся в Музее истории города Минска. И как итог — публикация, в которой рассматриваются проявления особенностей белорусской советской живописи в творчестве этого выдающегося художника.

Источники вдохновения

Родился Михаил Савицкий в православной старообрядческой белорусской семье 18 февраля 1922 года в деревне Звенячи ныне Толочинского района Витебской области. Она находится около маленькой железнодорожной станции Коханово. Это определяло особый жизненный уклад ее жителей. Отец художника, Андрей Петрович Савицкий, работал на железной дороге ремонтным рабочим. Еще до революции купил с долгосрочной выплатой избу и три десятины земли. В 1929 году вступил в колхоз. Мать, Анна Константиновна Савицкая, была колхозным пчеловодом и признанной повитухой, а еще мастерицей на все руки — пряла, ткала и шила на загляденье. В школу будущий художник пошел в 1930 го-

ду. В комсомол вступил, когда учился в седьмом классе. В том же году его избрали секретарем комсомольской организации колхоза, который в то время носил имя В. Куйбышева. Как сообщает Михаил Савицкий в автобиографии, вскоре он был избран и членом Толочинского райкома комсомола, что свидетельствует о его активной общественной позиции уже в раннем юношеском возрасте[1].



Михаил Савицкий.

Детские впечатления о деревенской жизни и труде легли в основу таких произведений художника, как «Льноводы» (1962), «Беление полотна» (1965), «Хлебы» (1968), «Возращение. Толочинские льноводы» (1986) и др. Более того, понимание жизни, интересов, радостей и бед крестьянина, которые мы видим во многих зрелых произведениях автора, безусловно, было определено тем, что художник вырос в крестьянской семье.

Кохановскую среднюю школу Савицкий окончил в 1940 году. В сентябре этого же года его призвали в Красную Армию. Служил в Ростове-на-Дону, Новороссийске. Великая Отечественная война застала Михаила Андреевича на полигоне Грозненской авиашколы. В числе красноармейцев второго года службы он был направлен в город Махачкала на формирование стрелковой дивизии. В ноябре в составе указанной дивизии был высажен десантом в Севастополе, где участвовал в 250-дневной обороне города. В феврале 1942 года был назначен заместителем командира отдельного батальона связи по комсомолу. После сдачи Севастополя немцам 30 июня 1942 года попал в плен. В 1942—1945 годы был узником фашистских лагерей — 326-го шталага, лагеря военнопленных в Дюссельдорфе, концентрационных лагерей Бухенвальд, Дора-Миттельбау, Дахау. Освобожден американскими войсками лишь 29 апреля 1945 года.

Безусловно, те испытания, которые перенес Савицкий за три года немецкого плена, сыграли значительную роль и в становлении его характера, и мировоззрения. Уже будучи зрелым мастером, он заметил: «Меня быть художником научили концлагеря. Там я увидел, какой бывает жизнь. Увидел зло, которому человек должен противостоять, потому что он — человек. Именно эту мысль всю жизнь стараюсь зримо воплотить на полотнах».

После репатриации служил в Советской Армии. Демобилизовался в 1946 году. Дома Михаил узнал, что на фронтах войны погибли старшие братья Алексей, Иван и Владимир. Вскоре умер и отец. Мать надолго пережила его, умерла в 1971 году.

После демобилизации Михаил Андреевич переезжает в Минск, где в 1947 году поступает в Минское художественное училище, которое досрочно заканчивает в 1951 году. В 1950 году женится на Маргарите Захаровне Денисовой. Спустя год после окончания художественного училища поступает в одно из лучших высших учебных заведений СССР, дававших профессиональное художественное обра-

---

[1] Здесь и далее сведения биографического характера о М. А. Савицком приводятся по документам, хранящимся в Музее истории города Минска.

зование, — Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, где обучается на протяжении шести лет. Мастерством овладевал под руководством известного московского живописца Николая Константиновича Мочальского (1908—1988). Следует отметить, что Савицкий получил не только художественное образование, в то время в институте преподавали видные советские художники, но и оказался в необходимой ему столичной творческой атмосфере, которая способствовала быстрому развитию его таланта.

После защиты в качестве дипломной работы художественного полотна «Песня», не поддавшись на уговоры остаться в Москве, вернулся в Минск, где жил и работал до конца своих дней. 1957—1963 годы — достаточно сложный период в его жизни и, соответственно, творческой биографии. Художник искал свой путь в искусстве, стремился найти и круг своих тем, и форму их выражения. В эти годы семья Савицких испытывала определенные финансовые трудности, поэтому художник помимо работы над картинами создавал иллюстрации для различных изданий. О необычайно широком творческом диапазоне художника можно судить, к примеру, по его иллюстрациям к детскому изданию произведений Михаила Машары «Зеленушка и Крякотушка».

После создания знаковых произведений «Партизаны» (1963) и «Партизанская мадонна» (1967), которые стали итогом его поисков после обучения в институте, творчество художника постепенно начинает получать широкое признание. С этого же времени Савицкий активно участвует в республиканских и международных художественных выставках. В 1964 году у Михаила Андреевича и Маргариты Захаровны рождается сын Андрей; свое семейство он запечатлел в известной картине «Семья» (1980), также в работах «Рита и Андрей» (1965), «Рита и Андрей» (1969), «Рита и Андрей» (1981).

В последующие годы и практически до последних дней жизни его биография — это ряд художественных достижений, признание его заслуг, отмеченных высокими наградами. 1970—1980 годы — пик творческой активности мастера. В это десятилетие он создает много художественных произведений, которые можно причислить к выдающимся достижениям советской живописи. В числе картин данного периода серия «Цифры на сердце», купаловский цикл.

Творчество Савицкого приобретало все большую популярность, и фактически к 1970-м годам он становится одним из самых значительных белорусских художников. В 1972 году ему было присвоено звание «Народный художник БССР», а в 1978-м — «Народный художник СССР». После создания цикла «Цифры на сердце» интерес к его творчеству стали проявлять в самых разных уголках Советского Союза и других странах.

После распада Советского Союза в 1991 году и фактически угасания соцреалистического направления в искусстве, в котором преимущественно работал Савицкий, художник вынужден был решать новые творческие и жизненные задачи. Во времена перестройки увлекся распространенным в тот период реформаторским настроением. Но в его публицистическом наследии нет слов о необходимости развала СССР, «парада» суверенитетов и т. д. Более того, он был противником распада великого государства. Также надо учитывать, что происходили изменения и в мировоззрении мастера. В 1990-е годы он открыто высказывался о своей православно-христианской ориентации. Одновременно одобрительно относился к социально-политическому курсу нынешней Республики Беларусь. В 1990-е годы основным направлением его творчества стало отражение новых общественных реалий, использование метода аналогий с известными библейскими сюжетами.

В постсоветское время, когда происходили существенные изменения в культурной жизни Беларуси, одной из центральных тем для размышлений и дискуссий Савицкого стала оценка современного искусства. Фактически он не принял эстетики постмодернизма, с большой осторожностью относился к модернистским художественным течениям начала XX века. За этой позицией стояли и его

жизненный опыт, и его мировоззрение. Надо понимать, что Савицкий — выходец из старообрядческой семьи. Поэтому ориентировка на исконно русскую культурную традицию, а не на привнесенную извне или заимствованную западную, была для него естественной во все периоды творчества. Художник отмечал высокий уровень белорусских мастеров, ориентированных преимущественно на национальную и русскую культуру, и одновременно, по мнению С. Харевского, «паслугоўваючыся поўным даверам савецкіх уладаў», негативно отзывался о произведениях художников некоторых иных творческих направлений, в том числе о работах своего выдающегося земляка Марка Шагала. С нашей точки зрения, такую позицию художника можно расценивать и как последовательность в выборе творческих примеров.

Последнее десятилетие жизни Савицкого проходило в активной общественной и творческой работе, хотя возраст и проблемы со здоровьем давали о себе знать. Художник работает над философскими, аллегорическими, историческими и бытовыми полотнами. Последнее монументальное произведение на тему детского лагеря на территории оккупированной Беларуси во времена Великой Отечественной войны осталось незавершенным.

В 2006 году за исключительные заслуги в культурном и социальном развитии Республики Беларусь ему было присвоено звание Героя Беларуси.

Михаил Андреевич Савицкий умер в 2010 году на восемьдесят девятом году жизни. А в 2012 году в Минске была открыта Художественная галерея Михаила Савицкого.

Путь к профессиональному мастерству

Многие ранние произведения художника не дошли до нас, а значительная часть сохранившихся до недавнего времени была практически неизвестна исследователям. В 2015 году стал доступен для изучения большой архив ученических произведений мастера. В Минском художественном училище Савицкий получил хорошую профессиональную подготовку, которая позволила ему поступить в художественный институт имени Сурикова. Следует отметить, что училищные портреты Савицкого, которые писались с натурщиков под руководством опытных преподавателей, выходят за рамки ученических произведений. Это подлинные портреты, свидетельствующие о том, что уже в ученические годы он, не ограничиваясь только техническими задачами, стремился передать личность портретируемого.

Важным этапом профессионального становления М. А. Савицкого стала учеба в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова. По воспоминаниям Савицкого, среди педагогов института наибольшим авторитетом пользовались такие крупные советские художники, как Александр Дейнека, Сергей Герасимов, Дмитрий Мочальский. Последнего Савицкий на протяжении всей жизни считал своим учителем. Мочальский, которого называли романтиком периода «оттепели», — мастер жанровой картины, основной темой его работ является повседневная жизнь современников. Он запечатлевал человека без ложного пафоса, а также помпезных трактовок, в моменты труда и отдыха. Савицкий говорил: «Мои взгляды на мир формировались под большим влиянием Мочальского Дмитрия Константиновича». Учитель не только передал профессиональные навыки, но и умение видеть жизнь, выбирать для изображения главное и характерное, более того, как говорил Савицкий, именно Мочальский научил его творчески мыслить.

О высоком уровне профессионализма московских работ Савицкого можно судить, опять-таки, по архиву художника. Умение изобразить обнаженную натуру, владение академическим рисунком и композиционным мастерством — все это успешно осваивалось им на протяжении пяти лет. Примечательно, что известный

советский художник и ректор института в те годы Федор Александрович Модоров, вспоминая выпускников института, говорил о Савицком: «Этого прекрасного белоруса ждет большое будущее как живописца».

Дипломная работа Савицкого «Песня», написанная в 1957 году, является его самой ранней полномасштабной картиной. В ней тридцатипятилетний художник показал свое профессиональное мастерство и художественное мышление. В сюжете возвращения колхозной бригады с сенокоса молодой мастер воплотил образы своей родной деревни Звенячи довоенного времени. Характерное явление повседневной жизни белорусской деревни — песня. Савицкий говорил о ней так: «Я вырос с этими звуками, и в жниво, и в сенокос, то есть на протяжении всего этого периода звучит эта белорусская песня. Такая заунывная мелодия, она все время всюду в воздухе звенит и звенит, не прекращаясь». С одной стороны, картина выполнена в рамках московской академической художественной школы и вместе с тем в стиле соцреализма 1950-х годов. С другой стороны, работая над ней, Савицкий-выпускник проявил подлинное колористическое мастерство и большую техническую виртуозность. Все произведение создано корпусными уверенными мазками. Картина была высоко оценена Государственной экзаменационной комиссией, и Савицкий получил диплом с отличием.

Первые картины Савицкого, уже профессионального художника, написанные в Минске, весьма разнородны. Поначалу он пробует свои силы в разработке военной и партизанской тем: «Лавский бой» (1957), «Честь долгу» (1958), «Переход чехословаков в партизаны» (1961). Данные работы выполнены в лучших традициях белорусской живописи 1950-х годов. Однако в них еще просматривается робкая повествовательность, пересказ сюжета языком живописи. Нет в них еще и той характерной для зрелого Савицкого интенсивности художественной формы, экспрессивной образности в решении драматических тем. Даже аллегорического плана картина «1941 год» (1961) слишком прямолинейна, художник не подобрал нужных образов и композиционного решения для раскрытия поставленной большой задачи.

Также Савицкий стал осваивать темы повседневной жизни и труда своих соотечественников: «Разговор» (1958), «У переезда» (1958), «Лявониха» (1959), «Соцобязательство» (1960), «Хлеб» (1962), «На картофельном поле» (1962), «Стелют лен» (1962) и др. В центре внимания этих во многом еще незрелых работ — обычный советский человек, его повседневная жизнь, о которой Савицкий стремится рассказывать уважительно и искренне. В этих работах можно обнаружить влияние живописи Д. К. Мочальского с ее светлым, насыщенным колоритом и виртуозным рисунком. Это отчетливо видно в картине «Лявониха» (1959), которая после реставрации в 2011 году стала доступной для зрителей. В этой работе молодой художник решил достаточно сложную задачу, организовав композицию на тему танца в длинном горизонтальном формате. На картине изображено эстрадное выступление: на сцене парами исполняется белорусский народный танец «Лявониха». Нижний «обрез» картины усиливает ощущение движения первой пары на зрителя. Удивительно насыщенная цветовая гамма картины гармонична и не создает ощущения пестроты.

В 1960 году художник пишет монуметальное полотно «Соцобязательство» размером 150 на 300 сантиметров. Хотя в картине присутствует определенная постановочность и театральность, в ней передана атмосфера 1960-х годов — времени, когда страна активно развивалась и устремлялась в будущее. Несмотря на то, что и тема картины, и ее решение были официального плана, Савицкий проявил себя как художник, который может решать сложные художественные задачи. В этой монументальной работе есть и выверенная композиция, и уверенный рисунок, и колористическое богатство.

В первые годы после окончания института Савицкий не только работал, основываясь на полученных навыках и знаниях, но и искал свой художественный язык, стремился к новым открытиям. Как-то художник отметил: «Однако

же первые написанные после института картины развеяли мои надежды сразу «сделать», так сказать, тему. Пришлось вновь и вновь учиться». О творческих поисках художника свидетельствует написанная в 1962 году картина «Мать партизана». Работа относится к необычным для белорусской живописи начала 1960-х годов художественным полотнам. Язык ее во многом условный, художник использовал экспрессионистическую заостренность форм и композиции, чтобы передать трагизм момента. Все, что мы видим на полотне, — это виселица справа, неподвижно сидящая мать, линия земли и луна. Один из двух главных героев картины не изображен, его уже нет в живых.

В 1962 году художник пишет картину «Хлеб», которая, как нам представляется, близка к зрелому творчеству Савицкого. На полотне, где изображена обычная советская семья, есть и определенная повествовательность, и образность, и обобщение. Есть все основания считать, что эта работа основана на личных воспоминаниях о его родном доме в деревне Звенячи. Михаил Андреевич отмечал, что в его родительском доме царил культ хлеба, зерна. Мать любила печь хлебы и караваи, которые получались душистые, зажаристые. Такими они и изображены на многих холстах художника, в том числе на этом. «Перед нами, — пишет С. Климентенко, — мирная сцена из сельской жизни: молодая хозяйка бережно кладет на стол только что выпеченные хлебы. Спокойное достоинство и гордость за свой труд, счастье чувствовать себя хозяевами на земле разлиты на лицах, в фигурах женщины и ее мужа, положившего рядом с хлебами усталые рабочие руки... Простая бытовая картинка вырастает в большое художественное обобщение».

«Цифры на сердце»

Исследователь творчества Михаила Савицкого Борис Крепак, рассматривая картину «Песня» (1957), писал: «Большая метафора и глубокая аллегория придет в живопись Савицкого позже, примерно через десятилетие». Действительно, в 1963—1967 годах происходит активный творческий рост художника, он находит и круг своих тем, и вырабатывает свой художественный язык, где важнейшее место занимают метафора и глубокая аллегория.

Творчество мастера этого периода вполне характерно для белорусской советской живописи 1964—1985 годов. По нашему определению, это время усложнения творческих подходов и тематического обогащения живописи. Закономерно, что Савицкий заимствовал некоторые приемы у разных мастеров искусства XX века, а также использовал монументальные, декоративные, графические изобразительные средства. Эта направленность перенимать разные стилистические приемы стала типичной для белорусской советской живописи с 1964 года.

В 1960—1970 годы художник сосредоточился на теме партизанской войны. Несмотря на то, что создание картин, ее раскрывающих, заняло большой промежуток времени (1961—1980 годы), они составляют определенную серию. В ней художник раскрыл тему народного сопротивления не только в героико-оптимистическом ключе, но и показал трагическую судьбу человека, драму народа. Сам Савицкий отмечал: «Наиболее серьезные работы белорусских художников 60—70-х годов очевидно выходят за рамки официального, политического понимания войны и ее значения в судьбе Белоруссии. Это характерно и для полотен Г. Ващенко, эти задачи ставил перед собой и я».

Партизанский цикл составляют следующиие работы художника: «Раненый партизан» (1961), «Мать партизана» (1962), «Партизаны» (1963), «Оршанские партизаны» (1966—1967), «Партизаны. Блокада» (1967), «Витебские ворота» (1967), «Партизанская мадонна» (1967), «Казнь» (1968), «Легенда о Минае Шмыреве» (1968), «Клятва» (1969), «Убийство семьи партизана» (1972), «Мать партизана» (1972), «Плач о павших героях» (1974). К этому циклу можно также добавить написанное позднее, в 1980 году, полотно «Уходящая в ночь».

Перечисленные полотна разнородны как в плане техники и стилистики, так и в плане решения темы. В одних доминирует повествовательное начало — «Раненый партизан», «Плач о павших героях», «Витебские ворота», в других преобладает образная, метафорическая основа — «Партизанская мадонна», «Казнь», «Мать партизана». Также в этих картинах можно заметить влияние «сурового стиля» в аспекте художественных средств выражения: обобщение и упрощение формы, монументализация и ритмизация композиции и др.

Поворотным произведением в творчестве Михаила Савицкого стала картина «Партизаны» (1963), входящая в партизанскую серию. Сам художник говорил: «Я стал художником в сорок лет — после картины «Партизаны». После нее я решил, что могу делать работы». С 1963 года мы и будем отсчитывать период его зрелого творчества. Картина «Партизаны» и простая, и сложная одновременно. Сцена прощания изображена таким образом, что зритель понимает, что всего несколько мгновений отделяют старика-партизана на первом плане от того мгновения, когда он расстанется с близкой, родной ему женщиной и отправится с другими солдатами, изображенными на втором плане, в путь, возможно, последний. Картина «Партизаны» — своего рода итог пройденного жизненного пути. Савицкий написал ее уже в возрасте сорока лет. Произведение поражает своим внутренним напряжением, заложенным и в драматургии, и в пластическом решении полотна. «Вневременная ритуальность действия, — отмечала О. Костина, — усилена динамикой конкретно-временного мотива — группа партизан справа запечатлена в то самое мгновение, когда она словно вот-вот уйдет из поля зрения». Хотя картина невелика по размеру, благодаря четко очерченным массам фигур в сероватом пространстве и уверенно положенным мазкам, она кажется по-настоящему монументальной. «Драма самой жизни, — писала Э. Н. Пугачева, — очищенная от бытовых, случайных моментов, предстала в картине духовной сущностью».



«Партизанская мадонна».

В полной мере талант Савицкого раскрылся и в трагическом полотне «Партизаны. Блокада», тема которого — похороны партизанских детей. Язык живописи во многом условен, напоминает характерную геометризацию форм кубистами, колорит практически монохромный. Жесткие линии, тяжелые черные тени усиливают трагизм картины. На полотне у людей на месте глаз пустые глазницы, в кото-

рых застыло великое горе. Если бы картина была полностью прописана в реалистическом ключе, то у зрителя появилось бы желание вглядываться в детали, что в данном случае не соответствовало замыслу художника.

Одним из важнейших достижений мастера стала созданная в 1967 году картина «Партизанская мадонна». Не будет преувеличением сказать, что эта картина знаковая для всей партизанской серии, она вошла в сокровищницу подлинного народного достояния. Эта работа принесла художнику всенародную известность. Картина была отмечена серебряной медалью Академии художеств СССР и с того времени неизменно завоевывает признание все новых поколений зрителей. Репродукции с «Партизанской мадонны», хранящейся в Третьяковской галерее в Москве, печатались тысячами экземпляров в энциклопедиях, журналах, альбомах. В 1983 году были выпущены почтовые марки с репродукцией этой картины.

Глядя на «Партизанскую мадонну», часто вспоминают произведение Кузьмы Петрова-Водкина «1918 год в Петрограде». Если Петров-Водкин впервые в советском искусстве создал возвышенный образ матери-пролетарки, то Савицкий первым — образ матери-партизанки. Ассоциации с произведением Петрова-Водкина вызывают и композиционные, и цветовые приемы. «Поэтика произведения, — пишет О. Костина, — раскрывается в процессе активного воздействия его пластической структуры — стройного ритма круглящихся холмов, драматической напряженности цветовой гаммы с доминантой в ней красного и охры, сферичности пространства, организующей замкнутую целостность картины и выводящей образное содержание полотна на широкий, «планетарный» уровень». Трагизм и одновременно героизм изображенного на картине момента исторической судьбы белорусского народа, безусловно, усилены противопоставлением, с одной стороны, сурового окружения мадонны, а с другой — «возносящегося» надо всем этим образа матери, кормящей своей грудью ребенка.

Как нам представляется, картина «Партизанская мадонна» — это не только образ республики-партизанки, вставшей всем миром — от мала до велика — на свою защиту от внешнего порабощения. Одновременно она представляет собой художественное воплощение применительно к белорусам православно-христианской традиции «обожествления» человека. Согласно этой традиции, изначально составляющие человеческую природу черты «образа и подобия» Божия могут проявиться в процессе осуществления человеком предустановленного Богом способа жизнедеятельности. Названием картины, ее сюжетом, каждой деталью художник показывает «богоугодность», т. е. праведность, всех тех дел, которыми заняты изображенные на ней люди. Очевидно, что высшая степень «обожествления» человека представлена в ней образом молодой женщины с младенцем на руках, которая, исходя из названия картины, уподобляется художником самой Богоматери. В целом картина является образом белорусского народа в момент переживания им одного из самых судьбоносных моментов своей истории.

Мы полагаем, что картину «Партизанская мадонна» можно рассматривать и как ключ к пониманию сущности мироощущения, а значит, и истоков художественных особенностей творческого метода М. А. Савицкого. В связи с характером мировоззрения художника следует вспомнить, что первые его жизненные смыслы формировались в старообрядческой православной среде. Отец его был сознательным старообрядцем, поскольку являлся церковным старостой, а после закрытия церкви пошел на риск, храня на чердаке своего дома иконостас. Красноречивым является и тот факт, что отец приобрел репродукцию картины В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» (по другому свидетельству Савицкого — «Боярыня Морозова»), которая оставила глубокий след в сознании мальчика — будущего художника. Не сомневаемся, что, став профессиональным художником, Савицкий разобрался в отличиях между византийско-православной и римско-католической христианскими традициями, а значит, и в различиях православной и западной цивилизаций. Все это и предопределило такую особенность его творческого

метода, как синтез социалистического реализма и приемов русской религиозной живописи для выражения социальных явлений несакрального характера. Причем, как считают теоретики, использование художником приемов религиозного искусства или библейских сюжетов в качестве средств отображения явлений светского характера отнюдь не превращает его произведение в объект сакральных действий. Мировоззренческой направленностью Савицкого объясняется и его стойкое неприятие авангардистских и постмодернистских художественных направлений и стилей как порожденных западной цивилизацией.

В 1968 году художник пишет работу «Комсомольцы». Картина имеет драматическое содержание и соответствующее ему композиционное решение, которое является находкой Савицкого. На картине изображен эпизод Великой Отечественной войны. Мы видим стену здания на оккупированной территории, двух парней и девушку, расклеивающих антифашистские листовки. На стене отчетливо видны и следы только что выпущенной по ним автоматной очереди. Расстрелы в изобразительном искусстве отображали с давних времен. К примеру, можно назвать картины Ф. Гойи «Расстрел повстанцев в ночь на третье мая 1808 года», Э. Мане «Казнь императора Максимилиана», В. Маковского «9 января 1905 года на Васильевском острове» и др. Оригинальность картины Савицкого, в частности, заключается в соединении реалистических и экспрессионистических средств выражения. На полотне фигуры кажутся неустойчивыми, окружающее пространство также выглядит «пошатнувшимся», эмоциональную роль играет и достаточно резкая цветовая гамма.

Период творческого расцвета Савицкого относится к 1970-м годам. В течение этого десятилетия им было создано более сорока выдающихся полотен, в числе которых и цикл картин «Цифры на сердце». Его стиль становится максимально выразительным, обретает уверенный профессионализм. Можно сказать, в портрете, бытовом, историческом жанрах художник достиг определенного совершенства.

В 1970 году Михаил Савицкий пишет полотно «Единодушие», с которого начинается отсчет его живописной ленинианы. В плане художественного языка данная работа практически авангардная. Художник соединяет действительность конкретного момента, а именно изображенного на ней выступления В. И. Ленина перед народом после подписания первых декретов Советской власти в 1917 году, и элементы, выпадающие из целостной реалистической ткани изображения. Картина полна символики, которая требует своего прочтения. К примеру, Э. Н. Пугачева дает следующее ее толкование: «Изображения в фоне символизируют три основные исторические силы революции: как бы заточенного в тюрьму капитализма пролетариата (старый завод в центре), восставшего крестьянства (фигура слева), а также солдат царской армии, бросающих оружие и переходящих на сторону трудового народа». Также и цвет в работе скорее служит не для изображения предметного мира, а для выражения идей.

Картина «Единодушие» настолько необычна, что зрителями была встречена неоднозначно. Сын художника Андрей Савицкий увидел в ней своего рода вызов официальной трактовке темы Ленина и Октябрьской революции. В своей статье «О портрете» он писал: «...В этой работе Савицкий решал революцию как катастрофу, трагедию и хаос, а Ленина как тирана, деспота, диктатора... Эту «нестандартную» трактовку — превращение «кремлевского мыслителя» и «доброго дедушки» в сурового властителя — отметили. Снять работу с выставки не посмели, но и без «профилактических бесед» не обошлось». На наш взгляд, нет оснований трактовать эту работу как антиреволюционную, скорее художник стремился без приукрашивания передать сложность переломного исторического времени. Синтетическим и аллегорическим также является написанное годом позже полотно «Большевик» (1971).

«Ленинская» тема заняла в творчестве Савицкого 1970-х годов значительное место, на что была одна важная причина. В 1970 году по всей стране широко отме-

чался 100-летний юбилей Ленина. Практически все советские художники стремились запечатлеть его в своих произведениях. Обширная лениниана Савицкого включает в себя, на наш взгляд, картины разного уровня. К лучшим из них следует отнести «30 августа 1918 года» (1972), «Первые декреты» (1977). Более сдержанны и официально-традиционно выполнены полотна «В. И. Ленин. 1920 год» (1976), «В. И. Ленин в рабочем кабинете» (1976), «В. И. Ленин. 1922 год» (1976), «В. И. Ленин. 1918 год» (1976), «Ленин в Горках» (1976), «В. И. Ленин» (1977), «Военно-революционный центр» (1980). Несмотря на многие художественные находки и положительные качества работ второй группы ленинианы, они не занимают важного места в творчестве Савицкого. К такому же выводу пришел и Борис Крепак, который писал, что большое количество портретов Ленина, написанных за 1976—1977 годы, сказалось на их качестве.

Картина «Семья» (1970) представляет собой единственный семейный портрет в творчестве художника. Если вспоминать семейные автопортреты мастеров прошлого, а также художников XX века, то затруднительно будет найти в них горизонтальную композицию, похожую на эту. Используя традиционный сюжет семейного портрета, Савицкий выступает новатором. Зритель как бы является случайным наблюдателем обыденного семейного времяпрепровождения, но в то же время он свободно проникает в психологию изображенных лиц. Единственным персонажем, по-детски доверчиво смотрящим на зрителя, является маленький сын художника, с которым связаны надежды родителей.

Художник во все периоды своего творчества обращался к теме земли-матери, земли-кормилицы, вознаграждающей людей за их труд. Эта же тема звучит в монументальном произведении «В поле» (1972). На свежеубранном хлебном поле стоят пять советских крестьян, каждый из которых сосредоточенно думает о чем-то своем. На вопрос Первого секретаря ЦК КП Белоруссии П. М. Машерова «О чем же думают ваши крестьяне на картине?» Савицкий ответил: «О том, как жить дальше». Таким образом, художник изобразил людей, размышляющих о труде хлебороба, показал их преданность созидательной работе на земле. В полотне сдержанный и гармоничный колорит, практически вся поверхность картины решена в охристых, золотистых и коричневых оттенках. Золотой цвет хлебного поля приобретает под кистью Савицкого особую красоту и выразительность. Картина характеризуется простой и монументальной композицией, красотой лаконичных линий, пластической завершенностью форм.

Написанное в 1974 году полотно «Куст роз» продолжает серию мадонн с заложенным в них размышлением о сущности материнства, о радостях и тревогах жизни, о бессмертии добрых, или божественных, начал в человеке. Идея материнства объединяет действующих лиц произведения: две девушки слева — это будущие матери, а пожилая женщина справа — это уже состоявшаяся мать. Более того, картина содержит размышление о продолжении человеческой жизни в лице нового поколения. Художник несколько условно изображает куст, который приобрел сферическую форму, тем самым усиливая ощущение целостности и завершенности. Сам Савицкий в разговоре с художником Н. А. Опиоком относительно данной детали заметил, что «этот куст чем-то похож на всю землю, которая покрывается розами — маленькими детьми, а в целом пусть каждый понимает эту работу по-своему»[1]. Савицкий достигает удивительной колористической гармонии, используя многослойную живопись. Нежные переливы золотистых и коричневых тонов усиливают возвышенное содержание картины. К теме данной картины художник возвращался еще раз, более двадцати лет спустя: существует еще два варианта «Куста роз», написанные в 1996 году.

В 1974 году Савицкий пишет картину «Поле», которая, по его собственному признанию, стала одной из самых дорогих ему работ[2]. «Поле» — это эпос

[1] Из личной беседы автора статьи с Н. А. Опиоком.
[2] Из личной беседы автора статьи с М. А. Савицким.

о священной борьбе за свою землю, на которую позарились фашистские захватчики. Можно сказать, ее сюжет явно носит обобщенно-образный характер. Вряд ли немецкие солдаты двигались бы так хаотично на линии фронта — здесь все образно и метафорично. Приведем характеристику, которую дал этому полотну российский искусствовед С. М. Иваницкий: «...Художник обращается к помощи метафоры, выразительной пластики: так, убитый захватчик на первом плане, благодаря только пластической характеристике (выражение лица художник не показал — немец уткнулся лицом в землю), воспринимается как осквернитель чужой земли (в тупой ненависти он вонзил в нее нож), а рядом лежащий молодой советский боец — плоть и кровь этой земли, и он словно прильнул к ней, как к родной матери, и над печальным шатром сомкнулись упругие колосья пшеницы. Именно благодаря точному построению композиции, а также использованию метафоры полотно и обрело свой смысл.

1978 год в творческой биографии Савицкого отмечен созданием широко известного полотна «Партизанская мадонна Минская». Уместно будет упомянуть, что картина создана по просьбе Елены Васильевны Ладовой, которая являлась директором Государственного художественного музея Беларуси в 1944—1977 годах. Она обратилась к Савицкому с предложением сделать копию с «Партизанской мадонны» 1967 года для белорусских зрителей, однако он отказался. Только после того как Асадова предоставила ему старинную резную раму для будущей работы, Савицкий согласился написать второй вариант картины. Обе картины во всех отношениях равноценны. Структура композиции «Партизанской мадонны Минской» практически повторяет «Сикстинскую мадонну» Рафаэля, и эта связь, на наш взгляд, придает картине Савицкого еще большую выразительность. В ней нет ничего случайного, каждая фигура в практически симметричной композиции находится на своем месте. Мать с ребенком, старуха, старик предстают на полотне собирательными образами. Как и предыдущий вариант, картина является своего рода олицетворением Беларуси времен Великой Отечественной войны.

Произведение «Хлеб нового урожая» (1979) посвящено сельскому празднику, связанному с завершением осенью основных уборочных работ. Праздник в советское время имел различные названия — «День урожая», «Праздник урожая», «Хлеб нового урожая» и другие. Образная и колористическая ткань картины пропитана духом классического искусства. Симметричная композиция, использованная художником, позволила подчеркнуть торжественность события. Уверенной кистью Савицкий выявляет красоту и одухотворенность людей, занятых сельскохозяйственным трудом. Смысловым центром картины является новоиспеченный хлеб, который возведен на уровень символа жизни. С неподдельным почтением относится художник, изведавший в юные годы в немецком плену голод, к бесценному богатству — хлебу. На протяжении всего творчества из картины в картину переходит размышление Савицкого о хлебе и людях, его создающих. Выполненная на высоком техническом уровне картина «Хлеб нового урожая» наполнена особым возвышенным смыслом, ее можно смело отнести к классике советского искусства.

В 1974—1979 годах художником был создан цикл из шестнадцати работ «Цифры на сердце», представляющий собой уникальное явление в истории не только белорусской, но и мировой живописи. На протяжении долгого времени Михаил Андреевич вынашивал замысел о создании серии картин о пережитом им в немецких концлагерях. И только спустя почти тридцать лет после окончания войны он взялся за его реализацию.

В личном письме Савицкому известный советский искусствовед В. М. Зименко писал: «Вне сомнения, Вы, естественно, не единственный художник, который мог в трагической эпопее о войне использовать фонд живых, личных воспоминаний. Но Вы — один из немногих, кто дерзнул конкретные и жесточайшие факты недавней истории поднять до высокого поэтического обобщения, в кото-

ром слышны и драматические гармонии реквиема, и тревожно-гневные призывы набата, и страстные всплески разящего сарказма».

Нам представляется справедливым назвать факт создания этой серии творческим подвигом художника. Савицкий сумел посредством живописи рассказать о самых трудных испытаниях советского народа, обратившись к личной памяти о пережитых тяжелых событиях своей молодости. Здесь уместно будет привести еще одну выдержку из письма Зименко, в которой дается оценка рассматриваемым картинам: «Как человек и художник-гражданин Вы достигли выдающегося успеха в главном — создав картины-трагедии, несущие в себе боль истории, но утверждающие непобедимость доброго, человечного, прекрасного. Ваш яркий, мужественный талант раскрылся в новых гранях, несущих ценные творческие импульсы современному искусству. Ваша серия — достойный памятник мученикам и героям войны, страстное предостережение, направленное против вновь собирающихся сил фашизма и милитаризма, обращенное к народной памяти и совести живущих». Действительно, в цикле противопоставлены две силы истории: с одной стороны, невинные жертвы войны, с другой — злобно-жестокий фашизм. Это сопоставление, с предельной выразительностью обнаженное художником, придает картинам общечеловеческое значение, конкретное в цикле становится всеобщим.

Тринадцать картин цикла — «Побег», «Летний театр», «Поющие лошади», «Узник 32815», «Поющие коммунисты», «Отбор», «Танец с факелами», «Мадонна Биркенау», «Канада», «Эттерсберг — Гологофа XX века», «SOS!», «Надсмотрщик», «Проклятие» — были написаны в 1974—1979 годы, еще три — «Свобода», «Опознание», «Эти выжили» — закончены в 1987-м. Последние три работы по манере исполнения несколько отличаются от предыдущих, тем не менее все они вместе составляют целостную художественную серию. Савицкий избегает в ней как тематического, так и композиционного повтора (исключение в какой-то мере составляют полотна «Свобода» и «Эти выжили»), каждая картина и является необходимой частью всей экспозиции.

Исследователи изобразительного искусства расценивают этот цикл картин как одну из вершин в творчестве мастера не только по степени общественной значимости его тематики, но и по уровню его художественного исполнения. Рассмотрим тематические и художественные аспекты некоторых произведений цикла в отдельности.

В автопортрете «Узник 32815» (1976) Михаил Андреевич изобразил себя на фоне кованых ворот концентрационного лагеря Бухенвальд. Истощенный человек в полосатой робе заключенного выглядит гораздо старше своих двадцати двух лет, тем не менее он есть воплощение воли к жизни. Буквы К, Л на штанах означают — концентрационный лагерь, маленький красный треугольник с буквой R — русский политический, подвешенный жетон с цифрами — номер. Эти цифры были не только на жетоне и нашивке на одежде, они остались в сердце художника на всю жизнь. Именно поэтому Савицкий назвал весь цикл, который открывается данной работой, «Цифры на сердце».

Интересно, что за решеткой художник показал обобщенный темный фон: ни двор лагеря, ни линия горизонта не намечены. Таким способом усиливается впечатление, что он стоит перед входом в некое неопределенное зловещее пространство. В верхнюю часть ворот вмонтирована надпись «Jedem das seine» — «Каждому свое». Старинная латинская фраза получила у нацистов цинично-издевательский смысл, и в наше время она ассоциируется с Третьим рейхом.

Одно из самых сильных произведений цикла — «Летний театр» (1975) — Савицкий написал, опираясь на материал исторических кинохроник. Летний театр — так цинично называли нацисты ямы для сожжения тел убитых. В этой картине, имеющей симметричную композицию, с предельной точностью отображена сущность фашистских концлагерей. Погибшие люди в изображении художника напоминают поверженные статуи, тем самым на полотне увековечивается

их человеческая красота. Фашист, показанный на полотне, выглядит омертвевшим и духовно безобразным. Стоящий человек справа — узник из специальной зондеркоманды. Заключенные, которые в нее входили, за определенные преимущества помогали эсэсовцам в их «делах».

На картине «Поющие лошади» (1975) изображена сцена вывоза мертвых тел впряженными в телегу узниками. Это изобретение эсэсовцы называли «Поющие лошади». В действительности лямки раздирали кожу, больно врезались в измученных и истощенных людей. Картина, описывающая бесчеловечную реальность концлагеря, говорит зрителю о стойкости духа и воле, которые спасали жизни узникам.

«Поющие коммунисты» (1978) — картина, повествующая о демонстративной казни непокоренных узников, представляет собой величественный памятник мужеству советских людей. Сжигаемые на костре коммунисты поют, вероятнее всего, пролетарский гимн «Интернационал», являвшийся на тот момент и государственным гимном Советского Союза. Таким способом они в последние мгновения жизни отстаивают свое человеческое достоинство и одновременно демонстрируют свою непоколебимую уверенность в победе, в торжестве правого дела. На заднем плане под дулами автоматов свидетели казни — заключенные, жест их правых рук — знак солидарности с казнимыми. Важную роль в картине играет экспрессионистски решенное изображение неба, грозные очертания которого подчеркивают драматизм момента.

На полотне «Отбор» (1978) представлена сцена отбора в лагере смерти здоровых и красивых девушек для медицинских экспериментов. Те, кто не прошел отбор, а это матери, дети, беременные женщины, — расстреляны. Савицкий довел до предела контраст между обликом убийц и их жертв. Живые девушки выглядят беззащитными, одинокими и вместе с тем прекрасными среди жуткого пейзажа с рядами бараков, холмами трупов, мрачным небом и палачами в черных мундирах.

Картина «Танец с факелами» (1978) с особенной выразительностью показывает конкретное событие, но в то же время имеет метафорический подтекст. Сцену сожжения тел Савицкий показывает как некое демоническое действо: эсэсовцы с горящими факелами в руках, перед тем как разжечь костер, «забавляются» исполнением «ритуального» танца. Все это происходит в жутком пространстве с коричнево-черным небом и мертвыми телами на втором плане. Произведенние несет в себе идею, что никакое зло, в том числе концлагерь, не может запятнать красоту и достоинство человека. Сложенные среди грубых и тяжких бревен тела мужчин, женщин и детей несут печать нравственной чистоты и отрешенного спокойствия. Схожую мысль о содержании данной картины высказал упоминавшийся выше В. М. Зимиенко в письме к Савицкому: «Прекрасный человек остается таковым и после смерти — в памяти близких, в памяти общества. И пластические формы изобразительного искусства тактично и решительно утвердили эту важную мысль/чувство».

В концентрационном лагере Освенцим, известном также под немецкими названиями Аушвиц и Аушвиц-Биркенау (Auschwitz-Birkenau), погибло наибольшее колличество людей, в том числе женщин и детей. Произведение «Мадонна Биркенау» (1978) можно назвать живописным памятником всем детям и матерям, которые были замучены и сожжены в концлагерях. На полотне мы видим чернеющий силуэт крематория и словно парящую над ним мать с ребенком. Старые мастера подобным образом изображали на своих полотнах святых мучеников, вознесенных в небо и уже недоступных для сил зла. Прекрасны мать и ребенок — в небе они кажутся более действительными, чем объекты нижнего плана работы. У нижнего края картины как символ неуничтожимой жизни изображены прорастающие цветы.

В концлагере Освенцим словом «Канада» эсэсовцы называли группу заключенных, состоявшую из женщин, используемых в качестве прислуги, личных

рабов, а также в работе по сортировке конфискованных у прибывших арестантов личных вещей. На картине Савицкого «Канада» — место, где нацистские палачи складировали отобранные у узников ценности. На первом плане эсэсовцы подсчитывают прибыль (золотые монеты, драгоценности, церковную и бытовую утварь), на втором — охранники ведут узниц вместе с детьми в газовую камеру на смерть. В контрасте — между подгоняемыми овчарками обнаженными женщинами с детьми и самодовольными эсэсовскими офицерами — обнажена бесчеловечная суть фашизма.

В картине «Эттерсберг — Голгофа XX столетия» (1978) Савицкий сравнил гору Эттерсберг, находящуюся неподалеку от немецкого города Веймар, где был построен концентрационный лагерь Бухенвальд, с холмом в окрестностях Иерусалима, на котором был распят Иисус Христос. Здесь Савицкий вновь использовал ранее опробованный им прием «обожествления» человека, который в данном случае применил к каждому замученному нацистами узнику концлагеря. На картине изображен коридор бункера Бухенвальда, где были размещены одиночные карцеры, на решетчатой двери подвешен узник. С вырезанной и уже не кровоточащей звездой на груди он словно распят на металлических решетках. Его голова поднята, взгляд устремлен в какую-то неведомую высь, обессиленный и перенесший издевательства, он не покорен и не сломлен.

Савицкий как человек, испытавший на себе ужасы лагерной жизни, хорошо знал, что перед каждым узником вставала проблема выживания. Большинство заключенных оставалось в живых несколько недель или месяцев. Бывший узник концлагеря Освенцим, впоследствии знаменитый австрийский исследователь-психотерапевт Виктор Франкл писал: «Безвыходность ситуации, ежедневно, ежечасно и ежеминутно подстерегающая угроза смерти, близость смерти других — большинства — все это делало само собой разумеющимся, что почти каждому приходила, хоть и на короткое время, мысль о самоубийстве. Ведь более чем понятно, что в этой ситуации человек принимает в расчет вариант «броситься на проволоку». Этим повседневным лагерным выражением обозначался повседневный лагерный метод самоубийства: прикосновение к колючей проволоке, находящейся под током высокого напряжения. Конечно, негативное решение — не бросаться на проволоку — в Освенциме давалось без особого труда; в конце концов, попытка самоубийства была там довольно-таки бессмысленной. Среднестатистический обитатель лагеря в своих ожиданиях не мог с точки зрения вероятности «ожидания жизни» в цифровом исчислении рассчитывать на то, что он попадет в ничтожный процент тех, кто пройдет живым через все еще предстоящие «селекции» в различных их вариантах».

В картине «Проклятие» (1979) Савицкий изобразил тех, кто не выдерживал бесчеловечных условий нахождения в концлагере и сводил счеты с жизнью, бросаясь на колючую проволоку ограды. Опираясь на собственную память и архивную фотографию, художник отразил эту сцену с предельной реалистичностью. Мученики в последние мгновения своей жизни выкрикивают проклятия в адрес нацистов.

Еще одно испытание, через которое проходят выжившие узники концлагеря, — это момент освобождения. В этой связи Франкл пишет: «То, что касается реакции заключенного на освобождение, может быть кратко описано так: вначале все кажется ему похожим на чудесный сон, он не отваживается в это поверить... Освобожденный из лагеря пока еще подвержен своего рода ощущению деперсонализации. Он еще не может по-настоящему радоваться жизни — он должен сначала научиться этому, он разучился. Если в первый день свободы происходящее кажется ему чудесным сном, то в один прекрасный день прошлое начнет казаться ему лишь более чем кошмарным сном». Видимо, не случайно и Савицкий полотно «Свобода», завершающее цикл, написал спустя восемь лет после окончания предыдущих работ: ему понадобилось дополнительное время для экзистенциального осмысления пережитого в качестве узника. Необходимо

понимать и то, что во время создания картин серии художник в определенном смысле заново переживал эти события своей жизни.

Таким образом, в цикле картин «Цифры на сердце» М. А. Савицкий соединил и гуманистическо-патриотическую тематику, и классическую композицию, и уверенный академический рисунок, и выверенное цветовое решение. Также он применял лессировочную (с использованием прозрачных слоев) технику живописи, которая помогла передать световые эффекты. Михаил Андреевич вспоминал: «Раньше, работая над «Цифрами на сердце», размышлял: как представить «описать» концлагерь, аналога которому в истории, в природе еще никогда не было? И, смею думать, нашел какие-то новые структурные возможности картины, показав лагеря смерти не только как вселенское преступление против человечества, но и как особую философию жуткого времени, особую форму «социального обустройства общества».

В 1979—1981 годы, накануне столетнего юбилея Янки Купалы, художник создает серию из одиннадцати картин для литературного музея поэта в Минске. Цикл включает в себя портрет Купалы и десять картин по сюжетам произведений поэта. «Здесь передо мной стояла задача, — сообщал Савицкий, — исторического изображения времени в свете купаловской поэзии. Должна была быть историческая точность, даже этнографическая... Главным посылом для меня было выдержать камертон поэтического творчества Купалы».

Вероятно, художник сам выбирал литературные произведения поэта, по которым он писал картины. Полотна серии иллюстрируют произведения Купалы разных периодов его творчества. Во вступительной статье к изданному при жизни Савицкого альбому «Михаил Савицкий» Э. Н. Пугачева указывает следующие произведения Купалы и соответствующие им полотна: поэма «Яна і я» — «На покосе» (1980), стихотворение «Жняя» — «Жатва» (1980), стихотворение «Над калыскай» и поэма «Адвечная песня» — «Колыбельная» (1980), стихотворения «Чаго хмурыцца?..», «Пойдзем...» — «Мужики»» (1980). Кроме того, есть все основания считать, что полотно «Белорусы» (1979) иллюстрирует стихотворение «А хто там ідзе?», «Партизаны» (1979) — стихотворение «Беларускім партызанам», «Жатва» (1980) — стихотворение «Жніво», «Колхозница» (1981) — стихотворение «Я — калгасніца», «Мечты» (1981) — стихотворение «Хлопчык і лётчык», «Лён» (1981) — стихотворение «Лён», «Коммунары» (1981) — поэму «Над ракой Арэсай».

Нам представляется, что наиболее близко к поэзии Купалы художник приблизился в картинах, иллюстрирующих дореволюционную жизнь белорусов («Жатва», «Колыбельная», «Мужики», «На покосе»). Особенно выверен и гармоничен композиционный и колористический строй полотен «Колыбельная», «Жатва» и «На покосе», что созвучно купаловской поэзии. В данных работах нет и намека на прозаичность и случайность в трактовке тем, сама живопись в них становится наполненной поэзией. Художественный строй полотна «Мужики», в котором раскрывется тема тяжелого положения белорусского крестьянства, также близок к купаловскому поэтическому повествованию.

Портрет Купалы — своего рода смысловое ядро серии. Здесь поэт изображен в динамике, он словно идет с открытой душой к зрителю. Пейзаж, его окружающий, — это вид белорусской земли, его вдохновляющей. Темные цвета, доминирующие в пейзаже, в работе также несут важную эмоциональную нагрузку, тем резче на его фоне выделяется фигура поэта, несущего свое вдохновенное слово людям. Э. Н. Пугачева отмечала: «В полотне новой серии Янка Купала на фоне тревожного облачного неба, идущий из глубины на зрителя, подобен пророку. Раскрытая книга в его руке и доказующий жест символизируют мудрость, обращенную к людским сердцам».

Работы серии неоднородны. Это понимал и Савицкий, который однажды отметил: «В большой живописной серии по мотивам поэзии Янки Купалы у меня не все получилось так, как хотелось. Слишком мало времени было на обдумыва-

ние». Однако мы считаем, что в лучших из этих картин на высоком художественном уровне отображен мир купаловский поэзии, а также донесен до зрителя патриотизм поэта.

Со второй половины 1980-х годов в белорусской живописи, как и в советском искусстве в целом, сложилась переломная ситуация. В перестроечное время все активнее стали заявлять о себе художники, искавшие новые творческие подходы, которые мы отнесли к постсоцреалистическому направлению. Также набирало приверженцев постмодернистское направление.



«Жатва».

Творчество Михаила Савицкого не оказалось в стороне от этих влияний. В его работах конца 1980-х годов, таких как Чернобыльский цикл (1987—1993), триптих «Агрессия» (1984), «XX век» (1987), «Шинель отца» (1991), прослеживается желание найти новые художественные решения, он активно использует аллегорию, вносит разнородные элементы в ткань художественного произведения. Вместе с тем мастер прочно стоит на идейных позициях соцреалистического искусства, более того, он продолжает писать вполне традиционные полотна: «Клятва Севастопольцев» (1985), «Портрет народного артиста СССР Михаила Ульянова» (1985), «41-й День Победы» (1986).

В качестве примера, характеризующего разнообразие исканий художника, остановимся на написанном в 1987 году полотне «XX век». Картина явилась достаточно неожиданной для зрителей. На этом полотне художник изображает Христа, будто бы пришедшего в XX век, и как две тысячи лет назад, он схвачен, на его руках наручники. На груди у Христа табличка с первыми словами энциклики папы Иоанна XXIII «Pacem in Terris» («Мир на Земле»). Примечательно, что энциклика, призывающая к миру, была опубликована во время обострения холодной войны. Созданная художником фантастическая история является формой, с помощью которой он выражает свое критическое отношение к социальной несправедливости и кровопролитным войнам XX столетия.

В 1987—1993 годы художник создает цикл «Черная быль», состоящий из десяти монументальных картин. Работы были начаты в тот же год, когда произошла чернобыльская катастрофа, и закончены в 1993 году. Савицкий явился одним из первых художников Беларуси, который на языке живописи стал говорить о вызванных чернобыльской аварией бедах. В 1989 году в процессе работы над циклом он поделился своими мыслями: «Людям необходимо знать всю правду о Чернобыле, чтобы общими усилиями преградить путь подобной катастрофе в будущем. Я думаю, это достаточно веские доводы для художника, чтобы взять-

ся за такую работу. ...Цикл будет состоять из ряда композиций (пока в работе десять), который, по моему замыслу, должен вызывать у зрителя широкий круг мыслей о месте в жизни, о ранимости и хрупкости всего, что нас окружает, о тысячах нитей, что связывают нас с родной землей. О человеке как органичной части живого мира, ответственности разумного существа за существование жизни на нашей планете».

Художник полностью выполнил свой замысел, практически избегая повествовательности. В свои полотна он вложил тот смысл, который придал им не только национальное, но и общечеловеческое значение. Законченные в 1993 году десять картин можно назвать памятником людям Беларуси, потерпевшим от чернобыльской беды. Вместе с тем, они стали еще одним предупреждением об опасности ядерной индустрии, призывом к ответственности и милосердию. В каждой картине художник нашел необходимую форму, композицию и образную структуру, чтобы наиболее полно раскрыть владевшие им мысли. Живописный язык картин часто условный, Савицкий не вдавался в детали или тонкости реалистической передачи предметного мира, все его внимание сосредотачивалось на смысле работ. Цикл выполнен в приглушенной цветовой гамме. Серые, черные, охристые оттенки создают атмосферу опасности, в которой находятся герои картин. Сама земля-кормилица показана в трауре, черной и неприветливой. Преодоление того зла, что принес с собой Чернобыль, Савицкий связывает с возвращением людей к христианской вере. На чернобыльских полотнах реальность наполнена мистическими видениями и религиозными существами.

Первым из этой серии было написано полотно «Крест надежды» (1987). Расставание навсегда с отчим домом, деревней, городом стало для множества людей, проживавших в зоне чернобыльского заражения, реальностью. Эту тему раскрывал в своей картине Савицкий. Композиция картины полностью подчинена стремлению передать предельную эмоциональность сцены. Все персонажи погружены в свое горе, только опустившаяся на колени и плачущая старушка обращена к зрителю. Также серо-коричневая цветовая гамма передает ощущение глубокой тревоги.

Территория вокруг ЧАЭС, которая в наибольшей мере пострадала от радиации и из которой выселены все ее жители (30-километровая зона), позже стала называться Чернобыльской зоной отчуждения. Об этой территории и судьбе населявших ее людей картина Савицкого под названием «Плач о земле» (1988). На ней изображена группа белорусских крестьян, на лицах которых запечатлены глубокая печаль и недоумение. Небо над ними разверзлось черной зловещей дырой. Словно не веря в происходящее, старец опустился на колени, чтобы взять в руки горсть зараженной родной земли. Показанный на полотне окружающий мир лишен устойчивости, стал враждебным человеку, до катастрофы же люди и земля-кормилица были нерасторжимы.

Словами «Requiem aeternam dona eis, Domine» («Покой вечный даруй им, Господи») начинается заупокойная месса, или Реквием, — в западной церкви (католической, лютеранской) служба памяти усопших. Его поет ангельский хор на величественной картине Савицкого «Реквием» (1989). Сочувствующие и сострадающие людям, они парят над мертвой деревней и зараженной радиацией землей, в то время как на фоне черного неба, словно свечи в память об усопших, несут свой мягкий свет звезды. В этой картине художник нашел лаконичные и в то же время монументально-декоративные формы, которые соответствовали его замыслу.

Тема картины «Доля» (1989) — судьба девушек, которые из-за радиационного облучения не могут стать матерями и обречены на раннюю смерть. С помощью аллегории он показывает участь многих облученных радиацией молодых людей — их ждало бесплодие, физическая немощь и даже ранняя смерть. В верхней части полотна изображен череп — символ смерти. Девушки находятся

в каком-то неопределенном, темном пространстве, создается впечатление, что они уже отторжены от обычного хода жизни.

В картинах серии «Черная быль» Савицкий вводит образы ангелов, которые сочувствуют и сопереживают беде человека. Художник соединяет в рамках отдельных картин изображение реального, земного бытия с неземным, божественным. Бог, христианство стали для него теми силами, которые преодолевают зло и вселяют в человека надежду. На полотне «Чернобыльская мадонна» (1989) два темнокрылых ангела ласково и бережно забирают в свои руки неживого младенца. Лицо матери полно беззвучной скорби, ее образ — это еще один вариант уподобления молодой женщины Божьей Матери, переживающей трагический момент своей судьбы. Симметричная композиция предельно лаконична, фигуры, внимание которых сконцентрировано на младенце, образуют круг. Луна, виднеющаяся в большом темном окне, усиливает ощущение трагизма происходящего.

Полотно «Ностальгия» (1989) раскрывет тему тоски по родным местам, которую стали испытывать тысячи выселенных из чернобыльской зоны белорусов. Для них оказались навсегда утеряными и земля, на которой они родились, и воздух, которым они дышали, и дома, в которых проходила их жизнь. Савицкий написал композицию, где переплетены предметное и реальное с фантастическим, при этом ясно передана овладевшая человеком непреодолимая тоска. На первом плане человек, вернувшийся к родным местам, чтобы хотя бы через заграждение из колючей проволоки взглянуть на них. В небе фигура ангела-хранителя, который словно предостерегает, что далее путь опасен. Важное значение имеет сложный и напряженный колорит картины. Цветовая гамма полотна содержит некоторые диссонансы, чем обостряет ощущение недоступного мира. Воспаленно-красное солнце, большой бледно-желтый месяц усиливают чувство тревоги и тоски.

Объясняя замысел картины «Ностальгия», в 1989 году Савицкий говорил: «Как представить ностальгию, как ее увидеть? Я вижу человека, навсегда потерявшего свой дом и землю предков. В старинное время сказали бы, что он остался без ангела-хранителя. Знаете, было такое представление у наших дедов: каждому дан на земле невидимый заступник, он сопровождает смертного от рождения до последнего часа, оберегает от бед. Такая надежда и нам не чужда, только для нас это — любовь матери, память о доме, глубоко запрятанное чувство Родины. Так вот, самое страшное — остаться без такой защиты...»

В полотне под названием «Зрячий» (1989) Савицкий погибших от радиации людей сравнил с христианскими мучениками, пострадавшими за свою веру. К ним обращены слова из шестой главы Откровения Иоанна Богослова, введенные в изображение данного полотна: «...И сказано им, чтобы они успокоились». Фигуры одетых в белые одежды праведников и невинно погибших составляют как бы архитектуру собора. Этот художественный прием восходит к иконам под названием «Собор всех святых». Произведение носит название «Зрячий», потому что души погибших людей изображены с широко открытыми, не по-земному видящими глазами. Дозиметр в руках «ликвидатора», выполнившего свой долг, уже не нужен. В картине настолько переплелись религиозно-каноническая и реалистическая художественные традиции, что она воспринимается скорее как икона, как видимый образ невидимого.

Работа «Покинутые» (1989) повествует о людях, оставшихся на зараженной территории. Известно, что возвращаться в свои дома люди начали уже спустя несколько недель после взрыва на атомной станции. Многие из них не понимали всей опасности радиации, другие — не желали оставлять свои дома. Изображенные на картине старики вернулись, чтобы умереть на родной земле. В их лицах, взглядах можно прочесть и укор, и прощение, и смирение перед судьбой. Картина решена в изысканной цветовой гамме, и вместе с тем в ней есть ирреальная атмосфера.

Полотно «Эвакуация» (1989) раскрывает тему вывоза населения на безопасное от радиоактивной зоны расстояние. На заднем плане показаны люди, уже раз-

местившиеся в автобусе, на переднем — ждущие своей очереди. Работа является одновременно и групповым портретом, и наполненной внутренней динамикой сюжетной композицией. Сама живописная среда картины пронизана атмосферой внезапно вторгшейся беды. С мрачными темно-коричневыми фонами контрастируют бледные, большеглазые лица, на которых буквально застыли страх, тревога, недоумение. Именно образы людей, написанные широкими мазками, придают произведению эмоциональную выразительность.

Последнее полотно цикла под названием «Запретная зона» было завершено несколько позже, в 1993 году. Оно необычно для привычного стиля и творчества художника в целом. Савицкий выбирает условный язык живописи для изображения потустороннего мира. Показана запретная, недоступная живым зона, в которой ангел с невинными детскими душами направляется в какую-то неизвестную область. Кажется, что фигуры лишены земного притяжения, а уверенные мазки фона создают впечатление бескрайности окружающего пространства. Колористическое решение отличается предельной простотой. Художник всего тремя цветами — белым, черным и изумрудно-синим — изобразил запредельный мир. Своими размышлениями об этой картине Савицкий поделился в 2005 году: «Я долго думал над ее художественным решением. Что же это — запретная зона? Может, брошенная деревня, где людей можно встретить лишь на Радуницу, когда приезжают на родные могилки? Решение пришло неожиданно: а если придать трагедии... поэтичность? Написал семь детских душ в небе, и с ними черный ангел скорби. Все». Картина доносит до зрителя тревогу автора, его сочувствие всем детям, пострадавшим от техногенной аварии.

Смена эпох

Последние двадцать лет творчества Савицкого — с 1990 по 2010 годы — приходятся на сложный, противоречивый период советской и белорусской истории. Процессы, происходившие в период так называемой «перестройки» и завершившиеся распадом Советского Союза, повлекли за собой катастрофические последствия для социально-экономической, политической и культурной жизни бывших советских республик. Эта сложность времени и нашла свое отражение в творчестве Савицкого. Художник начал искать новые способы выражения своих мыслей и переживаний. Основной опорой на данном этапе и вплоть до конца его творческой деятельности становится христианство, хотя к евангельским сюжетам как средству творческой самореализации он прибегал и ранее. Уместно заметить, что обращение к христианству в это время было характерно для многих значительных деятелей культуры. Здесь хотелось бы вспомнить близкого Савицкому по духу советского и российского художника Гелия Михайловича Коржева, картины которого на темы Писания приобретали остроту социальных реалий. Размышляя о современности, о потере ориентиров, о безразличии к духовным ценностям, Михаил Андреевич использовал библейские сюжеты.

За последние два десятилетия художником было создано несколько десятков работ. Отдельные из них остались незаконченными, что естественно для его преклонного возраста. Будучи классиком белорусского соцреалистического искусства, Савицкий не мог отказаться от накопленного в предыдущие годы профессионального багажа и мировоззрения.

Одно из центральных мест в позднем творчестве художника, на наш взгляд, следует отвести работе «Без вести пропавшие» (1991) с изображением православной Троицы в образе трех ангелов. По личному признанию художника, картина входит в число его любимых работ. Всякий большой художник, обращаясь к известному, привносит в него что-то новое. Задача написать Троицу после достижений Феофана Грека, Андрея Рублева и других известных иконописцев — крайне сложная. Надо признать, что решена она художником блестяще. Полотно

предстает величественным и трагическим. Крылья и одежды ангелов «обрезаны» рамой — это усиливает эффект монументальности фигур. Трагизм представлен соединением иконописной темы с темой войн и бедствий. Освещенные фрагменты в нижней части картины — это места массовых расстрелов и погребений.

В центре полотна «ХХ век — убийство правды» (1994) мы видим девушку — это аллегория правды. Мужчины, ее окружившие, — обобщенно изображенные политические и экономические элиты, самовольно решающие судьбы мира, на втором плане — народ, который стоит словно за чертой и не может увидеть правду. Все фигуры размещены в каком-то индустриальном интерьере, что с одной стороны соответствует ХХ веку развития индустрии, с другой — усиливает трагическую атмосферу. «ХХ век — убийство правды» — итог размышлений художника об истории самого кровопролитного века человечества. Произведение, которое содержит в себе и аллегорию, и гротеск, имеет глубокое философское, социальное и политическое значение. Его смысл остается актуальным и в наши дни. Однажды Савицкий, обсуждая эту работу, сказал так: «Я прожил сложную жизнь и решил, что могу честно сказать веку, каков он в моем понимании».

С 1992 по 1996 годы Савицким был написан ряд картин по сюжетам из жизни Иисуса Христа. Хотя художник и не замышлял их как евангельский цикл, имеющий определенное название, рассматриваемые работы следует выделить в целостную серию. Обращение к Библии имело своим основанием мировоззрение художника, в котором все большее место стали занимать личность и учение Христа. В 1996 году он писал: «Само Евангелие представляет для художника в прямом смысле энциклопедию тем, где есть и трагедия, и жертва, и предательство, и преданность, и любовь, и вера. Весь круг проявлений человеческих судеб представлен в библейских текстах».

Своими работами художник восстает против бездуховности и неумеренного практицизма современности. В то же время в этих картинах христианские идеалы выступают как действенная сила. Интересно сравнить библейскую серию Савицкого с работами великого русского художника Н. Н. Ге, которые также были написаны им в последний период творчества. Ге поворачивает от выработанной им годами художественной манеры в сторону экспрессионизма и большей живописной свободы. Как отмечал Д. В. Сарабьянов, в библейских картинах Ге «форма приобретает возможность непосредственно откликаться на каждое душевное движение, на каждый внутренний порыв». Савицкий, как и Ге, во время работы над библейскими полотнами полностью подчинил свое творчество задачам достижения высшей нравственности. Так же, как и у Ге, «каждый шаг героя словно воплощает ту жизненную ситуацию, в которой пребывает и сам художник — страдающий, сомневающийся, жаждущий, гибнущий».

Будучи свободным от различных канонических традиций изображения, Савицкий опытной кистью создает яркие образы участников евангельских событий. В этих работах детали сведены до минимума, доминируют обобщенные фоны, отсутствуют архитектурные антуражи. Каждая картина имеет тщательно продуманное колористическое решение. Стихия цвета помогает раскрывать замысел. К примеру, темно-красный цвет одежды Христа во «Взятии под стражу» (1996) или «Несении креста» (1996) ассоциируется с цветом пролитой им крови. В «Снятии с креста» художник создает атмосферу сумерек, основное цветовое пятно — это бледно-серое бездыханное тело, остальные цвета приглушены и не нарушают общей гармонии.

Интересно отметить, что работа «Хождение по водам» (1992) очень близка к эскизу русского художника Александра Иванова с тем же названием. Однако в картине Савицкого изображены только Христос и лодка, апостол же Петр, который также захотел пойти по воде, еще находится в лодке. В центре полотна Савицкого природная буря и сверхъестественное явление — идущий по волнам Христос. Картина наполнена динамикой, что выражено как экспрессией мазка, так и сочетанием цветов.

«Искушение Иуды» (1995) — картина на сюжет, сравнительно мало разработанный в изобразительном искусстве. В произведении Савицким поднята тема не только искушения Иуды, но и вины тех людей, которые его подвигли на предательство. Окружающие Иуду три человека — это первосвященники и книжники, на которых также падает вина в казни Иисуса Христа. Тридцать сребреников, полученные Иудой Искариотом, стали евангельским символом предательства. Савицкий образовывает из четырех фигур с Иудой в центре компактную группу. Иуда изображен уже исполненным решимости, его не трезают сомнения, он протягивает руки за монетами. В картине полностью отсутствуют какие-либо дополнительные детали, даже не обрисовано окружающее пространство: художник всецело сосредоточился на эмоциональной характеристике момента подкупа.

В 1996 году художник пишет библейский цикл «Заповеди блаженства», состоящий из семи картин. Девять заповедей блаженства — часть Нагорной проповеди, произнесенной Иисусом Христом перед собравшимися на одном из небольших холмов близ Генисаретского озера. В христианстве принято считать, что следование этим заповедям ведет человека к блаженству в последующей, внеземной, жизни. На протяжении более чем двух тысяч лет развития искусства после Рождества Христова художники довольно редко обращались к иллюстрированию заповедей Нового Завета. Не опираясь на какие-либо образцы, Савицкий совершенно самостоятельно нашел художественное решение для шести выбранных заповедей. В современном белорусском искусстве аналогов этим работам также нет. Цикл, состоящий из семи картин, имеет сложную образную систему. Как нам представляется, через зрительные образы художник передал глубину и универсальность евангельского слова.

О своем замысле Савицкий в 1998 году говорил так: «Пришла такая мысль, как я ее определил: писать работы о хороших людях. Я обратился к заповедям блаженства. Кто же такие «Блаженны нищие духом»? «Блаженны кроткие»? «Блаженны чистые сердцем»? «Блаженны изгнанные за правду»? Есть ли такие сейчас? Пытаюсь дать современный ответ». Когда уже были написаны эти произведения, он заметил: «В картинах этого цикла — «Чистые сердцем», «Кроткие», «Плачущие», «Блаженны жаждущие правды» — я пытаюсь показать, каким хотел видеть Бог человека: нравственным, трудолюбивым, не приемлющим зло и лукавство, творящим добро. Я стремлюсь остановить зло, изгнать насилие даже из помыслов. Быть созидателем, творцом, быть свободным — это кодекс нашего бытия».



«Лен».

Для полотен характерна особая живопис-

ная структура, художник часто обобщает и упрощает формы пастозными широкими мазками, в некоторых работах фигурам придает монументальность и значительность. В каждом произведении точно организован колорит. Яркие оттенки мы видим лишь в двух картинах с одинаковым названием «Чистые сердцем», благодаря им художник подчеркнул душевную чистоту изображенных людей. В приглушенной цветовой гамме решены работы «Блаженны жаждущие правды», «Блаженны плачущие», «Блаженны нищие духом», цвета в них не мешают, а помогают «раскрыть» библейские слова.

Первая заповедь — «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» — имеет множество богословских истолкований. Поэтому иллюстрирующая ее картина «Блаженны нищие духом» (1996) может истолковываться по-разному. Для лучшего понимания замысла Савицкого обратимся к словам самого автора: «Когда в 1992 году я писал картину «Ветераны», я рассуждал так: ну, бросила родина этих вот людей. Но кто они, эти люди? Они трудились до войны, создавали новое государство. В войну гибли, но кто-то выжил. После Победы страна была полностью разрушена. Восстановили. Те же люди. А потом были брошены. Они — нищие. Все, что от них требовалось, они отдали стране. И стали нищие духом! Выходит, это самая высокая оценка Христа: это их царствие небесное». В рамках данного произведения показаны два мира: внизу — мир земной, вверху — небесный. В первом показаны те самые нищие духом — кроткие, бедные земные старики, о которых говорил Савицкий, вовтором — праведники в окружении ангелов. Интересно, что в правом нижнем углу художник поместил свой автопортрет, тем самым свидетельствуя о своей верности христианским идеалам.

Для иллюстрации второй заповеди — «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» — Савицкий выбрал сюжет оплакивания ребенка. На полотне «Плачущие» (1996), как на иконе, показан мир материальный и духовный, реальное и божественное. Общая композиция картины основана на иконографическом изображении сцены Успения Богородицы. На иконе в центре на ложе изображается Богоматерь, по сторонам от нее — апостолы, за ложем стоит Спаситель, принявший в свои руки новорожденную к вечной жизни душу Марии. На картине Савицкого в центре тело усопшего ребенка, по сторонам стоят плачущие женщины, к зрителю повернуты, вероятно, его мать и бабушка. На втором плане изображен держащий в руках душу малыша ангел, в верхней части — очертания блаженных душ. Колорит, построенный на коричневых, охристых и золотистых оттенках, создает атмосферу сакральности изображаемого явления.

На картине «Блаженны жаждущие правды» (1996) художник изобразил простых, современных нам людей разных возрастов, которые усердно стремятся к истине и совершенству. Их вопрощающие глаза устремлены на зрителя, руки выдают жгучее желание узнать правду. В композицию включен символ христианства — Крест. Вот слова Савицкого об этой картине, сказанные в 2007 году: «Но я оценку человека беру именно у Христа. В его Нагорной проповеди — проповеди счастья, наслаждения. Скажем, «блаженны жаждущие правды». О тех, кто хочет знать правду. Вот они, эти люди. Женщины, мужчины. Руки, что спрашивают, просят, жаждут... А позади — Крест, на котором распяли Христа. Я неслучайно показываю этот Крест: это люди простые, обычные, это их убежденность в том, что может случиться, что предвидится. У кого они спросят об истине? Только — у Бога ...»

На шестую заповедь — «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» — Савицкий написал два полотна.

Одно из них, «Чистые сердцем. (Рождество)» (1996), изображает поклонение младенцу Христу пастухов, которые первыми явились к новорожденному. Толкователи Библии отмечают, что именно за простоту нрава, доброту и чистоту сердца первым из людей о рождении Спасителя ангел сообщил им. Именно Дева Мария и пастухи чисты сердцем, и о них евангельские слова «Блаженны чистые

сердцем, ибо они Бога узрят». Присутствующие в хлеву словно замерли, созерцая ребенка. Сцена освещена теплым золотистым светом, исходящим от младенца, чем создается ощущение чудесного видения. Живопись картины, построенная на игре теплых и холодных цветов, отличается необыкновенным колористическим богатством.

Второе полотно, «Чистые сердцем» (1996), также соответствует шестой евангельской заповеди. Образы матери и ребенка присутствуют на многих картинах художника. Материнство показывалось художником в ряду наивысших ценностей человеческой жизни вообще. По мысли Савицкого, изображенные женщина и ее ребенок, который едва научился стоять на ногах, и есть те, кто в наше время соответствуют этой евангельской заповеди. Они изображены после омовения, поскольку вода — символ очищения и обновления. В картине Савицкого заложена мысль, что, как и эта женщина, миллионы матерей и детей во все времена были исполнены чистоты и близки к Богу.

Картина «Изгнанные за правду» (1996) создана на слова восьмой заповеди блаженства — «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». В каком-то неопределенном зимнем пространстве бредут большой колонной люди, на лицах которых запечатлены мудрость и терпение. Изгнанников сопровождает святая Троица в лице трех ангелов, видных только зрителю полотна. Картина Савицкого — обо всех людях, вынужденных покинуть родные места за правду и свои убеждения. Такие люди были на протяжении всей человеческой истории, они есть и в наши дни. Вся поверхность картины оживлена сложной игрой цвета и стремительным ритмом мазков, наложенных широкой кистью. Холодные тона зимней ночи контрастируют с теплыми «согревающими» цветами, исходящими от Троицы.

В 1998 году художник обращается к сюжету ветхозаветной книги Иова и создает картину «Иов». Этот шедевр древнееврейской литературы вдохновлял на создание художественных и литературных произведений многих мастеров. Главный персонаж книги — справедливый, непорочный и богобоязненный человек по имени Иов. По библейскому преданию, проверяя истинность любви Иова к Богу, сатана послал ему все бедствия этой жизни: лишил богатства, слуг, детей, поразил проказой. Но все это не пошатнуло веру Иова. Измученный, он говорит: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что, доколе дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи» (Иов 27: 2-4). За верность Бог щедро наградил страдальца. Он стал вдвое богаче, чем прежде, у него родилось семь сыновей, и умер он в счастье в глубокой старости. Эту книгу Библии относят к одной из самых глубоких по своему философскому смыслу — в ней заложена идея возможности страдания без вины и необходимости его переживания как проявления ведомого только самому Богу замысла. Иов стал избранником Божьим. Как и некоторые старые мастера, Савицкий переносит это библейское событие в современность. На его картине мы видим простых крестьян, которые окружили Иова. Он сидит внизу, его облик раскрывает сильнейшее внутреннее напряжение. Возникает чувство, что его уста произносят оправдание, его голова обращена к небу. Современная трактовка сюжета не случайна. Савицкий своей картиной как бы говорит зрителю: драма Иова, которая происходила тысячи лет назад, происходит и сейчас. Для картины характерны многие удачные решения: в ней найдены необходимые и колорит, и пластика, и композиция. Савицкий заметил однажды, что первоначально в образе Иова он изобразил самого себя, однако впоследствии устранил автопортретные черты.

Незаконченная работа «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1997—2000 гг.) и «Саломея» (1997) — два произведения художника, которые связаны одной сюжетной линией. Сохранился такой комментарий Савицкого к первой работе: «Когда христианство начало проявлять свою истинность, царь Ирод приблизил Иоанна Крестителя к себе и частенько пользовался советами святого. Но

его невзлюбила Иродиада, жена брата царя. По легенде, на день рождения Ирода плясала ее дочь Саломея. И так понравилась царю, что тот сказал: «Проси что хочешь». Иродиада шепнула дочери: «Проси голову Иоанна Крестителя». Но это, повторяю, библейская легенда. На самом деле иудеи стали бояться христианства. Поэтому недолго думая решили обезглавить Иоанна Крестителя. С тех пор за политическое, другое инакомыслие рубят головы, что и для нашего времени очень современно». Композиция «Усекновения главы Иоанна Крестителя» классическая по своей структуре. Она напоминает полотно «Усекновение главы Иоанна Крестителя» итальянского художника XVI века Караваджо. Мы видим правую и левую группы людей, которые объединены смысловым центром — коленопреклоненным Крестителем. На картине Савицкого через мгновение тесак опустится на голову пророка. Все присутствующие, кроме палача, замерли в ожидании. Фигура палача — это само напряжение, темная сила, даже кожа его написана в темных тонах, что подчеркивает творимое им черное дело.

Картина «Саломея» развивает сюжет «Усекновения главы Иоанна Крестителя». Согласно древнееврейскому историку Иосифу Флавию, Саломея — это реальное лицо. Однако отделить исторические наслоения от действительных событий тех времен весьма сложно. Есть версия, что Саломея танцевала разнузданный танец перед Иродом Антипой обнаженной. И в таком же виде на картине Савицкого она идет со своей «наградой» ночью, при полной луне. На этой картине она непривлекательна, хотя художники прошлого, как правило, старались сделать ее как можно более обольстительной. Лицо ее напоминает бесчувственную маску, тело слишком вытянуто. Девушка несет голову пророка Иоанна Крестителя, вокруг которой распространяется сияние, но она его как будто не видит. Существует предание о смерти непокаявшейся Саломеи. Если допустить, что предание правдиво, то ее тяжелую смерть можно истолковать как следствие ее страшного деяния в юности. Однажды по собственной оплошности Саломея провалилась в прорубь, и сомкнувшиеся льдины сжали ей шею.

Парные картины «Христос и его крест» и «Святая Богородица», вызывающие в памяти русскую иконопись, написаны Савицким в 1998 году. Искусство Савицкого, которое в целом относится к социалистическому реализму, содержит в себе элементы разных художественных направлений. Русской иконописи, как мы видим, среди них отводится важное место. После 1990 года целый ряд его произведений близки к иконе, при этом сохраняется авторская манера художника. Данные работы вполне можно назвать иконами, написанными на холсте. Характерные поля напрямую говорят об иконописном характере работ, причем у Савицкого Христос и Богоматерь «выходят» за их границы. В обеих картинах художник разместил важный в иконописи элемент — не имеющий начала и конца круг, который символизирует вечность. Диптих отличают гармония форм, линий, колористическое богатство. Используя простые художественные средства, Савицкий наполнил картины подлинно духовным смыслом.

В начале девяностых художник задумывает серию из четырех картин на тему времен года. Он словно отрывается от тяжелых тем и мучительных вопросов — конфликтов и проблем современности — и обращает свой взор на природу родной Беларуси. Единственной доведенной до завершения стала картина «Осень» (2007). Вот высказывание М. А. Савицкого, раскрывающее замысел: «Продолжаю серию, рассказывающую о временах года. Раскрываю тему аллегорически, через женские образы. Пока готова лишь осень. Кроме главного действующего лица на всех полотнах будет белорусский пейзаж. Так, в осенней картине женщины перебирают на поле картофель. Почему остановился на этом варианте? Потому что, на мой взгляд, это символ Беларуси».

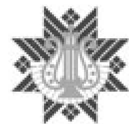
Последние картины мастеров кисти зачастую остаются незаконченными. И каждая заключительная вещь большого мастера, пусть и незаконченная, — особенная. Такой работой стала для Михаила Андреевича «Скобровка-1944» (2007—2010). В 1993 году году Савицкий был назначен на должность предсе-

дателя белорусского фонда «Взаимопонимание и примирение», основная задача которого состояла в оказании материальной помощи лицам, пострадавшим от нацистов. Из попавших к нему документов и бесед с живыми свидетелями он узнал о существовании на территории Беларуси немецкой лагерной больницы в деревне Скобровка. Там для раненых немецких солдат у детей брали кровь, после чего многие из них умирали. Как-то незадолго до смерти он заметил: «Так вот, картина моя об этих бедных детях. Работа большая по размеру и очень сложная психологически. Несмотря на то, что она еще не закончена, я ее очень люблю. Страдаю вместе с маленькими мучениками. У меня много писем об этом ужасе, но узнал несколько лет тому назад. Сюжет забора детской крови пытались писать другие, но не вышло. Тяжело. Поэтому я решился».

Таким образом, поздние работы Савицкого, написанные после 1991 года, можно охарактеризовать в целом как постсоветские. Также необходимо отметить, что художник выработал и собственную, узнаваемую, манеру письма. Его картины рассматриваемого периода представляют одно органическое целое, сочетающее в себе черты и социалистического реализма, и русской религиозной живописи, и в какой-то мере европейского экспрессионизма. Он вкладывал в них мысли о пережитом, о наследии прошлых веков, свое понимание действительности. В последний период своего творчества художник, как и ранее, стремился к тому, чтобы наиболее масштабные его работы были и современными, и емкими по содержанию, и в то же время принадлежали в полном смысле этого слова к миру искусства.

Этапы творческой эволюции М. А. Савицкого в целом соответствуют стадиям развития советского и белорусского искусства второй половины XX столетия. Источниками его творчества являлись важнейшие события русской, советской и белорусской истории, главным из которых была Великая Отечественная война 1941—1945 гг. На становление его художественной позиции решающее влияние оказали русская религиозная и реалистическая живопись, а также советское соцреалистическое искусство. Он начал писать самостоятельные жанрового и повествовательного плана работы в годы хрущевской «оттепели», что было вполне закономерно для этого периода белорусского искусства. В конце 1960-х годов, восприняв приемы мастеров «сурового стиля», он нашел и собственную манеру письма, и главную тему своего творчества в рамках принципов соцреализма — события Великой Отечественной войны. В 1970—80-е годы, на которые приходится пик творческой активности мастера, он уверенно решал сложные художественные задачи. Созданные им в данный период картины, среди которых шедевром мирового значения является цикл «Цифры на сердце», составляют золотой фонд советского и белорусского искусства. В тот период он выработал индивидуальный художественный стиль, состоявший из синтеза базовых принципов социалистического реализма, русской религиозной, в том числе иконописной, живописи и европейского экспрессионизма. В постсоветский период, используя библейские сюжеты и специфику собственного стиля, он художественными средствами предельно актуализировал ряд проблем современности.





Искать свое, обретая себя

Музыкальное прошлое Беларуси когда-то мало чем отличалось от музыкальной действительности: разница между ними составляла несколько десятков лет. Основоположники профессионального национального искусства (в частности, композиторской школы) появились у нас только после создания БССР, поэтому классики, представители среднего поколения и так называемой творческой смены были в буквальном смысле современниками, общались между собой. Учебники по истории белорусской музыки, сохранившие актуальность едва ли не до начала 1990-х, самим содержанием настойчиво внушали мысль о том, что разножанровое музыкальное искусство появилось и начало развиваться у нас лишь при советской власти, а прежде на этой земле никакой своей «звуковой среды», кроме фольклора, не существовало.

Вдумчивым и пытливым соотечественникам подобные уничижительные обобщения казались противоречащими глубинным связям исторических реалий, а белорусское музыковедение — однобоким, упрощенным и уплощенным, идеологически «заангажированным». Возможно ли, чтобы народ, издревле проживающий в центре континента, на перекрестке важнейших связующих путей, вместе с Европой познавший богатый опыт развития цивилизации и культуры, — чтобы самобытный и творчески одаренный народ враз и без посторонних воздействий лишился собственного многовекового прошлого, впал в историческое беспамятство, потерял весьма ощутимую долю музыкального наследия?

Сомнение, проникая в среду специалистов, сменялось любопытством, любопытство — научным интересом. Конечно, немногочисленные искатели правды о музыкальном прошлом не собирались оспаривать очевидное. Разве можно отрицать, например, что наша национальная композиторская школа формировалась именно в советское время, когда была создана Белорусская государственная консерватория (теперь академия музыки)? Однако на основании этого факта недопустимо замалчивать и вычеркивать из сознания все, что происходило у нас на родине до XX столетия, отлучать новые поколения от уникального духовно-художественного наследия народа, его наисложнейшего, нередко парадоксального опыта. Энтузиасты национально-культурного возрождения 1980-х стремились преодолеть «массовую амнезию» и, всмотревшись в былое, напомнить, что у белорусов есть не только удивительный, уникальный аутентичный фольклор и яркие достижения советской эпохи, но и многовековые традиции чрезвычайно разнообразного профессионального и любительского творчества. Есть богатая старосветская музыкальная культура, складывавшаяся с участием всех слоев общества, весьма своеобразная и неотъемлемая от европейского контекста.

Вскоре к этим энтузиастам присоединилась и выпускница Белорусской консерватории по классу фортепиано Ольга Дадиомова.

Главной сферой ее интересов стала история отечественной музыкальной культуры до XX века. Три десятилетия подвижнического труда — нескончаемая череда дел, достижений, открытий. На основе музыкально-исторических источников, выявленных в хранилищах разных стран, Дадиомова осуществила научную реконструкцию и создала всеобъемлющую концепцию развития изучаемой культуры. Разносторонний ученый, историк и теоретик, просветитель, педагог, методист, Ольга Дадиомова известна как автор более 200 публикаций (монографии, учебные пособия, хрестоматии, программы, брошюры, статьи, изданные в Беларуси, Германии, Литве, Польше, США, России, других странах). Составляет и редактирует научные сборники, книги, нотные издания, аудиодиски. Постоянно участвует в международных научных форумах, в проектах ЮНЕСКО. Подготовила и провела сотни телевизионных программ и радиопередач (цикл «Галасы мінуўшчыны», рубрика «Беларуская рэтраспектыва»). Разработала и прокомментировала концептуальные белорусские концерты в Лондоне, Варшаве, Вильнюсе.

Впервые в стране и мире ею создан курс истории музыкальной культуры Беларуси до XX века (Ольга Владимировна ведет его в родной академии уже более 20 лет!). На ее же научных и методических материалах основано преподавание аналогичных белорусоведческих дисциплин во всех учебных заведениях искусств страны. А через работу с молодыми исследователями доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой белорусской музыки БГАМ Ольга Дадиомова формирует свою научную школу.

Возвращение утраченных столетий

Новую для себя сферу деятельности преподаватель тогдашнего столичного Института культуры Ольга Дадиомова осваивала в аспирантуре Академии наук БССР. Под научным руководством именитого музыколога Инны Назиной было определено направление работы, и уже в 1992 году увидела свет монография молодого исследователя: «Музыкальная культура городов Белоруссии в XVIII веке». Через два года вышло учебное пособие «Гісторыя музычнай культуры Беларусі: ад старажытнасці да канца XVIII ст.». Первые книги Дадиомовой, появившиеся в романтический период взлета широкого интереса к забытой истории отечественного искусства, стали своеобразным компасом в море нашего непознанного и удивительного европейского прошлого.

«Удивительно было все! Каким-то абсолютно мистическим образом идея восстановления наследия захватила со временем все учреждения и организации, имеющие отношение к художественной жизни. В том числе академию музыки, университет культуры, филармонию, исполнительские коллективы — те столпы, на которые опирается процесс творческого возрождения. Правда, в самом начале поверить в поддержку такого процесса было просто невозможно, потому что сами нотные источники вызывали у многих людей весьма противоречивые чувства. К великой радости, это безусловно была музыка далеких эпох, рожденная и существовавшая на белорусской земле. Но в ней не было проявлений «почвенного фермента», четкого фольклорного фундамента. И когда найденные источники, выявленные материалы предлагались вниманию профессионалов — исполнителей и ученых, в их реакции далеко не всегда были сочувствие и доброжелательность. Вот почему я всякий раз с особой признательностью вспоминаю и говорю о том, что первой организацией, обратившей внимание на идею возрождения несправедливо забытого и утраченного наследия, был Белорусский союз музыкальных деятелей. Его руководство и активисты поддержали энтузиазм подвижников именно сердцем, не ожидая, пока наша инициатива станет общепринятым, а то и востребованным делом; люди

с меркантильными интересами, с прагматичным подходом никогда этого не сделали бы, за «проект-утопию» возьмутся только поистине блаженные люди! А заместитель председателя союза Наталья Кузнецова-Витченко, с которой мы вместе учились в консерватории, еще и доверяла моей увлеченности».

Незабываемо, ни с чем не сравнимо счастливое состояние, когда она возвращалась домой, в очередной раз везя раритетную «добычу» — музыкальные памятники, выисканные в зарубежных архивах. Незабываемо и то, с какой неуверенностью показывала потом свои находки, в которых не было ни одного белорусского слова, ни одной фольклорной мелодии. Хотя, казалось бы, всем должно быть понятно, что в конкретных исторических условиях существовали иные критерии, по которым судили о принадлежности старинных образцов музыки к определенной культуре. Увы, понятно было не всем... Зато с каким воодушевлением заходила Ольга Дадиомова в родной союз, где слышала радостное: “Бере-е-е-м!!!” и понимала: это не дань вежливости, а готовность к серьезной работе и гарантия, что через двести лет забвения ноты забвения вновь зазвучат на родине, что их споют, сыграют, возродят.

«В общем, очень рискованно было тогда презентовать музыкальные памятники, которые и по сей день в сознании многих так и не стали частью культуры Беларуси, при том, что сегодня уже есть соответствующая теория. А на тот момент ее не существовало, курса истории музыкальной культуры Беларуси до XX столетия тогда не было не то что в профильных училищах и школах — его не было и в консерватории! Поэтому вся надежда возлагалась на поддержку со стороны тех, кому свойственно плюралистическое отношение к действительности. Это люди с живым творческим мышлением, которые не держатся за определенные каноны: мол, все, что не соответствует сложившейся доктрине, не имеет права на жизнь. К чести наших единомышленников из БСМД, союз активно поддержал и абсолютно новый, во многом рискованный проект — проведение первого, сенсационного для своего времени, просветительского фестиваля «Адраджэнне беларускай капэлы», с подвижниками которого — Виктором Скоробогатовым и Анной Корженевской — мы шли буквально навстречу друг другу.

Кстати, мало кто знает, что музыковед и композитор Александр Друкт (жизнь этого талантливого человека, к сожалению, оборвалась рано, его уже не было в то время) предвидел движение, направленное на поиск и возвращение утраченной белорусской музыки прошлого. Он словно руководствовался аналогом системы Менделеева. Как Менделеев по своей таблице вычислял отсутствовавшие химические элементы, которые еще предстояло открыть, так и Александр Друкт, не имея конкретного нотного материала,



В детских мечтах о балете.

просто «высчитывал» существование того, чего в нашей музыке не хватает. Он предвидел, что будут найдены нотные памятники, которые подтвердят: и ренессанс, и классицизм, и романтизм — все эти стадии прошла музыкальная культура Беларуси, в особом, возможно, виде. И этот стадиальный процесс он показал в своей брошюре.

Но, повторюсь, в то время наши музыкальные утопии не могли найти поддержку у большинства профессионалов. Я их понимаю и никогда с ними не спорила. Потому что тем, кто за всю свою жизнь никогда не держал в руках такие архивные материалы, резко перестроиться, развернуться в другую сторону невозможно. Хорошо, если есть подсознательное, а может, и осознанное ощущение того, что должна существовать история у народа — народа в широком категориальном смысле этого понятия. Народа, который объединяет и носителей фольклорной традиции — хранителей этого собственно этнического, очень мощного национального течения; и свою интеллигенцию; и элиту своего времени — магнатерию, тех представителей, что отошли в иную языковую сферу, иную этнокультурную среду, но все равно являются репрезентантами Беларуси».

Парадоксы реальности

Говоря о тех, кто поддержал ее начинания, Ольга Владимировна с особой признательностью вспоминает Ядвигу Григорович.

«Ее, к сожалению, уже нет среди нас... Ректор БГУ культуры и искусств, тогда института, где я преподавала, Ядвига Григорович в 1993 году с пониманием отпустила меня в другой вуз. Можно сказать, благословила мою работу в академии музыки, чтобы и там развивалось белорусское дело, изучалась история музыкальной культуры Беларуси, — то, что всегда поддерживала Ядвига Доминиковна. Ведь не случайно тогда в институте сложился круг исследователей: и незабвенный Гурий Барышев, и Анатолий Грицкевич, и троица «утопистов», занимавшихся XIX столетием: Вера Прокопцова, Александр Капилов и Елена Ахвердова. Я присоединилась к их деятельности с еще более утопическим XVIII веком. И учились мы прежде всего на книгах Адама Мальдиса, который тогда уже был гуру. С нами рука об руку работали директор бывшего Института проблем культуры Владимир Скороходов, многие музыканты-исполнители, в том числе маэстро Михаил Козинец, солисты Лев Горелик, Юрий Гильдюк, Владимир Дулов, Игорь Оловников и целый коллектив энтузиастов, возглавляемый Михаилом Финбергом».

К слову, музыкальные памятники (от опер и симфоний до камерно-инструментальных и вокальных произведений), возвращенные Ольгой Дадиомовой в Беларусь и вошедшие в репертуар многих исполнителей, стали основой уникального направления деятельности Национального академического концертного оркестра, которым руководит Михаил Финберг. На протяжении двух десятилетий коллектив, по инициативе неутомимого маэстро, проводит художественно-просветительские акции в различных регионах страны. И Дадиомова участвует в них как научный руководитель и ведущая концертных программ.

Все начиналось в 1995 году, когда состоялся первый, сегодня уже знаменитый на всю Беларусь, фестиваль «Музы Нясвіжа». Успешный дебют стал стимулом для популяризации возрожденной классики в других наших исторических городах и местечках, для превращения таких акций в ежегодную традицию и постепенного расширения географии «асветніцкіх фэстаў». Процесс этот продолжается. «Заслаўе», «Мсціслаў», «Мірскі замак», «Чачэрскія сустрэчы», «Пінскія спатканні», «Гасцёўня Напалеона Орды»; музыкально-просветительские праздники в Молодечно, Турове, Новогрудке, Горках, Любани, Хойниках... Для

каждого проекта разрабатывается научно обоснованная, с учетом местных исторических традиций, концепция, в соответствии с которой составляется программа. В ней бывает предусмотрено даже проведение научной конференции, и тогда Ольга Владимировна заранее заботится об издании сборника докладов и сообщений, подготовленных участниками чтений, пишет вступительную статью.

А как ведет она музыкальные программы, исполняемые на таких фестивалях камерными академическими коллективами, которые работают в составе знаменитого оркестра! Из ее неповторимых, очень серьезных по сути, но легких по форме комментариев, окрыленных импровизацией и юмором, можно почерпнуть столько увлекательных исторических сюжетов с участием легендарных персон! В таком рассказе (или сценарии сериала?) можно убедительно связать с Беларусью, например, великого Иоганна Себастьяна Баха. Нет-нет, он, судя по достаточно подробной биографии, никогда не ступал по белорусской земле! Однако этот гениальный немец в совершенстве освоил «модный» у нас жанр полонеза, а свою грандиозную Мессу си минор посвятил Фридриху Августу «Моцнаму», курфюрсту саксонскому и королю Речи Посполитой, который, между прочим, вынашивал идею независимости Великого Княжества и которого поддерживали Радзивиллы. А сын композитора — Карл Филипп Эммануэль Бах был наставником и другом Яна Давида Голланда, который в молодости покинул родную Германию, на долгие годы связал свою судьбу с окружением Радзивиллов, а оперу «Агатка, або Прыезд пана» (ее принято считать первой белорусской оперой) написал в Несвиже на либретто Матея Радзивилла. (Замечу, ноты этой оперы, записанной в фонд Белорусского радио с участием ведущих солистов, нашла в зарубежном хранилище и привезла «домой» именно Дадиомова.)

Кстати, Голланд — современник Моцарта, который (точно известно) никогда в Несвиже не гостил. Однако оба композитора, «авангардисты» своего времени, не сговариваясь, работали в общем для XVIII века интонационно-стилевом поле. Так стоит ли удивляться, что написанные в один год легендарная несвижская «Агатка» и моцартовский шедевр «Свадьба Фигаро» имеют в звучании определенные схожести, а то и совпадения? В более позднее время именно под влиянием творчества Моцарта, даже цитируя его музыку, создавал оперу «Фаўст» (на оригинальное либретто самого Гёте!) Антоний Генрик Радзивилл, в молодости приехавший в Германию и обосновавшийся там на всю жизнь. А в его доме находил поддержку и приют Фридерик Шопен — между прочим, обожатель фортепианных полонезов Михала Клеофаса Огинского, часто называемого «предтечей Шопена» в этом жанре...

Вот примерно в таком духе комментирует концерты наша героиня. Думаю, заслушаться может и человек, далекий от классического искусства. Но главное, что живой, доходчивый, остроумный рассказ обаятельной ведущей не только захватывает публику на время даже двухчасового концерта, идущего без антракта. Главное, что зрители-слушатели, грамотно подготовленные к восприятию серьезных произведений,



Годы студенчества, «на картошке».

с интересом вступают в сложный звучащий мир, замечают его красоту, наслаждаются, ждут продолжения. Благодаря этому в родной глубинке воспитывается уже не одно поколение просвещенных любителей старинной белорусской музыки, знакомых также и с отечественной классикой XX столетия, и с шедеврами мирового музыкального искусства. И очень важно то, что непростой просветительский процесс осуществляется через образную и яркую белорусскую речь.

«Сотрудничая с этим удивительным оркестром уже 20 лет, могу с уверенностью сказать, что он является не только высокопрофессиональным исполнительским коллективом, но также научным и просветительским центром, который осуществляет и поощряет научные разработки, направленные на практическую творческую деятельность. Все новейшие исследовательские находки сразу внедряются в практику, а она в свою очередь стимулирует и создает перспективу для дальнейших музыковедческих поисков, формирования новых научных актуалий и концепций. А таким образом возникает возможность ввести многие найденные музыкальные памятники в белорусскую художественную действительность — через подготовку и обработку нотного материала и, конечно, через его блестящее исполнение.

Именно поэтому не прерываются инновационные проекты коллектива, где возрождается творческий облик многих видных личностей белорусского музыкального мира (в том числе, по инициативе руководителя оркестра, — и наших классиков XX века), где «музычная даўніна» Беларуси подается также и в новом освещении, в определенном контексте. Как раз таким путем пошли мы нынче, презентуя творчество Чайковского в Несвиже, а в прошлом сезоне, за год до юбилея Огинского, начав концерты в его честь первым выступлением оркестра в Залесье. Кстати, там же проведем юбилейный концерт 25 сентября, в день рождения этого выдающегося общественного деятеля, интеллектуала, истинного аристократа духа, рыцаря и патриота».



В студии телевидения.

Фигура Огинского, как подчеркивает Ольга Дадиомова, уже 20 лет остается центровой в деятельности коллектива, который одним из первых начал представлять в разных уголках страны музыку наших давних соотечественников (в акциях, получивших сегодня общее название «Гістарычныя канцэрты ў старажытных цэнтрах Беларусі»). Если говорить о цифрах, то это более тысячи концертов в рамках 120 фестивалей. Если говорить об именах, то это Матей Радзивилл и Ян Голланд, Наполеон Орда и Михаил Ельский, Осип Козловский и Станислав Монюшко (посвященный ему праздник в Мире длился целых 6 часов!), а еще Михал Казимир и Михал Клеофас Огинские, Камилла Марцинкевич, даже Тадеуш Костюшко, — и многие другие композиторы, как профессионалы, так и музыкально образованные талантливые любители.

Между прочим, «белорусский след» в сознании Ольги Дадиомовой — это «семейное наследие». Родилась она в Гомеле, но детство прошло уже в Минске. Отец Владимир Дадиомов был писателем и журналистом. Мама Мария Захаровна преподавала белорусскую литературу в Республиканской гимназии-колледже при академии музыки, по тогдашнему названию — Средняя специальная музыкальная школа при Белорусской государственной консерватории. В этой школе, кстати, училась Ольга.

«Только теперь, вспоминая отца, я особенно остро чувствую, как много он значил для меня, хотя его присутствием было отмечено несколько лет моего детства — то короткое счастливое время, когда все мы жили вместе, в единой семье, в одном доме... Только теперь осознаю, что именно первые детские впечатления во многом определили контур, содержание и стиль дальнейшего моего существования, образ которого формировался на примере именно отцовской жизни. А его жизнь определяли мощная творческая доминанта, высокая художественная нота, главенство интеллектуального труда и нескончаемый поиск, компанейская открытость и внутреннее одиночество, усмешливая самоирония и глубинный душевный трагизм. Помню, как он читал маме, брату и мне очередную главу своего романа «Над Нёманам». Именно мы первыми оценивали «на слух» и строки его «Белазёрскага дзённіка», устроившись на полу комнаты (потому что стулья и даже кровати были завалены рукописями). Помню простор новой квартиры, где не смолкали стрекотание пишущей машинки и телефонные звонки: как ответственный корреспондент «Литературной газеты» отец по нескольку раз в день передавал срочные сообщения, рецензии, статьи. Мама полностью была занята редактированием его рукописей... На даче папина машинка тоже не утихала. Но приход его коллег и соседей Андрея Макаёнка, Алексея Кулаковского прерывал работу, время проходило в искренних беседах и творческих спорах. Их участниками в разные годы были Иван Шамякин, Василь Быков, Максим Лужанин, Владимир Карпов, Иван Новиков, Алексей Карпюк. Хорошо помню Льва Кассиля — с ним родители подружились в Доме творчества в Крыму, а еще — Расула Гамзатова и Чингиза Айтматова, с чьими семьями жили рядом в период папиной учебы на Высших литературных курсах в Москве. Вспоминаю Беловежскую пущу, где ходили с Нилом Гилевичем и впервые увидели первозданный сосновый бор, буквально заворoживший папу... Берегу его пронзительные военные заметки — пожалуй, самое ценное, что осталось у меня из его рукописей...»

Ходят какие-то легенды про магическое обручальное кольцо, которое в самом начале исследовательского пути Ольги Дадиомовой помогло ей осуществить первый научный подвиг. Слухи слухами, но... Они правдивы.

«Моя мама, у которой был культ «навучальнасці», считала, что ребенок, то есть я, должен учиться постоянно. В специализированной школе, потом в консерватории, обязательно в аспирантуре — и далее учиться всю жизнь. Такой вот учительский синдром. Мама сказала: «Я тебе помогу, буду заботиться о твоей дочери, но ты должна заниматься наукой». И когда оказалось, что в белорусских архивах действительно нет интересовавших меня нотных источников, она спросила: «А где они есть?», на что я ответила: «Они есть в Польше». Мама не отступала: «Сколько стоит билет до Польши?» Говорю: «Это до Кракова, туда проезд 25 рублей». По тем временам четверть зарплаты. Она сказала: «Я тебе дам 50». Отнесла в скупку свое золотое обручальное кольцо и сказала: «Не надо останавливаться. Покупай билет и поезжай».

Наверное, это какая-то сотая часть того «легендарного», что происходило на самом деле. Вспомнилось, как мы с моей аспиранткой Светой Немогай сидели всю ночью на вокзале... Ехали то ли из Германии, то ли из Польши. Чтобы переночевать в отеле, денег уже не было. Вот и коротали время «в гуще жизни». К нам подходили любопытные бомжи. Один оказался филологом. Так вот он

помог нам в работе! Виртуозно перевел очень сложный текст со старопольского языка на белорусский, именно его переводом мы потом и пользовались.

Да и все, что происходило, — вовсе не подвиг, а какая-то абсолютная наша оторванность от реальности. Мы занимались своими поисками как блаженные! Вот сейчас бы я на такую авантюру не решилась... Избавилась от определенного научного снобизма, научных утопий и научной романтики. И убеждена, что не стоит комплексовать по поводу, например, того, что в досоветское время белорусской национальной композиторской школы не было. Этот факт надо принимать и объяснять как нашу уникальность и — научную загадку, разгадать которую тоже очень важно и почетно.

Я склоняю голову перед сотрудниками нашей кафедры, каждый из которых уникален как, пожалуй, единственный в мире специалист в своей области. Очень сожалею, что профессор Тамара Семеновна Якименко (а она ведет свою научную генеалогию от действительно легендарной Лидии Сауловны Мухаринской!) уже не работает на кафедре... Случилась и горькая утрата — ушла из жизни доктор искусствоведения Лариса Филипповна Костюковец, которую никто не заменит. Правда, ее ученики работают самоотверженно, «подхватили» ее предметы, продолжили многолетнюю традицию фольклорных экспедиций (теперь ими руководит доцент Лилия Баранкевич). Коллеги радуют профессиональными успехами. Доцент Тамара Лихач завершает книгу о музыкально-литургической традиции Беларуси, доцент Татьяна Беркович (ученица Тамары Якименко) недавно опубликовала обстоятельную монографию, посвященную проблемам белорусской народно-песенной культуры. Надежда Бунцевич еженедельно публикует блестящие статьи о современном белорусском искусстве».

Сопровождаемые концертами научные конференции «Шэсць стагоддзяў беларускай музыкі», «Беларуская музыка ў каардынатах еўрапейскага мастацтва». Программа «Шляхі мецэнацтва. Да 500-годдзя дынастыі Радзівілаў», символично объединившая в стенах обновленного великокняжеского дворца музыку Вацлава из Шамотул, Яна Карловича, Яна Голланда, Михала Казимира Огинского, представителей рода Радзивиллов — Матея, Антония, Софьи... Достаточно и трех фактов, чтобы представить себе, какой привлекательный, неизведанный и все еще загадочный музыкальный ландшафт открывается перед нашими современниками. Возрожденный из утопии, превращенный в реальность...

«В науке очень важно говорить правду. Даже в том случае, когда эта правда не нравится — ни нам, исследователям, ни слушателям. Как хотелось бы, чтобы белорусская музыка имела высокий национальный облик уже со времен ренессанса, барокко, чтобы и эпоха классицизма в нашем музыкальном наследии была обозначена величественными именами, подобными Моцарту, Гайдну, Бетховену. И чтобы эпоха романтизма впечатляла реализацией идеи создания национальной композиторской школы... Михаил Глинка мог бы стать белорусским классиком, точно так же и Монюшко мог стать белорусским классиком романтизма. (Для этого были все предпосылки, как были и неблагоприятные для развития белорусской культуры реальные условия XIX века. — ***С. Б.****). Но прошлое уже состоялось. И давность остается для нас закрытой комнатой, ключи от которой навсегда потеряны. Но то, что не сбылись наши определенные мечты и чаяния, не значит, что исследователи вынуждены рассматривать эту правду лишь в негативном аспекте. Мы должны говорить правду и объяснять, почему этот «музыкальный сценарий» разворачивался во времени и пространстве не по тем законам, к пониманию которых мы приучены на примерах развитых культур. У культуры Беларуси была иная функция, иная «жыццядайная», результативная миссия в ходе европейского музыкально-исторического процесса. Наше культурное донорство, дарение своих лучших сыновей другим народам, следует воспринимать как синоним жертвенности. А ведь без тех жертв не могла бы осуществиться история европейской музыкальной культуры. Сказано, может быть, излишне пафосно — ну, неужели без культуры Беларуси не состоялся бы европейский му-*



С учениками.

зыкально-исторический процесс? Не состоялся бы! Я могу с полной научной ответственностью так говорить. Ведь без участия музыкальной культуры Беларуси никогда не произошли бы те процессы, которые пережили культуры соседних и более отдаленных стран. Потому что наша культура принимала, адаптировала, переносила очень важные и плодотворные западноевропейские течения, явления искусства и высокого, и бытового. Если бы она не адаптировала на своей почве и не перенесла, не подарила что-либо культуре, скажем, России, то культура нашей восточной соседки выглядела бы беднее и совсем иначе. Не могла бы развиваться в том русле, в котором она развивалась, и культура Польши, обогатившаяся деятельностью Станислава Монюшко, Яна и Мечислава Карловичей.

Многие выходцы из Беларуси, плод их деятельности — неразделимое наследие белорусского, и польского, и литовского, и российского народов. Во времена существования Российской империи Беларусь, входившая в ее состав, дарила свои таланты, ехавшие в российские столицы, где еще с XVII столетия были желанными гостями. Дарила своих сыновей: Осипа Козловского, автора первого российского гимна, и Михаила Глинку, чей талант сформировался на белорусской почве и чья «Камаринская» на самом деле является нашей «Лявонiхай па-даўнейшаму». Однако, рассуждая так, я полагаю, что все те композиторы, которые жили и работали на территории Беларуси, когда эта территория входила в состав империи, в равной степени принадлежали русской, белорусской, литовской и польской культурам. И точно так же российское музыкальное наследие, тем более XIX века, в полной мере можно отнести к культуре Беларуси. Впрочем, кого бы мы ни вспомнили из восточноевропейских, западноевропейских, чешских, польских, украинских, русских композиторов, среди них нет ни одного, кто так или иначе, напрямую или опосредованно не был бы связан с нашей культурой. Когда я начинаю рассказывать о ее специфике, выступая на конференциях за рубежом, то убеждаюсь: коллеги не просто получают новую для себя информацию, но и заинтересованно вникают в исследования культуры Беларуси, такой бесподобной, особенной в своем историческом развитии, столько давшей разным народам, — и ученые с мировыми именами многое проясняют для понимания культуры собственной.

Музыка Беларуси, музыка на территории Беларуси имеет очень широкую трактовку. Многие памятники являются общим сокровищем нескольких народов, их общим наследием. И говоря «общее», мы не присваиваем ни польское, ни русское, ни литовское — мы не трактуем наследие как исключительно национальное белорусское, а только смотрим на факты и стремимся о них говорить максимально корректно».

Музыка Беларуси — это музыка Беларуси... Глядя на сегодняшнюю ситуацию глазами оптимиста, Ольга Владимировна удивляется, можно сказать, «сама себе»: за четверть века, буквально у всех на глазах — просто невероятно! — произошла полная реконструкция всего музыкально-исторического процесса. И теперь история белорусской музыкальной культуры — со всеми ее парадок-

сами, «дипломатичными» недомолвками, загадками — отражается в зеркале шести столетий.

«Это действительно невероятно! В жизни ни одного народа не было такого случая, чтобы за столь короткий для истории период идея — причем идея музыкального возрождения — овладела массами, была подхвачена, разработана группой исследователей, возведена с невспаханной целины во впечатляющий «гмах» новой отрасли знаний. Во внутреннем дворе этого внушительного строения — широчайшее художественное поле, где все живет, переливается всевозможными красками: здесь усердствуют исполнители. А мы, исследователи, уже не успеваем следить за тем, что они делают, их даже не сосчитать, ведь помимо известных профессионалов сотни любительских, учебных, народных коллективов увлеченно играют стародавнюю музыку Беларуси. Общество с удовольствием воспринимает это движение через столетия как движение к себе. И легче, чем специалисты, принимает очень простую мысль о своей музыкальной истории: древние архитектурные памятники на нашей земле — это не молчаливые знаки прошлого, а свидетели былой жизни. А жизнь во все времена сопровождала музыка. На протяжении столетий пространство храмов, замков, дворцов, усадеб, обычных домов и построек наполнялось разноязычной человеческой речью и музыкальными звуками...»

Личное дело Ольги Дадиомовой

Август, воспетый поэтом как «месяц цезарей», — время ее рождения. Нынче, в разгар летнего затишья, Ольга Владимировна принимает поздравления с юбилеем. По поводу очередной своей круглой даты высказывается непритязательно и откровенно:

«Обычно юбиляры кокетливо замечают: в 50 (60, 70) лет жизнь только начинается. Я же скажу иначе: моя жизнь — в обыденном личном смысле — еще и не начиналась. Потому что пришлось многим пожертвовать — и пожертвовать, к великому сожалению, не только собственным спокойствием, но и благополучием близких... Недаром, когда я даю советы в воспитании внука, моя дочь говорит: «Что ты можешь посоветовать, когда сама ничего не знаешь? У тебя же как будто не было детей. Единственное, что я помню, — это лязг входной двери и твой возглас: “Я пошла в архив!”» Поэтому теперь приходится отдавать долги: как могу, компенсирую свою «вредность», сожалея, что уже невозможно отдать тепло родителям, которым я стольким обязана...

Понимаю также, что никогда не смогу воздать должное учителям, которые вывели меня в люди, и прежде всего — профессору Инне Дмитриевне Назиной, остающейся образцом преданности своему делу. Поэтому стараюсь хотя бы через учеников передать почтение, признательность своим наставникам».

В числе учеников Ольги Дадиомовой, как известно, ее самая первая, увлеченная и самоотверженная аспирантка, с которой когда-то доводилось делить дорожные приключения и бытовые тяготы поездок за рубеж — ради работы в нотных архивах. Это Святлена Немогай, ныне весьма успешный ученый-белорусист, высокообразованный музыкант, кандидат искусствоведения. С ее именем связано создание замечательной книги — историко-теоретического исследования «Жыццё і творчасць М. К. Агінскага ў каардынатах яго часу і культурнага асяроддзя», выявление и презентация ранее неизвестных опусов Михала Клеофаса Огинского, подготовка и проведение в качестве комментатора уникальных концертных программ возрожденной белорусской музыки...

«А учеников у меня уже много. Начиная от Святлены Немогай, которая постоянно двигается вперед в науке и просветительстве, до молодых магистрантов, аспирантов и зрелых соискателей, — замечает Ольга Владимировна. — *Катерина Берестова (с ее работой о белорусско-немецких музыкальных*

связях), Ольга Поддубская (она разработала проблему белорусско-итальянских музыкальных отношений), Алина Данилевич (в центре ее интересов — Ян Карлович), Ольга Царик (изучает музыкальную культуру городов Минщины), Владимир Лебецкий (сфера его научных занятий — музыкальная Гродненщина). А еще довелось помочь завершить работу над начатыми ранее диссертациями Наталье Копытько (о камерной кантате) и Татьяне Трофимчук (ей профессор Тамара Якименко предложила тему воплощения средневековых образов в белорусской симфонической музыке).

Нынче, к сожалению, в Академии музыки не объявляли прием на белорусоведческую специализацию, и это всех нас очень обеспокоило, поскольку музыкологи-белорусисты до сих пор имели возможность углубленного изучения соответствующих дисциплин (от нашего родного песенно-инструментального фольклора и истории музыкальной культуры Беларуси до философской мысли Беларуси). Но есть обещание руководства нашего вуза и твердая уверенность в том, что через два года «музычнае беларусазнаўства» станет специальной отраслью, в которую вольется новый приток студенческой молодежи. Пока же я стремлюсь делать всё, чтобы сохранить и продолжить сложившуюся традицию, создавая научно-методический фундамент для обучения будущих воспитанников».

На пути к заинтересованному читателю ее новая книга, в основе которой авторский перевод на русский язык монографии «Гісторыя музычнай культуры Беларусі да XX стагоддзя», изданной в 2012-м, к юбилею академии музыки, и год назад размещенной на сайте учреждения. Более двух лет Ольга Дадиомова занималась переводом и дополнением этого труда, дабы с ним смогли познакомиться коллеги в других странах. Также с целью продвижения знаний о нашей художественной культуре начала сотрудничать с московским журналом «Учитель музыки». Там она публикует материалы об историческом пути отечественного музыкального искусства, о его деятелях. И разве могут не привлечь внимание, например, очерки под заголовками «Музыкально-историческое наследие Беларуси как общее достояние нескольких народов», «Жизнь и творчество Глинки: взгляд из Беларуси», «Чайковский и музыкальный мир Беларуси»! Нынче, когда мир отмечает 250-летие со дня рождения Михала Клеофаса Огинского, его личность стала наиболее примечательной в контексте новых публикаций.

«В судьбе Огинского воплотились типологические качества культуры Беларуси как общего достояния и «объединительницы» нескольких народов, как культуры-донора и переводчика в диалоге славянского, общеевропейского запада и востока. И еще в этом году исполнилось 175 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Вспоминая о такой знаменательной дате, важно было высветить его связи с нашей культурой. Ведь они существуют и прослеживаются через деятельность уроженцев Беларуси — Николая Зарембу, наставника Чайковского в консерватории,



Концерт в Свято-Николаевском костеле поселка Мир.



Доктор искусствоведения, профессор Ольга Дадиомова.

и Константина Горского, блестящего исполнителя, скрипача-виртуоза; через творчество Осипа Козловского и его ученика, упомянутого Михала Клеофаса Огинского; через музыку крупнейшего современного композитора страны Дмитрия Смольского, исследования нашей коллеги Екатерины Дуловой и ярчайшие интерпретации наследия русского классика молодыми белорусскими исполнителями».

Какая бы тема, какая бы творческая школа, какое бы громкое имя ни оказывалось в поле зрения Ольги Дадиомовой, она едва ли не всегда найдет и обоснует определенную причастность объекта научного внимания к истории нашей отечественной культуры, докажет глубинную связь того или иного художественного явления, факта с белорусским музыкальным ландшафтом. Велика ее личная заслуга в том, что сложные очертания этого самобытного, многообразного, неповторимого ландшафта, как минимум на полтора столетия упрятанного за пелену забвения, открываются для всех. А неожиданные открытия принципиально изменяют, расширяют представления о месте и роли белорусов в развитии культурных традиций Европы, питают и обогащают нашу историческую память и самосознание, повышают самооценку народа.

Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства (в области критики и искусствоведения), Ольга Дадиомова поощрялась стипендией Главы государства, награждена медалью Франциска Скорины, нагрудным знаком Белорусского союза музыкальных деятелей «За ўклад у развіццё музычнага мастацтва», грамотами, благодарностями, дипломами ряда ведомств и организаций, в том числе международных. Разумеется, высокая оценка ее талантливого труда, видное место в обществе, уважение в мире науки и творчества не защищают от проблем, в том числе и финансовых, сопряженных с постоянной и разносторонней деятельностью. Но как не похожи они на проблемы, которые доводилось решать «саматугам» лет 30 назад! Думаю, именно то незабываемое время закалило характер исследователя и выработало привычку первопроходца — рассчитывать на собственные силы.

«Тогда мне в голову не приходила даже мечта о том, чтобы получить командировку за пределы Беларуси на поиски материалов по отечественной истории музыки. Да и не было уверенности в результативности тех поисков, осуществлявшихся по замысловатому маршруту: через Санкт-Петербург и Москву, Вильнюс, Варшаву и Краков, Франкфурт-на-Майне и Брюссель. Мне и правда приходилось долгое время искать музыкальные артефакты на свой страх и риск, не надеясь, что кому-нибудь они понадобятся. Оказалось, все это не напрасно: сотни стародавних произведений, относящихся к музыкальному наследию Беларуси, переданных исполнителям, коллегам и студентам, зазвучали

в репертуаре лучших солистов и коллективов, даже две композиции в оперном жанре («Фаўст» Антония Генрика Радзивилла и «Чужое багацце нікому не служыць» Яна Давида Голланда) были поставлены на сцене нашего академического Большого театра.

И вот сегодня, готовя к изданию новую книгу, я специально не обращаюсь за финансовой помощью, хотя уверена, что нашла бы поддержку и в государственных учреждениях, и в частных структурах. Но помощь каким-то чудесным образом приходит. Уже ощущаю ее со стороны минского издательства «Ковчег». Уже интересуются будущим изданием учебные заведения и заказывают его в типографии. Но все же, по большому счету, в своем ощущении и отношении к работе я по-прежнему считаю восстановление отечественного музыкально-исторического наследия своим личным делом. Потому что знаю и всегда подчеркиваю: только благодаря подвижническому труду исследователей, многих и многих наших коллег, выдающихся музыкологов, историков различных областей белорусского мира (начиная от Адама Мальдиса, Гурия Барышева, Анатолия Грицкевича) Беларусь стала единственной страной на всем земном пространстве, в которой при жизни нашего поколения осуществилась полная реконструкция всех музыкально-исторических эпох, в разных сферах и направлениях. В научном — через поиски, находки, всесторонний анализ, создание обобщенных концепций и публикацию исследований; в педагогическом — через создание целых отраслей знаний и соответствующих дисциплин во всех учебных заведениях искусства и культуры страны, издание учебников, учебных программ и хрестоматий; в творческом — через исполнение в разных уголках нашей страны, в интерпретации лучших музыкантов, чудом сохранившихся и чудом найденных старинных произведений».

* * *

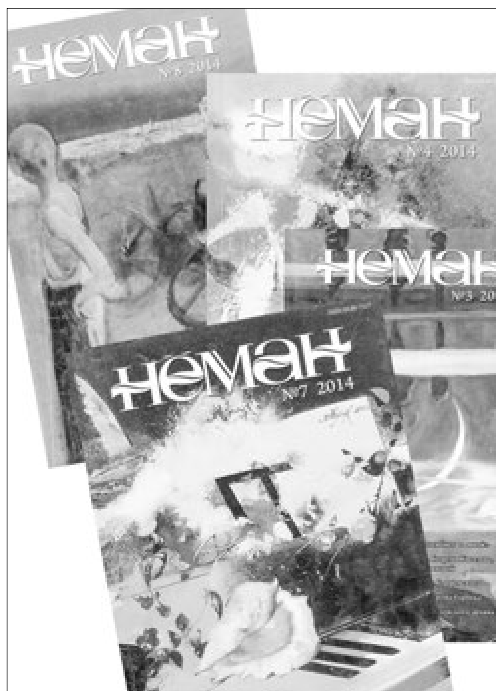
Подготовка творческих проектов, учебных материалов, занятия с учениками... Но главным делом в ближайшем будущем станет для нашей героини написание новой работы под названием «Музычная культура Беларусі: гістарычны лёс і творчыя сувязі». Несомненно, что в ней на современном уровне будет обобщен и переосмыслен богатейший материал многолетних исследований. Опытный автор-аналитик и целеустремленный просветитель, Ольга Владимировна четко представляет свою научную задачу. Но как человек ответственный и творческий она избегает разговоров о том, сколько именно времени понадобится на воплощение задуманного. Ведь бесчисленные и разнообразные труды профессора Дадиомовой, от популярных очерков до монографий, — это всегда результат живого, подвижного креативного процесса, который вряд ли можно регламентировать временными рамками. Размышляя, она творит. Попросту говоря, работает постоянно, много, быстро. А юбилей свой воспринимает с улыбкой: «Пока есть перспектива, рано подводить итоги, потому что жизнь — впереди».

Светлана БЕРЕСТЕНЬ
Фото автора, а также из архива Ольги ДАДИОМОВОЙ.



С точки зрения рецензента

Последние романтики XIX столетия



Роман Олега Ждана «Не погибнет со мной» *(О. Ждан, «Не погибнет со мной» // Нёман, 2014, № 3,4,7,8)* имеет непростую историю. Идея этого проекта была задумана еще в 60-е годы в серии «Пламенные революционеры», но смогла реализоваться только сейчас — в исторически изменившемся мире, в условиях новой культурной парадигмы. Художественное осмысление истории О. Жданом не вписывалось в идеологические и эстетические каноны ни застойных 80-х годов, ни все разрушающих 90-х. Поражает мужество автора в его противостоянии официальным доктринерам и его провидческий талант — отображенные им события российской истории 60—90-х годов XIX столетия явно резонируют с днем сегодняшним, с XXI столетием.

На исторические темы, начиная с В. Короткевича, у нас писали и пишут многие. А. Бутевич, Л. Дайнеко, В. Орлов, А. Наварич, Л. Рублевская... Достойнейшие авторы и достойные у них тексты. Только у О. Ждана свое восприятие истории и свои художественные задачи. Писатель пытается разобраться не столько в исторических **событиях**, сколько в их нравственном наполнении — с позиции истинного гуманитария, а если точнее — с точки зрения христианского понимания человека и развития мира.

Роман «Не погибнет со мной» — сложное художественное целое. Текст выполнен в формате интеллектуальной прозы. С использованием технико-комбинаторных, во многом эклектических и хаотических методов постмодернистской поэтики. По жанровой модификации это одновременно роман документальный, роман-хроника, роман событийный и роман-исследование, роман-полемика и роман-монолог от я-повествователя.

Проблема власти, личности и народа — основные логические центры, вокруг которых организуется художественное поле романа. Образным же центром, по замыслу автора, является достаточно противоречивая и теперь до конца не разгаданная фигура Николая Ивановича Кибальчича. Однако в «полный голос» этот герой заговорит только к концу повествования. Текст наполнен множеством голосов поколения народовольцев, поколения, кото-

рое выросло на идеях народнического движения — протестного движения молодежи 70-х — начала 80-х годов XIX века.

При всем этом О. Ждан формально пытается самоустраниться от прямых оценок исторического времени, передавая эти функции повествователю — литератору и издателю Павлу Сильчевскому. Павел Дмитриевич был непосредственным участником событий, но вместе с тем он оценивает те события уже спустя годы с позиций начала XX столетия. Но это и авторская оценка, его концепция истории, его философия. С учетом общественной и исторической мысли уже XXI столетия.

Весна 1889 года. Новгород-Северская гимназия празднует 100-летие. Это — отправной пункт повествования. Далее автор будет фрагментировать текст, смешивая временные и пространственные пласты и событийное действие.

Восприятие истории у О. Ждана многомерно. Удивительно сложно, многолико и многоголосо передана атмосфера исторического времени, в котором доминировали политический диалог, дискуссия, столкновение концепций и взглядов. По мысли автора, молодежное движение в России есть следствие развития общественного сознания. «*Все поколения и сословия болели переменами, как корью, каждый мало-мальски мыслящий человек строил и предлагал свои спасительные планы. Все испытывали потребность откреститься, очиститься, откупиться, проклясть и присоединиться*».

Как должно жить по законам природы и правды? — этот вопрос занимал умы всего просвещенного населения страны. Но ни брошюры народнические, ни роман Чернышевского ответить на него не могли. Они только формулировали вопросы.

«*Я изначально не собирался писать книгу о «пламенном революционере...* — напишет О. Ждан в своем письме автору этой статьи. — *Кибальчич в моем понимании не революционер по душевному устройству, он человек, вовлеченный в протестное движение молодежи по разным причинам, в том числе несправедливостью по отношению к нему судебной машины*».

Так что же представляет собой Кибальчич в дискурсе О. Ждана?

Герой родился в семье потомственного священника. По законам семьи и генетики, он должен был связать свою жизнь с церковью. Этот сан наследовался в их семье второй век. И этим фактором многое детерминировано в характере героя. Отсюда идут «корни» его уравновешенного, даже «самоустраненного» поведения. «*То было выработанное поведение людей, из рода в род наследующих духовный сан: нет в мире ничего удивительного, кроме Бога, даже самое таинственное, рождение и смерть, предопределено*». Кроме того, в их роду произошло слияние русской и сербской крови, что также не могло не повлиять на свойства его характера. Отношения Кибальчича с отцом — это отношения притяжения и отталкивания. Отец хотел, чтобы Николка поступил в духовное училище. И он туда поступил, а затем, тоже в угоду отцу, и в Черниговскую духовную семинарию пошел. Отучился два года. И вдруг забунтовал. Вернулся в Новгород-Северский, выдержал экзамен в 6-й класс гимназии. Вот тогда отец, все дальше и дальше отдалявшийся от мирской жизни, и отказал ему в помощи. И только перед смертью признал и свою вину в несложившейся судьбе сына. Помогали Кибальчичу дед Максим и старший брат Степан — военный врач. Он убеждал младшего брата стать доктором: «*Нет службы более угодной Богу, чем докторская!*» Николай же почему-то выбрал Институт путей сообщения. Хотя позже, и не исключено, что под влиянием того же брата, Кибальчич перейдет в Медико-хирургическую академию.

Мировоззрение героя в определенной степени складывалось под воздействием социума — хотя он и сопротивлялся этому, пытаясь сохранить свою нетипичность, непохожесть, **свое** понимание взаимоотношений человека и мира. Незаметно для себя, не стремясь к этому, Кибальчич был вовлечен в модные тогда поиски демократических путей развития российской государственности.

Автор не дает нам возможности проследить путь становления и развития мировоззренческой парадигмы героя. Он не открывает его внутренний мир, не проникает в его душу, не показывает его сомнений, метаний, не показывает его внутренней боли, нравственной борьбы. Герой избегает рефлексии, самоанализа. Он раскрывается через поступки, спор, полемику, множественные диалоги.

Студенческими умами завладевает идея народа, иллюзия о его всегдашней готовности к протесту и даже социализму. Лидировала Медико-хирургическая академия, которая была настроена более радикально, чем другие учебные заведения. Произошел некий сдвиг в умах и намерениях молодых людей. Даже медицина была отодвинута на второй план. Главным для них казалось служение народу. И даже не служение, а **искупление** своей вины перед народом. И молодые люди устремились в деревню.

О. Ждан связывает начало террора не с убийством Мезенцева и даже не с выстрелом Веры Засулич. Оно началось раньше. Более того, по мысли автора, террористическое движение было направлено не вовне, а внутрь, не на правительство, а на самих себя. Отсюда и родилась идея вины перед народом, которую интеллигенция должна была искупить. «*Виноваты были все*». Общество бурлило. «*Уже Иван Аксаков предложил дворянам торжественно и принародно сложить с себя это позорное звание. Уже стыдно было признаться, что лето ты провел не среди бурлаков, поденных рабочих, сапожников, золотарей, а среди братьев и сестер, с милыми родителями. Позорно было не знать... Бакунина, Лаврова, Ткачева*».

Кибальчич тоже ушел в народ, но не для того, чтобы его изучать, а для того, чтобы убедиться в правоте своего «знания» деревни. Он видел там людей добрых и злых, щедрых и жадных, прямодушных и хитрых. Но главное, они — консервативны, не было у них никакой склонности к борьбе.

В полемике с радикально настроенным бунтарем-индивидуалистом ЭнТэ (это — образ-идея, фикция) Кибальчич впервые формулирует свое отношение к революции и государственному перевороту. Герой был против насилия, но вместе с тем считал, что «*реформаторская энергия государя уже реализовалась, иссякла. Что же дальше? Путь один: просвещение всех, от крестьянина до сенатора. Новые реформы должны быть вызваны новым уровнем просвещения общества. Далеко не все зависит от воли правительства и государя*».

Итак, просвещение — вот идеологическая «платформа» Кибальчича-политика. Только не всегда герою О. Ждана удается устоять на этой «платформе», что в итоге и сделало его личность трагической.

Писатель моделирует сложное по архитектонике художественное повествование, где индивидуально-личностное сублимируется с общественно-социальным. Автор создает яркий образ времени, который по своей художественной значимости существенно превышает функцию фона. Народническое движение отображено широко и объемно, в деталях: «*Сходки происходили едва ли не каждый день, и, казалось, ради них, а вовсе не для учения, собралась здесь молодежь со всей России... обсуждалось не только, как жить и что делать, что читать и как понимать, о чем думать, а и что есть, пить, носить, на чем спать российскому интеллигенту*». Отображенное время кажется соткано из противоречий, противоборства различных концепций и мнений. С одной стороны, утверждения Бакунина, что «*в России столько революционеров, сколько учащейся молодежи, и что страсть к разрушению — страсть творческая*». С другой — заявление Лаврова, что «*наука — единственная сила в переустройстве общества*». «Время» было на стороне Бакунина. Позиция Лаврова большинству казалась неубедительной, сомнительной. А были еще и «троглодиты», игнорировавшие лавристов, те, в свою очередь, не признавали, осмеивали «троглодитов» — «*за нарочную дикость и немытые уши*». А были и такие, и их тоже было много, что

«*признавали всё понемногу и ничего в целом»*. Были еще и «долгушинцы», призывавшие идти в народ, чтобы возбудить его к протесту во имя лучшего общественного устройства.

В воздухе носилось много идей: от молчаливого и безропотного служения униженному народу до кровавого бунта, когда «*не лучше ли пролить кровь тысяч, чтобы спасти миллионы*». Где главная, которой можно посвятить жизнь?

Кибальчичу импонировали суждения Лаврова. «*В самом деле, что, как не образование, поможет темной России*, — все больше убеждался герой. Вместе с тем будущий «Техник» не спешил на «баррикады». До осени 1873 года он спокойно наблюдал за происходящим и только после ареста долгушинцев возмутился: «*За что?*» Именно это противозаконное действие властей и подтолкнуло героя. Он включился в молодежное движение, начал посещать сходки и — усиленно искать ответы на поставленные временем вопросы.

Первый арест Николая Кибальчича состоялся осенью 1875 года.

По России было арестовано около 4 тысяч молодых людей, среди них и Николай Кибальчич. Это был небывалый политический процесс, инициатором которого стал прокурор Жихарев. Одновременно судили «*сто девяносто трех и всех разом*». Масштаб протестного движения, как и сам политический процесс, позволили автору сделать вывод, что «*к ответу призвано ни много ни мало, а поколение. И что ж ему, поколению, молчать?..*» Автор углубляется в суть конфликта. Кто виноват в противостоянии? Правительство допустило ошибку, когда у Казанского собора разогнало студентов. Молодежь хотела диалога с властями. Она хотела быть востребованной, а «*за ней погнались с лаем и улюлюканьем*». Вот тогда поколение и «*поняло, что история не рок, а дело рук человеческих, почувствовало себя гражданами...*».

Тюрьма для Кибальчича была первой политической школой. Хотя и здесь он пытается сохранить свою индивидуальность. После того как в Петербурге в ДПЗ розгами высекли политзаключенного Боголюбова и в ответ на это прокатилась очередная волна жестокостей со стороны социалистов, Кибальчич недоумевает: «*Что общего у него с ними? Ничего*».

Автор пытается отобразить суть всех, или почти всех, противоборствующих сил. С одной стороны, крайний радикализм организаторов «Тайной дружины» — Стефанович, Дейч, Бохановский — с их тезой, что «*пора российскую колымагу перевернуть*». С другой — «*нельзя рушить старый дом, не имея хотя бы временного жилища. Не сносят храмы, не узрев нового Бога. Или хотя бы пророка*».

Кибальчич все больше будет склоняться к тому, что путь к социализму идет через просвещение, физику, химию, физиологию. «*Социализм — общество образованных людей, для диких больше подходит монархия*». Идея переворота видится ему утопической, ибо время революций еще не настало. Он убежден, что «*восстание возможно, если у народа нет надежд и ненависть сильнее чувства опасности. Бунт поднимается со дна жизни, без подготовки и сокрытия намерений*». Революция — постепенно нарастающее следствие жизни общества. Есть еще у людей надежда на царя и нет отчаяния. Да и вообще, «*злом невозможно погасить зло. Путь зла долгий, непредсказуемый и приводит к еще большему злу*».

Мотив «антизла» — первый шаг автора к христианскому императиву.

Судебный процесс о пропаганде в империи закончился большим позором для России. «*Всероссийский конфуз получился вместо суда*». Мир недоумевал, «*за что и почему продержали в тюрьмах двести человек от трех до четырех лет. Девяносто оправданы, многим зачтено время предварительного заключения, всерьез пострадало только двадцать*».

Кибальчич, дожидаясь суда, провел в тюрьмах Киева и Петербурга два года и семь месяцев, чтобы, наконец, тем же судом быть выпущенным на свободу в связи с недостатком улик.

Определенную роль в становлении политического сознания Николая Кибальчича сыграет убежденный революционер, «*не то бабувист, не то бакунист*» Тимофей Квятковский. Полемика с ним «оттачивала» убеждения героя, он готов был признать необходимость революции, но не стихийной, т. е. кровавой, а «*подготовленной десятками лет развития, просвещенной, продуманной, с которой согласны все и требуют все*». Кибальчич не понимал, «*почему — в хаос и из хаоса?*». «*Революции не делают, они — свершаются*». А для этого необходимо готовить общественное мнение, необходима основательная, понятная всем программа, наука о революции. На тот момент, по мысли героя, Россия не готова была к революции.

Николай Кибальчич не ушел из политики, как намеревался это сделать в тюрьме в минуты отчаянья. Жизнь вскоре свела его с народовольцами: Желябовым, Фроленко, Верой Фигнер и другими. Судьбоносной оказалась встреча с Александром Квятковским. С этой встречи и началась новая жизнь Кибальчича. «*Очередная новая жизнь*». Хотя, как подчеркивает автор, никто не мог повлиять на выбор Николая Кибальчича — ни Квятковский, ни брат Степан, ни даже отец. Герой сам, по своей воле и вопреки всякой логике несколько раз ее круто менял. Так было в Чернигове, Новгород-Северском и дважды в Петербурге. И все это были разные жизни.

Начинался новый этап в истории развития общественного движения России. Хождения в народ потеряли свою актуальность. Заметно меньше стало разговоров о любви к народу и больше злобы — к правительству, полиции, к русской истории, к предыдущим поколениям и даже к народным кумирам — Чернышевскому, Чайковскому, Натансону, Долгушину. «*Впечатление было таково, что в огромной топке стало больше жара*».

Вместе с этим закончилось и время реформ. Да и сами реформы кончились. А время революции еще не наступило. «*Далее что?*» — задается вопросом повествователь. «*Значит, бунт и переворот*». «*Если оглянуться, не так уж далеки они оказались друг от друга — Бакунин, Лавров, Ткачев, Исполнительный комитет*».

С исторической арены уходило поколение романтиков, которое было далеко от народа и его запросов, поколение, которое «*с луны свалилось*». Но и новое поколение было не лучше. «*Все они — и те, и эти — были поражены идеей, как массовой душевной болезнью*». Остается надежда на новое поколение, «*у которого будет своя идея, а эта перестанет интересовать*». «*Несомненно,* — уверен один из героев дискурса, — *то первое благородное движение выродилось. Террор — признак малочисленности, а значит, и поражения поколения*».

В 1878 году Кибальчич принимает предложение Квятковского и Александра Михайлова и вступает в кружок под названием «Свобода или смерть». Кружок входил в общество «Земля и Воля» — впоследствии его часть образовала партию «Народная воля». Предполагалось, что именно эта партия станет кумиром для мыслящей интеллигенции. «*Пора понять, что в России слышен только револьвер. Каждый должен отдать партии главное — жизнь*», — говорилось в документах съезда общества «Земля и Воля».

Начинается последняя, трагическая страница жизни выдающейся личности российской истории Николая Ивановича Кибальчича.

Кибальчич-народоволец посвящает себя изобретению взрывчатых веществ и устройств. Он занимается изготовлением динамита в домашних условиях. Еще в Петербурге, в институте инженеров он возмечтал использовать энергию вращения Земли. Затем он выдвигает идею о двигателе летающей конструкции, способах управления этой конструкцией, и вместе с этим изучает свойства нитроглицерина, пироксилина, артиллерийского пороха.

Кибальчич становится главным техником Исполнительного комитета, принимает участие в покушении на государя в Одессе и под Александровском, а также под Москвой, в Зимнем дворце и в последнем — в Петер-

бурге 1 марта 1881 года. И при всем этом он категорически против убийств. Это и есть главное несоответствие между его «хочу» и «надо», или «хочу» и «могу». Хотел служить народу, отечеству, науке, а служил идее. Вместе со своим поколением. «*Каждое поколение должно найти средь себя смелых и бескорыстных, иначе как жить всем другим? Что ожидает Россию, все человечество без таких вот людей?*

Так славно было чувствовать себя одним из них». Это было народовольческое понимание патриотизма. Патриотизма как служения идеи.

Автор сосредотачивается на нравственной составляющей деятельности народовольцев. «*Чего вообще хотят эти люди?*» И вообще, «*как ему, сыну священника, эти две цифры — десять и тридцать три? Десять разорванных динамитом невинных солдат и тридцать три покалеченных*».

Нравственная идея как базис государственной власти России взращена на почве православия. «*Мы — православные, и недооценивать этого нельзя. Вот если рухнет оно, православие, тогда иное дело, а пока лишь только добрая воля может принести успех и результат*».

Охваченные идеей равноправия, свободы для всех, молодые люди отошли от христианских приоритетов. «*Страшен лишь первый выстрел, а после покушения Каракозова и особенно Соловьева не страшно*». То было поколение, возросшее в свободе. И это было главной причиной их выбора. Не методы воспитания сыграли свою роль, не общественное неустройство, не влияние Европы, а именно это, ибо «*в сущем мире все предопределено*» (8,6). Правда, была еще и жажда абсолютного. Абсолютной свободы, равноправия, справедливости. «*На дрожжах идей и личной неудовлетворенности забродила реальность. Поскольку их, идей, было мало, а неудовлетворенности много, выбрали самую решительную. При помощи любой, даже одной-единственной идеи можно объяснить и построить мир. Годится для такой цели и Бог, и безбожие, и царь, и народ. Главное — вера*». Вера в идею, добавим. Вместе с тем, каждое поколение — порождение своего времени, «продукт» своей эпохи. Ибо бытие определяет сознание.

Молодые люди стали заложниками идеи, в которой нет правды, она не «рождена» жизнью и не востребована ею. «*Жизнь идей и жизнь натуральная должны развиваться рядом и бесконечно поправлять одна другую. Нет ничего страшнее оптимизма, что внушает мысль, а не натуральная жизнь*».

Восприятие мира у Николая Кибальчича также трансформировано идеей, он «обесчеловечен» ею, внутренне деформирован — отсюда и его душевная черствость. Ему не нужны ни старые, ни новые друзья, ему, как и его соратникам-народовольцам, «*идеи... довольно для счастья вполне*». Такими же «обесчеловеченными» предстают и другие народовольцы. Во время допросов Желябов глядит равнодушно и презрительно, Перовская переполнена ненавистью и отчаянием. Но всех их превзошла Вера Фигнер, уже вечером 2 марта она предлагает сделать новое покушение на Александра III — это особый, женский фанатизм, гораздо страшнее мужского.

Именно поэтому адвокат Герард видит в народовольцах некую скрытую ненормальность. Ибо «*нормальный, полноценный человек выше всего поставит свое физическое существование, он понимает временность любых идей, изобретений, и кроме того, не может быть уверен в их правильности, значительности. А жизнь — вот она, во мне и вокруг меня. Она и есть мерило сущего. Нет ее — и ничего нет*».

«*Ты убийца, а не гений!* — так обращается к Кибальчичу полковник отдельного корпуса жандармов Никольский. — *Преступник, а никакой не гражданин! Таких, как ты, следует не казнить, а всю жизнь возить на эшафотных дрогах по городам и весям или содержать в зоологическом саду*». Никольский-аналитик делил движение социалистов по категориям: идейные и практические руководители (Желябов, Александр Михайлов), исполнители (Рысаков и Тимофей Михайлов); бунтовщики по мировоззрению и по

темпераменту, случайно примкнувшие и т. д. И только Кибальчича он не смог разгадать, тот так и остался для него непознанным социальным типом.

О. Ждан в образе Кибальчича совмещает две исторические судьбы. Совершенно разные — ученого и революционера. *«Ты,* — говорит Кибальчичу его друг и соратник Сильчевский Павел Дмитриевич, — *не революционер, ты ученый, ты можешь реализоваться только в науке, но имя твое погибнет вместе с тобой, никто не будет знать о тебе, будто и не жил на земле!*» Однако ошибся Павел Дмитриевич. Имя Кибальчича-революционера в России не погибло вместе с ним. Без Кибальчича «Народная воля» осталась бы «*шайкой с кастетами и ножами*», и только благодаря ему, а не Желябову и Перовской, тем более малограмотному Тимофею Михайлову и совсем потерянному от содеянного Рысакову, она осталось в истории России.

Поступки Кибальчича так же противоречивы, как и его характер. Он, ученый, уходит из науки, ибо считает это занятие на тот момент недостойным, «*как недостойно желать женщину, если ее м-мучает голод и страх*». Кибальчич противник террора, пишет программную статью партии под названием «Политическая революция и экономический вопрос» и помещает ее в «Народной воле». Он отрицает любовь к женщине, ибо такая любовь не приносит счастья, а только разочарование. Счастье приносит надежда. Но и надежды на революцию у него не было. Уже накануне, 1 марта, ему «*вдруг стало вполне ясно, что гибель императора ничего не изменит*». Однако: *«Честь партии требует».* «*Но что — честь, если речь о бессмысленной гибели многих людей?..*» И несмотря на внутреннее несогласие, герой участвует в кровавой акции, радуясь только тому, «*что нет человека на земле, который бы думал сейчас о нем*». Что гложет героя? Совесть за свой поступок или жалость к близкому человеку? Брат Степан летом прошлого года написал: «*Догадываюсь, чем ты занимаешься. Одно скажу: не хочу тебя знать*».

Такими же противоречивыми чувствами Кибальчич полнился и в день покушения. Его радовала неудача товарищей — значит живыми останутся. Но вместе с тем: «*...все — даром? Опять напрасно погибнут Александр Михайлов, Колодкевич, Ширяев, Тригони, Желябов? Еще плотнее укутает землю тысячелетняя российская дрема?*» И в итоге, вопреки всякой логике и даже физиологии, следует знаменитый «чисто кибальчичевский» поступок: он быстро, как мог, направился к дому — **спать**. Именно этого **спать** до сих пор не может разгадать история. Как не смог этот поступок до конца понять полковник Никольский, в глазах которого долго стояла жуткая картина покушения, мастерски выполненная писателем, когда «*кругом стонали, кричали, копошились, ползли раненые. Детский голос звал — просил то ли пощады, то ли помощи. Раненая лошадь выбивала копытами фонтаны бурого от крови снега*». Никольский насчитал раненых и убитых около двадцати человек. Вот этих — убитых и раненых, детского голоса и смертельно раненой лошади — полковник не мог простить Кибальчичу: «*...проспал, не имел столь замечательной картины перед глазами. Какие же сны видел ты? Уж ясно, не окровавленного старика в изодранной шинели, с перебитыми костями ног. Не лошадь с выпученными глазами, не мальчика, не слышал его утихающий крик*».

В нравственной сути характера Кибальчича пытается разобраться и адвокат Герард. Он считал, что массовое движение молодежи нравственно выродилось еще в апреле семьдесят девятого года. Это «*благодаря им на Руси значительно подешевела кровь*». Герарду трудно было защищать Кибальчича, ибо «*все самое кровавое за эти два года подготовлялось его холодными руками, многократно обдумано, оправдано, решено*». А главное «*никакого раскаяния или страдания не видел я на его лице*». В итоге адвокат признает, что Кибальчичу «*в сущности, никогда не была дорога ни своя, ни чужая жизнь. Все ему присуще, что и другим людям — любовь, печаль,*

ненависть, страх, радость, — но все в малой степени, в зародыше, поскольку нет места чувствам, если человеком овладевает идея-фикс».

Писатель утверждает, что «*каждый, как может, провидит будущее*». Такое ли будущее провидел себе Кибальчич? «*О таком ли поле деятельности мечтал он, приехав в Петербург? Он, склонный к уединению, к ученым занятиям, знающий несколько языков?*»

Государственный обвинитель Муравьев увидел в Кибальчиче новый тип борца в социально-революционном движении, наиболее опасного, ибо в его руках наука предстала носителем зла. Вместе с тем он рассматривает Кибальчича и как жертву народовольческого движения.

Кибальчич как ученый «проявит» себя только перед смертью. Словно спохватившись, боясь не успеть, герой все свои мысли направляет на реализацию своей главной научной идеи — проект воздухоплавательного аппарата. Николай Иванович решился на работу, которую давно откладывал на потом. Это и было его завещание потомкам. «*Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мной, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать своей жизнью*».

«*Трагедия русского общества,* — подчеркивает П. Васюченко, — *состоит в безмерном одиночестве мыслящих совестливых, одаренных интеллектуалов*» (Васюченко П. Петроглифы. О литературе во времени и пространстве. // Всемирная литература, 2007, №1, с. 204.). Николай Кибальчич также переполнен чувством одиночества. Страх одиночества впервые постиг его после смерти матери и укрепился, когда отец отправил его в Мезень к деду Максиму. Из-за страха одиночества он бежал из Черниговской семинарии, затем из-за него перешел из Института инженеров путей сообщения в Медицинскую академию. Одиночество же подтолкнуло героя пригласить в Жорницу совершенно чуждого ему ЭнТэ, а впоследствии сбежать от него к брату. С новой силой страх одиночества постиг его после первого ареста, почти три года сверлил душу в Киевском замке. Спасаясь от страха одиночества, герой в ДПЗ бросился к Брешковской, сблизился с Тимофеем Квятковским. Позже, выйдя на волю, из-за этого же страха он сблизился с народовольцами. И теперь, боясь остаться один, он хочет и умереть вместе с ними.

Уже в финале в Кибальчиче проявляется его второе «я» — «просто человек». Герой впервые сожалеет, что не знает своих соратников «*как человеков*». «*Почему ни разу не пришлось поговорить по душам, выслушать и рассказать о себе?*» Это второе «я», проснувшееся в Кибальчиче перед казнью, приведет его к мысли, что «*прозрачный и жалкий ручеек его собственной жизни истлел, то приближаясь, то отдаляясь, рядом с океаном вечности*». В этом ощущении было нечто «*бессмысленное и счастливое*».

Кибальчич, как и все его поколение, были распяты своим временем. Отсюда тянутся нити их трагических судеб.

Кибальчич не страшится предстоящего суда, для него гораздо важнее суд потомков. «*Что скажут о них потомки? Нет суда более пристрастного и несправедливого, чем их, грядущих поколений суд. Некому будет возразить им, обладателям своей временной правды и истины, своя злоба днями будет занимать их.*

Но, может быть, смерть оправдает и примирит», — пытается оставить себе хоть слабую надежду на бессмертие герой. Только напрасно! Самое страшное для Николая Ивановича случилось потом, уже после его смерти. Имя Кибальчича навсегда было вычеркнуто из списка выпускников Новгород-Северской гимназии, «*поскольку не гордиться, а стыдиться должно этого имени, не слава оно гимназии, а позор*».

Нравственные искания романа связаны с идеей Христа. Кибальчич удалился от христианского Бога. Но разве он не пытался, не хотел жить по христианским заветам? С христианской целью? Жертвуя своей жизнью во благо всего народа? Только народ не принял его жертвы. Время не понимало своих героев. А «*многие ли понимали*

Христа в последний день его земной жизни? Сколько времени прошло от смерти до понимания?» Народ понимал только одну правду — Божию: «Не убий». Двух правд русский народ признавать не хотел. Даже после случившегося, осудив террористов, народ надеялся на помилование, царь должен простить убийц, если чувствует связь с ним, народом. «*Вот великая минута самоосуждения и самооправдания*». «*С отмщения ли начинать новому государю?*» Нет, не простил новый царь террористов, следовательно, тоже нарушил основной закон христианской жизни. «*Правда есть Бог, неправда — рознь, правда — единство*». Или, говоря словами одного из героев романа: «*Убийцы... Убийцы с обеих сторон. Вместо кровной мести — классовая и государственная. Око за око, зуб за зуб... На что, интересно, надеются?*»

О. Ждан главную причину трагического неприятия народом протестного движения видит в отступничестве последних от христианского — базисного — начала русской идеи. В отступничестве от законов Божьих. Народовольцев упрекали во многом: безнравственности, жестокосердии, разврате, мстительности, фанатизме, нехристианстве и т. д. Но при этом забывали о главном: «*неправда — рознь, правда — единство*». Правда есть Бог. Субстанциональной основой всего сущего на земле, по О. Ждану, являются не города и речки, «*а народная вера в грядущее, в добро и любовь. В конце концов, Бог у каждого свой, вера и безверие свои, а любовь к жизни единая. В этом и заслуга, и необходимость религии, какой бы она ни была, она объединяет и направляет людей*». Время безжалостно сместило приоритеты. «*Из народа и России сотворили кумира, ради них преступили главную заповедь. За это и предстанут перед Его судом*».

Автор усматривает уникальность развития российской истории в том, что она развивается по кругу. В 1901 году, когда студент Карпович с двух шагов выстрелил в министра просвещения Боголепова, начался ее новый «круг». Снова возникли «*их тени*». И опять появились новые палачи и новые жертвы. «*Выходит, гуманизм и жестокость идут рука об руку*». Как теза и антитеза. Возникает ощущение призрачности физического существования человека. «*Что остается после человека? Невыносимый вопрос*».

Приближалась эпоха «тотального катастрофизма»...

«*Братья! Поминайте наставников ваших!*» — призывает и предостерегает словами апостола Павла всех нас Олег Ждан.

«Наставники... это и временные победители, и окончательно побежденные. И вы, и я, и те, кто уже за нами».

* * *

Роман «Не погибнет со мной» — логическое продолжение художественной биографии Олега Ждана. Он является автором многих книг о современности и историческом прошлом. В том числе и таких, как «По обе стороны проходной» (1987), «Князь Мстиславский» (2010), «Гений» (2011). Тексты писателя — это как бы два уровня художественного отображения бытия: материального и духовного. Для него важно передать не столько атмосферу времени, его психологию, идеи, но и углубиться, постичь незыблемое, общечеловеческое, субстанциональное, что делает мир духовно богатым, устремленным в будущее.

Дискурс О. Ждана не только о народовольцах, об историческом прошлом, он и о жизни современной. О современной, думается, даже больше.

Валентина ЛОКУН

С точки зрения рецензента

Наша жизнь — не игра!

Помните пронзительно исповедальную, хватающую за живое песню Булата Окуджавы?

Над гранитной Невой гром стоит полковой,
Да прощанье не дорого стоит.
На германской войне только пули в цене,
А невесту другой успокоит.
Наша жизнь — не игра, в штыковую, ура!
Замерзают окопы пустые...
Господа юнкера, кем вы были вчера?
Да и нынче вы все холостые...



Не знаю, почему именно эта щемяще грустная мелодия вдруг сама собой всплыла в памяти и зазвучала в ушах, стоило мне взять в руки книгу Вячеслава Бондаренко под названием «Полководцы и военачальники Первой мировой — уроженцы Беларуси». Да, грустная правда, грустные слова, вроде как бы и не относящиеся напрямую к вполне серьезному изданию, не имеющему ничего общего с авторской песней. И все же, все же...

Впрочем, вопреки всем устоявшимся канонам, хочу начать обзор не с текстовой части книги, а с ее художественного оформления. Ибо оно безупречно. Медленно листаю страницу за страницей, и каждый новый карандашный портрет заставляет снова и снова больно сжиматься сердце. *«Господа юнкера! Собираться пора! Кант малинов, и лошади серы... Господа юнкера, кем вы были вчера? А сегодня вы все офицеры».* Генералы, если уже говорить конкретно о тех, кто запечатлен на старых фотографиях.

Не надо обладать чересчур богатым воображением, чтобы догадаться, как трагически непросто складывались биографии и судьбы большинства героев этой книги. Но как сказал другой поэт, *«времена не выбирают, в них живут и умирают»*. Так случилось и с нашими доблестными генералами, чей жизненный путь совпал с невиданными катаклизмами и потрясениями. Еще бы! Война, потом две революции, одна за другой в течение всего лишь одного года, далее Гражданская война, поставившая перед каждым из полководцев непростую альтернативу в духе знаменитого вопроса Максима Горького: так с кем же вы, господа генералы? Самое время *to take sides,* как говорят англичане, то есть определиться с выбором и

занять свое место по ту или иную сторону окопа.

И как следствие, невозможность в некоторых случаях даже проследить судьбу героя до момента его перехода в мир иной. Вот и в посвящении автора — памяти двоюродного прапрадеда генерал-майора Михаила Пантелеймоновича Михайлова дата кончины указана весьма приблизительно: «После 1917». Довольно часто повествование заканчивается и вовсе на минорной ноте: «Как сложилась судьба имярек в дальнейшем, пока установить не удалось». Обнадеживает лишь это «пока».

Ибо если возник интерес к теме, то найдутся и пути, и способы реализации научного (или даже просто любительского) поиска новых сведений и материалов. Наши архивы хранят еще множество тайн и ответов на вопросы, на которые «пока» нет ответа.

А интерес, судя по всему, есть, и немалый. 2014 год отмечен всплеском внимания к событиям столетней давности. И дело здесь даже не столько в круглой дате, ознаменовавшей вековой юбилей начала Первой мировой войны.

Лично мне представляется, что у наших историков, архивистов, литераторов, да и просто у образованной публики, коей не безразлично историческое прошлое своей Родины, проснулось некое запоздалое чувство раскаяния, что ли. Нечто очень смахивающее на угрызения совести. Дескать, что ж мы это, братцы, похоронили под спудом времени такую тяжелую и кровопролитную войну. А она ведь была! И не просто была, а жестоко прошлась по судьбам многих и многих миллионов людей «красным колесом», если вспомнить того же Солженицына.

Да, Первая мировая война («империалистическая», как часто называли ее простые люди) была страшно непопулярна в народе. Это правда. Свидетельствую как человек, лично знавший участников тех далеких событий. Оба моих деда воевали на фронтах Первой мировой (один дошел аж до Варшавы), и их фотографии той поры до сих пор украшают мою квартиру.

Поразительно, но факт. Угар патриотизма, охватившего все без исключения слои российского общества в августе 1914 года на момент оглашения царского манифеста о вступлении в войну (на волне этого неистового патриотизма даже Санкт-Петербург тут же переименовали в Петроград), так вот, этот угар быстро рассеялся. Далее потянулись суровые и, по большей части, безрадостные военные будни. Бесконечная вереница поражений, гибель армии Самсонова, тяжелые позиционные бои, нехватка оружия и боеприпасов, бездарность многих командиров, а главное — совершенно непонятная большинству рядовых солдат мотивация. Зачем воюем? Ради чего ввязались в эту кровавую бойню?

Впрочем, обо всем этом писано миллионы раз. И не секрет ведь, что война кардинальным образом ускорила радикализацию российского общества, завершившуюся сломом царского режима и расправой над членами монаршей династии, трехсотлетие которой с невиданной пышностью было отмечено в 1913 году, всего лишь за год до начала войны. Так что всем любителям и почитателям конспирологии стоит хорошенько подумать над событиями начала XX века. Ведь одними только масонскими заговорами да запечатанными вагонами события 1917 года никак не объяснишь. Все слишком сложно, слишком запутано и драматично.

И судьбы героев книги Вячеслава Бондаренко — лишнее тому подтверждение. Взять хотя бы судьбу «красного генерала» Антона Владимировича Станкевича, уроженца современного Поставского района. Кстати, единственного генерала царской армии, по словам автора, похороненного с высшими воинскими почестями у Кремлевской стены в Москве. На момент начала войны Станкевичу было уже пятьдесят два года. Солидный возраст! И огромный жизненный опыт, видно, помогший осознать боевому генералу одну весьма простую истину: всякая война с собственным народом бесперспективна.

Станкевич «белое движение» не принял, а попав в плен к корниловцам, проявил твердость духа, принципиальность и мужество. Его приговорили к повешению. Не к расстрелу, как боевого офицера и генерала, а к позорной, по мнению его оппонентов, казни в петле.

Забыли корниловцы старую пословицу о том, что на миру и смерть красна. Согнали жителей всех окрестных деревень полюбоваться на экзекуцию. Вот только «перформанса», выражаясь современным языком, у них не получилось. Достойный человек и смерть свою встретил в высшей степени достойно. Отсылаю читателей к волнующим страницам, живописующим сей весьма назидательный эпизод из биографии нашего земляка.

Кстати, и генерал-лейтенант Николай Триковский, трижды Георгиевский кавалер, успевший проявить военную доблесть еще в Русско-японскую войну 1905 года, уроженец Минской губернии, тоже перешел на сторону Красной Армии. По словам его сослуживца, *«этот старый вояка верил, что Россия одумается, армия восстановится и работы будет много для каждого, любящего Родину»*.

Увы-увы! Гражданская война есть гражданская война. Линия фронта в ней очень часто прочерчивается не просто по территориям. Она проходит по человеческим судьбам и даже по семейным узам. Брат против брата — это оттуда. Вот и Яков Давыдович Юзефович, следующий герой повествования, выходец из дворянской семьи литовских татар, магометанин по вероисповеданию (что не помешало ему дослужиться до командарма в царской армии), связал свою постреволюционную судьбу уже с Белой армией. Окончил свои дни боевой генерал в изгнании. В 1920 году он даже вел в Париже дипломатические переговоры о формировании еще одной Добровольческой Белой армии, уже непосредственно на территории Польши. Идея не успела воплотиться в жизнь, ибо Гражданская война закончилась раньше.

Трагично сложилась судьба и еще одного нашего земляка, генерала Владимира Зеноновича Май-Маевского, выходца из старинного белорусского шляхетского рода, уроженца Могилевской губернии. Талантливый военачальник, прославившийся своим беспримерным личным мужеством и бесстрашием, генерал не раз сам поднимал солдат в штыковую атаку, воодушевляя их своим личным примером. По отзывам тех, кто знал генерала, он отмахивался от пуль, как от безобидной мошкары, а *«его бесстрашие так передавалось войскам, что части шли с ним в атаку как на учение»*.

Вячеслав Бондаренко приводит любопытную подробность касательно биографии Владимира Зеноновича Май-Маевского. Оказывается, именно он стал прообразом генерала Ковалевского, кстати, тоже Владимира Зеноновича, блистательно сыгранного Владиславом Стржельчиком в знаменитом телефильме 70-х годов «Адъютант его превосходительства». Кто хоть единожды видел этот прекрасный фильм, навсегда запомнил внутреннее благородство и достоинство героя фильма, у которого был такой славный прототип. В Гражданскую войну Май-Маевский возглавлял какое-то время Добровольческую армию, но уже в 1919 году Деникин отправил его в отставку, а годом позже 53-летний генерал, кавалер десяти боевых наград, умер от разрыва сердца в одной из больниц Севастополя, буквально за несколько дней до эвакуации войск Врангеля из Крыма и последовавшего затем страшного террора, развязанного против «беляков» некоторыми наиболее одиозными личностями революционного лихолетья.

Однако оставим этот *«спор славян между собою»*, по известному всем выражению великого Пушкина. И поэт абсолютно прав. Всякие междоусобицы, к числу которых относятся и гражданские конфликты, — это *«вопрос, которого не разрешите вы»*. Особенно если пытаться решать его с наскока. К тому же, нас в первую очередь занимают события, непосред-

ственно относящиеся к Первой мировой войне.

Автор книги приводит вот такую печальную статистику. Из двадцати шести боевых генералов, чьи биографии стали предметом его исследования, шестеро погибли на фронтах Первой мировой войны, непосредственно участвуя в боевых действиях на передовой. Получается почти как в той песне: каждый четвертый.

Кто-то (как генералы Вильчинский и Будилович) скончался от ран, полученных в бою. Генерал-лейтенант Бицютко был смертельно ранен при обходе позиций. Еще один генерал, Лурье Михаил Васильевич, был убит разрывом снаряда непосредственно на командном пункте. Такая же смерть (от осколка снаряда) настигла и генерала Мамонтова в 1916 году. Годом ранее, в 1915-м, был смертельно ранен разрывом снаряда генерал-майор Мацеевский Адам Адольфович, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени и Георгиевского оружия.

Их могилы разбросаны по всему периметру тогдашнего театра военных действий. Увы, ни одной могилы на территории современной Беларуси. Кто-то упокоился в земле Польши, Украины, Литвы, прах других похоронили с воинскими почестями в семейных склепах и усыпальницах, кои тоже по большей части не сохранились до наших дней. Так, к примеру, случилось с генералом Мамонтовым. Его, самого молодого, кстати, и единственного полного генерала России, погибшего на фронте, похоронили 7 сентября 1916 года на Московском Братском кладбище, которое было снесено в тридцатых годах прошлого века.

Вот и выходит, что память обо всех этих достойных людях, независимо от их бело-красных симпатий и пристрастий, позволяют сберегать только такие вот книги, как та, которую написал Вячеслав Бондаренко. Труд, заслуживающий и всяческого уважения, и самой искренней благодарности.

Кто знает, как сложится судьба книги в последующие годы. Вдруг какой-нибудь молодой беллетрист, оттолкнувшись от документальных фактов, приведенных в каждой биографии, захочет написать исторический роман о драматических перипетиях столетней давности. Почему бы и нет? Отличный материал собрал Вячеслав Бондаренко, просто находка для любого романиста. А может быть, книга займет свое почетное место во всех «учебках» наших воинских частей, как весомое напоминание о неразрывности исторических процессов и верности боевым традициям нашей армии. Да, судьбы книг, как и человеческие судьбы, неисповедимы. Но одно можно сказать со всей определенностью. Книга, написанная Бондаренко, никогда не затеряется в безбрежном море всякой иной печатной продукции. Она слишком серьезна и честна, чтобы просто раствориться в потоке беллетристики.

И все же пару замечаний напоследок. Понимаю, в современной историографии еще много путаницы: возникли новые государства, появились новые границы, не все еще устоялось. Однако... Лично меня, например, неприятно царапнул такой пассаж из биографии генерала Александра Францевича Рагозы применительно к тем военным операциям, которыми он руководил.

«Это достойные попытки изгнать оккупантов с белорусской земли, а русские войска, сражавшиеся в Беларуси, показали высокие образцы воинской доблести».

Помилуйте! Генерал, присягавший на верность царю и отечеству, сражался за отечество под названием Российская империя, и оно в те годы было территориально гораздо-гораздо шире, чем современная Беларусь.

Покоробила фраза из Предисловия.

«Таким образом, белорус в генеральских погонах вовсе не выглядел в рядах русской армии инопланетянином».

Что за фантазии, ей-богу! Да и грузин Багратион не был в этой армии чужаком, и чеченец Шамиль тоже, и украинец Милорадович, и поляков было пруд пруди на высших воинских

должностях. Даже финн Маннергейм успел поносить генеральские эполеты царской армии, как и представители иных прочих национальностей, проживавших на тот момент в Российской империи.

Понимаю! Появилась потребность срочно иметь собственную историю, но не любой же ценой, право дело! У нас есть замечательная и славная история, которой мы, белорусы, можем только гордиться. Просто эта история складывалась в рамках разных геополитических образований и союзов. Так бывает. Мировой опыт полнится сюжетами на подобную тему.

Надеюсь, мои замечания не станут слишком огорчительными для автора и он сделает некоторые выводы и учтет их при возможных переизданиях своей книги. От души желаю таковых! Ибо всякие сведения, помогающие сберегать нам память о собственной исторической идентичности, важны не только в плане познания. Такие книги помогают развивать национальное самосознание, они воспитывают, наконец, они просто учат. А ведь учиться на уроках истории гораздо комфортнее, чем на собственном горьком опыте.

И последнее. Уже не замечание, а просто пожелание. Лично мне не хватило пусть и коротенькой, но предметной биографической справки уже о самом авторе.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ



Содружество

Украинистика в книжном собрании Петра Глебки

Личная библиотека известного белорусского поэта Петра Глебки (1905 — 1969) находится в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. О своем желании, чтобы его собрание было сохранено в целостном виде и передано вместе с архивом рукописей в академическую библиотеку, поэт, ученый, академик Академии наук БССР заявил еще в 1967 году. После смерти Петра Федоровича его жена Нина Иллarионовна выполнила волю писателя и в августе 1979 года передала часть собрания и рукописного архива в фонд библиотеки. Основная часть книжной коллекции П. Ф. Глебки вместе с обстановкой его рабочего кабинета перешла в Центральную научную библиотеку имени Я. Коласа АН БССР после смерти Нины Илларионовны, в ноябре 1986 года.

Совсем недавно, в нынешнем году, в издательстве «Белорусская наука» в Минске увидела свет книга «Библиотека академика П. Ф. Глебки (1905—1969), каталог изданий: из фонда отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси». Составители — А. Стефанович, О. Губанова, М. Лис, И. Мурашова. Уникальность данного издания, конечно же, совсем не в тираже каталога — в 120 экземпляров. Многостраничный том (423 страницы текста плюс 62 страницы иллюстраций) представляет собой подробное библиографическое описание 3867 экземпляров изданий на белорусском, русском, украинском, польском, таджикском и других языках, напечатанных в 1804—1960-е годы. В «Предисловии» (авторы — Инна Мурашова, Ольга Губанова) к каталогу читаем: «Человек глубокой эрудиции, П. Ф. Глебка имел широкий круг интересов, поэтому собранная им библиотека носит универсально-гуманитарный характер. Она включает художественную литературу и издания, что касаются вопросов белорусской и всемирной культуры в самом широком смысле: книги по истории, философии, политике, религии, искусству и др. Значительную часть составляют справочные издания: энциклопедии, словари и справочники по разнообразным отраслям знаний».

Особое место в книжном собрании П. Глебки занимает украинистика. Это и понятно. Еще в 1930-е годы (а библиотека поэта начала формироваться именно в 1920—1930-е годы) Петро Федорович познакомился со многими украинскими коллегами. В начале 1939 года белорусский литератор выступил в газете «Советская Украина» со статьей «Шевченко и белорусская литература». А переводить украинских поэтов П. Глебка начал еще в 1932 году. Из первых публикаций украинской поэзии в его переводах — стихотворение Дмитро Чепурного (1908—1944) «Литейный цех» в журнале «Чырвоная Беларусь» (№1 за 1932 год). К 1936 году относятся переводы П. Глебки из поэзии Саввы Голованивского, Максима Рыльского. В 1938 году «Літаратура і мастацтва» — 23 сентября — публикует большую подборку глебковских переводов из поэзии великого Тараса Шевченко. Потом эти и другие переводы стихотворений, поэм Кобзаря войдут в книгу Т. Шевченко «Выбраныя творы», что увидит свет в Минске в 1941 году. Поэтому совсем не случайным в библиотеке

П. Глебки представляется четырехтомное издание Т. Г. Шевченко «Мистецка спадчина (Выяўленчы матэрыял)», вышедшее в 1961—1964 годах. На одном из томов — следующая дарственная надпись: «Дорогому Петрові Фёдоровичу Глебці — великому другові Украіни и видатному перекладачеві поезіи Тараса Шевченка — в день славного 60-річчя — від співробітників Інституту мистецтвознавства, фалькльору та етнографіі ім. М.Т. Рильского...»

В «Украинской литературной энциклопедии» (Киев, 1988, том 1) говорится о том, что П. Глебка — переводчик Т. Шевченко, М. Рыльского, М. Бажана. Но мы уже назвали Д. Чепурного, С. Голованивского. А еще П. Глебка перевел на белорусский произведения Платона Воронько. И Глебку немало переводили украинские коллеги — П. Усенко (Павло Матвеевич переводы стихотворений Петра Глебки опубликовал еще в 1937 году в журнале «Молодняк»), С. Крыжанивский, Л. Первомайский, М. Зисман, В. Сосюра, Д. Билоус, Я. Шпорта, П. Слипчук, Ф. Гарин, О. Ющенко, К. Журба, Р. Лубкивский, А. Таран, М. Нагнибеда, П. Горецкий, Д. Павличко, Ю. Кушак и др. В 1975 году в Киеве вышла книга избранного П. Глебки «Поезіі». С рецензией на сборник в газете «Друг читача» 27 ноября 1975 года выступил В. Качкан — «Поезія з життя».

В книжном собрании Петра Федоровича — немало поэтических книг украинских коллег. Среди них — и сборники Миколы Бажана на украинском и русском языках: «Дорога: вибране» (Киев, 1964), «Єдність» (Киев, 1954; на этом сборнике — автограф М. Бажана: «Любому другу моему Петрові Глебці Микола Бажан. 18/V—54 р.»), «Избранные стихи» (Москва, 1933).

В Беларуси, пожалуй, совсем не известно имя поэта Василя Яковлевича Басока (1906—1940). А между тем в книжном собрании П. Глебки имеется его сборник «Розорані межі» (Харьков, 1930 год). Первая книга украинского поэта — одного из активных участников «Молодняка». На сборнике «Розорані межі» — пометка «КГ/551», свидетельствующая о том, что книга является одним из довоенных приобретений мастера белорусского художественного слова.

Из довоенных приобретений Петром Федоровичем украинских поэтических книг— две книги Олексы Влизько: «Hoch, Deutschland!» (Харьков, 1930) и «Мій друг Дон-Жуан: поэма кахання» (Харьков, 1934). Олекса Федорович родился в 1908 году, немногим позже Петра Глебки. Как и у Петра Федоровича, первая книга вышла в 1927 году — «За всех скажу» (у Глебки в 1927 — «Шыпшына»). Сборник украинского поэта был отмечен премией Наркомпроса УССР на конкурсе к 10-летию Октября. В 1934 году Олекса Влизько был незаконно репрессирован. Реабилитирован в 1958 году. Что интересно, ни в «Украинской литературной энциклопедии» (статья С. Крыжанивского), ни в справочнике «Письменники Радяньскоі Украіни»» (составители Олег Килимник, Александр Петровський) среди других изданий О. Влизько книга «Hoch, Deutschland!» не упоминается, тогда как называются другие его четыре поэтические книги издания того же 1930 года.

Стоит заметить, что ни Великая Отечественная война (Минск, как известно, был оккупирован фашистами), ни страхи перед сталинским режимом не помешали сохранить книги репрессированных писателей, как украинских, так и белорусских.

Теплые автографы оставил на своих книгах, подаренных белорусскому коллеге, Василь Козаченко. На очерке «В боях гартована» (Киев, 1954): «Пятру Фёдаравічу Глебчі з любов'ю. 18.IX.54 р. В. Козаченко». На повести «Сальвія» (Киев, 1956): «Дорогому Петру Фёдоровичу Глебці любов'ю і повагою. 2.VII.57 р. В. Казаченко». В 1957 году Василь Козаченко и Петро Глебка вместе принимали участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Знакомство с автографами украинских писателей, ученых является свидетельством многих творческих, научных, дружеских контактов Петра Глебки с Украиной и ее славными сыновьями. Каталог, изданный «Белорусской наукой», несомненно, подсказывает важность и значимость исследования на тему «Петр Глебка и Украина».

Есть в собрании и две книги Степана Крыжанивского — «Енергія: поезії» (Харьков, 1930, на титульном листе — дарственная надпись: «Петру Глебку на хороший спагад про подаріж (...) до Узбекістану, на дружбу белорусів і украінців, за наш зріст. З привітом Ст. Крижанівскі. 15.IX.31 р., м. Миколаів») и «Золоті ключі: поезіі» (Киев, 1938). Еще одна подсказка — о встрече, о дружбе.

4 декабря 1960 года Микола Нагнибеда подписывает в Ленинграде Петру Глебке свою книгу «Пісня, підказана сердцем» (Киев, 1960): «Дорогому Петру Глебці — з любов'ю до Білорусі...»

Отдельным разделом в книжном собрании П. Глебки можно считать подборку книг великого украинского поэта Максима Рыльского (1895—1965). Всего 16 (!) изданий. Из них 12 книг с дарственными надписями автора. Первый автограф датирован 26 февраля 1937 года — на книге поэзии «Літо» (Харьков, 1936). Самая старая книга из сборников М. Рыльского в коллекции П. Глебки, точнее — самые старые: «Під осінніми зорямі» (1926) и «Тринадцатая весна» (1916). Успел Петро Глебка познакомиться и с книгой «Незабутній Максим Рильский: Спогади» (Киев, 1968 год). Многолетней дружбе П. Глебки и М. Рыльского способствовало и то, что Максим Тадеевич, как и его белорусский собрат, возглавлял академический институт искусствоведения, фольклора и этнографии, только в Академии наук Украинской ССР. Кстати, автографы М. Рыльского отличаются своим эволюционным характером. От такого: «От искренне уважающего автора...» до — «від сердця...», «з любов'ю...». Некоторые надписи сделаны в Минске (ноябрь и декабрь 1946-го), в Москве (сентябрь 1958 года, на съезде славистов).

Из украинских книг довоенного времени (до 1941 года) — и сборник П. Тычины «Поезії», изданный в 1929 году. А книга П. Тычины 1953 года — «Могутність нам дана» уже с дарственной надписью автора.

И это — еще не вся украинистика в собрании Петра Глебки. Белорусский ученый интересовался не только поэзией, художественной литературой Украины, но и фольклором, этнографией, историей близкой и понятной ему Украины.

Кирилл ЛАДУТЬКО

Мост дружбы

О китайском танцевальном искусстве — в Беларуси

Сунь Цянь. Китайское танцевальное искусство XX века: взаимодействие национальных и западных традиций. — Мн.: Энциклопедике, 2010.

Появление в Беларуси монографии «Китайское танцевальное искусство: взаимодействие национальных и западных традиций» — явление не случайное. Дело в том, что в Белорусском государственном университете культуры и искусств существует и плодотворно работает научная школа «Компаративное искусствоведение». В рамках ее деятельности выполнены и успешно защищены три диссертации молодых ученых из Китайской Народной Республики. Автор одной из них — преподаватель хореографии, член Союза хореографов провинции Хэнань КНР, практикующий хореограф-постановщик и хореовед Сунь Цянь. «Китайское танцевальное искусство: взаимодействие национальных и западных традиций» — результат диссертационного исследования.

Первая глава монографии — «Традиционное танцевальное искусство Китая: народный и придворный танец». Автор исследования делает и небольшой экскурс в историю китайского танца. Примечательно, что искусствовед достаточно полно освещает источниковедче-

скую базу. Тем самым увеличивается ценность монографии для тех, кто следом за Сунь Цянь возьмётся за изучение истории китайского танца. Следует отметить, что автор провела большую работу по изучению источниковедческого материала. Упомянуты даже отдельные статьи, посвященные китайскому танцу (как, например, статьи А. Мессера и В. Цаплина в российских журналах середины 1950-х годов). Это очень важное источниковедческое «воспоминание», позволяющее объединить достижения исследователей разных поколений.

В первой главе автор приводит слова основоположника советского народно-сценического танцевального искусства И. А. Моисеева о том, что национальное своеобразие хореографии разных этнических и национальных групп проявляется, прежде всего, в системе координации движений в народных танцах: «Основным корневым признаком, по которому мы различаем танцы народов, является система координации движений ног, то есть сочетание, связь движений ног, корпуса и рук (...) Системы координации движений у различных народов в высшей степени разнообразны». И дальше автор продолжает мысль И. А. Моисеева: «У народов Европы основными являются движения ног; тогда как движения рук и корпуса только дополняют их. У многих народов Азии, напротив, основными выразительными средствами становятся движения рук, корпуса и головы, а движения ног выполняют роль «аккомпанемента».

В первой главе осуществляется подробное рассмотрение особенностей развития и национального своеобразия традиционного китайского танцевального искусства.

Вторая глава монографии — «Развитие профессионального танцевального искусства Китая в XX веке (1900 — 1970 гг.)». Отдельно искусствовед выделяет период 1900—1937 гг., точно очерчивает тему проникновения западной хореографии в китайскую культуру. Открытием для белорусского читателя является танцевальная судьба первого профессионального хореографа Китая XX века Юй Жунлин, первой китайской танцовщицы, изучавшей европейское хореографическое искусство. Не менее интересны страницы, рассказывающие о танце военно-революционной эпохи (1937—1949 гг.), о зарождении народно-сценического танцевального искусства.

В третьей главе искусствовед рассматривает синтез национальных и западных традиций в танцевальном искусстве Китая 1980 — 2000-х гг. Один из выводов, которые предлагает вниманию читателей исследователь, хотелось бы подчеркнуть особо: «Период 1978 — 2009 годов ознаменован провозглашением в стране курса на «открытость» взаимоотношений со странами всего мира. Вдохновленные идеей свободы творчества и деятельности, стремительными темпами развивается множество разнообразных хореографических произведений. Основными жанрами этого периода являются Китайский национальный балет, балет европейского типа, танцевальные миниатюры, сюиты на основе народных танцевальных танцев и классического китайского танца, музыкально-танцевальные эпопеи, произведения малых форм и балеты (сюжетные и бессюжетные) в стиле танца модерн».

Работа Сунь Цянь — несомненная удача не только исследователя, но и в целом коллектива Белорусского государственного университета культуры и искусств. В предисловии к монографии начальник отдела по делам образования Посольства КНР в Республике Беларусь Мэй Ханьчэн отмечает, что исследование будет полезно «и для исследователей хореографии, дав им возможность полнее осознать культурный «симбиоз» и специфичность современной хореографии, расширив представления о проблеме «национальное и инонациональное» на материале китайского танца».

Монография Сунь Цянь — своеобразный связующий мост двух древних культур, позволяющий думать не только о минувшем, но и подсказывающий пути художественного взаимопроникновения и единения в освоении задач искусства.

Вероника КАРЛЮКЕВИЧ

Авторы номера

КАЗАКОВ Валерий Николаевич. Родился в 1952 г. на станции Реста (деревня Горбовичи) Могилевской области. Окончил Высшее военно-политическое училище и Литературный институт имени М. Горького. Автор многих книг поэзии, публицистики и прозы. Живет в Москве.

ГНИЛОМЕДОВ Владимир Васильевич. Родился в 1937 г. в деревне Кругель Каменецкого района Брестской области. Окончил Брестский педагогический институт. Доктор филологических наук, академик НАН Беларуси. Литературовед, критик, прозаик. Автор многих книг. Живет в Минске.

КАМЕЙША Казимир Викентьевич. Родился в 1943 г. в д. Малые Новики Столбцовского района Минской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэт, прозаик, переводчик. Автор многих книг для детей и взрослых. Лауреат Литературной премии имени Аркадия Кулешова. Живет в Минске.

ЗЕЛЕНКО Вера Викторовна. Родилась в 1956 г. в Москве (Россия). Окончила математический факультет Белорусского государственного университета. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси. Автор книги прозы «Время ничего не значит». Живет в Минске.

ЗАВАЦКАЯ Жанна Евгеньевна. Родилась в 1963 г. в Пинске. Окончила Минский институт культуры. Публиковалась в периодических изданиях. Живет и работает в Пинске.

ГАЛЬПЕРОВИЧ Наум Яковлевич. Родился в 1948 г. в Полоцке. Учился на факультете журналистики Белорусского государственного университета, окончил Витебский педагогический институт. Поэт, прозаик, публицист, радиожурналист. Автор ряда книг. Директор радиостанции «Беларусь». Живет в Минске.

НОРИНА (ПАВЛЮЧЕНКО) Ольга Михайловна. Родилась в 1965 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный университет. Автор трех поэтических сборников. Живет в Минске.

БОГДАНОВИЧ (МАРТЫНЕНКО) Лёля Владимировна. Родилась в 1949 г. в д. Гродзянка Осиповичского района Могилевской области. Окончила Молодечненский политехникум. Автор сборника стихов «Зорны кошык». Живет в Борисове.

ДЖО АЛЕКС (Сломчинский Мацей). Родился в 1920 г. в Варшаве (Польша). Польский писатель, переводчик и драматург. Автор псевдоанглосаксонских детективов и милицейских повестей, среди которых «Я третий нанесла удар», «Лабиринты смерти», «Пусть найдут своих врагов», «Черные корабли», «Серая тень» и др. Кавалер Ордена Возрождения Польши. Умер в 1998 году в Кракове (Польша).